ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Столетие

1859—1959

со дня рождения



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
в шести томах

Редакционная коллегия:
М. С. БЕЛЕНЬКИЙ, Вс. В. ИВАНОВ,
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТОЙ

Романы и повести:

«СЕНДЕР БЛАНК И ЕГО СЕМЕЙКА»,
«ДАЧНАЯ КАБАЛА», «НА ТЕПЛЫЕ ВОДЫ»,
«МАРИЕНБАД»

РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ,
СТАТЬИ И ПИСЬМА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

Составитель тома
М. БЕЛЕНЬКИЙ

Перевод с еврейского

Оформление художника
Г. А. КРАВЦОВА

СЕНДЕР БЛАНК И ЕГО СЕМЕЙКА

(Роман без романа)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Занавес поднят, представление начинается

К большому двухэтажному каменному дому на самой красивой улице города N (так начинают все романисты, так начинаю и я) все утро подъезжают фаэтоны и дрожки с самыми разнообразными седоками. Седоки выходят и, не торгуясь, щедро расплачиваются с кучером.

Тут уже дважды побывал доктор Клигер, и каждый раз, когда он выходит из дома, его провожают и подолгу простаивают с ним на тротуаре молодые господа и дамы. А одна из дам, самая молодая, ежеминутно подносит к глазам белоснежный носовой платочек и сморкается с такой силой, словно именно таким образом хочет освободиться от всех своих горестей. Доктор Клигер успокаивает ее как только может. Он говорит несчастной женщине красивые слова, которые, я полагаю, довольно трудно понять, потому что доктор Клигер любит пересыпать свою речь множеством ученых терминов.

— Успокойтесь, мадам Земель, возьмите себя в руки! Вспомните, что вы мать, молодая мать! Что вы делаете? Будьте спокойны: ваш отец, с божьей помощью, будет здоров. Правда, предстоит очень тяжелый кризис, но человек крепче железа. Вам, навер-

ное, известна такая поговорка: «Человек слабей соломинки и крепче камня». Славная поговорка, право, умная поговорка! Мы должны быть готовы ко всему, как сказал великий мудрец: «Si vis pacem, para bellum». На нашем языке это значит: «Хочешь мира, готовься к войне»... Понятно, мои милые дамы? Адье! Через два часа я снова здесь...

— Ой, мама, вы понимаете, что говорит доктор? Он говорит, нужно быть готовым ко всему, ждать всего. Вы понимаете, мама?

— Ничего я не понимаю. Я понимаю только, что я несчастна. Одинока и несчастна! Горе мне! Несчастная моя молодость!

Автор в глубине души должен сознаться, что смерть богача производит на него гораздо более сильное впечатление, чем, скажем, смерть бедняка. Он все еще не отдал себе отчета, почему именно так бывает. Разве бедняк не такой же человек, как богач? Почему же мы остаемся равнодушны, когда служка, по случаю смерти портного Иосла или сапожника Гершла, выкрикивает, потряхивая коробкой: «Благотворительность спасает от смерти»? А когда нам говорят: «Вы знаете, ведь умер реб Иосл», или: «Реб Гершл умер», — мы поражены, потрясены, нас охватывает трепет. «Как? Что? Реб Иосл? Сколько он оставил капиталу? Сколько детей? Он, наверное, оставил завещание? Такое состояние! Такое состояние! Жаль, право, жаль жену!» А разве придет нам в голову пожалеть вдову портного Иосла или сапожника Гершла? Кто это вдруг заинтересуется, сколько детей они оставили, есть ли где приклонить головы сиротам и их матерям — несчастным вдовам, и что ждет их в будущем?

От правды никуда не уйдешь, поэтому нам очень хочется узнать, что же происходит здесь, в этом большом двухэтажном доме. Кто так опасно болен? Мы знаем, что тут живет Сендер Бланк, чуть ли не первый богач в городе! Неужели болен сам Сендер Бланк и болезнь его так серьезна? Нет, мы не можем больше находиться в неведении и просим наших любознательных читателей отправиться вместе с нами

и навестить Сендера Бланка. Но предварительно мы на минуту остановимся здесь, внизу, и послушаем прекрасную речь, которую держит Фройка перед всеми слугами и приказчиками. Вообще говоря, очень некрасиво подслушивать, тем более кухонные разговоры прислуги. Но посудите сами, что делать бедному содержателю панорамы, который хочет угодить всем своим милым посетителям? Что делать бедному сочинителю-романисту, который хочет, чтобы все категории его читателей были довольны? Не в обиду вам будь сказано, благороднейшие дамы, но и среди вас найдется немало таких, которые частенько стояли, приложив ухо к кухонным дверям, стараясь уловить хоть несколько слов, сказанных прислугой. Не приходится говорить и о том, что теща обязательно должна подслушать, как высказывается о ней зятек! А ведь невестка, со своей стороны, непременно должна знать, о чем шепчутся между собой свекор со свекровью, по какому поводу перемигиваются деверь с золовкой. Уши, мои дорогие друзья, на то и подарил нам господь, чтобы слушать, что говорят!..

— Не знаю, — произносит Фройка, жуя медовый пряник и перетирая стаканы, — не знаю, какой черт забрался к нашему старику в живот! Сам он лежит, вытянувшись, как бревно, щеки надуты, морда красная, затылок жирный, дай бог мне такой, и мычит, как взбесившийся теленок: «Ой, смерть моя! Ой, конец мне приходит!» Но с такой мордой в гроб не кладут, нет! А доктор пичкает его лекарствами, черт знает чем! Спросили бы меня, я бы велел ему выпить стакан касторки, горшок квасу и три крынки простокваши. Он бы у меня сразу выздоровел. Такое брюхо лекарствами не прошибешь!

— А хозяйка плачет. Говорит, умирает он! — отозвалась кухарка Зелда и заглянула в печь.

— Говорит! Плюньте ей в глаза! — с жаром отвечает Фройка, снова вытаскивая из кармана кусок пряника. — Много она понимает в этом, не больше мертвого! Это дети втемяшили ей в голову! Выдумки Ревекки!

— Что ты имеешь против моей мадам, Фройка? — заступилась за свою хозяйку молодая девушка лет двадцати по имени Малке-Сосл.

— *Твоя мадам?!* — набросился на нее Фройка. — Твоя мадам совсем не прочь, чтоб старик протянул ноги. Почему — это уж мы знаем. Не твоего ума дело! Твоя Ревекка только и умеет, что играть в карты с незнакомыми молодыми людьми и показывать Осипу кукиши; а втихомолку, когда никто не видит, она и оплеуху ему отпустит. Откуда я все знаю? Это уж наше дело! Она любит отца, как зубную боль. Но здорово же она обманывает его! А теперь, когда он слег, она нюни распустила! И с невесткой вдруг подружилась. Именно теперь! Целый день они шепчутся, секретничают, а потом посылают меня подслушивать, о чем говорят Соня со свекровью. Хорошая штучка, эта твоя Ревекка, нечего сказать! Мы-то их знаем! Мы здесь не со вчерашнего дня!

— Моя мадам Соня считается с ней как с прошлогодним снегом! — откликнулась Златка-черная, горничная Сони. — У нас в доме...

— Твоя мадам, — перебил ее Фройка, — тоже неспроста прикатила. Но подождите немножко — ффью!!! (Тут Фройка протяжно присвистнул.) Твоя мадам, все напасти на ее голову, тоже не брезгает сплетнями. Зачем она оговаривает родную сестру? Меня самого она мучила и терзала три дня и три ночи подряд, — расскажи ей, что делает Маркус, куда каждый день ходит, кому пишет записки, почему я ежедневно бегаю на почту за письмами! О, твоя Соня — штучка! Но зато муж крепко держит ее в руках! Один только Осип молодец! Он был бы и совсем ничего, если б не был таким пустозвоном, таким отъявленным лгуном! Ведь ни единому его слову нельзя верить и...

Если бы Фройке не помешали, он продолжал бы аттестовать своих господ бесконечно, но резкий звонок прервал его разглагольствования. Фройка бросил полотенце Малке в лицо и пустился вверх по лестнице, на второй этаж. Но как же он был поражен, когда сам, своими глазами увидел, что обе глубокоуважае-

мые и высокочтимые дамы стоят под кухонной дверью! А дамы эти, увидев его, тоже бросились бежать! Наше слабое перо трепещет, оно не в состоянии начертать эти слова, но истина повелевает открыть нашим милым друзьям, что — о ужас! — эти дамы были: сама почтеннейшая мадам Ревекка Земель и сама высокочтимая мадам Соня Бланк, вместе с нами и они не пропустили ни слова из того, что говорил Фройка.

Эти многоуважаемые дамы, Ревекка и Соня, устремились было вверх по лестнице, но вдруг обе одновременно кинулись вниз. Этим маневром они надеялись обмануть Фройку. Они будто только что пришли, и им надо вниз, а не вверх. Удался этот маневр или нет, нам неизвестно, так как Фройка только сверкнул глазами, тонко улыбнулся и, тряхнув своей гривой (следует заметить, что в доме Сендера Бланка все ходили с непокрытыми головами *, кроме самого Сендера, который носил ермолку), быстро взлетел на последнюю ступеньку.

Наши дамы застыли на месте, стыдливо и смущенно глядя друг на друга. Бог знает, чем все это могло кончиться, и чем поплатился бы Фройка за свой острый язык, и как стали бы эти две дамы смотреть друг другу в глаза, если б между ними не завязался, здесь же на лестнице, такого рода разговор:

— Ну, что вы скажете, Ревекка? Как вам нравятся слуги вашего отца? Они могут опозорить нас самым ужасным образом! Долго ли этим негодяям оклеветать нас? Я удивляюсь, право, как вы, Ревекка, разрешаете держать такую собаку в доме? Мне кажется, что одно ваше слово могло бы...

— Не говорите этого, Соня! Отец не виноват; это «ее» флигель-адъютант, а «ее» единственный сынок буквально вешается ему на шею. Если бы отец знал десятую, хотя бы сотую долю всех этих дел!.. Ох, Соня, недаром он из-за «нее» болеет! «Она» его в гроб вгонит! «Она» его доконает!..

— И при этом «она» еще хвастает, что «ее» Маркус получит половину наследства... Нечего сказать, в хорошие руки попадет состояние вашего отца.

— Что вы хотите этим сказать? Вы, Соня, любите обижать людей намеками и колкостями...

— Колкостями, Ревекка? Я не знаю, кто еще умеет так уколоть, как вы, Ревекка?

— Соня! Вы только вчера приехали и уже затеваете ссору! Вы думаете, что это все еще те времена, когда вы жили у нас на хлебах?

— *У вас* на хлебах, Ревекка?

Кто знает, чем бы все это кончилось, если б в эту самую минуту мимо них не пробежал молодой господин Бланк, Маркус Бланк, с которым мы скоро познакомимся, и если б он не взглянул на наших дам с улыбочкой, которую они обе сочли для себя в высшей степени оскорбительной.

— Что вы скажете о «нем», Соня?

— О вашем брате, Ревекка? Что я могу сказать? Славный молодой человек, очень милый молодой человек. Жаль только, что он до сих пор еще не удрал, не ограбил отца и не отправился шарлатанить.

— Не удрал?

— Знаете что, вот вам письмецо, прочтите — тогда узнаете.

И одна дама отдала другой письмо, которое мы разрешим себе передать читателю слово в слово, как документ, необходимый для развития нашего романа.

«Мой дорогой Арье-Лейб! Мой благородный учитель! Мой добрый товарищ! Мой дорогой друг! Что же будет со мной? Я не могу это больше переносить! Чем дальше, тем все хуже и хуже. Что делать? Меня мучают, меня держат на железной цепи, меня оскорбляют на каждом шагу! Мне сватают невест, меня хотят женить. Вы понимаете, Арье-Лейб? Женить насильно! Мне хотят навязать жену... И все это в девятнадцать лет! Вы понимаете? Меня хотят продать, как продают вещь, совершенно так, как описывается в романах! И когда? Когда я так далек от этого, еще дальше, чем вы от меня! Арье-Лейб! О добрый, милый, дорогой Арье-Лейб! Посоветуйте: я готов на все! Я чувствую, что в эту минуту у меня выросли

крылья, — и я мог бы улететь куда глаза глядят и скитаться по белу свету! Только бы подальше отсюда, подальше от этих диких зверей, злодеев, деспотов, тиранов, в которых нет ничего человеческого, которые не имеют понятия о просвещении, которые ничего не слышали о цивилизации, которые душой и телом преданы деньгам и всем своим глупым, слепым, низменным инстинктам. О! Никто, никто меня не понимает, только вы, Арье-Лейб! Вы один во всем мире! Как вырваться отсюда? Нанять мне учителя они не желают, покупать мне книги не хотят, — и я одинок, одинок, как отшельник, как путник в пустыне. Мне некому даже открыть свое наболевшее сердце, кроме вас, мой благородный Арье-Лейб; но и это сопряжено с большими трудностями, я боюсь писать, чтоб они не заметили. А вы знаете, как тяжела опека моего отца. Поэтому я не могу писать вам часто. Относить письма на почту я тоже не могу, боюсь, чтоб не увидели. Вы же знаете, как все здесь неотступно следят друг за другом. Поэтому я вынужден послать это письмо через нашего Фройку, который причиняет мне много волнений и хлопот, пока я не уговорю его и хорошо не заплачу, — вы помните, какой это мерзавец и вор... Заклинаю вас, Арье-Лейб, ответьте мне поскорее и посоветуйте как истинный друг: что мне делать? Теперь я вас послушаюсь, выполню все, что вы прикажете. Я готов броситься даже в огонь! Письма посылайте по прежнему адресу и не забудьте указать: «Для передачи Фройке Крокману», а то я пропал!

Ваш верный ученик, преданный товарищ и лучший, лучший друг

Маркус Бланк.

P. S. Арье-Лейб! Вы помните, вероятно, нашего зятя Осипа Земеля. Этот хвастун не так давно прислал письмо, что открывает новое дело, американскую прачечную, и надеется выиграть большой процесс в полтора миллиона! Совершенно ясно, что ему даже не ответили...

Ваш Маркус».

— Где вы взяли это письмо, Соня?

— Где? Его дал мне ваш Осип, представьте, сам Осип!

— Мой Осип? Каким образом? Что это значит?

Письмо вмиг оживило озабоченную, убитую горем Ревекку. Это была женщина красивая, стройная, свежая, несмотря на рыжие волосы и серые глаза.

А вот вам портрет Сони: маленькая, черненькая, живая, с совершенно черными волосами, с большими черными глазами, маленьким носиком и крепко сжатым, словно зашнурованным ротиком. Ямочки украшали ее щеки, даже когда она не улыбалась.

— Сонечка! Душечка! — весьма дружелюбно обратилась Ревекка к своей невестке. — Я прошу вас, идите поговорите с Осипом. Пусть он расскажет вам, где раздобыл это самое письмо. Все, все, все узнайте, я прошу вас, Сонечка, дорогая! Сейчас же бегите наверх. Я зайду к папà и пришлю вам Осипа. Скорее!

— Сию минутку! — ответила Соня, и обе наши уважаемые дамы, как птички, вспорхнули на второй этаж, куда мы просим пожаловать также и наших читателей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Актеры играют отлично

Как все достойные романисты, мы обязаны описать дом Сендера Бланка, не пропустив ни одной подробности. Но так как нам чрезвычайно любопытно посмотреть, как выглядит господин Бланк за несколько часов до смерти, то описание его прекрасного дома мы отложим до другого раза, а сейчас последуем за нашей уважаемой героиней, Ревеккой Земель, прямо в кабинет Сендера.

Острый запах лекарств вызывает в нашем воображении образ лежащего пластом больного, с бледным лицом, с остекленевшими глазами и запекши-

мися губами. Мы чувствуем, что смерть уже свила здесь свое гнездо и ангел смерти притаился где-то в углу, с длинным мечом в руке, и подстерегает душу больного. Мороз пробегает по коже, и каждый, каких бы свободных взглядов он ни держался, задумывается над последним часом нашей быстротекущей жизни, и каждый начинает философствовать на свой манер. Математик говорит, что мир подобен кругу, и в центре его — смерть, а мы, люди, — не более чем радиусы разной длины, которые сходятся в одной точке... Часовой мастер говорит, что весь мир — циферблат, стрелки — наша жизнь, маятник — это мы, и когда гиря опустилась до предела, значит наша песенка спета... Сапожник говорит, что мир — это, не будь рядом помянуто, голенище, а человек — молоток... Балагула говорит, что весь мир создан только для балагулы. Но почему же на земле копошится столько людей? «Это, — говорит он, — наши пассажиры, они приносят нам доход...» Я сам слышал, как бондарь сказал, что мир похож, простите, на бочку, и как только она рассохнется, он, бондарь, будет набивать на нее обручи...

Когда мы вошли к больному Сендеру, нашему взору представилась такая картина: на большой железной кровати лежит животом вверх человек лет пятидесяти, с рыжими волосами и большой рыжей бородой; все лицо его и руки покрыты золотистыми волосами; глаза прикрывают длинные рыжие ресницы. Сходство его с дочерью Ревеккой очень заметно.

Сендер спал, казалось, здоровым, сладким сном, на щеках его играл румянец.

Ревекка тихо подошла к кровати и приложила палец к губам: «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш!» Несчастный больной проснулся, открыл свои большие серые глаза, и тут, как из пустой бочки, прозвучал стон:

— Ой, конец мне приходит! Конец.

От этого стона, казалось, задрожали стекла. В одну минуту веселое красивое лицо Ревекки изменилось, на ее прекрасном белом лбу залегли глубо-

кие-глубокие морщины, глаза ее увлажнились неподдельными горькими слезами.

— Отец! — сказала наша героиня, знаками приказывая Осипу выйти, и села у изголовья отца, положив ему на лоб свою мягкую белую руку. — Отец! Выздоравливай, довольно. Смотри, как ты изменился! Крепись! Не падай духом.

— Ой, плохо, плохо, дочка! — ответил ей отец. — Конец! Конец! Один бог знает, доживу ли я до завтра, один бог знает! Рива! Дети! Хаим! Маркус! Где вы? Где люди? Зовите ко мне людей! Я хочу написать... за... завещание!

— Завещание? Бог знает, что ты говоришь, отец! Для чего тебе понадобилось вдруг завещание! Если даже ты болен, что из этого? Случается! Человек не железо...

— О...ой, дочка, я хочу написать завещание. Мне осталось жить и мучиться несколько считанных часов. Помогите! Помогите!

Эти крики подняли на ноги весь дом. Перво-наперво Мириам-Хая, жена Сендера, упала в обморок. Все мы знаем, как легко падают в обморок слабые женщины. К ней подбежала мадам Соня, с таким страшным криком «мамаша!», что если бы Мириам-Хая и вправду была без чувств, она пришла бы в себя. И она действительно очнулась, открыла глаза и, положив голову невестке на грудь, принялась причитать: она несчастна и одинока, она останется совершенно беспомощной, несчастной вдовой — молодой и несчастной вдовой! Кто о ней позаботится?

Глядя на нее, Соня обливалась слезами. От великой жалости она почти забыла собственные невзгоды и принялась утешать «несчастную вдову» трогательными и душераздирающими словами:

— Перестаньте горевать, мамаша, перестаньте! Не забывайте бога и не гневите его своими жалобами. Бог вас не оставит. Вы молоды, и судьба ваша еще неизвестна. Не вы первая и не вы последняя. Бог может даровать вам счастливую жизнь, и вы будете еще счастливы. Отец, вероятно, в последнюю минуту не забудет вас и обеспечит. Но вот я, мамаша, я не

могу сравнить себя с вами. У меня куча детей, будет особой милостью божьей, если свекор не забудет и нас с мужем. Вы знаете, у меня в жизни не было еще хорошей минуты, только нужда, горе, невзгоды, хотя мой Хаим честный, тихий, порядочный молодой человек. Не то что шарлатан Осип, который, говорят, проигрывает за год в карты столько, сколько мы проживаем с мужем и детьми. А ведь вы знаете, сколько подарков Ревекка получает от отца, а я, кроме приданого... Что говорить!..

При этих словах бедняжка Соня спрятала свое заплаканное лицо на груди у Мириам-Хаи; и так обе эти бедные, несчастные женщины изливали друг другу свои души, открывали свои наболевшие сердца, в которых с давних пор затаилась зависть, ненависть, досада и многие другие чувства... Мы все таковы, читатель; кто больше, кто меньше, кто умнее, кто глупее, кто явно, кто тайно, но все мы эгоисты, вы уж на меня не обижайтесь! Правда, есть у нас один знакомый, — реб Герц, или реб Зорах, это неважно, — я хорошо помню, как года два или три тому назад, когда этот самый реб Герц, или реб Зорах, собрался в последний путь, его дети и друзья приехали к нему. Стоило тогда посмотреть, с какой трогательной нежностью, с какой неподдельной преданностью и любовью эта семья ухаживала за больным и не отходила от него ни на шаг! Стоило посмотреть, как все домочадцы окружили врача и как, опережая друг друга, старались услужить больному. И представьте, все забыли о себе и занимались только больным; до последней минуты его жена и дети даже не подумали о своем положении, не то что наши уважаемые дамы Мириам-Хая Бланк с ее милейшей невесткой Соней Бланк, преждевременно оплакивавшие, как вы видели, не господина Бланка, собравшегося умирать, а самих себя. Представьте себе, что в то время, как реб Герц, или реб Зорах, боролся с ангелом смерти, никому и в голову не приходили мысли о каком-то там завещании или обеспечении. Если б кто-нибудь хоть заикнулся об этом, его слова глубоко оскорбили бы всю семью. Да, все было не так, как здесь, у нашего

прославленного господина Бланка, где мадам Ревекка Земель сделала знак своему обожаемому супругу, Осипу Земелю, поскорей бежать за раввином и нотариусом. А когда этот мировой дипломат, с которым читатели сейчас познакомятся несколько ближе, когда этот господин Земель, говорю я, пришел к нотариусу, он завел довольно длинный разговор о законах вообще и о правах на наследство в частности. И тут он показал, каковы его познания в этой области. Правда, он, слава богу, не так уж нуждается, но все же его не оставляет надежда, что возлюбленный тесть, господин Бланк, отпишет ему самую большую часть наследства, так как его, Осипа, он любит, как родного сына. И позже, когда нотариус и прочие официальные лица пришли к больному, Осип суетился вокруг них, ухаживал за ними, был настроен так радостно, что кто-нибудь со стороны мог подумать, будто здесь пишут брачный договор, а не завещание, словно здесь свадьба, а не смертный час, не прощание с жизнью... Не растерялась и Ревекка: эта преданная дочь не отходила от больного отца ни на минуту, ни на секунду. На ее лице было написано такое горе, такая глубокая скорбь, что сам больной утешал ее:

— Что ты плачешь, дурочка?

Эти несколько слов открыли у нежной дочери новый родник слез. Лишь с большим трудом смогла она выкрикнуть:

— Отец! Не надо! Не надо!

— Что, дурочка? Чего не надо?

— Не надо завещания! Не надо! Я не хочу! Я не могу этого вынести! Ты еще долго, долго будешь жить!

— Иди, иди, дурочка! Ты же видишь, что я умираю!

— Не надо! Не надо!

О чем думала про себя прекрасная Ревекка, когда кричала «не надо, не надо»?

Нелегко узнать, милый друг, что мы с вами думаем про себя. Это вообще очень трудное дело — угадать, что таится у каждого в душе. В наше время и

совсем не найти такого дурака, который открыто взялся бы утверждать, будто знает, что тот или иной думает. Каждый волен в своих мыслях и может с ними обходиться по своему разумению. Во всяком случае, я могу вам сообщить, что после слез и криков «не надо! не надо!» наша милая героиня Ревекка — я видел это своими собственными глазами — позвала своего благоверного и о чем-то шепталась с ним несколько минут, а глаза у нее при этом были сухие, как перец. О чем говорили супруги, я до сих пор не знаю, я уловил только несколько слов: «наследство...», «завещание...», «часть...», «закон...», «восьмая часть...», «сын...», «дочь...». Но и этого для нас достаточно, мы уже догадываемся, о чем эта милая чета совещалась между собой. Мадам Ревекка была чем-то очень озабочена, как предприниматель, совершающий крупную сделку, а господин Осип Земель засунул обе руки в карманы брюк, задрал нос, оседланный дымчатыми очками, и, сильно скрипя ботинками, как бы слегка подпрыгивал; на его веселом лице было ясно написано, что у него сегодня отличное настроение...

Железная кровать, на которой несчастный больной сражается сейчас с ангелом смерти, собственно говоря, не кровать, а некий род кушетки довольно больших размеров. На ней Сендер любил отдыхать после трапезы с весьма большой и толстой сигарой во рту. Сендер, должно быть, любил крепкую и массивную мебель. Это можно заключить по довольно большому дубовому письменному столу и высокому дубовому креслу, которое скорей походило на шкаф, чем на кресло, хотя посредине и высечено было место для сидения, обтянутое кожей. Основательнее, крепче и массивнее всего были письменные принадлежности со всеми теми безделушками, которыми украшен стол каждого порядочного человека нынешнего века. Все в кабинете Сендера так основательно, так добротно, не иначе как сделано на заказ: ведь то, что продается в готовом виде у нынешних незадачливых мастеров, подбито ветром и держится на честном слове. Им бы только денежки заполучить — и больше

ничего! Нет, Сендер не из тех попрыгунчиков, которые сегодня живут, а завтра... Сендер любит все крепкое, прочное, массивное. И сам он тоже человек крепкий, прочный, массивный, упитанный и обеспеченный здоровьем на добрых несколько лет. Но — ох! Ничто не вечно под луной! Одна лишняя капля воды в реке вызывает волнение; один лишний кусок фаршированной рыбы фунта в три-четыре производит целую революцию в желудке. Все мы ходим под богом! Кто бы мог подумать, что из-за курицы и петуха будет разрушен такой большой город, как Бетар? * Кто бы мог ожидать, что из-за такого пустяка, как кусок щуки, свалится такая каменная глыба, как Сендер Бланк, который никогда ни на что не жаловался? Но, как видите, всякое бывает!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Более объемистая, поскольку в ней описывается много лиц и обсуждаются различные вещи

Все может случиться на белом свете, и каждый случай возникает так неожиданно, что человеческий разум иной раз попадает в тупик, сталкиваясь с такими удивительными вещами. Автор этой книги сам был свидетелем многих неожиданных случаев. Вот и сейчас стоит у меня перед глазами наш реб Иосл-Довид Кацап, с большой бородой, приплюснутым носом, с толстым животом и широкой лысиной. Вот он пришел домой из синагоги, вот он произнес благословение над стопочкой водки и закусил горячей картошкой, вот он прилег на минутку, и вот его не стало! А Эля? Эля-талесник * как умер? В бане, в пятницу, на полке! Если бы только мы расположены были пуститься в долгие рассуждения, мы могли бы насчитать еще двадцать случаев, когда смерть приходила вдруг, неожиданно. Но здесь не место заниматься всякими россказнями. Если бы романист хотел в одной книге написать все, что он знает, он не закончил бы романа до самой своей смерти...

С нашим почтеннейшим Сендером Бланком тоже произошло неожиданное происшествие. Это случилось в одно прекрасное утро ясного, безоблачного дня. Сендер встал, как должен вставать каждый; попивая чай, он, как всегда, позвонил в колокольчик; вошел наш знакомый Фройка и вытянулся перед хозяином в струнку.

— Принесли рыбу? — спросил Сендер и отхлебнул полстакана чаю.

— Принесли! — бойко ответил Фройка.

— Щука?

— Щука!

— Крупная щука?

— Крупная щука.

— Свежая?

— Свежая.

— Скажи Зельде, чтобы рыба была сварена с морковью, — приказал Сендер и отхлебнул еще полстакана чаю.

— Сварена с морковью, — повторил вслед за ним Фройка, как молитву.

— Несколько картошек к рыбе тоже будет неплохо, — распорядился дальше Сендер.

— Тоже неплохо, — повторил Фройка.

— И чтоб была вкусная, клейкая, румяная, с густым соусом, с перцем и горячая. И чтоб выкипела до дна. Слышишь или нет?

— Я слышу, слышу.

— Зразы сегодня не нужны, — отдал Сендер еще одно распоряжение.

— Сегодня не нужны, — повторил Фройка.

— Вместо них — мясо с кисло-сладким соусом.

— Кисло-сладким, — повторил Фройка.

— В суп гусятину.

— В суп гусятину, — повторил Фройка.

— Гусиные потроха тоже в суп.

— Тоже в суп.

— Засыпать крупой.

— Крупой.

— Цимес.

— Цимес.

— Осталось у нас еще белое вино? — спросил

вдруг Сендер и уставился на Фройку такими глазами, точно хотел сказать: «Говори же, говори! Ну, режь меня, режь!»

Фройка совсем растерялся; он схватился обеими руками за голову, затем за пуговицы пиджака, за локти, за карманы, вскинул глаза на потолок так, точно там было написано, сколько бутылок вина стоит еще у Сендера в погребе, и наконец с большим трудом ответил:

— А? Что? Белое вино? Нет! Да! Еще есть.

— Не забудь послать за пивом.

— За пивом, — повторил Фройка.

— Можно открыть и новый бочонок огурцов.

— Огурцов.

— Помни же, что я сказал тебе о рыбе.

— О рыбе, — повторил Фройка.

— Теперь ступай.

Фройка вышел, а Сендер быстро покончил с завтраком, стряхнул крошки, вытер скатертью губы и руки, встал, погладил живот, закурил толстую сигару и опустился в известное нам кресло. Сигара распространяла по всему кабинету нежный аромат, и мысли Сендера унеслись далеко-далеко, на кухню. Ему показалось, что он слышит запах вареной рыбы; Сендер раздул ноздри и изо всех сил начал втягивать в себя нежный, аппетитный аромат отличнейшей фаршированной рыбы.

Так, сидя в кресле, он полчаса вздремнул. Проснувшись, немного позанимался делами, поговорил с двумя-тремя маклерами, просмотрел почту, ответил, кому нужно было, и позвонил Фройке, чтоб накрывали на стол.

Когда сильно проголодавшийся Сендер вступил в столовую, длинный дубовый стол был уже уставлен тарелками, ножами, вилками, бутылками и бутылочками, стаканами и стаканчиками, разного рода соленьями, как-то: сельдью резаной, сельдью рубленой, сельдью жирной, сельдью копченой, сельдью маринованной, селедочками, сардинами, икрой, была тут и варшавская колбаса. Прочностью своей массивной мебели столовая походила на кабинет Сендера. Эти две комнаты Сендер любил больше, чем все осталь-

ные апартаменты своего большого дома, обставленные на современный манер, — их легкая, воздушная мебель не могла удержать на себе грузное тело почтенного господина Бланка. На столе стояло три прибора: для Сендера, для его жены и Маркуса.

Наши читатели еще не знакомы с остальными двумя персонажами. Пока Сендер будет управляться с соленьями, мы бросим взгляд на жену Сендера и на сына их, Маркуса.

Мириам-Хая, мадам Бланк, — еще совсем молодая женщина, лет тридцати шести, не больше, очень красивая, с белоснежным лицом, с очень выразительными голубыми глазами и черными бровями; приятное, нежно-белое лицо ее вызывает симпатию своей безграничной добротой. Простая, честная, богобоязненная еврейская женщина — Мириам-Хая. Согласно обычаю, она не показывается на людях без парика, накладные темно-русые косы украшают ее голову. Одета она не по последнему журналу, но опрятно, аккуратно, изящно. Небольшого роста, она кажется ребенком, куклой рядом со своим мужем, которого чтит больше всех на свете. Слово Сендера для нее закон. Она у Сендера вторая жена и имеет от него единственного сына Маркуса, в котором природа сочетала красоту Мириам-Хаи и крепкое телосложение Сендера. Вот и получился как раз такой замечательный герой, какой нам нужен для нашего романа.

Выпускать его на улицу в такой час, когда гуляют наши барышни и дамы, было бы, я думаю, рискованно, так как в городе, где произошла правдиво описываемая нами история, второго такого Маркуса не было. Правда, было еще два-три Маркуса, но это были не такие Маркусы, как наш: не было у них таких больших голубых глаз, такого широкого белого лба, таких кудрявых светлых волос, таких красивых белых рук, такой высокой стройной фигуры, такого прекрасного светлого и чистого лица, таких великолепных благородных манер, такой приятной речи... Смейтесь, смейтесь, просвещенные барышни, курсистки! Если ваши нежные сердца не окончательно иссушены разными модными идеями, они еще забьются

при виде такого представителя мужского пола, такого красивого кавалера, как наш молодой герой, Маркус Бланк, с которым мы не без гордости выступаем на страницах нашего правдивого повествования. Я знаю, вы скажете: что́ нам до красивого лица и стройной фигуры? Главное — есть ли у него на плечах голова, есть ли у него что-нибудь за душой... Что правда, то правда: природа не одарила моего героя особыми способностями или талантами, но у кого еще такое доброе, мягкое сердце, как у Маркуса? Кому еще дано такое счастье быть сыном, младшим сыном Сендера Бланка, который может дать ему в приданое... Сколько вы думаете? Двадцать тысяч, тридцать тысяч, а почему не все пятьдесят тысяч рублей? Сендер, наверное, отвалит ему пятьдесят тысяч рублей, если только удастся найти такую партию, какую хочет для него отец. А почему бы и не найти такой партии, какой хочет отец? Чем Сендер Бланк хуже Гершона Мирмлштейна?

— Что ты скажешь, Мириам-Хая, про этого мерзавца? — говорит Сендер жене, заглядываясь на рыбу.

— Про какого мерзавца, Сендер? Какой кусок рыбы ты хочешь? Средний кусок, хвост или голову?

— Пусть будет средний кусок, хвост и голова, — говорит Сендер. — Я говорю про этого нахала, про нахала я говорю.

— Какой нахал, Сендер? Возьми вот этот хороший кусок, Сендер.

— Тысячу раз надо тебе говорить?! Я говорю о свате, о Гедалье. Он снова пишет мне об этом грубияне.

— О каком грубияне?

— Я тебе, кажется, десять раз говорил, как Гедалье морочит мне голову. Он хочет, чтоб я породнился с Меером Квашей, с этим сыном балагулы, этим нищим, у которого нет и того, что валяется у меня в мусоре. Ты понимаешь? Какое нахальство!

— Как так, Сендер? Ведь говорят, что он капиталист, богач! Возьми, Сендер, фаршированную голову, ты ее любишь.

— Капиталист, богач, ты говоришь? Бедняк он, нищий! Видишь ли, у его компаньона, Мотла Фрид-

мана, есть немного денег. Но что это за деньги? Награбленные, силой отнятые. Этак выходит, что и Рувим Кнутик или Симхе Кукиш тоже нам ровня? А? Как ты, к примеру, думаешь? Хорошенькое было бы дело! Сендер Бланк и Симхе Кукиш — сваты! А?

— А что я знаю? Мне кажется, что реб Симхе... порядочный человек...

— Ты говоришь, порядочный человек?! Ну, а реб Йойлик Побираха? А реб Айзик Баба? А Залмен Кривая Рожа? Тоже порядочные люди? А? Может быть, мне с ними породниться? Как ты думаешь?

— Разве я говорю, Сендер...

— Нет, нет, боже сохрани! Ты хочешь только, чтоб я, в моем преклонном возрасте, взял да и отдал такой капитал черт знает кому, — каким-то проходимцам, каким-то ворам, нищим!

— Нищим?

— Конечно, нищим! Так и знай, что это нищие, бедняки, собаки, шарлатаны, плуты, банкроты, ни одного приличного человека! Все они охотники до чужих денег! Им бы только кареты да лошадки! Все до одного негодяи, кровососы, кулеспат... кулеспатарники... Как это у тебя там, Маркус, называется в нынешних книжках?

— Эксплуататоры, — поправляет его Маркус.

— Эксплопотачники, мерзавцы, сволочи, и только! И хотят, чтоб я с ними породнился! Они раньше подохнут, но этого не дождутся!

— Ешь, Сендер! Ты совсем не ешь.

— Я ем, ем, а то что же я делаю? Видишь ли, Гершон, Гершон Мирмлштейн, вот это человек — славный, положительный, солидный. Что называется человек. Вот что о нем можно сказать, — это человек. Одним словом — человек!.. Как ты думаешь, Мириам-Хая, если б я, к примеру, захотел заслать к нему сватов, что он сказал бы, а?

— Разве я знаю? Что я могу сказать тебе, Сендер? Что я знаю?

— Все-таки, как ты думаешь, Мириам-Хая? Я хочу выслушать твое мнение.

— Мое мнение? Я думаю, что... Я ничего не думаю.

Много у нас таких жен, которые ничего не думают или думают только то, что угодно мужу, что муж прикажет. Мириам-Хая была из тех жен, которые почитают мужа не столько из любви, сколько из страха. Сендера все в семье побаивались, начиная с жены и кончая самым младшим, баловнем Маркусом! Говоря языком «чрезвычайно интересных романистов»*, можно сказать, что Сендер был *деспотом, тираном...* Я прибавил бы еще слово «злодей», но злодеем он не был. Он был еврей как еврей, похож на всех евреев, которые господствуют у себя дома.

И раз уж мы о нем заговорили, расскажем кратко его биографию.

Когда-то Сендер был маленьким человеком, совсем маленьким. Это было давно, когда у него еще не было денег, когда его называли Сендер-меняла. (К чему скрывать? В прошлом он был менялой.) И натерпелся же он тогда от почтенных евреев — столпов общества, от золотой молодежи, богатых сынков. Ой, как же он от них натерпелся! Ой, как же он стоял перед ними: как холоп перед паном, и трясся, как в лихорадке! Ой, как же он им завидовал и, ой, как же он их ненавидел!.. А потом, когда он поднялся до ростовщика и от ростовщика — до торговца кожей, а из торговца кожей превратился уже в скорняка, из скорняка — в галантерейщика, из галантерейщика — в комиссионера, из комиссионера — в купца сахароторговца, в крупного купца, в богатого купца, и, наконец, в банкира, он стал расти все выше и выше в глазах своих знакомых. И тут он стал сбрасывать одно за другим свои прежние прозвища, как птица сбрасывает старые перья. И каждый раз он назывался по-новому: Сендер-грабарник, Сендер-галантерейщик, Сендер-оптовик. Один из его бедных родственников подарил ему от себя «л», и он стал называться ласкательным именем Сендерл. И наконец (много лет никто не знал его фамилии) — Сендер Бланк!.. Реб Хаимке, реб Зямке, реб Мейерл понемногу перестали задирать нос перед Сендером и начали вертеться во-

круг новоявленного богача. Сначала они давали ему почувствовать, что он выскочка. С ним, например, разговаривали так: «А, шолом алейхем [1], знакомый еврей! Кажется, Сендер? Что же у вас хорошенького? Говорят, у вас дела, не сглазить бы, очень хороши?» А потом стали добавлять: «Реб Сендер-сердце, мы, кажется, остановились с вами в одной гостинице? Заходите к нам вечерком», «А, реб Сендер, вы уже покидаете нас!», «У меня к вам маленькая просьба, реб Сендер: несколько тысяч рублей на два месяца...», «Ах, кого я вижу? Если б я знал, что вы здесь!..»

А затем:

«Мы хотим, весь город хочет, прямо умирает от желания выбрать вас старостой синагоги, гласным, депутатом, директором банка...», «Господин Бланк! Мы имеем честь просить, мы просим не отказать нам. Будьте так добры и войдите в наше положение, ведь вы же у нас, как это говорится, что-то...»

Вы понимаете или нет?..

Наш Сендер был не из тех, кто, захлебнувшись своим счастьем, начинает, как говорится, раздуваться. Нет! Он умел выслушивать все эти комплименты довольно равнодушно, скромно, как будто не заслуживал такой чести; он умел ответить, что не достоин их и что есть люди более заслуженные. Но где-то, в самой глубине души, он ликовал: во-первых, что дожил до такой чести, а во-вторых, что все эти собаки опустили хвосты и знают теперь свое место. Только с женой он любил иногда посмеяться:

— Что ты скажешь, Мириам-Хая, про реб Зямке, этого аристократа? Ха-ха-ха! Ты хоть помнишь его, черт ему в бороду?!

Ни жирный завтрак, ни даже хороший стакан вина не доставляли Сендеру такого удовольствия, как реб Зямке и подобные ему лица, когда они обращались к нему за помощью. Наилучшим образом и с величайшим почтением принимал наш Сендер высокого гостя в своем кабинете, усаживал его, предлагал папиросу, зажигал и подносил гостю спичку: «Что это вы так

[1] Здравствуйте *(еврейск.)*.

плохо выглядите?» Или: «Что это вас не видно?» Гость сидит как на иголках; он давно уже выкурил поднесенную ему папиросу; давно уже три раза откашлялся и восемнадцать раз приподнялся на стуле; он вытер пот, сам скрутил себе папиросу, другую, третью; несколько раз пытался приступить к делу, но каждый раз его прерывали на первом же слове. А Сендер все рассказывает о своих делах, о неаккуратных должниках, о своих тяжбах и говорит с большим удовольствием, так, точно гость просит его, просит, умоляет, чтобы он *все* рассказал, не дай бог, не пропустил ни одной подробности... Но всему на свете приходит конец, и человеческому терпению также! Гость, реб Зямке или реб Хаимке, ловит минуту и начинает прямо, быстро, залпом, не переводя дыхания:

— Я хотел вас просить, реб Сендер, вы же слышали, вероятно, что я закупил у помещика Шишинского всю пшеницу, и так как...

— Знаю, слышал! — прерывает его Сендер. — Слышал о вашем золотом деле. Я вам не слишком завидую, реб Зямке, не слишком! И вы знаете почему? Я вам объясню! Вот этот самый Шишинский четыре года назад хотел занять у меня пятьдесят тысяч рублей и даже на хороших условиях. Но я тогда возился с кашковским помещиком. История эта вот какая...

И Сендер начинает совершенно новую историю, еще на шесть часов. Реб Зямке уже взмок, с него стекают ручьи пота, он утирается полой и вздыхает, как несчастный узник, заключенный в темницу. Он прерывает Сендера:

— Вы меня простите, реб Сендер, что я вас перебиваю... Вы знаете, для чего я пришел к вам?

— Нет! Откуда мне знать?

Сендер Бланк хорошо знает, почему нанес ему визит реб Зямке, но делает наивное лицо и смотрит гостю прямо в глаза.

Реб Зямке оживляется и говорит довольно весело:

— Понимаете, реб Сендер, дело тут вот в чем: я купил пшеницу вдвоем с компаньоном, с Авромом Зальцвассером...

— С Авромом Зальцвассером? Боже вас упаси, реб Зямке! Это же плут, мошенник, злодей, душегуб! Представьте себе, два года тому назад, зимой, незадолго до хануки * или ближе к пуриму * — я точно не помню — приходит ко мне один человек. «Доброе утро!» — «Доброе утро!» Очень мило! И он стал наворачивать...

Реб Зямке кусает ногти, чешет голову под ермолкой. Он кашляет, застегивает кафтан, низко-низко надвигает на глаза ермолку. А Сендер рассказывает еще одну историю, не спеша, весело, приправляя ее довольно изящными остротами, и истории этой конца-краю нет! Реб Зямке подскакивает и обрывает его совсем уже невежливо:

— Понимаете, реб Сендер, я хотел у вас попросить взаймы на небольшой срок.

— Взаймы? — спрашивает Сендер, очень, очень удивленный, как будто ему сказали, что такому-то и такому-то достался большой выигрыш или на улице только что кого-то зарезали, случился пожар, вспыхнула эпидемия...

— Да, взаймы, — отвечает реб Зямке ни громко, ни тихо, а так — средне. Ему невдомек, чему это так удивляется реб Сендер. — Да, взаймы, до весны: немного, тысяч десять.

— Сейчас у меня нет, честное слово. Нет у меня сейчас денег, чтоб мне не знать ничего дурного, чтоб мне горя не видать, как и вам. Почему вы мне вчера не сказали? Вчера у меня как раз были деньги, но пришел человек от Гавриила Фелькенштейна и предложил дело. Так как в Титиковке строится теперь новая фабрика и Гавриил Фелькенштейн заключил контракт с компаньонами еще в прошлом году, когда титиковский лес...

И так далее — без конца; истории большие и малые, и все переплетены между собой, так что голова лопается...

И уходит себе реб Зямке, бедняга, без денег, обессиленный, измученный, весь в поту, и перед уходом должен еще выслушать нотацию от реб Сендера — вести дела надо не так, чтоб приходилось искать по-

мощи, не следует держать себя высокомерно, и надо остерегаться плохих компаньонов, и надо знать, как торговать и с кем торговать; и если бы спросили у него, Сендера, он бы, наверное, все выяснил и навел бы порядок во всех делах. Прощаясь, Сендер просит его заходить, — отчего же нет, — немножко покалякать... Реб Зямке бежит не дыша, боится оглянуться. Но проходит некоторое время, монета-то нужна... Что делать? И он снова идет к реб Сендеру: а вдруг, авось, может быть, мало ли что?! И опять повторяется та же история, и снова все то же! Так обходится Сендер и с реб Зямке, и с реб Хаимом, и с реб Ициком, и со всеми старыми знакомыми. Вот какое это животное.

Наш Сендер не хуже и не лучше всех других новоиспеченных богачей, мелких людишек, которые не знают никаких иных радостей, кроме наживы и тщеславия.

Здесь, собственно говоря, я должен бы немного остановиться на его происхождении. Кто он? Откуда? Кто его родители? С превеликим удовольствием я сделал бы это, если б хоть что-нибудь знал. Но может ли романист знать все на свете? И какой нам интерес? Прямо скажем, что́ нам до того, кто был дед Сендера или кто была его бабушка? Был его отец меламедом *, сапожником, бондарем или маклером? Мы знаем только Сендера, мы помним, что когда-то, не здесь будь помянуто, он был бедным евреем, менялой, торговцем кожей, торговцем зерном, а теперь... Теперь он *Сендер Бланк!* Присмотритесь к нему: может быть, он вам также немного знаком?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Трактует только об одном Маркусе

Пора, пора немного заняться и самым младшим из фамилии Бланк; пора читателю ближе познакомиться с нашим молодым героем, с красивым Маркусом Бланком, лучшим из отпрысков Сендера,

«Младший и лучший» — такого мнения о Маркусе был сам отец, и по двум причинам. Прежде всего, Сендер любил своих детей, когда они были еще маленькими, крошками, карапузиками. Но как только эти карапузики подрастали, наш достопочтенный Сендер начинал ненавидеть их, и ненависть эта росла и становилась все сильнее и больше. Он видел в них компаньонов, претендентов на состояние. Без ссор, без сцен, без затрещин не обходилось ни одно торжество, ни одна свадьба; отец рвал и метал, топал ногами, мать плакала, дети обливались слезами, — но в конце концов Сендеру приходилось раскрывать мошну и с дикими проклятьями отсчитывать необходимое количество денег.

Так водится у многих очень порядочных людей. Автор этих строк не однажды был свидетелем таких милых сцен, не однажды был посредником между отцом и детьми, когда спор шел всего лишь о нескольких лишних сотнях, которые могли спасти от голода и нищеты целую семью. Деньги отец в конце концов давал, но крови портил несчастным детям гораздо больше, чем на сотни... Когда я однажды из любопытства спросил у заупрямившегося отца, зачем понадобился ему весь этот тарарам, эти оскорбления, эти напрасные слезы, он совершенно серьезно ответил:

— Детям нельзя давать потачки. Ребенок — это свинья. Ребенка надо учить! Пусть знает, что рубль — это не собака; тогда он тоже будет знать, как обходиться с детьми и как надо беречь копейку в наше время...

Против такого рассуждения я, конечно, ничего не мог возразить...

Вторая причина, по которой Маркус был, можно сказать, дороже Сендеру всех остальных детей вместе взятых, состояла в том, что Мириам-Хая была второй женой Сендера и вся ее жизнь заключалась в дорогом единственном сыне.

«Ну и что же? — спросит у меня читатель. — Где же это написано, что детей от второй жены нужно любить больше других?»

Ну что ж! — отвечу и я. — Справедливо или не справедливо, но так уж повелось у многих порядочных евреев. Зачем же нам уходить от правды? Маркус действительно был замечательным ребенком, какие встречаются редко. Весь город прямо-таки носился с ним. Когда Сендер в первый раз привел в синагогу пятилетнего Маркуса, одетого в шелковую рубашечку, бархатные штанишки, в шитой золотом шапочке, его окружила толпа мальчишек-озорников, и каждый из них непременно старался потрогать его. С той субботы по всему городу пошла слава, что у Сендера Бланка есть сынок, такой сынок, которому не сыщешь равного. И лицом хорош и умен, — не сглазить бы только...

Хотел бы я нарядить в шелковую рубашечку, бархатные штанишки и шитую золотом ермолку мальчика балагулы Лейзера. Послушал бы я тогда всех этих лицемеров, которым приходится обращаться к карману Сендера. Они сказали бы, что сынишка Лейзера и красив, и умен, и нет ему равного. Но пока что перед нашими глазами младший сынок Сендера, и мы читаем на его белом лбу надпись, сделанную большими золотыми буквами: «Деньгами владея, скотиной останешься...»

А там, в сторонке, с куском белой булки в руке (едва дождался счастливой субботы!) стоит сынишка балагулы Лейзера — черный медвежонок, оборванный, босой, с неподвижным взглядом, и на его заросшем смуглом лбу написано обратное: «Скотиной владея, бедняком останешься».

Ах, зачем я не поэт?! Сидел бы я сейчас, объятый вдохновением, погруженный в мечты, и прекрасными, звучными стихами писал целую поэму, проникнутую элегическим настроением, насыщенную высокими философскими мыслями, но также и укорами творцу вселенной: ведь ребенок Сендера не более умен и талантлив, чем маленький мальчик Лейзера, почему же каждый подходит к Маркусу с готовой улыбочкой, каждый льстиво ущипнет его в щечку, а в сторону парнишки Лейзера никто и взглянуть не хочет, а если же он кому-нибудь попадется под руку, то его оттол-

кнут, щелкнут по носу, дернут за ухо или нахлобучат ему шапочку на самые глаза и сделают из него посмешище...

А позднее, когда мы дожили до бармицве* нашего маленького героя, Маркуса, мы не могли наглядеться на его прекрасное личико, и, хотя от него самого ничего особенно умного не слышали, нам рассказывали о нем такие чудеса, что мы воистину были восхищены этим мальчишкой. «Представьте себе, — так рассказывал меламед Хаим-Хоне, — мальчик задает мне такие вопросы, перед которыми я сам, реб Хаим-Хоне, уж на что человек ученый, представьте себе, становлюсь в тупик и не знаю, что ответить. Из этого ученика, несомненно, вырастет какой-нибудь гений и еще что-нибудь в этом роде...» Что уж говорить о радости Сендера и о счастье Мириам-Хаи, которая исходила слезами? Чем она заслужила у бога такое благословение? Чем она сподобилась такого утешения, на которое не нарадуются бог и люди? Не иначе, как предвечный смилостивился над ней, бедняжкой, прозябающей у Сендера почти на положении прислуги, — да простит господь такие речи! Не иначе, как это он послал ей исцеление душевных ран...

Но Мириам-Хая, видно, не заслужила у бога, чтобы ее сын действительно стал мировым гением. Пока меламед Хаим-Хоне был жив, Маркус был замечательный мальчик. Никто не мог его проэкзаменовать, потому что Хаим-Хоне на эти дела был мастер: он никому не давал и слова сказать — ни ученику, ни экзаменатору. Он говорил за двоих, он сам задавал вопросы и сам на них отвечал. И если экзаменатор спрашивал ученика, например: «Что тут имел в виду ученый?» — Хаим-Хоне, засучив рукава и размахивая руками, быстро отвечал:

— Ведь он же ясно говорит вам, что идолопоклонство совсем не то, что библейская рыжая корова! Почему? Потому, говорит он, что идолопоклонство — это одно, а библейская корова — совсем уже другое. Отсюда следует, он говорит, что ученый остановился на этом стихе, чтоб поставить, он говорит, дилемму: если,

говорит, идолопоклонство таково, то библейская корова, он говорит... тем более...

И этим своим «он говорит» Хаим-Хоне так заговаривал экзаменатору зубы, что тот чувствовал себя одуревшим, как человек, которого пробудили от крепкого сна и сказали: «Смотри!» Он смотрит, смотрит, ничего не видит и не знает, где, собственно, находится, что с ним творится.

Когда Хаим-Хоне умер и Маркус попал к другим меламедам, они стали замечать, что сын реб Сендера немного туго соображает, что он туповат и у него слабая память. К тому времени Сендер был уже очень богат и знал, что теперь на новый лад учат детей. Он тоже пригласил для Маркуса двух-трех учителей из «нынешних». Наш юный герой почерпнул у них всего понемножку, довольно поверхностно, но к семнадцати — восемнадцати годам мог считаться вполне приличным молодым человеком, не хуже многих других таких же юношей, которых мы знаем очень хорошо. Они прекрасно одеваются, у них много книг, на улице они говорят между собой только о Тургеневе и так кричат, что невозможно не обратить на них внимания. Газеты они читают разные, и тоже иногда пишут, правда, чужими руками, корреспонденции в еврейскую газету; став старше, они вам напомнят, что когда-то, в молодые годы, они писали в газетах. Одним словом, наш замечательный Маркус был бы юношей просвещенным, как все просвещенные провинциалы, он был бы «интеллигентом», обычным типом нахала, который берет красивую невесту с розовыми щечками и большим приданым, женится, делается милым зятьком, ростовщиком, затем мелким купцом, затем крупным купцом и, наконец, молодым богачом с несколькими детьми, которые получают точно такое же воспитание, какое родители дали ему. Итак... «Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки...» * Одно поколение сменяет другое, как один день сменяется другим... Но нет! Наш прекрасный герой имел другие устремления, цели у него были не те, какие мы назначали ему. Каждый человек имеет свои капризы, свои желания. Почему Маркусу Бланку быть

хуже других? Я вижу, читатели склонны думать, что тут дело не без красивой девушки, что, наверное, Маркус пламенно влюблен... Нет! Вы должны помнить, что мой роман есть «роман без романа»! Не стану клясться, что наш прекрасный герой, встретив какую-нибудь Розу или Елизавету, убежит от нее за тридевять земель. Не знаю. Возраст между восемнадцатью и двадцатью годами — самый опасный для молодых душ, и подобно тому как дитя, бедняжечка, должно перенести и прививку оспы, и корь, и прорезание зубов, так взрослые дети должны переболеть любовью. И зачем мы станем себя обманывать? Нам всем прививали оспу, все мы болели корью, все мы любили и, слава богу, перенесли эти болезни и остались здоровы. Но что я поделаю с моим юным героем, если с ним все-таки этого не случилось? Разве могу я его заставить: «Иди, мол, Маркус, влюбись, пиши страстные письма, вешайся, топись, только бы я имел материал для чрезвычайно интересного романа». Тем более, что у моего юного героя были совсем другие идеалы, другие цели, и добивался он их всеми средствами, всеми силами своего молодого здорового существа. Короче, мой Маркус хотел учиться. Коротко и ясно. Учиться, чтобы быть доктором, адвокатом, инженером. Учиться и только!

Когда и как возникла эта мысль в голове Маркуса, я не могу вам сказать, но письма, которые он писал одному из моих приятелей, Арье-Лейбу, написаны были с таким огнем, с таким жаром, так энергично, так искренне, что я ни на одну минуту не усомнился в том, что этот молодой человек своей цели добьется. (С одним из этих прекрасных писем читатель познакомился в первой главе нашей правдивой истории.)

Разумеется, отец ничего не знал об этой высокой идее, и, я считаю, хорошо, что Сендер не знал, какие мечты лелеет Маркус в своей душе: бог знает, как бы все это еще повернулось!

И вот Сендер занимался подысканием хорошей партии для сына, а Маркус, как уже сказано выше, писал пламенные письма Арье-Лейбу.

Именно в то лето, когда развернулись описываемые нами события, огонь в душе нашего героя разгорелся с особой силой.

Как раз в это время все учащиеся — гимназисты и студенты — съезжались на каникулы. Ах, как завидовал им наш бедный Маркус, как заглядывался на их золотые пуговицы, почти офицерские фуражки, студенческие тужурки. Как веселы, свободны, как счастливы эти люди и как скован, связан и несчастен он, бедняга! В то время как они чудесной летней ночью катаются на лодках и поют песни при серебристом свете луны, он, бедный, должен сидеть дома, выслушивая бесконечные истории отца, которые ему так приелись! Он просто закован в цепи, он в плену, его заперли и держат в тюрьме, его не выпускают на белый свет. За что ему смолоду такое наказание? Почему не может он вкусить сладость юности наравне с другими молодыми людьми? Почему для него все закрыто, все недоступно, запретно? Всем дозволено, только ему, Маркусу, нельзя! Он должен сидеть тут и погибать. До каких пор? Как долго еще это может тянуться?

С такими черными мыслями сидит наш бедный юный герой, опустив красивую голову на белые руки, а Сендер рассказывает очень интересную историю о том, как один компаньон втянул его в дело, как тот хотел облапошить его, как они оба пришли к помещику, как помещик попросил его сесть, как он прибрал компаньона к рукам и как помещик рассчитался с ним, сказав на прощанье: «Эй, Мошка, як семаш [1], пан Мошка?» Ха-ха-ха! Сендер смеется, и его тучное тело трясется от смеха. Мириам-Хая глаз не спускает со своего дорогого сына: с некоторого времени он так бледен, так грустен, не ест, не пьет. Что с ребенком?

— Что с тобой, Маркус? Что у тебя болит, мое дитя? — спрашивает преданная мать, заглядывая к нему перед сном. Она гладит его руку, на глаза ее набегают слезы.

---

[1] Как поживаешь *(польск.)*.

— Ах, отстань от меня! Ничего! Ничего! — Маркус выдергивает свою руку, и Мириам-Хая с глубоким вздохом уходит.

Скажите: удивительно ли, что наш благородный герой ожидал лишь случая, который помог бы ему освободиться? Удивительно ли, что он встретил бы этот случай с радостью? Удивительно ли, что и Маркус, наравне со всеми прочими нашими знакомыми из дома Сендера, с нетерпением ожидал того, что должно было произойти, о чем никто не говорил, но каждый в глубине своей души мечтал?

Любезный читатель, дорогой друг! Кто бы ты ни был и чем бы ты ни был — дай мне руку, и пожелаем друг другу, чтобы в тот момент, когда мы должны будем проститься с этим глупым миром, господь спас нас от печального положения, в каком находился наш почтенный Сендер Бланк, когда его милая родня съехалась навестить больного...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Родня Сендера понемногу съезжается

Мы оставили Сендера Бланка в кабинете после роскошного обеда. Сендер чувствовал себя не совсем хорошо: у него начались сильные рези, разыгралось настоящее сражение в животе.

— Плохо! Плохо! — сказал он Мириам-Хае. — Мне плохо! Мне очень плохо!

— Что же с тобой? Боже мой, Сендер!

— Не знаю. Вот тут у меня очень плохо.

И Сендер обеими руками показал на живот. Первым делом Мириам-Хая послала за врачом. Хотя Сендер не верит докторам и говорит, что вся эта игра (то есть медицина) только шантаж, фокусы, чтоб выманивать деньги, однако стоит заболеть у него пальцу, — он тотчас же посылает за врачом. Многие евреи как-то не верят в медицину, между тем она обходится им дороже, чем всем прочим людям на свете, верят они в нее или не верят — все равно!

У нашего уважаемого Сендера был свой врач, доктор Клигер, который в свободное время любил беседовать с ним о медицине. Доктор долго бился, пока вдолбил Сендеру, что точно так же можно умереть от болезни, как и расстаться с жизнью будучи здоровым. Эта истина в конце концов крепко засела у Сендера в голове, и с той самой поры он чувствовал, что жизнь его висит на волоске, хотя он здоров и крепок. Он ждал смерти каждый день и давно написал завещание, в котором все было рассчитано до последней копейки (это держалось, конечно, в тайне). Каждый прожитый день был для него подарком, и он доставлял себе все удовольствия, какие только существуют на свете. Он хорошо ел, славно выпивал, вдоволь отдыхал, в свое удовольствие высмеивал «нынешних» и «нищих», воздавал богу богово — это значит, молился каждый день, а иногда, если позволяло время, прочитывал два-три псалма и подавал милостыню (редко, очень редко). Ах, если б каждому из нас было дано, как нашему герою, выполнять свой жизненный долг и при этом жить так спокойно! Ах, как легко было бы нам расставаться с мирской суетой! Как приятна была бы для нас смерть! Подумайте сами: вот я завтракаю, закуриваю хорошую сигару, выпиваю добрый стакан пива, прочитываю несколько псалмов, подаю нищему пару грошей, беру чернила и ручку и делаю расчет: сыну — столько-то, дочери — столько-то, несколько рублей синагоге, несколько рублей, извините, в пользу бани и несколько гривен разделить между учениками талмудторы *, чтоб они кричали впереди погребальных носилок: «Правда пойдет пред ним...» Потом я довольно спокойно исповедуюсь и с легким сердцем и чистой совестью ложусь в постель, закрываю один глаз, потом другой и засыпаю... А назавтра — опять то же самое...

На этот раз, когда врач пришел к Сендеру, он нашел его в весьма плачевном состоянии.

— Моя болезнь не опасна? Смогу ли я еще проститься с детьми? — был первый вопрос, который Сендер предложил врачу.

— Если б ваша болезнь была так опасна, — ответил ему доктор Клигер вполне серьезно, — я не имел бы счастья с вами беседовать. Но за детьми пошлите поскорее. Вы исполните свой долг, тогда вы будете спокойны, — гора с плеч!

Сендер побелел как полотно, когда услышал заключение врача. Он задрожал, трепет пробежал по всему его телу: «Ой, конец мне! Конец мне! Это мой конец!..»

— Скажите мне, доктор, правду, чистую, совершенную правду: могу ли я хоть немного надеяться? Мне только пятьдесят три года! Мой отец прожил восемьдесят четыре года, моя мать — девяносто шесть лет, а мой дед, говорят, прожил больше ста лет. Почему же я должен умереть так рано?.. — И Сендер расплакался, как маленький ребенок.

Мириам-Хая упала в обморок, а Маркус, у которого было мягкое, доброе сердце, утер слезу.

Доктор Клигер развел руками, вытянул шею и сделал такую мину, какая бывает у путешественника, когда вдруг ломается ось и телега опрокидывается.

Все это подействовало на Сендера ужасно: ему живо представилось, как лопнула его внутренняя «машинерия». Он прислушался к тому, что происходило в животе, и решил, что желудок его действительно отказал навсегда. Сказать об этом врачу Сендер постеснялся и только попросил еще раз хорошо осмотреть его. Доктор Клигер приложил ухо к животу больного. Во время осмотра доктор не проронил ни слова, только пожимал плечами, качал головой, шмыгал носом, долго-долго думал, смотрел больному в глаза, вздыхал, снова качал головой, пожимал плечами и так далее. Сендер Бланк внимательно следил за доктором, и капли пота — холодного пота — выступили у него на лбу. Затем доктор вскочил, энергично высморкался и сказал:

— Мой любезный господин Бланк! Вы знаете, что я ваш друг и сделаю все возможное. Но вы-то будете меня слушаться или нет? Пригласите еще одного врача, мы устроим консилиум. У нас в медицине есть хорошая пословица: ум — хорошо, а два — лучше.

С этими словами он попрощался с больным и его близкими и быстро вышел из кабинета. Сбежав по лестнице, он нашел внизу Фройку, который держал наготове пальто. Фройка не выдержал и спросил:

— Как хозяин?

Доктор Клигер ответил ему по-латыни, сладко улыбаясь (доктор Клигер очень простой, очень обходительный человек и держит себя со всеми по-приятельски):

— Ничего, немножко гаргулес, немножко плериз ксухатива, но все будет в порядке... Доктор Клигер не дремлет!..

— Черт его знает, где он берет эти турецкие слова! — проворчал Фройка и запер дверь.

Мы точно знаем, что Фройка не состоит в родстве с Бланками. Но так как он служит здесь уже лет семь-восемь, то держит себя с ними, как свой, почти как дальний родственник. Поэтому Фройка считает, конечно, про себя, что по справедливости ему тоже причитается кой-какая доля наследства. По-своему он вполне прав: работал он, как лошадь, и за все время своей верной службы не получил от хозяина никакой награды, буквально ни гроша. Больше того, Сендер заставлял Фройку после рынка отчитываться до копейки! Фройка был всей душой предан хозяину и пошел бы за него в огонь и воду. По этой причине он зарился теперь на три дюжины серебряных ложек, большую серебряную шкатулку, хороший янтарный, в золотой оправе мундштук, цена которому, по его расчету, по крайней мере тридцать пять рублей, на дюжину крахмальных рубах и тому подобные мелочи. Авось в суматохе наследники и не заметят этого.

Но особенно очаровали Фройку золотые часы Сендера на массивной золотой цепи. Эту цепь Сендер Бланк сам заказывал на фабрике, поэтому она и была такая массивная. Фройка не однажды держал цепь в руках, надевал на себя часы, смотрелся в зеркало и любовался собой. Фройка, конечно, не был вором, избави бог! Пусть лежит золото, он не тронет! «Но после смерти хозяина, — решил Фройка, — когда

все будут брать, я тоже возьму: кто подумает о бедном Фройке?» И теперь, когда Фройка увидел, что хозяин дышит на ладан, у него сердце заколотилось от страха. Сидя внизу, в ожидании, что его вот-вот пошлют за погребальной братией, Фройка прикидывал в уме, что ему следует взять. Когда дело дошло до часов с цепью, он задумался. Что делать: продать их, взять часы себе, а цепочку подарить Блюмке (своей невесте), или, быть может, сделать для Блюмки из цепочки серьги с брошью?

«Дзинь! Дзинь! Дзинь!» — послышалось сверху.

Фройка стрелой помчался наверх и через несколько минут спустился с двумя телеграммами, которые следовало срочно отправить детям. Несмотря на то, что ему десять раз наказывали: «Бегом! На одной ноге!» — тем не менее Фройка разрешил себе на минуточку присесть и посмотреть, что там, в этих телеграммах, написано.

К чести верного слуги мы должны заметить, что за пять лет, в течение которых у Бланков в доме перебывали различные учителя, Фройка немного научился читать и писать по-русски. Нельзя сказать, чтоб у него были такие уж блестящие способности. Поэтому и сам Маркус довольно много с ним повозился, покуда Фройка научился читать по складам и подписываться: «Фройка Крокман». Но получалось у него «Манфройкеркокер». Зато в арифметике Фройка был силен, и кто знает, какой вышел бы из него математик, если б отец его, Копл Крокман, не был трубочистом и не умер с перепоя, а перед смертью не отдал Фройку в учение к кузнецу, а кузнец не бил бы его каждый день, как собаку, и если бы Фройке не пришлось быть дворником, а затем лакеем у Сендера Бланка? Самую трудную задачу Фройка решал в уме, поражая этим хозяина.

Итак, наш просвещенный лакей поднес к глазам телеграммы и, простояв у окошка добрых полчаса, кое-как сложил:

— Бэ... о... эл... е... болен... Болен!.. О... пэ... эс... н... опасно... Очень опасно! Опасно! Значит, вот-вот умрет. Ага?

И мысли Фройки опять запутались в тяжелой цепи с золотыми часами. На телеграфе Фройка все же показал телеграммы какому-то рыжему еврею и попросил прочитать их и объяснить, что там написано.

«Ах, если б меня учили в молодые годы!» — думал Фройка, опуская в задний карман два рубля сорок копеек сдачи с тем, чтобы они там остались. Кто же сегодня заметит, есть ли сдача? Но как же он был поражен, когда, войдя к тяжелобольному Сендеру в кабинет, тут же услышал:

— Сдачу, Фройка! Два рубля сорок копеек.

«Он даже подсчитал уже, старый черт!» — подумал Фройка, выкладывая на стол два рубля сорок копеек, и с тяжелым сердцем удалился восвояси.

На другой день приехал старший сын Сендера, Хаим Бланк, со своей женой Соней и двумя маленькими девочками — восьмилетней Фаней и Маней, лет шести.

Насколько самому Сендеру в делах везло, настолько не везло его детям. Когда Хаим ушел от отца, на иждивении которого он жил вместе с женой, у него было накоплено несколько тысяч.

— Помни, Хаим, — сказал ему отец, — я долг свой выполнил. Достаточно я постарался для тебя: вырастил, женил, дал денег, пять лет содержал тебя с женой, — чего ж еще? Ты от меня ничего не можешь требовать. Сейчас у тебя со мной уже мало общего: у меня еще дети, дочь с мужем на иждивении, я должен женить младшего сына. Поезжай себе с богом и будь счастлив! Если будешь бережлив, у тебя будут водиться деньги и с божьей помощью тебе будет хорошо. Смотри, береги рубль, — будешь человеком!..

Когда Хаим остался без денег, он не хотел писать отцу, прекрасно сознавая, что из этого ничего не выйдет. Но когда все в доме распродали, дети просили хлеба, а хлеба не было, Хаим сел и написал:

«Любимому, дорогому отцу, богатому, прославленному, мудрому, высокоученому реб Сендеру, да святится имя его,

Уже более двух лет, как я остался без копейки, но тебе об этом даже не заикнулся. Ты уже понимаешь сам, должно быть, что у меня денег нет... Что я говорю? Дети, моя жена и я, — мы умираем с голоду... Я здесь чужой... Понимаешь?.. Нет слов. Такие дети, как у меня, мне кажется... И жена у меня не расточительная, как другие... Не знаю. Наоборот, насколько возможно... Если бы не этот Файферман, этот злодей... Он у меня выманил три тысячи рублей... Три тысячи наличными! Других дел здесь нет! Может быть, там, в твоем городе, где меня знают, известно, кто я... Говорят, что Яков-Мойше Цукерштейн выиграл десять тысяч рублей... Поклон дорогой матери Мириам-Хае, дорогой сестрице Ривке с ее дорогим супругом Иосифом Земелем, их детьми... Как сейчас их дела? Привет брату моему, просвещенному, мудрому Маркусу, да здравствует он. Будьте здоровы и счастливы, как вам того желает

твой сын *Хаим Бланк.*

Я забыл тебе сообщить, что супруга моя Соня, дай ей бог здоровья, не совсем здорова, а моя младшая дочка, Манечка, болеет оспой.

Вышеупомянутый *Хаим*».

Каждый день Хаим Бланк наведывался на почту и только через две недели получил ответ.

— Письмо, Соня, письмо из дому!

Соня хотя и поднялась, но едва держалась на ногах, девочка все еще болела. С большим волнением уселись читать долгожданное письмо.

«Дорогому сыну моему, мужу ученому, реб Хаиму, да святится имя его, и дорогой супруге его Соне, да здравствует она со своими чадами и домочадцами.

Прежде всего извещаю вас, что мы все, слава богу, в добром здоровье, дай бог то же слышать и от вас, аминь! Во-вторых, я не понимаю, чем я провинился перед тобой, за что ты принес мне такие огорчения, омрачил всем нам праздник. Пусть скажут люди, не сделал ли я все, что мог, как самый лучший отец. Поэтому, дорогой сын, я прошу, не

сокращай дней моих и не пиши таких писем. А сюда тебе приезжать незачем, так как без денег в нынешнее время никакого дела сделать нельзя и такие файферманы, которые выманивают деньги, водятся всюду, на всем белом свете. Что делать? Тяжелые нынче времена! Все-таки, если б ты был человеком, ты не дошел бы до такого состояния. Твой зять Иосиф Земель имеет сейчас очень большое дело и, говорят, загребает груды золота. Я живу здесь больше тридцати лет, и мне ни разу еще не попалось такое счастливое дело, как зятю Иосифу, да святится имя его, там у него в городе. Говорят, он покупает дом за двадцать тысяч рублей, — да поможет ему бог, я желаю ему этого от всей души. Теперь мне предстоит серьезное дело: надо женить Маркуса, дать ему тридцать тысяч рублей приданого и квитанцию* тысяч на шесть. Затем одежда и свадебные расходы! Я отремонтировал дом, и это мне влетело без преувеличения в десять тысяч рублей! Была у меня еще в гостях дочка моя Ривка с ребенком (замечательный ребенок!), пришлось сделать подарок в пятьсот рублей. Откуда же взять все это? Привет твоей супруге с детьми

от меня, отца твоего, *Сендера Бланка».*

Еще год, — тяжелый год, — промучился Хаим, пока наконец нашел должность на пятьдесят рублей в месяц. А через год заметили, что Хаим честный человек и преданный работник, и прибавили еще пятьдесят рублей. Но зато работал он в поте лица своего, целиком продался своему хозяину, проводил в лесу дни и ночи (в этом и состояла его служба).

В таком положении находился Хаим, когда получил вдруг срочную телеграмму, вызывавшую его к отцу. Хаим не мог оставить службы ни на минуту, но о чем говорить, если отец опасно болен и просит приехать?

Когда Хаим, войдя в кабинет отца, упал ему на грудь, на глазах Сендера показались слезы. Он подозвал к себе невестку, спросил: «Как поживаешь?» — и протянул внучкам руку для поцелуя. Потрепав их

по щечкам, Сендер отпустил внучек, обрадованных разрешением поиграть. Дети устремились во двор — у деда был такой большой двор, — обежали и его прекрасный сад. Но внизу их перехватил Фройка и, подарив по мармеладке, принялся расспрашивать: как девочек зовут, сколько им лет, что делает отец, мать, такой ли у них большой дом, как у деда, умеют ли дети читать и писать. Старшая девочка, Фаня, оказалось, бегло читает не только по печатному, но и по писаному — Фройка не поленился и тут же на месте ее проэкзаменовал. Достав из кармана кусочек бумаги и карандаш, он нацарапал: «Манфройкеркокер». Дети с хохотом и визгом, выкрикивая «Манфройкеркокер», убежали в сад. Как только наш прославленный Фройка услышал это, в сердце его зажглась ненависть к девочкам и их родителям.

Спустя два часа Хаим зашел к Маркусу повидаться, и тот подробно ознакомил его с достопримечательностями своей библиотеки. Юный герой наш так рад был гостю, что забыл и спросить, как его дела. Хаим, со своей стороны, за время, пока брат болтал, не проронил ни слова. А Соня? Соня сидела с Мириам-Хаей в уголочке, и они тихо беседовали о домашних делах: о негодницах-служанках, о детской одежде, она так дорого стоит, о курах, гусях, утках — чего ни коснешься, все на вес золота!

— Как-то я велела принести яиц, — рассказывала Мириам-Хая невестке, и обе преисполнялись негодованием. — У меня уже установленная цена — семьдесят копеек, разве только перед пасхой я плачу рубль, рубль пятьдесят — не больше. Сосчитала яйца, три сотни. Я хотела испечь торт в десять фунтов. Хотя за неделю до того я напекла полный шкаф сухарного печенья, но в три дня его не стало. Заподозрить служанку я не могу: честная еврейка, пошли мне бог такой год... Постой, ты должна знать, она служила у меня шесть лет тому назад, Злата...

— Ой! Злата! Мамаша, у вас Злата?

— Вот-вот, Злата! Она развелась уже с мужем и опять вышла замуж.

— За кого, мамаша?

— А бог его знает за кого! Какой-то шарлатан, выродок. Он как будто портной, этот курносый болван!

— Может быть, Мордхе, сын Ципойры? Ой, кажется, я угадала, мамаша.

— Да откуда ты знаешь, Соня?

— А где теперь Ципойра? Она в служанках, бедняжка?

— Ох, что ты, что ты! Она давно уже умерла!

— Ой, Ципойра умерла?! Что вы говорите, мамаша! Ай-яй-яй!!!

Бог знает куда занесло бы наших уважаемых дам, вернулись ли бы они к трем сотням яиц, либо, перескакивая с предмета на предмет, унеслись совсем уж далеко, как вдруг вошел Фройка и сообщил, что приехал господин Осип Земель с мадам и ребенком, а с ними еще какая-то старая женщина.

Мои читатели удивляются, наверно, что в такой момент, когда старик лежал на смертном одре, наши высокочтимые дамы не нашли другой темы для разговоров. Но тише! Нечего удивляться: такая интересная тема, как хозяйство, — а сюда входят и куры, и яйца, и петрушка, и всякая всячина, — захватывает. Автор этой книги видел своими глазами, как почтенная дама собралась в театр, честь честью, как полагается, даже билет купила в первом ряду партера за три рубля пятьдесят копеек. По дороге она увидела вдруг солдата, прятавшего под шинелью белого петуха. Солдат почему-то все оглядывался, и даме пришло в голову спросить, может быть, даже в шутку:

— Что хочешь за петуха?

— Двадцать пять копеек серебром!

— Возьми двадцать! — все также шутя предложила дама, останавливаясь на минуточку, как бы между прочим, посмотреть, что за петух.

— Пожалуйте деньги-с! — ответил служивый.

И дама недолго думая повернула домой с солдатом и петухом.

Только в третьем акте, взглянув в бинокль, я увидел, что дама моя все-таки пришла в театр, лицо ее сияло необыкновенно.

Вернувшись домой, я вспомнил, что завтра канун Судного дня, и мужчинам для капорес* нужен белый петух...

«Счастливый муж! — подумал я. — У тебя самая преданная жена на свете!..»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ревекка и ее приключение, Осип Земель и его наследство

Когда семья Земель вошла в дом, мадам Земель молча прижалась к груди мачехи, потом невестки и в верхней одежде, как была, устремилась к больному отцу. Однако муж Ревекки с детьми, тещей и свояченицей остались внизу. Почему господин Земель не сразу проследовал к тестю, мы скоро узнаем, а пока воспользуемся случаем и познакомимся с ним поближе.

Совершенно невозможно определить, красив ли этот молодой человек двадцати восьми лет. Глаза его прикрыты дымчатыми очками, волосы и даже вьющаяся борода выкрашены и напомажены. Воротник сорочки накрахмален так, что господин Земель не может шевельнуть головой и должен поворачиваться к вам всем своим длинным и тощим туловищем. На его белоснежном жилете — несколько цепочек с брелоками, на трех пальцах руки четыре кольца и большой перстень. При этом ботинки пронзительно скрипят, как говорится, хоть святых вон выноси. Нашему замечательному герою не сидится на месте: даже когда Осип беседует с кем-нибудь, он шагает по комнате, засунув руки в карманы. Да, мы едва не забыли отметить, что в его дорогом галстуке торчит золотая булавка со свиной мордочкой и красиво выточенными ушками, а ноготь на мизинце левой руки длинный-предлинный.

— Как поживаете, Софья Абрамовна? — обратился Осип к своей уважаемой свояченице, подсажи-

ваясь к ней. (Мириам-Хая удалилась с детьми в зал.) — Давно мы не виделись с вами!

— Да, Осип Моисеевич, — ответила Соня, разглядывая уважаемого деверя, — очень давно! Много воды утекло с тех пор. Многое пришлось пережить! А как ваши дела? Отец как-то писал нам, что счастье буквально по пятам гонится за вами. Не знаю, как сейчас. Говорят, будто ваши компаньоны нехорошо обошлись с вами? Впрочем, как и с нами... Этот злодей Файферман...

— О, Софья Абрамовна, — и Осип, вскочив со стула как ужаленный, зашагал по комнате, поскрипывая дорогими ботинками. — О, вы еще не знаете, какие жулики водятся на свете! Они хотели меня разорить, вырвать у меня тысячи, сотни тысяч, миллионы! Честное слово! Но я вывернулся все-таки из их рук и спас капитал. Дело, конечно, приостановилось на некоторое время, но я не сплю и с божьей помощью своего добьюсь. Я думаю, нынешний год вернет мне все, что отняли компаньоны... Ну и дом влетел мне в добрых пятьдесят тысяч... Кучу денег отвалил за один только сад... Садовник получает у меня пятьсот рублей в год. Ну, а выезд? А прочие расходы? Во что мне ежегодно обходятся родственники, да и чужие? Честное слово! Я знаю, можно бы...

— Ну, а в карты вы все еще играете? — спрашивает Соня, сладенько улыбаясь.

— Боже упаси! — отвечает Осип с видом человека, незаслуженно оскорбленного. — Упаси меня бог! Разве только изредка, в свободное время, в долгий зимний вечер. Делать нечего, ну и сядешь как-нибудь за зеленый стол. И то, вы, наверно, помните, я никогда не проигрываю, наоборот, всегда выигрываю, честное слово! (И Осип рассмеялся, обнажив свои черные зубы.) Недавно, возвращаясь из Одессы, в вагоне первого класса конечно, я познакомился с одним молодым человеком. Он и спрашивает, кто я. Я говорю такой-то и такой-то. Он говорит: «Вот как? Так мы же знакомы!» Тогда я спрашиваю: «А каким образом?» Он отвечает: «Мой отец в прошлом году закупил у вас пшеницу, на сто тысяч». — «Но кто же

ваш отец?» — спрашиваю. Он называет себя. Короче, туда-сюда, сели играть. И представьте, до Киева он выложил пятнадцать тысяч рублей. Он побледнел как смерть, и я же должен был дать ему на дорогу пятьдесят рублей. Ха-ха-ха! Даю вам честное слово!

Но тут вернулась Ревекка и опять начались поцелуи и объятья. Целовались они с Соней, как две любящие сестры, встретившиеся после десяти лет разлуки, привел бог наконец встретиться и излить души. Ах, в этот трогательный момент наши уважаемые дамы совсем забыли, что царапались, как кошки, когда Земели жили еще у Сендера, и целый год были в ссоре из-за того, что Ревекка сказала, будто Соня украла у нее носовой платок, а Соня, в свою очередь, назвала ее мужа картежником. Весьма возможно, что в эту минуту они от всей души простили друг другу прежние ссоры, оскорбления, обиды и что таких друзей, как наши уважаемые дамы Ревекка и Соня, в эту минуту не было на всем белом свете. Трудно было уловить все, о чем они говорили. Они щебетали, как птички, и открывали и доверяли одна другой такие тайны, в которые не посвящали даже своих преданных мужей. Отрадно сидеть в стороне и созерцать, как красота, грация, добродетель и невинность сливаются воедино, вызывая в нас одновременно и восторг и зависть.

Лишь спустя полчаса Ревекка оторвалась от Сони, позвала Осипа и шепнула ему:

— Зайди к отцу, Осип, но придержи язык! Он уже знает тебя, поверь мне! Если он будет ругать тебя, смолчи на этот раз, чтоб потом не каяться. Помни!

Осип притворно рассмеялся, и Ревекка сказала, на этот раз вслух:

— Иди, Осип, отец хочет тебя видеть!

Задрав голову и скрипя ботинками, Осип вышел.

Как Сендер Бланк принял его и о чем они говорили, знает только Фройка, который подслушал разговор достопочтенного тестя с возлюбленным зятем, стоя за дверью.

Наши читатели напрасно будут порицать этого неверного слугу, имевшего дерзость подслушивать, о

чем говорят между собой господа. Нет, вы должны простить одинокого беднягу, который нанялся, что продался. Он несчастный раб, он должен подчиняться каждому. Это наша высокочтимая Софья Абрамовна послала его подслушать, о чем говорят, и обещала такую сумму, о какой он и мечтать не смел...

Через несколько часов Блюмка (невеста Фройки) тоже знала уже, что больной реб Сендер ругал зятя, как собаку, а Осип стоял, как чучело, выпучив глаза, и не промолвил ни слова. Много интересных вещей рассказывал Фройка своей возлюбленной невесте, заедая рассказ тортом, орехами и другими яствами, извлеченными из карманов.

Пусть не подумают читатели, что наш Осип не мог бы возразить тестю или молчал из уважения. Ну, нет! Осип умел заговорить и десять человек. А что касается уважения, и это под сомнением. Когда Осип сидел у тестя на хлебах и сам в то время был богат, тесть оказывал ему уважение. Не приходится говорить, как возросло расположение Сендера, когда Осип с Ревеккой зажили самостоятельно и старик узнал, что зять делает блестящие дела. Он писал детям довольно часто и время от времени даже посылал Ревекке дорогие подарки. «Зятю Сендера подходит быть большим богачом,— говорил старик,— у него и вид миллионщика».

Первое дело, за которое взялся Осип, была торговля зерном. Случайно ему повезло, и он заработал изрядные деньги. Хвастаясь суммой вдвое большей, чем получил, Осип заслужил всеобщее уважение. Тут он еще больше размахнулся — хлеб был тогда в цене — и закупил крупную партию пшеницы сроком на год и на два. Неожиданно пшеница упала в цене. Но Осип не пал духом — он ссыпал зерно в амбары и держал его до тех пор, пока половина сгнила, остатки ему пришлось продать за полцены. Когда Сендер узнал об этой истории, он написал письмо, полное колкостей: так не торгуют, надо уметь выбрать момент, следует быть осмотрительным, не зарываться. Осип ответил, что никто не умеет так торговать, как он, и его удивляет, что такой человек, как тесть, не видавший в

глаза и пуда пшеницы, учит его. Письмо это Сендер в сердцах изорвал, как вдруг пришла телеграмма от Ревекки, извещавшей о смерти бабушки, богатой вдовы, оставившей Осипу в наследство сто шестьдесят тысяч. Сендер сменил гнев на милость и настрочил детям письмо:

«Достопочтенному зятю моему, богатому, богобоязненному, мудрому, просвещенному Иосифу, господину Земелю, да святится имя его.

И почтенной дочери моей, богатой, благочестивой, мудрой, просвещенной, прославленной Ревекке, да здравствует она.

С большим волнением прочитал я вашу телеграмму и скорблю душой, что твоя прославленная бабушка, моя высокочтимая сватья, еще совсем молодой ушла из мира сего. Да покоится душа ее в кущах райских! Но разве может человек помочь своим плачем и тоской?! Должно быть, на то была воля божья, и тебе свою преданную бабушку не воскресить, дай ей бог царствие небесное. А вы молоды, и жизнь ваша впереди, зять мой дорогой и дорогая дочь. Не предавайтесь печали и забудьте; и дай бог, чтоб мы большего горя не знали, как и весь народ израильский; и чтоб более молодые не умирали — аминь! Я бы хотел, дети, чтобы деньги лежали в банке, пока вы, с божьей помощью, немного придете в себя и вам подвернется какое-нибудь хорошее дело. Я думаю, процентов с такого капитала должно вам хватить на жизнь. Тем более что, как вы знаете, я работаю и для вас, своих денег я в гроб с собой не положу, человек не живет вечно... Будьте здоровы и счастливы и да будет мне от вас больше радости, чем от моего сына, бедняги Хаима, который не хотел слушаться... Сердечный привет вашему милому ребенку.

От меня, вашего преданного отца

Сендера Бланка.

Супруга моя, Мириам-Хая, всем вам сердечно кланяется.

Сендер Бланк».

Этому письмецу Осип очень обрадовался, еще никогда тесть не писал ему так: «богатому, богобоязненному, мудрому, просвещенному». И он, в свою очередь, ответил тестю по-древнееврейски, очень цветисто и со множеством ошибок. Так состоялось примирение, и длилось оно до тех пор, пока наш милый Осип Земель не потерял все свои деньги. И покуда он не спустил последнего рубля, он не успокоился. Однако, спустив все, он и тут не пал духом, наоборот, почувствовал, что у него словно легче стало на душе. Уж под такой счастливой звездой родился наш славный герой — почти всю свою жизнь получал одно наследство за другим. И не успевал он растранжирить одно наследство, как сваливалось другое: от бабушки, от дяди, от тети! А мы с вами, любезный читатель, не сподобились иметь таких бабушек, дядюшек и тетушек, которые помянули бы нас добром... Нет! У нас с вами другие удачи: выдать замуж бедную племянницу, поддержать дальнего родственника, помочь бедняге-погорельцу из жениной родни или проводить в солдаты троюродного брата. Черт знает что!.. Не о чем говорить, дорогие читатели!..

. . . .

Нельзя сказать, что Ревекка жила с мужем в мире и полном согласии. Правда, будучи невестой, она почти влюбилась в своего красивого богатого жениха. Ей было только пятнадцать лет, и все же она поняла, что ее ожидает большое счастье. Об этом говорил весь город, так оно и было. Мойше Земель — большой богач, и подарки, которые он посылал невесте сына, были действительно великолепны, а письма жениха так красноречивы, полны такого огня, что молодая, здоровая, красивая Ревекка, знакомая со всеми наиболее известными романами, не могла не влюбиться в своего жениха, цветущего молодого человека двадцати лет. Не одну ночь пролежала влюбленная Ревекка вся в слезах: в своем воображении она видела Земеля доблестным героем, блестящим, мудрым мужем, и каждый день, каждый час, каждая минута тянулись для нее так долго, так

долго! Правда, раза три она виделась со своим женихом, и он показался ей не совсем таким, каким рисовало воображение. Ревекка не находила в нем ни ума, ни красоты, ни образованности. Наоборот, она даже заметила какие-то низменные черты, некоторую мелочность и часто ловила его на лжи. Все же она полагала, что он только избалован окружавшей его роскошью. А когда Осип уезжал и снова присылал свои пламенные письма, она опять принималась фантазировать, и вместо реального Осипа появлялся красивый, добрый, дорогой жених, подлинный герой!

С большим трепетом считала Ревекка дни, оставшиеся до свадьбы, а тут еще шились дорогие и красивые платья — наш многоуважаемый Сендер Бланк раскошелился: нельзя же, не дай бог, ударить лицом в грязь перед таким сватом, как Мойше Земель. И еще месяц, еще неделя, еще два дня, еще день, еще ночь, еще час, еще минута — и вот жених уже здесь! Венчанье... Музыканты... Бал... Танцы... Подвенечное платье... Подруги... Свадебный ужин... Прощание... И конец свадьбе...

Первый месяц, медовый месяц, как его называют, это весна для молодых супругов. Весь мир сотворен для того, чтобы их радовать. И даже водовоз, оставивший дома больную жену и голодных детей, выглядит в их глазах радостным, и нищий, который стоит, опершись на палку, с непокрытой головой и протянутой рукой, — ах, как это прекрасно! Ах, пусть это длится вечно!..

Но ничто, ничто не вечно! Весна проходит, медовый месяц проходит, — все проходит! Через пять недель после свадьбы Ревекка заметила своему возлюбленному Осипу, что у него слишком уж скрипят ботинки, просто шум в ушах и голова болит... Осип ответил, что это не больше, чем глупый каприз, честное слово! Ревекка сказала: она не знает, кто из них глупей, а кто умней. Осип вспыхнул и с гневом возразил, что таких умниц, как она, он уже видел, колкостей он не любит, и все, что она знает, он давно забыл... Честное слово!.. Ревекка, в свою очередь,

разозлилась и ответила, что не видит его ума и образованности, начитанна она больше него, а быть надутым гордецом в красивой глаженой рубахе и с пустой головой особого труда не составляет... Осип подскочил от обиды и стал попрекать ее невеждой-отцом, у него нет даже того, что валяется в мусоре у отца Осипа Земеля. Честное слово!.. Ревекку это особенно задело, и она объявила, что, если ему не пристало быть зятем бедного тестя, он может подобру-поздорову отправляться к своим богатым родителям хотя бы сегодня. Ревекка за ним не побежит... Осип с вызывающим видом, заложив руки в карманы, шагал по комнате: что ж, он и уедет к своим славным родителям, его очень мало трогает, что Ревекка за ним не побежит; таких благородных дам он уже видел, даже более красивых, умных и образованных... Честное слово! Этого Ревекка уже не могла перенести. Она расплакалась и закричала не своим голосом:

— Вон, вон, шарлатан! Убирайся с глаз моих! Видеть тебя не могу! Вон!!!

Не позже чем через полчаса наш Осип стоял уже на коленях перед своей драгоценной Ревеккой, просил прощения и признавал себя виноватым перед дорогой, дорогой женой. Он не годится ей в подметки, не стоит ее мизинчика, ее носового платочка, он готов пожертвовать собой ради ее красивых светлых глаз, готов жизнь отдать за одну ее улыбку, все, все, что он говорил, — вранье. Честное слово!..

Сцены эти повторялись все чаще и чаще, и, наконец, Осип был вынужден на три месяца уехать к отцу. И хотя он клялся когда-то, что и двух часов не может прожить без Ревекки, разлука не повредила ему, благодарение господу, он перенес ее и не умер. Наоборот, говорят, он даже поправился немного в родном городе, среди своих старых знакомых. А злобные люди, враги, поговаривали, что он якобы заглядывается на свою кузину, очень красивую девушку, которая только и ждет (о злые языки!), чтоб Осип развелся с Ревеккой. Эти сплетни дошли и до несчастной, покинутой Ревекки Бланк, она же Ревекка Земель, изрядно измученной терзаниями, — любви

или ненависти, кто скажет? Бог знает, что вышло бы из всего этого, если б мадам Ревекка Земель не получила такую телеграмму:

«Передать Ревекке скончался папенька оставил 300 000. Сердечно сокрушен. Приезжай. Осип Земель».

Когда пришла эта телеграмма, наш прославленный Сендер Бланк обедал. Тем не менее он тут же удалился с дочерью в кабинет, где они оставались около получаса. Когда они вышли, глаза у Ревекки были заплаканы. Ни за какие деньги не поехала бы она к мужу! Но кто не знает, как мягкосердечны женщины, как жалеют нас, мужчин, даже когда мы дурно обходимся с ними?.. Осип, бедный, осиротел, бедняжка совсем один в таком тяжелом горе, в таких тяжких испытаниях... От слез у Ревекки горели щечки. Приодевшись и проходя по залу, Ревекка невольно задержалась, разглядывая себя в зеркале. На ее хорошеньком личике появилась улыбка: «Еще ничего все-таки». Позднее, когда Ревекка сидела в вагоне и курьерский поезд мчал ее туда, к возлюбленному супругу, ее одинокому Осипу, с ней приключился случай, о котором мы не можем умолчать, хотя бы кратко должны мы рассказать о нем нашим читателям.

Войдя в вагон, Ревекка раза два прошлась взад и вперед, разыскивая место поудобнее. Наконец нашлось одно местечко у окна, напротив молодого человека, углубленного в чтение. Поезд уже давно двинулся в путь, а молодой человек все не отрывал глаз от книги. Хотя Ревекка была женщиной общительной и не любила сидеть молча, все же она не хотела первой заговорить с vis-à-vis [1].

Опершись на локоть, она призадумалась. В это мгновение молодой человек закрыл книгу, собираясь вздремнуть. Глаза его невольно остановились на молодой женщине, на ее белоснежной обнаженной ручке — Ревекка была божественно хороша в эту минуту.

---

[1] Сидящим напротив *(франц.)*.

Сон соскочил с молодого человека, он пожирал глазами сидящую напротив красавицу.

— Далеко едете, мадемуазель?

При слове «мадемуазель» Ревекка порозовела и сделалась еще лучше. Она ответила, и вскоре завязался длинный разговор, из которого Ревекка узнала, что молодой человек — еврей, студент, очень славный, умный и веселый малый. Студент рассказывал множество анекдотов, а Ревекка от души смеялась, к большому удовольствию молодого человека, любившего повеселиться и повеселить других. Ревекка тоже не молчала и, со своей стороны, поделилась несколькими интересными историями. Молодые люди беспрестанно смеялись, на остановках они выходили вместе, ели, пили, лакомились — всё вместе. На одной остановке пришлось ожидать поезда целых три часа. Наши молодые путешественники гуляли по платформе под руку, и студент держал какую-то речь, очень длинную и красивую. Ревекка в первый раз слышала такие слова, даже в лучших романах она этого не читала. Новый мир открылся перед ней, огромный, прекрасный, светлый мир!.. И солнце в небе сияло, глядя вниз, все цвело, пело, жило, — было начало мая, вы понимаете? Ревекка взглянула на молодого студента и встретилась с его большими горящими глазами. Она почувствовала, как краснеет, и на душе у нее сделалось так же хорошо, светло и тепло, как было вокруг, в природе. Голова у нее горела, никогда еще ничего подобного Ревекка не испытывала. Она не помнит, как рука ее очутилась в больших теплых ладонях молодого студента. Она не помнит, что он сказал ей. Но когда она снова встретилась с его прекрасными черными глазами — рука ее вдруг выскользнула из его рук. Она вспомнила, что ее ждет муж, одинокий Осип!.. Еще минуту она стояла и смотрела на молодого человека, сравнивая его со своим Осипом: его красивые глаза — с маленькими красноватыми глазками Осипа за дымчатыми очками; его светлую умную веселую голову — с бараньей, пустой, как мячик, головой Осипа; прекрасную речь молодого человека — с вечным враньем Осипа...

«Прочь, прочь, дурные помыслы! Прочь, ложные надежды!.. Туда должна я ехать! Я должна, обязана, я не могу не поехать!.. Как же иначе? Как может быть иначе? Туда! Туда!!!» — думала Ревекка и с бьющимся сердцем попрощалась со студентом.

Поезд еще только подъезжал к месту назначения, а Ревекка уже из окна вагона увидела Осипа. Он стоял на платформе, как всегда очень нарядно одетый. В голове ее вихрем пронесся образ молодого студента, с которым она простилась лишь два часа назад, но не успела она все обдумать, как Осип уже был в вагоне, обнимал, целовал ее и пылко, горячо говорил, говорил. Но Ревекка ничего не слышала... В фаэтоне (Осип выехал встречать жену в великолепном отцовском экипаже) она положила свою разгоряченную голову на плечо мужа и расплакалась, как малое дитя... Осип успокаивал и утешал ее, как только мог; так доехали они наконец до дома. Новый город, новый дом, новые знакомства и комплименты вытеснили из головы Ревекки образ молодого студента.

В этот период между супругами разыгрывались не очень-то красивые сцены. Осип играл в них роль грешника, он на коленях просил прощения, а Ревекка из жалости прощала его... Однажды утром горничная застала их в весьма плачевном положении: мадам Ревекка, стоя в одной сорочке, рвала на себе волосы, а господин Осип, с ботинком в одной руке и дымчатыми очками в другой, неподвижно глядел на нее.

Зато с каким шиком и блеском они ежедневно выезжали! Как великолепно Ревекка одевалась! Сколько дам и барышень завидовали ее богатству, ее положению! Зачем нужен, читатель, хороший, интеллигентный, образованный муж? Лучше пара серых рысаков! Какой прок, — скажите, читательница, — в счастливой жизни с любимым, но бедным мужем? Лучше ложа в театре! К черту дети, к черту все идеалы! Лучше великолепный ужин, блестящий бал, танцы с офицерами!

Через год, когда кончился траур и Осип перестал оплакивать своего дорогого отца, он с несколькими компаньонами открыл большое предприятие по торговле каменным углем. В одно прекрасное утро на доме Осипа появилась огромная вывеска. На ней золотыми буквами было написано: «Главная контора каменно-угольного товарищества Земель, Файферман и К°».

В этой конторе сидели три бухгалтера, два письмоводителя, секретарь, кассир и с девяти утра до пяти часов дня играли в преферанс. А Земель, Файферман и компания укатили в Петербург — бог знает для чего!

В прекрасно обставленном доме осталась одна Ревекка. Избранные молодые люди собирались у нее почти каждый вечер, чтобы перекинуться в картишки. Так прошло три года, три хороших спокойных года для бухгалтеров и письмоводителей Земеля, три веселых года для Ревекки и ее знакомых и три печальных года для незадачливого господина Земеля, который потерял весь свой капитал, бедняга, да еще ввязался в тяжбу со своим компаньоном Файферманом, прошу прощения, надувшим его. Тихо, без церемоний была снята золотая вывеска с дома Земеля и так же тихо, без церемоний водворена на чердак. Там среди всякого хлама лежит она и по сей день; пауки ткут на ней свои искусные узоры, мыши пляшут с большим воодушевлением... На ее месте давно висит другая вывеска, только буквы уже не позолочены: «Механическое прачечное заведение». Фамилия Земель, правда, не проставлена, но мы хорошо знаем, что прачечная принадлежит именно ему, Осипу Земелю, и ничего дурного в этом нет: только бы заработать. Но то-то и горе, что заработков не видно. Осип Земель открыл прачечную на широкую ногу, с шиком, и бог знает, продержится ли она еще месяц, в лучшем случае два.

При таких печальных обстоятельствах Осип с Ревеккой неожиданно получили тревожную телеграмму и прибыли к Сендеру, где мы имели честь их увидеть.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой читатель знакомится с двумя второстепенными персонажами нашего романа

Уж такова участь стариков: стоит им только оказаться среди молодых, и о них тут же забывают, точно их и на свете нет.

Среди всех наших персонажей, которые вертятся в доме достославного Сендера, мы совсем забыли упомянуть семидесятилетнюю тетю Добриш с подвязанными зубами, высокую и дородную старуху той же крупной породы, что и ее родной брат Сендер.

— Как вы сюда попали, тетенька? — спрашивали у нее молодые дамы. — Когда вы приехали? Откуда?

— Ох! — покачивая головой и вздыхая, отвечала тетя Добриш. — Ох! Хорошую новость я услышала от здешнего балагулы, который ездит к нам каждую неделю! От него я и узнала о несчастье! Ох! Один брат! Один-единственный брат! И какой брат! Такой брат! Ох! Ох!

— Что вы охаете, Добриш? — отзывалась Мириам-Хая. — Бог даст, он выздоровеет с божьей помощью.

— Да, мое дитя, бог всесилен, да! Он, конечно, все может. Над всеми врачами врач!

Знаменитый Осип Земель, только что получивший хорошенький «бенефис», излил на тетю Добриш всю свою желчь, пустив в ход самые острые словечки, чем немало насмешил собравшуюся публику. Только спустя несколько часов после приезда тетю Добриш позвали к больному брату, где она посидела несколько минут и тут же вышла. Наш неунывающий герой, раскатисто хохоча, пустился передразнивать ее плач, ее манеру сморкаться, все решительно. Публика потешалась, а Осип сиял от радости.

— Смейтесь, смейтесь, деточки! — совершенно добродушно замечала добрая тетушка. — Когда-нибудь вы тоже состаритесь, тогда и над вами будут потешаться!

Весельчак Осип, к великому удовольствию всей родни, не переставая вышучивал старуху, а добрая

тетя Добриш не только не возражала, но и смеялась вместе со всеми.

Трудно постигнуть простоту и добродушие этой старухи: то ли она действительно так добра, то ли тут скрывается нечто иное. Мы знаем, что тетя Добриш успела отправить на тот свет трех здоровенных мужей и к пятидесяти годам осталась «катлонис» *, как это у нас называется; детей у нее не было.

Тетя Добриш предвидела, должно быть, что на старости лет она останется одинокой, а одной рукой, как говорится, и узла не завяжешь, вот она и припасла несколько сот рублей и маленький домик с бакалейной лавочкой, из которой извлекала понемногу средства к жизни.

В городе ее называют «тетя Добриш», а крестьяне зовут — «Добруха». Она не только торговка, но еще и лекарка: у нее можно достать всевозможные лекарства, различные травы, яд, мышьяк, розмарин, шалфей, ромашку; она большая специалистка заговаривать от дурного глаза, лечить зубную боль, рожу, гадать на воске и на картах, заставить сбежавшего мужа вернуться верхом на кочерге, она изгоняет ведьм, чертей, домовых, и многое другое знает и умеет тетя Добриш.

Встретив тетю Добриш, каждый приветствует ее, а крестьяне относятся к ней с большим уважением, — как она того и заслуживает. Летом ее можно встретить еще до восхода солнца, собирающей травы в поле, а зимой, поздней ночью, кое-кто видел, как она машет руками на полную луну и что-то нашептывает. В городе о ней рассказывают довольно некрасивые истории, и начальство давно уже имеет против нее зуб, но в маленьких городишках, как вы знаете, все остается шито-крыто.

— Ведь вы же знаток своего дела, — приставал к ней Осип. — Что же вы не вылечите брата?

— Бог, бог пошлет ему исцеление, дитя мое! Он врачует все живое, дитя мое! Он покажет чудо, дитя мое, подлинное чудо!

Множеством древнееврейских изречений уснащает свою речь тетя Добриш, поэтому-то она и славится

как женщина ученая, образованная, народ говорит, что у нее мужская голова.

— Ну, а заговоры разве не помогают? — опять пристает к ней Осип.

— Нет, дитя мое! В чужом городе, дитя мое, заговор не имеет силы.

Наш герой долго еще подшучивал над тетей Добриш, но она нисколько не обижалась, только и было слышно «дитя мое». В конце концов насмешки приелись, и Ревекка оборвала мужа:

— Хватит, Осип, хватит!

И так посмотрела, что он тут же замолчал и уже не открывал рта до тех пор, пока не приехал доктор Клигер. Зато, провожая доктора, Осип вознаградил себя за вынужденное молчание, обрушившись на него со всеми своими делами. Он рассказал о крупном процессе с компаньоном Файферманом, присвоившим его, Осипа, полтора миллиона, об американской прачечной — дела идут хорошо, честное слово!

Вначале доктор Клигер заинтересовался было всеми этими историями: и процессом о полутора миллионах, и американской прачечной. А герой наш, тот просто наслаждался — сам бог послал человека, который интересуется им. Осип вынул целую кипу бумаг: прошений, копий, счетов, планов, векселей, расписок, и доктор Клигер должен был просмотреть все эти документы, бедняга даже холодным потом покрылся. Но что поделаешь? Сам ведь накликал на себя беду. Несколько раз пытался он вырваться из рук Осипа, то и дело смотрел на часы, но напрасно. Осип вгрызся в него со своими делами и мучил битый час, пока подоспевшая Ревекка не прервала его излияний (ее-то наш герой побаивался).

Выехав со двора Сендера, доктор Клигер облегченно вздохнул и в страхе оглянулся, не бежит ли за ним господин Земель со своими документами.

— Редкостная голова! — с увлечением рассказывал доктор Клигер в доме следующего пациента. — Полтора миллиона! Я был у пациента, у господина Бланка; ведь вы знаете господина Бланка? У него

есть зять — редкостная голова! Представьте себе, он ведет процесс о полутора миллионах!

— Вот как? А ваш больной? Как здоровье господина Бланка?

— Эх! Пока без всяких изменений, статус нервозус... Я считаю, что завтра или послезавтра — не позже — должен наступить кризис; или туда, или сюда.

— Ай-яй-яй! Жаль, право, такого человека, как реб Сендер, господин доктор!

— О, разумеется! Славный человек, порядочный человек, редкий человек!

— Ну, а жена и дети, господин доктор?

— О, не спрашивайте! Конечно, большой удар, большой удар, большое несчастье для бедной жены и детей. Добрые люди, честные люди! Вся семья! Каков поп, таков приход. Яблоко от яблони недалеко падает... Порядочные люди! Но что делать?

— Добрейший человек, золотой души человек этот доктор Клигер!

Так славословят его пациенты, так отзываемся о нем и мы: чудесный, золотой человек! Все его знают, везде он бывает. Куда ни позовут, он едет. Разбудите его среди ночи, он поедет с вами на край света, — только бы полтинник... Ой, как же он любит этот самый полтинник! Простите, пожалуйста, а чего бы вы хотели: чтобы он бесплатно ездил к вам? До чего ж невыносимый народ, эти идеалисты!

Доктор Клигер очень любит полтинник; он так страстно любит его, так гоняется за ним, что торгуется даже с бедняком, у которого нет ничего, торгуется до тех пор, пока тот как-нибудь не раскошелится. И все же я не вижу в этом ничего дурного, тем более что его подгоняют.

— Иди, душа моя, я слышала на рынке, что такой-то лежит в тифу, а у того-то ребенок болеет корью! Иди, жизнь моя, скорее. Там ты можешь получить рубль, а может быть, и два. Я ведь знаю, сколько мяса они берут каждый день. И если б ты видел, какие туалеты носят его жена и дочери, ты бы сам сказал, сердце мое, что черт их не возьмет! Ничего, мамочка, ты достаточно потрудился, пока полу-

чил диплом, нам на счастье! Не стесняйся, венец головы моей, это твоя профессия; это твой магазин, твоя торговля, а врачей теперь достаточно...

Я думаю, мой читатель уже догадывается, что такие сладкие речи может произносить только жена, — жена, которая всей душой предана мужу. Благо тебе, господин доктор, и слава тебе на земле, благословенный, счастливейший из всех, из всех мужей! От всей души желаем тебе всяческих благ!

Я снова должен просить прощения у моих читателей и читательниц: ведь я оставил нашу милую семейку Бланк и немного занялся второстепенными персонажами. Но, во-первых, добрая тетя Добриш нашему Сендеру родная сестра, одна плоть и кровь. И раз эта добросердечная сестра приехала навестить своего брата, она, наверное, заслужила кусочек места в нашей хронике; во-вторых, доктора Клигера не мы сюда привели, его привел слуга Фройка.

После первого посещения этот добрый доктор стал ездить к Бланкам пять раз на день. Боли в желудке, мучившие Сендера, он раздул в целую историю, а его верная жена, докторша, раззвонила по всему городу, что старый Бланк умирает: болезнь тяжелая, что-то вроде холеры! В городе эпидемия холеры! Надо быть очень осторожными, очень. Нужно вовремя показаться доктору, не откладывая в долгий ящик!..

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Сытый голодного не разумеет. Здоровые забывают о больном и еще кое о чем

Часы пробили десять, когда семья Сендера Бланка села ужинать.

На почетном месте, где обычно сидела Мириам-Хая (теперь она оставалась в кабинете, при больном муже), восседала Ревекка. Справа от нее — Соня, слева — Хаим, рядом с Хаимом уселся Осип, рядом с Соней — Маркус, рядом с Осипом — старая тетя

Добриш. Ужин протекал как обычно, — все были сдержанны: место Сендера оставалось незанятым, и родным было немного не по себе. Наш неунывающий герой, правда, пытался подшучивать над тетей Добриш, но его острые словечки никому теперь не нравились. Что касается тети Добриш, у нее была своя манера есть: после каждого глотка она откладывала ложку и вытирала губы. Фройка подавал гостям с особым старанием: ему хотелось показать себя — от большого усердия бедняга пролил тарелку бульона на господина Земеля. Наш франт вскочил с места и, отпустив верному слуге горячую оплеуху, со слезами на глазах принялся вытирать и чистить свое платье, осыпая Фройку самыми горькими проклятиями. С того вечера возгорелась смертельная ненависть между аристократом Земелем и слугой Фройкой.

После ужина все отправились пожелать спокойной ночи больному отцу. Мириам-Хая так и осталась в кабинете у Сендера, тетя Добриш легла спать где-то в уголке, лелея надежду на вмешательство провидения, малыши давно спали сладким сном, а Хаим, Маркус, Ревекка, Осип и Соня уселись в роскошном зале. По сей день не знаю, как это вышло, но все вдруг согласились поиграть в карты. Никто еще не успел что-нибудь сообразить, как Осип уже держал в руках новенькую колоду карт, лицо его сияло. Но в этот вечер ему не суждено было сдавать карты. Ревекка, нисколько не стесняясь, закричала во весь голос:

— Простите, Осип Моисеевич! Пожалуйте карты сюда. Слишком уж вы большой мастер по части пяти тузов...

Публика рассмеялась, а бедняга Осип от досады принялся грызть ногти. Свою злость он тут же сорвал на несчастном Фройке, подвернувшемся ему под руку со свечами и мелком. Фройка злорадствовал, от удовольствия он чуть не позабыл, что от оплеух Осипа у него вздулась щека.

Карты начала сдавать Ревекка. Сначала компания играла как-то без увлечения, молча, но понемногу все оживились: говорили, считали, смотрели, подсчитывали и ставили деньги, украдкой заглядывая к соседу

в карты, подмигивая, улыбаясь; все, кроме одного Хаима, который сидел, как чужой, то и дело меняя рубли. Больше всех возбужден был господин Осип Земель: волосы его растрепались, лицо горело, лоб покрылся потом. Ему не сиделось, он то и дело подскакивал:

— Валяй!.. Я покупаю!.. Давай его сюда, озорника! Шпарю дальше! Королеву ущипнем за щечку, а королю шиш под нос! Два туза — два глаза! Хлоп по морде! Ага, Ревекка! Давай, давай! Хорошо-хорошо! Еще! Еще! Вот так учат у нас! Бей простофилю! Свистишь, брат? Полезай, полезай, Хаим-сердце! Софья Абрамовна! Ложитесь спать! Вот-вот-вот-вот-вот-вот! Бей! Тпру, не спеши! Маркус, ставь деньги! Ищи, ищи, Хаим! Ревекка, молодец!..

Наш уважаемый Осип до тех пор горячился, пока кошелек его не опустел окончательно. Тогда только он встал и шепнул что-то Ревекке.

— Я не хочу, не желаю! — громко отрезала нежная жена. — Если у тебя нет денег, можешь не играть.

Осип, вне себя от гнева, также громко ответил:

— Ты думаешь, у меня нет денег? Честное слово есть! Вот я сейчас принесу.

И герой наш побежал прямо к Фройке и попросил у него взаймы до восьми часов утра. Честное слово!..

Фройка упрямо отказывал, припоминая Осипу оплеухи, но все-таки в конце концов сжалился (у него было очень доброе сердце!) и ссудил его десятью рублями с таким условием: не позже чем завтра в восемь часов утра Осип вернет ему пятнадцать.

С большим апломбом Осип влетел в зал.

— Ну и город! В двенадцать часов ночи негде уже разменять сто рублей! Честное слово!

Прошло еще полчаса, и десятка Фройки растаяла. Компания, возможно, мирно разошлась бы, — каждый в свой угол, — если б разгоряченный господин Земель не вскочил вдруг с места как ужаленный с воплем:

— Софья Абрамовна! Вы должны помнить, что вы не с жуликами играете! Я не люблю таких афер! Честное слово!

Соня переменилась в лице, а публика набросилась на Осипа:

— А? Что? Где? Когда?

— Как?! — кричал Осип уже не своим голосом. — Как вы позволяете себе такое? Мы не карманники! Тут играют честные люди, не картежники! Софья Абрамовна! Я протестую! Вы поставили пятиалтынный и взяли сдачи двугривенный! Признайтесь! Честное слово!

— Ах вы картежник! — набросилась на него Софья Абрамовна. — Вы ведь настоящий аферист! Вы думаете, я не замечаю, как вы наступаете Ревекке на ноги?

— Ах ты мерзавка! — в свою очередь обрушилась на нее Ревекка. — Ты опять начала свои старые штучки?..

И, бросив карты ей в лицо, Ревекка вскочила.

— Сама ты мерзавка! — злобно кричала ей вслед Соня. — А твой франт просадил свое наследство в Петербурге на хорошеньких делах...

— А? Что??! Я???!! Я???!! Я???!! Честное слово!

— Тихо!

— Что ты скажешь на эту катастрофу, на эту трагедию? — произнес Маркус про себя.

— Ш-ш-ш-ш-ш-а! Хозяин приказал, чтоб было тихо! — сказал, вбегая, испуганный Фройка.

Фройкины слова подействовали как электрический ток. Компания вспомнила наконец, что сейчас не время играть в карты.

Все молча, на цыпочках, тихонечко разошлись, надувшись и повесив носы, даже не пожелав друг другу спокойной ночи.

* * *

Лежа в постели, Хаим спросил Соню: «Что все это значит?» Соня поклялась ему жизнью своих детей, что она ничего знать не знает и готова поклясться на святой торе, что сама видела, как Осип подвигал свои карты Ревекке, а Ревекка кивала на Маркуса.

— Можешь гордиться своей родней, Хаим! Разве в доме моего отца могло произойти что-нибудь подоб-

ное? А, Хаим? Твоя сестра получит больше, чем ты, хотя она и женщина. Я проиграла двадцать два рубля, а Ревекка их выиграла, и доля в наследстве у нее будет больше, чем у нас, даром что ты сын, а она дочь!.. Ревекка всегда подлизывалась к отцу и льстила ему, вот она и получит больше, чем ты. Это я заранее тебе говорю, Хаим! И можешь на меня сердиться, сколько хочешь!..

* * *

— Сколько ты выиграла, Ревекка? — полураздевшись, спросил Осип, возбужденно шагая по комнате.

— Тебе непременно нужно это знать, Осип? — спокойно ответила Ревекка и принялась считать свои капиталы: сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят пять, восемьдесят три, восемьдесят шесть, восемьдесят семь, девяносто, девяносто два и сорок копеек... — Девяносто два и сорок копеек... Осип! Дай-ка сюда мою шкатулку!

Осип подал ей шкатулку, и Ревекка положила туда свои деньги. Заперев шкатулку, она передала ее Осипу и приказала поставить на место. Бедный Осип смотрел на шкатулку с величайшей завистью.

— Право, не мешало бы, Ревекка, чтоб твой старик...

— А чем он тебе мешает, если и останется жив, Осип?

— Я о твоем благе хлопочу, Ревекка! Честное слово!

— Я прошу тебя не беспокоиться обо мне, Осип!

— Гм...

— Как он, по-твоему, Осип?

— Плох, очень плох, Ревекка. Не сегодня-завтра... Честное слово!

— Ну, ну! Прикуси язык!

— Гм...

— Что говорит доктор, Осип?

— Доктор говорит, что он должен написать завещание, потому что...

— Доктор такой же дурак, как ты!

— Гм...

— Я думаю, что у него где-то лежит уж завещание. Как ты думаешь, Осип?

— Дай-ка я расскажу тебе, Ревекка. Ты же моей клятве не поверишь, но клянусь тебе, лопнуть мне на этом самом месте, не встать с этого места, честное слово!..

— Ага, ты уже клянешься? Ну, значит — это ложь! Довольно, довольно, Осип!

. . . .

Спокойной ночи! Мы уложили всех наших героев. Теперь они должны отдыхать и вкушать сладкий сон после всех глупостей и нелепостей прожитого дня. Я полагаю, что и романисту положен предел, до которого ему разрешается следовать вместе с читателем за своими героями. С нашей стороны и так уж не очень деликатно, что мы разрешили себе подслушать, о чем толкуют между собой наши благородные герои, ложась спать. Покидая дом Сендера, мы имеем право говорить, обсуждать, жалеть или осмеивать всех, с кем познакомились, — никто не может нам этого запретить. На то я — писатель, а вы, мой милый друг, на то и читатель, чтобы мы с вами судили о других. А другие пусть судят о нас, как хотят и сколько хотят...

Спокойной ночи!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тут только начинается настоящее представление, и актеры могут показать все свое искусство

Я очень доволен, что имею возможность начать эту главу, как настоящий романист, и показать моему милому читателю душераздирающие сцены и трогательные картины, ни в чем не отставая от моих коллег-романистов, которые давно прославились и с которыми я ни в какой мере не могу равняться. Ведь их мизинчик толще моих бедер, и проживи я еще хоть

сто лет, мне не написать таких прекрасных романов, какими может гордиться наша новая еврейская литература, ни в чем не уступающая другим литературам. Но я надеюсь на всевышнего. Я верю, что придет, с божьей помощью, время, когда эти прекрасные романы будут целыми вагонами отправлены куда-нибудь далеко-далеко. И я думаю, что тот, кто приобретет их, наверно заработает массу денег на этом бумажном предприятии... Я представляю себе печальное положение наших романистов (если только они доживут до этих дней), их вытянутые физиономии, когда они увидят, как их произведения упаковываются в мешки и тюки, как грузчик подхватывает целую кипу в высшей степени интересных романов, в четырех частях, с эпилогом и посвящением в стихах, и швыряет в вагон! Прости-прощай, светлокудрые герои, страшные злодеи, еврейские графы и бароны, необузданные миллионеры, одичалые еврейские ростовщики, не существующие в природе и поставленные на высокие ходули безудержной фантазией этих приказчиков, называющих себя авторами, писателями, романистами!.. Но должно пройти еще довольно много времени, пока еврейская публика поймет, как долго ее кормили чепухой, пичкали просто трухой; пока приказчики от литературы возьмутся за свои старые профессии и перестанут пачкать чистую бумагу. А пока не настали еще эти счастливые времена, и мы попытаемся преподнести читателям романтическую сцену в том же духе, — как сюрприз, как премию к нашему произведению.

Итак, была чудесная, роскошная ночь. По небу плыла прекрасная луна (радующая всех влюбленных), бледный лик ее склонялся вниз и глядел на грешную землю, как свидетель всех низостей, совершенных суетными людьми. Звезды, подобные бриллиантам, рассыпались по чистому голубому небу, на земле царила жуткая тишина, точно природа со всеми своими творениями уснула тяжким сном, точно все на земле вымерло. Не слышно было голоса человека, пения птицы, лая собаки, шороха травы, шелеста ветвей.

В прекрасном городе N, где разыгрывается наша изящная история, все спало безмятежным сладким сном.

И только я, автор этой книги, один только я в целом городе бодрствовал в эту прекрасную летнюю ночь. Один-одинешенек, углубленный в размышления, бродил я по улицам в поисках литературного материала. Но сколько я ни думал, я не мог придумать ничего, что годилось бы для романа. Однако бог все-таки сжалился над молодым писателем, и глаза мои узрели какие-то черные сгрудившиеся фигуры... Фигуры эти все приближались, и мне показалось, что я вижу мертвецов, одетых в черное. Мертвецы как будто говорили между собой, спорили, ссорились; они теснились вокруг погребальных носилок, и я мог бы поклясться, что каждый подносил ко рту что-то вроде бутылки, затем передавал другому, другой третьему и так далее. Мороз пробежал у меня по телу, волосы стали дыбом. Я хотел бежать, но ноги не слушались меня. По сей день не могу понять, как я не умер со страху! Но представьте себе мое изумление, когда эти мертвецы с носилками подошли совсем близко и я узнал их!

— Добрый вечер! Это вы, члены погребального братства?

— Добрый вечер! Да, это мы, мы.

— Откуда? Куда?

— С кладбища к реб Сендеру. Залмен! Где инструмент? У Лейви-Мордухея? Поставьте носилки и давайте-ка сюда бутылку, глотнем по капельке.

— Реб Рефоел, что вы говорите, умер реб Сендер?

— Умер не умер — это не наше дело: за нами послали, и мы идем. Не ради удовольствия, конечно. Когда обращаются к старшему погребальщику Рефоелу? Когда нужно на тот свет... Михоел, есть у тебя понюшка табаку?

— Так!.. Значит, реб Сендер тоже ушел в лучший мир? Жаль, право, реб Рефоел.

— Жаль? Почему? У него был жирный живот? Пусть черви радуются... Уйти от смерти трудновато, а на кладбище места хватит, боже мой!.. Ребята, по-

шли! Хватит вам хлебать, оставьте немного на после. Жена Сендера славная женщина. Ведро спирту она, наверно, выставит. А? Хорошо бы разделаться с ним до рассвета... Как вы думаете, который теперь час?

— Около двенадцати, реб Рефоел.

— Как? Двенадцать? Ребята, а ну, ребята, торопитесь! Айда!

Неожиданное известие о смерти Сендера так сильно поразило меня, что я пошел за людьми из погребального братства, не задумываясь, куда и зачем иду. Пока Сендер был жив, я мало им интересовался, но когда я услыхал, что он умер, у меня сердце защемило и оборвалось. Чему вы удивляетесь? Человек живет, ест, ходит и вдруг — на тебе! Как может это не трогать? Тем более такой Сендер, который... который...

Но давайте лучше послушаем, что говорят в городе, что говорит народ, — все эти кучки евреев, которые стоят вокруг дома реб Сендера, во дворе реб Сендера, в доме реб Сендера.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Какая масса народу, не сглазить бы!

— Недаром мы, евреи, народ жалостливый.

— Что же вы думаете, он действительно заслужил, чтоб ему были оказаны почести?

— Что? Чем он их заслужил?

— Как, а благодеяния, которыми он осчастливил город? Разве это не было большой милостью?

— Благодеяния? Какие благодеяния?

— Может быть, вы скажете, он щедро помогал бедным?

— Что это значит, по-вашему, реб Меер, помогать бедным?

— Или давал крупные пожертвования?

— Не знаю, чего вы хотите?

— И к тому же, быть может, вы скажете, что он был человек образованный?

— Да, мировой гений! А как же, господи!

— Но зато он был богобоязненным человеком?

— Страшное дело!

— Тайный праведник, ха-ха-ха!

— Все вы большие праведники!

— Праведники, вы говорите? Наши дети тоже ходят с непокрытыми головами, как и дети реб Сендера, а? Что вы говорите, реб Хаим? Мой зять тоже курит в субботу *, да?

— И наши дочери тоже, вероятно, не носят париков *, да?

— Спасибо вам!

— Зачем нам все эти глупости, скажите, будьте добры? а что говорит староста?

— Староста погребального братства?

— Да, да, реб Калмен Верзила.

— А я знаю? Я в общественные дела не вмешиваюсь... пускай сами бьются головой об стену!

— Что вы на это скажете? Он не вмешивается в общественные дела!.. Дожили! А?

— Я думаю, к чему нам эти пустые споры? Скажите лучше, дадут немного денег?

— Что вы называете деньгами?

— Сколько денег? Деньги деньгам рознь!

— Я думаю, мешков десять...

— Почему не двадцать, скажите, пожалуйста?

— Двадцать тысяч рублей? Боже мой! Что мы будем делать с такой суммой?

— Пропади ты пропадом, дурень несчастный! Как вам нравится эта напасть?

— Скажу вам по правде, двадцать тысяч — не так уж страшно! Не такая уж беда! А почему бы и нет? Немножко меньше достанется наследничкам! Тоже горе!

— Ничего, он достаточно накопил!

— Да, деньги он нажил честно!

— Чужими руками!

— Еврейская кровь на этих деньгах!

— Тише, что там за крики?

— Где? В доме? Вероятно, уже выносят? Нет! Мне кажется, что это голос Гецла.

— Какого Гецла?

— Портного Гецла.

— Чего он хочет, этот скандалист! Всюду суется!

— Портняшка! Нахал! Кто его не знает?

— Вот как? Вы не можете ему этого простить? Стоит только нашему брату слово сказать, как вас черт за душу хватает! Едва заговорил портной, у вас уже и голова болит! Я тоже портной и совсем не стыжусь своей профессии! Лишь бы не бездельник, не кровопийца, не ханжа! Черт вас подери, почему не поживиться здесь. Много ли у нас таких реб Сендеров? Почему не урвать хоть что-нибудь для портновской синагоги? Обжоры! Пьяницы! Негодяи!

— Нечего сказать, нарвались на комплименты!

— Что там за крик?

— Это кричит носильщик. Он требует тридцать тысяч! Тридцать тысяч, и только!

— Тридцать! Сорок! Тридцать!

— Сорок! Сорок!

— Чего сорок?

— Сорок тысяч рублей!

— Сорок! Сорок! Сорок!

— Кричите, ребята, сорок!

— Сорок! Сорок! Сорок!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Ну, я вас спрашиваю, реб Калмен, вы же честный человек: как же может быть, чтоб вы сказали такое?..

— А что я говорю? Разве я что-нибудь говорю? В чем вы меня подозреваете, реб Хаим? Ваш отец, да продлит господь его жизнь, бог — великий кудесник, но если, не приведи господь, пусть минет нас такая минута, ваш отец закроет глаза, дом разнесут! Вы видите? Посмотрите, пожалуйста, в окно, какая толпа собралась!

— Чего же вы хотите, реб Калмен?

— Чего я хочу? А чего я могу хотеть? Я ничего не хочу! По мне пусть будет так, как вы хотите! Я вам, поверьте, лучший друг. А с вашим отцом я, знаете, в самых лучших отношениях! Любая услуга, любая

нужда... В этом случае я думаю о вашей пользе. Вы должны соблюсти приличия и удовлетворить народ. Все-таки, как говорится, капитал!.. Первый богач в городе!.. И зачем мы станем обманывать самих себя? Ваш отец, конечно, был порядочный человек, честный человек... Если он жив еще, пусть бог продлит его жизнь... А если нет, да простит он меня... но все-таки он не выполнил своего долга перед городом! Подобало бы поэтому, чтоб вы, его наследник, старший сын... как это сказать...

— Что вы имеете против нас, реб Калмен, господь с вами? Отец действительно плох, но ведь он не умер, он еще жив! Разве это не злодейство? Я вас спрашиваю, реб Калмен? Бога вы не боитесь!..

— Э, реб Хаим, вы должны со мной иначе разговаривать! Кто виноват? Сами виноваты!.. Вы подняли крик: «Евреи, спасайте!» Вот народ понемножечку и собрался... Люди слышат такой плач... видят, все бегут, все кричат: «Умер! Умер!» Спросили у врача, он говорит: «Плохо! Плохо!» Ваш слуга сказал: «Конец! Кончено!» А тут родные плачут. Ну что ж, ведь это евреи, вот они и сбежались. Ваш отец все-таки, как говорится... И попробуйте только сказать народу, что он еще не умер. Разве вам поверят? Слишком поздно!.. Вон идут погребальщики. Ну-ка, подите-ка поговорите с ними! Нахалы, кто посылал за вами? Вон, пьянчужки, батьке вашему так-перетак!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Ой, гром меня разрази! Зелда, вы слышите плач? Вы слышите, как хозяйка воет? Горе мне! Златка, не иначе, он кончился! Боже мой! Нет уже моего хозяина! Малка! Златка! Бегите наверх, узнайте у Фройки, горе мое великое!

— Вон бежит Фройка!

— Где? Что он несет? Какой-то узел?

— Фройка-сердце, что слышно? Уже или еще нет? Фройка! Что ты молчишь? Говори! Уже или еще нет?

— Уже... Еще нет... Как это вам нравится? Хайло

раскрыла! Провалитесь вы все! Пропадите пропадом! Хорошенькая благодарность! Служил, служил, и хоть бы мне в руку плюнули... Хоть бы верхнюю рубаху, хоть бы старый жилет! Пропадите вы все с вашей хозяйкой вместе! Увидела у меня ключи, и тут же забрала... Прослужил семь лет — нитки не тронул, что же я теперь, заберусь в шкаф, что ли? Чтоб вам ноги переломало! Работай весь день и ночь как проклятый, ни минуты покоя! И что же? Чтоб вы сгорели! Велика беда, если б Фройка получил еще одну куртку или пару штиблет?.. А часы? Кто теперь без часов? Каждая дрянь носит часы, — на, смотри, полюбуйся на меня! А Фройке не нужно! Фройке ничего не нужно! Фройка должен служить каждому, как собака, и все... Сапоги чисть, на стол накрывай, на побегушках бегай, письма носи, туда иди, там стой — тьфу на вас всех! Зелда, ложки! Давайте сюда ложки!

— Какие ложки? Что ты привязался?

— А ну-ка, серебряные ложки! Дюжину ложек! Давайте-ка сюда, прошу прощения, серебряные ложки. Зелда, скорее, скорее!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

— Ой, венец головы моей, мой Сендер! На кого ты меня покидаешь? В тридцать девять лет вдова, — где это слыхано?

— Не плачьте, мамаша! Господь — отец наш, и свекор еще, может, выживет!

— Ой, не говори этого, Сонечка, не говори! Ты не видела его этой ночью, Сонечка. Совсем уже не тот Сендер!

— Вот послушаем, что скажет доктор, мамаша! Доктор там?

— Ой, чем может помочь доктор, Сонечка, когда я так грешна перед богом и так несчастна, так одинока и несчастна?..

— Ой, такой брат, один-единственный брат, как один глаз! Детки, молите бога, нашего великого, доб-

рого, всемогущего бога, он все может, он может и мертвого воскресить! Ой, мой дорогой Сендер! Помнишь ли ты, как дорога была тебе Добриш, твоя единственная сестра? Помнишь ли, мой Сендер, как добра, как преданна я была, когда у тебя, не про наши дни будь сказано, дела шли не так хорошо, и я, Сендер, помогала тебе всем, чем только могла?! И ты обещал мне, если только бог пошлет тебе немного счастья, отблагодарить меня наилучшим образом?! И вот теперь, Сендер, ты, оказывается, забыл свою единственную сестру Добриш, преданную тебе, может быть, больше, чем другие, да простит тебя господь, как я прощаю мою обиду, Сендер! Твои дорогие детки, наверное, не оставят меня на старости лет, и кто-нибудь из них, может быть, и позаботится обо мне, твоей единственной сестре, горемычной и больной вдове, Сендер! Но я уповаю еще на того, чье святое имя недостойна произнести. Если найдутся у меня какие-нибудь заслуги пред престолом его, он еще пошлет тебе полное исцеление. Другие ждут, Сендер, твоей смерти, но я еще буду иметь счастье говорить с тобой и, бог даст, поведаю тебе обо всем этом в радостный час.

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЙСТВИЕ

Оно разыгрывается в закрытом помещении, куда мы никак не можем проникнуть. Мне удалось только разглядеть в окно нашу почтеннейшую мадам Ревекку Земель: с разрумянившимся лицом сидела она за круглым столом, опершись на свою прекрасную белую руку, и серые глаза ее задумчиво блуждали.

Одному богу известно, о чем думает сейчас эта благородная дама. Вокруг нее, как всегда, скрипя ботинками и засунув руки в карманы, вертится ее милейший супруг, прославленный Осип Земель. Он хочет подойти к Ревекке, хочет что-то сказать ей, но, как видно, не решается...

А где наш Маркус, самый молодой из наследников? Может быть, только он один и сидит у изго-

ловья отца? Весьма вероятно, что Маркус абсолютно забыл о себе и не отходит от смертельно больного отца. Все может быть на этом свете, и мы не должны залезать в душу каждого. Дайте вашу руку, читатель, и уйдем из этого дома. Радостей, как видите, этой ночью мы не найдем здесь... Дай нам бог созерцать более веселые, более приятные сцены!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

в которой наша история приобретает совсем иной характер

Черные тучи надвинулись на дом Сендера, страшная ночь распростерла свои крылья: божья кара постигла Бланка и всю его семейку. Но... к чему мы будем себя обманывать? Вы, вероятно, прочитали уже достаточно романов и, вероятно, хорошо знакомы со всеми приемами и уловками романиста, который ведет и ведет вас, и вы думаете, что находитесь на верном пути, но вдруг — стоп! Ваши нервы натянуты, как струны, вами овладели трепет и страх. Нет, господа! Я плохой романист и тайн не люблю: наш возлюбленный герой не умер, хотя очень легко можно было устроить, чтоб он умер, как умирают многие под пером автора, то есть утонув в капле чернил. Но, спрошу вас, велика ли штука загубить чужую жизнь? Надо иметь совесть, милые мои друзья, и надо входить в положение. Сендер Бланк действительно написал завещание, исповедался, благородно простился со своей семьей, но умереть ему хотелось не больше, чем нам с вами.

— Ну? Что я говорил? Кто прав? Не говорил ли я вам, что должен наступить кризис, — туда или сюда?! Благословение и хвала господу за то, что — сюда!

Так сказал преданный доктор Клигер, таким спокойным голосом, что тетя Добриш расплакалась, как малое дитя, и, держа руки над головой, растолкала всю публику и бросилась в кабинет к больному.

— Ой, пустите меня, пустите меня, пустите меня! Пустите меня к нему! Я хочу на него посмотреть собственными глазами! Я хочу на него посмотреть! Пустите меня! Пустите меня!

Тут знакомые вам персонажи переглянулись, а наш очаровательный пересмешник Осип Земель так наступил Маркусу на ногу, что тот даже вскрикнул от боли. Вся семья собралась вокруг больного Сендера, который воскрес из мертвых. Поздравляю!

— Что вы скажете о моем муже? — звонила по всему городу добрая докторша. — Что вы скажете? Не правда ли, за такого доктора можно бога молить? Воскресил мертвого! Что? Может быть, нет? Что, я спрашиваю вас, стоит человеческая жизнь? Вот человек живет, а вот — тьфу!

И добрая докторша сморкается и вытирает глаза, и все добрые женщины сморкаются и вытирают глаза.

. . . .

О, как прекрасно, как восхитительно, как сладостно наблюдать хоть издали такую идиллию, когда вся семья увивается вокруг больного, который был так тяжело болен и перенес кризис, пропотел, выжил, а теперь начинает приходить в себя, понемножку становится человек-человеком, начинает снова жить, жить среди всех этих преданных, милых, верных друзей. А те глядят ему в глаза и наглядеться не могут, как будто не видели его двадцать лет, как будто он возвратился из дальних странствий, и каждый бежит его приветствовать, в глазах каждого он приобретает особую симпатию, и что бы он ни сказал, все полно мудрости. Все хлопочут вокруг него, но больше всех — жена. Мне кажется, что женщины и созданы для того, чтобы плакать, когда мы больны, и радоваться, и носиться вокруг нас, когда мы выздоравливаем.

У автора этой книги есть товарищ, очень близкий друг, пролежавший в жару три недели. Когда он начал приходить в себя и я пришел его навестить, меня встретила в передней его жена, нежное создание, так преданное ему, как только добрая, верная жена может быть преданна своему мужу через три года после свадьбы.

— Ну, как себя чувствует наш молодец?

— О, он только что съел три ложки супу, целых три ложки супу!

И молодая женщина залилась слезами.

— Я не понимаю, о чем тут плакать, если человек съел три ложки супу? Уверяю вас, через несколько дней он сможет съесть гораздо больше, чем три ложки, и не только супу, но и борща, и даже что-нибудь лучшее, чем борщ!

— О, вы не знаете! Вы не знаете! Три дня тому назад он меня уже почти не узнавал! А его речь? Нет, вы не знаете!..

— Право, стыдно вам сейчас плакать! Радоваться вы должны, радоваться! Смеяться, петь, танцевать, а не плакать!

— Что вы, разве я плачу? — спросила меня эта наивная женщина, а слезы все лились из ее прекрасных глаз, и жалко было, что эти глаза так взмокли и покраснели.

— Ой, осторожно, осторожно! — закричала она, когда я слегка пожал руку товарища. — Садитесь здесь, в стороне, вот стул. Вы можете, не дай бог, нечаянно задеть больного рукой или ногой.

Она стала на колени у его изголовья и начала с ним говорить, как с младенцем, который лежит еще в колыбельке и сучит ножками.

— Ну, крошечка? Чего ты хочешь? Как себя чувствуешь, крошечка?

А «крошечка» лежал, запрокинув голову, нежился и капризничал, как малое дитя.

Когда я хотел немного поговорить с товарищем о наших делах — ведь он был уже в добром здоровье, — эта странная женщина положила ручку на рот мужа, другой — закрыла мне рот и не дала произнести ни слова.

Когда я пришел в другой раз, не успел еще я снять галош, как жена выбежала мне навстречу со сжатыми кулаками, словно хотела уложить на месте.

— Что с?..

— Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш! Ш-ш-ш! Он спит. Только что уснул. Ш-ш!

— Спит? Ну и пускай спит на здоровье! Пускай...

— Ш-ш-ш-ш-ш-ш! Ой, я прошу вас, ш-ш-ш-ш!

На лице ее было написано столько жалости и мольбы, что мне пришлось ретироваться. И зачем нарушать сладкий сон моего счастливого товарища, которому, сознаюсь, в эту минуту я очень завидовал!

Одним из таких благословенных мужей, на долю которого выпало вкусить подобное счастье, когда он выздоровел и встал с постели, был, без сомнения, наш уважаемый Сендер Бланк. Первый, кому суждено было лицезреть его, был наш бравый Фройка. Дрожащими руками Фройка начал одевать своего хозяина, и, когда дело дошло до золотых часов с массивной цепью, из груди его вырвался тяжкий вздох.

С большой торжественностью появился наш герой в столовой и сел за обед, окруженный всей своей родней. При взгляде на детей и внуков Сендер так размяк, что начал смеяться, шутить и расспрашивать каждого поочередно. Этим он развеселил весь дом. Все начали рассказывать, как были испуганы и потрясены, получив тревожную телеграмму. А Ревекка даже расплакалась. Отец ее успокаивал:

— Что ты плачешь, дочка? Ведь я уже здоров, глупенькая!..

— Да, папочка! — отвечала преданная дочь. — Но я вспоминаю, в каком тяжелом состоянии я тебя застала, и сердце у меня разрывается... Ах, папочка!..

— Не плачь, дурочка! Бог смилостивился, и я могу сидеть со всеми за столом, есть и пить, как все люди. Благодарение богу, дурочка!

— Не сглазить бы! — вставила свое слово и тетя Добриш.

— Когда еще я смогу увидеть вас, деточки? — Растроганно обратился Сендер ко всей семье. — Все вы разъедетесь, каждый в свой город, и я снова останусь один! Ах, если бы я мог оставить вас здесь, у себя. — И Сендер обвел вокруг себя большими руками, как наседка, укрывающая крыльями цыплят.

— Разве это невозможно? — рискнула спросить своего доброго свекра мадам Соня Бланк.

— Нет, дети, никак невозможно: у каждого свои привычки, каждый живет своим умом, — очень трудно добиться постоянного согласия между всеми. Да поможет мне господь спихнуть, то есть женить, младшего сына. Тогда незачем будет так тяжело работать, зажил бы я со своей старушкой, как говорится, дед да баба. А? Что ты скажешь, Мириам-Хая?

— Ну, а с деньгами что вы сделаете? — выпалил нечаянно Осип. В ту же минуту он готов был взять эти слова обратно, но было уже поздно.

Сендер вспыхнул и ответил колкостью:

— Что я сделаю с деньгами? Отдам их тебе, разумеется. А ты уж конечно заведешь большие дела с каменным углем и американскими прачечными...

Чувствовалось, что вот-вот может разыграться очень неприятная сцена. Вся публика сидела как на иголках, опустив глаза в тарелки, а наш достославный Осип и вовсе повесил нос. Маркус, который был как-то особенно воодушевлен и весел сегодня, расхохотался так громко, что все оцепенели. Он хохотал до тех пор, пока не посинел, даже испугал всех: уж не рехнулся ли он?

— Каменный уголь!.. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! — едва выговорил Маркус и снова расхохотался.

— А деньги профинтишь, — продолжал Сендер, — и будешь судиться с Файферманом?

— Фай... ха-ха-ха! Файф... хи-хи-хи! Файфер... хо-хо-хо! Файферман? — с трудом выкрикнул Маркус и опять расхохотался чуть не до потери сознания.

Мы не понимаем, что смешного в каменном угле или в фамилии Файферман? Не иначе, как Маркус высмеивал самого господина Земеля с его делами и процессами, — видно, слова отца произвели на него большое впечатление. Маркус не мог больше сдерживаться, он должен был в конце концов освободиться от того, что душило его в течение последних дней. Для господина Земеля это было величайшим оскорблением, и мы ни в коем случае не можем поставить ему в вину то, что он вскочил с места и отпустил своему возлюбленному шурину такую оплеуху, от которой зазвенели стекла.

Эта неожиданная выходка поразила всех, никто не мог произнести ни слова. Наконец Сендер пришел в ярость и глаза его налились кровью: где это слыхано, чтоб на его глазах, за его столом, в его доме избивали его сына, его плоть и кровь?! Как рассвирепевший медведь, как лев, пробудившийся от сна, как лютый леопард поднялся наш Сендер со своего места и, указав рукой на дверь, произнес громовым голосом:

— Вон! Вон из-за стола! Вон из моего дома! вон, вон! Все! Вы думали, что я уже умираю, и приехали за наследством?! Вон!!!

. . . .

Боже мой, где найти перо, чтобы описать эту сцену? Где взять краски, чтоб нарисовать эту картину, чтоб изобразить этих окаменевших людей, остекленевшие глаза, эти раскрытые рты, эти лица, на которых застыли страх, ужас и оцепенение? Где найти силы, чтобы в эти тяжелые минуты опуститься на дно души каждого из присутствующих, понять их чувства и думы? Пусть наши читатели представят себе это, кто как умеет, в меру своего воображения.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Занавес опускается, представление кончилось

Шум, гам, суета! Мириам-Хая целовалась с гостями, прощалась с детьми. Соня плакала. Господин Осип Земель шагал в большом возбуждении, и ботинки его особенно яростно скрипели. Маркус скрылся в своей комнате и то и дело подносил к своим губам какой-то конверт, прижимал его к сердцу, потом снова подносил к губам.

Девочки укладывали кукол, подаренных им бабушкой. Особенно расстроена была Ревекка. Одна щека у нее так горела, что она вынуждена была прикрывать ее носовым платком. Но больше всех был занят наш возлюбленный верный слуга Фройка: уж он-то, бедняга, работал изо всех сил, бегая по лестницам

вверх и вниз. Доставая из карманов пряники, орехи и конфеты, он тискал между делом черную Златку и горничную Малку, приговаривая:

— Ну, дети! Разве я не говорил вам? А что я вам сказал? Ха-ха-ха-ха! Убирайтесь-ка восвояси, откуда прибыли! А мы, Зелда, останемся по-старому в нашем болоте! Тра-ля-ля-ля! Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!..

* * *

Сендер Бланк простился с детьми очень тепло. Он поцеловался с Ревеккой, с Хаимом, поцеловал детей Хаима и несколько раз выражал сожаление, что забыл сделать подарки.

— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Почему вы мне вчера или позавчера не напомнили? Ай-яй-яй!

Но когда дошло до уважаемого господина Земеля, Сендер очень холодно пожелал ему счастливого пути и протянул большой палец. Осип крепко, крепко его пожал и трогательно начал:

— Я надеюсь, вы нас простите. Вы знаете, что мы больше всего хотим... чтобы мы... чтобы вы... чтоб ваше здоровье... то, что вы, благодарение богу, в добром здоровье... что мы все... что... что... что...

На последнем «что» наш прекрасный герой Земель поперхнулся и побагровел от стыда, сознавая, что залез черт знает куда!..

Натянутым, очень натянутым было прощание и отъезд детей господина Бланка. Все это чувствовали, и у каждого было как-то горько, как-то тяжело на сердце, пусто в душе!.. Но высказать это открыто ни один из них не хотел, да и не мог. Каждый думал про себя, каждый был занят самим собой. Только дети поверяли друг другу свои мысли и чувства.

— Смотри-ка, Маня, какой высокий дом! Ай-яй-яй! А у нас нет такого дома! Ай-яй-яй! Сколько окон! Сколько дымовых труб! А это что? Папа! Мама! Что это? Кто это сидит здесь? Какая травка! Какие деревья!

Счастливые дети! Радуйтесь, радуйтесь зеленой травке, прекрасным деревьям, великолепию и богат-

ству природы! Скоро, скоро вы, быть может, познаете другие вещи, которые заполнят вам головы, и вы забудете о природе с ее красотами, как забыли о ней ваши родители. А ведь они тоже когда-то были детьми, тоже любовались этой травкой, этими деревьями, этим солнцем и смотрели на все окружающее такими же глазами, какими сейчас смотрите вы... Счастливые дети! Дай бог вам надолго, надолго этого счастья!..

Но сколь мрачно и темно было на душе наших отъезжающих, столь светло, свежо, тепло, зелено и весело было вокруг. Стоял конец мая. Солнце еще не жгло, но грело, светило, все оживляло: и травку на земле, и овечек в поле, и людей, и маленьких человечков — детей, которые выползают утром из темных полуразрушенных домишек, как тараканы из щелей. И все и вся благословляет, возносит хвалу и благодарение прекрасному, теплому, светлому солнцу, которое стоит теперь посреди неба и изливает свое нежное тепло на широкое поле, совсем недавно нарядившееся в зеленое платье, и на пыльную дорогу. Небо чисто, как зеркало; по нему плывут редкие обрывки облачков — не к дождю, а просто так плывут они и блуждают, пока не расползутся, развеются и исчезнут неизвестно куда. Далеко-далеко на горизонте виднеется колокольня или зеленая крыша помещичьего дома, — покажется на минуту и снова исчезнет. Дорога эта — почтовая дорога, ровная, как доска. Нет еще пыли, какая бывает в июле. Телеграфные столбы проносятся мимо! Мимо! И рябит в глазах, и слышно пение птиц, и видно, как суетится всякая мелкая тварь. Часто встречаются крестьяне с волами и плугами; некоторые снимают шапки и еще издали здороваются.

Вдруг, не успели оглянуться, въехали в лес! Сразу сделалось как будто темнее, повеяло свежим ароматом, и вас охватила прохлада. Теперь слышен почти каждый удар копыт, каждый стук колес. Лесная дорога тянется узким длинным шнуром; по обеим сторонам молодые березки, словно мелом побеленные; ни ветерка, зеленые листочки замерли; сквозь деревья струится свет, ясный, как зеркало. Издалека

слышен голос: «Аау!» И эхо отвечает: «Аау!» Но вот и лес кончился, пошел песок, глубокий сухой песок, лошади идут размеренным шагом, телега катится медленно, то и дело как будто вздыхает и стонет ось. Лошадкам не легко вытаскивать ноги из песка. Путешественник сейчас расположен повернуться на бок и вздремнуть, а то и просто полежать, вытянувшись, и смотреть вдаль, и думать, размышлять, или ни о чем не думать, пока балагула не прикрикнет на лошадей, не присвистнет на них, и они вдруг рванут и примутся снова бежать, пока не добегут до реки. Сначала лошади пугаются воды, затем осторожно, шагом входят в речку, и вода плещется и шумит под колесами. А посмотришь вниз — там еще одно солнце, которое дрожит в воде и покачивается взад и вперед, словно его подбрасывают на простыне... За рекой снова пески, а дальше — все тот же широкий почтовый тракт, с зелеными полями по обеим сторонам, с телеграфными столбами, — прямо к вокзалу, который виден уже издали.

Когда наши пассажиры подъехали к вокзалу, солнце уже начало спускаться все ниже и ниже. У подъезда стояло несколько дрожек и фаэтонов. Осип подхватил дам под руки и, как настоящий кавалер, перенес их на платформу. Затем он громко крикнул: «Носильщик!» — хотя носильщику делать было нечего, так как Хаим Бланк захватил в свои широкие объятия все вещи, детей и даже булки и бублики, которые занимали столько же места, сколько мог занять еще один пассажир. Но у нашего Осипа Земеля была «широкая натура», в дороге он любил показать себя «порядочным человеком», любил дать людям заработать... Вбежав в зал первого класса, господин Земель громко крикнул: «Эй, человек! Чаю!» — хотя до отхода поезда оставалось всего лишь десять минут и чаю решительно никому не хотелось. Господин Земель не мог вынести, что буфетчик стоит сложа руки. Сам он чаю не пил, так как должен был бежать за билетами. Мимоходом заскочив в буфет, он быстро осмотрел сквозь дымчатые очки вкусные вещи, выставленные на стойке, обнюхал их, выпил (опять-

таки без аппетита) и закусил, честно расплатился, взял билеты, поздоровался с двумя-тремя знакомыми, внушительно поскрипел ботинками, посмотрел сквозь дымчатые очки на некую молодую даму так пронизывающе, что дама вынуждена была перейти на другую сторону платформы, и, наконец, принялся усаживать в вагоны Ревекку и Соню, так энергично, с таким усердием, как будто получал за это бог весть какое вознаграждение...

Через две минуты поезда уже не было. Только белый тающий дым клубился и медленно исчезал далеко-далеко в подкрашенном небе, да сильный свист и глухой шум еще стояли в ушах. Но скоро все стихло. Буфетчик прикрыл свою торговлишку; сторож захлопнул двери; носильщики и жандармы разошлись кто куда. И стало грустно, — совсем как в синагоге в пятницу вечером, в канун субботы, после вечерней молитвы, когда все расходятся по домам и один только служка Арон-Мойше бродит между скамьями, собирая забытые молитвенники, да сторож Ерема лезет задувать лампы и гасить свечи двумя пальцами, предварительно поплевав на них. Ерема ждет, чтобы скорей прошло время ужина, он пойдет гасить свечи у хозяев, выпьет у них рюмочку и закусит субботним калачом.

Ни поезда, ни пассажиров, ни героев. Может быть, мы с ними еще когда-нибудь встретимся?

Возможно.

А пока простимся.

До свидания!

ЛЕТО КРАСНОЕ

ДАЧНАЯ КАБАЛА

1

Хапнув сразу добрых несколько тысяч, из дому выгоняют нищету, а врачи велят ехать в Бойберик* на дачу

Не спрашивайте, как, каким образом, каким чудом, с какими муками и трудностями, с какой морокой и головокружением, но вот незадолго до нынешней пасхи я, благодарение богу, провел одно дельце и неплохо заработал — сразу добрых несколько тысяч.

Схватишь сразу добрых несколько тысяч, — и принимаешься в первую очередь за нищету, начинаешь изгонять ее из дому. Швырнешь ей в голову стул, новый кафтан, подушку, пару одеял, дюжину тарелок, кусок материи, пианино — все, что под руку подвернется, летит ей в голову! Словом, я с божьей помощью вытурил нищету ко всем чертям, расплатился с мясником, лавочником, меламедом и прочими кредиторами вчистую, и справили мы пасху, — дай бог всем моим друзьям не хуже! Прекрасная маца, лучшая рыба, самые дорогие вина, самые новые наряды, самые жирные галушки (а в синагоге самый почетный вызов к торе) были у меня! Однако все это, не про

вас будь сказано, нам повредило... Стали звать врачей, врачи начали прописывать рецепты, брать деньги и давать советы, утверждать, что я, и моя жена, и дети, все мы нуждаемся в воздухе. Без воздуха человек не может обходиться даже какой-нибудь час (так говорят врачи). И решено было, что сразу же после швуэс*, когда начнется лето, мы выезжаем в Бойберик на дачу, дышать воздухом.

По правде говоря, не столько воздух тянул нас в Бойберик, сколько сам по себе Бойберик. Ездить в Бойберик и жить там на даче, у нас в Егупце — очень важное дело, предмет гордости, как, например, мягкие кресла с жесткими «спренжинами», на которых никто не сидит, или рояль, который должен стоять в зале, хотя играть на нем некому, и тому подобные вещи, которые нынче шибко в моде. У нас в Егупце, когда двое встречаются в начале лета, первым долгом спрашивают:

— Куда вы нынешним летом едете на дачу?

— В Бойберик, куда же еще ехать? А вы?

— В Бойберик, куда же еще ехать? У вас уже есть дача?

— Да еще какая дача! А у вас?

— Еще какая! Где же ваша дача?

— На Крещатике, конечно! Ну, а ваша?

— Разумеется, на Крещатике...

И так далее.

2

Попали в рай. Маклеры несколько омрачают нам блаженство рая

Сразу же после швуэс мы с женой сели в поезд и приехали в Бойберик снимать дачу. Зеленый лес, свежий воздух, щебетание птичек и убранные дачи, из которых каждая выглядит, как принарядившаяся невеста в ожидании жениха, так нас очаровали, что почти не хотелось уезжать отсюда обратно в шумный

Егупец с его раскаленными камнями и замечательными запахами, особенно по ночам.

— Что ты на это скажешь, Хае-Этл? — обращаюсь я к жене.

— Что мне сказать? — отвечает она. — Денежки, черт бы их батьку взял!

— Видимо, — говорю я, — наши егупецкие аристократы знают-таки, что хорошо? Здесь прямо-таки рай!

— Боком бы им это вылезло! — отвечает она добродушно, и мы гуляем по раю, подобно праотцу Адаму и праматери Еве до того, как они вкусили от древа познания...

Однако омрачили немного эту райскую благодать бойберикские маклеры, водившие нас смотреть дачи. Каждый тащил к себе, смотреть его дачу. Его дача, мол, лучше, красивее, дешевле. Среди маклеров был один, черный, с кнутом в руках и с подбитым глазом. Другой был рыжий парень с кривым лицом. И вот этот рыжий паренек с кривой физиономией схватил нас за полы и тащит. Тогда черный, что с подбитым глазом, схватил нас за руки и говорит:

— С кем вы хотите пойти? С Иваном Поперилой? Он вас в преисподнюю затащит!

— Заткнешься ли ты, кот чертов? — крикнул рыжий паренек. — Сейчас я тебе второй глаз в порядок приведу!

И недолго думая прыгнул к черному и раз... — прямо в лицо. А черный как хватит его кнутовищем, окровавил и кричит, что пожалуется уряднику, а нас свидетелями выставит. Услыхав слово урядник, мы постарались от них отделаться и убежали куда глаза глядят.

8

Переезд из Егупца в Бойберик. Мелкие неприятности и великий позор

Поездка из Егупца в Бойберик — это пустяк: продолжается всего полчаса. Но переезд из Егупца в Бойберик на дачу с женой и детьми, с постелью, с мяс-

ной и молочной посудой и всеми прочими бебехами — я только врагу своему пожелаю! С первой минуты, как только вы принимаетесь укладываться в дорогу, жена расстраивается и начинает ужасно нервничать. Не трогайте ее в это время, вам же лучше будет! Вот она как будто держит ключи в руке, вертится, стоя на одном месте, и кричит: «Где мои ключи? Ключи! Что это за дом такой: что ни положи, исчезает! Господи, спаси и помилуй от такого дома и от таких детей! Разве это дети? Дьяволы, черти, нечистая сила, а не дети!..»

А у детей манера: чуть увидят, что старшие очень заняты, они начинают путаться под ногами... Толкнешь их, швырнешь, ударишь — начинается рев, крик, шум, — форменный ад! А укладывание! Шутка ли целое хозяйство, не сглазить бы, надо уложить, запаковать, завязать, не забыть какой-нибудь мелочи! И, словно назло, когда все уже отослано в багаж, оказывается, забыли положить женину шляпку с цветами, клетку с канарейкой, чернильницу со стола, трости, зонтики и тому подобные глупости, которые всегда остаются напоследок, в том числе и трубу от самовара.

— Что мы будем делать без трубы? — кричит жена. — Где я возьму шляпку на даче? И что будет с бедной птичкой? Она же подохнет!

Словом, все это надо взять с собой и нести в руках. Но кому же нести, когда у всех руки заняты, все нагружены сверху донизу кошелками, коробками, узелками и пакетами. Приходится вам самому потрудиться (другого выхода нет!) и взять, извините, самоварную трубу в одну руку, а клетку с птичкой — в другую. Что же делать с шляпкой и прочим барахлом? Тогда вам приходит в голову счастливая мысль — взять трубу под мышку, а шляпку в руку, чтобы не помять. А чернильницу? Чернильницу вы засовываете в карман, садитесь с грехом пополам на подводу и едете, удрученный, к поезду.

Приехали на вокзал — начинается новая глава: билеты. Вы никак не можете сосчитать, сколько вам нужно билетов. Останавливаетесь и считаете по пальцам: жена — один, не сглазить бы, восьмеро детей,

шестеро взрослых — шесть целых билетов, значит, всего семь, двое малых ребят по полбилета — восемь, бабка — девять, трое прислуг — двенадцать. Ровно двенадцать. Ровно двенадцать, хорошо, что не тринадцать, — тринадцать несчастливое число... (Себя вы забываете включить в список.) Дзинь, дзинь, дзинь! Народ толчется, жена зовет вас: «Где ты там? Чего ты там так долго возишься? Не хватало еще опоздать из-за тебя!» А дети помогают кричать: «Папаша, скорей, скорей! Опоздаешь!» Замороченный, вы влетаете в вагон, застреваете с самоварной трубой в дверях, шляпка с цветами падает у вас из рук. Вы нагибаетесь, хотите ее поднять, но тут на нее опрокидывается чернильница. Жена начинает горячиться (и она совершенно права): «Повернулся, как тюлень! Кто просил тебя быть таким добрым и носиться с моей шляпкой? Как я теперь буду без шляпки?» Вы, конечно, говорите, что купите ей десять шляпок, лишь бы было тихо. Но она говорит, что не нуждается в одолжениях, очень вы ей нужны с вашими шляпками! Вы краснеете, как мак, и покрываетесь потом от стыда, потому что на вас устремлены пятьдесят пар глаз. А ваши дети затевают драку из-за окна: все хотят стоять и смотреть в окно! Их счастье, что это в вагоне: не стыдись вы людей, вы бы с ними разделались как следует! Но тут подходит к вам младший из детей и спрашивает: «Папаша! А где каналейка?..»

Бросаетесь к клетке, — пусто! Нет никакой птички! Поднимаетесь, ищете ее под ногами, в карманах: «Куда могла деваться птичка? Когда она могла вылететь?»

Один спрашивает, какая это была птичка? Другой интересуется, сколько она стоила? Кое-кто перешептывается, другие давятся от смеха. Некий молодой человек с белыми зубами советует немедленно по приезде в Бойберик дать телеграмму в Егупец, чтобы там разыскали птичку, а вся остальная публика прыскает со смеху. У вас сильное желание схватить этого белозубого умника за глотку и вышвырнуть в окно! Счастье, что входят кондуктор и контролер и все принимаются за билеты.

Когда доходит очередь до вас, контролер спрашивает, за кого у вас двенадцать билетов? Вы считаете по пальцам: жена, шестеро детей взрослых, двое маленьких, одна старушка и трое прислуг.

— Ну, а ваш билет? — спрашивает контролер и смотрит на вас, как на заведомого жулика, которому вздумалось прокатиться в Бойберик без билета. — Где же ваш, ваш билет?!

Вы совсем теряетесь, ищете билет везде, заглядываете в самоварную трубу, ощупываете задний карман, — нет больше билетов!

Жена заметила, что вы что-то ищете, и спрашивает:

— Что там еще? Что ты еще потерял? Посмотрика, где золотые часы! Есть еще у тебя часы? Или у тебя уже кукиш, а не золотые часы!

— Ничего я не потерял! — отвечаете вы со злостью, хватаете самоварную трубу и, швырнув ее в окно, произносите: — Ко всем чертям собачьим!!

Вот так, или примерно так, прошел и наш первый переезд из Егупца в Бойберик на дачу.

4

На дачу нам доставляют все, что угодно. Приходят представляться местные жители. Я знакомлюсь с сыном резника

Не успели мы развязать узлы и оглядеться, на каком мы свете, как нам начали приносить всякую всячину: кур, яйца, уток, овощи и молочное, соления, копчения и прочие разности: бакалею, галантерею, меха, все, чего только пожелаешь.

— Что ты скажешь на это, Хае-Этл? — обращаюсь я к жене.

— Что мне сказать? — говорит она. — Денежки, черт бы их батьку взял!

Потом стали приходить люди без товаров. Один входит, другой выходит, и мы начали заводить знакомства.

— Мир вам! В час добрый! — произносит один.

— Здравствуйте! Что скажете хорошего?

— Ничего. Я торгую дровами. Может быть, вам понадобятся дрова, вот я и пришел.

Затем появились женщины и начали представляться: одна — молочница, другая торгует сыром и маслом, третья — курами, четвертая — булками. Каждая заявлялась с особой рекомендацией. А за ними пошли нищие — парами и поодиночке, собиратели и собирательницы пожертвований, совсем как в Бердичеве.

— Видать, — говорю я, — у вас в Бойберике порядочно евреев?

— Не сглазить бы! — отвечает заспанным голосом долговязый молодой человек с бледным лицом и в длинном мешке, который он называет «накидкой», точно желая сказать: «Хотите — называйте меня хасидом *, хотите — зовите аристократом... *»

— Сколько, — спрашиваю, — к примеру, здесь может быть евреев?

— Вы лучше спросите, — отвечает он, — сколько здесь неевреев?

— У вас тут, видимо, — говорю я, — земля обетованная? Евреям можно жить здесь совершенно свободно? *

— Наоборот! — отвечает он. — Евреям здесь ни в коем случае жить нельзя!

— Как же они здесь живут, если нельзя?

— Да вот видите же! — отвечает он.

— Вы кто будете? — спрашиваю я у молодого человека.

— Кто я? Еврей.

— Это сразу видно, — отвечаю я, — что вы, упаси бог, не христианин. Я хотел спросить, кто вы такой?

— Кто я такой? Я, стало быть, сын здешнего резника.

— Чем торгуете?

— Чем я торгую? — переспрашивает он. — Может быть, я еще и буду когда-нибудь торговать. Пока я ничем не торгую.

— Что же вам нужно?

— Что мне нужно? Я пришел, значит, попросить у вас, не пожертвуете ли вы сколько-нибудь на нашу талмудтору?

— У вас в Бойберике и талмудтора имеется?

— Э! — отвечает он. — Кабы у нас была талмудтора, было бы хорошо!

— Значит, у вас талмудторы еще нет? На что же вы собираете деньги?

— На что собираем деньги? На здешнюю талмудтору!

— Если у вас нет денег, откуда же к вам взялась талмудтора?

— Да вот видите же!

. . . .

— Чего это ты расселся там толковать с этим растяпой? — кричит из дому жена. — Может быть, ты все-таки потрудишься пожаловать сюда и поможешь распаковывать вещи, расставлять мебель и вбивать гвозди?

Я прощаюсь с сыном резника и направляюсь в дом вбивать гвозди.

5

Вбиваю гвозди в стены. Жена знакомит меня с нашими соседями

Вбивать гвозди в стены — мое самое большое удовольствие! Как увижу пустую стенку — обязательно должен набить в нее гвоздей сверху донизу. Что делать? Видно, у меня такая болезнь: не могу видеть стену без гвоздей.

— Кто это там стучит? — доносится голос за стеной.

— Что за стукотня? — слышится голос за другой стеной.

— Этот человек целый день только бы и делал, что вколачивал гвозди в стены! — говорит кто-то за третьей стеной.

— Головой об стенку! — доносится женский голос за четвертой стеной.

— Хае-Этл! — обращаюсь я к жене. — Ты не знаешь, кто это там пищит?

— Почему же мне не знать? — отвечает жена. — Это, должно быть, женщина из Грейдика, которую муж бросил и уехал в Америку. У нее больные глаза. Она два раза в неделю ездит в город к доктору Мандельштаму, он ей делает прижигания ляписом.

— Откуда ты все это знаешь? — спрашиваю я.

— Почему же мне не знать? — говорит она. — Я уже познакомилась почти со всеми нашими соседками, — кухни здесь все общие. У нас тут на даче «всякой твари по паре»: егупецкие «стикраты», богачи и люди попроще... Ты здесь найдешь и мануфактурщиков с Подола, ростовщика с Крещатика, и маклера по баржам, и домашнего учителя, и кассира какой-то мельницы, и агента от огня, певчего из хоральной синагоги, двух студентов, трех женщин и одну из Литвы.

— Форменный зверинец! — говорю я шепотом.

— Женщины — очень славные, порядочные. Они нездешние: приехали сюда лечиться. Одна из Звенигородки, тощая, как палка, кашляет, бедняга, ночи напролет. Другая из Рестополя с искусственной ногой. Третья — это та, что из Грейдика, которой Мандельштам прижигает глаза ляписом. А литвачка — тоже очень славная женщина, возится, не про меня будь сказано, с зубами, на стенку лезет.

— Ну и черт с ней!

— «Ну и черт с ней»? А что ты имеешь против нее? Ты ее знаешь? Ты ее видел? Она как раз очень милая, порядочная, честная...

— Возможно, — говорю я, — очень может быть.

— Что значит «может быть»? Что это за разговор «может быть»?

— Ну, тише, тише! — говорю я. — Не кричи так. Вон идет сюда какая-то женщина, на одной ножке прыгает.

— Это — рестопольская, которая с искусственной ногой, — отвечает жена и идет к ней навстречу, дружески улыбаясь.

6

Женщина с искусственной ногой и со множеством болезней. Она засыпает меня словами. Я удираю в лес

— Сидите! Садитесь! Отчего вы не присядете? — говорит моя жена той, что с искусственной ногой, и подает ей стул.

— Спасибо, я и постоять могу! — отвечает женщина, садясь, и выставляет вперед искусственную ногу. — Не знаю, — продолжает она со вздохом, — кто выдумал этот Бойберик? Воздух, шмоздух, прошлогодний снег! Вот уже я почти неделю, как живу здесь, и хоть бы мне вот настолечко легче стало! (Она показывает на мизинце, насколько ей не стало легче.) Знать бы так докторам о своем здоровье, как они знают, что со мной!

— Какая же у вас болезнь, к примеру? Почему доктора велели вам выехать сюда на дачу?

— Моя болезнь? — говорит женщина и поправляет свой протез. — Будь у меня только одна болезнь, было б хорошо! Беда в том, что нет на свете болезни, которой бы у меня не было. А спросите, что у меня болит, я и сама не знаю! Вот я живу вместе с женщиной из Звенигородки, она возится с легкими. Ничего! Она по крайней мере знает, что с ней! Или, скажем, та женщина из Грейдика, что с больными глазами: она знает, что должна два раза в неделю ездить к доктору Мандельштаму, он ей прижигает ляписом, и кончено! Или, например, литвачка, которую донимают зубы. Очень скверно, конечно, когда болит зуб, а тем более когда, не дай бог мне этого, нарывает вся челюсть! Возможно даже, что это у нее такой ревматизм, не про меня будь сказано! Началось с простуды, в бане ее схватило. А теперь она на стенку лезет. Я крепче железа, если переношу ее крики! А кто же виноват, если не мужчины? (При этом она с озлоблением глядит в мою сторону.) Будь у меня такая зубная боль, я бы вырвала все зубы у мужа изо рта!

— Чем провинился муж, — говорю я, — если у жены болят зубы?

— Вот как? Серьезно? — произносит женщина, выставив свою ногу, и шмыгает носом. — А детей вам рожать — это ничего? Носить, и кормить, и отлучать, и оспа, и корь, и зубки, и кашку варить, и пеленки стирать, и рубашечки шить, и чулочки штопать, и головки мыть, и чесать, и расчесывать?.. Ах, вот как, этого вы слушать не желаете? У вас, говорите, времени нет? Хотите пойти, говорите вы, погулять с детьми в лесу? Того, что вам не пристало, вы и не слушаете? Знаем мы вас! Отлично знаем! Можете надвинуть вашу шапку поглубже! Ничего, правду можно и отцу родному сказать...

7

Моя команда. У каждого свой рай. Сморгонский сват дает мне совет

Моя команда состоит, как выше сказано, из восьми, не сглазить бы, человек: трех девиц, уже взрослых, на выданье, двух поменьше и трех мальчиков. Все они в трудные годы порядком наголодались, досыта наелись горестей, а теперь хотят пожить, вкусить наравне с нами райского блаженства! Но каждый из них представляет себе рай по своему разумению. Например, рай старшей моей дочери — это доктор, и обязательно из Егупца, вторая дочь хочет юриста, и обязательно из Одессы, а третья — инженера с кокардой (из какого угодно города). Рай моих трех мальчиков — это уже совсем иного рода рай, а именно: один считает, что не может быть ничего лучше на свете, чем езда верхом на лошадке. Второму очень хочется иметь велосипед. «Если бы папаша, — говорит он, — купил мне на даче велосипед, я был бы самым счастливым!» А третий довольствуется красной рубашкой, глянцевыми сапожками, заправленными в голенища брюками, да чтобы собачонка бежала следом. И все это нужно купить, потому что жена над каждым из них трясется, и доби-

ваются они у нее всего, всего, что им захочется. А тем более сейчас, когда бог помог и добиться можно, — почему не побаловать детей! Однако все это касается вещей, которые покупаешь за деньги. Но как быть с женихами? Что тут поделаешь? Доктор, и обязательно из Егупца? Юрист, и обязательно из Одессы? Инженер с кокардой. То есть если подойти к вопросу с другой стороны, то за деньги можно получить и докторов, и юристов, и инженеров сколько угодно! С тех пор как узнали, что я сцапал большие тысячи, сваты закидали меня письмами со всего света. Сморгонский сват давно обивает у меня пороги. Он предложил мне чуть ли не двадцать семь партий и даже обругал уже меня.

— Чем же я виноват, — толкую я ему, — что дочери мои ни за что, ни в коем случае не желают выходить замуж по сватовству?

— А как же они желают? — спрашивает он.

— Они, — говорю, — желают, чтобы это была случайная встреча... любовь.

— Ах вот как! — отвечает он. — Иначе они у вас не привыкли? Им обязательно хочется любви? В таком случае могу дать вам совет: пускай они у вас спят на подоконниках, авось кто-нибудь сжалится над вами, похитит их через окошко и удерет с ними...

В другое время сморгонский сват открыл бы у меня двери собственной головой. Но когда имеешь взрослых дочерей, да еще троих сразу, приходится проглатывать обиды и помалкивать.

А по строгому секрету скажу я вам, что на девяносто девять процентов мы и на дачу в Бойберик выехали ради дочерей: а вдруг господь сжалится и подвернется что-нибудь подходящее. Потому что здесь, в Бойберике, каждое лето заключаются самые блестящие браки. Оно и понятно: на даче весь мир на виду. Лес достаточно велик, на вокзале всегда полно народу, есть и сад и театр. Парни и девушки встречаются десять раз на дню, делают глазки, улыбаются друг другу, перекидываются словечком-другим, потом знакомятся, ходят гулять в лес, катаются на лодках, поют песни... А по ночам сидят при луне, считают звезды, вздыхают... А тарелки бьют уже в Егупце*.

8

Бойберикский лес со всеми его обитателями. Различные парочки. Деревья хранят тайну

Если вы думаете, что лес в Бойберике это такой же лес, как и все прочие, то вы ошибаетесь. Вы можете здесь гулять один, сколько вам вздумается, не о чем беспокоиться: разбойники, упаси бог, на вас не нападут, не встретите вы здесь ни волка, ни дикой козы, ни хищного зверя. Здесь могут вам повстречаться совсем иные существа: истощенный дачник, шагающий по лесу без всякого дела, кашляющий и харкающий, больная женщина, которая держится за дерево и кашляет не переставая или лежит на земле и еле переводит дух, и тому подобные создания, которые мучаются и не желают помирать, которые верят в колдовство, в докторов, в рецепты, в лес, в воздух и прочие химеры... Другие больные, у которых много денег, лежат, растянувшись, в гамаках — этаких люльках, привязанных к деревьям и похожих на висячие могилы.

Евреи любят общество. Как бы они ни были больны, они не любят сидеть в одиночестве. «Что бог пошлет, лишь бы все вместе». В Бойберикском лесу имеются места, которые служат клубом, или, не будь рядом помянута, синагогой, где больные могут собраться и немного посидеть. Немного посидеть — значит немного поговорить, а немного поговорить — значит немного оговорить...

Прогуливаясь со своими по лесу, мы увидели издали группу похожих на покойников мужчин и женщин, сидящих в разных позах.

— Мойше, ты не знаешь, кто это такие? — спрашивает один, указывая на нас глазами.

— Откуда мне знать? Знать бы мне так горести! — отвечает Мойше и разражается кашлем.

— Погодите-ка! — говорит третий. — Это, наверное, новые дачники, которые сегодня утром переехали в Бойберик, на большую дачу.

— Если так, — отзывается еще один, приподымаясь на высохших руках, похожих на палки, — если

это те самые, что вы думаете, то я вам расскажу кое-что интересное...

Услыхав, что собираются рассказать «кое-что интересное», все покойники оживают, а тот, что приподнялся на тощих руках, хорошенько откашлявшись, рассказывает что-то шепотом всей компании. Его слушают с большим удовольствием, поглядывая время от времени на меня и на моих дочерей.

— Брайна! — обращается одна женщина к другой довольно громко. — Какая из этих трех девиц вам нравится больше?

— Средняя! — отвечает Брайна тоже во весь голос.

— Не правда ли, средняя, Соре-Зисл?

— Нет, — говорит Соре-Зисл. — У средней только волосы хороши, а больше ничего. Мне нравится меньшая. Если бы не ее нос, она и вовсе была бы красавица!

— Тиш-ш-ше! — кричит на женщин один из мужчин. — Видали? Словно гуси, разгоготались!

Мы идем дальше и встречаем в лесу другие создания. Эти сидят за зелеными столиками, режутся в «очко», в «шестьдесят шесть» и шлепают картами.

— Трешницу на тройку!

— Ну?

— И трешницу на тройку!

— Ну?

— И еще раз трешницу на тройку, на все!

— Отвечено! Что у вас?

— Три парня!

— Чепуха! А у вас что?

— Три девки!

— Плюньте им в рожу! Короли поважнее!..

. . . .

— Сто тридцать!

— Мои!

— Сто тридцать пять!

— Пас! Помогай вам бог! Что у нас за козыри?

— Козыри — трефы. (Быстро, одним духом.) Сорок! И из-под сорока! И возле сорока! И поверх сорока! И по ту сторону сорока!

— А король пик — собака? Трах по морде!

— Ремиз!

— Кушайте на здоровье!

. . . .

Эти существа, судя по всему, и не думают о смерти. Среди них имеются такие, которые приезжают из Егупца в Бойберик не ради прекрасного леса, не ради здорового воздуха, но именно ради «очка» или ради «шестидесяти шести».

Еще дальше начинают встречаться парочки, девушки и парни. Каждая парочка держится по-своему. Одни гуляют под руку очень фамильярно: она смотрит на него, он смотрит на нее, и оба они напевают какую-то странную песенку, приплясывая в такт:

Люблю капусту, редьку, квас,
Но больше всех люблю я вас!
Вас обожаю!
Вас обожаю!..

Другая парочка, видно, учится бегать или играет в «ловитки»: она бежит, а он — за ней. Он хочет ее поймать, а она убегает. Третья парочка поменялась одеждой: он надел ее жакет, а она — его шляпу, — и делай с ними что хочешь!.. Другие ходят и кричат не своими голосами: «А-у! А-у!» — и далеко в лесу эхо отвечает им: «А-у!..»

Тишина. Лес точно замер. Его все это не касается. Тихо и горделиво стоят высоченные сосны, утыканные зелеными колючими иглами, и смотрят вверх, в ясное голубое небо. Будьте уверены, у них вы ничего не выведаете.

Знаете, что я вам скажу? Боюсь, что бойберикский лес — сват почище сморгонского, да и всех сватов на свете.

9

Еда на свежем воздухе. Нищие спекулируют. Муж женщины из Ресторполя. Дамы и их языки

Возвратившись из лесу, мы застали на веранде, заросшей со всех сторон диким виноградом, накрытый стол и впервые сели кушать на свежем воздухе.

Целый хор птичек, бесплатных музыкантов, пел, свиристел, чирикал и щебетал на тысячу ладов. Птички поодиночке подлетали к столу, хватали крошку и улетали восвояси.

— Хае-Этл! — обращаюсь я к жене. — Что ты на это скажешь? После такой прогулки по лесу кушать на свежем воздухе — совсем как будто не плохо?

— Что мне сказать? — отвечает жена по своему обыкновению. — Я давно тебе говорила: денежки! Черт бы их батьку взял! Единственная беда — это то, что слишком уж здесь свободно, слишком открыто, все знают, что у кого готовят. Женщина из Грейдика, которой доктор Мандельштам прижигает глаза ляписом, уже побывала у нас на кухне, заглянула во все горшки. А рестопольская выведала у прислуг все, что творится у нас с первого часа нашей свадьбы...

— Пожертвуйте сколько-нибудь, люди добрые! — раздается вдруг несколько голосов сразу. Это нищие, которые тянутся друг за дружкой целой вереницей.

— Откуда вы? — спрашиваю я одного из них.

— Из Егупца, — отвечает он.

— Стало быть, вы живете здесь?

— Упаси бог! — отвечает он. — Мы каждый раз приезжаем поездом.

— Так ведь это же требует расходов? — говорю я. — Возмещаете ли вы хотя бы то, что тратите?

— Как когда, — отвечает он. — Иной раз возмещаешь расходы, а иной раз и докладывать приходится. В каждом деле так. Спекуляция. Приходится рисковать...

. . . .

— Мир вам! Благословенны восседающие! — произносит некий рыжий молодой человек в шелковой шапочке и широком арбеканфесе *.

Он останавливается против нас, смотрит, как мы едим, и курит папиросу.

— Здравствуйте! — отвечаю. — Пожалуйте кушать!

— Кушайте на здоровье! — говорит он, продолжая курить.

— Откуда будете? — спрашиваю я.

— Я, — говорит он, — из Рестополя. Приехал сюда к жене, проведать. Она с вами на одной даче живет.

— Стало быть, вы муж этой женщины из Рестополя? Ваше имя?

— Хаим-Волф.

— Вы хотели что-нибудь сказать мне, реб Хаим-Волф?

— Нет, — отвечает он совершенно серьезно. — Я увидал издали, что вы едите, и нарочно подошел, чтобы посмотреть, как это еврей ест без шапки!..

— Точно такая же история, — говорю я, — случилась в Конотопе. В Конотоп недавно приехал ваш рестопольский ребе*. И вот приходит к нему некий Мойше Конотопский, который никогда не был почитателем всяких ребе, и молча кладет ему на стол рубль. Ребе спрашивает: «Что скажешь?» Но тот молчит; достает еще один рубль и кладет его на то же место. «Что тебе угодно?» — спрашивает снова ребе. Тогда Мойше отвечает: «Ничего. Я только хотел посмотреть, как человек берет даром деньги...»

Муж рестопольской женщины поворачивается в другую сторону, сплевывает и уходит прочь.

— Что ты скажешь, Хае-Этл, о муже твоей рестопольчанки?

— Что мне сказать? — говорит она. — Твои егупецкие аристократки с брильянтовыми сережками, которые живут здесь на даче, ничуть не лучше. Целый день только и слышишь от них «ха-ха-ха!» да «ха-ха-ха!» Есть тут одна дама с брильянтами и как раз такая, что целый день сидит над книгой... Посмотрел бы ты, что она тут вытворяла из-за цыпленка! Ей померещилось, что соседка, тоже дама с брильянтами, у нее укр...

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — доносится визгливый хохот дамы, и чувствуется, что смеется она истерически.

А другая дама кричит, и клянет, и пересыпает свою речь странными словами: языкастая, мордастая, кирпатая [1], горбатая, пархатая, сморкатая...

— Ого! — говорю я. — Она владеет языком!

---

[1] Курносая (*укр.*).

— Однако ты бы слышал, — отвечает жена, — как она не желает говорить со мной по-еврейски. Только по-русски и только по-немецки, хоть кол у нее на голове теши!..

10

Горячая стена. Соловьиная песнь и размышления купца

Усталые и измученные за день, мы свалились, как снопы, и легли спать. Проспав часа два, вижу сон, будто я в парной бане, забрался на верхний полок и кто-то хлещет меня веничком, — наслаждение!

— Подавай пару! — кричу я со сна во весь голос. — Пару! Пару, пару!

— Бог с тобой! Чего ты кричишь? Что случилось? — будит меня жена.

— Какая-то дикая жара, — говорю я, — у нас на даче! Я весь в поту! Пощупай, Хае-Этл, стену, от нее так и пышет жаром, как от печи.

— Ох ты, горе мое! — вскрикивает моя Хае-Этл, отдергивая руку. — Стена горяча, как огонь!

— У них тут, видно, дачи с печами! — говорю я.

— Умник! — отвечает жена. — Слыхал ли ты когда-нибудь, чтобы на дачах были печи? Спятил, что ли? Сюда, наверное, выходит стена кухонной печки! Не понимаешь ты, что ли?

— А что толку, если я понимаю? Жарища такая, что можно растаять, как масло!..

Встаю и раскрываю окно. В комнату врывается прохладный ветерок и доносит аромат цветов и каких-то пряностей, которых мы и вовсе не знаем. Высовываю голову наружу и замираю, очарованный красотой и ароматом летней ночи.

Темно-синее небо усыпано звездами, изукрашено брильянтами, от света которых мелькает в глазах. Сквозь зеленую листву глядит серебристо-белая луна, ныряющая в клочья серой тучи. Эти клочья становятся все реже и реже, расползаются, словно дым, и

луна снова глядит, белая, круглая и безликая. Из лесу доносятся странные звуки: «Чри-чери-кти-тю-тю-тюх-тюх...» Прислушиваюсь, боюсь дух перевести, замираю: давненько уже не слыхал я такого пения! Это он, соловей, певец ночи, голос которого разносится по всему лесу, певец, который и сам не спит и никому спать не дает, который будит в вас глубоко затаенные, давно умершие чувства, вызывает удивительно странные мысли, мысли, ничего общего не имеющие с гешефтом, барышом, целковым.

Я уношусь со своими мыслями в другой мир, далеко-далеко, в мои детские, мальчишеские, глупые, но счастливые, счастливые годы, которые никогда не вернутся, — я на минуту превращаюсь в другого человека. Мне не хочется уходить отсюда, простоял бы так всю ночь. Но вдруг ко мне возвращаются прежние, обычные, будничные мысли: жена, дети, взрослые дочери, мелочные заботы, сделки, нажива...

«Нельзя отрицать, — думаю я, — поет он недурно, этот молодчик. Но занятому человеку, думающему о делах и деньгах, сесть на всю ночь любоваться на луну, считать звезды и слушать соловья, — фи!..»

Закрываю окно и ложусь спать.

11

«Разных галантерейных товаров!» Холодный душ. Муж рестопольчанки разрешает спор

— Разных галантерейных товаров! — кричит кто-то прямо в ухо. — Мыло «Вера-виолет». Хорошее мыло! Не нужно ли вам хорошего мыла?

— Мыло? Какое мыло? — говорю я в испуге, сажусь на кровати, протираю глаза и вижу перед собой черную собачью мордочку со вздернутым носиком.

— Какое угодно! — отвечает черная мордочка. — «Вера-виолет», «Брокар», «Пульс», а то, если хотите, «Пачули»? Прекрасное, пахучее! Выбирайте, покупайте, дешево!

— Кто здесь? Что такое? Гвалт! Гвалт! Гвалт! — просыпается с криком жена и, увидав в окне черную мордочку, падает в обморок.

— Бог с тобой! — говорю я и привожу ее в чувство. — Ничего! Ничего! Это — галантерейщик!

— Мадам! — со смешком обращается галантерейщик к моей жене. — Что это вы так испугались меня? С рогами я, что ли?

— Как это можно, — говорю я ему, — лезть в чужое окно, когда люди спят?

— На даче, — отвечает он, — надо вставать рано.

— А может быть, — говорю я, — мы всю ночь не спали?

— А что же вы делали?

— Ну, уж это и вовсе не ваше дело! — говорю я. — Идите себе подобру-поздорову!

— Когда мне надо будет уйти, я у вас и спрашивать не стану! — отвечает он. — Какие баре, скажите на милость! Приезжают в Бойберик и разлеживаются, как у тещи на печке! Мало того что им прямо в дом приносят всякую хворобу, они еще, видите ли, недовольны!

— Вы, — говорю я, — большой нахал!

— Нахал? — переспрашивает он с усмешкой. — Что значит нахал? Как понимать это слово? Вы, вижу я, человек злой! Мадам, купите что-нибудь! Купите себе, мадам, замечательную шпильку, нынче носят их сзади.

Я больше не могу выдержать. Хватаю кувшин с водой и выливаю ему на голову. Он подымает шум, крик. Сбегаются все соседи со всеми соседками и со всеми прислугами... Начинается базар, шум, гвалт... Все намекают, что так не следует обходиться с бедняком.

— В чем дело, — говорят они, — не хотите покупать, не покупайте. Но обижать бедного галантерейщика ни за что ни про что, обливать его помоями, — нет! Так порядочный человек не поступает!..

Услыхав такие речи, галантерейщик заявляет, что он немедленно идет к уряднику — и все тут! Пускай урядник делает что хочет...

Но тут вмешивается муж рестопольчанки и предлагает уладить дело миром: я, видите ли, должен попросить прощения у галантерейщика и купить у него что-нибудь.

— Это будет справедливо, — говорит он, — очень справедливо! Поддержать торговлю бедного еврея, знаете ли, это более богоугодное дело, чем кушать с непокрытой головой...

— Правильно! Правильно! — поддерживают его все собравшиеся.

— Если ты посмеешь, — говорит мне жена, — купить что-нибудь у этого человека, хотя бы на два гроша, произойдет бог знает что!

Ну, может быть, вы скажете, кого мне слушать?..

12

Бойберикский лес утром. Мужчины и женщины из «санатория». Не дают плевать. Изнывают по тарелке борща

Бойберикский лес утром, когда весь мир еще спит, — поистине наслаждение! Он выглядит как жених, прекрасный, чистый, умытый и принаряженный. Не видать разных живых существ, что толкутся здесь целый день. Слышен только писк и свист тысяч маленьких созданьиц, поющих, чирикающих и щебечущих, прыгающих с ветки на ветку, перелетающих с дерева на дерево, купающихся в капельках росы, что висят еще на листьях и сверкают в лучах яркого, теплого солнца, словно брильянты. Вдруг в стайке птичек возникает шум, писк, драка... В чем дело? Поссорились из-за червячка. Одна птичка нашла червячка и забралась с ним на веточку в сторонке. Она вертела головкой, хотела полакомиться завтраком. Но увидела другая птичка и подпрыгнула.

— Циф-циф! Где это ты так рано раздобыла червячка?

— Циф-циф! Где бы ни раздобыла, а раздобыла!

— Циф-циф! Дай и мне кусочек!

— Циф-циф-циф! Поди поищи, порыскай, найди, поймай, тогда и у тебя будет!..

— Циф-циф-циф-циф! Идите-ка сюда, сейчас увидите кое-что! — раскричалась вторая птичка и вытянула шейку.

— Циф-циф-циф! Что здесь такое? — спрашивают другие птички, слетевшиеся на крик.

— Циф-циф-циф! Червячок! — кричит вторая.

— Циф-циф-циф! Циф-циф-циф! Червячок! Червячок! — кричат все сразу.

Несколько птичек нападают на ту, что с червячком, другие заступаются за нее... Птичка выпускает червячка, тогда откуда-то появляется совсем чужая птичка, подхватывает лакомую добычу и улетает, а первая, бедняжка, остается одна, опечаленная, с опущенными крылышками, и вся дрожит. Ке-ке-ке! — оттачивает она клювик, водя им вправо и влево по ветке, поднимает крылышки и — фрррр! — отправляется на поиски другой добычи, лишь бы перехватить что-нибудь на тощий желудок.

И внизу, на земле, тоже не спокойно: прыгают, бегают, лазают и ползают тысячи существ — мушки, жучки, червячки, змейки и ящерицы всевозможных расцветок, мириады паучков и мурашек. Один тащит к себе в гнездо дохлую муху — детишкам на завтрак, другой — травинку, тот — хвойную веточку для шалаша, а другой — целую соломину, в десять раз больше его самого, — все вышли на работу, чтобы как-нибудь перебиться до завтрашнего дня. А в воздухе полно комаров — ужасных нахалов, кидающихся прямо в лицо, и всякого рода тунеядцев, живущих за чужой счет, кружащихся во все стороны, ничего не делающих, шумящих и жужжащих, пляшущих на чужих торжествах, сообщающих на ухо секрет и кусающих сзади, высасывающих каплю крови и улетающих... Все в природе живет, все чем-то занято, все хлопочет о себе, о своем желудке...

Гораздо позднее в лесу начинают появляться люди. Все те же существа, те же мужчины и жен-

щины с собственными бутылками, с собственными висячими могилами (гамаками), что и всегда.

— Вы живете здесь на даче? — спрашиваю я из любопытства у целой компании бедняков, больных, изможденных мужчин, которые упираются руками в деревья и кашляют.

— Сказали тоже! — отвечают несколько человек сразу. — Где уж нам на дачах жить? Мы бедные ремесленники из Егупца.

— Что же вы делаете здесь, в Бойберике? — спрашиваю я.

— Горе нам! — отвечают они. — Мы находимся в здешней больнице, которая называется «санаторией».

— Бесплатно?

— А что же, за деньги?

— Кто же дает на это деньги?

— Кому же давать? — отвечают они. — Хворы, что ли, егупецкие богачи давать деньги?! Мало у них, что ли? Если бы господь помог им оказаться в нашем положении, мы бы их лучше содержали, чем они нас.

— А что такое? — спрашиваю я. — Вам здесь плохо?

— Странный вы человек! А что же, разве нам хорошо здесь?

— А именно? Чего вам не хватает?

— Иметь бы нам столько, сколько нам не хватает! Во-первых, нас оторвали от дома, от жен и детей, поселили на даче и откармливают, как гусей, пичкают лекарствами, молоком и «кафиром», который готовит для нас татарин. Затем велят целый день валяться в лесу, на воздухе, и выкинуть всякие заботы из головы. Легко сказать!

— И это все? — спрашиваю я.

— А плевки? — обращается ко мне человек в темных очках и захлебывается от кашля. — Плевки — это, по-вашему, ничего?

— Какие плевки?

— А то, — отвечает он, — что плевать не разрешают? Человек кашляет и хочет сплюнуть, а ему не дают! Доктор завел какие-то мисочки, каждый боль-

ной должен носиться со своей мисочкой и плевать в нее. Поступают так нормальные люди?

— А простыни, и постель, и белье, — говорит больная женщина с мертвыми губами. — Доктор велит менять все каждую минуту. Этакое сумасшествие! Я спрашиваю: какое отношение имеет, например, чистая простыня к моему кашлю. А если я буду десять раз в день менять сорочку, я перестану кашлять?

— А еда, которой нас кормят! — говорит человечек с горящими глазами.

— Вам кушать не дают? — спрашиваю я.

— Еще чего захотели? Чтобы нам уже и вовсе кушать не давали? — отвечает он. — Кушать дают, но что у вас называется кушать! Мы в здешней больнице вот уже, слава богу, третье лето изнываем по тарелке борща. Три лета подряд нас кормят бульончиками, жареными курочками, молоком и яйцами всмятку. Каждый день — снова курочка и опять бульон, еще раз молоко и опять-таки яйца всмятку! Вареники, говорят, и те приедаются! Просим: сготовьте когда-нибудь жаркое с чесноком, лучок с салом, редьку, дайте немного борща — душу побаловать, а они говорят, доктор не велит! Не хворы, говорят они, кушать хорошие котлеты, «бештек» свежий, жареную курочку, бульон с гренками и запивать молоком, или «кафиром», который татарин изготовляет! На что нам все эти блюда? — толкуем мы. Вы давайте нам то, что мы любим! Одно из двух: если вы взялись давать нам квартиру, и прислугу, и лекарства и все прочее, то вы должны у нас спросить, что мы любим, а не кормить тем, что выдумывает ваш умник доктор! Коль скоро это больница, говорим мы, то это больница для нас, для бедняков, а не для докторов! А ну-ка, пусть попробует просуществовать больница без бедняков, без больных, с одними докторами! А что, не так?..

— Папаша, евреи! — кричат мне младшие дети и зовут из леса домой.

С тех пор как я сцапал добрых несколько тысяч и ко мне в дом стали заходить студенты, у меня перестали говорить по-еврейски, хотя студенты (по фами-

лии Хацкелевич, Кнобельман и Файтельзон) — еврейского происхождения, а возможно даже, что и настоящие евреи... На них глядя и дети уже не говорят с нами по-еврейски. Они заявляют, что нигде нынче не говорят «по-еврейскому» — и делай с ними что хочешь!

13

Бойберикские обыватели. «Изучение торы — превыше всего!»

Придя из лесу, я застаю двух посетителей — одного низенького и толстого, другого — высокого и худощавого.

— Кто такие? — спрашиваю.

— Мы здешние, значит, обыватели.

— Что скажете хорошего?

— Ничего. Мы только хотели спросить, не приходил ли к вам сын нашего резника?

— Молодой человек, — говорю я, — в длинном пиджаке, в зеленом жилете и белой манишке?

— Да, да, да! — отвечают они. — Не просил ли он вас подписаться в пользу талмудторы?

— Просил, — отвечаю.

— Ну, и вы подписались?

— А почему бы нет?

— Ну что ж, подписались так подписались! — отвечают они и переглядываются. — Комедия с этими дачниками, чистая комедия! Кто бы к ним ни пришел за деньгами, они дают. Смеяться некому!

— А что такое? — говорю я. — Вы разве не поддерживаете здешнюю талмудтору?

— Какую талмудтору? — говорят они. — О чем разговор? Ничего похожего. Разве есть в Бойберике бедные дети, которым нужна талмудтора? Спросите ради интереса егупецкого меламеда, который пишет в газетах, тогда услышите...

— Значит, вы считаете, — сказал я, — что я ничего не должен давать на талмудтору?

— Что значит — мы считаем? Можем ли мы вам указывать? А если вам захочется выбросить ваши деньги в болото, — можем мы вам запретить? Мы, упаси бог, не такие люди, чтобы оговаривать других. Но если бы вы знали, кто такой сын нашего резника и что он такое, вы были бы вне себя... Извините, может быть, мы вам докучаем? До свидания!

Они направляются к выходу и возвращаются.

— О чем мы хотели вас попросить? Чтобы вы никому не говорили, что мы вам рассказывали о талмудторе, о сыне резника и тому подобное... Это мы только вам сказали, просто так, для вашего сведения... Понимаете? До свидания!

— До свидания!

Сразу же после этих двоих пришли два других: один в шляпе, другой в картузе.

— Кто такие будете? — спрашиваю.

— Мы здешние, стало быть, местные жители.

— Что хорошего скажете?

— Ничего. Мы только хотели спросить, не были ли у вас только что два еврея?

— Один низенький и толстый, — говорю я, — а другой высокий и тощий?

— Да, да, да! — отвечают они. — Они не рассказывали вам о сыне резника и о здешней талмудторе?

— О какой талмудторе? — говорю я. — Разве есть у вас в Бойберике талмудтора?

— Да еще какая талмудтора! Такой бы нам с вами кусок золота! Те, быть может, сказали вам, что нет?

— Разве есть тут у вас бедные дети? — спрашиваю я.

— Да еще какие бедные! — отвечают они. — Столько бы тысяч нам с вами вместе, сколько бедных детей ходят у нас раздетые и разутые! Те двое, может быть, говорили вам, что нет? Интересная история, честное слово! Знаете, не стоило бы, пожалуй, говорить, — ведь вы же всего лишь чужой человек, но если бы мы рассказали вам хоть десятую долю того, что творится в нашем местечке, вы бы до потолка прыгали! Можете нам поверить — мы ничего общего

не имеем с сыном резника, и нужен он нам, как собаке пятая нога... Но надо вам сказать, что он как раз порядочный молодой человек! Это видно хотя бы из того, что он посвятил себя такому делу, такому, право же, великому и святому делу, как талмудтора! Шутка ли, талмудтора! Ведь сказано у нас, вы, наверное, знаете, — «Изучение торы — превыше всего!» Что может быть важнее этого? Так вот являются два еврея и отрицают все! Ведь желчь может лопнуть! А из-за чего все это? Из-за того, что у нас два резника, две синагоги, две партии, и что бы ни делал один, другой делает наоборот! А тут еще вмешался меламед из Егупца, который пишет в газетах, зачем, мол, открыли талмудтору без него...

— Значит, вы находите, что я не должен полагаться на то, что они говорят, — сказал я, — и должен жертвовать на талмудтору?

— Что значит должен? Разве мы можем вам указывать? Конечно, это великое дело — поддержать бедных детей, которые шатаются без дела, раздетые и разутые! И полагаться на слова тех клеветников вы тоже не обязаны, потому что местечко наше, как видите, маленькое и бедное, но полно интриг, сплетен, вражды и чего хотите! Мы никого не хотим оговаривать, просто к слову пришлось, вот и сказали. Извините, пожалуйста, может быть, мы вам докучаем? До свидания!

Они направляются к выходу и возвращаются.

— У нас к вам небольшая просьба, чтобы вы никому не говорили о том, что мы рассказали о двух резниках, двух синагогах, интригах, о том о сем и прочем... Это мы только вам сказали просто так, чтобы вы знали. Понимаете? До свидания!

— До свидания!

Вслед за этими двумя являются еще двое — один с зонтом, другой с тростью. И снова та же история с самого начала.

— Кто вы такие? Что скажете хорошего?

— Мы, вообще, здешние, стало быть, домовладельцы... А зашли мы к вам ни за чем, просто так... Спросить, не было ли у вас только что двоих — один

в шляпе, другой в картузе? Они, конечно, рассказывали вам всякие небылицы о здешней талмудторе и семидесяти семи учениках, и защищали сына резника, и говорили, что у нас имеются два резника, две синагоги, две партии, и, наверное, клеветали на егупецкого меламеда, который пишет в газетах, говорили, что он любит почести и занимается интригами? Не так ли? Будто сами были при том? Эх-хе-хе! Знаете ли вы, что здесь творится? Если бы мы рассказали вам о здешних обществах «Голодному на хлеб», или «Беспроцентная ссуда», которые мы хотели учредить, о здешней бане, которую мы хотели построить, вы бы с ума сошли...

Я прерываю их и говорю, что оставляю на совести их и общества, и баню, и даже егупецкого меламеда, который пишет в газетах, и что сходить с ума мне не хочется... Они прощаются и уходят, но тут же приходят еще двое — оба низенькие, оба в картузах и оба с тросточками.

Увидав эту пару, я иду навстречу им и, не дожидаясь приветствия, говорю:

— Извините, дорогие мои! Вы, конечно, здешние обыватели и вообще-то вам ничего не нужно, вы просто так хотите знать, не приходили ли ко мне только что двое — один с зонтом, другой с тросточкой? Так вот я вам могу сказать, что никто ко мне не приходил, и я ничего не знаю ни о резниках, ни о егупецких меламедах, которые пишут в газетах, ни об интригах, ни о талмудторе, ни об обществах, ни о бане, и будьте здоровы и всего вам хорошего! Хае-Этл, вели подавать самовар!

14

Переманили прислугу. Нет ни капли воды. Рассорились со всеми соседями. Я удираю в город

— Самовара тебе захотелось? — говорит моя жена. — Ну-ну, дождешься теперь самовара! Мы остались без прислуги, без капли воды, без всего на све-

те! Твои егупецкие аристократки, сгореть бы им на огне, сегодня ночью переманили нашу девку!

— Что значит, — говорю я, — переманили нашу девку?

— Как вам нравится этот простачок? Он не знает, как переманивают прислугу? Бедняжка, как мне жалко его! — отвечает Хае-Этл. — А ну-ка пойду устрою им концерт, да похлеще...

— Тихо! — говорю я. — Хае-Этл, послушай меня, не надо! Пусть будет тихо! Ведь мы же не у себя дома! Ведь мы же в Бойберике на даче!

— На даче? — повторяет жена. — Счастье мне привалило! Сгорела бы эта дача вместе со всем Бойбериком до того, как мы ее сняли! Я же говорила: не надо никакой дачи! Так нет, ему понадобилось тащиться следом за всеми! Все евреи едут в Бойберик, и мы должны ехать! А что бы ты стал делать, если бы все евреи, к примеру, отрезали себе носы?..

Моя жена, дай ей бог долгие годы, похожа на машину: начнет говорить, не пытайтесь даже остановить ее, — она будет говорить до тех пор, пока сама не остановится... В то время как она объяснялась с нашими аристократками по поводу прислуги, я направился к кухарке, — авось мне удастся уговорить ее поставить самовар. Но та ответила, точно ушатом холодной воды окатила: придется, сказала она, подождать, пока она поставит самовар! Будто самовар — это ее обязанность. Достаточно и того, что она должна валяться, как собака, на улице в этой распрекрасной даче. Дачи захотелось! Сами уже не знают, что бы придумать от великого богатства.

— Это одно, — говорит кухарка, — а во-вторых, почему вы не спросите, где я вам возьму воду?

— Как это где? — удивляюсь я. — Разве у нас на даче нет колодца?

— Чтоб я, значит, еще и воду вам таскала? Не доживут до этого враги мои! Чтобы Басе-Бейля, жена синагогального служки, заделалась водоноской! Довольно того, что я должна служить на старости лет! Горе мне горькое! До чего я дожила! Если б мой

Рефоел, царство ему небесное, встал сейчас и посмотрел на свою Басе-Бейлю — он бы еще раз умер!..

Басе-Бейля разражается плачем, как малое дитя. У меня даже сердце начинает щемить, и я говорю ей:

— Знаете что? Дайте мне ведро и веревку, попробую сам вытащить ведро воды.

Беру ведро и иду к колодцу. Опускаю ведро, раскачиваю его туда-сюда, — ничего не выходит! «Легче, видно, провести десять дел в Егупце, нежели зачерпнуть ведро воды в Бойберике...» Так думаю я и с силой бью ведром по воде. Но тут у меня из рук выскальзывает веревка и — бух! в колодец... Нет ни ведра, ни веревки, ни воды!

— Все, что снилось мне прошлой ночью и нынешней ночью, да падет на голову моих врагов!.. — произносит Басе-Бейля. — Ведь это же чужое ведро и чужая веревка! Кто просил вас воду таскать? С тех пор как я живу, с тех пор как на ногах стою... Чтобы хозяин совал свой нос везде и всюду, во все горшки. Где я теперь возьму ведро? Как я теперь буду готовить?

Я удираю из кухни. Встречает меня жена, она плачет.

— Бог с тобой, Хае-Этл, чего ты плачешь?

— Дачу ему захотелось! — говорит она. — Воздух ему понадобился в Бойберике! Послушал бы ты, каким воздухом угостили меня твои замечательные аристократки! Обругали меня, как прислугу! Стоило ради этого ехать в Бойберик на дачу! Я думала, что эти богаделки за меня заступятся, а рестопольская кривуля вдруг заявила, что у нас трефная кухня *, — молочное и мясное, сказала она, у нас вместе... Но больше всего меня зло берет на эту слепую курицу, которой доктор Мандельштам прижигает ляписом глаза, чтоб они у ней повылазили, господи милосердный!

— Если вы не онемеете, — доносится голос из-за стены, — вам морду набьют! Не посмотрят на ваших перезрелых дочерей, с которыми вы приехали сюда ловить женихов, и на вашего мужа — афериста, которому удалось хапнуть несколько тысяч! Положим, продержатся они у вас, — не дольше бы длилось еврейское изгнание, — лишь с пятницы до субботы! Ви-

дали мы уже в Егупце таких богачей, которые сегодня разъезжают на резиновых шинах, а завтра тащатся пешком без сапог!..

«Да, — подумал я, — утро на даче началось не слишком хорошо. Скверная примета!»

Придумываю для жены предлог, будто мне необходимо быть в городе, и бегу к поезду.

15

«За грехи наши тяжкие». Чудеса «шестидесяти шести» и стукалки. Как производится опись имения. Егупецкий трамвай

Бойберикские дачники, которые каждый день ездят в город, видно, сильно провинились перед создателем, потому что осуждены они за грехи свои тяжкие мучиться на этом свете, при жизни жариться в аду, печься целыми днями в городе на жаре, носиться, как травленые мыши, туда и сюда с грузом узлов, пакетов и картонных коробок, кушать всякую дрянь, не спать, постоянно смотреть на часы, жить в страхе, дрожать, как бы не опоздать на поезд...

Но на людях надо хвастать своей дачей, уверять, что это чудо из чудес, особенно воздух: воздух живительный, прямо-таки рай земной!

И так уж они свыклись с этим раем, что кажется он им заслуженной карой... Они и не жалуются больше, они, как осужденные арестанты, которые знают, что придется отбыть положенное время, пока лето не кончится, — что прикажете делать? Поэтому они очень рады, когда удается хотя бы захватить место в вагоне, — это счастье, не всякому доступное. За место надо драться, да и везение кое-какое требуется. Ибо случается и так, что вы уже повоевали, с горем пополам добились места, но тут является некто бритый, с длинными усами, — вы не знаете, еврей это или нееврей, — и просит вас потрудиться: «Позвольте вас побеспокоить!..»

Вагон, в который я пробился, был битком набит бойберикскими дачниками. Многие сидели, но гораздо больше пассажиров стояло. Публика разбилась на группы, люди говорили о делах: кто о банках — банки банкротятся, кто о векселях — у него хорошие векселя.

— Что у вас называется хорошими векселями? — спросил один.

— Хороший вексель — это вексель, подписанный кредитоспособным человеком, но таким, который собирается прекратить платежи. Понимаете?.. На таком векселе можно порядочно заработать!.. Только вчера я сделал парочку таких векселей, и как раз в лесу, лежа в гамаке!

— Чепуха! — отвечает ему второй. — Что можно заработать на векселе? Зарабатывают по-настоящему на сахаре! Вот Янкеле вчера сделал сто тысяч пудов сахару.

— Янкеле сделал сто тысяч пудов сахару? — спрашивают несколько человек сразу, будто испугавшись. — Почему? Кто купил? Кто продавал?..

И начинается долгий разговор о сахаре, подсчитывают, сколько Янкеле со своей компанией сделал в этом месяце сахару.

— Боюсь, что все шестьдесят тысяч пудов, черт бы их взял! — говорит один.

— Боюсь, что больше! — говорит другой со вздохом. — Прохворать бы им столько, господи!

А там, чуть повыше, сидят сами дельцы и тоже толкуют о сахаре, будет ли он дорог или дешев. Каждый высказывает свое мнение, разумеется, противоположное тому, которое высказал другой, затем все вместе начинают критиковать министра, который выпускает на рынок так мало сахара. Каждый приводит свои расчеты и каждый считает, что будь он министром, он поступил бы разумнее...

* * *

Но не все, что сидят в вагоне, интересуются векселями, банками и сахаром. Есть такие, которые говорят и о другом.

— Сейчас расскажу вам интересную историю, — говорит один. — Вчера мы играли в преферанс с самого утра до двух часов ночи. Не везло мне, спаси и помилуй бог! Только прикуплю — проваливаюсь, ремиз за ремизом! Не прикуплю — теряю золото! Между тем случилось так, что ко мне пришла карта... Торгуюсь почем зря! Словом, загнали меня черт знает куда, дошло до ста сорока пяти! Что было у меня на руках? Было, — слушайте внимательно! — король, валет, дама, девятка пик и туз, валет, дама треф. Но тут надумала «первая рука», черт бы ее побрал, и выходит с трефового короля. Кладу туза, меня перебивают козырем, я остаюсь без одного и ставлю ремиз! Как вам нравится такая напасть? Я думал, — руки на себя наложу! Ровным счетом сто сорок четыре наверх, как в аптеке!

— Погодите! Я вам расскажу более интересную историю, которая произошла со мной! — заявляет другой. — Сидим однажды в компании и играем в стукалку. Было это зимой, в хануку, как раз на пятый день праздника. Вздумалось мне пойти втемную, «а-ля Лейб», и, конечно, покупаю «всякой твари по паре», и, разумеется, проваливаюсь в тартарары! Стало быть, все в порядке, не правда ли? А я возьми да рассердись и еще раз выхожу «а-ля Лейб» и снова прикупаю с бору по сосенке — на ремиз! Короче говоря, разгорячился я, потерял рублей шестьдесят и проклинал реб Лейба на чем свет стоит!..

— Извините, пожалуйста, хотел у вас спросить, — вмешивается в разговор пассажир со стороны, — я сам звенигородский. У нас в Звенигороде тоже частенько играют в стукалку. То есть играем мы во все игры, но чаще всего — в стукалку. Прошу вас, объясните мне, что значит пойти «а-ля Лейб»?

— Вы не знаете, что такое «а-ля Лейб»? — отвечает один из компании. — Сейчас я вам растолкую: есть у нас в Егупце некий Лейб, свой брат, один из городских воротил, и вот он установил правило: когда играют в стукалку и один, к примеру, идет «втемную», а второй — «в открытую», то и последняя рука идет

«втемную». Вот это и называется «а-ля Лейб». Теперь вы поняли смысл?

— Ну? — спрашивает звенигородец и вытягивает при этом шею. — И что же, это помогает?

— Как мертвому кадило! — отвечает тот. — Такую бы помощь Лейбу!

И вся публика разражается смехом.

* * *

В уголок забралось двое евреев — один рыжий, другой черный. Рыжий сдвинул шапку на затылок, засучил рукава, смотрит сквозь очки, потеет и говорит. Черный держит карандашик, книжечку и пишет.

Рыжий. Запишите, прошу вас, имение в Херсонской губернии...

Черный. Мне нужно в Подольской губернии.

Рыжий. Запишите в Подольской губернии — всего тысяча триста десятин земли.

Черный. Тысяча триста десятин — это мало.

Рыжий. Пишите в таком случае тысяча восемьсот десятин.

Черный. Тысяча восемьсот — тоже мало. Мне надо по крайней мере три тысячи.

Рыжий. Пишите в таком случае три тысячи четыреста десятин чернозема...

Черный. Голая земля не годится. Нужно и немного леса.

Рыжий. В том числе шестьсот десятин леса.

Черный. Шестьсот — мало. Мне надо по крайней мере тысячу десятин леса. Мой барин, понимаете ли, любит лес.

Рыжий. То есть тысяча двести десятин леса...

Черный. Какой лес писать?

Рыжий. Какой лес? Сосновый. Настоящий сосновый бор, на который спрос так велик! Сосны высоченные, прямые, одна в одну! Вы таких сосен, уверяю вас, никогда не видали!

Черный. Сосна мне не годится. Мне нужен дуб.

Рыжий. Тьфу! Я и хотел сказать — дуб! Лучшие громадные дубы! Кедры ливанские! Каждый дуб так велик, что его срубить невозможно!

Черный. А двор в этом имении имеется?

Рыжий. Да еще какой двор! Двор двору рознь. Запишите, будьте добры, дворец в двадцать с лишним комнат. Что я говорю! Тридцать с лишним! Можете записать все сорок! На мою ответственность!

Черный. А река? Мой барин любит, чтоб в имении была река.

Рыжий. Да еще какая река! Широкая, глубокая, рыбная! Вот имение, а вот река! (Он показывает на ладони, где имение и где река.)

Черный. А как туда едут? Мой барин хочет, чтобы железная дорога была близко.

Рыжий. Да как еще близко! Пишите: полверсты... Что я говорю — полверсты? Четверть версты, несколько шагов от станции. Вот станция, а вот имение. (Он показывает на ладони, где имение, а где станция.)

— Погодите-ка, мы уже подъезжаем к Егупцу! — восклицает один из компании игроков, срывается с места и уже готов бежать, чтобы захватить место в трамвае. А за ним — вся публика.

Чтобы захватить место в трамвае, требуется еще больше ловкости, чем в вагоне железной дороги. Тут начинается беготня и прыгание через головы — как при землетрясении! Здесь уже не до чинов: еврей, русский, усатый, безусый, будь то даже дама, — ее жмут и стискивают так, что из нее чуть не дух вон. Если она сидит, садятся к ней на колени, и пусть она попробует сказать, что не желает... Здесь надо беречь карманы, а часы лучше оставлять дома. Если поедете в Егупце на трамвае с золотыми часами (можно и с серебряными), будете иметь, с вашего разрешения, фигу, а не часы...

16

Гости. Родной дядюшка. Ентл тети Златы. Напрасные слезы

Вернулся я из города распаренный, разгоряченный, измученный, голодный. Навстречу мне бегут младшие дети с радостной вестью:

— Папаша! Гости! У нас гости!

— Поздравляю тебя с гостями! Нежданная радость! — говорит мне жена. — Родственнички твои! Пронюхали, что ты заработал деньги, и набежали со всего света! Где они были раньше, когда, не теперь будь сказано, нужда свистела во всех углах?..

«Давно уже шуму не было!» — подумал я и направился на веранду. А навстречу мне идет старик с мертвенно-бледным лицом, запавшими щеками и большой бородой. Рядом с ним низенькая женщина с красным носом, в желтом шелковом платке, заправленном за уши, и теплой шалью на плечах, хотя на дворе не так уж холодно. Женщина как-то странно кланяется мне, вытирает нос двумя пальцами и говорит с улыбочкой:

— Не узнал меня? Брось, брось! Ведь я же Ентл, дочь тети Златы! А это мой отец, дядя Залмен. Сильно постарел, не правда ли? Я уже познакомилась со всеми твоими детками, один другого лучше, не сглазить бы!

— Мир вам, дядя! — обращаюсь я к дяде Залмену. — Откуда приехали?

— Прямо-таки наслаждение! — отвечает дядя Залмен очень громко и при этом шевелит губами, как человек, который ест с удовольствием.— Лучше, знаешь, и быть не может! Как же ты поживаешь? А? Давненько уже, слышь, не видались? Наверное, лет двадцать с лишним. А? А может, и больше? Погоди, погоди, сейчас скажу! Сколько уже прошло со времени свадьбы Ентл? А? Как раз с того времени мы не видались! Как же твое здоровье? А? Как дела? А?

— Слава богу! — отвечаю. — А вы как поживаете?

— Прямо из Овруча, из дому то есть! — говорит он так же громко. — Были у тебя в городе, стучали в двери, не открывают! Словом, говорят, ты в Бойберике. Что ты делаешь в Бойберике? А? На лето, значит? Ты что-нибудь сказал?

— Он плоховато слышит, — говорит мне Ентл. — С тех пор как мама, царство ей небесное, умерла, он, не про тебя будь сказано, оглох. Но как, думаешь, оглох? Как стена!

— Здесь, знаешь ли, замечательно хорошо! А? — кричит, обращаясь ко мне, дядя Залмен, как если бы я, а не он, был глухой. — Говорю тебе, слышь, что здесь прекрасно! Прямо-таки рай! А? Я думаю, если богу будет угодно, провести здесь недели две или три... А?

— Мы хотели ехать в гостиницу, — говорит Ентл, оправдываясь. — Но отец заупрямился — только сюда! «Ты, — говорит он, — обидишься, если мы будем жить у чужих. Я ему, говорит, родной дядя, неудобно!»

— А это что за пара? — спрашиваю я и показываю на мужчину и женщину, которые сидят на веранде, пьют чай из блюдечек, дуют на них — чай, видно, горяч — и наслаждаются.

— Убей меня бог, не знаю! — отвечает Ентл шепотом и сердито смотрит на них. — По-видимому, это муж и жена. Они ехали с нами от Фастова в одном вагоне, мы разговорились, как водится в дороге. «Куда вы едете?» — «А вы куда?» Туда-сюда, словом, они узнали, что мы едем к тебе, что сейчас у тебя времена неплохие, понимаешь?.. Они, говорят, тебе родственниками приходятся, и близкими к тому же. «Каким образом?» — спрашиваю. А они отвечают: «Заметано и узелком завязано!» Но как и почему, от них толку не добьешься: он начнет рассказывать, она перебивает, она начнет — он перебивает... Лихо бесконечное! Ты лучше выслушай меня, — ведь мы же с тобой по-настоящему двоюродные брат и сестра!

И Ентл изливает передо мной свою наболевшую душу, — как ей, бедной, сейчас нехорошо... То есть хорошо ей никогда не было, с первой минуты после свадьбы она, говорит, хорошего дня не видала. Однако все это ничего, как говорится — бывает и хуже. С некоторого времени, говорит она, ей с каждым разом все хуже и хуже, а сейчас так скверно, так скверно! Зарабатывать она ничего не зарабатывает, а нужда большая! К тому же есть и побочные горести и болячки: то призыв, то дитя на выданье, то пала корова, то лавка погорела, да так, что нитки и той спасти не удалось! Удачи, казалось бы, со всех сторон? А тут девочка лет тринадцати, красивая,

хорошая, гладкая, приятная, ложится и помирает! Сосл ее звали, по имени тети Соси. Всегда была здорова, никогда ни на что не жаловалась, и вдруг приходит с базара, ставит на место кошелку, лицо бело как стенка. «Бог ты мой, доченька, что с тобой?» — «Ничего, говорит, голова что-то болит». Щупаю голову — огнем пылает! «Приляг, доченька, на минутку, я за доктором сбегаю!» — «К чему, — говорит она, — доктор? Жалко денег. Сейчас пройдет! Дай-ка я лучше посолю мясо и начищу картошку...» Вижу, однако, что ребенок кончается. Не послушалась ее, уложила насильно в кровать, а сама побежала к доктору! Где доктор? Доктор-доктор! Доктор-доктор! А он, оказывается, у черта на куличках, где-то за городом! Но какие могут быть отговорки? Доктор нужен во что бы то ни стало! Привезла этого замечательного доктора, но когда мы с ним приехали, я уже ее застала — врагам бы моим! — без языка, глаза закатила... «Доченька, ты не узнаешь меня?» Где там? Что там? Молчит как рыба! И к утру ее не стало! Прямо-таки сгорела! Красивая, здоровая, ясная, — как можно такую в могилу класть?!

И Ентл, дочь тети Златы, расплакалась, как малое дитя, а я, на нее глядя, чувствую, что и меня душат слезы.

— Что такое? Что за плач? — говорит моя Хае-Этл и подходит ко мне.

Хочу ей ответить, но не могу слова выговорить. Глотаю слезы. Наконец набираюсь духу и говорю:

— Дитя у нее умерло... Девочка тринадцати лет...

— Давно? — спрашивает Хае-Этл будто в испуге.

— Уже лет девять или десять, — говорит Ентл и обращается к дяде Залмену: — Папа! Сколько уже, как Сосл умерла? Ты, наверное, знаешь точно.

— От Овруча? — говорит дядя Залмен. — От Овруча досюда лошадьми считается верст двести пятьдесят. А может быть, и все триста! А?..

Чтобы не прыснуть со смеху, я роняю очки, поднимаю их и иду встречать других гостей, что сидят на веранде и пьют чай из блюдечек, дуют на него и наслаждаются.

17

Чета. «Заметано и узелком завязано». Бесконечное лихо

Подхожу к парочке и застаю их сильно вспотевшими от чая. Он в бархатном картузе с широким дном, а она в парике с белым пробором. Оба плотные, весят вместе без преувеличения пудов пятнадцать или шестнадцать. Присаживаюсь и завожу разговор: то-се, откуда едете и кто вы такие?

— Кто мы такие? — говорит муж, вытирая пот полой кафтана. — Сейчас услышите. Но прежде всего ответьте мне на вопрос: как звали вашего деда по материнской линии? Не реб Мордхеле?

— Реб Мордхеле, — отвечаю я.

— Уже умер? — спрашивает он.

— Ого! Давно уже умер!

— Благословен судия праведный! — произносит он, покачивая головой. — Тьфу-фу-фу! Благочестивый был человек, мир праху его! И большой знаток священного писания! О нем действительно можно сказать: «Поминание праведника ко благу!» Ну, а бабушка Ханеле как поживает?

— Тоже умерла.

— Царство ей небесное! Тоже была святой жизни женщина! — говорит он и оборачивается к жене. — Ты их не знала, вот тебе и не известно, что это были за реб Мордхеле и Ханеле! Слышите (он поворачивает голову ко мне), были у вас дедушка и бабушка... Вы даже не знаете, какого дедушку и какую бабушку вы имели!

— Знаю, — отвечаю я, — что были у меня дедушка и бабушка. Скажите, кто вы такие?

— Сейчас услышите, — он засучивает рукава чуть ли не до локтей, забирает в руку бороду, раскачивается и говорит нараспев, улыбаясь: — Ваш дед, реб Мордхеле, был корсишевский, из Корсишева, и были у него в Корсишеве две сестры — Нехамеле и Зиселе. Нехамеле эта имела двух мужей, то есть дважды вы-

ходила замуж: в первый раз — за корсишевского, Лейбеле Корсишевский звали его, а второй раз она вышла замуж за реб Симхеле, опять-таки из Корсишева. А этот реб Симхеле корсишевский, когда женился на тете Нехамеле, был вдовцом, — слушайте внимательно! Первая его жена была из Корсишева, звали ее Двойреле. А она, Двойреле то есть, была родственницей вашего дедушки... Понимаете? Дедушка выдал ее замуж, вы слышите или нет, за своего шурина, то есть за реб Симхеле, когда тот еще не был его шурином. И лишь потом, когда Двойреле умерла, Симхеле женился на сестре вашего деда, на тете Нехамеле, и родилась у них дочь, которую он назвал Рейзеле, по имени своей матери Рейзи, которая была теткой вашего деда. И вот эта Рейзеле потом вышла замуж за человека из Монастырища, родственника со стороны бабушки, его звали Меерл. Понимаете, как оно идет? Заметано и узлом завязано!

— Заметано и узлом завязано! — перебила его жена. — Но он забыл сказать, каким образом Рейзеле приходится мужу родственницей. Сейчас я вам расскажу! У вашей бабушки Ханеле из Корсишева был дядя в Межбиже, звали его Нойах...

— Здрасьте пожалуйста! — перебивает ее муж. — Заехала аж в Межбиж, к дяде Нойаху! Позвольте мне, уж я растолкую им все родство точно! Короче говоря, вторая сестра вашего деда, Зиселе, имела мужа из Гуляй-Поля, звали его реб Лейвиню. Но у нее не было детей. Тогда она с ним развелась и вышла замуж во второй раз за некоего реб Нафтоли из Монастырища и имела с ним не больше и не меньше, как пять сыновей и семь дочерей...

— Как раз наоборот! — перебивает его жена. — Семеро сыновей и пятеро дочерей.

— То есть семь сыновей и пять дочерей, — поправился он и принялся считать по пальцам: — Борухл, Хаимл, Янкеле, Герцеле, Беришл, Фишеле, Иоселе и Эстеле, Ривкеле, Годеле, Фейгеле, Крейнделе, — так, кажется? Борухл умер, а Янкеле женился и взял дочку тети Нехамеле, Рейзеле из Корсишева, которая

приходится вашему деду, реб Мордхеле, родной племянницей. Таким образом, дедушка и бабушка сделались сватами... Понимаете, как это все цепляется? Заметано и узлом завязано! Скажите, не так ли?

— Да, — отвечаю я, — это так. Но какое отношение это имеет к вам? Кто же все-таки вы?

— Погодите! — говорит он. — Слушайте дальше! Вот этот Нафтоли из Монастырища, о котором я говорил, имел двух старших сестер — Этеле и Ривкеле. И вот Этеле вышла замуж за сына реб Мойше-Лейба из Радомысля, который состоит в родстве с Нафтоли монастырищенским, потому что сестра Нафтоли вышла замуж за брата Мойше-Лейба... Понимаете, что тут творится?

— А куда ты девал Ривкеле? — спрашивает жена и хочет рассказать о Ривкеле, но муж не дает; он закрывает ей рот рукой и кричит:

— Погоди с Ривкеле! Куда ты торопишься? Цела будет! Я ее в карман не запрячу! Да, так на чем же я остановился? Видно, на Этеле. Так вот Этеле из Монастырища, стало быть, вышла замуж за радомысльского, как вы уже знаете, за своего родича, а Ривкеле вышла за недотепу из Монастырища по имени Генех и родила дочь Гнендл.

— С праздником тебя! — говорит жена. — Откуда взялась у тебя Гнендл? Гнендл — это вовсе дочь Этеле из Радомысля!

— А что я сказал?

— Ты сказал — дочь Ривкеле.

— Тебе приснилось! До Ривкеле я еще и не дошел.

— Ой! — восклицает жена и даже подпрыгивает. — Лопнуть от него можно. Ведь ты только что сказал, что тетя Ривкеле вышла замуж за монастырищенского, еще даже сказал, что она взяла мужа недотепу по имени Генех...

— Она мне голову заморочила! — сказал муж. — На чем же мы остановились? Да, и вот Ривкеле из Монастырища, стало быть, имела дочь, то есть сына, и звали его Мендл, а у Этеле из Радомысля был сын,

то есть дочь по имени Гнендл. Они породнились, то есть дочь Ривкеле, Мендл из Радомысля, вышла замуж за сына Этеле Гнендл из Монастырища, то есть наоборот: сын Ривкеле, Гнендл из Монастырища, взял дочку Этеле, Мендл из Радомысля, в жены...

— Тьфу на тебя, будь ты неладен! — крикнула жена, вскочила с места и всплеснула руками. — Слыхали вы когда-нибудь, чтобы сына звали Гнендл, а дочку — Мендл, чтобы Гнендл взяла Мендла в жены?

— Ты мне всю голову забиваешь! — говорит ей муж и собирается продолжать свой рассказ, но тут приходит моя Хае-Этл.

— Уже накрыто на стол, пожалуйте кушать! Зови, дорогой, гостей к столу, они уже, наверное, голодны!

За столом мой родственник возвращается к дяде бабушки Нехамеле из Межбижа, которого звали Нойах, а у этого Нойаха, как у библейского Ноя, было трое сыновей. Но сыновей того Ноя звали Сим, Хам и Яфет, а имена сыновей этого Нойаха были Шимеле, Хемеле и Иокл. Отсюда тянется длинная нить родственников, браков между ними, все это запутано, закручено, заметано и связано узлом, — бесконечное лихо! Хорошо еще, что дядя Залмен (долгие ему годы!) вмешался:

— Почем у вас в Бойберике мясо? А? У нас в Овруче мясо невозможно дорогое! Знаешь почему? Из-за таксы! Есть у нас свой откупщик коробочного сбора *, ужасный шалопай! А ваш откупщик такой же шалопай? А? Все откупщики — шалопаи, байструки, пропади они пропадом! А то нет? А?..

Мой родственник в бархатном картузе перестает есть и, подняв вилку, свирепо смотрит на дядю Залмена, так бесцеремонно перебившего его. Но дядя Залмен не обращает на него никакого внимания, он продолжает рассказы об овручском откупщике и овручской общине и ест в то же время с большим аппетитом.

18

Семейку укладывают на ночь. Мы едем за границу на воды

— Где уложить всю семейку? — озабоченно спрашивает у меня Хае-Этл после ужина. — Они хоть и очень желанные гости, но на улице ведь их не положишь.

— Задала бы ты вопрос полегче! — отвечаю я. — Дяде Залмену, я полагаю, надо постелить здесь, на веранде. Ентл будет спать с детьми. А чету, что «заметана и узлом завязана», можно положить у горячей стены, пусть получат удовольствие на даче... Как тебе нравится, Хае-Этл, ветерок, который подул? Небо хмурится, кажется, дождик будет.

— Аминь, дай бог! — говорит Хае-Этл. — Солнце так напекло за целый день, хорошо бы, право, чтобы немного посвежело на нашей замечательной даче! Вот тебе и воздух! Помог бы бог, чтобы хлынул дождь и затопил дачи, и дачников, и весь Бойберик, господи милосердный!

Прошло немного времени, и небо затянуло мрачными тучами. Вдруг стало темным-темно, как если бы кто-нибудь погасил солнце. Птицы попрятались в гнездах. Воздух с каждой минутой становился все гуще и тяжелей. Вдруг метнулась ослепительная молния и тут же ударил гром, грохочущий, ухающий, взбудораживший весь лес из конца в конец.

— Похоже, что будет дождь! — говорит дядя Залмен, поглядывая на небо.

И — словно угадал: не успел он произнести эти слова, как начался проливной дождь, припуская с каждой минутой все пуще и пуще. Поминутно вспыхивает яркая молния, освещающая густую синюю тьму, и ударяет гром, раскатывающийся по всему лесу — тр-р-р-р-р!

— Дождь, кажется, заладил не на шутку! — говорит дядя Залмен. — Уж он теперь, даст бог, будет идти, идти и идти,

— Помоги вам бог сообщать более веселые вести! — испуганно произносит Хае-Этл и все время заглядывает в дом.

— Что это ты оглядываешься каждую минуту? — спрашиваю я.

— Смотрю, — отвечает она, — не протекает ли крыша. Да, каплет прямо в кровать! Надо миску подставить.

— У нас в Овруче, — говорит дядя Залмен, — тоже был такой потоп... Лет двадцать с лишним тому назад, а может быть... А? А может быть, и все тридцать! Весь город затопило! На лодках ездили! Страшное дело!

— Где вы там? — доносится голос из дома. — Идите сюда! Помогайте нести! Спасите!

Бросаюсь в дом — беда! несчастье! Дождь хлещет в окна, льет с потолка... А моя Хае-Этл, подоткнув юбку, стоит в воде. В одной руке у нее маленькая подушечка, в другой — таз, в котором варят варенье, и кричит в один голос:

— Гвалт! Помогите нести! Спасите! Спасите!

— Что ты делаешь? — говорю я. — Что ты тащишь из дому? Давай удерем, души надо спасти! Где малыши?

— Папаша, иди-ка сюда! — кричат мне малыши из соседней комнаты, радостные и веселые, чуть ли не по щиколотку в воде, и приплясывают, плескаются, баламутят воду и поют:

Дождик, дождик, перестань!
Мы поедем на Иордань!..

— Гвалт! Ради бога, спасите! Погибаем! — кричит моя Хае-Этл, машет руками и стоит в воде, как парализованная.

— Детей, детей спасайте! — визжит Ентл, не трогаясь с места.

— Знаете, что я вам скажу? — кричит дядя Залмен. — Лучше б малых ребят перенести куда-нибудь, потому что будет, кажется, потоп...

* * *

Я тороплюсь и заканчиваю мое описание дачной кабалы, потому что мы, то есть я и моя Хае-Этл, собираемся за границу, на теплые воды. Врачи находят, что мы оба должны пить какие-то особые воды и купаться тоже в теплых водах. Кстати, хочется нам и свет повидать. Ну что ж, если бог помог, почему бы и нет?.. Детей мы оставляем в Бойберике на даче, не одних, конечно: Ентл дяди Залмена мы сделали хозяйкой на даче, а ради нее остался и дядя Залмен. Чета, которая «заметана и узлом завязана», тоже не прочь была остаться у нас на лето, но жена намекнула им, что и без них в Бойберике будет не скучно, и они отправились восвояси. Куда мы едем, я и сам еще не знаю. Доктор, наверное, направит нас куда нужно. А так как мы едем в страну, где говорят по-немецки, то надо привыкать к их языку, и я прощаюсь с вами по-немецки: «Адье! Цум видерзеениш!»

НА ТЕПЛЫЕ ВОДЫ

(Сценки, типы, встречи, неприятности и удовольствия)

1

Жена с нервами. Дама из Бобруйска. Мы варим варенье

«Нежели брать жену, лучше бы ты себе ногу сломал», — так сказал некий философ (боюсь, не Сократ ли?). А я говорю: нежели иметь жену с «нервами», лучше вовсе не родиться на свет божий.

Это говорит вам не философ, не писатель, который сидит за письменным столом и выдумывает из головы всякие истории, — это говорит вам простой человек, которому господь помог хапнуть добрых несколько тысяч, изгнать нужду из дома, переехать с женой и детьми на дачу в Бойберик и познакомиться с докторами, рецептами, аптеками, гидропатией, массажем, с горестями и напастями — словом, с жизнью в свое удовольствие!

Величайшее несчастье изо всех несчастий на свете — это доктор, и не столько доктор, сколько докторский кабинет, в котором приходится сидеть и потеть, перелистывать газеты, приготовленные на столе, и разглядывать разные незнакомые лица, которые так же разглядывают вас.

От нечего делать вы начинаете перекидываться словами... «Давно уже лечитесь? Какая у вас болезнь? Куда думаете поехать лечиться?» Ну и так далее.

Моя Хае-Этл, была б она здорова, человек, который не любит сидеть молча. И вот разговорилась она с какой-то дамой, литвачкой, кажется, из Бобруйска, так и прилипла к ней. Что она нашла в этой бобруйской даме, я не знаю, но очень скоро они так сдружились, что водой не разольешь. Моя Хае-Этл сказала, что у них у обеих одна и та же болезнь. Какая ж это болезнь? Никакая. Что бы они ни услыхали, у них то же самое. Если у кого-нибудь колики в боку, и у них колики. Зубы? И у них зубы. Ухо? Так ухо. Нога? Так нога. Словом, что бы у кого ни было, — то же самое они обнаруживают и у себя. Она уже побывала, эта бобруйская дама, где хотите, испробовала все средства на свете, — не помогает!

— Что же говорит об этом доктор? — спрашивает моя Хае-Этл с большим сочувствием к бобруйской даме.

— Что ему говорить? Он и сам не знает. Говорит, что это нервы, и велит ехать за границу, на теплые воды.

С тех пор моя Хае-Этл обрела нервы. Но вы думаете — просто нервы? Нервы нервам рознь. Ночи, которые я просидел возле нее, пусть мне господь не зачтет! Что говорить, — дошло до того, что я не имел права шагнуть, кашлянуть, двинуться. Любая мелочь, стоило мне слово произнести, и тут же раздавалось: «Что ты хочешь от моих нервов?»

Короче говоря, было решено, что мы едем за границу лечиться. Куда? Это определит профессор в Вене или в Берлине. Я стал выправлять заграничный паспорт, а моя Хае-Этл пока наготовила себе платья и шляпки для Вены, начала закупать чемоданы, корзины и баулы и варить варенье. Казалось, какое отношение ко мне, мужчине, имеют шляпки, платья, баулы и варенье?

— Нет, — говорит она, — это не только меня касается!.. Ты едешь так же, как и я, стало быть, ты

тоже можешь взять на себя кое-какие хлопоты, потрудиться...

Слово «потрудиться» было произнесено в таком тоне и с таким напевом, которые трудно передать на бумаге, — если у вас есть жена и если у нее тоже нервы, то вам должны быть немного знакомы и этот тон и этот напев.

И началась канитель с платьями, магазинами, лавками, портными, модистками, с модами и журналами... Если я благополучно пережил эти три недели, то уж, видно, буду жить долго! Моя Хае-Этл решила раз навсегда перещеголять Вену и Берлин, и пристыдить Мариенбад, Франценсбад, Баден-Баден и все прочие «бады». Только и делали, что упаковывали ящики, а я платил по магазинным счетам и рассчитывался с модистками: коленкор и пуговицы, крючки и щетки, газ и снова коленкор, стеклярус и прошвы, тесьма и кружево, и снова коленкор и бархат, шелк и марля, шпильки и опять-таки коленкор, рюш и фуляр, перышки и манчестер, и еще раз коленкор... Хорошо еще, что у меня телефон и кто-то позвонил, оторвал меня, дай ему бог долгие годы!

— Кто звонит?

— Интендантское управление.

«Чтоб ты так жил, как я интендантское управление», — думаю я, но от телефона не отхожу. Держу одной рукой трубку, а другой плачу модистке и с облегчением избавляюсь от нее и ее счетов.

— Какое варенье, — спрашивает жена, — сварить на дорогу?

— Какое хочешь.

— Что значит, я хочу? А ты где же?

— Я и без варенья могу обойтись! — говорю я.

— Как он вам нравится? Он может обойтись без варенья! Выходит, стало быть, что все это для меня! Потому что я, понимаете ли, такая обжора, такая лакомка...

— Ну ладно, Хае-Этл, тише, ради бога! Вари розовое варенье и — кончено!

— Чтоб оно засахарилось и его надо было выбросить?

— Ну, пускай будет вишня. Вари вишню.
— Больше мне делать нечего, как сесть косточки вынимать.
— Знаешь что? Свари черную смородину?
— Чтоб расползлась, умник мой дорогой?
— Вари малину!
— Потогонное? Ты, видно, рассчитываешь, что я там основательно расхвораюсь?
— Вари персики! Вари сливы! Вари яблоки! Вари подошвы! Зонтики! Лампы! Секачи! Терки!..

. . . .

Что происходит между нами после сцены с вареньем, предоставляю угадывать вам самим. Я не обязан все рассказывать!

2

Что означает «кара посмертная»?

Мудрецы наши рисуют посмертную кару жуткими красками, а ад — еще страшнее. Судя по всему, у них не было жен с нервами и никогда они не ездили за границу на теплые воды, не возили с собою двенадцати пудов багажа, кроме чемоданов, баулов, узлов и разного рода пакетов, не брали туда варенья. Если и мне суждены кары посмертные, то я отбыл их в Бойберике на вокзале, при отъезде за границу, что же касается ада, он раскрылся передо мною уже в вагоне, когда я очутился там с Хае-Этл.

Вам легко стоять и смотреть, когда начинается суматоха, прибывает курьерский поезд, стоит всего каких-нибудь пять минут, и нужно взять билеты, сдать багаж, попрощаться и расцеловаться со всеми детьми, не сглазить бы, вскочить с женой и с чемоданами и баулами в вагон и захватить места, а мест нету. Я рад, что захватил место для моей Хае-Этл. А она недовольна. Недовольна тем, что место ее приходится как раз напротив толстого попа, от одного взгляда на которого становится нестерпимо жарко; недовольна она

и тем, что мне негде присесть и я должен держать в руках все узлы; недовольна тем, что в спешке мы забыли наказать детям и прислуге много необходимых вещей... Спасибо попу, который сжалился надо мной, подвинулся и освободил хоть немного места, так что я смог присесть на краешек скамьи и оглядеться, где я на белом свете. От усталости, от беготни и тарарама у меня голова кружится и я чувствую, что забыл, кажется, что-то, но что именно, не знаю. От этого, по-видимому, я так рассеян и не слышу, что мне говорят.

— Посмотри-ка, хорошо ли ты спрятал квитанции? — обращается ко мне Хае-Этл.

— Какие квитанции?

— От багажа.

— Поздравляю вас!

— Что с тобой! Ты так рассеян, даже не знаешь, о чем с тобой говорят...

Теперь только я вспомнил, что забыл взять у артельщика квитанции от багажа и, не соображая, что делаю, бросаюсь бежать, сам не знаю куда. Нервы жены этого не выдерживают. Она запрокидывает голову, собираясь упасть в обморок. В вагоне начинается суматоха. Пассажиры окружают вас, узнают об истории с квитанцией и дают всякие советы; что я должен делать, куда и как телеграфировать, как вести себя на границе, так что поездка наша с первого мгновения отравлена смертельным ядом, и я уже раскаиваюсь во всей этой затее. Все это стоило мне много здоровья, я не верну его за предстоящие три месяца лечения, а крови я испортил столько, что этого не восстановить и за три месяца купания. И я проклинаю себя, и заграницу, и теплые воды, и врачей... Пусть сбудется хотя бы половина того, что я им пожелал!

Но с какими только бедами не свыкается человек? Поезд ради моего багажа обратно не пойдет, и никто не обязан переносить за меня мои муки. Я был доволен тем, что моя Хае-Этл отыскала в вагоне двух дам, с которыми она быстро познакомилась и узнала, что они тоже едут за границу, на теплые воды. Все

они так обрадовались, как если бы им достался самый крупный выигрыш и дело уже дошло до дележа.

Дамы эти были: одна из Умани — в шляпе, с толстым слоем пудры на лице, и так как она едет за границу уже во второй раз, то говорит больше чем наполовину по-немецки и знает там, по ее словам, все ходы и выходы; вторая — молодая дама из Егупца, едет за границу впервые и поэтому держится за даму из Умани, как малое дитя, и не отпускает ее от себя ни на шаг.

— Кто вы такие в Егупце? — спрашиваю я у молодой женщины. — Кто такой ваш муж?

— Я не уверена, — отвечает она, — что вы его знаете. Моего мужа зовут Бродский *.

Услыхав имя Бродского из Егупца, я почувствовал, что меня подняло вверх, как если бы под скамьей был спрятан динамит! А женщина эта вдруг выросла в моих глазах на девяносто девять процентов.

— Что значит, — говорю я, — не знать Бродского? Кто же не знает Бродского? Вы из каких Бродских — Лазаря или Льва?

— Не Лазаря и не Льва, — отвечает она. — Мы действительно Бродские, но не из тех. Мой муж маклер по домам.

Егупецкая дама сразу же утратила в моих глазах все девяносто девять процентов, и я уже не хотел больше слушать, что она говорит.

Но не такова была моя Хае-Этл: ей эта компания доставила много радости. Во-первых, она выпытала у уманской дамы все, что творится за границей, и это было прямо-таки находкой для нас обоих. А во-вторых, она узнала о таких новых болезнях, о которых до сих пор никогда и не слыхала. Представьте себе, женщина по фамилии Бродская, у которой муж маклер по продаже домов, страдает от странной болезни: ей как-то приснилось, что она проглотила целую челюсть вставных зубов. С тех пор она чувствует эти зубы у себя в животе, и никто не может убедить ее в том, что ей только так кажется, потому что она чувствует очень явственно, лучше всех докторов, что

зубы у нее внутри. Вот она и едет сейчас в Вену, а оттуда — куда профессор скажет.

Моя Хае-Этл, разумеется, тут же вспомнила, что однажды ночью у нее выпал зуб, и никто не знает, куда он девался... Ясно, что она его проглотила. Она и в самом деле чувствует довольно часто, говорит она, странные колики внутри, непонятно отчего.

— Счастье, — говорю я, — что никто здесь не едет с оторванным носом.

Но ни одна из них даже не улыбнулась по поводу моей остроты. Наоборот, я вижу, что все три женщины настроены против меня. Они втроем словно сговорились не обращать на меня внимания и даже не отвечать мне. Вскоре, однако, я был отомщен. Уманская дама в шляпе вдруг вскочила, и так стремительно, с таким криком, как если бы на ней загорелось платье. Со всего вагона сбежались пассажиры:

— Что такое? В чем дело? Что случилось?

А случилась мелочь: банка варенья, которую моя Хае-Этл везла с собой за границу, внутри, в корзине, на верхней полке, потихоньку разбилась, пролилась и протекла вниз, прямо на шляпу, на шелковую блузку и на прочую одежду уманской дамы, — ее словно прессом прижало к скамье. О том, что пострадали мои вещи, находившиеся в той же корзине, я уже не говорю. Но сколько позора пришлось принять от чужих людей в вагоне. Каждый пытался ввернуть словцо, остроту. Некий молодой человек в синих очках, с овечьей, сплошь лысой головой и толстыми губами, видимо, считавший себя неотразимым красавцем (он не переставая приглаживал свои усы, глядя в карманное зеркальце), сказал, что теперь эта дама должна быть сладка, как пудинг в меду, и сам расхохотался по поводу своего остроумия. Другой, старый человек, толстый, с массивной золотой цепью на животе и с толстой пахучей сигарой в зубах, изрек нечто еще более грубое, и весь вагон прыснул. Не смеялись только дамы, дружба которых дала вдруг трещину, рассеялась, как дым, исчезла, словно сон. Бедная уманская дама, кипевшая от злости и сдерживавшая себя из боязни конфуза, никак не могла понять, кому

это могла прийти такая блажь — возить варенье за границу? На это моя Хае-Этл, кипевшая не меньше той, ответила весьма резонно, что у каждого свой вкус: один везет варенье, другой — известку.

Думаю, что уманская дама поняла, о чем говорила моя Хае-Этл, потому что на первой же остановке они вместе с егупецкой дамой собрали свои вещи и, не попрощавшись, перебрались в другой вагон, освободив нам два места.

— А кто виноват, как не ты?

Предоставляю читателю угадать, кому принадлежит этот вопрос — мне или моей Хае-Этл.

3

Вместо предисловия. Зачем ездят в Мариенбад. Дама из Екатеринослава. Станция Волочиск. Делаю покупку по дешевке и избавляюсь от нее

Моя жена, слава богу, человек, не любящий сидеть в одиночестве, «с четырьмя стенами», как она это называет. Она любит слушать, как говорят, любит и сама поговорить. Когда в доме тихо, у нее шумит в ушах, ее нервы этого не выносят. Когда случается, что она остается со мной наедине и говорить нам не о чем (между мужем и женой какие могут быть разговоры?), она спрашивает, почему я молчу? Почему я не говорю?

— О чем мне с тобой говорить? — спрашиваю я. — Уже двадцать с лишним лет, как мы разговариваем... Иссякли темы...

— Почему у тебя хватает тем для чужих? Пусть тебе кажется, что и я чужая...

Вот и оправдывайтесь, объясните причину!..

Это — вместо предисловия или для того, чтобы вас не удивляло, почему я, едучи с моей Хае-Этл за границу, на теплые воды, был доволен, когда бог посылал ей собеседников. Я сам подыскивал для нее компанию и нашел в соседнем вагоне массивную даму

из Екатеринослава, с дочерью-невестой, то есть девицей на выданье, которая хочет стать невестой и которой пора уже стать невестой, ради чего, собственно, она и едет в Мариенбад.

Услыхав слово «Мариенбад», моя Хае-Этл просто ожила, потому что все время тянуло ее именно в Мариенбад! Почему? Это трудно понять, как невозможно, например, понять, почему одному нравится белое, а другому — черное. Это — дело вкуса: кому что больше по сердцу. Если бы все ехали в одно место, другие оставались бы пустыми...

— Значит, и вы едете в Мариенбад? — с радостью обратилась к ней моя Хае-Этл, разглядывая массивную екатеринославскую даму и удивляясь, для чего она едет на воды? Чего такой не хватает?.. Дама, видимо, поняла, что означает этот взгляд, и объяснила:

— Я езжу в Мариенбад каждое лето не для того, чтобы, упаси бог, лечиться. Я, слава богу, здорова и ничем не болею (оно и видно!), дай бог и дальше не хуже (аминь!). Зачем же я еду? Я еду туда «сбавлять». Как пробуду недель шесть в Мариенбаде, я оставляю там тридцать с лишним фунтов (ого!), а Мариенбад для этого хорошее средство. Беда только в том, что, когда я приезжаю домой, в Екатеринослав, я снова прибавляю те тридцать с лишним фунтов, которые оставила в Мариенбаде, да еще фунтов двадцать сверх того (не сглазить бы!), потому что аппетит, который разыгрывается потом, убивает меня!..

— Так ведь правильнее было бы, — говорю я, — перестать ездить в Мариенбад?

— Что значит? — отвечает она. — Ведь я же должна поехать, чтобы сбавить эти тридцать с лишним фунтов!

— Но ведь вы, — говорю я, — потом снова прибавляете эти тридцать с лишним фунтов, да еще двадцать фунтов, то есть каждые два года — пуд!

— Я совсем не знала, что вы так сильны в математике! — отпускает она шпильку, а моя Хае-Этл смотрит на меня, как на злодея: зачем я вмешиваюсь? И я прикусываю язык.

Сижу, смотрю на екатеринославскую даму и думаю, что с ней будет, к примеру, если она проживет еще лет двадцать, ежегодно будет ездить в Мариенбад, оставлять там тридцать с лишним фунтов, а потом возмещать их с лихвой? Ведь это двадцать раз по двадцать, то есть четыреста фунтов, а четыреста фунтов — это не более и не менее, как десять пудов!

— Станция Волочиск! — сообщает нам кондуктор и отбирает у нас билеты, а пассажиры хватаются за свои узлы и радостно восклицают:

— Граница! Граница!

Кому радость, а мне — нет. Бог знает, отдадут ли мне багаж, — ведь я же забыл взять у артельщика квитанцию и должен был телеграфировать об этом в Бойберик.

— Что мы будем делать, — говорит Хае-Этл, — если нам, упаси бог, не выдадут багаж?

— Зачем тебе, — говорю я, — предполагать плохое? А может быть, отдадут.

И конечно... Пришли на станцию, и пошла канитель: младший чиновник отсылает к старшему, а тот к еще более старшему. Один говорит, есть депеша, другой говорит, нет депеши. Один утверждает, что есть депеша о том, чтобы выдали, а другой заявляет, что в депеше сказано — не выдавать. Словом, пришлось отсюда телеграфировать еще раз и ждать ответа.

Моя Хае-Этл... Что? Вы и в самом деле хотите знать, как мне от нее досталось? Когда господь бог вам поможет и вы со своей супругой наспех соберетесь за границу, как и я, забудете квитанцию от багажа, как я, и должны будете ждать на границе лишний день, — тогда вы будете знать, что можно получить от жены... Хорошо еще, что екатеринославская дама с дочерью-невестой тоже остались ждать следующего поезда по другой причине: из Одессы должна приехать ее сестра, которая также едет в Мариенбад и опоздала на поезд. Она приедет со следующим.

— Она тоже такая... — хочу я спросить и застреваю посредине.

— Что — такая?

— Такая, что... тоже ездит сбавлять вес?

— Наоборот! — отвечает дама. — Моя сестра уж чересчур субтильная. Едет поправляться, и каждый год прибавляет фунтов пятнадцать. Но приезжает домой и теряет эти пятнадцать и еще пятнадцать. Ничего не ест. Очень деликатная.

— Получается так, — говорю я, — что за десять лет она потеряет сто пятьдесят фунтов. А ведь это — три пуда и тридцать фунтов. Что же от нее останется?

— Кто тебя просит производить расчеты? — нападает на меня жена, и не без основания. — Развел математику, математик мой дорогой! Ты лучше посчитай, сколько нам стоит багаж из-за того, что ты витаешь в облаках, — это будет гораздо полезнее! Поди-ка узнай, нет ли ответа на нашу депешу.

Ответа, разумеется, еще нет, да и быть не может так скоро. От нечего делать решил пойти погулять по улице.

Городишко Волочиск, хоть и расположен у самой границы, — местечко, как и всякое местечко, с базаром, лавчонками, евреями, которые толкутся без всякого дела с тросточками в руках. Так как никто меня здесь не знает, я покупаю фунт крыжовника, хожу по базару и ем ягоды прямо из пакета. Вдруг впереди меня вырастает странное животное, никогда в жизни невиданное. Некое подобие лошади, высокое, с рыжей мохнатой шерстью, местами вылезшей, с рассеченной губой, с двумя горбами, — готов поклясться, что это верблюд! На земле сидит черный цыган, закутанный в белую теплую свитку, и смотрит так, как если бы ему осточертел весь мир.

Подхожу поближе, разглядываю его, разглядываю животное с рассеченной губой и с двумя горбами.

— Что это у тебя? — спрашиваю. — Верблюд?

— Верблюд! — отвечает цыган, не глядя на меня.

— Сколько он стоит? — спрашиваю я и подхожу еще ближе.

Цыган вдруг встает во весь свой огромный рост и, сверкнув глазами мне прямо в лицо, спрашивает:

— Покупаешь?

— А почему бы и нет? — отвечаю я в шутку. — Сколько ты хочешь за него?

— Сто десять целковых, — отвечает он. — Сколько дашь?

— Четвертной! — говорю я, чтобы отделаться.

— Давай деньги! — восклицает цыган и берет меня за руку так дружески, что я боюсь вырваться. Озираюсь по сторонам и думаю: «Что делать? Покупать? Но на что мне верблюд? Не покупать? Боюсь оплеух...» Не знаю, что со мной произошло: я достал четвертной билет и купил верблюда.

И поразительно! Раньше кругом не было ни души, а тут сразу же выросла вокруг меня толпа и все стали разглядывать мою покупку.

— Дяденька, сколько прикажете заплатить вам за эту дохлятину?

Я хотел, чтоб мне вернули мои деньги, готов был потерять сначала пятерку, потом десятку, — не пошло! Я хотел отдать даром, подарить, — но мне ответили:

— Держитесь на здоровье!

Что делать? Оставить его среди базара и уйти? Стыдно, да и боязно было: а вдруг пойдут за мной до вокзала, и жена узнает...

Словом, не буду распространяться: я доплатил несколько рублей и избавился от беды!

На вокзале я застал свою Хае-Этл в слезах. В чем дело? Давно уже есть депеша из Бойберика, депеша была еще до того, как мы приехали сюда, зря телеграфировали, а багаж будет ночью.

— Куда ты девался? — спрашивает она. — Как это человек пропадает на целый день и вертится неизвестно где и неизвестно зачем!

«Слава богу, думаю, что ты не знаешь. Дай бог, чтоб ты и не знала...»

Когда мы отъехали от Волочиска, у меня точно камень с души свалился. Я поминутно оглядывался, не ведут ли обратно мою покупку... Мучения, которые я перенес при визировании паспортов, все, что я получил от жены за варенье, стоившее мне штрафа, за бумаги, которые выбросили, и при обмене денег, когда

менялы, между прочим, надули меня на девять рублей, — все это было чепухой в сравнении с дурацким верблюдом, не дававшим мне покоя всю дорогу, пока нас не постигло, возле Кракова, новое несчастье, которое будет описано немного дальше.

4

Нагоняй от жены. Евреи в котелках. Женщины в париках. Беседуют о драгоценностях, и Хае-Этл падает в обморок

Куда девались массивная екатеринославская дама, которая ездит в Мариенбад сбавить тридцать фунтов, ее дочь-невеста и субтильная сестра, которую ожидали из Одессы, — я не знаю. Они словно в воду канули. Может быть, пересели в другой вагон. Я хотел пойти их поискать, но моя Хае-Этл дала мне нагоняй и была, пожалуй, права.

— Что значит? — сказала она. — Мы только что переехали границу, а ты уже хочешь оставить меня одну, в чужой стране, и пойти искать чужих женщин?

— Но ведь это ради тебя! — хочу я оправдаться и только порчу все дело.

Она, говорит, не нуждается в моих одолжениях, она может обойтись и без них. А во-вторых, когда ей станет скучно, она и сама отыщет себе компанию...

И действительно: только мы подъехали к Львову, как вагон наш стал наполняться мужчинами и женщинами. Но какими мужчинами! Какими женщинами! В каких котелках, в каких кафтанах с поясами, в каких чулках и ботинках! А женщины — смиренницы! Носят платки на головах — прямо-таки равинши! А язык! А манера говорить всем вместе, гортанными голосами! И размахивать руками и распевать!

— Вот это немцы? — обращается ко мне Хае-Этл, выразительно указывая глазами.

— Как тебе нравится? — отвечаю я ей взглядом.

— Совсем свои, — произносит жена.

Никогда, пожалуй, моя жена так правильно не определяла. Честное слово — свои.

Мы чувствовали себя совсем по-домашнему, как будто выехали не за границу, а в Бердичев или в Ярмолинец на ярмарку. Вскоре мы, конечно, познакомились и разговорились с этой компанией. Услыхав, что мы из России, эти «немцы» смотрели на нас изумленными глазами и разглядывали, как разглядывают, к примеру, обезьян: как будто бы человек, а все-таки не человек... Они выспрашивали всякие подробности, хотели выпытать у нас всю подноготную. Интересовались, что мы едим? К какому цадику ездим? Бывали ли мы в «Петерсбурге»? Видели ли мы «Москау»?

Глядя на них, можно было подумать, что эти «немцы» ничего не делают, только и занимаются политикой. Однако когда я прислушался к их разговорам, то ничего не услышал, кроме «бакфиш», «откормленный гусь», «колбсбратен» и тому подобные вещи, имеющие отношение к утробе.

Так было у меня, среди мужчин. А у жены, среди немецких смиренниц, шел совсем другой разговор: женщины с обеих сторон рассуждали о «модах», что носят «у нас» и что носят «у них». Оказалось, однако, что хотя они — «немцы», а мы — «русские», у нас гораздо больше придерживаются современной моды, чем у них.

— Возьмите для примера, — говорит моя Хае-Этл, — наши драгоценности и ваши драгоценности. Если бы у нас какая-нибудь «фрау» (моя Хае-Этл уже заразилась от них и начала «шпрехен дейч») надела на уши две бомбы, за ней бегали бы по улице...

Эти слова были обращены к львовской даме в парике с золотыми сережками, странно болтавшимися в разные стороны.

— А какие серьги носят у вас в России? — спросила дама с красным лицом и влажными глазками, до этого молча сидевшая в углу.

— У нас носят замечательные сережки! — ответила Хае-Этл и не поленилась открыть большой «кофер» (я уже тоже заговорил по-немецки), достала оттуда небольшую сумочку с драгоценностями, которые я купил ей за все время, с тех пор как у меня завелись деньги.

Судя по всему, вещи очень понравились публике, потому что все женщины, да и несколько мужчин, с большим интересом разглядывали коробочки с красивыми сережками, кольцами, жемчугом и прочими украшениями, с которыми жена не хотела расставаться ни на один день.

— Для чего тебе украшения на водах? — толковал я ей дома перед отъездом. — Мало ли что, а вдруг их, в недобрый час, у тебя украдут?

— А я где? Типун тебе на язык! — отвечала она. — Вечно ты предполагаешь худшее!

«Ну что ж, — подумал я. — Твои украшения, твоя и воля!»

Между тем я со своими «немцами» увлекся разговорами о политике и на всякие другие темы, и (честно признаюсь!) совершенно забыл о том, что существует где-то на белом свете Хае-Этл... А когда я об этом вспомнил? Когда толстый немецкий кондуктор с какой-то странной шапкой на голове и нелепым огромным ключом в руках прошел мимо нас и прокричал на мало понятном языке, точно прокаркал как ворона: «Кра-кау! Кра-кау!» А остального я так и не понял!

— Вот здесь, — сказала Хае-Этл, — мы что-нибудь перекусим.

Она взяла меня под руку на аристократический манер, и мы вдвоем пошли гулять по большому красивому вокзалу, оживленные, как молодожены.

В жизни супругов редко выдаются такие счастливые минуты, такие прекрасные дни, такое ясное небо. В большинстве случаев бывает облачно, или дождливо, либо стоят холода, либо немилосердно печет солнце, либо разражается гроза, потом на минутку покажется солнце, улыбнется и исчезнет.

Если у вас все это происходит по-иному, значит, вы счастливец, родились, как говорят, в сорочке. У меня с Хае-Этл, признаюсь, редко случаются такие счастливые, ясные, солнечные дни. Кто в этом больше виноват, не берусь судить. Я по натуре человек упрямый, а жена у меня дама с нервами. А упрямство и нервы — это огонь и вода, сода и кислота. Сойдутся — и пошло шипеть.

Зато если уж выдастся у нас ясный день, если выглянет солнышко, мы используем его, насколько это возможно, и вкушаем удовольствие полным ртом.

— Хае-Этл, голубушка, как тебе нравится страна? Как свободно, как хорошо здесь!

— Рай! — отвечает она, по своему обыкновению, и заглядывает мне в глаза так приветливо, что мне кажется, будто красивее ее нет на свете.

— Как ты думаешь, душа моя, — обращаюсь я к ней, — хотела бы ты, например, поселиться здесь навсегда?

— С тобой? О, почему бы нет?

— С милым рай и в шалаше? — говорю я ей высоким слогом, как пишут в книжках.

На это она отвечает мне сладкой улыбкой, одной из тех, от которых и небо, и земля, и весь мир становятся веселее. Люди обретают другое обличие, — даже кондуктор, проходящий мимо, даже жандарм с длинным пером, даже оборванный немец, ждущий подаяния, — все, все выглядит по-иному, все улыбается, поет, пляшет, все дружески приветствует нас!

— Хае-Этл...

— Что, дорогой?

— Давай дадим друг другу честное слово отныне и впредь всегда жить в мире, никогда не ссориться, никогда не...

Вдруг она вырывает свою руку, бросается в обратную сторону и вскрикивает не своим голосом:

— Сумочка! Сумочка!

— Бог с тобой! Какая сумочка?

— Сумочка с драгоценностями! — вскрикивает она и падает в обморок.

. . . .

Все, кто был на вокзале, подбежали к нам. В ту же минуту появился врач с аптекой, и Хае-Этл привели в чувство. И, только придя в себя, она по-настоящему расплакалась.

— Горе мне! Несчастье! Мои драгоценности! Мои украшения!!

Не помогали больше ни добрые речи, ни утешения, ни обещания купить другие драгоценности, — она не желает слушать, заламывает руки, плачет, падает без чувств, кончается.

— Ах, боже, мои драгоценности! Нет больше драгоценностей! Пропали мои драгоценности!

. . . .

Драгоценности пропали, а массивная дама с дочерью-невестой нашлись.

— Что у вас случилось, боже мой! — спрашивает массивная дама, а когда узнает о нашей потере, ломает руки и спрашивает, как же это можно возить драгоценности так открыто? И все, услыхав о случившемся, ломают руки и задают тот же самый вопрос!

— А все он, он со своим языком! — говорит Хае-Этл, и вы, конечно, догадываетесь, кого она имеет в виду!..

5

Снова нервы. Зеленая пальмовая ветвь из Одессы. Хае-Этл дуется. Лекарство от хвори. Тетя Нехама из Оцелеса

Пока мы добрались до Вены, моя Хае-Этл (видно, от горя) расхворалась по-настоящему и омрачила мне путешествие с самого начала. Что с ней было, трудно сказать. Нервы у нее так разыгрались, что это было заметно по мне. Не смейтесь: человека, у которого жена с нервами, можно сразу узнать по лицу. Покажите мне кого угодно и дайте перекинуться с ним несколькими словами, я вам тут же скажу, нервная у него жена или нет. Для этого нужен только опытный глаз!

Средств от нервов имеется много, и все они никуда не годятся. Лучшее средство — оставить чело-

века в покое. Так я и поступаю. Что бы жена ни говорила, я не отвечаю ни слова. Набираю полон рот воды и молчу. Ее разговоры и мое молчание иной раз кончаются довольно скверно, но здесь, в вагоне, меня это не пугало, потому что напротив нас сидела массивная екатеринославская дама, которая непрестанно жевала, ее дочь-невеста, которая все время смотрелась в зеркальце и видела, что на лице у нее прыщи, а также субтильная сестра из Одессы, которая была так зелена и тоща, что выглядела как перевязанная пальмовая ветвь накануне праздника кущей *.

Насколько Хае-Этл была с ними раньше близка, настолько теперь она отдалилась от них, почти перестала разговаривать и хотела к тому же, чтоб и я с ними не говорил. Но, словно назло, все три дамы поминутно обращались ко мне, каждый раз с новой просьбой. Потрудиться снять баульчик, развязать узелок, закрыть окно, сбегать на вокзал купить коечто и тому подобные поручения, которые приходится выполнять, когда оказываешься в плену у дам. Больше всех докучала мне «пальмовая ветвь» из Одессы. Насколько она безобразна, настолько она ломалась передо мной, гримасничала и корчила из себя всесветную красавицу. Каждую минуту мне хотелось сказать ей правду, и обязательно в рифму: «Мадам! Вы зелены, точно трава, а нос у вас длинный — аршина два».

С вами никогда не случалось, что на языке вертится какая-нибудь глупость, да так и рвется наружу? Меня однажды за такое дело, не про вас будь сказано, били по щекам, и основательно... Однако я забыл, что мы говорим о путешествии в Мариенбад и нельзя отвлекаться посторонними делами.

Короче говоря, дамы мною распоряжались, а моя жена дулась и гневалась на них, и на меня, и на весь свет. Я чувствовал, что дует недобрый ветерок, вот-вот начнется буря, вот-вот надвинется туча и разразится беда, спаси, господи, и помилуй... Но бог, как известно, терпелив и всемилостив, он ниспосылает исцеление до заболевания. Вот он и сжалился надо мной и прислал мне на помощь новую даму, то есть

дома у себя она просто баба, но здесь, и так как она едет на теплые воды, я называю ее «дамой». Проходя по нашему вагону и увидев мою жену, она подбежала, бросилась к ней на шею, и начали они друг друга целовать, да так крепко, что вся публика смотрела на них и улыбалась.

— Ой, Хае-Этл, это ты? Ой, я не выдержу!

— Тетушка! Как вы попали сюда?

— Куда ты едешь, Хае-Этл? Душенька моя, милая! Может быть, на теплые воды?

— Ну конечно, на теплые воды. А вы, тетушка, куда едете?

— Тоже на теплые воды. А это, может быть, твой муж? Ой, я не выдержу!

Так мы познакомились, то есть представились друг другу без слов и без имен. Я узнал, что она — тетка моей Хае-Этл из маленького местечка со странным названием Оцелес. То есть пишется оно «Волоцеголово», но евреи, которые не любят длинных названий, сократили его, переделали на Оцелес, а мою новую знакомую называют тетя Нехама из Оцелеса.

— Куда же вы едете, тетенька, в какое место? — спрашивает Хае-Этл.

— Знать бы мне так горе с тобою вместе, как я знаю, что это за место! То есть я, собственно, знала, как оно называется, но забыла. Помню только, что кончается какой-то «баней».

— Может быть, Мариенбад?

— Возможно, что Мариенбад.

— Или Карлсбад?

— По мне это может быть и Карлсбад.

— Или, может быть, Франценсбад? Или Баденбад?

— Пускай будет Франценсбад, горячая баня, холодная баня, лишь бы баня... Доктор велел ехать на теплые воды, вот я и еду. Еду с письмом от него к профессору. Уж он там, наверное, пишет в какую баню...

Наша тетя Нехама заслужила, чтобы я описал ее как следует, рассказал вкратце ее биографию: во-первых, она ведь родная тетка моей Хае-Этл, то есть родная сестра моей тещи, а тетка моей жены приходится

теткой и мне. А во-вторых, это личность, с которой, право же, стоит познакомиться поближе.

В молодости, видно, она была хороша собой, а по натуре — это и сейчас еще живая и веселая душа, любит пожить. Первый ее муж был старый сквалыга, но мучилась она за ним недолго, осталась молодой вдовой, без детей, но с деньгами, — все эти обстоятельства никак не мешают выйти замуж во второй раз, взять мужа по своему желанию и начать жизнь сызнова. Что представляет собою муж, которого она выбрала по своему желанию, я сказать не могу. Знаю только, что сам он живет в Оцелесе, а ее послал на теплые воды, недель на шесть, с тем чтобы она доставила себе «все удовольствия на свете», не жалела денег, делала все, что душе угодно, и покупала все, что глаз увидит.

Так говорит тетя Нехама из Оцелеса, и я вижу, как все мои дамы завидуют ее свободе и счастливой жизни за вторым мужем. И — увы! — должен признаться, даже моя Хае-Этл поглядывает на тетушку и на меня, и я знаю, что означает этот взгляд. Ее взгляд означает: «Вот что значит иметь хорошего мужа!..»

А тетя Нехама из Оцелеса не перестает говорить, рот у нее не закрывается ни на минуту. Сама она маленькая, беленькая, кругленькая, с белым круглым подбородком, с носиком фасолькой, с серыми глазками, а голос у нее хриплый и, когда говорит, приплясывает, вертится во все стороны, поминутно забывает, на чем остановилась, смешивает все в кучу, хлопает себя ручками по круглым бедрам: «Ой, умру, не выдержу!» — и хохочет так, что все смеются вместе с ней.

— Тетенька, — спрашиваю я, — к какому профессору велел вам обратиться ваш доктор?

— Знать бы мне так его самого! — отвечает тетя Нехама. — Записал он мне на бумаге, этот замечательный доктор из Оцелеса, его имя, но я уже не помню, в каком городе тот проживает — то ли в Вене, то ли в Берлине... Ой, умру, не выдержу!

Тетя Нехама ищет во всех карманах, но не может найти куска бумаги, на котором оцелесский доктор записал имя профессора.

— Но вы по крайней мере знаете, какая у вас болезнь? — спрашиваю я из интереса.

— Вот так я тебе сейчас и доложила, чем больна! — говорит тетя Нехама и хохочет, а следом за нею хохочут все дамы, как если бы я сморозил бог знает какую глупость. Но я рад и благодарен тете Нехаме из Оцелеса и никогда не забуду того, как вовремя она подоспела и не раз выручала меня из множества бед — и во время поездки и на водах. Она, можно сказать, была настоящим целительным средством для нервов моей жены. Никто не умел так приободрить мою Хае-Этл, как тетя Нехама, разговорить, когда она молчит, рассмешить, когда она озабочена, мрачно настроена.

Желаю вам, читатель, если есть у вас жена, а у жены нервы, и если вы едете с ней на теплые воды, чтобы бог послал вам такую же тетю Нехаму из Оцелеса, — тогда вы будете исцелены и избавлены, даст бог, от многих бед и неприятностей, какие могут выпасть на долю женатого человека.

6

Суматоха в Вене. Беда с языком. Кушать нечего

До Вены мы все держались вместе, сговорились, что поедем в одну гостиницу, пойдем к одному профессору, — вообще, всюду будем вместе. Но с первой же минуты, как только мы приехали в Вену, нас всех закрутила суета, беготня, сутолока. Беда началась с венских носильщиков, которые налетели на нас, как злые духи, изъяснялись друг с другом на каком-то странном языке, не глядя нам в глаза, схватили наш багаж под мышку и закричали:

— Гепек! Гепек! [1]

Что «гепек»? Чего «гепек»? Понятия не имею! Хае-Этл хочет их удержать, смотрит на меня, словно

---

[1] Багаж! *(нем.)*

желая сказать: «Чего же ты молчишь?» Но носильщики и не глядят в нашу сторону. Они забрали все наши узлы и пошли неизвестно куда, а мы за ними.

— Чего ты их отпускаешь? — кричит мне Хае-Этл и бежит вместе со мной за этими слугами сатаны. — Почему ты не спросишь хотя бы, куда они тащат наши вещи? Ведь ты умеешь с ними говорить по-немецки!

— Наверное, на вокзал, — говорю я. — Чего ты боишься?

— Вот как? Чего я боюсь? Забыл уже про сумочку с драгоценностями?

Хае-Этл уже готова была устроить мне концерт по заслугам. Но тут мы увидели тетю Нехаму из Оцелеса: она лежала на земле и распростертыми руками прикрывала свои узлы, как преданная мать, защищающая своих детей, как орлица, у которой хотят отнять ее орлят. Над ней стоял один из носильщиков, он хотел взять ее вещи, а она не подпускала его и кричала во весь голос:

— Не трогайте! Ой, умру, не выдержу!

Все это было так смешно, что оба мы не смогли удержаться от хохота.

— Тетенька, господь с вами! — сказала Хае-Этл.— Чего вы боитесь? Вот ведь несут и наши вещи, а мы не боимся...

Между тем в суматохе мы потеряли екатеринославскую даму с дочерью и сестрой, и слава богу, что оказались хотя бы вместе с тетей Нехамой, которая держалась за платье Хае-Этл, не отпуская ее ни на шаг, в то время как Хае-Этл держалась за меня. Таким образом мы втроем были неразлучны.

Получив кое-как наш багаж, один из носильщиков стал мне рассказывать какую-то бесконечную историю на своем диком языке, так что ни слова нельзя было понять, потому что говорил он не ртом, а горлом, и так торопился, что ухо едва улавливало отдельные слова: «Отель... Пферд... Ваген...» [1]

— Чего он хочет? Я не выдержу! — обращается тетя Нехама к Хае-Этл.

---

[1] Лошадей... карету... *(нем.)*

— Спроси, чего он хочет? — говорит мне жена. — Спроси по-немецки, что он говорит?

— Он спрашивает, — говорю я, — как мы хотим ехать в город? Лошадьми или на трамвае?

— Мит сусим! [1] — говорит ему тетя Нехама, и мы не можем удержаться от хохота.

— Ну, хватит смеяться! — говорит мне Хае-Этл. — Скажи ему по-немецки, что нам требуется извозчик.

— Фюить! — свистнул я и сделал жест, будто замахнулся кнутом, чтобы носильщик меня понял. И, представьте себе, он сразу же понял!

— Яволь! [2] — ответил он, и через две минуты мы втроем уже сидели в прекрасном фаэтоне с такими здоровенными «сусим», каких у нас и не видать. И багаж он нам уложил, этот рыжий, широкоплечий немец. Я сунул ему в руку приличную монету, он сорвал шапку с головы и горячо поблагодарил. Кучер, форменный немец с трубкой в зубах, осторожно снял с лошадей одеяла (здесь все лошади покрыты одеялами, чтоб, упаси бог, не простудились), уселся и, обернувшись к нам, издал горлом, а не ртом (так говорят здесь все) какие-то непонятные звуки.

— Чего он хочет? — обращается тетя Нехама к Хае-Этл.

— Спроси, чего он хочет? — говорит мне Хае-Этл.

— В чем дело, немец? Чего ты хочешь? — спрашиваю я, энергично жестикулируя, по обыкновению, а тетя Нехама мне помогает:

— Вы спрашиваете насчет постоялого двора?

— Погодите, тетенька! — говорит ей Хае-Этл. — Дайте сказать по-немецки. Мой муж скажет ему по-немецки.

Слова моей Хае-Этл придают мне столько смелости, что я начинаю говорить на двух языках сразу — на немецком и французском:

— Гранд отель, высшее качество, фронтэ моашико! [3] — произношу я и прищелкиваю языком.

---

[1] Лошадьми! *(древнееврейск.)*

[2] Разумеется! *(нем.)*

[3] Набор ничего не значащих слов *(подраж. франц.)*.

Немец понял и отвечает:

— Яволь! Яволь!

И вскоре он привозит нас к величественному дому с зеркальными стеклами. Выбегают навстречу новые слуги сатаны в черных фраках, хватают нас под руки и ведут прямо наверх. Там нас встречает некто с бакенбардами, я мог бы поклясться, что это граф, магнат, а на самом деле это швейцар. Он срывает фуражку с головы и радушно приветствует нас.

— Много ли комнат желаете? — обращается он к дамам.

— Чего он нам желает? Ой, я не выдержу! — говорит тетя Нехама, а мы смеемся.

— Он спрашивает, сколько номеров, — говорю я.

— Скажи ему по-немецки, что два, — отвечает Хае-Этл.

Я показываю ему по-немецки два пальца и добавляю по-французски:

— Фронтэ моашико бонжур!

— Яволь! — отвечает немец. — На первом этаже! — И вводит нас в прекрасные комнаты.

— Почем у вас, — спрашивает тетя Нехама, — за сутки?

Немец стоит и смотрит на нее, как провинившийся. Не понимает и обращается ко мне со сладкой, как сахар, улыбочкой:

— Может быть, мы лучше будем говорить по-немецки?

— Скажи ему по-немецки! — говорит Хае-Этл, и я показываю на пальцах: «Сколько? Цена?»

Но он не понимает и мигает глазами... Беда у них с языком! У нас тоже говорят по-немецки, но это совсем не тот немецкий, что у них. Я в Егупце встречаюсь с немцами и дела с ними делаю. Говорю наполовину по-еврейски, наполовину по-немецки, и мы понимаем друг друга. А здесь — упаси господи и помилуй! Все зубы себе сломаешь!

Однако это только на первых порах. Чем дальше, тем больше мы привыкаем к языку и начинаем уже понимать один другого по глазам! На следующий день Хае-Этл с тетей Нехамой ходили по магазинам,

накупали всякого товара, их уже основательно надули, совсем как настоящие лавочники из Брод.

— Нравится тебе, Хае-Этл, город Вена? — спросил я у жены после того, как мы умылись, переоделись с дороги, напились чаю и повидали город.

— Сгореть бы ей в огне! — отвечает Хае-Этл. — В таком огромном городе чтоб нельзя было покушать!

В чем дело? Мы ходили искать еврейский ресторан, кружили по городу часов шесть, да так и не нашли. Спрашивали, но либо нас не понимали, либо мы не могли понять... Показывают как будто очень ясно: «Направо! Налево! Вперед!» А как дойдет до дела, — ничего похожего!.. И в первый день мы действительно питались какой-то ерундой, пили кофе, ели яйца всмятку и венское печенье, которое тает во рту, как снег на солнце.

Лишь на следующий день мы разыскали еврейский ресторан под названием «Кошер» *. Да какой еще кошер! Кошерное кошерному рознь! Ресторатор, хоть он и «шпрехт дейч» [1], носит ермолку, моет руки перед едой, а гости подходят друг к другу, здороваются, выспрашивают: откуда приехали? куда едете? и зачем? и когда? а если по делу, то по какому? а если к врачу, то к какому? Словом, совершенно по-еврейски, совсем как в Варшаве.

7

Среди евреев не пропадешь. Совет ресторатора. Комиссионер по ламповым стеклам обследует моих дам

Среди евреев, говорят, не пропадешь... Да будет вам известно, что это и в самом деле так. Что бы мы, например, делали, если бы не натолкнулись на еврейский ресторан, в котором сам ресторатор так любезен, что набивается с советами, к какому доктору нам обратиться. Если бы мы слушали немцев с их тяжелым языком, мы кружили бы по Вене бог весть сколько времени. Какое, подумаешь, дело швейцару

[1] Разговаривает по-немецки *(нем.)*.

из отеля, что мы делаем в Вене? Что до него, то мы могли бы провести в Вене все осенние праздники, только бы мы снимали номера в их шикарной гостинице, пили замечательный чай, который нам подают из котла, и платили за каждый глоток воды и за машину, которая поднимает нас и спускает раз двадцать в день. Хае-Этл от этого не в восторге, у нее, говорит она, от машины голова кружится до обморока, а тетя Нехама в первый раз так раскричалась, что мы были крепче железа, если не лопнули от хохота!

Совсем не то среди евреев. Хозяин еврейского ресторана сразу же взял нас на цугундер: кто мы такие? откуда? куда едем? чем мы больны? к какому профессору нам нужно? Узнав, что мы едем на теплые воды, и пронюхав, что в деньгах у нас нужды нет, он заявил, что мы обязательно должны прежде всего повидаться с профессором, потому что прямо-таки можем навлечь на себя несчастье, если, упаси бог, поедем на теплые воды без указания профессора! Возникает вопрос: к какому профессору обратиться? Это может сказать нам только доктор. А какой доктор? Это может нам сказать шурин ресторатора, который связан со всеми докторами. Если мы хотим, нам следует подождать этого шурина.

Мне это, конечно, не понравилось.

— А может быть, — говорю я, — нам стоило бы пробиться прямо к профессору? Мы, слава богу, не такие уж безнадежные больные. Мы, слава богу, здоровые люди. Нам надо знать только, куда ехать.

— Вы, наверное, думаете, что вы в России? — отвечает ресторатор. — Хотите идти прямо к профессору? Идите, пожалуйста, на здоровье, но смотрите, как бы вы потом не пожалели.

— Тебе надо устроить какую-нибудь историю? — говорит мне шепотом Хае-Этл, а тетя Нехама ее поддерживает:

— Что тебе, если мы раньше побываем у доктора?

Словом, решено было предварительно повидаться с доктором, то есть пойти домой и ждать, покуда придет шурин ресторатора. Потом он приведет к нам доктора, а доктор поведет нас к профессору.

Как вам нравится, сколько протекций требуется в Вене, чтобы попасть к профессору?

Целый день мы просидели в отеле, дожидаясь шурина ресторатора. Солнце уже собиралось садиться, а мы сидели втроем у окна и смотрели на шумный город с глупыми немцами, которые толкутся внизу, и ходят все в цилиндрах... Вдруг слышим, кто-то стучит: раз, два, три — и в комнату входит немец в пелерине и цилиндре, с большой тростью и в перчатках. И хотя было уже совсем темно, он произносит нараспев:

— Гутен та-а-аг! [1]

— Все дурные сны — на головы моих врагов! Ой, я не выдержу! — вскрикнула тетя Нехама, и мы не могли удержаться от хохота.

Немцу это, видимо, очень не понравилось. Он страшно сердился на нас за то, что мы смеемся, стучал тростью по столу и кричал:

— Бесстыжие!.. «Руссише швейнен!..» [2]

Это, наверное, означает «свиньи»?.. Пришлось встать, подойти к нему и объяснить, что мы смеемся не над ним, а над тетей Нехамой.

— Она тронутая? — говорит он и объясняет по-еврейски, что это значит сумасшедшая, «мешуге». Слово «мешуге» свидетельствует о том, что он еврей, и я узнаю, что он — шурин ресторатора и даже, чего доброго, умеет говорить по-нашему. Нас всех это очень радует, тут же подают чай (из котла, конечно), и мы приступаем к делу.

— Итак, какая у вас болезнь? — спрашивает он у нас.

Но что мы можем сказать, когда мы, собственно, и сами не знаем, чем болеем. Я пытаюсь отговориться тем, что ему мы этого сказать не можем, что скажем самому профессору. Но он не поддается и заявляет, что профессоров в Вене, как звезд на небе (не сглазить бы!), и по каждой болезни имеется особый профессор. «Что же делать? — думаю я. — Какую бы болезнь выдумать?» Подумав, я извернулся и сказал

---

[1] Добрый день! *(нем.)*

[2] Русские свиньи!.. *(нем.)*

правду: я совершенно здоров, а больны они. Указываю ему на Хае-Этл и тетю Нехаму и заканчиваю по-немецки:

— Имеете понятие?

— Прекрасно! — отвечает он со строгой миной, и обращается к моим дамам: — Скажите, пожалуйста, на что же вы, собственно, жалуетесь?

— Ой, я не выдержу! Пусть он выйдет! — говорит тетя Нехама моей Хае-Этл, и меня выпроваживают в коридор на несколько минут, а вернувшись в комнату, я узнаю, что профессора зовут Ройтнагель, а доктора — Зильберштерн.

— А вы кто же? — спрашиваю я.

— Я — комиссионер по продаже ламповых стекол и абажуров! — отвечает он очень хладнокровно.

— Что снилось мне в эту ночь, и в ту ночь, и за весь год!.. Ой, я не выдержу! — восклицает тетя Нехама, всплескивая руками, моя Хае-Этл краснеет до корней волос, а меня снова одолевает хохот. А чтобы наш комиссионер по ламповым стеклам и абажурам не чувствовал себя обиженным, я придумываю предлог и говорю, что вспомнил историю, которая в прошлом году случилась у нас в Егупце, и снова кончаю по-немецки:

— Имеете понятие?

— Имею ли я понятие или нет, — в этом нет никакого сомнения, а вот есть ли понятие у вас — это вопрос! — отвечает он тоже по-немецки, забирает свою пелерину, палку и цилиндр и уходит обозленный. И между нами, чувствую я, возникает вражда, смертельная вражда!

8

Профессор Ройтнагель хочет нас разлучить. Мы поссорились с Веной. Тетя Нехама проявляет себя

Легче у нас определить ребенка в гимназию или освободить его от призыва, нежели повидаться в Вене с профессором Ройтнагелем. Раньше доктор Зиль-

берштерн принимал нас, давал советы, писал рецепты, да и то ради комиссионера по ламповым стеклам и абажурам, который, в свою очередь, старался ради своего шурина, ресторатора. И лишь на третий день мы попали к профессору Ройтнагелю, который был так любезен, что принял нас каждого в отдельности и каждому из нас прописал другой курорт. Мою Хае-Этл он направил в Франценсбад, тетю Нехаму — в Мариенбад, а меня — в Карлсбад.

Выйдя от профессора Ройтнагеля, мы остановились втроем, посмотрели друг на друга без слов, будто спрашивая: «Что же теперь делать?» И решено было посоветоваться с доктором Зильберштерном. Но так как доктор Зильберштерн не принимал, нужно было прибегнуть к помощи комиссионера по ламповым стеклам и абажурам. Но где он живет, мы не знали и потому решили зайти к ресторатору.

— Ну, что слышно? — спросил он нас.

— Да что слышно! — отвечаем мы. — Ваш шурин нас зарезал, всех троих зарезал!

И рассказали, что профессор направил всех нас в разные места.

— Это все? Ну что ж такого? — хладнокровно спрашивает ресторатор.

— Вы удивительный умник! — сказала Хае-Этл. — Для того я приехала сюда со своим мужем, чтобы нас разогнали в разные стороны — одного в Шклов, другого в Могилев!

— Не волнуйтесь, мадам! — отвечает он. — От Франценсбада до Карлсбада не так уж далеко, всего два-три часа езды, не больше. Хотите — можете съездить к мужу, хотите — он к вам съездит.

— Спасибо за добрый совет! — говорит Хае-Этл уже с раздражением. — Помоги вам бог сообщать более радостные вести и давать советы поумнее.

— На кухне, у горшков! — добавила тетя Нехама.

На это ресторатор заметил, что с базарными торговками он вообще не якшается... Это, конечно, задело мою Хае-Этл, и она сказала, что вот эта «базарная торговка» — ее родная тетка и происхождения она гораздо более знатного, чем он со своим ресто-

раном и даже с его знаменитым шурином, который ходит по домам продавать ламповые стекла и колпаки...

— Идем! — говорит она мне. — Будем лучше питаться яйцами всмятку, нежели встречаться с такими грубиянами, которые говорят по-немецки и выманивают наши русские рубли.

Ругань моей Хае-Этл ресторатора не тронула. Но последние слова о «русских рублях» так взбесили его, что он загорелся и налетел на нас, как дикий зверь, готов был растерзать, — в общем мы чуть живые выбрались из ресторана, нас выпроводили с почестями и кричали вслед, угрожая кулаками: «Руссише швейнен! Руссише швейнен!»

Но еще крепче досталось нам позднее, в отеле. На закуску явился шурин ресторатора. Комиссионер по продаже ламповых стекол и абажуров постучал в дверь и вошел еще с одним немцем, тоже в цилиндре, но без пелерины, и спросил: на каком основании мы позволили себе оскорбить его за глаза?.. При этом он стучал палкой по столу и был такой красный, что я испугался, стал опасаться побоев: мало ли что может выкинуть немец у себя в Вене?

Не так, однако, отнеслась ко всему этому тетя Нехама из Эцелеса. Она, видимо, не больно испугалась этого немца. Она вскочила с места, подлетела к нему, подбоченилась и выложила ему все, что было на душе, без стеснения, на простом еврейском языке:

— Слышь ты, немчура, дурья голова, ламповый пузырь! Ой, я не выдержу! Ты небось думаешь, что тут очень испугались твоей хламиды и печной трубы, которую ты таскаешь на своей башке? Ведь ты, попросту говоря, обжулил нас, выманил несколько злотых ни за что ни про что, как обыкновенный мошенник! Думаешь, мы не знаем, кто ты такой, оборванец несчастный, голопузый касрилик! Не уйдешь! Сейчас заеду в твою богомерзкую рожу и выщипаю бороденку до последнего волоска! Я, понимаешь ли, не раз уже в своей жизни била по морде и не таких, а

почище тебя, у которых ты в кармане спрячешься! Видали вы этого сумасшедшего немца с макитрой? Ой, не выдержу! Убирайся-ка лучше вон, покуда цел, не то...

. . . .

Не знаю, в самом деле он испугался тети Нехамы, которая в ту минуту выглядела как разъяренная курица, готовая глаза выклевать, или не захотелось ему иметь дело с еврейкой из Оцелеса, — но мой немец с пелериной схватил цилиндр в руки и — бог ноги! Удрал, сильно хлопнув дверью и посылая нам из-за порога «руссише швейнен», к которым мы уже привыкли, как к обыкновенному приветствию.

С тех пор я проникся уважением к тете Нехаме из Оцелеса. Она выросла в наших глазах на девяносто девять процентов, и мы решили больше не расставаться с ней в дороге.

МАРИЕНБАД

Не роман, а путаница в 36 письмах,
14 любовных записках и 46 телеграммах

1

Бейльця Курлендер из Берлина — своему мужу Шлойме Курлендеру на улицу Налевки в Варшаву

Моему дорогому, просвещенному супругу Шлойме, да сияет светоч его!

Довожу до твоего сведения, что я пока все еще в Берлине и выехать в Мариенбад смогу, дай бог, только на будущей неделе. Мне незачем перед тобой оправдываться, но можешь мне поверить, — я нисколько не виновата в том, что пришлось задержаться в Берлине на целую неделю. Когда ты узнаешь до конца все, что мне пришлось тут пережить, ты и сам скажешь — невозможно предвидеть всякую мелочь. «Человек хочет, а бог хохочет». Вот как обстоит дело.

Я рассчитывала пробыть в Берлине один день, самое большее — два. Сколько же еще времени требуется, чтобы побывать у профессора? Но все это лишь в том случае, если бы я пригласила профессора к себе. А я подумала: к чему мне тратить лишних тридцать марок, которые могут пригодиться на что-нибудь другое? Я так часто слышу от тебя, что уходит много денег, а времена, ты говоришь, сейчас не блестящие и другие тому подобные намеки приходится мне слышать от тебя... Поэтому я решила не заезжать в гостиницу на Фридрихштрассе, о которой мне

писала моя родственница Хавеле. Как могу я тягаться с Хавеле Чапник? Она тратит сколько ей угодно, и никто ничего не скажет, потому что Хавеле — не вторая жена у мужа, как я, и у мужа ее нет детей от первой жены, как у моего, и Берл Чапник не трясется над каждой копейкой, как ты, и не боится остаться нищим на старости лет, как боишься ты. Я ничего, упаси бог, не имею в виду, я говорю вполне серьезно, что не хочу тратить лишние деньги и остановилась там, где останавливаются все наши налевкинские — у Перельцвейг. Это — вдова, очень славная хозяйка, честная, прекрасно готовит и берет недорого, да и удобно — отовсюду недалеко. За десять пфеннигов ты на Лейпцигерштрассе, у Вертгеймера. А как же можно быть в Берлине и не заглянуть на минуту к Вертгеймеру? Если бы ты был хоть один раз у Вертгеймера, ты бы и сам сказал, что это невозможно. Имя Вертгеймера я слыхала еще в Варшаве, но никогда себе не представляла, что на свете может быть такой магазин. Что тебе сказать, дорогой мой супруг? Это не поддается описанию! Все, что глаз способен увидеть, а язык способен назвать, тут есть. И все по дешевке, буквально наполовину дешевле, чем у нас на Налевках. Представь себе: две марки — дюжина носовых платков! Или за девяносто восемь пфеннигов — пара шелковых чулок, каких у нас и за рубль двадцать не купишь. Или, к примеру, за шестьдесят восемь пфеннигов — стенные часы! Ну, можно выдержать? Я полагаю, если бог поможет, когда буду возвращаться домой здоровая, снова поехать через Берлин, а не через Вену, — Вена, говорят, дыра, захолустье в сравнении с Берлином, — тогда только я заберусь к Вертгеймеру и на свежую голову закуплю все, что требуется в хозяйстве: немного стекла, фаянса и других домашних вещей, затем шелка, мебели и парфюмерии. Границы не бойся, — уж как-нибудь найду выход. Хавеле Чапник ежегодно провозит полные сундуки. Покамест я почти ничего не купила, кроме кое-чего из белья, летних ботинок, еще одной шляпки, халата из сплошных лент, полдюжины нижних юбок, зеленого шелкового зонтика, перчаток,

кружев, прошивок и прочих таких вещей, необходимых мне в Мариенбаде. А так как я была у Вертгеймера, я уже заодно попросила упаковать мне полдюжины скатертей, две дюжины салфеток и маслобойку. Простить себе не могу, словно собаки грызут меня, что не послушалась тебя и не взяла с собой пару лишних сотен. Ужасно глупо: захотелось показать тебе, что не такая уж я транжирка, как ты думаешь. Гораздо больше смысла было бы потратить у Вертгеймера, нежели на доктора, прохворать бы ему самому, эти деньги! Не хватало мне еще доктора в Берлине! Мало их у нас в Варшаве! Можешь мне поверить, берлинским докторам пришлось бы долго еще ждать, пока бы я пригласила их к себе. Но случилось несчастье... Вот послушай.

Только я приехала в гостиницу, к этой Перельцвейг, о которой пишу тебе, не успела еще умыться и одеться как полагается — меня тут же взяли в работу: какого доктора я прикажу вызвать? Я отвечаю: «Во-первых, кто вам сказал, что мне нужен доктор? Что ж, я так скверно выгляжу, что сразу видно по лицу? А во-вторых, у меня из дому есть адрес одного профессора». Тут ко мне обращается какой-то старый холостяк с носом, на котором растет красная смородина: «Извините, мадам, я вам вот что скажу. Именно потому, что у вас имеется адрес профессора, вам необходимо предварительно повидаться с доктором. Потому что, — говорит он, — большая разница, вы ли будете говорить с профессором, или доктор доложит ему о вас на своем докторском языке». Оказывается, этот старый холостяк с красным носом живет у мадам Перельцвейг, о которой я тебе пишу, и является комиссионером по докторам, то есть занимается тем, что вызывает доктора, когда нужно, а доктор уже вызывает профессора или сам приводит больного к профессору на дом. Я им намекнула, что в поводырях не нуждаюсь. «Я еще, слава богу, в силах и сама пройти пешком версту». А комиссионер со смородиной отвечает на это: «Мадам! По мне вы можете хоть три версты пройти пешком. Но должен вас предупредить, что это напрасный труд. Берлинский

профессор, когда вы приходите к нему без доктора, держит вас полминуты, фи-фу-фа, постукал пальчиком, «эйн-цвей-дрей» и долой с катушек, «фертиг»! Но когда вы приходите с вашим доктором, тогда совсем другой разговор! Доктору он отказать не может. Доктора он обязан выслушать. Поняли или все еще нет?..»

Долго ли, коротко ли, — доктора он ко мне привел. Доктор этот мне, правда, сразу же не понравился: в глаза не смотрит, торопится и взвизгивает. Нравится тебе такой доктор, который в глаза не глядит и повизгивает?

Расспросив обо всем подробно и хорошенько осмотрев со всех сторон, этот умный доктор не прочь был уложить меня в постель, чтобы я пролежала до завтрашнего дня. А завтра он снова осмотрит и лишь тогда, стало быть, скажет, к какому профессору он меня направит. Услыхав, что он хочет меня уложить, я объяснила ему, что об этом не может быть и речи. Я в Берлин приехала не лежать, мне нужно побывать у Вертгеймера, сходить к Титцу, побродить везде и всюду. Если он хочет прийти завтра, пусть приходит, но укладывать меня в постель — это не пройдет!.. Он думал, что наскочил на дуреху с Налевок и будет из нее выкачивать марки! Я сразу поняла, что это не доктор, а пиявка. Доказательство? Сейчас услышишь, на что способны кровососы! Волосы дыбом встают!

Утром следующего дня приезжаю с ним к профессору. Оказывается, это совсем не тот профессор, которого записала Хавеле Чапник, — это другой и по другим болезням. Об этом я узнала уже после того, как меня основательно измучили, когда я ушла и села в фаэтон. Я думала, мы возвращаемся домой, оказалось, мы едем к другому профессору, и опять-таки не к тому, что я думала. Он привез меня к профессору-акушеру! Я, конечно, здорово рассердилась и начала скандалить. А доктор отвечает мне своим визгливым голоском, что я не в Варшаве на Налевках, а в Берлине, и нечего морочить голову, потому что ему некогда и он лучше знает, к какому профессору нужно обратиться! Ну, что ты скажешь? Таким обра-

зом мы побывали, можешь себе представить, у трех профессоров, и все трое, словно сговорившись, заявили в один голос: «Мариенбад!» В таком случае, на какого черта нужны были профессора, да еще целых три? Про Мариенбад я слышала еще в Варшаве. В общем, черту в угоду набегалась, ничего не поделаешь!

Когда вернулась домой, я была так измучена, что еле держалась на ногах и уже поневоле должна была лечь в постель. Думаешь, долго я лежала? Не больше бы этому доктору жить на белом свете! Вскоре меня подняло с постели, будто громом ударило. Представь себе разбойника с большой дороги; я, говорит он, должна ему уплатить восемьдесят марок! Восемьдесят марок? За что? «Простой расчет, — говорит он: — Два визита по десять — это двадцать, три консультации у трех профессоров по двадцать — это шестьдесят. А двадцать и шестьдесят всегда и везде составляло восемьдесят». Я, разумеется, подняла такой скандал, что сбежались все — хозяйка, старый холостяк и прочие постояльцы. «Где мы находимся? — раскричалась я. — В Берлине или в Содоме? У вас тут, говорю, в тысячу раз хуже, чем у нас в России! У вас не врачи, а хулиганы, погромщики!» Одним словом, все, что вертелось на языке, то и говорила. И можешь себе представить, вмешались люди, и нас с грехом пополам помирили на пятидесяти пяти марках. Пятьдесят пять болячек село бы на роже у этого замечательного доктора! Думаешь, это все? Не торопись! Есть еще старый холостяк с красным носом, украшенным смородиной. Этот требует пятнадцать марок. За что? Это, говорит он, комиссионные за то, что он порекомендовал мне доктора. Как тебе нравится такой болван? У меня так накипело на сердце, что я свалилась и пролежала до следующего дня с мигренью. Шутка ли, столько денег выбросить — и на что? за что? Не лучше было бы в десять тысяч раз оставить эти деньги у Вертгеймера? Поедом сама себя съедаю за то, что не приехала на неделю раньше. Я бы тогда застала здесь мою Хавеле — все-таки родственница! — и не попала к этим пиявкам в руки.

Хорошо еще, что Берлин такой город, где есть что посмотреть, — не то я бы расхворалась от досады. А повидать в Берлине можно за один день столько, сколько у нас в Варшаве и за тридцать лет не увидишь. Кроме Вертгеймера, Титца и еще таких же магазинов, в Берлине имеется «Винтергартен», «Аполло-театр», и цирк Шумана, и цирк «Буш». Затем здесь есть, говорят, еще и «Луна-парк», который вообще описать невозможно. Я еще только завтра собираюсь пойти туда, тогда все тебе и опишу. Пока будь здоров и скажи Шеве-Рохл, чтобы она смотрела не только за кухней, но и за всем домом. Перед отъездом я забыла записать в грязном белье воротничок и две наволочки. И банку варенья я начала за день до отъезда, — пусть она и берет из этой банки для кухни, а больше не трогает варенья, — того, что на балконе под ящиком. А письма пиши мне обязательно в Мариенбад — постреcтант[1], как мы условились.

От меня, твоей жены *Бейльци Курлендер.*

2

Шлойма Курлендер с Налевок в Варшаве — своему другу Хаиму Сорокеру в Мариенбад

Дорогой друг Хаим!

У меня к тебе, друг, небольшая просьба, то есть не маленькая, а по сути дела даже большая просьба! Очень большая! Случилась у меня, дорогой друг, беда: моя Бейльця едет в Мариенбад. Почему ни с того ни с сего в Мариенбад? Понятия не имею! Она говорит, что нездорова и обязательно должна лечиться в Мариенбаде. А доктор тоже говорит, что она нездорова и нуждается в Мариенбаде. А уж если двое говорят — пьян, третьему ничего не остается, как отправиться спать... Но по секрету скажу тебе и, прошу тебя, пусть это останется между нами, — я понимаю, в чем смысл этого Мариенбада. Если мадам Чапник едет в

[1] До востребования *(франц.)*.

Мариенбад, то как же мадам Курлендер туда не поехать? Она сравнивает меня с Берлом Чапником! Не знает она, видно, одного: что может себе позволить Чапник, того не разрешим себе ни я, ни ты и никто. Чапник способен просидеть круглый год в роскошной квартире, как монарх, и совершенно забыть, что за квартиру принято платить. В то проклятое время, когда Чапник, не теперь будь сказано, снимал у меня квартиру, я думал, что заболею чахоткой. Каждый день он требовал, чтоб у него сделали ремонт, а мною помыкал, как дворником. Другого я вышвырнул бы ко всем чертям, а тут пришлось набрать полон рот воды и молчать. Из-за чего? Из-за того, что его Хавеле приходится Бейльце четвероюродной сестрой — десятая вода на киселе! Чего я в тот год только не насмотрелся!.. Хватило бы целую неделю рассказывать. Пусть к Берлу Чапнику придет мясник требовать деньги за мясо, он лбом двери отворяет: какая наглость со стороны мясника требовать деньги за мясо! А к мадам Чапник ходят со счетом из магазина, покуда не сносят две пары обуви, а потом перестают ходить. О портных и сапожниках говорить не приходится: все знают, что к Чапникам за деньгами нечего ходить, потому что не дадут. Чего уж больше? Недавно у них была вечеринка, — мадам Чапник была именинница. Перед самым отъездом за границу. Надо тебе было видеть, что там творилось! Меня не было, но Бейльця рассказывает, — ужин был такой, что его хватило бы на свадьбы двух дочерей. Блюда были заказаны в ресторане Гексельмана, — рыба, мясо, жаркое, вина, пиво, — чего хочешь! Пробки хлопали, официанты бегали, было весело! И, как водится, заложили банчок, а банкиром был Чапник, и выиграл опять-таки Чапник: он знает, как это делается! В банке, говорит Бейльця, были сотни рублей. И тем не менее когда на следующий день Гексельман пришел со счетом, его подняли на смех, он даже стесняется рассказывать... Однако я заговорил о Чапнике и чуть не забыл о моей просьбе.

Просьба моя такая: так как моя Бейльця едет за границу впервые в жизни и не знает, где что находится,

и не знает языка, я прошу тебя быть настолько любезным и помочь ей, то есть рекомендовать приличную гостиницу, хорошего доктора, кошерный ресторан, — словом, быть, как это называется, ее руководителем. Кстати, попрошу тебя присмотреть, с кем она там встречается, с кем водится. Я, понимаешь ли, хотел бы, чтобы она была подальше от мадам Чапник. Что, собственно, я имею против мадам Чапник? Дел моих она мне не портила. Но мне не хочется, чтобы моя Бейльця была накрепко пристегнута к мадам Чапник, хоть они и состоят в родстве. Не хочу, чтобы мадам Чапник ее опекала, чтобы каждое слово мадам Чапник было законом, чтобы все, что та ни наденет, казалось Бейльце красивым и чтобы ей хотелось всего, что она увидит на мадам Чапник. Поверь мне, дорогой друг, дело здесь не в деньгах. Ты знаешь, я, упаси бог, не такой сквалыга, и Бейльце ни в чем отказа нет — хоть звездочку с неба! Как-никак вторая жена. А вторая жена и единственная дочь, говорят, всегда поставят на своем. Но в чем же дело? Не хочу я, чтобы жена моя совалась куда не надо. У меня и без того на Налевках достаточно врагов, готовых утопить меня в ложке воды. Особенно с тех пор, как я женился на Бейльце, им очень хочется мне отомстить, сам не знаю за что, как будто я задел чью-нибудь честь или помешал им в делах. Все потому, что Бейльця, как они говорят, могла бы быть моей снохой. Может, ты мне скажешь, какое им до этого дело? Просто хотят испортить нам жизнь. Скажи на милость, что я им сделал? Весь шум из-за того, что она хороша собой! Черт бы побрал их батьку с матерью! А если бы я женился на какой-нибудь богомерзкой роже, — им было бы лучше?

Словом, дорогой друг, много рассказывать тебе нечего. Думаю, ты сам понимаешь, о чем я тебя прошу. Я хочу, чтобы ты присматривал за ней и время от времени писал мне, как ты живешь, и о Бейльце, как она живет. А если она обратится к тебе за деньгами, — я дал ей твой адрес, — выдай ей за мой счет, сколько ей потребуется, конечно, не сразу, а понемногу, потому что для нее деньги — пусть это оста-

нется между нами — ничего не значат. Я знал наперед, что сколько бы я ни дал ей с собой, она, попав в Берлин, пустит все на ветер. Так оно и есть, сердце мне подсказало. Я получил от нее письмо из Берлина (по дороге в Мариенбад она остановилась в Берлине). Она, Бейльця то есть, посылает мне привет от некоего Вертгеймера — владельца магазина, где можно найти все, кроме птичьего молока. Она уже побывала там с визитом и, насколько я понимаю, не обманула надежд господина Вертгеймера... Тянется за мадам Чапник. Берл Чапник хвастает, что дал своей Хавеле пятьсот рублей на дорогу. А Хавеле едва приехав в Берлин сразу написала, чтобы ей выслали еще денег, и ему пришлось через неделю выслать еще столько же. Швыряется пятисотенными этот Чапник! Не знаешь ли ты, какими это делами он ворочает? Человек живет в Варшаве лет двадцать, а знает ли кто-нибудь, чем он торгует? Расфранченный человечек, с брюшком, с приятным произношением, лишнего слова не скажет, один глаз смотрит куда-то в сторону, второй прикидывает, как бы это раскрыть ваши карманы и одолжить у вас денежки без отдачи...

Словом, не стоит он того, этот Чапник, чтобы о нем так много говорить. Ты знаешь, Хаим, как дорога мне Бейльця. Я очень огорчен тем, что она едет одна. Я бы поехал с ней, но как могу я бросить дела? У меня самый сезон. Я собираюсь строить и надеюсь, что год у меня выдастся неплохой. Насколько я предвижу, квартиры в нынешнем году будут значительно дороже, чем в прошлом. Но Бейльце не обязательно знать об этом. Наоборот, если придется к слову, можешь ей сказать обратное... Но мне незачем учить тебя. Ты сам все знаешь. А вообще особых новостей нет. Наши газеты ты, конечно, и там читаешь и знаешь, что у нас не больно весело. Могу тебе передать привет от твоей Эстер. Я видел ее издали. Мне кажется, она уже совсем на сносях. Не сегодня-завтра... Если будет мальчик, то как же без тебя состоится обрезание? Смотри, друг мой, сделай то, о чем я тебя прошу, и отвечай немедленно.

От меня, твоего лучшего друга *Шлоймы Курлендера.*

8

Бейльця Курлендер из Берлина — своему мужу Шлойме Курлендеру на улицу Налевки в Варшаву

Моему дорогому, просвещенному супругу Шлойме, да сияет светоч его!

Вчера я обещала тебе описать берлинский «Луна-парк», как только вернусь оттуда. Вот я и стараюсь угодить тебе, хотя это вещь невозможная, ибо если бы я даже всю ночь сидела и писала, то разве можно описать хотя бы десятую часть того, что видишь в этом «Луна-парке»? Вот это парк так парк! Представь себе огромный парк, весь в огнях, кругом огни, все здания сверху донизу залиты огнем. И сразу, как приходишь, попадаешь в зал смеха. Это такой зал, что, как только входишь, на тебя нападает смех, и ты смеешься, пока чуть не лопнешь со смеху, потому что куда бы ты ни повернулся, ты видишь, что похож на черта. Потом платишь за билет и садишься на какой-то сумасшедший поезд, который бешено мчится по горам и долам. То тебя подбрасывает выше домов, а то летишь вниз ко всем чертям, в преисподнюю, так что чуть на куски не распадаешься. Начинается визг, писк, но тут тебя снова вскидывает на гору и снова бросает в яму. И так до тех пор, пока ты не окажешься на прежнем месте и стоишь, как дурак. Немец велит тебе «аусштайген», то есть выйти. Выходишь как одурелый. Потом подходишь к реке и видишь: люди скользят в лодках куда-то вниз, падают прямо в воду, но не тонут. Тебя, конечно, разбирает, и ты лезешь по лестнице наверх, снова покупаешь билет, садишься в лодку и летишь как сумасшедший в воду, и вылезаешь оттуда весь мокрый, и только стоишь и смотришь, за что немец деньги берет? Пройдешь немного дальше и видишь диких людей и цыган из Египта, которые поют, прыгают и кружатся, лижут языком раскаленное железо, прокалывают себя пиками, вертят животами, и за все это тянут из тебя деньги. А если хочешь, тебя приведут прямо в ад и

покажут мертвецов, духов и чертей, змей и всякую нечисть, и ты готов благодарить бога за то, что тебя выпустили живым. О кафе, ресторанах, музыке, игральных ящиках, кинематографах, комедиях, фотографиях и тому подобных вещах и говорить нечего, — этого здесь как звезд на небе. И если бы тебе вздумалось потакать немцам и ходить всюду, куда тебя приглашают, — ты бы оттуда вышел гол, как сокол. Мне же вся эта канитель не стоила ровно ничего, ни ломаного гроша. Спросишь, как же это возможно? А вот послушай.

Тот самый холостяк с красной смородиной на носу, который выманил у меня пятнадцать марок за то, что порекомендовал мне замечательного доктора, пригласил меня в «Луна-парк» на свой счет, да еще угощал меня сельтерской водой, и шоколадом, и чем хочешь. Увидав, однако, что мне это не нравится, он сказал: «Для хорошеньких женщин, которым требуется доктор, я — комиссионер, но для осмотра Берлина я не комиссионер, а кавалер и джентльмен!» Ну, что ты скажешь про такого недотепу? Уже на обратном пути он обращается ко мне, этот умник, а сам сияет, как солнышко в июне: «Мадам! Если вы не обидитесь, я вам кое-что скажу». — «Если что-нибудь умное», — отвечаю я. «Умное ли, не знаю, — он говорит, — но вам это будет очень интересно». — «Если интересно, отвечаю, почему нет?» Тогда он говорит: «Но с условием, мадам, что вы мне потом скажете ваше мнение». — «Почему не сказать?» — отвечаю я. «Нет, я имею в виду, — говорит он, — что вы скажете мне откровенно, не скрывая». — «Зачем же мне скрывать?» — говорю я. «Нет, — продолжает он, — если вам не понравится то, что я скажу, то вы мне так и скажите, что вам это не нравится». — «Говорите, — отвечаю я, — чего вы тянете?» Тогда он останавливается и говорит: «Выслушайте же, мадам, дело вот в чем. Поверите ли вы мне? Может быть, поверите, а может быть, и нет. Хотя я не знаю, почему бы вам мне не поверить. Я человек откровенный, у меня что на уме, то на языке. Я не люблю полуслов. У меня раз, два, три — и готово. Должен вам сказать, мадам,

что я такой человек: если есть у меня что-нибудь, я тут же выкладываю. Долго держать про себя я не умею. Я уже давно хотел вам сказать, что вы мне понравились с первой же минуты, когда я вас увидел. Что вы на это скажете?» — «Что мне, отвечаю, сказать? Ваше счастье, что мы в Берлине, на Фридрихштрассе, не то я бы вам показала, что значит быть нахалом!» На этом наш разговор окончился. Я осталась без кавалера и вынуждена всюду ходить одна. Однако не беда: Берлин — не темный лес, а немцы такие люди, что не ленятся, останавливаются, выслушивают и показывают вам все, что у них спрашивают. Больше того, если спросишь такое, чего они не знают, то прямо-таки видишь, что люди вне себя. Немец немцем остается.

Вот я тебе описала все, как обещала. Дай мне бог приехать благополучно в Мариенбад, тогда сообщу тебе больше новостей. Пока будь здоров и напиши мне в Мариенбад, что слышно у нас в Варшаве? Как поживает Эстер Сорокер? Родила она или еще нет? А если да, то кого — мальчика или девочку? Хорош муж! Я имею в виду Хаима Сорокера. Оставить жену на сносях, а самому уехать в Мариенбад! Ради чего? Он, видите ли, хочет «сбавить», потерять живот... Была бы я его женой, он бы уже обратно на Налевки не приехал! Пусть оставался бы в Мариенбаде навсегда. Уж он бы у меня «сбавил» не только вес и потерял бы не только живот. Говори что хочешь, — он твой друг, — но так не поступают. У меня сердце разрывалось, когда я пришла к ней попрощаться. Она не из тех, что жалуются, но, видно, такое счастье суждено им, обеим сестрам — и Эстер и Ханце. Ханця, говорят, еще больше мучается со своим Меером. Мне говорили здесь, в Берлине, что Меер Марьямчик тоже в Мариенбаде. И Броня Лойферман, и Лейця Бройхштул, и Ямайчиха со своими дочерьми тоже в Мариенбаде! Все Налевки в Мариенбаде. Не сглазить бы! Надеюсь получить от тебя письма в Мариенбаде, только не забудь написать обо всем, что творится дома. Не полагайся целиком на Шеве-Рохл. Просматривай каждый день, что она приносит с базара, взве-

шивай мясо и, ради бога, не бери ничего в кредит, потому что лавочники, даже самые честные, имеют привычку приписывать. А если явится к тебе модистка Лея с претензиями, что я ей не доплатила за работу, и захочет положиться на твою справедливость, не отвечай ей. Она стращала судом, — пусть идет в суд! И не забудь, ради бога, выслать мне деньги в Мариенбад. Я сообщу тебе мой адрес сейчас же, как только приеду. Дал бы уж бог приехать благополучно.

От меня, твоей жены *Бейльци Курлендер.*

4

Шлойма Курлендер с Налевок в Варшаве — своей жене Бейльце Курлендер в Мариенбад

Моей дорогой супруге, госпоже Бейльце, да здравствует она!

Оба твои письма из Берлина я получил и сообщаю тебе, дорогая Бейльця, что я, слава богу, здоров и в доме все в лучшем порядке. Платили бы только вовремя все жильцы, чтоб не надо было возиться с ними. Помимо того что теряешь деньги, приходится тратить еще на адвокатов, на бумаги и на всякую напасть. А позора сколько терпишь из-за того, что есть такие хулиганы, которые еще и грозятся описать тебя в газетах, если ты выбросишь их из квартиры. А я не хочу, чтоб меня описывали в газетах. Я этого не люблю. А строительство, которое я веду, поглощает столько денег, что я даже не знаю, как и когда выпутаюсь. К тому же приходится иметь дело с грубыми людьми — с мастеровыми и рабочими, которые на голову лезут и не питают ни капли уважения к хозяину. Словом, что тебе сказать, дорогая Бейльця, кругом горести, горести и горести! А тут ты еще со своими письмами из Берлина. Ты даже представить себе не можешь, как мне досадно, что ты не поехала через Вену. Ты хочешь побывать у профессора, посоветоваться, — ну что же, пожалуйста: я тебе, упаси

бог, не запрещаю и денег, ты хорошо знаешь, не пожалею там, где речь идет о твоем здоровье, о спасении души. Но отдаваться на милость пиявок-докторов, иметь дело с тремя профессорами, — да ведь они тебе в конце концов так заморочат голову, что ты, упаси бог, захвораешь! Это одно. А во-вторых, я спрашиваю, дорогая Бейльця, как это ты не щадишь своего здоровья и ходишь к Вертгеймеру и Титцу покупать вещи по дешевке? Я верю тебе, что там у них все чуть ли не даром. Но, во-первых, мне твое здоровье дороже, а во-вторых, я думаю, что и в Варшаве можно получить то же самое. За деньги все можно достать, кроме лихорадки. Стоит ли толкаться и тискаться? И ради чего? Купить пару чулок и стенные часы? Жизнью рисковать ради этого? Вот я и спрашиваю, Бейльця, ведь ты же все-таки не налевкинская баба, как же ты могла сделать такую глупость? А это хождение, этот осмотр Берлина?! Должен тебе сказать, дорогая Бейльця, что никак не пойму, что там смотреть, в этом Берлине? Представляю себе большой город, в три, в пять, в десять раз больше Варшавы, — ну что из того? Или, скажем, ты пишешь, что была в театре, в цирке и еще в таких местах. Против этого я ничего не имею. Наоборот, раз ты за границей, надо всюду побывать и все посмотреть. Почему нет? Меня волнует другое: как ты не дорожишь своей честью, своим положением и позволяешь всякому бездельнику, которого ты знать не знаешь и ведать не ведаешь, водить тебя? Хорошо, что ты наскочила на болвана, на идиота, который оказал тебе уважение. А что, если ты налетишь на хулигана или на шарлатана? На чужбине, Бейльця, надо быть еще осторожнее, чем дома. Можно натерпеться величайшего позора и нажить себе величайшее несчастье, упаси бог! Поэтому я написал моему другу Хаиму Сорокеру в Мариенбад, чтобы он помогал тебе иной раз советом или добрым словом. Он уже несколько раз побывал за границей и знает все тамошние порядки и обычаи. А кстати, так как у меня с ним свои счеты, я ему дал указание выдавать тебе деньги, сколько тебе понадобится, потому что посы-

лать по почте дорого, а кроме того, частенько теряешь на курсе*, так что посылать не стоит. Поэтому повидайся там с Хаимом Сорокером, передай ему привет и скажи, что я жду ответа на письмо, которое я на днях ему послал. И передай ему, что у него дома пока еще ничего нового не произошло. Эстер еще держится. И еще хочу попросить тебя, дорогая Бейльця, держись подальше от твоей родственницы Хавеле Чапник. Не потому что она пользуется дурной славой у нас на Налевках, — я не придаю значения таким вещам, — но просто я не хочу, чтобы твое имя вертелось на языке у всякого и чтобы на меня указывали пальцами. Ты ведь сама говоришь, что Мариенбад сейчас — кусок Варшавы. Все Налевки, по твоим словам, нынешним летом перебрались в Мариенбад. Можно себе представить, если Броня Лойферман, и Лейця Бройхштул, и даже Ямайчиха со своими дочерьми, как ты говоришь, уже в Мариенбаде. Чего тебе еще надо? Так что ты должна остерегаться их, как огня, потому что все они ужасные сплетницы! Нежели попасть к Ямайчихе на язык, лучше себе ногу сломать! Огонь всепожирающий! А чем хуже Броня Лойферман? А Лейця Бройхштул? С какой такой радости потащились они в Мариенбад, я не знаю. Ну, Лойферман, говорят, выиграл в нынешнем году в лотерею, ему хочется истратить эти несколько рублей. Но Бройхштул? Только на прошлой неделе он приходил ко мне одалживать деньги, и я ему отказал, как покойнику. Брать деньги взаймы и посылать жену в Мариенбад, — для этого надо иметь нахальство. А то, что ты пишешь, дорогая Бейльця, чтобы я наблюдал за домом, то можешь быть совершенно спокойна. Ты должна только лечиться и приехать благополучно домой, — тогда все будет в порядке. Шеве-Рохл ты боишься напрасно. Во-первых, ты уже не раз убеждалась в ее честности. Ей хоть золото клади. А во-вторых, я слежу за каждой мелочью. Не только сахар, даже хлеб у меня под замком. А без денег я и сам не люблю набирать в лавках. Мы хоть и торгуем с честными людьми, с порядочными людьми, и все же такие бы им болячки, какие все они воры! А теперь

прошу тебя, дорогая Бейльця, не жалей денег, доставляй себе всевозможные удовольствия и только, пожалуйста, не ходи по магазинам и не покупай дешевых вещей. Обещаю тебе, когда ты, даст бог, благополучно вернешься домой, купить все, чего душа твоя пожелает. К чему тебе тряпье, скатерти, носовые платки? Мало их у тебя? К чему тебе маслобойка? А куда ты денешься со стенными часами? Боюсь, Бейльця, как бы ты в хлопотах на границе не погубила все свое здоровье, накопленное в Мариенбаде. Тогда будут выброшены мои деньги, да еще стыда не оберешься, как три года тому назад мадам Коральник с Налевок, которая на границе показалась чересчур толстой... Ее пригласили в отдельную комнату, раздели до сорочки и отмотали с нее больше четырехсот метров шелковых лент. С тех пор она у нас на Налевках приобрела интересное прозвище: «Коральничиха с лентами».

Будь здорова, обязательно поправляйся и приезжай домой в добром здравии, как желает тебе искренне

твой супруг *Шлойма Курлендер.*

5

Хаим Сорокер из Мариенбада — своему другу Шлойме Курлендеру на улицу Налевки в Варшаву

Дорогой друг Шлойма!

Получил твое милое письмо. Меня очень радует, что ты пишешь мне так откровенно, как настоящему другу, и еще больше я буду рад, если смогу быть тебе по мере сил моих полезен. О том, что твоя Бейльця приезжает в Мариенбад, я знал еще до получения твоего письма. Каким образом и от кого я узнал об этом? От мадам Чапник. Как? Сейчас опишу тебе все, как было. Делать все равно нечего, можно с ума сойти от скуки, — сделаюсь на минутку писателем. Об одном только попрошу тебя, Шлойма, все, что я

буду писать тебе отсюда, держи в секрете. Ты своим письмом доверился мне и считаешь меня человеком, умеющим хранить тайну, и я тоже доверяю тебе то, чего не доверил бы никому, даже собственной жене, и уверен, что все это останется между нами.

Прежде всего надо описать тебе Мариенбад, чтобы ты знал, что это такое и с чем его едят. Сюда приезжают люди, которых господь бог благословил большими деньгами и наказал большими мясами, то есть наоборот: наказал большими деньгами и благословил большими мясами. Это самые несчастные люди на свете. Хотят есть, а им нельзя, хотят ходить, но не могут, хотят лежать — не дают! «Вы должны ходить, как можно больше ходить, делать моцион, — говорят им врачи. — Вы должны сбавить, как можно больше сбавить...» «Сбавить» на нашем языке означает потерять животик, то есть малость усохнуть. А для этого есть одно средство — Мариенбад. Как рукой снимает! Да и что удивительного? Едят здесь хворобу с болячками, — доктор есть не разрешает, — а живут лишь тем, что по утрам пьют немного горькой водички, которую здесь называют «Крейцбрунен». Подогретая, да еще натощак, эта водичка отвратительна на вкус. А когда пьешь ее — надо гулять, делать моцион, как называет это доктор. После такого питья и моциона хочется перекусить. Идешь домой покушать. А тебе подают «фриштык», а не еду. Какая же это еда, посуди сам, если мяса нельзя, яиц нельзя, печенья нельзя! Чашка «каки»[1], с сухариками — вот и весь «фриштык». А после «фриштыка» доктор снова велит ходить, делать моцион. Тогда только у тебя и разыгрывается аппетит. Когда наступает время обеда, тебе кажется, что быка проглотил бы с рогами. Но премудрый доктор говорит: «Нет, дяденька! Если будете так жрать, то сбавите вы фигу, а не пуд сала, и ваш чемодан останется при вас, покуда живы будете!»

Словом, ад, что и говорить! Хорошо еще, что доктора можно надуть. Он велит есть хворобу, — сам

[1] Какао.

ешь! Велит ходить — ходи! А мы лучше сядем и сыграем в преферансик. Беда только, что не всегда найдешь третью руку. Тогда приходится играть вдвоем в «шестьдесят шесть». Ты знаешь, что я этого не чураюсь. Но с кем здесь можно играть в «шестьдесят шесть», кроме мадам Чапник? Ох, эта мадам! Сам Берл Чапник щенок в сравнении со своей женой! Это, скажу я тебе, мадам: богоданная! Играет она как раз неплохо, троих мужчин за пояс заткнет. Но что же? Терпеть не может проигрывать! А если проиграет — не платит: «Ничего, говорит, я кредитоспособная, в крайнем случае вам уплатит муж». Как тебе нравится этот «плательщик»? Если бы она любила играть только в «шестьдесят шесть», — это бы еще с полгоря! Беда в том, что она любит, чтобы ее водили гулять по Мариенбаду. Можно было бы, впрочем, и с прогулками мириться, но горе в том, что просто гулять она не любит. Гулять у нее — значит таскаться по магазинам, покупать по дешевке, обманывать немцев, а это уже пахнет займами денег на короткое время, то есть навсегда. Напасть, говорю я тебе, наказанье божье! Никуда от нее не спрячешься! И, как назло, я тут один на весь базар. Ни одного мужчины с Налевок, — сплошь женщины. Здесь и Броня Лойферман, и Лейця Бройхштул, и мадам Шеренцис, и мадам Пекелис. Затем Ямайчиха с тремя своими перезрелыми мамзелями, которые славятся в Мариенбаде своим почтенным возрастом. Вообще они были бы довольно славными барышнями, если бы не носы. Урожай нынешним летом в Мариенбаде на налевкинских дам и на других дам... Дамы, дамы — бесконечное количество дам! В большинстве — это толстые женщины из Белостока, из Кишинева, из Екатеринослава, из Киева, из Ростова, из Одессы, со всего света. Они приезжают якобы на «курорт», но главная их цель — женихи для дочерей, переспелых девиц. Одеты они в шелка и бархаты, на шеях жемчуга, а мамзелей своих выводят как на выставку. Говорят они на каменецком немецком языке и стреляют глазами в каждого мужчину, точно желая сказать: «Если ты холостой, поди сюды, а если женатый, можешь отправ-

ляться, откуда приехал...» Вокруг этих «мамаш» увивается, словно пчела вокруг меда, некая личность в цилиндре по имени Свирский. Он сват, мировой сват. Сам он из наших, но по-еврейски не говорит, хоть режь его. Он изъясняется исключительно по-немецки. Брак у него — «парти», жених — «бройтигам», «ваша жена» он никогда не скажет, обязательно — ваша «фрау гемалин». Красота, да и только, смотреть, как эти дебелые мамаши в жемчугах гоняются за господином Свирским и говорят с ним на его «немецком» языке, а он хвастает перед ними «парти», которые при его содействии были заключены на курорте, и все «по любви»! Нашу Ямайчиху с Налевок и ее трех дочерей я уже несколько раз встречал на прогулке с господином Свирским, который не снимает цилиндра ни в субботу, ни в будни. От души желаю, чтобы Свирский нашел им подходящую «парти», вернее, три «парти» с тремя «бройтигамами» для троих ее носатых дочек, хотя бы и без любви, лишь бы скорее, так как похоже, что младшей пора остричься, потому что ей уже за тридцать... А если прибавить к годам младшей года ее двух старших сестер, то, боюсь, перевалит за сотню... Однако шут с ними! Я стараюсь, как только можно, избегать Ямайчихи, потому что ты знаешь, какая она сплетница, стенку со стенкой сшибить может!

Теперь, когда я тебе немного описал Мариенбад, могу рассказать, каким образом я узнал о приезде твоей Бейльци.

Вышел я вчера утром на «водопой» и встретил мадам Чапник, мадам Лойферман, мадам Бройхштул, мадам Шеренцис, мадам Пекелис и Ямайчиху с ее тремя носами, — словом, все мариенбадские Налевки. «Здравствуйте!» — «Доброго утра!» — «Как дела?» — «Что нового?» Между тем Хавеле Чапник говорит: «А знаете, завтра у нас в Мариенбаде ожидается гость!» — «С гостем вас!» — «Кто же это?» — «А ну, будьте умником, угадайте» — «Что я за отгадчик такой?» — говорю. А она: «Хотите, скажу примету?» — «Пожалуйста, послушаем, какая у вас примета». — «Не одна, а несколько примет. Во-первых, она хоро-

шенькая, самая красивая из всех налевкинских женщин». Это, как я понял, задело всех остальных дам, потому что они как-то странно переглянулись и стали метать на мадам Чапник такие огненные взгляды, что можно было бы сжечь дотла целое местечко в Польше... А мадам Чапник сделала вид, будто ничего не замечает, и стала перечислять достоинства красавицы, которая приезжает в Мариенбад. «Может быть, — говорю я, — хватит перечислять достоинства? Еще какую-нибудь примету знаете?» — «Вторая примета: у нее муж, который раза в два старше ее, потому что ей еще и двадцати нет».

Тут все дамы прыснули: «Не считая суббот и христианских праздников!» Вижу, что этому конца не предвидится, и говорю мадам Чапник: «Может, хватит язык точить, может, скажете, кто приезжает в Мариенбад?» А мадам Чапник заявляет: «Тише! Еще одна примета — и кончено! Она моя родственница». — «Чего же вы мне голову морочите? — сказал я. — Так бы и сказали, что приезжает Бейльця Курлендер — и дело с концом!» И пошел разговор между этими женщинами о твоей Бейльце, и больше всех, конечно, болтала Ямайчиха. Ну, что тебе сказать, Шлойма! Я не могу всего этого описать и повторять не желаю. Можешь сам догадаться, что способна наговорить такая Ямайчиха про тебя и про твою Бейльцю, и не столько про Бейльцю, сколько про тебя! Если бы кто-нибудь послушал, мог бы подумать, что ты ей испортил всю жизнь или помешал выдать дочку замуж. Но, на счастье, пришел господин Свирский и отозвал Ямайчиху в сторону, чтобы сообщить ей что-то по секрету, наверное, насчет очередной «парти» с каким-нибудь «бройтигамом».

Так я узнал о твоей Бейльце, что она приезжает в Мариенбад. И только ночью, придя домой, я нашел твое письмо. Очень хорошо, что ты мне написал. Будь уверен, дорогой друг, что я, конечно, постараюсь сделать для тебя и для нее все, о чем ты просишь. Можешь на меня положиться. Я не пожалею трудов и времени, чтобы писать тебе каждый раз, что и как... Но и ты должен будешь мне писать часто, какие но-

вости у нас в Варшаве. Но ты сообщай мне веселые новости. Я не люблю печальных писем. Помни: раз я лечусь, значит должен забыть о всяких ужасах и несчастьях. Хватит горестей, которые терпишь дома круглый год. Поверишь ли, за границей я даже газет не читаю. Я делаю только свое дело: ем, пью и сплю, гуляю, сбавляю и играю в преферанс, когда есть третья рука, не то — вдвоем в «шестьдесят шесть». А вообще, будь здоров. Даст бог, завтра, когда твоя Бейльця приедет, я тебе сразу же сообщу обо всем подробно. Еще раз будь здоров и успевай в делах, как желает тебе

твой лучший друг *Хаим Сорокер*.

6

Бейльця Курлендер из Мариенбада — своему мужу Шлойме Курлендеру на улицу Налевки в Варшаву

Моему дорогому, просвещенному супругу, да сияет светоч его!

Сообщаю тебе, что благополучно прибыла в Мариенбад. Думала, на вокзале меня встретит Хавеле Чапник, но оказывается, что моя родственница не получила моего последнего письма из Берлина. Так она говорит, но я полагаю, что это вранье. Письмо она, конечно, получила, но не удосужилась меня встретить. Она занята, целыми днями играет в «шестьдесят шесть». Угадай, с кем? Никогда не угадаешь, будь ты хоть о восемнадцати головах, — с твоим добрым другом Хаимом Сорокером. Ах, знала бы об этом его Эстер! Я бы тогда не позавидовала твоему милому другу! Живет он здесь припеваючи, как сыр в масле катается. Об этом я узнала сразу же по приезде от Ямайчихи. Я имела честь встретить ее на вокзале вместе с ее тремя носиками. Они провожали какого-то молодого человека, наверное, жениха подцепили, потому что возле них толклась некая фигура с печной трубой на голове — по-видимому, сват. Долго она

со мной не говорила, тем не менее успела передать мне целые охапки новостей о наших налевковцах в Мариенбаде. Новости эти я оставлю до другого раза. Пока опишу тебе поездку из Берлина в Мариенбад.

Нехорошая была у меня поездка. А все из-за кого? Из-за тебя. Из-за твоих постоянных жалоб на скверные дела я пожалела денег на второй класс и всю дорогу ехала в третьем. Было очень неудобно. Во-первых, тесно, сидеть негде, а уж прилечь и подавно. Накурено, как в бане. Немцы курят такие страшные сигары, от которых остаешься без головы. А во-вторых, на границе, когда едешь во втором классе, совсем другое обращение. Хотя я не могу пожаловаться, чтобы у меня что-нибудь отняли. Но страха я натерпелась столько, что и сказать не могу. Я думала, что между Берлином и Мариенбадом нет границы. Ведь они же все говорят на одном языке, к чему же им граница? Оказалось, однако, что граница есть и что немцы тоже любят искать и рыться. Я испугалась не на шутку. И боялась я не столько за другие вещи, сколько за кружева. Если бы я знала, что между Берлином и Мариенбадом имеется граница, я бы устроилась с кружевами по-иному, я бы зашила их в стеганое одеяло, как ежегодно делает Чапниха. А я-то, глупая, нашила их на мои старые юбки и положила в грязное белье. Немец спросил: «Что здесь у вас?» А у меня — душа в пятки. Открыла чемодан и говорю: «Старые платья и грязное белье». Он выслушал и указывает на другой чемодан: «А что у вас здесь?» Я открыла второй чемодан, а оттуда как выскочит твоя соломенная шляпа! Я совсем забыла написать, что у Вертгеймера в Берлине я купила для тебя соломенную шляпу, настоящую панаму. Угадай, сколько она стоит? Не скажу тебе, пока домой не приеду. Ты сам должен угадать, сколько я заплатила за твою панаму. Словом, выскочила панама, и я замерла от страха: откуда ко мне мужская шляпа? Но я тут же нашлась, — я знаю, что немцы не слишком умные, — и говорю ему по-немецки: «Эта панама моя, у нас в России все дамы

носят мужские панамы». Он ни слова не ответил и спросил: «Не везете ли вы русский чай? Нет ли у вас сигарет?» Я подумала: «Мои горести да на твою голову!» — и сказала, что чаем я не торгую и сигарет не курю. Тогда немец взял мелок и пометил все мои чемоданы, узлы и кошелки, как бы говоря: «Все в порядке!» То есть пропустил. Поди будь пророком и угадай, что немец станет спрашивать про русский чай и русские папиросы! Суждены мне были напрасные страхи и волнения. Но если бы я поехала во втором классе, не было бы и этих страхов, потому что во втором классе, говорят, немец только проходит по вагону и спрашивает, нет ли у кого-нибудь багажа для оплаты. А кто виноват? Конечно, ты сам! Я боюсь истратить лишний грош. Правда, ты ничего не говоришь, но когда доходит дело до счетов, ты начинаешь вздыхать, стонать и намекать на то, что уходит масса денег... Я очень довольна, что хоть в Берлине нашла дешевую гостиницу и честную хозяйку. Мадам Перельцвейг подала мне перед отъездом такой счет, что я подумала, то ли это сон, то ли она с ума сошла. Представь себе: за молоко она не считает, чай и сахар — забыла, селедка, редиска, лучок, печенки и тому подобные вещи она называет «форшмак». Считает только за еду и ночлег и больше ничего. И оставлять на чай, как водится в других гостиницах, у нее тоже не приходится, потому что она сама и прислуга и хозяйка. Говорю тебе, не гостиница, а рай земной! Недаром у нее останавливаются все наши дамы с Налевок... А как меня провожали на вокзал! Не дали даже носильщика нанять. Все сами! Мало того, мне еще преподнесли букет живых цветов! Это было уже не от нее, а от комиссионера, от того старого холостяка, о котором я тебе писала в прошлом письме. Вот идиот! Забыл про нагоняй, который он получил от меня на Фридрихштрассе, и на другой день просит, чтобы я откровенно сказала, правду ли говорят, что у меня муж восьмидесяти с лишним лет? В ответ я спрашиваю: «В Одессе вы никогда не бывали?» А он отвечает на литовском наречии (он из литваков к тому же): «А что такое?» — «В Одессе, —

говорю я, — имеются Толмачов и холера. Одно из этих двух было бы для вас не лишним...» Думаешь, он обиделся? С тех пор как господь бог торгует дураками, он такого дурака еще не создавал. Он гораздо хуже других двух неудачников, которых бог послал мне потом, в вагоне третьего класса. Но от них была хоть кое-какая польза. Они уступили мне свои места, так что я могла не только сидеть, но даже лечь спать. Но я боялась, — а вдруг это жулики. Мало ли что бывает? Выдавали они себя, правда, за очень порядочных людей. Один из них представился лодзинским коммивояжером от трех фабрик, а второй сказал, что у него аптечный склад в Ломже. Уж эта пара, доложу я тебе! Меня они не желали называть «мадам», хоть кол у них на голове теши! Только — «фройляйн» и «мадемуазель»! Я им говорю: «Пшепрашам, у меня есть муж». А они отвечают: «Пшепрашам, а чем вы докажете это?» Показываю им свое обручальное кольцо и говорю: «Этого вам недостаточно?» Тогда вояжер наклоняется ко мне, разглядывает кольцо и целует мою руку. А я ему — пощечину! Очень здорово получилось! И все же, думаешь, не помогли они мне вытащить багаж из вагона в Мариенбаде? Им даже очень хотелось, чтобы я сообщила свой адрес в Мариенбаде. Но я сказала, чтоб они не торопились. «Когда я соскучусь по вас, — сказала я, — я вам дам знать телеграммой или с нарочным...»

Вот так, как видишь, поездка моя была неудачна: страхи, волнения и дурные встречи, не считая того, что я всю ночь не спала, и голова у меня болит еще сейчас и вся я разбита и устала. Поэтому я и не пишу тебе ничего о Мариенбаде. Когда отдохну и осмотрюсь, напишу обо всем. Пока будь здоров и наблюдай за домом, не полагайся на Шеве-Рохл. Прикажи ей вытащить все ковры и все мои зимние вещи и меха, хорошенько все проветрить и пересыпать нафталином. И сообщаю тебе мой адрес, чтобы ты не забыл, ради бога, немедленно выслать мне деньги.

От меня, твоей жены *Бейльци Курлендер*.

7

Хаим Сорокер из Мариенбада — своей жене Эстер Сорокер на улицу Налевки в Варшаву

Дорогая Эстер!

Благодарю тебя много раз за то, что ты пишешь мне такие частые и хорошие письма. Ты должна знать, что для меня нет большего праздника, чем получать от тебя письма. Почта — вот единственное удовольствие здесь, в этом постылом Мариенбаде. Если бы не почта, можно с ума сойти. Делать нечего, встречаться не с кем, словом перекинуться не с кем. А сам по себе Мариенбад каким был несколько лет тому назад, таким и остался. Те же толстобрюхие обжоры, которые приезжают сюда сбавлять — кто пуд, а кто два. Те же дородные женщины в жемчугах, приезжающие сюда со своими перезревшими мамзелями ловить женихов. Те же расфранченные немцы, которые считают себя набожнее всех на свете, потому что надевают шляпу, когда едят, и не бреют бороду от пасхи до пятидесятницы. Один бог знает, как я ненавижу этих полуевреев! И видно, сердце сердцу весть подает: нас, русских, они не выносят, как свинину, а нашего бедняка здесь называют «шнорером» и готовы разорвать на куски. Зато они страстно любят русские деньги. Перед русской сотней немец снимет шапку за версту. Немецкий еврей не понимает, как мы можем жаловаться на нашу страну, если за один рубль мы получаем две с половиной кроны, а иной раз еще и несколько геллеров в придачу?..

Жаль, Эстер, что я не писатель. У меня бы хватило здесь материала надолго. А больше всего я описывал бы наших налевкинских женщин, которые, едва переедут границу, превращаются в дам, забывают наш варшавский язык и начинают говорить по-немецки на каменецкий лад. Многие, например те, что из Одессы, говорят только по-русски. Но уж это и русский!.. А как одеваются, как стараются перещеголять

одна другую шляпой, украшениями, брильянтами! Ты бы видела, что здесь творится! Всюду и везде их полно. Когда они выходят на прогулку или собираются в кафе «Эгерлендер», на них пальцами указывают, потому что они поднимают такой галдеж, смеются так громко и визжат так пронзительно, совсем как у себя на Налевках.

Словом, Эстер, Мариенбад за эти годы ни капельки не изменился. По моему мнению, еврейский Мариенбад несколько пал с тех пор, как скончался английский король Эдуард. Несколько лет тому назад, когда я был в Мариенбаде, помню, что здесь творилось с Эдуардом, который ел фаршированную рыбу в крупнейшем еврейском ресторане. Не только владелец ресторана, жирный, холеный немец с носом, похожим на огурец, но каждый гость, каждый еврей гордился тем, что он ест там, где ел английский король. Были евреи, которые хвастали перед своими женами, что они едят за одним столом и чуть ли не из одной тарелки с английским королем, известным юдофилом... Теперь в Мариенбаде совсем не то. Можно сказать, что для мариенбадских евреев Эдуард, царство ему небесное, умер в гораздо большей степени, чем для всего мира.

А вообще, что тебе еще писать, дорогая Эстер? Посылаю тебе письмо моего друга Шлоймы Курлендера. Как тебе нравится, как этот глупец трясется над своей Бейльцей? И что ты скажешь, как он разговорился о Берле Чапнике. Недаром говорят, что эти Курлендеры малость недосолены. Так оно и есть. Вот дурень! Он думает, мне и в самом деле больше делать нечего, как присматривать за его Бейльцей! Мало здесь женщин с Налевок, — вот тебе еще одна! Мне кажется, одной Ямайчихи с ее тремя дочерьми вполне достаточно для Мариенбада, она могла бы сойти за всех налевкинских женщин. Мое счастье, что от нее, как и вообще от женщин, я стараюсь держаться подальше. Я оставил их для твоего шуряка, он — кавалер, для него это занятие... Но я знаю, что ты не любишь, когда говорят о твоем Меере, так что кончено, больше ни слова!.. Вообще я знаю только

одно: я на курорте, значит надо лечиться, иначе — что мне тут делать? Достаточно того, что томишься здесь и тоскуешь по дому. Дал бы бог, чтоб скорее прошло время и я бы вернулся домой. Пока могу тебе сказать, что я делаю только то, что велит доктор, ни на йоту не отступая, как набожный еврей от закона господнего, и доктор мною доволен. Он надеется, что на этот раз я сбавлю не меньше, а может быть, и больше того, что сбавил за несколько лет. Да и что удивительного? Мне кажется, я здесь за день вышагиваю столько, сколько дома за год не вышагивал! Бывает, я иной раз после еды ложусь на полчаса, но все остальное время я ни минуты на месте не сижу. О картах говорить нечего, — я карт в глаза не видал с тех пор, как уехал из Варшавы. И не ем я почти ничего. Диету я соблюдаю так строго, что сам доктор удивляется. Он говорит, что все его пациенты, кроме меня, страдают от пищи. Я исхожу из того, что на курорте нельзя уступать соблазну. Мы весь год достаточно грешим насчет еды. Разве не так?

Ты спрашиваешь, Эстер, что я делаю по целым дням, как провожу время? Но что можно делать в этом осточертевшем Мариенбаде? Либо толчешься у источника, либо делаешь моцион, либо дома сидишь и читаешь книгу. Никогда я столько не читал, сколько читаю здесь, в Мариенбаде. Редко-редко захожу в кафе «Эгерлендер» выпить стакан чаю и прочитать газету. Но долго сидеть там я не могу из-за толстых женщин с их дочерьми, которых мамаши привезли сюда на выставку. Благодарю бога, что у нас сыновья, а не дочери, — нам их не придется возить напоказ, когда они вырастут. Целуй детей, Эстер, и обязательно повидайся с доктором еще раз, пусть он скажет точно, когда ты можешь ждать... И будь здорова, целую тебя много раз, и дай бог, чтобы ты меня осчастливила в скором времени радостной депешей.

Твой преданнейший супруг *Хаим Сорокер.*

8

Ямайчиха из Мариенбада — своему мужу Велвлу Ямайкеру на улицу Налевки в Варшаву

Велвл! Ты пишешь, чтоб я тебе писала новости; так вот пишу тебе, что писать пока не о чем. Просто-таки не о чем. И еще пишу тебе, Велвл, — боюсь, что из этого Мариенбада ничего не выйдет. Я все время говорила, что ехать нужно в Карлсбад, а не в Мариенбад. Потому что в Карлсбад, говорят, приезжает весь мир, в Карлсбаде, говорят, заключаются самые крупные сватовства тысячами. А ты заупрямился, как мужик: «Мариенбад!» Тебя, когда ты во что-нибудь упрешься, разве столкнешь, хотя бы с помощью трех пар волов? И пишу я тебе, Велвл, еще раз: на что мне нужен был Мариенбад, если мужчины тут не увидишь, хоть глаз выколи? Куда ни кинешь палку, попадешь в собаку, а куда ни повернешься, видишь мадам с мамзелью на выданье. А коль скоро господь благословил меня тремя мамзелями, я должна была бы находиться в другом месте, а не выдерживать такую страшную конкуренцию! И, как назло, нынешним летом сюда ринулись все со своими мамзелями, и все сыплют придаными: двадцать тысяч, тридцать тысяч, сорок тысяч. О невестах с девятью тысячами никто и слышать не хочет. Ледащий докторишка, который у нас на Налевках с руками оторвал бы десять — пятнадцать тысяч, здесь велит себя озолотить. Из купеческого звания женихи нынче тоже на вес золота. И еще пишу я тебе, Велвл, что пока все очень невесело, потому что вот этот Свирский, о котором я тебе писала, этот мировой сват, привел ко мне как-то три штуки товара. Один из них лодзянин из Лодзи, видать по всему, что больной, потому что говорит он с одышкой, хотя на вид очень прилично одет и держит себя хорошо, и говорит, что у его отца фабрика в Лодзи, то есть не фабрика, а маленькая фабричка. А приданого ему дают десять тысяч, а получить он хочет двадцать пять. Вот я и толкую с ним, с этим мировым сватом: «За какие

такие добрые дела ему полагается втрое больше? За то, что он так хорошо поет?» А сват отвечает: «Во-первых, двадцать пять — не в три раза больше, а в два с половиной, а во-вторых, вы должны благодарить бога, что он не требует в пять раз больше. Вы же сами видите, что творится нынче с женихами в Мариенбаде! Дайте мне три дюжины таких лодзинских молодцов, и вы увидите, как их у меня расхватают!» Это одно. И еще я пишу тебе, Велвл, что второй — белосточанин из Белостока — тоже очень порядочный молодой человек и очень состоятельный, но уже вдовец. То есть не то что вдовец, а разведенный, он недавно развелся с женой. Но когда я хотела разузнать, по какой причине он развелся, сват не дал мне говорить: уселся против меня, закусил губу и моргает мне, как разбойник. Потом я ему сказала: «Ради бога, как я могу начать переговоры с человеком, не зная, почему он развелся? А вдруг это жена с ним развелась, а не он с женой?» А сват отвечает: «Во-первых, видно по человеку, что не она с ним, а он с ней развелся, потому что с таким человеком не разводятся! А во-вторых, если вы этак начнете копаться, почему то, да почему это, то можете ехать с вашим товаром обратно, в Варшаву, на Налевки». А я ему отвечаю: «Скажите, пожалуйста, что это вы меня попрекаете Налевками? Думаете, у нас не найдешь такого товара?» — «Если у вас можно найти такой товар, зачем вам было ездить так далеко, да еще с тремя дочерьми?» Вот на что способен нахал! У нас в Варшаве такой тип, как вот этот Свирский, полетел бы с лестниц, а здесь он носит желтые перчатки и печную трубу на голове и называет себя мировым сватом, и его разрывают на части. И пишу я тебе, Велвл, что много разговаривать с ним, с этим сватом, не приходится, потому что он считает себя большим барином. У него, говорит он, сватовство проводится не на старый манер, а через знакомство и любовь. Это значит, что сначала встречаются в кафе «Эгерлендер», — это такой сад с музыкой и множеством столиков. Там знакомятся, как бы случайно, но, конечно, при его помощи. Потом встречаются возле

источника, где пьют воду, и уже без него. Затем идут в театр или на концерт, а этого мирового свата все еще не видать. И вот там, в театре или на концерте, влюбляются друг в друга, потом идет обручение, и только тогда, только на обручении появляется сват и получает свое, сколько причитается. Но как нам наконец дожить до этого, господи! Вот тебе, стало быть, два жениха. И пишу я тебе, Велвл, что третий — кишиневец, то есть он из Кишинева. Но с ним мы еще как следует не повидались, так как был вечер, и он познакомился с детьми в театре. О нем я напишу в другой раз. И пишу я тебе, Велвл, можешь говорить, что хочешь, но со сватовством нам не везет. Лодзянин, который из Лодзи, вдруг надумал и уехал из Мариенбада. Отец, говорит он, вызвал его в Лодзь. Так говорит сват. Однако оказалось, что это вранье: он уехал куда-то в санаторию. И пишу я тебе, Велвл, как я узнала, что он поехал в санаторию, а не в Лодзь. Мы все пришли на вокзал — я, и дети, и сват — проводить его, и мы хорошенько следили, не едет ли вместе с ним наш мировой сват, смотреть новую невесту, — мало ли что такой сват может придумать? И пишу я тебе, Велвл, что я следила, как он, этот мировой сват, берет билет, и слышала, как он сказал кассиру: «Баденвейлер». Это я хорошо слышала, я не глухая. Потом я свату и говорю: «Ведь вы же сказали, что он едет в Лодзь, а билет вы ему взяли в Баденвейлер!» А он мне: «Что за Баден»? Какой такой «Вейлер»?» — «Я хорошо слышала, как вы сказали «Баденвейлер», я не глухая». Тогда он говорит: «Странная вы женщина! Вы разве не знаете, что Баденвейлер — по ту сторону Лодзи?» — «Быть бы вам так с носом, — отвечаю я ему, — как возле Лодзи имеется какой-то Баденвейлер! Вы послали его, наверное, в Баденвейлер смотреть новую невесту! Признавайтесь, бросьте ваши собачьи штучки!» Тогда он, этот мировой сват, отводит меня в сторону и рассказывает всю правду и так клянется при этом, что выкресту поверить можно: парню, мол, нездоровится, не то чтобы он был болен, упаси бог, но его немного лихорадит, и врачи отослали его на корот-

кое время в санаторию в Баденвейлере. И пишу я тебе, Велвл, что я не успокоилась, пока не разузнала точно, правда ли, что в Баденвейлере есть санатория. Оказалось, что это действительно так. Но что из этого? Пока что в Мариенбаде стало одним женихом меньше. И еще пишу тебе, Велвл, что сегодня утром я здесь встретила на вокзале жену нашего Шлоймы Курлендера, Бейльцю. Она расфуфырена, как невеста. На вокзале ее ожидал сынок нашего Марьямчика из Одессы, Меерл-шарлатан. Я своими глазами видела, — я не слепая, — как он посадил ее в пролетку. И видела своими глазами, — я не слепая, — как они вместе сели и поехали в город, дай мне бог так видеть своих детей под венцом в недалеком будущем, аминь! И еще пишу тебе, Велвл, что о втором женихе, белосточанине из Белостока, писать еще нечего, потому что мне не нравится, что он уже познакомился с Чапнихой. Каким образом он попал к Чапнихе? Ну, если с ней дружен наш Хаим Сорокер и они дни и ночи играют вдвоем в «шестьдесят шесть» — горе его жене Эстер! Но что общего с мадам Чапник имеет этот молодой человек из Белостока? И еще пишу тебе, Велвл, что я внимательно слежу за этим белосточанином и все, что узнаю, я тебе сообщу. Пока пиши мне, почему ты ничего не пишешь о доме, что слышно дома? И будь здоров, и кланяются тебе сердечно дети, и кланяйся остальным детям сердечно.

От меня, твоей верной жены

Перл Ямайкер.

9

Шлойма Курлендер с Налевок в Варшаве — своей жене Бейльце Курлендер в Мариенбад

Моей дорогой супруге, госпоже Бейльце, да здравствует она!

Твое письмо о том, что ты благополучно приехала в Мариенбад, я получил. Слава богу, что ты вырвалась из этого проклятого Берлина с Вертгеймерами, с

прощелыгами, со старыми холостяками и прочими шутами гороховыми, счастливо перебралась через границу и благополучно добралась до Мариенбада. Чудеса, да и только! Все ездят в Мариенбад, но ни с кем не случаются такие истории, как с тобой. Во-первых, для чего тебе понадобилось ехать в третьем классе? Ты говоришь, что виноват во всем я. Не понимаю, как ты можешь так говорить, когда я тебе чуть не тысячу раз наказывал, чтобы ты не жалела денег для себя. Если я иной раз и жалуюсь на то, что уходят лишние деньги, то только в том случае, когда их тратят на ветер, черт знает на что, на тряпки. Но когда речь идет о здоровье, деньги для меня никакой роли не играют! Доказательство: ведь я же перед отъездом, на вокзале в Варшаве, чуть ли не силой навязал тебе лишнюю сотню рублей, еле уговорил тебя взять ее. Как же ты можешь жаловаться, будто я жалею для тебя лишний грош или чересчур присматриваюсь к счетам? Ты отлично знаешь, дорогая Бейльця, как дорого мне твое здоровье, ты знаешь, что я не смотрю ни на что — платят квартиранты или нет, строюсь я или не строюсь, — то, что тебе требуется, всегда есть и, даст бог, будет. И еще должен тебе сказать, дорогая Бейльця, что ни в чем я тебя не подозреваю, я целиком доверяю тебе с первого часа, когда я тебя впервые увидел. Я знаю, что все эти ухажеры, прощелыги, шарлатаны, которые увиваются вокруг тебя и здесь, в Варшаве (помнишь, в прошлом году в Фаленице?), и в Берлине, и в дороге, и в Мариенбаде, все, что сохнут и дохнут по тебе, должны меня волновать, как прошлогодний снег. Я знаю, что и тебе в высокой степени наплевать на них, потому что ты безупречно чистая душа и верна своему мужу, которому ты преданна, и знаешь также, что он тебе предан душой и телом. Поэтому не подозревай, что я могу о тебе дурно подумать. Поверь мне, я отлично понимаю, что шарлатан, который имел наглость поцеловать руку чужой жене, этим нисколько не унизил тебя, как не повредил тебе тот болван в Фаленицах, который мне признался, что подыхает по тебе... Конечно, был бы я с тобой, я бы с этим лодзинским вояжером от трех фабрик по-

ступил иначе: я бы ему переломал все кости, так что черт бы его побрал. Я бы научил его, как надо себя вести с замужними женщинами. Я, право, удивляюсь тебе, почему ты не позвала кондуктора и не приказала вытурить этого нахала ко всем чертям! Как ты могла допустить, чтобы такой наглец еще помогал тебе выгрузить багаж из вагона, когда ты приехала на место. Или, к примеру, как ты могла позволить, чтобы такой тип, как этот старый холостяк в Берлине, после того что он так откровенно тебе наговорил на Фридрихштрассе, еще подносил тебе цветы на вокзале? У меня такой наглец получил бы цветами по поганой роже! Кто он тебе, чтобы подносить подарки, букеты? Есть у нас поговорка: «Как человек себя соблюдает, так и бог ему помогает». Я не хочу тебя этим, упаси бог, обидеть. Я хочу только сказать, что человек должен держать себя в строгости, оберегать свою честь, не допускать таких скандалов: не посмел бы шарлатан, как тот, что из Лодзи, набраться нахальства и целовать тебе руку, да еще в вагоне, у всех на глазах! Слава богу, что не было при этом никого из варшавян с Налевок, и хорошо ты сделала, что не сказала им своего имени, — пусть эти собаки не знают, кто ты такая. Однако все это вещи, которым я не придаю значения. Я хотел написать тебе, дорогая Бейльця, о другом. Но прошу тебя, пусть это останется между нами — ни одна душа не должна знать, о чем я тебе пишу. Это святая тайна. Я поклялся, что тебе ни слова не напишу об этом. А дело вот в чем.

Ты пишешь, что на вокзале в Мариенбаде встретила нашу Ямайчиху с Налевок. Лучше бы ты с нею не встречалась, — я бы теперь был спокойнее и не испытывал стыда перед людьми. Муж Ямайчихи встретил меня сегодня на Генсей улице и говорит: «Могу передать вам, реб Шлойма, привет от вашей жены из Мариенбада». — «Спасибо за привет, отвечаю. Как вы попали в Мариенбад?» А он говорит: «Не я, а жена моя сейчас в Мариенбаде, она там лечится и чувствует себя неплохо». — «Слава богу! — отвечаю. — Что же вам пишет ваша жена из Мариенбада?» Тогда он достает длинное письмо, берет с меня

слово и клятву, загибает верхнюю часть листа и показывает несколько нижних строк. У меня в глазах потемнело! Вот что пишет ему Ямайчиха, передаю ее слова: «И еще пишу я тебе, Велвл, что встретила здесь, в Мариенбаде на вокзале сегодня утром вторую жену нашего Шлоймы Курлендера, Бейльцю, расфуфыренную, как невеста под венцом. А на вокзале ее ожидал сынок нашего Марьямчика, Меерл-шарлатан. И я сама видела, — пишет она, — своими глазами, как они оба, Меерл и Бейльця, сели в пролетку, дай бог мне так видеть детей моих под венцом...» Ну, как это тебе нравится? Я, конечно, сказал ему, что это вранье. «Показалось, говорю, вашей жене, вот и приняла она ворону за корову. Это, наверное, был не Меерка Марьямчик, а мой друг Хаим Сорокер, потому что я писал ему, что моя Бейльця на днях едет в Мариенбад». Так я сказал мужу Ямайчихи и так именно я и решил про себя. Но когда я пришел домой и прочел твое письмо, в котором ты пишешь, что ты в самом деле встретила на вокзале в Мариенбаде Ямайчиху и что твоя родственница, Хавеле Чапник, не пришла встречать тебя, потому что сидела и играла с Хаимом Сорокером в «шестьдесят шесть», то ведь совершенно ясно, что это был не Хаим. А если не Хаим, то кто же это был?

Я даже представить себе не могу, дорогая Бейльця, чтобы это был Меерка Марьямчик, потому что ты с ним, кажется, вовсе не так близко знакома. А тем более, ты сама пишешь, что он шарлатан и что его Ханця с ним несчастна. Разве что ты с ним ближе познакомилась в последнее время, как раз у жены Хаима Сорокера, у Эстер? Но ты бы, кажется, могла и мне рассказать, что познакомилась с этим сокровищем! А если ты не рассказала, значит ты с ним не познакомилась. А если ты с ним не познакомилась, то, стало быть, это был не он. Но в таком случае снова возникает тот же вопрос: кто же был молодой человек, который ожидал тебя в Мариенбаде на вокзале, и откуда он знал, что ты приезжаешь? Думаю, однако, что вся эта история — вранье, потому что исходит она от Ямайчихи. Поэтому прошу тебя, дорогая моя Бейльця, не обижайся, что я пишу тебе о таких

вещах, которых на свете не было. Еще и еще раз прошу тебя повидаться с моим добрым другом Хаимом Сорокером, и чтобы ты брала у него деньги, сколько тебе нужно, и не экономь на своем здоровье, и доставляй себе все возможные удовольствия и развлечения, и приезжай домой здоровая и крепкая, как желает тебе твой супруг

Шлойма Курлендер.

10

Хаим Сорокер из Мариенбада — своему другу Шлойме Курлендеру на улицу Налевки в Варшаву

Дорогой друг Шлойма!

Теперь я могу тебе написать о твоей Бейльце. Она уже, слава богу, в Мариенбаде, и я уже с ней повидался, но поговорить с ней я удостоился не больше двух минут по причине, от меня не зависевшей. Однако я лучше расскажу по порядку все, как было. Ты ведь знаешь, я люблю так: уж если рассказывать, то со всеми подробностями.

Как я писал тебе в прежнем письме, здесь, в Мариенбаде, почти весь день проводишь на улице, на прогулке. Делать, слава богу, нечего, никто палец о палец не ударяет, все только и делают, что шагают взад-вперед по улицам. Встретишь одного, другого, поздороваешься и шагаешь дальше, — просто так, без всякой цели, с одним лишь намерением — «сбавить».

Между тем, гуляя таким образом сегодня после обеда и сбавляя, я вижу — шурьяк моей жены, Меер Марьямчик, идет с какой-то красивой женщиной в широкополой шляпе, и совсем по-приятельски, как кавалер, под руку. Ну, о том, что шурин моей жены может гулять по улице с женщинами, рассказывать тебе незачем, его знают на Налевках как облупленного. Кто не знает Меера-шарлатана? Мой тесть, бедняга, немало денег потратил, покуда отыскал эту находку для своей младшей дочери. Я тогда же сказал моей

Эстер: «Знаешь, Эстер, этот парень мне что-то не нравится. Чересчур франтоват и чересчур большой хлыщ для твоей Ханци». Но ведь она — женщина, вот она и отвечает: «А ты, когда был холостым, не был таким же? Ты бы и сейчас был таким, только...» — «Только что?» — спрашиваю. «Ничего! — отвечает. — Не о чем толковать». Ну, и так далее, все полусловами, как водится у жен.

Словом, вижу, мой шурьяк шагает с какой-то красавицей, и оба прижались друг к дружке, и думаю: «Господи! Кто бы это мог быть? Что-то она мне знакома! Только никак не вспомню, кто она?» И вдруг мелькнула у меня мысль: «Погоди-ка, а может быть, это Бейльця? Ведь вчера как раз она должна была приехать из Берлина. Но, во-первых, какое отношение имеет к ней Меер Марьямчик? А во-вторых, с какой радости под ручку? Когда это они успели так подружиться, чтобы ходить под ручку?» Между тем, пока я так стою и размышляю, припожаловала Ямайчиха со всеми тремя своими мамзелями. «Здравствуйте!» — «Добрый день!» — «Как вам нравится эта парочка?» — «Какая парочка?» — «Ваш Меер Марьямчик с женой Шлоймы Курлендера. Полюбуйтесь, водой не разольешь!..» — «А какое Меер имеет отношение к Бейльце?» А она отвечает: «Ого! Я их вчера видела вместе на вокзале. Видно, сговорились. А то как бы ваш шурин мог знать, когда жена Шлоймы Курлендера должна приехать в Мариенбад?..» Так говорит Ямайчиха и сыплет и сыплет, по своему обыкновению. Но я полагаю, что мой шурин узнал об этом от мадам Чапник. Она растрезвонила по всему Мариенбаду, что приезжает твоя Бейльця, и всем показывала письма, которые Бейльця писала ей из Берлина. Я хотел было поехать на вокзал, чтобы встретить ее, но не знал, с каким поездом она приезжает. А кроме того, эта Чапниха так заморочила мне голову своими картами, что мне всю ночь мерещилось, будто я объявляю «сорок» и «двадцать», и крою, и крою... Тем временем я пропустил приезд твоей Бейльци, а мой дорогой шурин, видать, этого как раз не пропустил, потому что он как будто в самом деле привез ее с вокзала. Так оно, оче-

видно, и есть. Но — давай по порядку. На чем же мы остановились? На Ямайчихе.

Услышав, что это Бейльця, я тут же заявил, что мне некогда слушать сплетни, мне надо ходить, доктор велел ходить. И двинулся следом за ними побыстрее и нагнал их у самого входа в отель. Представь себе, она остановилась в одной гостинице с ним! Этого я уж никак не ожидал! Поверь мне, Шлойма, все это, конечно, чепуха и так далее: иной раз попадаешь в одну гостиницу черт знает с кем... Тем не менее это мне не понравилось... Полезнее для ее здоровья жить в другом месте.

Словом, я подождал несколько минут, пока они распрощаются и разойдутся, потом вхожу в гостиницу, прямо к твоей Бейльце, и притворяюсь, будто ничего не знаю, будто ты и не писал мне, что она едет в Мариенбад: «Добро пожаловать! — говорю. — С приездом! Как ты поживаешь? Как поживает твой Шлойма? Что ты делаешь здесь, в нашем Мариенбаде?» — «То же, что и вы!» — отвечает она. «Лечиться приехала?» — «А то зачем же еще?» — «С такой внешностью?» — спрашиваю. А она мне: «Никто не знает, у кого сапог жмет!» — «Может быть, пойдем, говорю, осмотрим Мариенбад?» — «Спасибо, отвечает, я уже везде побывала в Мариенбаде». — «Может быть, кушать хочешь? — спрашиваю. — Может быть, тебе нужен кошерный ресторан? Я провожу тебя». А она отвечает: «Спасибо, меня уже проводили». — «Кто?» — «Меер Марьямчик». Меня словно ножом по сердцу: что он за пара твоей Бейльце? Он должен почитать за честь, шарлатан этакий, если она ответит ему на поклон, а не то что ходить с ней по Мариенбаду и водить ее по ресторанам. Меня это не волнует. Я, понимаешь ли, знаю твою Бейльцю не со вчерашнего дня и знаю, что Бейльця знает Марьямчика. Кто не знает Меера-шарлатана? Все дело в том, что люди скажут? Сюда, в Мариенбад, надо тебе знать, съезжаются со всего света, преимущественно бездельники, у которых, как я тебе писал, только одна цель: потерять в весе. В общем, страдают от жира и богатства. То есть едят, пьют, спят, одеваются в пух и прах,

ходят, гуляют и вынюхивают, кто с кем ходит, кто с кем сидит, кто с кем лясы точит. Увидят красивую женщину с расфранченным молодым человеком и начинают расспрашивать: «Кто он? А кто она?» И пошли рассказывать истории, басни и всякие случаи из жизни, — совсем как у нас на Налевках, — попадет к ним кто-нибудь на язык — может распрощаться с жизнью. А если еще и Ямайчиха тут, — ну, ну!.. Я ничего дурного не думаю, но хотел бы, чтобы Бейльця избегала нежелательных знакомств, которые могут повредить и ей, и тебе, и вам обоим... Тем более после твоего письма, в котором ты просишь меня присматривать за ней, я сказал себе: пусть будет что угодно, но первым долгом надо найти для Бейльци другую гостиницу. Есть в Мариенбаде достаточно гостиниц и меблированных комнат. Будь спокоен, я ее устрою, обеспечу гостиницей, и врачом, и всем, что ей требуется. И деньги, если ей нужны будут, буду давать с удовольствием, и, как ты пишешь, не сразу, а понемногу. Можешь положиться на меня. У меня тоже есть жена, и я все хорошо понимаю. Все женщины из одного теста. Жена, как бы умна она ни была, у витрины, в которой выставлены тряпки, сразу теряет голову. Ты, конечно, не должен об этом писать твоей Бейльце. Мои письма должны, как я тебе писал, оставаться святой тайной. Она и знать не должна, что мы переписываемся... Положись на меня, Шлойма, у тебя в Мариенбаде верный страж, знающий все ходы и выходы, имя которому

Хаим Сорокер.

11

Велвл Ямайкер с Налевок в Варшаве — своей жене Перл Ямайчихе в Мариенбад

Жене моей, уважаемой госпоже Перл, да здравствует она!

Твое письмо получил. Что касается твоих утверждений относительно Карлсбада, будто Карлсбад лучше Мариенбада, то я уже много раз тебе говорил,

что Карлсбад не годится по целому ряду причин. Во-первых, Карлсбад, насколько я могу судить, трезво рассуждая, — это место для больных, для людей, страдающих настоящими болезнями, преимущественно желудочными. Отсюда следует, что там женихов быть не может, так как, я полагаю, с желудками возятся люди пожилые, а не молодые парни. Во-вторых, я вообще не слыхал, чтобы в Карлсбаде заключались солидные браки, как ты утверждаешь. А тот, кто сказал тебе, будто в Карлсбад съезжается весь свет, — либо лгун, либо глупец. А когда я говорил о Мариенбаде, то имел к тому разумные причины, я не сумасшедший и знаю, что говорю. И хотя я лично в Мариенбаде никогда не бывал, я все же понимаю, что Мариенбад — место развлечений и роскоши. Стало быть, туда едут люди, которые чувствуют себя или не совсем хорошо, или, наоборот, слишком хорошо и имеют своей целью немного похудеть, как скажем, наш Хаим Сорокер, наживший себе телеса. И, наконец, желающие доставить себе удовольствие, полюбоваться на божий мир и тому подобные. А среди людей такого рода подыскать приличного жениха гораздо легче, чем в другом месте.

А то, что ты пишешь насчет докторишек, которых будто бы на Налевках можно достать по десяти тысяч рублей за штуку, то ты, извини пожалуйста, очень ошибаешься. Этот товар у нас в Варшаве в последнее время в большой цене, и такой докторишка, как ты говоришь, требует, по нынешним временам, чтобы ему уплатили двадцать тысяч, а то и тридцать тысяч, и не меньше. Да оно и понятно: чем больше запрещений * сыплется за грехи наши на головы еврейских детей в гимназиях, университетах и т. п., тем дороже становятся доктора и адвокаты. И если запреты будут продолжаться и впредь, то кто может знать, до чего дойдут цены!

А с тем, что ты пишешь насчет женихов из купеческого звания, будто они вздорожали, я опять-таки не согласен. Наоборот, я полагаю обратное, и это также логично и естественно, ибо купцов полным-полно везде и всюду. Поэтому я, по трезвому своему

разумению, не вижу, зачем тебе нужно было гнаться за сватовством с лодзинским фабрикантишкой. Таких фабрикантов можно достать и здесь. Не к чему ездить за ними в Мариенбад. А если он к тому же не совсем здоров, то тем более все это дело ничего не стоит.

А то, что ты пишешь насчет белосточанина, то я также не понимаю, почему ты сомневаешься и колеблешься. Одно из двух: если ты хочешь узнать, кто с кем развелся — он с ней или она с ним, сообщи мне его имя, я напишу своему доверенному в Белостоке и буду знать решительно все, что требуется. Меня удивляет, что ты сама не додумалась до этого, — мир открыт для всех, а Варшава и Белосток все равно, что один город.

«Последний — самый любимый». То, что ты пишешь относительно кишиневца из Кишинева, мне кажется наиболее подходящим, так как бессарабцы мне больше по душе, нежели литваки. Я и сам бессарабец, и мне хотелось бы породниться с бессарабцем, тем более, если он из Кишинева, который расположен недалеко от села Ямайки. Я могу написать в Ямайку моим родственникам, чтобы они разузнали все подробно об этом кишиневце. Так что прошу непременно написать мне имя, фамилию и все о его семье, и пусть бог поможет, чтобы все было благополучно, потому что пора... Сжалился бы господь, помог бы выдать дочерей, тогда можно было бы подумать об остальных детях. Пока сын мой Яков, да здравствует он, учится очень усердно, готовится со своим репетитором к экзамену. Да поможет ему бог сдать благополучно, ибо выглядит он как черт. Хотя я и не знаю, что будет дальше, даже если он сдаст свои экзамены? Но как бы там ни было, если уж не учиться в хедере и покончить с еврейством, то пусть у него будет хоть какой-нибудь аттестат, авось пригодится. Я бы, конечно, предпочел, чтобы сын мой Яков, да здравствует он, был купцом. Но если нынче главное в жизни — аттестаты и дипломы, то пусть и у него будет диплом, хотя бы за шесть классов. А сын мой Мендл, да здравствует он, тоже уже не желает ходить в хе-

дер, а чтоб молиться — об этом и думать нечего! Я говорил с учителем. Он берется за два года подготовить его за три класса. Вот я и не знаю, как быть, потому что не хочется мне отрывать Мендла от хедера.

А то, что ты пишешь насчет жены Шлоймы Курлендера, то я тебе давно уже говорил, что, на мой взгляд, Шлойма сумасшедший, и зря он на старости лет женился на девице, а кроме того, он очень виноват перед детьми от первой жены. Но я не желаю вмешиваться в чужие дела. Своих бед предостаточно. Дела сейчас очень плохи из-за дикой жары, какую себе и представить невозможно.

А то, что ты пишешь насчет Чапнихи и Хаима Сорокера, то я давно уже говорил, что Хаим едет в Мариенбад не ради лечения, а ради того, чтобы пожить в свое удовольствие, и ради картишек. Всем известно, что карты — его страсть. А Берл Чапник уже снова был у меня с просьбой дать ему взаймы и намекал мне насчет сватовства, то есть будто бы его из многих городов запрашивают о наших дочерях. Еще сообщил он мне по строжайшему секрету, что есть у него «рука», когда дело коснется экзаменов сына моего Якова. Судя по его словам, это близко к истине. Но это должно стоить денег. Я отговорился тем, что напишу тебе и дам ему ответ через несколько дней. Пока что отделался от него, не дав ему денег.

Помни же все, что я пишу тебе относительно этого парня из Кишинева. Пиши непременно, как обстоит дело, а главное — его имя и фамилию. А так как нестерпимо жарко и времени не очень много, то пишу коротко. Дай бог здоровья и благополучия. Кланяюсь тебе и детям сердечно. И пиши мне часто и обо всем подробно.

От меня, твоего супруга

Зейв-Волфа бреб[1] *Мендла Ямайкера.*

---

[1] Сын господина *(древнееврейск.)*.

12

Бейльця Курлендер из Мариенбада — своему мужу Шлойме Курлендеру на улицу Налевки в Варшаву

Моему дорогому просвещенному мужу Шлойме, да сияет светоч его!

Только что получила твое письмо, дважды его перечитала и не знала, что делать: смеяться ли над твоей глупостью или плакать над моей злосчастной долей? Ну, скажи сам, Шлойма, — ведь ты же пожилой человек, — не смешно ли все то, что ты мне пишешь? Что касается твоей морали по поводу тряпок, которые я накупила у Вертгеймера, то это чепуха. У тебя все «тряпки». В прошлом году, помню, когда я купила на аукционе воротник из черных лисиц и горжетку из соболей, ты тоже сказал: «Тряпки!» А потом меховщики оценили эти вещи и сказали, что если бы я заплатила даже втрое больше, то все равно было бы дешевле в圧ованого. Только тогда ты успокоился. Приехать бы мне только здоровой домой, тогда ты сам увидишь, какие «тряпки» я купила, и сам скажешь, что это — находка! Но тебе надо прежде всего попортить мне кровь, такая уж у тебя натура. Дальше. Ты упрекаешь меня в том, что я не швырнула букет берлинскому холостяку, или «прощелыге», как ты его называешь, прямо в лицо. Это тоже не так умно, как ты думаешь. Ты, не в обиду будь тебе сказано, в этих вещах малость поотстал. Ты не знаешь, что на свете творится. Здесь, за границей, так заведено, что уезжающего гостя, нравится это тебе или нет, провожают с цветами. Это обязательно. В душе можешь думать: «Проваливай ко всем чертям!» Но букет надо поднести. А когда человек так вежлив и любезен и преподносит тебе букет, будь он прощелыга, идиот и что хочешь, ты не можешь оказаться еще большим идиотом и прощелыгой и должен принять, да еще с улыбкой, да еще сказать: «Данке шён!»[1] Да, Шлойма, так принято. И нельзя в нынешнее время жить по старинке.

---

[1] Большое спасибо! *(нем.)*

Затем ты пишешь, что поломал бы кости коммивояжеру, который ехал со мной в поезде... Я от души смеялась! А за что, собственно, ему следует ломать кости? Чем он так провинился? Тем, что коснулся губами кончика пальца моей руки? Что же, он откусил кусок? Ведь я же писала тебе, что он получил от меня пощечину, — чего же ты еще хочешь? Остается, стало быть, одно: почему я ездила по Мариенбаду с Меером Марьямчиком, — самое большее минут пятнадцать, от вокзала до города? Бог ты мой, что творится! А что бы ты сказал, если бы видел, как наши налевкинские тихони Шеренцис и Пекелис свободно гуляют с совершенно чужими молодыми людьми, да еще по ночам к тому же? Или, скажем, например, что бы ты сказал, если бы слыхал рассказы моей родственницы Хавеле Чапник об Остенде, — она уже была там дважды. Дамы купаются там вместе с мужчинами, в одном море, даже не разгороженном, хотя бы из приличия, досками, как у нас, а просто вместе плещутся, вместе плавают и даже держатся за руки? Только что натягивают на себя такие костюмы, говорит она, коротенькие штанишки телесного цвета, специально сшитые для мужчин и женщин, чтобы купаться? Другая жизнь настала, Шлойма, свободная и открытая. Ты сам мне много раз говорил: не та смиренница, что носит парик, и не та негодница, что носит собственные волосы. Как же ты можешь мне писать такое?

Ты задаешь вопрос: каким образом шарлатан Марьямчик попал на вокзал и откуда он знал, что я приезжаю? Это, конечно, щекотливый вопрос, но дело в том, что ты не знаешь, что такое Мариенбад. Ты думаешь, Мариенбад — это Мариенбад? Мариенбад — это Бердичев, Мариенбад — это Варшава, Мариенбад — это Налевки. Здесь каждый знает, что у другого готовят. Послушал бы ты, что рассказывает Ямайчиха о Броне Лойферман, о Лейце Бройхштул, о Шеренцис и о Пекелис! Или, к примеру, послушал бы ты, что все они говорят о Ямайчихе с ее дочерьми, об их сватовстве, о женихах, — волосы дыбом встают!

Пусть только кто-нибудь обронит слово у источника, или в кафе, или в ресторане, — тут же его разносят по всему Мариенбаду. Например, когда я была в Берлине, я писала моей Хавеле Чапник, что еду в Мариенбад, и на другой день весь Мариенбад из края в край знал, когда я приезжаю, с каким поездом, в котором часу, и даже в какой шляпке я буду. Шутишь с Мариенбадом! А так как моя родственница в этот день, как я уже тебе писала, была страшно занята с твоим добрым другом Хаимом Сорокером (они играли в «шестьдесят шесть»), и так как Меер Марьямчик в этот день как раз был на вокзале и отправлял, говорит, очень важное письмо в Одессу, то он увидел, между прочим, знакомую даму (то есть меня), стоящую в одиночестве с узлами, коробками и чемоданами. Тогда он подошел ко мне и говорит на своем одесском языке, — наполовину по-русски, наполовину по-еврейски: «Если не ошибаюсь, вы, кажется, моя землячка, варшавянка с Налевок?» А я ему отвечаю на его же языке: «Очень возможно, что вы не ошибаетесь...» Тогда он повеселел и говорит: «Если не ошибаюсь, я встречал вас у мадам Сорокер на Налевках?» Я опять говорю: «Возможно, что вы не ошибаетесь». Тогда он не поленился и говорит еще раз: «Если не ошибаюсь, вы вторая жена господина Курлендера?» Это начало меня раздражать, и я сказала: «Не все ли равно, ошибаетесь вы или не ошибаетесь? Вы лучше посмотрите, как я стою здесь с багажом посреди Мариенбада и не вижу ни носильщика, ни черта, ни дьявола...» И только я произнесла эти слова, мой молодчик как кинется и сразу привел мне носильщика, нанял фиакр, посадил меня, сам тоже сел, и мы поехали в город... Что же, я должна была ему сказать: «Дяденька, идите пешком»?.. Правда, я думала, что Ямайчиха, которая, как я тебе писала, была в это время на вокзале, ничего не видит, чтоб ей повылазило! Но допустим, что весь Мариенбад, то есть все варшавские Налевки, видел, как мы едем вдвоем, — что из этого? А что, если бы на вокзале был, как тебе хотелось, твой друг Сорокер, а не Марьямчик, и я поехала бы в город с ним? Тебе

было бы легче? Хаим Сорокер разве не варшавянин и не женатый? Что же тебя так возмутило? Почему ты не задумался испортить мне кровь и заставил меня плакать три часа подряд? Для того я поехала в Мариенбад, потратила столько денег, чтобы загубить последние силы из-за того, что у тебя в голове путаются дурацкие мысли и подозрения?

Нет, Шлойма, над твоим письмом надо не плакать, а смеяться, как смеялась я в прошлом году в Фаленице, когда ты набросился на того мануфактуриста за то, что он имел неосторожность сказать, что я красивее всех женщин в Фаленице? Ты готов был, если помнишь, уничтожить его. А за что? Разве ты сам потом не сознался, что это была с твоей стороны величайшая глупость? А теперь ты разве не пишешь, что все они трогают тебя, как прошлогодний снег? У тебя всегда так: сначала скажешь, а потом каешься. Ты сам пишешь, чтобы я ни о чем не думала, что нет у тебя никаких подозрений и тому подобное, и в то же время ты каждый раз бросаешь мне новое обвинение и огорчаешь меня этим так, что не впрок мне никакое лечение. А в конце ты приписываешь, чтобы я обязательно поправилась и приехала домой в добром здравии. Но как же можно поправиться, получая такие письма? Разве идет мне на пользу то, что я ем, пью и покупаю себе, когда ты считаешь каждый грош и попрекаешь меня тряпками и тряпками?

Я так взволнована и нервничаю из-за твоего письма, Шлойма, что больше писать не могу. А берлинские профессора говорили мне прямо и повторяли раз сто подряд, чтобы я не волновалась, чтобы я ела, пила, и ходила гулять, и была спокойна. В Мариенбаде, говорили они, надо беречь свой покой, не нервничать, не то будут выброшены на ветер и все лечение и весь Мариенбад.

Больше новостей нет. Завтра-послезавтра напишу, наверное, еще. Пока будь здоров и скажи Шеве-Рохл, чтобы она не забыла, что лето — не зима. Летом надо выбивать мягкую мебель каждый день и окна дер-

жать закрытыми, чтобы не садилась пыль и мухи. Ставни тоже надо прикрывать, чтоб солнце не пекло и чтоб мебель не выгорала. Я думаю, что когда поеду обратно через Берлин, я ей куплю какой-нибудь подарок, кофточку, а то поищу среди моих старых кофточек. И не будь, Шлойма, плакальщицей и пиши наконец более веселые письма.

От меня, твоей жены

Бейльци Курлендер.

13

Меер Марьямчик из Мариенбада — своей жене Ханце Марьямчик на улицу Налевки в Варшаву

Напрасно упрекаешь ты меня, душенька, будто бы я пишу тебе раз в две недели. Мне кажется, я пишу тебе почти через день. Разве есть у меня другое занятие здесь, в Мариенбаде, где такая скука, где не видишь живого существа, кроме наших варшавских аристократок, которых я избегаю, как чумы, потому что ты знаешь, как я отношусь к женщинам вообще и как я презираю ваши варшавские Налевки с налевкинскими сплетницами. У нас в Одессе сплетен терпеть не могут. У нас в Одессе можешь ходить головой вниз, ногами вверх, — какое кому дело? Например, почему меня не трогает, что твой шурин Хаим ухаживает за красавицей женой Шлоймы Курлендера? И еще как ухаживает! Он даже предлагает ей деньги за счет Шлоймы. Он говорит, что Шлойма Курлендер будто бы распорядился выдавать ей деньги за его счет. Но какое мне дело? Или, например, касается ли меня, что он, опять-таки твой шурин, каждый день играет с мадам Чапник в «шестьдесят шесть»? Например, что бы ты, душенька, сказала, если бы я играл с чужими женщинами в «шестьдесят шесть»? Но какое мне дело? Или, например, какое ко мне отношение имеет то, что Шеренцис и Пекелис, такие благочестивые женщины, которые на Налевках не смеют

и слова сказать с чужим мужчиной, здесь скинули парики и ходят под ручку с каким-то кишиневским франтом, дантистом, который ухаживает за всеми тремя дочерьми Ямайчихи, а Ямайчиха ухаживает за ним и до смерти хочет иметь его своим зятем, хотя это ей так же удастся, как мне удастся стать раввином, потому что кишиневский франт, во-первых, крутит любовь с Бейльцей Курлендер, и к тому же совершенно серьезно. У меня есть доказательство, что он ей уже объяснился и что она угостила его шикарным отказом. Это я знаю из достоверного источника, от самой Ямайчихи, все-таки она мне дальняя родственница. Это одно. А во-вторых, я знаю от знаменитого мирового свата Свирского, что ему предлагают много других партий, и какую бы партию ему ни предложили, он согласен. Поэтому запросили о нем нескольких человек в Кишиневе и ждут ответа. Но какое мне дело? Я знаю свое: я должен поправиться и приехать как можно скорее домой, к моей Ханце, которая для меня выше всего! Прошу тебя, любочка, не прислушиваться к налевкинским сплетням и не думать бог знает что, потому что это влияет на твои нервы, ты напрасно расстраиваешься, а это отражается на твоем здоровье, и на меня это тоже производит нехорошее впечатление.

А что касается того, что ты пишешь мне относительно имущества, то я советую тебе лучше согласиться на раздел. Мой папаша говорит то же самое. Можешь обижаться сколько угодно, но я говорил и всегда говорю, что не доверяю счетам и расходам твоего шурина, потому что твой шурин мошенник. Мой папаша такого же мнения. Было бы гораздо лучше для всех нас, если бы он выплатил тебе твою часть, и пусть он останется при имуществе. Таково мое мнение и мнение моего папаши, а ты поступай как понимаешь. Какое мне дело?

А затем будь здорова, любочка! Хочу купить тебе, — я видел здесь, в Мариенбаде, — «кимоно». Это очень в моде. С широкими, короткими рукавами, а сзади капюшон. Я только не знаю, какой тебе цвет нравится больше: черный на красной подкладке или

персидский цвет? Из наших одесситов я тут встретил очень мало знакомых. Да и то больше женщин, потому что их мужья сейчас в Базеле на конгрессе*. А так как я не люблю встречаться с женщинами, потому что женщины на курортах большей частью — сплетницы, то и хожу я здесь один и скучаю, и считаю уже дни, когда кончится срок лечения и я смогу поехать домой, к моей дорогой душеньке Ханце. А так как делать мне нечего, то я сочинил басню о дочерях Ямайчихи, которые выбирают, выбирают и никак выбрать не могут себе женихов. Басня носит у меня название «Спесивая невеста» и начинается так:

Жила-проживала в Варшаве девица,
Была благородна, учена, умна:
На рояле играла,
По-французски болтала,
Романы читала,
А летом она
Ездила по заграницам
И была хороша, как картинка!
Невеста, казалось бы, всем взяла!
Но не обошлось тут и без заминки...
Думаете, остановка была за деньгами,
Как частенько бывает, говоря между нами?
Нет, на сей раз вы не угадали:
И денежки были, и женихи налетали...
Так в чем же, скажите на милость, беда?

А в том, что невеста чересчур горда,
Капризна и несговорчива,
Привередлива и разборчива, —
Не угодить ей, хоть плачь!
«Мне нужен муж по крайней мере врач,
И не какой-нибудь замухрышка-дантист,
Не фармацевт завалящий
Или доктор-сионист,
Разъезжающий по конгрессам...
Нет! Мне нужен врач настоящий
И чтоб внешностью был интересен:
Доктор медицины, высокий брюнет,
Чтоб имел на Налевках шикарный кабинет,
И собственный выезд, и пару собак,
И чтоб звали его Поль или Жак!..»

А время между тем шло,
И много воды утекло.
Трудились сваты, сил не щадя,
Летели депеши туда и сюда,

Но доктор медицины, высокий брюнет,
У которого на Налевках шикарный кабинет,
И собственный выезд, и пара собак,
И французское имя — Поль или Жак,
К несчастью, не попадался никак!
Один слишком молод, тот слишком хорош,
Кто высок чересчур, а кто недорос,
А тот, что по нраву, подвержен капризам:
Лечит бесплатно, ушел в сионизм...
А годы идут, убегают,
Девицы стареют, женихи остывают...
А барышня ведь не вино:
Молодая — одно,
А старая, как бы она
Ни была и добра и умна,
Всю девичью прелесть теряет,
Симпатия ее увядает, —
И тогда уж такая девица,
По правде сказать, никуда не годится...

* * *

Ну, как тебе нравится моя басня? Все носятся с нею в Мариенбаде, многие выучили ее наизусть. А что касается самой Ямайчихи, то мне передали от ее имени, что моя родственница собирается тебе написать письмо обо мне. А потому знай, что все, что она обо мне напишет, это ложь и враки. А если случится тебе быть на Хлодной улице, забеги в редакцию и передай им эту басню. Пусть они ее напечатают, но с условием: моего имени не указывать. Мне неловко, так как она написана на жаргоне...

Твой душой и телом

Марк Давидович Марьямчик.

14

Хавеле Чапник из Мариенбада — своему мужу Берлу Чапнику на улицу Налевки в Варшаву

Милый Бернард!

Ты должен простить меня за то, что я все время писала тебе только о деньгах. Я была кругом в долгах, так что волосы и те были не мои. Теперь я уже отчасти расплатилась и благодарю тебя много раз за

то, что ты догадался выслать мне деньги по телеграфу. Не то я и сама не знаю, что бы стала делать. Мариенбад — пустыня. Бесконечное количество варшавских дам, главным образом с Налевок, а одолжить не у кого. Тоже мне дамы! Одна другой лучше! Я уже, поверь мне, не в силах смеяться над ними. Ты бы видел, как они ведут себя, как одеваются, как живут. Послушал бы ты их разговоры, — уверяю тебя, книгу о них можно написать. Да что книгу! Десять книг! Где все писатели, которые так красиво пишут в газетах? Почему они не приезжают сюда, на курорты, на воды — в Мариенбад, в Карлсбад, Франценсбад, в Висбаден, в Эмс, в Кранц или в Остенде, хотя бы на одно лето?.. Им хватило бы материала на три зимы!

Взять, к примеру, мою родственницу, Бейльцю Курлендер. Как будто бы богачка, любимица своего мужа, этого глупца Курлендера. Могла бы, кажется, жить в Мариенбаде по-человечески, есть по-человечески... А видел бы ты, какую комнатушку она сняла в отеле: клетка, курятник под самой крышей. За день крыша так раскаляется, что трижды в ночь можно упасть в обморок. Зато дешево! Однако утром, когда она выходит к источнику, на ней кричащее платье и множество украшений и брильянтов. Немцы уверены, что это русская княгиня или шансонетка. А как она ест в кошерном ресторане! От четверти курицы просит оставить кусок на вечер. Прямо-таки сгораешь от стыда перед кельнером. Недавно она попросила подать ей воды. Открыли бутылку «Нисильбер». Когда надо было расплачиваться и она услыхала, что за воду следует уплатить, она вспыхнула! Счастье, что я сидела с ней за одним столом и объяснила ей по-польски, чтобы она заплатила и промолчала, потому что это грозит скандалом. Сколько раз мы с ней уже сидели в кафе «Эгерлендер», но еще ни разу не случалось, чтобы она уплатила за чай. Платит либо Хаим Сорокер, либо наш одессит Меер Марьямчик. Оба они ухаживают за ней напропалую, а она принимает все это за чистую монету и так строит обоим глазки, что умереть можно! Теперь уже имеется

и третий, который платит. Какой-то кишиневский дантист, который сватается к дочерям Ямайчихи. Ямайчиха здесь со всеми тремя дочерьми и ищет женихов днем с огнем, гоняется за ними по улицам и тащит их за фалды. Но кишиневский франт, видать, не дурак. Приданое он не прочь получить от Ямайчихи, а ухаживать он предпочитает за Бейльцей. Но Ямайчиха следит, она не из тех женщин, которых обманешь. У нее и глаз, который видит, и нос, который чует запах за версту. Она с первой же минуты знает точно, какой молодой человек — жених, а какой — не жених. Я было хотела помочь ее старшей дочери, просватать ее за одного московского ювелира, очень богатого молодого человека, который сорит деньгами. Но она мне тут же сказала: «Душенька, это жених не для меня. У него невеста в Киеве. Вот увидите, не сегодня-завтра будет помолвка». И точно в воду глядела: сват Свирский уже хвастал, что сегодня утром свел два города — Москву и Киев — и заработал на этом порядочную сумму. Свирский зарабатывает груды золота! Ты не сердись на меня, дорогой, за то, что я на минутку заделалась свахой. Я знаю, как нелегко тебе приходится. У тебя мозги сохнут, пока ты высылаешь мне деньги. Вот я и хотела тебе помочь. А кроме того, хотелось оказать услугу и Ямайчихе. Почему бы нет? Та спит и видит, как бы выдать хоть одну дочку. Пора бы уже... Право же, Ямайчиха, какая она ни есть, гораздо порядочнее ее родственника, этого одесского шарлатана, Меера Марьямчика, и даже моей богатой родственницы, — я имею в виду Бейльцю. Показываю ей твое письмо, в котором ты пишешь, что на будущей неделе высылаешь мне деньги, а она краснеет, потом бледнеет и клянется, что у нее и десяти крон нет, в то время как я знаю, — Хаим Сорокер мне сказал, — что только вчера выдал ей за счет ее мужа пятьсот крон с лишним. От этих людей дождешься одолжения!.. Броня Лойферман, чуть только завидит меня, начинает жаловаться на мужа: он не шлет ей денег. Я говорю: «Кто вас об этом спрашивает, зачем вы мне это рассказываете?» А она отвечает, что рассказывает просто так о своем муже, о котором всему свету известно, что

он выиграл в лотерее. Почему бы ему не выслать ей деньги вовремя?.. Я знаю и все знают, что это вранье. Ее подружка, Лейця Бройхштул, сообщила мне по строжайшему секрету, что она сама видела у Брони кошелек, набитый золотом, и клялась при этом и божилась. Да и надо ли мне рассказывать? Как будто я сама не знаю... Вот я и спрашиваю: не правильнее ли поступила Ямайчиха, когда ответила мне прямо, без обиняков: «Душенька, дай вам бог здоровья, у меня вы денег не одолжите, потому что я вам не дам... Вы сами знаете, что ваш муж и без того достаточно должен моему мужу. Если хотите, говорит, заработать добрых несколько сот крон, помогите мне в деле с кишиневцем». Вот я ей и помогаю как могу. Я уговариваю этого кишиневского дантиста, что ему следует объясниться с одной из дочерей Ямайчихи и пусть будет конец! А он говорит: «Не к спеху. Пускай они малость подрастут...» Чистое несчастье! Все знают, что дочерям Ямайчихи лет не занимать стать...

Между тем эта кишиневская птица обхаживает мою Бейльцю и думает, что тут он поймает кота за хвост. Я ему намекала, что это — напрасный труд, потому что эта очаровательная женщина, которая так кокетничает и жеманничает, все-таки молится, не здесь будь сказано, в канун субботы над свечами и носит, не про меня будь сказано, накладной шиньон... Но он так втюрился, что его не оторвать! Не знаю, что в этой Бейльце: какой бы ни завелся мужчина, он по ней дохнет. А больше всех, мне кажется, эти два шурьяка: Хаим Сорокер и одессит Меер Марьямчик. Ну, ладно: Меер Марьямчик еще в Одессе был шарлатаном. Но Хаим Сорокер! Купец, отец взрослых детей! Думаешь, я его не спрашивала? «Как вам не стыдно, человеку солидному, отцу семейства, бегать за хорошенькими женщинами, подобно вашему шурину, этому одесскому шарлатану? На то, говорю, он и одессит и называет себя Марк Давидович...»

Добрую славу нажил себе тут этот Марк Давидович — зарыться в землю мог бы от стыда!.. И было

бы очень хорошо, если бы об этом знала его Ханця. Я бы очень хотела отомстить этому одесситу только за то, что он оговаривает тебя с головы до ног. Он клянется, будто Ханця пишет ему, что видела у Эстер Сорокер письмо, которое Хаим Сорокер прислал ей из Мариенбада. Письмо это Хаим Сорокер получил от Шлоймы Курлендера. Там полно поклепов на тебя, Бернард, на меня и на нас обоих. Там описана даже вечеринка по случаю дня моего рождения, и что ты не заплатил Гексельману за ужин, и что ты, когда снимал квартиру у Шлоймы, остался ему должен за целый год, и что ты живешь уже двадцать лет в Варшаве, а никто не знает, кто ты, и что ты, и чем занимаешься. И еще всякие другие подобные вещи пишет он о тебе! А Марк Давидович не ленится и показывает письмо Ханци всем и каждому. Этот одесский шарлатан ходит здесь и треплет языком про тебя, и про меня, и про нас обоих. Было бы вполне справедливо, чтобы ты там хоть порассказал о нем Ханце, чтобы ему хорошенько попало и чтобы он позабыл о нас. А рассказать есть о чем. Посылаю тебе две его любовные записки, написанные здесь, в Мариенбаде, двум налевкинским женщинам — Шеренцис и Пекелис! Две святые души! У нас на Налевках они каждую субботу утром ходят в синагогу молиться, а днем идут в Саксонский сад, и не одни, а со своими «Иче-Майерами» *. Но «Иче-Майеры» остаются за оградой, потому что их не пускают в длиннополых кафтанах. А здесь эти святоши скинули парики и хотят вкусить от всех мариенбадских удовольствий, но не знают, как это сделать. Меня они заверили, как родную сестру, и можешь им поверить на честное слово, что дальше записок дело не пошло. Ручаюсь тебе за них, как за самое себя, да и записки эти лучшее тому свидетельство. Но одно другого не касается. Нужно, прямо-таки необходимо, чтобы эти любовные записки видела жена Меерки, Ханця, и порадовалась на свое сокровище... Думаю, что она сразу узнает почерк своего Марка Давидовича и его еврейский язык, и пусть она хорошенько присмотрится к датам и убе-

дится, что записки эти написаны не во времена Хмельницкого и не в Одессе на Лимане, а нынешним летом и именно в Мариенбаде. Ты только смотри, чтобы, кроме Ханци, никто об этом не знал, потому что записки эти доверили только мне и я дала честное слово, что ни одна душа на свете знать не будет. Будь здоров, Бернард! Жду от тебя добрых известий и остаюсь твоя любящая тебя жена

Хава Чапник.

15

Меер Марьямчик из Мариенбада — к мадам Шеренцис и мадам Пекелис в Мариенбад

Если я не ошибаюсь, мы с вами встречались в прошлом году в Варшаве, в Швейцарской долине, на еврейском литературном вечере. Вы еще сидели вдвоем с вашей подругой и покатывались от хохота. Наш Дедушка* из Одессы был тогда в Варшаве, и его там чествовали. Еще примета: я тогда подошел к вам и спросил по-русски: «Позвольте узнать причину вашей радости!» А вы ответили мне наполовину по-польски, наполовину по-русски: «Для тэго, что нам весо́ло». Вы переглянулись со своей подругой, и... Ах! Я никогда не забуду блеск ваших прекрасных глаз!.. Потом мы шли втроем — помните? — от Лазенков до Иерусалимской аллеи и немного дальше. Я болтал, рассказывал анекдоты, а вы смеялись... Потом вы попросили, чтобы я вас оставил. И я оставил вас, но с условием, что мы встретимся еще раз. Теперь, когда мы встретились у Крейцбруна, вы сделали вид, будто мы совершенно незнакомы... Я сразу понял, что вам неудобно при посторонних. По этой причине я обращаюсь к вам при помощи записки. Вы даже представить себе не можете, как вы обе изменились, конечно, к лучшему. Если бы я знал, что мои слова не прозвучат как комплимент, я сказал бы вам по секрету, что

не знаю, кто из вас обеих моложе и красивее. Суждено было, чтоб наша вторая встреча состоялась за границей, и я этому очень рад. Потому что заграница — это не Варшава, а Мариенбад — не Налевки. Поздравляю вас и вашу подругу, мадам Пекелис, с приездом в Мариенбад и прошу вас оказать мне любезность и принять от меня этот букет свежих роз вместе с лучшими моими пожеланиями.

Ваш покорный слуга

Марк Давидович Марьямчик.

16

Меер Марьямчик из Мариенбада — мадам Шеренцис и мадам Пекелис в Мариенбад

Очень рад, что вы меня поняли. Но вы ошибаетесь, если принимаете это за комплимент. Уверяю вас, что я вообще человек искренний. Все одесситы такие. У нас в Одессе нет двуличностей. А то, что вы намекаете на мою дальнюю родственницу, на Ямайчиху, на мадам Чапник и на других таких (тут вычеркнуто слово), то мне наплевать! Курорт существует для развлечений, а не для морали. Я не вижу никакого преступления в том, что вы встречаетесь с образованным человеком. Скажите мне, пожалуйста, за что вы должны страдать больше всех на свете? Почему у нас в Одессе каждая женщина свободна и не знает рабства? Я возмущен, должен вам сказать, до глубины души и обратно! Но если вы хотите, чтобы мы рассуждали об этом более подробно, будьте сегодня от трех до четырех в кафе «Миньон», потому что в кафе «Эгерлендер» слишком много шума, еще хуже, чем у вас в Варшаве на Налевках. Кого вы там не видали?

С величайшим нетерпением жду вас обеих. Кланяйтесь мадам Пекелис.

М. Д. М.

17

Меер Марьямчик из Мариенбада — мадам Шеренцис и мадам Пекелис в Мариенбад

Напрасно вы меня подозреваете. Уверяю вас, что все сказанное мною сегодня у источника далеко от комплимента. Можете мне верить, по совести. Я ценю в каждой женщине, во-первых, ум, во-вторых, такт и, в-третьих, образование. Я мало говорил с вами, но верьте мне: я знаю вас так основательно, как если бы мы были знакомы много лет. А насчет того, что вы думаете, будто я ревнив, — мадам Пекелис мне на это дважды намекнула, — то я клянусь вам, что вы ошибаетесь. Я только сказал: с какой стати этот кишиневский гусь, этот провинциал, ухаживает за нашими налевкинскими женщинами? А то, что я бываю любезен с мадам Курлендер, не должно вас удивлять. Уверяю вас, что я любезен со всеми женщинами. У меня такая привычка. Все одесситы вообще люди вежливые и откровенные. И я говорю вам откровенно, что мадам Курлендер не стоит вашего мизинца. О вас я знаю по крайней мере, что вам навязали двух «Иче-Майеров», и вы страдаете, бедные, отдуваетесь за чужие грехи. А мадам Курлендер сама себя продала за деньги. Мадам Пекелис каждый раз напоминает мне, что я женат, — по-моему, напрасный труд. Разве я отрицаю, что у меня есть жена? Я только говорю, что это мне не мешает дружить с красивыми, умными, образованными дамочками, насколько это возможно. Послушайте меня, доброго друга, и пользуйтесь вашим пребыванием в Мариенбаде... Между прочим, кто вам сказал, что я пишу басни? Мадам Чапник или мадам Курлендер? И что они вам сказали? Где мы увидимся сегодня?

Ваш *М. М.*

18

Меер Марьямчик из Мариенбада — мадам Шеренцис и мадам Пекелис в Мариенбад

Наш кружок в Мариенбаде единогласно решил, что ваше присутствие настолько приятно, что мы осмеливаемся пригласить вас вместе с вашей подругой, мадам Пекелис, завтра на нашу прогулку в Эгер. Там будут все наши интимные знакомые, и мы очень приятно проведем время. Мы будем кататься на лодке, а я буду читать мою басню, которую сочинил о дочерях Ямайчихи, и надеюсь, что доставлю вам истинное удовольствие. Думаю, что поскольку мадам Курлендер соглашается, то и вы и ваша подруга тоже должны согласиться. Мы находимся в Мариенбаде, а не в Варшаве на Налевках, и должны быть далеки от всяких предрассудков.

Сердечно приветствую вас обеих.

Ваш *Марк Давидович М.*

19

Шлойма Курлендер с Налевок в Варшаве — своей жене Бейльце Курлендер в Мариенбад

Моей дорогой супруге госпоже Бейльце, да здравствует она!

Я получил твое письмо, прочитал его от начала до конца и подумал, — может быть, ты и права! Может быть, я и в самом деле, как ты говоришь, в этих делах отстал? Может быть, я и в самом деле, как ты говоришь, человек старого мира и не знаю, что к чему? Возможно, что я не слишком изощрен, хотя люди, кажется, не считают меня чересчур большим глупцом. Возможно, что ты права: каждый шалопай и прощелыга, будь он старый холостяк, будь у него смородина на носу, будь он рвач, дерущий семь шкур с живого и с мертвого, но коль скоро он живет в Бер-

лине, он считается кавалером и имеет право рассказывать чужим женам, что они ему нравятся с первого взгляда. Ему говорят в глаза, что он идиот и нахал, а он тем не менее преподносит мне на следующий день букеты и цветы, а я обязан принимать это как должное и не имею права швырнуть их ему в рожу. Возможно, что ты права: когда я еду в вагоне черт знает с кем и показываю им свое обручальное кольцо, а они принимаются целовать мою руку, то я не имею права набить им морду, или вышвырнуть из вагона, или по крайней мере позвать кондуктора и приказать их вывести. Наоборот, я должен еще воспользоваться их услугами, чтобы они помогли мне выгрузить багаж из вагона, и выслушивать при этом тысячи комплиментов, от которых с души воротит... Возможно, что я выдохся, что я человек старого мира и ровно ничего не понимаю... Когда на вокзале мне навстречу выходит молодой человек, одессит, о котором я знаю, что он известный шарлатан, и начинает у меня выспрашивать, кто я и что я, то я не имею права сказать: «А вы кто, молодой человек? А вы что такое?» Нет! Упаси бог! Я обязан немедленно, тут же на месте объявить его своим кавалером, сесть с ним в один экипаж и трястись вместе с ним с вокзала в город, так чтобы не только Ямайчиха, которая и сама славится на весь мир, но и действительно весь мир видел, как жена Шлоймы Курлендера с Налевок разъезжает по Мариенбаду с одесским шарлатаном совершенно открыто и показывает всему миру большой кукиш. Но этого одного мало. Коль скоро Меерл-шарлатан так любезен, и пришел меня встречать на вокзал, и помог мне управиться с багажом, и сел со мной на одного извозчика, то могу ли я заехать, куда мне хочется? Ни в коем случае! Я должен, я обязан остановиться как раз в той самой гостинице, где живет этот одессит, непременно с ним ходить осматривать Мариенбад, ему одному позволить вести себя в ресторан и уж конечно сидеть с ним за одним столом, чтобы Ямайчиха, Чапник, Лойферман и Бройхштул, Шеренцис и Пекелис, — иначе говоря, чтобы все Налевки из конца в конец видели, с кем жена

Шлоймы Курлендера, Бейльця, ест немецкий обед! И наоборот, когда приходит приятель мужа и намерен передать от мужа привет, я должен постараться как можно скорее спровадить его, потому что друг мужа ведь не кавалер, а тут — и кавалер, и одессит, и джентльмен, и вообще замечательный молодой человек, которому, чуть только он получил приданое, жена не нужна, тем более что в Мариенбаде есть женщины более красивые и одинокие; они вынуждены в одиночку выходить в этом городе из вагона, в одиночку садиться на извозчика, в одиночку заезжать в гостиницу и ходить в ресторан обедать без всякого кавалера. Как же можно это допустить? А то, что это мерзавец и негодяй, которого вся Варшава знает как облупленного, — меня не касается!

Но к чему говорить, дорогая Бейльця, к чему злословить просто так, без доказательств? Вот тебе письма моего друга Хаима Сорокера, посмотри, что он, родной шурин, пишет о твоем прекрасном кавалере и джентльмене, которого у нас на Налевках никто иначе и не называет, как Меерл-шарлатан.

Я уверен, дорогая Бейльця, что, прочитав письмо Сорокера, ты сама увидишь, что для тебя гораздо полезнее слушаться моего совета и держаться поближе к моим друзьям, а не к одесским шарлатанам, которые бросают своих жен, порхают по Мариенбаду и высматривают, не приедет ли красивая женщина, нуждающаяся в их услугах. А если Ямайчиха будет рассказывать о моем друге басни, будто он день и ночь играет в «шестьдесят шесть» с твоей родственницей Хавеле Чапник, то должен сказать тебе, дорогая Бейльця, что, во-первых, это вранье, а во-вторых, если даже это правда, то виновата в этом твоя родственница, а не он. Доказательство — посмотри сама, что пишет мне об этом Хаим Сорокер. Они иной раз играют в «шестьдесят шесть», потому что ему скучно, не с кем играть, вот он и играет с ней. Но он так же хочет играть, как я хочу танцевать, потому что Хавеле, когда проигрывает, не платит. Прочти хорошенько письма Сорокера, тогда увидишь, что он пишет мне обо всем, ничего не упуская из

виду. А когда прочтешь эти письма, пришли их мне обратно, потому что я дал ему честное слово, что ни одна душа знать не будет, о чем он мне пишет.

Я полагаю, ты сама понимаешь, что он поступает правильно, когда пишет мне, потому что он мне добрый друг по-настоящему и уж во всяком случае не «выдохшийся». Уж он-то человек умный и практичный. Он понимает что к чему. Поэтому прошу тебя, дорогая Бейльця, как только получишь это письмо, обязательно повидайся с моим другом Хаимом Сорокером, но ничего не рассказывай ему, чтобы он даже не подозревал, что ты знаешь о его письмах ко мне. Передай ему мой дружеский привет и возьми у него деньги на мой счет, сколько тебе требуется. Сумма пусть тебя не смущает: еще двадцать пять рублей, еще пятьдесят, — это не играет роли, если уж столько потрачено. Но помни раз навсегда, что мне для тебя не жалко всего того, что идет тебе на пользу, потому что твое здоровье мне дороже всего на свете.

Затем да будет тебе известно, дорогая Бейльця, что был у меня гость, твой дядя Мойше из Радома, и промучил меня целые сутки. Он хочет, чтобы я дал ему должность в моем новом доме. Я предложил ему приличное пожертвование, но он отказался. Он, говорит, не побируша, с протянутой рукой не ходит, он хочет, говорит, честно зарабатывать кусок хлеба. Не знаю, что он имеет в виду и что с ним делать. А от твоего дяди Нахмена из Кутно я получил письмо. Он пишет, что погорел во время большого пожара, остался с женой и детьми в чем были и просит помощи. Я выслал ему сколько мог, хотя, по правде говоря, я читаю газеты и нигде не видел, чтобы в Кутно был большой пожар. Словом, деньги уходят как дым, а пока вырвешь у квартирантов плату за квартиры, глаза на лоб вылезают. А новый дом втянул меня так глубоко, что чувствую я себя, как человек, идущий на дно. Но только ты не думай, что я пишу тебе об этом для того, чтобы у тебя уходило поменьше денег. Упаси бог! Ни в чем себе не отказы-

вай! Береги себя от дурных людей, от шарлатанов, которые не думают о своих женах и высматривают более красивых. Придерживайся лучше моих друзей, выполняй аккуратно предписания врачей, и будь здорова, и приезжай, с божьей помощью, здоровая домой, как желает тебе искренне

твой супруг *Шлойма Курлендер.*

20

Эстер Сорокер с Налевок в Варшаве — своему мужу Хаиму Сорокеру в Мариенбад

Дорогой Хаим!

Меня удивляет, что давно уже от тебя нет никаких вестей. После того письма, в котором ты жалуешься на «постылый» Мариенбад, на то, что там тебе делать нечего, ты вдруг умолк, в то время как другим, слыхала я, ты пишешь очень часто и очень много... Я узнаю от чужих людей, что ты там, в Мариенбаде, с божьей помощью, кавалер и опекаешь, как мне говорили, очень мало мужчин, но зато очень много женщин! Я понимаю, Хаим, что это должно быть довольно приятно чувствовать себя, как у нас говорят, «одним мужчиной на Москве»... Правда, к этому надо иметь склонность, надо располагать известными способностями, чтобы уметь угождать стольким женщинам, не сглазить бы... Но не об этом речь. Ты знаешь, Хаим, что я не так глупа, чтобы ревновать, как иные женщины, как моя сестра Ханця, например, — горе ей, несчастной! Она тоже получает добрые известия из Мариенбада. Друзья не дремлют, им не жалко труда, лишь бы поднести ей сюрприз в виде писем и любовных записок ее сокровища, адресованных разным «душечкам» и «любонькам». Большая радость иметь такого шурина, как наш Марк, и большое удовольствие иметь такого субъекта своим мужем. Был бы ты дома, мы бы вдвоем все же придумали, что делать с этой четой, — мне безумно жалко сестру! Мо-

жет быть, мы бы развели эту парочку, несмотря на то что Ханця, к несчастью, в него влюблена и не может, как она говорит, жить без него. Ужасная у нее судьба! Ты извини, Хаим, что я морочу тебе голову. Разве могу я требовать от тебя, чтобы ты думал о семейных делах, когда у тебя там столько обязанностей?.. Однако возвращаюсь к твоему письму.

Ты жалуешься, Хаим, и сожалеешь, что ты не писатель. Будь ты писателем, ты мог бы писать и писать о Мариенбаде. Думаю, что ты напрасно скромничаешь. Наоборот, я должна сделать тебе комплимент и сказать, что никогда не полагала в своем муже такого писательского таланта. Твои письма, без лести говоря, — подлинные образцы для письмовника. Помимо того что они красиво написаны, они к тому же и разнообразны, каждое письмо в другом тоне и с другим содержанием, несмотря на то что написаны они почти в одно и то же время.

Так, например, твои письма, адресованные жене, не такие, как те, что ты пишешь своим добрым друзьям. В письмах к жене ты жалуешься на «постылый» Мариенбад, на то, что ты ничего не делаешь, кроме того, что предписывают врачи. Ты не ешь, не сидишь на одном месте, не притрагиваешься, упаси бог, к картам, — словом, ты «лечишься», отбываешь адовы наказания на этом свете и страдаешь в своем мариенбадском «изгнании». Между тем письма, которые ты пишешь другим, гораздо живее, веселее и читаются, как фельетоны. Из твоих писем, адресованных другим, видно, во-первых, что врачам ты показываешь кукиш, что ты ешь, не сглазить бы, с отличным аппетитом и играешь, слава богу, по целым дням либо втроем в преферанс, либо в крайнем случае вдвоем в «шестьдесят шесть». Да продлит господь годы мадам Чапник. Что бы я стала делать, если бы и ее, не дай бог, не было в «постылом» Мариенбаде? С кем бы ты играл в «шестьдесят шесть»?.. А во-вторых, из твоих писем, которые ты пишешь чужим, видно, как самоотверженно ты взял на себя наблюдение за теми несчастными женщинами, которые впер-

вые выезжают в большой свет, и как близко ты принимаешь к сердцу то, что эти одинокие женщины гуляют по Мариенбаду не с тем, с кем нужно, ходят в ресторан не с тем, с кем им подобает, и живут не в надлежащей гостинице. Поэтому тебе приходится жертвовать своим здоровьем и переселять эти заблудшие души в другие гостиницы, и немедленно сообщать об этом их мужьям, дабы эти последние огорчались и не знали покоя... Нет, Хаим, так беззаветно жертвовать собою ради других тоже, пожалуй, не стоит. Ты не должен забывать, что «лечишься», ты не должен так огорчаться, Хаим! Поверь мне, эти одинокие женщины, с божьей помощью, благополучно вернутся к своим мужьям, которым было так некогда, что они, едва дождавшись тридцатидневного срока после смерти жены, поторопились жениться, а сейчас дрожат от страха, как бы их жены, не дай бог, не оступились... Глупые мужья! Спросили бы меня, — они должны были бы дать своим женам полную свободу. На привязи держать можно только корову, да и то случается иной раз, что и корова пропадает...

Но ты не думай, Хаим, что я пишу тебе в таком тоне потому, что мне досадно. Ты отлично знаешь, что я не похожа на мою сестру Ханцю, которая оплакивает свою молодость и проклинает себя. Я только хочу заметить тебе, что «лечение» в Мариенбаде не может быть успешным, если не слушают указаний врача, если играют по целым дням в карты и принимают близко к сердцу интересы чужих жен, за которыми нужно присматривать, чтобы они, не дай бог, не причинили себе вреда...

Читая твои красноречивые и длинные письма, адресованные твоим «добрым друзьям», я вспомнила иные счастливые времена, которые, к сожалению, никогда больше не вернутся... Когда-то, помню, ты и мне писал длинные любовные и сердечные письма. Теперь ты так пишешь другим, а от меня отделываешься несколькими строчками либо молчишь по целым неделям. Но — молчу! Я совсем забыла, что тебе некогда. У тебя, у бедного, столько забот

в этом «постылом» Мариенбаде, упаси и помилуй бог!..

Будь здоров, Хаим, и не забывай, однако, и мне кое-когда закинуть письмишко, хотя бы из приличия. Пусть тебе кажется, что и я принадлежу к числу твоих «добрых друзей», которым ты пишешь часто и много — правда, под строжайшим секретом... Желаю тебе успеха в картах, как и во всех прочих твоих мариенбадских делах и предприятиях...

Эстер.

21

Ямайчиха из Мариенбада — своему мужу Велвлу Ямайкеру на улицу Налевки в Варшаву

Велвл! Чего ты меня за душу тянешь и требуешь, чтоб я тебе писала и писала? Ведь я, кажется, каждую неделю пишу тебе, что пока писать не о чем, потому что мы в Мариенбаде, а не в Карлсбаде. И пишу я тебе, Велвл, — похоже на то, что нам придется зимовать в Мариенбаде, и чтоб враги наши так жили, как удастся мне здесь что-нибудь сделать. А все из-за кого? Из-за тебя с твоим «правильным разумением». Дай мне бог соврать, но оно всех нас заведет черт знает куда. Казалось, что с одним я уже покончила (я имею в виду белосточанина), но не успела я повернуться, как подоспел Базель. В Базеле горячка — конгресс сионистов. И его понесло в Базель вместе с несколькими другими молодыми людьми и холостяками. На мое хваленое счастье они все почти — сионисты. Хорошо еще, что хоть кишиневец — не сионист. Он смеется над сионистами. Он говорит, что все это одно притворство. Вроде тех, что едут лечиться. Главное во всем этом, говорит он, женихи и невесты. А если так, то мне досадно, что я поехала в Мариенбад, а не в Базель. Если бы знать заранее о конгрессе и о Базеле, я бы лучше поехала в Базель, потому что весь мир, говорят, будет в Базеле. Пишу тебе, Велвл, и знаю наперед, что ты мне

на это ответишь. Ты ответишь, чтобы я тебе не писала про Базель, потому что по «правильному твоему разумению» всегда получается наоборот, головой вниз, а ногами кверху. Поэтому я ничего тебе не буду писать про Базель, потому что легче перенести Мариенбад на Налевки или Налевки в Мариенбад, чем тебя переспорить. И еще пишу я тебе, Велвл, что ты будешь худшим из худших, если не повидаешься там с нашими Иче-Майерами, то есть с Гиршем Лойферманом, с Калменом Бройхштулом, с Ицхок-Меером Шеренцисом и с Ицхок-Меером Пекелисом, а главное, с Шлоймой Курлендером и не спросишь их, с какой такой радости они услали своих жен на произвол судьбы, а сами остались дома? Почему бы им не пожаловать сюда и не порадоваться, не посмотреть, как их жены занимаются тем, что перехватывают чужих женихов и отговаривают молодых людей от женитьбы. Понаехало их сюда! Якобы на «лечение»! Какое там лечение? Когда днем и ночью они только и делают, что ищут кавалеров. Холостой так холостой, вдовец так вдовец, брошенный муж так брошенный, и женатый тоже годится, лишь бы мужчина. Сколько я живу на свете, сколько на ногах стою, ничего подобного я не видала! Чуть дождешься какого-нибудь завалящего мужчинки, как на него точно мухи налетают наши налевкинские дамочки и начинают работать сперва язычками, заводят сладкие разговорчики: «Эти-пети-мети-вети», и обязательно по-немецки, иначе им не пристало, а потом ходят парочками якобы кофе пить, но главное — это, конечно, «эти-пети-мети-вети». Долго ли, коротко ли, потом устраивают прогулку куда-нибудь за город, а там либо гуляют в лесу, либо катаются на лодках, либо черт их ведает, что они еще там делают! И пишу я тебе, Велвл, что ты пишешь мне, чтобы я писала тебе насчет кишиневского жениха, который из Кишинева, — то пишу я тебе, что я уже тебе писала. Сколько раз надо тебе писать? Зовут его Зайденер, а сам он зубной врач, лицом красив, — красавец, можно сказать, — и одевается хорошо, так что удовольствие смотреть, все в нем приятно. И пишу я тебе, Велвл,

что сват послал уже два письма в Кишинев, чтобы ему написали, кто он такой этот Зайденер, и вот ему пишут оттуда, что он действительно зубной врач, и хороший зубной врач, и имеет очень красивый кабинет, и везде очень хорошо принят, и зарабатывает крупные деньги. Да и видать, что деньги для него — трын-трава, он и не заикается о деньгах, как другие, например, белосточанин, который торгуется со мной вот уже две недели, будто вола покупает. То есть торгуется не он, а сват. Сам он будто бы в стороне, не вмешивается якобы в такие дела... И пишу я тебе, Велвл, что кишиневский дантист мне очень нравится. Я думаю после свадьбы отдать к нему нашего Янкла, авось он из него человека сделает. И пишу тебе, Велвл, что нечего тебе досаждать мне письмами, чтобы я тебе писала, потому что писать пока не о чем. Когда будет о чем писать, я сама тебе напишу или дам телеграмму, чтобы ты приехал на готовое. И пишу тебе, Велвл, что я привлекла к кишиневскому сватовству нашу Чапничку. Живет она на широкую ногу, а денег у нее нет, вот я и даю ей заработать. С какой стати Свирский, этот мировой сват, о котором я тебе писала, должен снимать все сливки? Не все ли мне равно — пусть и Чапничка кое-чем полакомится. Дал бы только бог, чтобы вытанцовалось наконец, в добрый час, и чтобы я могла написать тебе новости. И еще пишу тебе, Велвл, чтобы ты непременно повидался там с Лойферманом и Бройхштулом, а главное, с этим бугаем Курлендером, и раскрыл бы ему глаза на его Бейльцю, и указал бы ему, что полезнее для него присматривать за своей женой, чем за своими домами. Домà черт не возьмет, а Бейльця тут кокетничает с чужими мужьями и женихами, которые дерутся за нее, как за что-нибудь стоящее. И тошно, и стыдно, и больно — все вместе! Потому что если бы не эти налевкинские вертихвостки, кишиневское дело давно было бы уже закончено. И пишу я тебе, Велвл, что не могу я тебе даже всего описать, и будь здоров, и кланяйся детям, Янклу и Мендлу, от всего сердца.

От меня, твоей жены *Перл Ямайкер.*

22

Хаим Сорокер из Мариенбада — своему другу Шлойме Курлендеру на улицу Налевки в Варшаву

Друг мой!

Я должен был бы отчитать тебя совсем по-особому. А еще лучше было бы и вовсе тебе не писать, потому что не стоишь ты этого. Такого болвана, у которого нет ни разума, ни чести, жалеть нельзя! Уж если говорят люди, что Курлендеры умны, только когда спят, стало быть, не зря говорят! Весь мир с ума не спятил.

Скажи сам, не осел ли ты, хоть тебе уже под шестьдесят! Подумай, если остался у тебя хотя бы обломок клепки в голове, что ты натворил? Ты пишешь мне письмо, так, мол, и так, и умоляешь меня: стряслась у тебя беда, твоя Бейльця едет в Мариенбад впервые в жизни, не знает языка, не знает, куда сунуться, поэтому ты меня умоляешь опекать ее, наблюдать за ней, давать ей деньги и тому подобное. И ты сам кладешь мне палец в рот, просишь меня присмотреть, чтобы она была подальше от своей родственницы Хавеле Чапник, и тому подобное. И настаиваешь, чтобы это было между нами. А я так глуп, что верю всему, что ты пишешь, и, жалея тебя, пишу тебе письмо и еще письмо, и передаю все со всеми подробностями, и наказываю тебе десять раз, что так же, как ты пишешь по секрету мне, должно быть священной тайной то, что я пишу тебе, что все должно остаться между нами и ни одна душа не должна знать, что ты пишешь мне и что я пишу тебе. А в конце концов что же делает такой умник, как ты? Ты идешь, курляндский индюк, и относишь мои письма прямо моей Эстер! Не заслужил ли ты после этого, чтобы тебя разложили посреди Налевок и выпороли как следует? Я спрашиваю, сумасшедший растяпа, кто так поступает? Ведь этого не сделает самый последний негодяй из негодяев! Недаром говорят, что дурак в тысячу раз опаснее негодяя. Нет, я спрашиваю: какой черт понес тебя набиваться ко

мне со своей Бейльцей? И какое мне дело, едет ли твоя Бейльця в Мариенбад в первый раз или в последний раз? Кто скучал по ней здесь, в Мариенбаде, и кто дожидался ее здесь, кроме моего шурина Меерки-шарлатана? Знай же, курляндский бык, что Бейльця твоя здесь не одинока: кроме моего шурьяка, этого одесского хлыща, вокруг нее увиваются и другие шарлатаны, а больше всех некий кишиневский франт в белых штанах, дантист, которому предстояло на днях официально объявить себя женихом. Главной свахой была мадам Чапник, она должна была на этом деле крупно заработать, но сватовство расстроилось, и никто не знает, по какой причине. Это держат в секрете. Но твоя Бейльця знает этот секрет, потому что никто так с ним не близок, как твоя Бейльця... Они постоянно гуляют вместе, пьют в одно время воду из источника, едят в ресторане за одним столом... Это, конечно, здорово задело моего шурьяка, одессита, и он сцепился с этим кишиневским дантистом, а дантист сообщил ему, что вызывает его на дуэль, и теперь Мариенбад волнуется, и весь мир ходуном ходит! Одним словом, форменный роман, и твоя Бейльця — героиня этого романа, а ты сидишь на Налевках и сторожишь свои дома. Сторожи, сторожи, курляндский теленок, как бы они не убежали! А о своей Бейльце не горюй, она не пропадет. Я слыхал, что она собирается переехать в другой бад[1]. Куда — не знаю. Слыхал, что в Остенде. И правильно делает: «Перемена места — перемена счастья» *. Во всяком случае, огорчаться тебе нечего. Едет она не одна. А вдвоем... Но какое мне до этого дело? По мне, они могут ехать хотя бы втроем. Потому что, если у тебя хватило совести показать моей Эстер письма, которые я пишу тебе под строгим секретом, то ты пентюх, и старый веник, и балда, пустая голова и не стоишь того, чтобы земля тебя носила, и не желаю я с тобой иметь никаких дел!

Я мог бы, собственно, сообщить тебе теперь много новостей, как раз о Бейльце и об этом кишиневском

---

[1] Курорт (*нем.*).

фрукте... Но больше я не желаю вмешиваться в такие дела и не хочу даже знаться с тобой! Хватит. Уж я однажды обжегся, — можешь довериться кому-нибудь другому. Меня больше ни о чем не спрашивай и не пиши мне, потому что отвечать тебе я не буду. Больше я тебе не советчик и не доверенный, и не морочь мне голову! Знать тебя не хочу, как и до сих пор не знал.

Деньги, которые я давал твоей Бейльце за твой счет, можешь прислать сюда, если хочешь, а если не хочешь, вернешь мне в Варшаве до копейки. Ничего, я тебе доверяю. А может быть, ты не пожелаешь уплатить мне за твою Бейльцю? Ну что ж, дай тебе бог такую мысль! У меня есть твое письмо, в котором ты пишешь ясно, чтобы я выдавал твоей жене деньги за твой счет, когда и сколько она потребует. И посмотрим, как ты откажешься! Ты еще и позора не оберешься, потому что я переведу твое письмо на русский язык. Это у меня документ...

И слушай, умник мой дорогой. Так как ты, насколько я вижу, человек, не умеющий хранить тайны, то ты, конечно, доложишь моей жене то, что я пишу тебе сейчас. Так вот, говорю тебе: пожалуйста, с превеликим моим почтением! Но прежде чем распрощаться с тобой, я должен сказать тебе еще раз откровенно, что ты курляндский дурак, отпетый болван, и шмендрик, и конская морда, и то, о чем вслух не говорят...

От меня, твоего бывшего доброго друга, подметки которого ты не стоишь,

Хаима Сорокера.

23

Шлойма Курлендер с Налевок в Варшаве — своему другу Хаиму Сорокеру в Мариенбад

Моему почтенному, дорогому другу Хаиму, да сияет светоч его!

Как масло в огонь, как соль на раны, было для меня твое письмо, которое прибавило к моим горестям еще горе и к огорчениям моим — еще огорчение. Хожу прямо-таки без головы и не знаю, что делать.

Мало того что я имею такие добрые вести из Мариенбада, мне еще не хватало стыда и позора, которые доставила мне твоя Эстер, так что я должен краснеть перед каким-то Берлом Чапником, которого я остерегаюсь как огня. Если бы я стал тебе рассказывать о наболевшем своем сердце, о горестях и страданиях, которые я испытываю с тех пор, как моя Бейльця в Мариенбаде, то мог бы тебе писать и писать. Но ты не заслужил, Хаим, чтобы я даже отвечал на твои ругательства и сквернословие. Как верно, что сегодня вторник на белом свете, так верно и то, что ты кругом не прав передо мной. Когда ты прочтешь это мое письмо, ты сам скажешь, что поступил со мной не как добрый друг и честный человек, а как враг и низкий человек с жестоким характером. Но давай по порядку, давай ответим на твое письмо — от начала и до конца.

То, что ты ругаешь меня, как мясничиха, и называешь именами, которых не услышишь даже на базаре от торговок, сидящих возле Желязной Брамы, — это бог с тобой! Утешаюсь тем, что ты, видимо, получил основательную порцию от твоей Эстер, выложившей все, что у нее, бедняжки, на сердце, а выместил злобу на мне, хотя бог знает правду, что я чист, быть бы мне так же чистым от всякого зла! И дожить бы мне так до возвращения моей Бейльци и встречи с ней в Варшаве, — это у меня крепкая клятва! — как я ни полусловом не обмолвился твоей Эстер о твоих письмах ко мне или о моих письмах к тебе. Убей меня бог, если я понимаю, каким образом они попали к твоей Эстер! Наоборот, я давно уже подозревал тебя в том, что ты показал своей Эстер мои письма к тебе, — иначе откуда бы ей знать, что я тебя просил присматривать за моей Бейльцей в Мариенбаде, давать ей деньги и тому подобное? Прихожу однажды к тебе домой проведать, как поживает Эстер, и передать ей привет от моей Бейльци, а Эстер мне говорит: «Не было, что ли, у вас более близкого друга в Мариенбаде, которого вы могли бы сделать опекуном вашей Бейльци, кроме моего Хаима?» Я сразу же понял, куда ветер дует, однако набрался духу и ответил: «Что вы, дорогая? Просить вашего

мужа дать Бейльце денег за мой счет— значит, по-вашему, сделать его опекуном?» А она выслушала и говорит: «Знаете, реб Шлойма, давайте больше не будем об этом говорить...»

После таких слов надо, кажется, быть истуканом, чтобы не понять, что либо ты переслал ей письма, которые я тебе писал, либо просто передал ей все, что я писал тебе о моей Бейльце. Я только не понимаю, с какой целью? И еще одно доказательство того, что твоя Эстер знает о моих письмах к тебе: когда я уже собрался уходить, она говорит: «Передайте привет вашей Бейльце и напишите ей, чтобы на обратном пути из Мариенбада, когда она поедет через Берлин и будет у Вертгеймера, пусть имеет в виду и меня...» Откуда Эстер знает, что моя Бейльця была у Вертгеймера? Пророчица она? Или сорока на хвосте принесла ей эту весть из Мариенбада?

Но это бы все еще с полгоря. Ты хотел очернить меня в глазах твоей Эстер и передал ей такое, чего не должен был ни в коем случае передавать. Но что поделаешь, пропало! Что ты имел против меня, зачем ты навлек на мою голову новое несчастье? Я имею в виду Берла Чапника. Откуда этот аферист знает, что я писал тебе о нем и о его мадам, о том, что они уже двадцать лет живут в Варшаве, а ни одна душа не знает, кто такой Чапник и на какие средства он живет, и тому подобное? Такой напасти я никогда не ожидал! Я пуще огня боюсь хотя бы словом обмолвиться об этом человеке и могу тебе поклясться всеми святыми, что, кроме тебя, я о нем никому и никогда дурного слова не сказал. А теперь он спрашивает, что я против него имею? Казалось бы, мы никогда, говорит он, не ссорились, а если и были между нами кое-какие счеты (слышишь? кое-какие!) по квартирной плате, то ведь мы, говорит он, живые люди. Он надеется в ближайшее время, с божьей помощью, рассчитаться со всеми, а со мной в первую очередь, потому что, во-первых, он считает меня порядочным человеком, добрым и с мягким характером (слышишь?!), а во-вторых, ведь мы же, говорит он, теперь в некоторой степени родственники...

«Родственники»? Тут уж я вспылил. Ну, «мягкий характер» и тому подобное еще можно терпеть, но если Берл Чапник заговорил о родстве, то ясно, что он сейчас попросит денег взаймы. Оказалось, однако, что я ошибся. То есть просьбой дать ему взаймы это и в самом деле кончилось, но главной целью его визита, как он сказал, было другое. «Почему это,— спрашивает он,— мое имя все время вертится у вас на языке? Зачем это вы меня оговариваете перед всем светом, так, чтобы весь Мариенбад знал, что я двадцать лет живу в Варшаве и не плачу мяснику и даже Гексельману не заплатил за ужин?..»

Каково было у меня после этого на душе, мне незачем тебе рассказывать, Хаим. Ты ведь не Курлендер, ты собственным умом это можешь понять. Но я спрашиваю: хорошо это — взять мои письма, которые я пишу тебе под строжайшим секретом, и показать мадам Чапник, чтобы она видела, что я пишу тебе о ее муже? И после этого ты возводишь на меня поклеп, будто бы я показал твоей Эстер твои письма ко мне, да еще нападаешь на меня с ругательствами и оскорбляешь меня, как последнего из последних?! Нет, Хаим, я тебя ругать не стану, как ты ругаешь меня. Я — не ты. Но сказать скажу, что ты низкий человек, с ничтожным, грубым характером и к тому же сумасшедший и зазнайка! И больше мне не о чем с тобой разговаривать. «У быка, говорят, язык хоть и длинный, а трубить он не может...»

Твой друг *Шлойма Курлендер.*

24

Ханця Марьямчик с Налевок в Варшаве — своему мужу Мееру Марьямчику в Мариенбад

Дорогой Марк!

Напрасен твой труд, и ни к чему сладкие письма, в которых ты объясняешься мне в любви. Я уже знаю, ради чего ты поехал за границу. Я уже знаю, ради

кого ты так рвался в Мариенбад. Слишком поздно только я об этом узнала, горе мое горькое! Не будь я такой дурой, я должна была бы гораздо раньше предвидеть это, не верить такому аферисту, как ты, что доктор велит тебе ехать в Мариенбад. Посылаю тебе, Марк, подарок: письмо, которое Шлойма Курлендер пишет нашему Хаиму, и письмо нашего Хаима к его другу Шлойме Курлендеру. Теперь ты поймешь, откуда я знаю все, что происходит у вас в Мариенбаде. У меня перед глазами эта негодница, которую Шлойма Курлендер привез в дом на третьей неделе после смерти жены, взял ее, болячка ему, в чем мать родила только за ее рожицу смазливую. Теперь все ясно. Теперь я уже все понимаю. И будь уверен, Марк, что я уже недолго буду тебе мешать. Скоро-скоро я развяжу тебе руки. Скоро-скоро я освобожу тебя. Два раза был у меня сегодня доктор. Он говорит, что я серьезно больна, что у меня задета печень и что мне нужен Карлсбад, как человеку жить нужно. Но я в Карлсбад не поеду. Слышишь, Марк? Я лучше в могилу сойду, чем ехать в Карлсбад, видеть, как ты там бегаешь за бесстыжими бабенками, как ты летишь на вокзал встречать их, как ты приводишь их к себе в гостиницу, как ты гуляешь с ними по Мариенбаду и как ты водишь их по театрам, кинематографам и ресторанам. Горе мне, до чего я дожила! Если бы родители мои встали из могилы и посмотрели, во что превратилась их младшая дочка Ханця! Почему я не погибла в утробе матери прежде, чем узнала тебя! Лютая смерть могла бы забрать твоих родственников — Велвла Ямайкера и Ямайчиху, которые выписали тебя сюда из Одессы! Проклят будь тот день, когда я повстречалась с тобой! Недаром моя Эстер много раз намекала, что я должна следить, куда ты ходишь и с кем встречаешься в Варшаве. Я знала, что ты гоняешься за пташками, но поди знай, что женушка Шлоймы Курлендера сговорится с ним вместе ехать в Мариенбад! Где были мои глаза? Где была моя голова? И что ты воображаешь, Марк? Я знаю твои планы, поверь мне, что знаю. Я тебя хорошо знаю. Ты рассчитываешь, что

этот дурак Курлендер узнает о твоем романе и тут же разведется с Бейльцей, а ты разведешься со мной, и тогда вы в добрый час поженитесь? Хворобу! Ни Шлойма не разведется со своей женой, ни я не приму твоего развода. Скорее я умру от печени, нежели по доброй воле освобожу тебя, чтобы ты мог снюхаться с этой паскудницей, продавшей себя за деньги старому хрычу, у которого дочери старше ее! Представляю себе, как бы ты был безутешен, если бы я, не дай бог, померла, и как бы ты меня оплакивал! Я даже не знаю, перенес ли бы ты такое горе... Однако погоди радоваться, Марк! Не так-то скоро я помру. Я еще тебя хорошенько помучаю. Ты еще похвораешь у меня, поседеешь и состаришься. Разве что вы с ней, с этой вертихвосткой, подниметесь и удерете куда-нибудь к черту на рога, в какую-нибудь Америку. Но на какие шиши вы поедете? Муж посылает ей деньги через нашего Хаима через час по столовой ложке. Ты можешь в этом убедиться из писем, которые я тут прилагаю. А ты? Ты уговариваешь меня уступить мою часть наследства Хаиму и получить у него деньги, чтобы тебе было на что шарлатанствовать? Не дождешься ты этого! Я вызвала сюда твоего папашу из Одессы. Не сегодня-завтра он должен приехать. Пусть посмотрит, какой у него сын! Пусть увидит, что ты из меня сделал за короткое время. Разве могу я показываться на улице? А стыд! Берл Чапник, с одной стороны, и Велвл Ямайкер, с другой, таскаются всюду, треплют языками и передают радостные вести о тебе, и твоем шурине Хаиме, и наших налевкинских дамочках, которые забрались с вами в Мариенбад и прожигают там жизнь. Но, видно, тебе мало позора и сердечных мук, которые ты мне доставляешь. Тебе еще понадобилось очернить меня перед чужими людьми своей «Спесивой невестой». А я, дура, послушала тебя, отнесла эту «Спесивую невесту» в редакцию. Меня там на смех подняли! Они там покатывались от хохота и вернули ее мне. «У этой басни, — говорят они, — длинная борода...» Что они хотели этим сказать, я не знаю, но я еле двери нашла. Не хватало мне горестей! Теперь я сижу и жду

не дождусь твоего папаши, — скорее бы он приехал, тогда он тебя вызовет из Мариенбада. Довольно уже тебе сидеть за границей и лечиться, ты уже вылечился. Приезжай лучше домой к твоей больной жене, которую ты, может быть, застанешь на смертном одре...

Ханця.

25

Давид Марьямчик из Одессы — своему сыну Мееру Марьямчику в Мариенбад

Дорогой мой сын Марк!

Только что я получил два письма из Варшавы. У меня в глазах потемнело, и я призываю смерть на свою голову. Не знаю, чего ты от меня хочешь, за что ты отравляешь мне жизнь? Хороши письма! Они способны загнать в могилу. Одно письмо от какого-то варшавянина по имени Чапник. Целое послание о том, что у него имеется пачка изобличающих тебя писем, которые ты пишешь двум молодым женщинам в Мариенбаде. Он хотел было показать эти письма твоей Ханце, но пожалел ее, как бы они не убили ее на месте. Она и без того, пишет он, серьезно больна. Поэтому он пишет мне, чтобы я приехал в Варшаву, тогда он мне покажет эти письма и посоветует, что делать... Не знаю, кто такой этот Чапник. Мне почему-то кажется, что он аферист. Не знаю также, кто такие эти налевкинские дамочки, и не знаю, какие у тебя дела с ними в Мариенбаде. Я знаю только, что с тех пор, как ты родился на свет божий, ты гонишь меня в могилу! Учиться ты не хотел, в дело ты не годишься; ты умеешь только тратить деньги, хорошо одеваться и играть на бильярде. Больше ты ничего не умеешь. Я думал: женю тебя, тогда ты остепенишься. Не пожалел тебе денег в приданое, отдал тебя в порядочный дом, к богатым людям... А в конце концов вижу, что ты остался таким же шалопаем, каким был в Одессе до женитьбы. Не знаю, о чем ты думаешь!

Второе письмо получил от Ханци. Она зовет меня в Варшаву и просит приехать непременно и как можно скорее. У нее якобы имеются доказательства того, что ты сговорился в Варшаве с женой какого-то старика и удрал с ней в Мариенбад, и дело, пишет она, дошло уже до развода. То есть старый муж намерен развестись со своей женой, а жена эта принуждает тебя развестись с Ханцей и жениться на ней, — черт знает что мне пишут о тебе! Довелось мне на старости лет получать такие добрые вести о тебе. Можешь себе представить мое огорчение и душевные муки! Прямо-таки не знаю, что придумать. Была бы жива твоя мать, я бы послал ее в Варшаву или сам бы съездил посмотреть, что там у вас творится. Но как я могу бросить все дела, покинуть детей как раз теперь, перед их поступлением в гимназию? Не знаю, что раньше делать: ходить ли на биржу делать дела, подыскивать ли жениха для Фани — она уже девушка на выданье — или плюнуть на все и ехать в Варшаву исправлять все, что ты там натворил? Подумай, Марк, что с тобой будет? Пора тебе уже стать человеком! Пора перестать вгонять в могилу твоего отца

Давида Марьямчика.

26

Доктор Зайденер из Мариенбада — своему коллеге в Кишинев

Дорогой коллега!

Какого черта ты торчишь в Кишиневе? Надо быть злодеем, разбойником, чтобы сидеть в Кишиневе, когда на свете существует Мариенбад! Послушай меня, приезжай в Мариенбад, тогда будешь знать, что такое жизнь на земле! Отдохнешь немного, отряхнешь с себя кишиневскую пыль, увидишь мир и почувствуешь себя другим человеком! Я сам приехал сюда совершенно неожиданно. Собирался в Эмс или в Висбаден, но случилось так, что я ехал в вагоне вместе

с компанией коммивояжеров из Лодзи. То есть один из них вояжер, а другой — аптекарь, кажется, из Ломжи. И всю дорогу мы резались в «пятьсот одно». Играют они оба в «пятьсот одно» так ловко, что даже опасно. Боюсь, не шулеры ли они. Мне сразу же не понравилось их перемигивание и их язык. За картами они говорят на каком-то странном языке. Спрашиваю: «Что это за язык, ребята?» А они отвечают: «Священный язык! Древнееврейский». И продолжают: «Шишим шейш... Мейо вехамишим... Шели́-шели́...»[1] Тогда я говорю им: «Ребята, если хотите играть в «пятьсот одно», говорите на каком угодно языке, только не на древнееврейском, потому что я не сионист». Тогда они рассмеялись, оставили «священный язык», но стали перекидываться вообще какими-то странными словечками. Например, когда один из них поднимает три прикрытые карты, он произносит: «Слава тебе, тетереву, купил-таки три хорошие карты, — зодик, лакриц и Биньомин». Или: «Поздравляю, Иче-Майер женил своего Хемла на лудморской девке...» Теперь-то я уже знаю, в чем дело. На их языке «зодик» — десятка червей, «лакриц» — девятка треф, «Биньомин» — валет пик, «лудморская девка» — дама бубен, и так далее... Беда только, что узнал я это уже после того, как эти ребята меня здорово обчистили. Тем не менее мы разошлись, как лучшие друзья, потому что я давно уже не встречал таких теплых парней и весельчаков. Один рассказывает анекдоты, второй поет песенки, умереть можно! Когда нам предстояло расстаться, завязался разговор: куда я еду и откуда? Я говорю: «Из Кишинева в Эмс». А они отвечают: «Дураки едут в Эмс». — «Еду, — говорю я, — не в Эмс, а в Висбаден». А они: «Сумасшедшие ездят в Висбаден». Тогда я спрашиваю: «А куда же едут умники?» Они отвечают: «Умные едут в Мариенбад». — «А что такое в Мариенбаде?» — «Варшавские дамочки!» — «А с чем это едят?» — «Поезжайте — увидите!» Словом, по их раз-

[1] Шестьдесят шесть... сто пятьдесят... мое-мое... *(древнееврейск.)*

говорам и глазам я понял, что надо ехать в Мариенбад. Тогда я взял открытку и написал своей жене: так, мол, и так, не пиши мне в Эмс, а пиши в Мариенбад, потому что в пути я познакомился с двумя известными докторами, один из них профессор, — они меня выслушали и сказали, что кишиневские врачи — сапожники. Эмс, говорят они, для меня яд, а Висбаден — смерть. Мне, по их мнению, нужен Мариенбад, как воздух, и чем раньше, тем лучше, и так далее...

И вот, как видишь, я очутился в Мариенбаде и попал прямо в рай. Ты, наверное, хочешь, чтобы я тебе описал этот рай? Дудки! Ты не хвор приехать сюда. Что ты высидишь в Кишиневе? Посмотрел бы ты, какие женщины! Не бабенки, говорю я тебе, а персики, райские яблочки! Хоть и в париках, но одеваются гораздо лучше, чем в Одессе. А сами хороши, одна другой лучше. Одна и вовсе цитрусовый плод! Звать ее Бейльця. Посмотрел бы ты, какой это симпомпончик, — тебя бы кондрашка хватила. Опишу тебе ее: глазки — черные вишни, щечки — румяная слива, зубки — белый жемчуг, носик — точеный, шейка — слоновая кость, а одевается — черт меня побери! И такой вот бонбончик должен принадлежать какому-то старому хрычу. Все здесь подыхают по ней. А больше других пляшет вокруг нее какой-то одессит, варшавский зятек, по имени Марьямчик — хвастун, лгун, ветрогон... Выглядит, как кадет*. У меня с ним произошел небольшой инцидент, чуть не окончившийся дуэлью. Из-за глупости, но об этом стоит рассказать.

В Мариенбаде обретается некая варшавянка, которую зовут Ямайчиха. У нее трое дочерей, малость переспелых, но задирают носы и ищут женихов. А так как у меня на носу не написано, что я женатый, то они приняли меня за жениха, и вот мать и все три дочери балуют меня, как единственного сына. И сват морочит мне голову, и все знакомые считают меня женихом и подзуживают меня. Больше других уговаривает меня жениться одна варшавская бабенка, видно, порядочная авантюристка: курит папироски и

играет с мужчинами в преферанс. Зовут ее мадам Чапник. Эта Чапник донимает меня. Уверяет, что Ямайчиха богата, как Крез, что в Варшаве у них собственные дома, и магазины, и участки, и так далее. Короче говоря, мне сватают невесту, а я в дурачка зашиваюсь: невесту так невесту. Дело мне большое! Но вот случилось так, что одессит, о котором я тебе пишу, состряпал о дочерях Ямайчихи стишки на жаргоне. Стишки эти чужие, он их украл и чуть переделал, но выдает за свои. Я его разоблачил, поднялся скандал, и дело дошло до дуэли. Его счастье, что он попросил у меня прощения и публично признался, что стишки не его, что он их украл, переделал и так далее. В общем, я живу здесь неплохо и ничуть не жалею, что нахожусь в Мариенбаде, а не в Эмсе. Послушай меня и приезжай. И скажи Сереже, чтобы и он приехал в Мариенбад. Чего он там высидит в пыльном Кишиневе? Мне пишут, что вы там занимаетесь ерундовскими делами. Собираетесь, говорят, ехать в Петербург с депутацией насчет «потешных». К чему? Было бы, конечно, справедливо, чтобы еврейских ребят допускали в «потешные полки». Но наш Володька (Пуришкевич) * не станет дремать. Пиши мне, что слышно в клубе? Кому идет карта, а кто в землю зарывается? Я здесь в карты играю редко. Играю больше во флирт, и везет мне, — дай бог дальше не хуже! Пиши мне часто. Но лучше было бы, если бы ты сам приехал. И не один, а с Сережей.

Целую тебя.

Твой друг *Альфред Зайденер.*

27

Бейльця Курлендер из Мариенбада — своему мужу Шлойме Курлендеру на улицу Налевки в Варшаву

Моему дорогому, просвещенному супругу Шлойме, да сияет светоч его!

Сообщаю тебе, что мне здесь очень нехорошо. А именно, я чувствую себя еще более нервной, чем

была в Варшаве. Боюсь, что и лечение мое и весь этот Мариенбад выброшены на ветер. А кто виноват, как не ты? Потому что коль скоро я в Мариенбаде окружена шпионами, так ведь и жизнь моя в опасности. Я совсем не знала, Шлойма, что еще до того, как я приехала в Мариенбад, ты себя обеспечил шпионами, которые следят за каждым моим шагом, где я стою, где хожу, что ем, когда пью и с кем говорю. Это, право же, очень мило с твоей стороны, когда ты жалуешься другу на свою жену и сообщаешь ему, что я транжирка, и просишь его разъяснить мне, что дела твои не блестящи... А он, твой «добрый друг», и в самом деле так хорош, и честен, и благороден, что берет твои умные письма и отсылает их своей Эстер, а та передает их своей сестре Ханце, а Ханця пересылает их сюда, в Мариенбад, своему мужу Меерке Марьямчику, или, как ты его называешь, «одесскому шарлатану». Но «одесский шарлатан», если хочешь знать, гораздо благороднее твоего «доброго друга». Шарлатан! Но если бы не он, я бы не знала, что у тебя в Мариенбаде имеются шпионы и «добрые друзья», которые следят за каждым моим шагом. Счастье, что твои письма не попали в руки Ямайчихи, — тогда бы все Налевки знали твои секреты, которые ты поверяешь твоим «добрым друзьям». Они готовы купить тебя и продать, а ты веришь в них, как в бога. Уж если на то пошло, то я должна тебе раскрыть глаза, Шлойма, чтобы ты знал, кому можно доверять, а кому нет. Посылаю тебе парочку писем твоего «доброго друга», присланных мне вскоре после моего приезда в Мариенбад. Прочти эти записки, — получишь удовольствие. Надеюсь, что после этого ты больше не станешь писать ему, не будешь поверять ему тайн, а меня перестанешь есть поедом за то, что я знаюсь с одесскими шарлатанами, с кишиневскими неудачниками, с лодзинскими франтами и тому подобное. Потому что твой доверенный, Хаим Сорокер, если хочешь знать, в тысячу раз хуже своего шурина Меера Марьямчика, хоть Меер и шарлатан и хотя он так осточертел мне своими письмами, что я вынуждена была попросить его больше мне таких писем не

писать, не то я перешлю их его Ханце. Я хочу, чтобы ты видел, что черт не взял их, и посылаю тебе эти письма вместе с письмами Хаима Сорокера. Может быть, ты поймешь наконец, что тебе не нужны здесь ни опекуны, ни шпионы, ни защитники. Я и сама, с божьей помощью, могу постоять за себя. Взять к примеру тех двух чудаков, которые ехали со мной из Берлина и распрощались со мной в Мариенбаде на вокзале. Думаешь, я их потом не встретила в Мариенбаде? Такую бы им болячку! Теперь их здесь уже нет, но в первое время они мелькали перед глазами. Я, понятно, отворачивалась, притворялась, что не узнаю их... Думаешь, они были в отчаянии? Не беспокойся, они здесь болтались не одни. Есть еще достаточно дам и женщин. Есть Броня Лойферман и Лейця Бройхштул, есть Шеренцис и Пекелис и еще такие же тихони, и все они не слишком привередливы: был бы мужчина в шляпе, — вот и кавалер. А тем более такие кавалеры, как эти двое, болтуны, каких свет не видал! Один из них, тот, что поцеловал меня и заработал пощечину, рассказывает анекдоты так, что умереть можно, а второй поет песенки — куда там наш «Элизиум-театр»! Можешь себе представить, что даже Ямайчиха не выдержала, стала кокетничать с ними и у источника познакомила их со своими дочерьми. А потом она узнала от свата, что эти чудаки женаты, и спровадила их. Ты, пожалуй, спросишь, почему они сразу не сказали, что женаты? А Марьямчик? А твой доверенный Хаим Сорокер? Ведь он-то уж наверное женатый и детей имеет чуть ли не моего возраста. Как же это он позволяет себе писать такие любовные записочки, и — кому? Жене своего друга, за которой ему поручено наблюдать!.. Поверь мне, Шлойма, немало слез я вчера пролила. Я все думаю, зачем мне нужен был богатый муж? Разве не лучше было бы выйти за равного мне? Правда, я, может быть, не ездила бы в Мариенбад. Ну и черт с ним, с Мариенбадом. Если хочешь знать, он ничего мне не дал. Наоборот, с тех пор как я здесь, я потеряла больше двух фунтов. Я спросила доктора, что делать, а он говорит:

«Кушать побольше, гулять поменьше, а главное, не огорчаться и не волноваться». Удивительно умный доктор! Это я и без него знаю. Я спрашиваю: может быть, лучше мне поехать во Франценсбад? А он говорит, что ничего не имеет против. В таком случае, почему бы мне не съездить во Франценсбад? Говорят, это отсюда рукой подать. Франценсбад — это курорт чуть ли не для одних женщин. И все, говорят, там дешево, даром. Броня Лойферман давно уже собирается во Франценсбад, и Лейця Бройхштул — тоже туда, а Шеренцис и Пекелис, наверное, тоже потащатся следом. Они мне во всем подражают. Куда бы я ни пошла, они тоже идут, что бы я ни надела, им нравится. Посмотрели бы их мужья, эти Иче-Майеры, как ведут себя в Мариенбаде их жены, они получили бы большое удовольствие. Но я не желаю вмешиваться в чужие дела, у меня достаточно своих забот и горестей. Если бы я знала, что меня в Мариенбаде ждет такое «лечение», не поехала бы я сюда ни за какие деньги! Я бы не стала слушать мою родственницу и поехала бы лучше в Висбаден или в Остенде. Там хотя бы есть море и можно купаться. А здесь что? Сгораешь от жары, да еще на тебя клевещут налевкинские балаболки... А из-за кого? Из-за тебя и твоих «добрых друзей», в которых ты веруешь, как в цадика. После того как ты прочтешь его «любовные записочки», адресованные мне, ты, я надеюсь, увидишь, кто такой Хаим Сорокер, и перестанешь ему писать письма и доверять секреты. А когда захочешь мне послать деньги, так на то есть почта. А что касается моих дядей, о которых ты мне пишешь, то упаси тебя бог устраивать их на должности, потому что, если что-нибудь будет не так, ты станешь попрекать меня и говорить, что я и моя родня тебя разоряем. Дай им лучше сколько-нибудь на дорогу и пусть они едут в Америку, тогда ты будешь знать, что избавился от них раз и навсегда, и дело с концом. И прошу тебя не посылать мне больше переводов через твоих «добрых друзей» и «доверенных лиц». И, ради бога, присматривай за домом и скажи Шеве-Рохл, чтоб она не торопилась ставить огурцы на зиму сейчас, когда так

жарко и огурцы — на вес золота. И напиши мне, так ли жарко и в Варшаве, как здесь: даже одеться невозможно как следует, чтобы выйти из дому. Дожить бы мне до того времени, когда отсюда можно будет уехать на другой курорт. Мариенбад и налевкинские кавалеры с их любовными записками мне так опротивели, — пусть меня бог не накажет за такие речи, — что я на них уже и смотреть не могу.

От меня, твоей жены *Бейльци Курлендер*.

23

Хаим Сорокер из Мариенбада — Бейльце Курлендер в Мариенбад

Глубокоуважаемая мадам!

Я у бога в стряпчих не состою, чтобы наблюдать за чужими женами и подмечать чужие ошибки. Все же я не могу сдержаться после того, как вы вчера так холодно меня приняли, и должен разъяснить вам, что собой представляет та личность, с которой я вчера вас встретил. Может быть, вы не знаете, кто это, — мне даже неприятно говорить о родственнике, — а он мой шурин, и я его хорошо знаю. Просто позор с ним встречаться, а тем более показываться с ним на улице. Помимо того что он пользовался дурной славой еще когда жил у себя в Одессе, он к тому же дикий хвастун и скандалист. Пишу вам об этом только потому, что ваша честь и честь вашего мужа мне дороги, как моя собственная честь. Я выполнил свой долг только из личной симпатии к вам. Вы приехали из Берлина, и вам, наверное, нужны деньги? Я и моя касса всегда к вашим услугам.

Друг вашего мужа *Х. С.*

29

Меер Марьямчик из Мариенбада — Бейльце Курлендер в Мариенбад

Милая моя мадам Курлендер!

Я вижу, что вы избегаете меня, и потому я вынужден обратиться к вам по почте. Не понимаю, чего вы так стесняетесь? Если вам неловко встречаться со мной в еврейском ресторане или в кафе «Эгерлендер», приходите лучше в «Кафе Франсе», где вы были на днях с вашей родственницей, мадам Чапник. Лучше было бы, если бы вы пришли одна. Я должен сообщить вам интересную вещь о моем шурине Хаиме Сорокере... Кстати, о чем это он с вами секретничал у источника? Неужели вы допустите, чтобы такой ростовщик, как мой шурин, за вами ухаживал? О чем он с вами будет говорить? Об игре в «очко», которой он занимается дни и ночи напролет? Или о векселях и гешефтах на Налевках?.. Жду вас между четырьмя и пятью.

До приятного свидания.

М. М.

30

Хаим Сорокер из Мариенбада — Бейльце Курлендер в Мариенбад

Уважаемая мадам!

Я не понимаю, зачем вам нужно было посылать ко мне человека? Если вам нужны деньги, вы могли сказать мне вчера в ресторане. Я вам говорил, как только вы приехали, что моя касса открыта для вас всегда, в любое время. Если вам неудобно приходить ко мне, я могу прийти к вам. Я ради вас труда не пожалею, во-первых, ради вашего мужа, а во-вторых, ради вас самих... Я бы сразу послал деньги через

вашего посланца. Но, во-первых, мне нужно обменять русские рубли, а во-вторых, мне хочется вручить их вам лично, я хочу служить вам, чем могу... Разве такое желание преступно?.. Ровно в одиннадцать я буду у источника или в половине двенадцатого — в «Мирамонте». Лучше было бы в «Мирамонте». Там мы могли бы поговорить с глазу на глаз. Я должен вам передать о вашем муже очень интересную вещь... И хочу предложить вам другую гостиницу. Это в ваших интересах... Не нравится мне ваша теперешняя гостиница. Право же, в моей гостинице вам будет лучше, и дешевле, и веселее. У нас тут своя компания. Мы очень приятно проводим время. А когда нечего делать, играем в картишки. Преимущественно — в «очко». Ваш муж тоже этого не чурается. А вы?

Итак, от одиннадцати до половины двенадцатого.

С дружеским приветом
Хаим С.

31

Меер Марьямчик из Мариенбада — Бейльце Курлендер в Мариенбад

Как вам не стыдно? Я просидел два часа в «Кафе Франсе», ждал, думал, вы придете, и напрасно! Как можно быть такой жестокой? Вы забыли, что после того, как я вас встретил на вокзале, вы сами сказали, что не знаете, как меня отблагодарить? Теперь, когда я прошу вас о таком пустяке, вы мне отказываете! Даю вам честное слово, когда я вижу вас с моим шурином Сорокером, я притворяюсь, что не замечаю вас, хотя мне это очень больно. Ведь он мой близкий родственник. Но если бы вы знали то, что знаю я, вы бы с ним больше не встречались и даже не отвечали бы ему на поклоны. Вы думаете, я говорю это из ревности? Уверяю вас, — нет. У меня в руках имеется доказательство того, что он вас оскорбляет и оклеве-

тал вас и вашего мужа до последней степени... Я затеваю на будущей неделе прогулку в Эгер. Там есть что посмотреть. Если вы присоединитесь к нашему обществу, я передам вам доказательство, о котором говорю. А пока остаюсь вашим лучшим другом

М. Д. М.

32

Хаим Сорокер из Мариенбада — Бейльце Курлендер в Мариенбад

Беда с этими налевкинскими женщинами! Дома видишь их только по субботним дням в Саксонском саду. Но стоит им приехать сюда, за границу, как они уже и сами не знают, куда кинуться. Я не читаю вам морали и не слежу за вашим поведением. Но меня удивляет, почему, когда я просил вас быть в «Мирамонте», где я хотел сообщить вам необходимую вещь, — вы не пришли, а вот с компанией жуликов в Эгер поехали. Вам, очевидно, с ними приятнее проводить время, — ну что ж, помогай вам бог... Может быть, вам нужны еще деньги? Сегодня вечером надеюсь встретить вас на променаде.

Ваш лучший друг

Хаим Сорокер.

33

Меер Марьямчик из Мариенбада — Бейльце Курлендер в Мариенбад

Дорогая Бейльця!

Извините, что позволяю себе такую фамильярность, хотя мы с вами еще не настолько близки. У меня такая привычка: человека, которого я ува-

жаю, я обязательно должен называть по имени, а тем более вас, которая меня очаровала с первой встречи!! Скажите мне, душенька, неужели правда то, что ваша родственница Чапник рассказала мне, что вы будто бы молитесь над свечами по пятницам вечером? Если бы мне это рассказали о мадам Шеренцис и мадам Пекелис, я бы поверил, потому что они необразованные, да и глуповатые к тому же. Хотя мне известен факт, и не один, а несколько фактов, показывающих, что в Мариенбаде Шеренцис и Пекелис тоже не так строги, как в Варшаве на Налевках. Там перед «Иче-Майерами» им пристало благословлять свечи по пятницам, а тут я докажу вам, что буду с ними в субботу кататься на лодке*, или не будь я Марк Давидович! Скажите мне, душенька, откровенно: после того, как я показал вам письма, вы убедились, кто такой мой шурин? Очень прискорбно, что я вынужден общаться с вами при помощи записок, но что делать, когда нам не дают остаться наедине ни на секунду! Как вам нравится басня, которую я сочинил о дочерях Ямайчихи? Напишите мне пару слов хотя бы на память. Неужели вы боитесь или не доверяете мне даже теперь, после того как я дал вам такие доказательства?

Ваш *Марк.*

31

Хаим Сорокер из Мариенбада — Бейльце Курлендер в Мариенбад

Вы требуете от меня, чтобы я сказал вам это слово, — так вот я вам и говорю: встречаться с вами мне гораздо приятнее, чем со всеми нашими налевкинскими женщинами, вместе взятыми. Теперь вы довольны? Или вы хотите, чтобы я сказал и то, что я уже однажды чуть не сказал, а об остальном вы и сами догадались?.. Теперь я понимаю, почему ваш муж так дрожит над вами. Когда имеешь такое сокровище, невозможно спокойно спать... Вы знаете, — я не из тех, что расточают комплименты. Но от правды никуда не уйдешь. При вашей внешности,

будь у вас и сердце немного мягче, вы покорили бы весь мир... Когда мы увидимся? Сколько вам еще нужно денег? Буду ждать вас в еврейском ресторане за столиком, где я постоянно сижу.

Ваш *Хаим.*

35

Меер Марьямчик из Мариенбада — Бейльце Курлендер в Мариенбад

Душенька! Любонька!

Спасибо, что вы так резко обрубили крылья моему шурину Хаиму. Будет знать, как преследовать вас! Как вам нравится такое несчастье? Не хватало вам ухажеров, — черт принес дантиста из Кишинева. Не понимаю, как можно не презирать такое ничтожество? Ему предлагают одну из трех дочерей Ямайчихи, — так ему и надо! С какой стати он принимается ухаживать еще за нашими варшавскими женщинами? Мне передали, что он ужасно возмущен моей басней, с которой теперь все носятся. Он ходит по Мариенбаду и распространяет ложные слухи, будто басня не моя, и тем не менее хочет вызвать меня на дуэль. Вот чудак! В чем дело? Если она не моя, то зачем дуэль? Вообще не хочется пачкаться, не то я бы и о нем самом сочинил басню, такую, что она бы дошла до Кишинева. Для меня сочинить басню легче, чем выкурить папиросу. Когда я жил еще в Одессе, я, бывало, ежедневно сочинял не менее двух дюжин басен. И не только басен, — я писал фельетоны, романы, комедии. «Комедию брака» вы когда-нибудь видели? Это мое сочинение. У Юшкевича * тоже есть «Комедия брака», но от нее с души воротит! Вообще я не хочу перед вами рисоваться, но вы меня еще очень мало знаете. Надеюсь, что когда меня узнаете ближе, вы совершенно измените ваш взгляд на меня и ваши отношения ко мне.

Ваш *Марк.*

38

Шлойма Курлендер с Налевок в Варшаве — своей жене Бейльце Курлендер в Мариенбад

Дорогой моей супруге, госпоже Бейльце, да здравствует она!

Я получил твое письмо и прочел пачку любовных записок обоих шуряков. Что сказать, что говорить, дорогая моя Бейльця? Светопреставление! Если женатые евреи, отцы семейств, могут по нынешним страшным временам заниматься такими пустяками, бегать за чужими женами, так ведь и в самом деле, как ты говоришь, жизнь в опасности! Гвалт, боже мой! Кто первый выдумал эту заграницу? Разве не лучше было бы ей провалиться, как Койрах*, или сгореть, подобно Содому*, до того, как я услышал о загранице? Я вижу, дорогая моя Бейльця, что этот Мариенбад обрушился на мою голову не на шутку и хочет меня уничтожить. Если бы не самый разгар строительства, — стены уже вывели под крышу, — я бы не посмотрел ни на что, я бы всем пожертвовал, — провались оно ко всем чертям! — и съездил бы в Мариенбад — посмотреть, что это там за несчастье на мою голову, почему ни один черт, ни один дьявол тебя стороной не обходит, почему такой жребий пал только на тебя? Почему со мной такие чудеса не происходят? Почему мне не пишут таких льстивых записочек, как тебе? И почему же ты ему тут же не ответила, этому толстопузому Хаиму Сорокеру? Зачем тебе надо было ждать, покуда этот бессарабский курощуп напишет мне еще и еще раз? Да и что это вообще у вас там за манера тратиться на почтовые марки, писать письма, когда находишься в том же городе? Если ты видишься с ним на улице, ты ведь можешь его остановить и сказать: «Реб Хаим!» — или: «Пане Сорокер! Что вам угодно? Вы учитесь писать письма на старости лет? Или вам нечего делать? В таком случае вы могли бы биться головой об стенку...» Можешь быть уверена, дорогая Бейльця, эти записки ему боком выйдут. Хоть он и говорит, что Курлен-

деры недосолены, а ты пишешь, что я выдохся, но я тебе докажу, что у бессарабца в голове нет того, что у Курлендера в пятке. Я придумал кое-что и проделал такую штуку, которая, уверяю тебя, стоит трешницы! Все Налевки и вся Варшава пальчики оближут! Что касается писем этого шалопая Марьямчика, то я их тут же отнес его Ханце,— пусть наслаждается. Она трижды падала в обморок, ее еле привели в чувство, и даже вызвали доктора... А с письмами Хаима Сорокера я проделал совсем другую штуку. Сейчас услышишь: так как в его письмах к тебе не упоминается ни твое, ни мое имя, а места там достаточно, то я на первых двух письмах проставил имена Брони Лойферман и Лейци Бройхштул, а на других двух — имена Шеренцис и Пекелис и передал эти письма их мужьям, каждому свое, — пускай почешутся! Где это сказано, что я один должен страдать? Пускай они тоже не спят по ночам, как я! Пускай они испытывают муки ада, пусть знают, что такое Мариенбад... А для Сорокера это будет возмездием, «око за око», оплеуха за оплеуху, или, как в деревне говорят: «Хто яму копае, той сам попадае...» Как тебе это нравится? Не правда ли, ловко придумано? Вот тебе и Курлендер!

А теперь, дорогая Бейльця, оставим этих собак с их любовными записками и поговорим о тебе, о твоем лечении и о твоих новых знакомых в Мариенбаде. Мало тебе Хаима Сорокера и Меерки-шарлатана, привязался еще новый волокита, — я имею в виду все того же кишиневского дантиста. Поверь мне, я очень хорошо понимаю, что все это — чепуха, глупости. Не укусит он тебя, как ты говоришь. И получит он от тебя то же самое, что получили Хаим Сорокер и Меер Марьямчик. То есть он, наверное, напишет тебе парочку любовных писем и записочек, и тем дело кончится. Но я тебя спрашиваю: к чему это мне? Какая мне польза от того, что весь Мариенбад и вся Варшава будут знать, что существует в Кишиневе дантист, который дерется с Меером Марьямчиком из-за жены Шлоймы Курлендера? Тайн, говорю тебе, нет. Ты должна знать раз навсегда, что все сказанное в

Мариенбаде слышно в Варшаве. Пусть кто-нибудь у вас в Мариенбаде чихнет, ему на Налевках ответят: «Будьте здоровы!» Говорят: «Что человек ищет, то он и находит», и: «Каков привет, таков и ответ...» Если человек поехал за границу лечиться, то надо думать о лечении. Тебе, говоришь, не нравится Мариенбад, ты хочешь переменить место? Знаешь, мне с самого начала Мариенбад не нравился, и я был бы рад, если бы ты переехала на другой курорт. Но я не понимаю, дорогая Бейльця, — ты сама пишешь мне, что от Мариенбада до Франценсбада рукой подать, — значит, и надо руку протянуть! Зачем же плакать и рыдать? Я посылаю тебе деньги и прошу тебя: не позорь меня, переезжай сейчас же во Франценсбад, но только без провожатых, без благодетелей и поводырей... Я тебе вот что посоветую: встань пораньше, когда сам бог еще спит, садись и переезжай, и начни лечение с самого начала, и забудь, что существует на свете Мариенбад с кавалерами, одесситами, дантистами и прочими шарлатанами. Сделай по-моему хотя бы один раз, и тогда увидишь сама, что я тебе в гораздо большей степени верный друг, чем все остальные. Я говорю это не потому, что я тебя, упаси бог, в чем-нибудь подозреваю или имею что-нибудь против них, ибо что, собственно, они мне сделали, и разве трогает меня то, что они там вертятся вокруг тебя? Вертеться бы им вокруг ангела смерти! Я только хочу уберечь тебя от злых языков. Я не хочу, чтобы Ямайчихе было о чем говорить. Я хочу, чтобы Меерке-шарлатану не о чем было пачкать пером и чтобы даже такая бессарабская мамалыга, как Хаим Сорокер, не смел больше писать любовные записочки чужим женам... Что угодно я мог бы ожидать от него, только не этого. Вот и поди знай, кто тебе друг, а кто — враг. Ведь Берл Чапник золото в сравнении с ним. А я-то был так глуп, я доверился ему и наговорил о Чапнике бог знает что, а он, видимо, не поленился и показал все это Чапничке. Теперь весь огонь направлен против меня! Берл Чапник прибежал ко мне сам не свой и выклянчил-таки у меня заем без отдачи. Однако и этот сорокский боров, положим, во мне не обманулся.

Я на днях обрадовал его письмецом, в котором основательно надавал ему по морде, — десятому закажет! И не беспокойся, — о его письмах к тебе я даже не упомянул. И прошу тебя, дорогая Бейльця, напиши мне, сколько ты у него набрала за все это время и подписывала ли ты расписки, или он давал тебе деньги просто так, на слово? Было бы очень полезно проучить такого пса, чтоб не лаял! И послушай меня, дорогая Бейльця, уезжай из этого поганого Мариенбада, будь он проклят! Но только ни с кем не езди, поезжай одна и напиши мне, сколько времени ты рассчитываешь пробыть за границей и когда думаешь вернуться, с божьей помощью, домой, дай бог в полном здравии? И куда намерена ехать? Ты пишешь мне, что во Франценсбад, а, как я слыхал (нет секретов на белом свете), ты собираешься совсем в Остенде! Напиши мне, где находится это Остенде? И пиши, с кем ты едешь в Остенде? Наверное, с какой-нибудь знакомой дамой? И будь здорова, и дай бог мне дожить уже до того времени, когда ты вернешься после лечения. Тогда я пожертвую обоим твоим дядям на дорогу, пусть уедут в Америку, потому что житья от них нет, — дерут со всех сторон. Стоит ужасная жара, дороговизна еще больше возросла, а нищих такая уйма, что никуда от них не спрячешься... Подтверди немедленно получение денег и, ради бога, поменьше гуляй и побольше лечись, потому что твое здоровье для меня важнее всего.

Твой супруг *Шлойма Курлендер.*

37

Гирш Лойферман с Налевок в Варшаве — Хаиму Сорокеру в Мариенбад

Уважаемому, просвещенному богачу Хаиму Сорокеру, да сияет светоч его!

Вас, наверное, чрезвычайно удивит, почему я вдруг обращаюсь к вам с письмом, хотя у нас с вами ни-

когда никаких дел не было, и мы, если хотите, даже не так близко знакомы, если не считать того, что в дни осенних праздников молимся в одной молельне. Но если вас это удивит, то меня в гораздо большей степени удивляет, как это солидный человек, купец и отец семейства позволяет себе так обращаться с чужой женой, писать ей любовные письма и предлагать деньги? Кому вы нужны с вашими деньгами? Неужели вы не знаете, что, во-первых, наличными деньгами я, может быть, не менее богат, чем вы? А если угодно, то я, извините, может быть, богаче вас. Потому что если бы мы захотели посчитаться, то вы свое состояние рассовали по рукам и зависите от чужих людей, а кто может знать, что будет через год в случае кризиса? А я, с божьей помощью, располагаю наличными деньгами, так как всему миру известно, что я, слава богу, выиграл по варшавской лотерее наличные деньги и могу себе позволить содержать свою жену не только в Мариенбаде, но хотя бы в Париже... А во-вторых, моя жена не такая, упаси бог, как некоторые другие жены, вроде мадам Чапник, например, или женки Курлендера, с которой ваш шурин, одесский хлюст Марьямчик, проделывает там, как мы слышали, очень интересные штуки... Вы позволяете себе писать моей жене, извините, такие глупости и делаете такие непристойные намеки, которые порядочному человеку и в голову не придут. При этом вы признаетесь, что «не состоите у бога в стряпчих», и тем не менее упрекаете ее в том, что она встречается с такими недостойными личностями, как ваш шурин. И после этого вы позволяете себе говорить моей жене, что вы и ваша касса готовы к услугам!.. Это уже с вашей стороны, извините, такое свинство, что здесь на месте вам бы за это кости посчитали... И у вас к тому же такие бесстыжие глаза, что вы хвастаете перед моей женой, будто мы с вами близкие друзья-приятели, и осмеливаетесь подписываться «друг вашего мужа». Скажите на милость, с каких это пор вы сделались моим другом? Где вы были в то время, когда я, не теперь будь сказано, валялся в прахе и нищете? Мне кажется, вы меня еле удостаивали ответом на

мои поздравления с субботой или с праздником. И скажите, пожалуйста, кто нуждается в вашей дружбе? Кредитом у вас я никогда не пользовался, да и не искал его, а теперь, благодарение богу, я и подавно в нем не нуждаюсь. Знаете, что я вам скажу? Такие письма, как вы пишете, годятся, извините, для таких особ, как мадам Чапник и ей подобные вертихвостки, но не для порядочных женщин, у которых порядочные мужья.

Вот и все, что я счел нужным сказать вам в горячую минуту. Остальное я выскажу вам, даст бог, когда вы вернетесь здоровым домой и мы встретимся лично. Пока будьте и всего вам.

Цви-Гирш Лойферман.

38

Гирш Лойферман с Налевок в Варшаве — своей жене Броне Лойферман в Мариенбад

Бронечка!

Что это значит, что ты пишешь мне все время, чтобы я посылал тебе деньги и деньги, а о том, что ты там, в Мариенбаде пользуешься, не сглазить бы, кредитом, ты мне не пишешь ничего? Хорошо, что я получил его письмо к тебе, а то я бы даже не знал, как ты проводишь время и каких добрых друзей ты там приобрела, готовых и себя и свою кассу предоставить в твое распоряжение! Что он тебе добрый друг, видно из его письма, адресованного к тебе. Но с каких пор я сделался его «добрым другом», честь которого он намерен «охранять»? Почему я ничего не слыхал о его дружеских чувствах в то время, когда я бедствовал и бегал по Варшаве высунув язык, чтобы одолжить трешницу? Сейчас все они сделались моими добрыми друзьями. О Берле Чапнике и говорить нечего. Этот сразу же после моего выигрыша прибежал сообщить мне радостную весть: он, оказывается, всегда считал меня человеком энергичным. А кончилось это просьбой одолжить ему деньги. Но даже та-

кой человек, как реб Велвл Ямайкер с его окладистой бородой, идет мне навстречу и первый приветствует меня с добрым утром! Я вдруг вырос, я стал фигурой, героем ни с того ни с сего! Казалось бы, тот же Гирш Лойферман, что и прежде, а все же не тот! Даже газеты на первых порах носились со мной, с новым богачом на Налевках. Однако оставим это. Скажи мне, Бронечка, как ты допускаешь, чтобы тебе писали такие письма? Почему ты сама не отослала мне это письмо? И что ты ему ответила на такое письмо? И пиши мне, правда ли, что ты там знаешься с его шурином, с этим шарлатаном? И правда ли, что ты показываешься с ним на улице? И как произошло, что ты, как он пишет, холодно его приняла? А в конце он пишет, что если тебе по приезде из Берлина нужны деньги, то сам он и его касса всегда готовы к твоим услугам. Ведь это же неслыханная на свете наглость! Кроме того, что я пишу ему самому письмецо, от которого у него в глазах потемнеет, я еще с этим его письмом побываю у его жены, пусть она тоже видит и знает, как ее муж «лечится» в Мариенбаде!

Прошу тебя, Бронечка, напиши мне сейчас же о нем подробно, потому что я молчать не намерен! И пиши мне о своем здоровье и обо всем пиши мне.

Преданный тебе муж *Гирш Лойферман.*

39

Калмен Бройхштул с Налевок в Варшаве — Хаиму Сорокеру в Мариенбад

Почтенному и просвещенному богачу Хаиму Сорокеру, да сияет светоч его!

Целью моего настоящего письма является просьба оказать мне любезность и ответить совершенно откровенно и ясно, без уверток и фокусов: какие дела у вас с моей женой, по какому случаю вы пишете ей любовные письма? Вы приглашаете ее к источнику и в «Мирамонт», чтобы поговорить с нею с глазу на

глаз?! Вы предлагаете ей деньги и требуете от нее, чтобы она перебралась к вам в гостиницу *для ее же пользы?!* А главное, вы собираетесь рассказывать ей по секрету *обо мне*???!.. В вашем письме к моей жене вы намекаете, что я не чураюсь картишек и что я играю в «очко». Если это и есть секрет, который вы собираетесь рассказать ей обо мне, то вы ошиблись адресом. Всей Варшаве известно, что в «очко» я не играю. Я играю иногда в «банчок» или в другую игру, но карты не являются источником моего существования. Я не Берл Чапник, у меня имеются другие дела. Итак, что же вы можете рассказать моей жене обо мне? И почему вы в этом заинтересованы? Человек, который пишет такие письма чужой жене, должен иметь веские основания и серьезную цель. О том, что вы сейчас не в ладу со своей женой, я знаю давно, об этом у нас на Налевках говорят много и охотно. Велвл Ямайкер рассказывал мне о вас очень интересные вещи, о вас и вашем шурине Марьямчике. Говорят, оба вы собираетесь разводиться со своими женами. Если так, желаю вам успеха, в добрый час! Остается одно: почему вы так торопитесь обеспечить себя второй женой, в то время как у нее есть еще муж, — дай бог до ста двадцати лет?! Или, может быть, вам известно, что и у нас с женой дело доходило до развода? Но, во-первых, это касается только меня и моей жены, а во-вторых, вы должны были по крайней мере запросить меня письмом, а не избирать такие пути... Кстати, раз речь зашла об этом, я должен вам сказать совершенно откровенно, что если я решу расстаться со своей женой, то сделаю это лишь при условии, состоящем из двух пунктов: 1) я ей детей не отдам ни за какие блага на свете, 2) дети непременно должны быть обеспечены определенной суммой, внесенной на их имя в Государственный банк. Вы — купец и умный человек, и у вас, видимо, такое же несчастье, как у меня: жена негодная. Но вы должны понять, что между вами и мной большая разница. Вы — капиталист, и ваши дети обеспечены, а я — не вы. Я даю вам честное слово, что во второй раз не женюсь. Один раз обжегся — хватит.

Итак, мой друг, если у вас серьезные виды, отвечайте мне немедленно и подробно. А если это у вас всего лишь своеобразный спорт, как у вашего шарлатана шурина, который, как нам пишут из Мариенбада, только и делает, что бегает за чужими женами и пишет им любовные письма, то я не понимаю, как подобное может себе позволить купец, отец семейства, будь он даже богач или миллионер? Само собой понятно, что я не промолчу, и дело может кончиться большим скандалом. Во всяком случае, жду вашего ответа, но только ясного и четкого, без обиняков и намеков... Я только что написал также своей жене в Мариенбад, чтобы она сообщила мне, правда ли, что она посылала к вам человека за деньгами? И почему она прежде всего не спросила меня? И что это за «Мирамонт», куда вы ее приглашаете? И что за секреты вы сообщали ей обо мне? И лишь по получении ответа от нее я буду знать, как мне поступить. Пока что вся эта история представляется мне загадкой.

Надеюсь, что если вы обладаете хотя бы каплей достоинства, вы немедленно объясните мне, что вы имели в виду вашим загадочным письмом к моей жене? Что вы вообще имеете в виду и каковы ваши планы? А главное, какие такие секреты можете вы сообщить обо мне, незнакомом вам

Калмене Бройхштуле.

40

Калмен Бройхштул с Налевок в Варшаве — своей жене Лее Бройхштул в Мариенбад

Милой моей жене Лейце, да здравствует она!

Нехорошо, Лейця, что я должен был узнать о таком важном деле, о таком серьезном шаге из третьих рук. Мне кажется, было бы гораздо лучше для нас обоих, если бы я узнал об этом непосредственно от тебя. Я, правда, давно уже замечал, что у тебя что-то на душе, но ты это всячески скрываешь от меня. Твой неожиданный отъезд за границу, твой выбор Мариен-

бада, — почему обязательно Мариенбад? почему не другой курорт? — и твои редкие и краткие письма ко мне в последнее время, — все это должно было показаться мне странным, но, как известно: «Муж всегда узнает последним...» Я бы никогда не поверил, — да и сейчас не верю, — чтобы ты так низко пала и позволила себе без моего ведома просить деньги у человека, который копает под меня и клевещет ради достижения своих низменных целей. Допустим даже, что, как ты не раз мне говорила, я погубил всю твою жизнь (хотя дело обстоит не так: это ты мою жизнь погубила), но, во всяком случае, было бы гораздо честнее с твоей стороны, если бы ты написала мне: «Так, мол, и так, дорогой Калмен, я хочу быть свободной, потому что мне надоело жить в постоянной нужде и так далее...» Я ответил бы тебе то же, что говорил уже давно, еще когда мы в первый раз разошлись, — помнишь? Есть русская поговорка: «Насилу мил не будешь...» Я и теперь говорю тебе, как искренний друг и как отец твоих детей, что все пути перед тобой открыты. Я дам тебе полную свободу, только с одним условием: ты знаешь, как дороги мне дети, знаешь, что я не хочу расставаться с ними ни за какие деньги. А так как он богат (иметь бы мне хотя бы половину его состояния), то пусть он обеспечит сначала тебя, а потом наших детей. О себе я не говорю. Мне бог поможет и без него. Ты знаешь, что никогда я не был чересчур привередлив, а теперь и подавно. Мне бы только знать, что тебе будет хорошо и что нашим детям не придется зависеть от мачехи. Вот и все, что я хочу тебе сказать. Другой муж на моем месте устроил бы тебе великий скандал. Я не терплю скандалов и авантюр. Поэтому я пишу тебе спокойно и откровенно. Ему я тоже написал сегодня, и полагаюсь на его порядочность, и надеюсь, что он мне ответит ясно, и дело кончится очень просто и не дойдет до насмешек и скандалов, как желает тебе твой преданный муж и во всяком случае — лучший друг

Калмен Бройхштул.

41

Иче-Майер Шеренцис и Иче-Майер Пекелис с Налевок в Варшаве — Хаиму Сорокеру в Мариенбад

(Перевод с древнееврейского)

Мир многоуважаемому, высокопоставленному и почитаемому господину, ученому и просвещенному реб Хаиму Сорокеру — мир во веки веков!

После того как мы приветствуем уважаемого господина, как полагается по обычаю, мы прежде всего разрешаем себе пожелать ему скорейшего излечения и полного исцеления как в рассуждении тела, так и в смысле достояния, и да приведет его всемогущий благополучно домой к покою и занятиям в скором времени, и да не знает он больше ни о болезнях, ни о страданиях, а вместе с ним все сыны нашего народа отныне и во веки веков, аминь!

Сейчас мы повергаем нашу просьбу перед величием нашего господина, дабы он склонил ухо свое и услышал глас наш, глас крови брата твоего, что вопиет из дальней страны по поводу несправедливости, причиняемой нам безо всякой вины с нашей стороны. Мы решили: расскажем хотя бы тысячную долю наших страданий и сердечных мук. Но немощен язык, чтобы говорить, и перо, чтобы описать, и недостаточно места, чтобы все изложить. И лишь в кратких словах попытаемся мы передать отзвук нашего вопля, с силой рвущегося за пределы стен нашего сердца. Выслушайте нас, и вас выслушает бог.

Мы, ниже подписавшие настоящее письмо, — варшавские молодые люди, недавно покинувшие стол отцов своих и применившие руки свои к торговому делу. Господь благословил их деяния, и труд их дал плоды, и имена их обрели силу в свете, и, как случается у наших братьев, сынов Израиля: как только солнце удачи стало светить им в лицо, они тут же начали растрачивать то, что накопили трудами рук своих, и деньги потеряли ценность в их глазах, и больше всего тратятся они на жен своей юности, а

жены их начинают вдруг испытывать всяческие боли во всем теле, начинают обращаться к жрецам медицины, которые посылают сих болящих во все концы света на поиски исцеления для их немощей, а больше чем куда бы то ни было они бывают посылаемы на модный курорт, известный под названием Мариенбад. Само собою разумеется, что мы выполнили обряд Мариенбада по всем пунктам, и со всеми подробностями, и всеми шестьюстами тринадцатью предписаниями, к сему относящимися. Не поскупился глаз наш на деньги, и все, что доктор приказал сделать, мы сделали. И мы выпроводили любимых наших жен в Мариенбад, снабдили их деньгами и сказали им: «Идите в добрый и счастливый час в плодоносную страну, текущую млеком и медом, и найдите там свое исцеление. Не забывайте нас, и время от времени пусть долетают до нас вести от вас о вашем здравии и благополучии, пока не настанет счастливый день вашего возвращения в гнезда к мужьям вашим, господам вашей юности».

Так говорили мы нашим возлюбленным женам и распрощались с ними, и они покинули страну, в которой родились, и прибыли в страну ими избранную, сиречь в Мариенбад, и обещали присылать нам время от времени вести, и сдержали слово свое, писали нам письма о состоянии их здоровья, а также о водах, которые они там черпают из целебных источников. Но вот нежданно прекратились всякие сообщения от них. Почта не приносит нам вестей. Оскудели и высохли все источники их писаний, которые они нам писали, так что мы потеряли голову и сами себе кажемся пребывающими во сне. И вдруг нам раскрыли глаза, и обрели объяснение все наши недоумения. Нам показали черным по белому, кто в этом виноват, кто в этом деле посланец зла. Никогда в жизни мы бы не поверили, если бы мы своими глазами не видели и не узнали вашего почерка и почерка вашего уважаемого шурина, начертанных на бумаге. Глубокоуважаемый и высокопочитаемый господин! Гладкостью ваших языков и сладостью ваших речей вы оба уловили их в свои сети. Полные пригоршни любви излили вы на

них и, очевидно, полагали, что ни один человек об этом знать не будет, ни одно существо не увидит. О горе! Кто мог бы поверить, что там, в далеком Мариенбаде, будет уготован ад? Кто бы поверил, что наши чистые, добродетельные жены, которые в Варшаве прожили бы свою жизнь, не зная греха, могут так оступиться? Кто бы поверил, что в такое время, когда Иаков в беде и Израиль отдан на растерзание, в такое время, когда кровь еврейская льется, как вода, и взывает на дорогах, когда враги торжествуют и пляшут при виде нашего уничижения, когда со всех сторон на нас точат стрелы и тяжелые тучи надвигаются на наше небо, — чтобы в такое время евреи, женатые евреи, отцы семейств, имели в мыслях совершать такие непристойности, заманивать чужих жен куда-то за границу и, прикрываясь необходимостью лечиться и пить целительную воду, совращать их с пути истинного и уводить туда, откуда нет возврата... О небо! Мы думали, что только ваш уважаемый шурин, муж сестры вашей супруги, который славится во всем мире как человек развратный, сбросивший с себя бремя благочестия и пристойности, способен на такие позорные дела: писать письма чужим женам. Его письма, которые он адресовал нашим женам, нам удалось купить за крупную сумму у человека, имя которого мы оглашать не обязаны. Мы полагали, что на том и кончена эта потрясающая трагедия. Однако мы увидели, что блуждаем в пустыне, что подлинный враг еще подстерегает нас в своем логове, и враг этот — вы, уважаемый и почитаемый господин, вы и никто другой. Ибо, если ваш уважаемый шурин, муж сестры вашей жены, написал нашим женам много глупостей и пустых слов из лести и по причине легкомыслия, то вы, глубокоуважаемый господин, имели наглость заявить нашим женам, что вы дадите течь ручьем деньгам из вашего кошелька ради их пользы. О! Да будет проклята рука, которая могла начертать подобное! Да будет проклят язык, чьи гладкие речи — яд, а сладость слов — ад!

Все это мы, нижеподписавшиеся, сочли необходимым, глубокоуважаемый господин, излить вам и про-

сить вас всеми просьбами сжалиться над нашей честью, а также над честью наших жен и над собственной вашей честью и прекратить ваши недостойные действия. Мы предупреждаем вас, глубокоуважаемый господин, что если вы не прислушаетесь к нашему голосу и не перестанете тайно совершать преступления, то конец ваш будет горестным, и возмездие вы получите по заслугам, и воздастся вам сторицею, ибо есть на свете бог и есть еще закон и судия у сынов Израиля!

Просим вас не обижаться за то, что мы не продолжаем нашу речь. Нам некогда! В надежде, что вы должным образом прислушаетесь к нашим словам, идущим из правдивого источника и из сердца, источающего кровь, и что вы не допустите до большего позора, мы сокращаем наши речи и подписываемся с уважением и дружескими пожеланиями счастья и богатства без конца и края.

Ицхок-Меер Шеренцис
и *Ицхок-Меер Пекелис.*

42

Александр Свирский из Базеля — Ямайчихе в Мариенбад

Милостивая государыня!

Настоящим имею честь сообщить вам, что в Базель, на десятый конгресс сионистов, я прибыл благополучно и, согласно нашему уговору, усердно принялся за свои дела, — присмотреть подходящие партии для ваших уважаемых дочерей. И должен отметить, что, к величайшему моему сожалению, я желаемого для вас не нашел, ибо большая часть гостей, прибывших на десятый конгресс сионистов, состоит из мужчин, которые, к сожалению, уже женаты. Неженатых среди сионистов, к сожалению, нет. Причина, очевидно, в том, что сионисты, к сожалению,

женятся рано. Возможно, что имеются и другие причины, но факт остается твердо установленным: моя поездка в Базель была напрасной, и мне искренне жаль средств, которыми вы ссудили меня. Могу, однако, оправдаться тем, что деньги ваши все же не выброшены зря, потому что я здесь, в Базеле, осведомился относительно вашей кишиневской партии и, к величайшему моему изумлению, узнал, что господин Зайденер и в самом деле весьма деятельный дантист, имеющий в Кишиневе самую крупную практику, но он, к сожалению, давно женат и имеет у себя дома чрезвычайно симпатичную жену и детей, и меня просто поражает, как это мы могли так горько обмануться, и дело зашло так далеко, что он во всех трех ваших дочерей влюбился, а ваши уважаемые дочери ему симпатизировали так, что весь Мариенбад считал, что партия заключена! И что особенно причиняет мне досаду, так это то, что сей господин Зайденер кажется мне самым обыкновенным обманщиком, потому что этот жулик одолжил у меня на короткое время несколько тысяч крон, а когда я ему дважды телеграфировал, чтобы он немедленно перевел мне эти деньги по телеграфу в Базель, я ответа не получил, а сегодня, к величайшему моему удивлению, мне сообщили, что господин Зайденер вместе с мадам Курлендер уехали в Остенде и что господин Марьямчик вместе с мадам Шеренцис и мадам Пекелис также уехали в Остенде, а этот легкомысленный господин Марьямчик мне тоже остался должен несколько сот крон, после того как мы несколько раз играли в карты. Однако этих нескольких сот крон господина Марьямчика мне не так жаль, потому что это всего лишь карточный долг, а те три тысячи, что Зайденер должен, это, к сожалению, наличные деньги, потом и кровью заработанные, — прохворать бы их ему, такому негодяю! Байструк! Такие кровные деньги, как вознаграждение за сватовство! Пока протолкнешь такое дело, как сватовство у евреев, всю душу себе вымотаешь! А тут является черт-дьявол из Кишинева, имеющий жену и двоих детей, и объявляет себя неженатым кавалером! Разве это не достойно изумления

и сожаления? Чтобы в такое время случилось нечто подобное — в двадцатом веке, в век общей цивилизации, век железных дорог, телеграфа, телефона, электричества, фонографа эт цетера, эт цетера! И так как я отсюда еду прямо в Остенде, чтобы сцапать этого подлого обманщика, а одновременно присмотреть приличные партии для ваших славных дочерей, остаюсь с неизменным уважением и лучшими приветами вашим достойным дочерям

Александр Свирский.

43

Броня Лойферман из Мариенбада — своему мужу Гиршу Лойферману на улицу Налевки в Варшаву

Моему просвещенному супругу Гиршу, да сияет светоч его!

Все дурные сны, что снились мне в эту ночь, и в прошлую ночь, и за весь год, пусть обрушатся на головы моих врагов! Убей меня бог, если я понимаю, что ты мне пишешь! О ком ты пишешь? И кому ты пишешь?! Это не иначе Ямайчиха насплетничала через своего Велвла Ямайкера! Или Чапничка через своего Берла Чапника, который хочет у тебя получить деньги в долг! Они ему и в самом деле очень нужны, потому что его мадам проигралась в пух и в прах. Она просадила в «очко» все, что имела, а теперь бегает, ищет дурака среди наших варшавян, который одолжил бы ей «ненадолго». Да только не стало дураков в Мариенбаде. Многие разъехались, — кто во Франценсбад, кто в Остенде. Жена Шлоймы Курлендера уже в Остенде. Не одна: кишиневец, о котором я тебе писала, тоже там. Где она, там и он. Чудеса! Однако возвращаюсь к твоему письму. Читаю и читаю и едва с ума не схожу! Не понимаю, о чем ты говоришь? Кто это «он», о котором ты пишешь, что он мне добрый друг и что я у него пользуюсь кредитом?

Каким кредитом? Нигде у меня здесь нет кредита ни на десять геллеров! Проходит неделя, подают счет, и надо платить. Это в гостинице. А за еду в кошерном ресторане платят за каждый обед. Каким же это кредитом ты меня попрекаешь? И что это ты рассказываешь, будто видел какие-то «его» письма ко мне? Чьи письма? Кроме твоих умных писем и писем от мамы, я ни от кого ни слова не получила. И кого это я здесь «холодно приняла»? И чья касса для меня открыта? Право, Гирш, ты сумасшедший или пьяный. Ты что-то путаешь! Напоминаешь мне старинные истории и спрашиваешь, правда ли, что я хожу с «ним» гулять? Если ты имеешь в виду одесского шарлатана, Меерку Марьямчика, то если бы не Лейця Бройхштул, я бы давно уже наплевала ему в рожу. Она заступается за него. Она говорит, что его очень жаль. Он втюрился в жену Шлоймы Курлендера, и все уже было у них на мази, но тут принесло кишиневского дантиста, который удрал с ней в Остенде, — наверное, скрываться от нас, потому что мы им помеха... Однако мы с Лейцей Бройхштул думаем на будущей неделе, даст бог, тоже поехать в Остенде, потому что тут сезон кончился, а там он только еще начинается. Я только жду денег, которые ты выслал. И прошу тебя, Гирш, сейчас же напиши мне так, чтобы было понятно и ясно, — а не как сумасшедший, — что и кого ты имел в виду. Потому что не будь в этом письме проставлено мое имя, я бы подумала, что либо оно не мне написано, либо ты, упаси бог, с ума спятил? И должна сказать тебе правду, что с тех пор, как тебе посчастливилось с выигрышем, ты и в самом деле стал другим... Ходишь целые дни и говоришь о своем выигрыше, и кажется тебе, что весь мир тебе завидует, все люди тебе враги и зложелатели, и даже собственной жене ты уже не доверяешь и пишешь ей такие вещи, что с ума можно сойти! Когда получу деньги и перееду в Остенде, я сообщу тебе телеграммой. Пока будь здоров и счастлив и не расстраивайся, как желает тебе твоя жена

Броня Лойферман.

44

Лейця Бройхштул из Мариенбада — своему мужу Калмену Бройхштулу на улицу Налевки в Варшаву

Уважаемый господин Бройхштул!

Извини, но после такого письма, какое ты написал мне, я не могу обратиться к тебе иначе, чем к «уважаемому господину». Я — не то, что ты. Это только ты можешь, написав мне такое письмо, называть меня «моя дорогая жена Лейця». Как могу я быть твоей «дорогой женой», если поступаю так, как ты пишешь? Я бы только хотела знать, кто это ищет повода оклеветать меня и к кому я посылаю за деньгами? Если ты имеешь в виду моего дядю Ийону из Петрикова, то, во-первых, своему дяде я, кажется, могу писать что угодно. Во-вторых, я ему о деньгах даже не напоминала, потому что знаю, что это напрасный труд, выброшенные деньги на марку. Дядя Иойна уже не раз выполнял свой долг, он уже достаточно мне давал, — ты и сам этого отрицать не можешь. Хорошо будет, если он вспомнит обо мне перед смертью, в завещании. Но и в это я не верю: дети, наверное, не допустят... Так что я не понимаю, о каком мужчине ты говоришь? Может быть, ты имеешь в виду Шлойму Курлендера? Но я ему никогда не писала о деньгах и писать не буду. Разве я не помню, что ты перед моим отъездом за границу был у него, а он тебе отказал? Вот видишь ли, его Бейльцю я здесь действительно побеспокоила однажды насчет денег, и тоже раскаиваюсь. Она — штучка! Он хоть и курляндский умник, но человек он честный, а она тут такие штуки вытворяет, что просто перед людьми стыдно! Но шут с ней, хотя я знаю, догадываюсь, что это идет от нее. Это она, наверное, тебе насплетничала — либо сама, либо через своего умника мужа, а ты ухватился, — был бы только предлог для развода... Но я не понимаю, почему именно сейчас, ни с того ни с сего? И что это ты такое узнал обо мне? Почему ты говоришь: «Мужья всегда узнают последними»? Ты пишешь, что освобождаешь меня по своей доброй воле, — спасибо тебе

за доброту! Затем ты пишешь, что хочешь, чтобы обеспечили раньше меня, а потом детей. Это, конечно, очень благородно с твоей стороны. Вопрос только в том, *кто* должен обеспечить? Кто этот «он», который, как ты пишешь, богат? Опять-таки дядя Иойна? Но какое тебе до этого дело? Захочет — обеспечит, а не захочет, так не обеспечит, — какое это имеет отношение к разводу?.. Ты пишешь, что другой на твоем месте учинил бы скандал! Мне кажется, большего скандала, чем твое письмо, быть не может, потому что если я, по-твоему, не имею права писать письма собственному дяде, то уже и говорить не о чем!

В таком случае мне здесь больше делать нечего и лечиться незачем. Я рассчитывала поехать отсюда с Броней Лойферман в Остенде. Но теперь я плюю на все и уезжаю к своему дяде Иойне в Петриков и больше знать тебя не желаю! Ты разбередил мою старую рану, — наверное, ты именно этого и хотел... Это уже не в первый раз! Будь здоров. Если вздумаешь мне писать, можешь писать в Петриков!

От меня, бывшей твоей жены, не заслужившей таких писем,

Леи.

45

Хаим Сорокер из Мариенбада — Гиршу Лойферману на улицу Налевки в Варшаву

Новоявленному богачу, просвещенному Цви-Гиршу Лойферману!

Ваше письмо я получил. Мне очень жаль, но должен вам сказать, что глубоко сожалею о вашем выигрыше, потому что выигрыш, по-видимому, свел вас с пути. Вы, видно, с ума спятили. Вы пишете, что вы богаче меня. Очень возможно. Я вовсе не собираюсь сравнивать свои капиталы с вашими и верю, что вы в состоянии содержать вашу жену, как вы пишете, даже в Париже. Помогай вам бог, как вы сами себе желаете. Но скажите, пожалуйста, какое отношение это имеет ко мне? Когда я писал письма вашей жене?

Ведь я ее даже не знаю! Ни она у меня денег не просила, ни я ей денег не предлагал, и никогда я не хвастал знакомством с вами и другом вашим никогда себя не называл. Здесь какое-то нелепое недоразумение. Вы не в ту дверь попали. Вы, быть может, имели в виду обругать моего шурина Марьямчика? Он действительно запанибрата с вашей женой. Сейчас он с ней, как я слыхал, в Остенде. Туда можете им писать, хвастать своим богатством, а меня оставьте в покое, потому что я как был, так и остался вашим незнакомым другом, желающим вам выздоровления...

Хаим Сорокер.

46

Хаим Сорокер из Мариенбада — Калмену Бройхштулу на улицу Налевки в Варшаву

Мой незнакомый друг!

Не знаю, что мне ответить на ваше письмо. Могу вам только посоветовать обратиться к врачу, — пусть он обследует ваше душевное состояние. А чтобы вам не было скучно, повидайтесь раньше с Гиршем Лойферманом, с тем, который выиграл крупную сумму и по этой причине заболел той же болезнью, что и вы... Ибо что еще я могу подумать после того, как вы пишете мне, что я хочу переманить вашу жену в свою гостиницу *ради ее пользы* и что я ей рассказывал, будто вы играете в «очко»?.. Играете ли вы в «очко» или только в «банчок», как вы говорите, я не знаю, но то, что вы не в здравом уме, видно из вашего письма. Вы пишете, что я со своей женой давно не в ладах и называете свидетелем реб Велвла Ямайкера. Возможно, что реб Велвл Ямайкер знает лучше меня самого, в каких отношениях я со своей женой, но когда вы утверждаете, что хотите развестись с вашей женой, и я будто бы об этом знаю, то вы говорите, извините меня, как настоящий помешанный. Я не только не знаю секретов о вас и вашей жене, я просто не

знаю ни вас, ни вашей жены, и оба вы интересуете меня так мало, что по мне могли бы развестись еще до того, как узнали друг друга. В одном я с вами согласен: во второй раз вам действительно не следует жениться. Такой человек, как вы, не имел права жениться и в первый раз, потому что жаль вашу жену, хоть я ее и не знаю...

Вы просите меня, чтобы я написал вам откровенно, каковы мои виды и для чего я вызываю вашу жену в «Мирамонт». Так вот я пишу вам ясно и четко, без обиняков, — как вы просите, — что либо ваша жена, извините меня, сплетница и лгунья, либо у вас у самого, как я уже сказал вам в начале этого письма, не все дома. Второе, полагаю, гораздо вероятнее...

Как видите, я дал вам ясный ответ на все. Остается одно — пожелать вам полного исцеления...

Хаим Сорокер.

47

Берл Чапник с Налевок в Варшаве — своей жене Хавеле Чапник в Мариенбад

Дорогая Эва!

Ты должна извинить, что с последней высылкой денег приходится туговато.

В последнее время в Варшаве стало трудно раздобыть сотню или полсотни, прямо-таки хоть разорвись! Я вынужден был съездить в Лодзь, протолкнуть там кое-какие делишки, хоть и с большими трудностями, — вот из-за этого дело так и затянулось. В этом причина того, что я тебе не так скоро ответил. Что касается присланных тобою «любовных записок», адресованных женам наших «Иче-Майеров», то я, к сожалению, ничего с ними сделать не смог. Один из них, Шеренцис, еще ничего: он очень боится скандалов — как бы это не помешало ему получить кредит. Но зато младший, Пекелис, оказался прямо-таки идиотом. Он сам растрезвонил по Налевкам всю эту

историю, рассказал каждому в отдельности по секрету, так что, когда я пришел с этими письмами к мадам Сорокер, оказалось, что она и ее сестра Ханця уже знают письма Марьямчика наизусть. Прямо-таки не стоило затевать все это дело. К тому же я попал в такое время, когда у мадам Сорокер разыгралась форменная трагедия, в которой замешаны ее Хаим, и Шлойма Курлендер, и Лойферман, и Бройхштул — все Налевки. Я прямо-таки удивляюсь, что ты об этом не знаешь. История довольно простая. Хаим Сорокер в Мариенбаде, от нечего делать, просто позавидовал своему шурину и тоже стал писать любовные записки налевкинским дамочкам: Бейльце Курлендер, Броне Лойферман, Лейце Бройхштул, Шеренцис и Пекелис, — никого не обошел. Неизвестно, каким образом, но все эти письма попали в руки к мужьям, и пошла канитель. Прямо-таки вся Варшава котлом кипит! А тут телеграмма из Мариенбада от Ямайчихи о том, что наши налевкинские бабенки вдруг исчезли, уехали в Остенде, а с ними Хаим Сорокер и Меер Марьямчик. Прямо-таки роман! И когда же прибывает такая депеша? Как раз на следующий день после того, как Ямайчиха уже поздравила семью с благополучным завершением сватовства и потребовала, чтобы господин Ямайкер приехал в Мариенбад. Велвл Ямайкер уже в пути. Но это неважно. Главное то, что госпожа Сорокер от огорчения заболела и, говорят, серьезно. А Лойферман бегает как сумасшедший и клянется, что как только Сорокер приедет домой, он ему поставит синяки прямо на Налевках, то есть не на Налевках, а на морде! А у Бройхштула теперь имеется предлог требовать развода у своей мадам или требовать денег у ее богатого дяди из Петрикова. Короче говоря, у нас на Налевках оживленно, прямо-таки весело! Напиши мне, когда ты рассчитываешь приехать домой и хватает ли тебе денег, которые я высылаю? Не то я постараюсь выслать еще, если у меня будет. Надо надеяться, что бог поможет.

Приветствую тебя с любовью. Твой преданнейший тебе

Бернард.

48

Хаим Сорокер из Мариенбада — Иче-Майерам Шеренцису и Пекелису на улицу Налевки в Варшаву

Дорогие мои друзья Шеренцис и Пекелис!

Я, к сожалению, не владею древнееврейским языком, как вы, и не могу ответить на ваше красноречивое письмо так же красноречиво, как вы пишете мне. И так как я вынужден говорить с вами на нашем родном языке, то уж позволю себе говорить с вами попросту и сказать вам, что оба вы, прошу прощения, пара «Иче-Майеров», налевкинские дурни, и обоих вас надо сеном кормить. Уж если господь наградил вас таким даром, такими замечательными женами, и вы дрожите над ними, то либо вы должны были ехать за ними следом так же, как вы ходите за ними по субботам, когда они гуляют в Саксонском саду, либо держать их взаперти на Налевках, как держат кур перед праздником, кормить и поить их и так далее. Какой черт заставил вас выпустить их на волю, в Мариенбад? Думаете, здесь их очень не хватало? Или вы в самом деле думаете, что мне больше делать нечего, как писать «любовные записки и льстивые письма», как вы говорите, вашим женам? Да будет вам известно, дорогие мои «Иче-Майеры», что я с вашими женами ни полслова не проговорил с тех пор, как я здесь, и с тех пор, как живу на свете! Я и видел-то их всего раза два-три у источника с другими такими же, которых здесь так много, что тошно делается, простите меня, смотреть на них. Потому что я их знаю. Я имею в виду не именно ваших жен, а всех налевкинских бабенок, которые, как только уедут от своих «Иче-Майеров» из Варшавы за границу, хотят вкусить от всех удовольствий в мире, но с условием, чтобы никто не видел и не знал. Говорить с чужим мужчиной, или хотя бы только смотреть на него, им очень интересно, — у вас на Налевках они и этого лишены. Должен вам сказать по чистой совести, что я по мере возможности стараюсь избегать таких встреч, которые не приносят

ничего, кроме злословия и сплетен. Я избегаю женщин, которые дома молятся над свечами, а здесь скидывают парики. Это — дело для моего шурина Марьямчика, а не для меня, и я не знаю, кто посмел сказать вам, что я пишу им «льстивые письма и любовные записки»? Я такими глупостями не занимаюсь. Еще меньше вы можете предполагать, что я обещал вашим женам, как вы выражаетесь, «дать течь ручьем деньгам из моего кошелька ради их удовольствия». Я не принадлежу к числу таких расточителей, и мысль о вас и ваших женах мне и в голову не приходит. А если кто-нибудь указал вам на моего шурина, «мужа сестры моей жены», то вам и следовало обратиться к нему или к сестре моей жены, а не ко мне, который с ним ничего общего не имеет. Можно быть порядочными молодыми людьми и ни в чем не повинными «Иче-Майерами», но идиотами вы все же быть не обязаны и не должны мне грозить законом и штрафом ни на этом, ни на том свете.

Ваш незнакомый друг, рекомендующий вам быть осторожнее с писанием красноречивых писем.

Хаим Сорокер.

49

Хавеле Чапник из Остенде — своему мужу Берлу Чапнику на улицу Налевки в Варшаву

Дорогой мой Бернард!

Мне, право же, очень неприятно, но я вынуждена еще и еще раз писать тебе, чтобы ты достал мне деньги на отъезд отсюда, потому что из всех моих счастливых дел ничего не вышло и кончилось все большим скандалом, — когда узнаешь, ты будешь поражен! Представь себе комедию, — впрочем, что я говорю — комедию? — трагедию, кровавую трагедию... Однако расскажу тебе все по порядку, от начала до конца. Это прямо-таки сказка из «Тысячи и одной ночи».

Как тебе известно, Ямайчиха меня просила помочь

ей в сватовстве с кишиневским дантистом и обещала мне, помимо того, что я заработаю, приличный подарок от нее лично. Я энергично занялась этим делом и работала изо всех сил. И мне удалось. Дело пошло на лад, то есть, конечно, не так скоро, как говорится. Я основательно натерпелась из-за Бейльци, как я тебе уже писала, потому что жених, мой кишиневский дантист, не на шутку втюрился в женку нашего Шлоймы Курлендера и чуть не подрался из-за нее с Меергой Марьямчиком посреди Мариенбада. Словом, с грехом пополам, при помощи всяческих интриг, я кое-как добилась от кишиневского дантиста, чтобы он объяснился со старшей дочерью Ямайчихи, чтобы он сказал, что любит ее, и Ямайчиха бросилась меня целовать и уже телеграфировала Велвлу Ямайкеру, чтобы он приехал на помолвку, а мне при этом везло со всех сторон: знаменитый Свирский, главный зачинщик этого сватовства, уехал в Базель, и я осталась одна на всю ярмарку... Однако существует на свете Бейльця. Вздумалось вдруг женке Курлендера уехать в Остенде. Даже не попрощалась ни с кем, забыла сказать «до свидания». Ну что ж, уехала так уехала. Как говорится, скатертью дорога! Но тут надумал наш жених, этот кишиневский дантист, поднялся и тоже следом за ней поехал в Остенде. Откуда я это знаю? От Меерки Марьямчика. Пришла к источнику и встречаю Марьямчика, страшно расстроенного. Прощается со мной: «Будьте здоровы!» — «Счастливого пути! Куда?» — «В Остенде». — «Чего это вдруг в Остенде?» А он отвечает: «Все едут в Остенде». — «Кто это «все»?» — «Во-первых, мадам Курлендер, во-вторых, мадам Лойферман, в-третьих, ваш пресловутый жених, кишиневский дантист...» Как только он проговорил это, я слушать больше не пожелала и пошла прямо к Ямайчихе. Оказывается, она ни о чем не знает! Тогда мы отправились вместе справиться в гостинице о кишиневском женихе, а нам говорят, что он уехал, но куда, неизвестно. Тут Ямайчиха падает ко мне на грудь: «Душенька! Сердце! Любонька! Поезжайте немедленно туда же, в Остенде». Она оплатит мне все расходы, она мне то, она мне это!.. И до-

стает сто крон: «Вот вам, поезжайте и телеграфируйте, а если надо будет еще, я пришлю еще...» Что делать? Жалко женщину! Я деньги взяла, но не успела, что называется, оглянуться, как от них и следа не осталось. Ничего не поделаешь, я кругом должна, волосы — и те не мои! Что же будет дальше? Однако это бы еще с полгоря, но случилось несчастье посерьезнее. Вот послушай.

Сижу это я у себя в гостинице, боюсь попасться Ямайчихе на глаза и думаю: где бы взять деньги? И приходит мне в голову мысль: Хаим Сорокер! Он, между нами говоря, хоть и свинья порядочная, но есть у меня на него управа: скажу ему, что еду домой, в Варшаву, что буду у его Эстер и передам ей *привет из Мариенбада*. Он, конечно, поймет, какой это будет «привет». Я давно уже намекала ему, что знаю, как он сохнет по Бейльце, и что он одалживает ей деньги якобы за счет ее мужа, и еще кое-что тому подобное. С ним я не стесняюсь... Короче говоря, приказываю позвонить по телефону и вызвать господина Сорокера, а мне отвечают, что господин Сорокер сегодня утром изволили уехать «нах Остенде»! Господи! Что творится? Накинула мантилью и хочу бежать, но сама не знаю куда, а тут мне говорят: «Вас спрашивает дама...» Горе мне, — дама? Наверное, Ямайчиха, пропала моя головушка! Расспрашиваю, какая она из себя? Говорят: молодая дама... Молодая? Позовите ее сюда! И вот отворяются двери и входит дама — картинка! Молоденькая — кровь с молоком! А одета — королева! Все блещет и сверкает! «Это вы, — говорит она, — мадам Чапник из Варшавы?» — «Я мадам Чапник из Варшавы. А вы кто такая?» — «Я, — говорит она, — мадам Зайденер из Кишинева». — «Очень рада! Садитесь, мадам Зайденер из Кишинева. Что хорошего скажете?» А она вздохнула и отвечает: «Мне сказали, что вы знакомы с моим мужем...» — «Я знакома с вашим мужем? — спрашиваю я. — А кто такой ваш муж?» Она покраснела и отвечает: «Мой муж — Зайденер из Кишинева...» — «Дантист?» — «Да, он дантист...»

Что было дальше, мне незачем тебе рассказывать.

Меня трясло, как в лихорадке. До чего жаль стало эту женщину, даже описать невозможно! Мы за полчаса так привязались друг к дружке, как сестры, даже ближе сестер! Недолго думая я уложила вещи, — на расплату с долгами мне одолжила мадам Зайденер, — и мы обе пустились в Остенде. Приехали, остановились в гостинице, умылись, переоделись честь честью, наняли фиакр и начали ездить из одной гостиницы в другую, справляться о некоем господине по фамилии Зайденер и о даме по фамилии Курлендер. Но где там, что там! Нигде нет ни Зайденера, ни Курлендер. Принялись за списки лечащихся на курорте, — ни следа Зайденера и Курлендер! Что же дальше делать? Если я пережила эту ночь, я крепче железа! А эта женщина чуть с ума не сошла. Я спасла ее. Доктора вызвала, потому что она была при смерти. Еле додумались телеграфировать в Кишинев, сообщить, что она больна, может быть, кто-нибудь приедет оттуда. К чему мне такая обуза? А оттуда прибывает телеграмма, да еще срочная! И как раз от ее мужа, от самого Зайденера: он в Кишиневе и просит ее приехать домой!.. Получив такую телеграмму, мы и сами не знали, что делать: то ли плакать, то ли смеяться? И мы решили еще раз телеграфировать в Кишинев, правда ли, что он, дантист Зайденер, в Кишиневе? И когда он приехал? И приехал ли он один или с кем-нибудь? А нам отвечают, что это правда, что он в Кишиневе, приехал только вчера из Мариенбада, один, и не понимает, с кем же еще он мог бы приехать, и каким образом его жена очутилась в Остенде?

Тогда только я поняла, что это меня одессит Марьямчик, этот шарлатан, обманул и сбил с пути. Остается одно: коль скоро вся эта история с Остенде выдумана и коль скоро дантист Зайденер находится в Кишиневе, то что же с Бейльцей, куда она девалась? Вот поэтому я тебе и телеграфировала: «Где Бейльця и где остальные варшавские жены?» А ты, очевидно, меня не понял и ответил: «На что мне Бейльця? Что ты делаешь в Остенде?» А я тебе на это ответила два слова: «Вышли деньги». Знаешь

почему? Потому что на большее количество слов у меня денег не было и сейчас нет. Моя мадам Зайденер как только получила добрую весть о том, что пропажа отыскалась, тут же поднялась и уехала, обещав написать мне с дороги и из дому. Но где там! Куда там! А пока суд да дело, я осталась здесь одна, без копейки денег. Хорошо еще, что в гостинице я на полном пансионе, и у меня не требуют. Но скоро, вероятно, потребуют. Что я буду делать, — не знаю. Я уже писала Ямайчихе в Мариенбад, но письмо вернулось с пометкой, что адресат выехал в Остенде. Опять Остенде? Я чуть с ума не схожу! Принимаюсь за справочник, ищу имя Сорокера, смотрю — в одной из гостиниц прописан «Соломон Курлендер, купец из Варшавы», в другой гостинице — «Александр Свирский из Мариенбада»! Это что еще за сюрприз? Бегу в одну гостиницу, в другую и наконец узнаю, что были здесь и прожили несколько дней Шлойма Курлендер и, видно, этот знаменитый сват Свирский. Кто же еще? Так что я и вовсе потеряла голову и не знаю, на каком я свете.

Вот и описала я тебе, дорогой Бернард, все, целую историю, сказку из «Тысячи и одной ночи». Теперь будь добр и напиши мне, во-первых, что с Бейльцей и остальными налевкинскими женщинами? И что делал здесь Шлойма Курлендер? И что с Хаимом Сорокером и с Меером Марьямчиком? Где они сейчас и где Ямайчиха со своими дочерьми? И не с ними ли в Варшаве этот мировой сват Свирский? Мне это нужно знать, так как Свирский условился со мной и дал мне честное слово, что какое бы сватовство у Ямайчихи ни состоялось, мне причитается доля вознаграждения. А главное, достань деньги и вышли мне, ради бога, как можно скорее, чтобы я не осталась здесь, упаси бог, на праздники. Приближаются покаянные дни, и я не стану есть трефное. Я найду кошерный ресторан, но в кошерном ресторане в кредит не кормят. И в синагогу мне тоже захочется пойти, а за место немцы требуют деньги вперед. И белую курицу для «капорес» я тоже, надо думать, закажу. А у меня ни гроша за душой. Все, что можно было

заложить, я уже заложила. Не хотела тебя огорчать. Я бы и сейчас не написала, если бы не свалились на меня все несчастья сразу.

Будь здоров, мой дорогой Бернард. Да пошлет нам господь счастливую судьбу в новом году. А такой год и такая заграница, какие были у меня сейчас, пусть лучше не вернутся, господи милостивый!

Преданная тебе жена *Хава*.

ТЕЛЕГРАММЫ

50

Мадам Зайденер из Остенде — господину Зайденеру в Кишинев

Вчера прибыла Мариенбада Остенде. Альфреда и здесь не застала. Заболела. Телеграфируйте Бельвю. *Ревекка Зайденер*.

51

Хавеле Чапник из Остенде — Перл Ямайчихе в Мариенбад

Зайденера Остенде не застала. Телеграфируйте. *Эва Чапник*.

52

Господин Зайденер из Кишинева — госпоже Зайденер в Остенде

(Срочная)

Благополучно прибыл Кишинев. Ошеломлен. Не застал Ревекку дома. Приезжай немедленно. Телеграфируй. *Альфред Зайденер*.

53

Хавеле Чапник из Остенде — Ямайчихе в Мариенбад

Зайденер Кишиневе. Письмом подробно. *Чапник.*

54

Шлойма Курлендер из Варшавы — Бейльце Курлендер в Мариенбад

Давно нет писем. Куда писать: Мариенбад? Франценсбад? Остенде? Беспокоюсь. Телеграфируй. *Соломон.*

55

Хавеле Чапник из Остенде — Перл Ямайчихе в Мариенбад

Телеграфируйте Остенде Бельвю, где Бейльця, Сорокер, Марьямчик, Лойферман, Шеренцис, Пекелис. Остенде нет. *Эва Чапник.*

56

Госпожа Зайденер из Остенде — господину Зайденеру в Кишинев

Телеграфируйте, правда ли Альфред прибыл Кишинев? Один или с кем-нибудь? *Ревекка.*

57

Господин Зайденер из Кишинева — госпоже Зайденер в Остенде

Вчера приехал один. Не понимаю, с кем? Зачем поехала Остенде? Прошу немедленно выехать. Жду нетерпением. Телеграфируй срочно. *Альфред.*

58

Эстер Сорокер из Варшавы — Хаиму Сорокеру в Мариенбад

Давно нет писем. Беспокоюсь. Телеграфируй. *Эстер.*

59

Шлойма Курлендер из Варшавы — Бейльце Курлендер в Остенде

Ямайчиха телеграфирует ты Остенде. Телеграфируй адрес высылки денег. Беспокоюсь. *Соломон.*

60

Ханця Марьямчик из Варшавы — Давиду Марьямчику в Одессу

Мариенбада сообщают, Марк уехал налевкинскими женщинами Остенде. Немедленно приезжайте Варшаву. Телеграфируйте. *Анна.*

61

Эстер Сорокер из Варшавы — Давиду Марьямчику в Одессу

Ханця опасно больна. Немедленно приезжайте Варшаву. Телеграфируйте. *Эстер.*

62

Госпожа Зайденер из Остенде — господину Зайденеру в Кишинев

Еду скорым Кишинев. Целую. *Ревекка.*

63

Мадам Чапник из Остенде — Берлу Чапнику в Варшаву

Телеграфируй Остенде Бельвю, где Бейльця, Сорокер, Марьямчик, остальные налевкинские женщины? *Эва.*

64

Велвл Ямайкер из Варшавы — Перл Ямайчихе в Мариенбад

Письмо получил. Жених Кишинева нравится. Телеграфировал поздравление. Еду курьерским Мариенбад. *Волф.*

65

Давид Марьямчик из Одессы — Ханце Марьямчик в Варшаву

Еду курьерским Варшаву. Телеграфируй Брест здоровье. *Давид.*

66

Александр Свирский из Остенде — Перл Ямайчихе в Мариенбад

Прибыл Остенде. Зайденера, Курлендер не застал. Возможно Мариенбаде? Телеграфируйте востребования. *Свирский.*

67

Перл Ямайчиха из Мариенбада — Александру Свирскому в Остенде

Зайденер Кишиневе. Курлендер исчезла. Телеграфируйте. *Перл Ямайкер.*

68

Берл Чапник из Варшавы — Хавеле Чапник в Остенде

К чему Бейльця? Налевкинские женщины? Что делаешь Остенде? Телеграфируй. *Бернард.*

69

Мадам Чапник из Остенде — Берлу Чапнику в Варшаву

Немедленно вышли деньги. Письмо следует. Величайшие затруднения. Телеграфируй. *Эва.*

70

Перл Ямайчиха из Мариенбада — Велвлу Ямайкеру в Варшаву

Сватовство мыльный пузырь. Кишинев женат. Не приезжай Мариенбад. Бейльця, Броня, Сорокер, Марьямчик исчезли. Думаю ехать Варшаву. Телеграфируй. *Перл.*

71

Хаим Сорокер из Мариенбада — Эстер Сорокер в Варшаву

Лечение окончено. Еду Берлин Варшаву. Телеграфируй Берлин Савой здоровье. Целую. *Хаим.*

72

Шлойма Курлендер из Варшавы — Хаиму Сорокеру в Мариенбад

Ответ оплачен. Пожалейте, телеграфируйте, где Бейльця? Мариенбаде или Остенде? *Соломон Курлендер.*

73

Шлойма Курлендер из Варшавы — Перл Ямайчихе в Мариенбад

Ответ оплачен. Телеграфируйте, правда ли Бейльця, Сорокер, Марьямчик исчезли? Их адреса? Сжальтесь. Готов ехать Мариенбад, Остенде. *Соломон Курлендер.*

74

Бейльця Курлендер из Александрова — Шлойме Курлендеру в Варшаву

Ехала Мариенбада Берлин Варшаву. Случилось несчастье. Вещи задержаны границе. Приезжай деньгами или вышли Александрово триста. Телеграфируй. *Бейльця.*

75

Эстер Сорокер из Варшавы — Хаиму Сорокеру в Берлин

Зачем торопиться Варшаву? Бейльци, Брони еще нет. Шеренцис, Пекелис тоже нет. Лейця Бройхштул Петрикове. Отец Марьямчик приехал разводить Ханцю. Можешь тоже. Выбор большой. *Эстер.*

76

Бейльця Курлендер из Александрова — Шлойме Курлендеру в Варшаву

Вчера телеграфировала приехать Александрово или выслать триста. Почему нет ответа? Телеграфируй. *Бейльця.*

77

Перл Ямайчиха из Мариенбада — Велвлу Ямайкеру в Варшаву

Вчера телеграфировала не приезжать Мариенбад. Сватовство мыльный пузырь. Бейльци, Брони, Сорокера, Марьямчика Остенде нет. Я, дети едем Берлин Варшаву. Телеграфируй. *Перл.*

78

Ицхок-Меер Шеренцис и Ицхок-Меер Пекелис из Варшавы — Ямайчихе в Мариенбад

Ответ оплачен. Чапник телеграфировал, где Шеренцис, Пекелис. Телеграфируйте нет ли Шейнци, Крейнци Мариенбаде. Едут Остенде? Беспокоимся. *Шеренцис, Пекелис.*

79

Бейльця Курлендер из Александрова — Шлойме Курлендеру в Варшаву

Почему не приезжаешь Александрово? Не высылаешь триста? Пропали все вещи. Крупные убытки! Беспокоюсь. Телеграфируй. *Бейльця.*

80

Мадам Шеренцис и мадам Пекелис из Мариенбада — Шеренцису и Пекелису в Варшаву

Едем Варшаву. Остановимся Берлине Вертгейм. Приветствуем. *Шейнця, Крейнця.*

81

Александр Свирский из Кишинева — Перл Ямайчихе в Мариенбад

Деньги пропали. Напрасные расходы. Но большой скандал. Предлагаю письмом три партии вашим дочерям. Телеграфируйте приехать Мариенбад или рандеву Вена отель Националь? Товар первый сорт. Один врач, два юриста. Лучшие референции. *Свирский.*

82

Калмен Бройхштул из Варшавы — Лейце Бройхштул в Петриков

Узнал Курлендер подделал письма Сорокера Бейльце. Сорокер подает Курлендера суд. Меня свидетелем. Курлендер Остенде. Ищет Бейльцю. Просит прощения. Приезжай Варшаву. Целую. *Калмен.*

83

Броня Лойферман из Берлина — Гиршу Лойферману в Варшаву

Телеграмму Мариенбад получила здесь. Завтра Варшаве. Будь Александрове. Телеграфируй зачем Лейця Петрикове? Где Бейльця? Целую. *Броня.*

84

Берл Чапник из Варшавы — Хавеле Чапник в Остенде

Письмо получил. Все ясно. Деньги выслал. Бейльця приехала. Три дня Александрове границе скандал. Курлендер за границей. Ищет Бейльцю. Сорокер приехал застал Эстер при смерти. Хочет подать Курлендера суд подделку писем. Лойферман Бройхштул также подали Курлендера суд. Шеренцис

Пекелис свидетели. Бейльця вне себя. Просила помирить. Требую три тысячи ликвидацию. Марьямчик разводится. Лейця Петрикове богатого дяди. Ямайкер Мариенбаде помолвке. Ямайчиха дочерьми Варшаве. Марьямчик грозится поколотить Ямайчиху. Свирского нет. Приезжай Варшаву. Телеграфируй. Целую. *Бернард.*

85

Шлойма Курлендер из Мариенбада — Эстер Сорокер в Варшаву

Мариенбаде не застал никого. Еду Остенде. Телеграфируйте востребования. *Курлендер.*

86

Гирш Лойферман из Варшавы — Перл Ямайчихе в Мариенбад

Телеграфируете жена пропала? Жена телеграфирует Берлина едет Варшаву. Шантаж. Жалуюсь суд. *Лойферман.*

87

Велвл Ямайкер из Мариенбада — Велвлу Ямайкеру в Варшаву

Приехал Мариенбад помолвку. Никого не застал. Говорят уехали Варшаву. Телеграфируйте где Перл? Дети? Где жених Кишинева? Беспокоюсь. *Волф.*

88

Перл Ямайчиха из Варшавы — Велвлу Ямайкеру в Мариенбад

Зачем поехал Мариенбад? Телеграфировала не ехать. Жениха Кишинева жена двое детей. Обратно Варшаву. Телеграфируй. *Перл.*

89

Шлойма Курлендер из Остенде — Эстер Сорокер в Варшаву

Остенде также никого. Думаю ехать обратно Мариенбад. Оттуда Кишинев. Телеграфируйте. *Курлендер.*

90

Велвл Ямайкер из Мариенбада — Перл Ямайчихе в Варшаву

Телеграмму получил. Не понял. Почему жених Кишиневе? Почему двое детей? Где третья? Кто обратно Варшаву? Телеграфируй. *Волф.*

91

Перл Ямайчиха из Варшавы — Велвлу Ямайкеру в Мариенбад

Телеграфировала сватовство расстроилось. Жених Кишинева женат. Не ехать Мариенбад. Поехал Мариенбад. Не телеграфировал. Напрасные расходы. Телеграфировала ехать обратно Варшаву. Я дети Варшаве. Телеграфируй. *Перл.*

92

Велвл Ямайкер из Мариенбада — Перл Ямайчихе в Варшаву

Телеграфируешь не телеграфировал? Дважды телеграфировал: телеграфировал поздравление. Телеграфировал выезжаю, Почему не телеграфировала сразу жених Кишинева женат? Почему не ждала Мариенбаде? Где сват? Где Чапник? Что Бейльцей? Телеграфируй. *Волф.*

93

Перл Ямайчиха из Варшавы — Велвлу Ямайкеру в Мариенбад

Сколько раз телеграфировать? Телеграфировала Бейльця приехала. Курлендер Мариенбаде Остенде разыскивает Бейльцю. Марьямчик развелся. Лойферман мне сказал хочет бить Курлендера. Эстер при смерти. Сорокер подает суд Курлендера подлог. Бройхштул, Шеренцис, Пекелис свидетели. Чапник мирит. Свирский телеграфирует Кишинева три жениха. Довольно телеграфировать. Приезжай немедленно домой. Телеграфируй. *Перл.*

94

Шлойма Курлендер из Мариенбада — Шлойме Курлендеру в Варшаву

Ямайчиха телеграфировала вдруг исчезла Бейльця. Был Мариенбаде, был Остенде. Вернулся Мариенбад. Всем телеграфировал. Никто не телеграфирует. Кто дома? Телеграфируйте где Бейльця? Ехать ли Кишинев? Телеграфируйте срочно. *Соломон Курлендер.*

95

Бейльця Курлендер из Варшавы — Шлойме Курлендеру в Мариенбад

Ямайчиха выдумала. Ехала Мариенбад — Берлин — Варшава. Была задержана границе Александрово. Трижды телеграфировала выслать деньги. Все вещи пропали. Теперь приехала. Что ты натворил? Из-за тебя Бройхштулы разводятся. Марьямчик уже развелся. Эстер опасно больна. Сорокер грозит уголовным шантаж подлог. Лойферман, Бройхштул, Шеренцис, Пекелис свидетели. Чапник гарантирует ликвидацию дела. Просит 3000. Телеграфируй. *Бейльця.*

96

Шлойма Курлендер из Мариенбада — Бейльце Курлендер в Варшаву

Тысяча благодарностей. Прекрасное известие! Плевать Сорокера. Лойферману кукиш. Чапнику 3000 болячек. Еду скорым Берлин — Варшава. Целую. *Соломон.*

РАССКАЗЫ,

НАПИСАННЫЕ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМОМ ПО-РУССКИ

МЕЧТАТЕЛИ

(Наброски карандашом)

ГЛАВА I,
из которой читатель узнает сравнительно мало

В губернском городе... Но не лучше ли не называть город по имени? Ведь есть же на Руси такие города, местечки, даже села и деревни, где нашему брату-еврею жить не дозволяется, почему же не допустить, чтобы ограничительная черта существовала и относительно пишущей братии, что о таком, дескать, городе писать можно, а об этаком нельзя и т. д.? Поэтому, во избежание всяких недоразумений, назовем место действия просто «одним губернским городом».

Итак, в одном губернском городе во время большой ярмарки у подъезда большого трехэтажного дома остановились извозчичьи санки, из которых выпрыгнул молодой человек среднего роста, крепкого сложения, необыкновенно широкий в груди и плечах, и твердыми шагами направился к парадным дверям, сильно рванув проволоку звонка.

Пока швейцару вздумается появиться на звонок посетителя, мы бросим взгляд на наружность последнего.

Старая медвежья шуба, шапка из бараньих смушек и тяжелые сапоги говорили в пользу его принадлежности к мещанскому званию, большие, мускулистые, мозолистые руки обнаруживали в нем неотъемлемые особенности ремесленника, а густые, черные, курчавые волосы и большие, темные, типичные глаза как нельзя более свидетельствовали о его семитическом происхождении.

— Дома господин губернатор? — спросил молодой человек у появившегося на пороге усача швейцара.

Швейцар бросил на посетителя уничтожающий взгляд, один из тех третирующих взглядов, которые отправляют к черту непрошеного гостя со всей нацией, представитель которой так дерзко тревожил покой ожиревшего привратника.

— Ты никак жид? — сказал швейцар и уже готов был захлопнуть дверь перед самым его носом, как вдруг отступил на два шага назад и чуть не пошатнулся, когда, к великому своему изумлению, услышал негромкий, но ровный и гордый ответ еврея:

— Я — Илья-пророк... Доложите обо мне господину губернатору.

Но прежде, чем последовать за нашим причудливым героем в высокие чертоги господина губернатора, я должен рассказать благосклонному читателю, кто такой был этот странный молодой человек.

В местечке N в числе десятитысячного населения насчитывается около двух тысяч евреев; между ними много ремесленников; между ремесленниками больше сапожников. Между сапожниками особенное внимание обращает на себя своими странностями один молодой сапожник по имени Эля, а по прозванью Тамоватый[1]. Собственно, Тамоватый — его прозвище; в цеховой же управе он значится: «Эля Мееров сын Сандлер». Но добрые граждане местечка имеют обыкновение пускать в обращение вместо фамилий

[1] Придурковатый (*еврейск.*).

прозвища, которые нередко отличаются своей замысловатостью и подчас циничностью. Так, например, в записной книжке одного шадхена я случайно просмотрел таблицу, содержащую в себе всех более или менее выдающихся евреев местечка N, и должен сознаться — был повергнут в крайнее изумление от такой изобретательности и богатства прозвищ. В списке, между прочим, красовались следующие корифеи: Аврам Большой, Лейб Короткий, Хаим Черный, Берл Рыжий, Мендель Философ, Пинхус Эпикуреец, Файтель Скряга, Меер Ботвина, Янкель Синий Нос, Мотя Врун, Велвл Бесстыдник, Рахмиль Кот, Шлема Индюк, Ривка Кошка, Эстер Развратница, Хава Тонкая, Гитель Пропавшая, Фейга Сиплява, Фейга Борода, Фейга Без Бороды, Хая Рогатая, Хая Свирепая, Хая Сумасшедшая, Хая Бархатная, Хая С Петухом, Хая Бандур и т. д. Откуда берется такой неисчерпаемый источник стольких разнообразных прозвищ, я решить не берусь. По всей вероятности, они носят характер личный, местный и — отчего не допустить? — исторический. Ведь есть в истории Карл Лысый, Фридрих Барбаросса, Генрих Птицелов, Ричард Львиное Сердце, Иван Грозный и многие другие. Но не в этом суть. Возвратимся к нашему рассказу.

Эля Сандлер или, как мы его будем называть, Эля Тамоватый, в сущности, не был ни придурковат, ни глуп, а напротив, даже поражал своим удивительно здравым суждением, наклонностью к мечтательности и непостижимым смиренномудрием. Но имя Тамоватый он нажил себе в корпорации сапожников благодаря своему кроткому нраву и еще одному весьма важному обстоятельству, а именно: Эля питал какое-то неизъяснимое отвращение ко всякого рода спиртным напиткам и при всяком удобном случае проповедовал своим братьям по ремеслу, что водка-де есть кровь сатаны, зелье ада, порожденье дьявола, скорпион, стоглавый змей, Асмодей * и прочее.

Читатель, вероятно, удивляется такой склонности к аскетизму в характере моего героя; но некоторые биографические подробности из его жизни должны выяснить ему причины.

Эля Тамоватый в молодости был парень очень веселый, бойкий, краснощекий и необыкновенно здоровый. Будучи еще подмастерьем, Эля однажды испытал прелести первой любви, залпом выпил чашу до дна, но тут же поплатился своими боками, которые ему так поразмяли, что он должен был бежать со стыда и нашел себе убежище в местечке N, где после пережитого им такого горького разочарованья поступил на службу подмастерьем к одному сапожнику и предался размышленьям о суете мирской, весь ушедши в себя.

Быть может, при других условиях он предался бы пьянству со всем упорством своей флегматичной натуры; но на него вовремя подействовало успокоительно одно обстоятельство, направившее все его существо совершенно в противоположную сторону.

Дело в том, что его патрон, сапожник Перец Летучая Мышь (так прозвали его в местечке вследствие его наружности и юркости) был сапожник-философ. Во время работы он любил рассуждать о разных сверхъестественных явлениях и вообще о делах, касающихся религии, бессмертия души, загробной жизни, парения в небесах до вторичного рождения на свет божий и т. п. Перец по наружности действительно напоминал летучую мышь. Сам низенький, голова маленькая, лицо широкое и плоское, глазки миниатюрные, вечно движущиеся, рот широкий, зубки белые и острые, уши большие, подбородок, лишенный растительности, руки непомерно длинные; прибавьте ко всему этому необычайную подвижность и юркость всей фигурки, и вы поймете, почему его прозвали летучей мышью. В самой религии, то есть в обрядовой стороне ее, был он несколько вольнодумец, а ко вмешательству провидения в дела человеческие относился он критически, — смотря, впрочем, по обстоятельствам. Когда его мастерская была завалена работой, он говорил, что все зависит от человека, а ничуть не от бога, которому вовсе нет дела до того, имеет ли Перец работу или не имеет. Когда же работы не было и ему приходилось вместе с женою, детьми и рабо-

чими сидеть на бобах, тогда он вздыхал, обращая свой взор ко всеблагому кормильцу, говоря, что только от того, кто заботится о пропитании могучего слона и ничтожного червячка, зависит кратковременное человеческое существование на земле.

Как все ученые, Перец Летучая Мышь любил пускаться в нескончаемые диспуты о «небесных делах» (так определял он астрономию и философию), и, хотя горячился и спорил до слез, однако он вовсе не требовал беспрекословного подчинения своему авторитету и даже бывал рад, когда ему подставляли целые баррикады глубокомысленных соображений для опрокидывания той или другой его смелой гипотезы.

Из всех подмастерьев наиболее склонным к рассуждениям и вообще участию в его философских дебатах оказался наш знакомый, Эля, так как остальные рабочие в большинстве случаев обнаруживали крайнее равнодушие и обидное безучастье к развиваемым Перцем теориям, что, разумеется, огорчало и раздражало его. «С вами рассуждать, — горячился Перец, — все равно, что горохом в стену стрелять. Вам только работать и жрать; а чтобы, например, поразмыслить, откуда все это берется и куда оно уходит, так это не ваше дело: вам готовое подавай...»

То ли дело Эля.

Он не только внимательно выслушивал Переца, но даже не давал ему слишком увлекаться и часто перебивал его каким-нибудь неожиданным вопросом, нередко прерывавшим главную нить разговора, что опять повергало Переца в гнев и сильную досаду.

Вот образчик бесконечных словопрений Переца и Эли.

— Очень, очень может быть, чтобы дитя, например, еще в утробе матери могло все понимать, как и всякий живой человек, — рассуждает Перец как бы с самим собой, вырезывая пару подошв для сапогов приходского учителя, менявшего сапоги каждые три месяца больше из желания угождать поповской дочери, за которой ухаживал, чем из удобства для своих благородных ног, страдавших от мозолей.

— Но тогда ребенок не должен был бы родиться глухим, — возражает Эля, вколачивая гвозди в почтмейстерские полусапожки.

— Какое отношение имеет глухота к понятию ребенка? — раздраженно спрашивает Перец.

— А такое отношение, — хладнокровно отвечает Эля, рассматривая каблуки полусапожек, так как почтмейстер был большой охотник до высоких каблуков, — что если я стучу теперь молотком по каблуку, то звук, происходящий от этого постукивания, должен, я думаю, достигать до ушей ребенка.

— А если положить сапог в перину и тогда стучать сверху? — победоносно выезжает Перец, отложив одну подошву в сторону.

— Мало ли чего. А если снять луну с неба и спрятать ее в кувшин? — в свою очередь шутливо спрашивает Эля.

— Ах, боже мой милосердный! — вспылил Перец. — Ты всегда что-нибудь такое скажешь, что ни разломать, ни разрезать...

— Вы напрасно сердитесь, реб Перец, — спокойно возразил ему Эля, лизнув языком отполированный каблук. — Вы лучше объясните мне, что такое луна?

Перец не без удовольствия плотнее усаживается на трехножном табурете, успокаивается совершенно, проводит ногтем большого пальца значок по краям подошвы и, ища глазами какой-то инструмент, рассуждает:

— Это уже другая статья. Дело по делам, а суд по форме. Видишь ли, при сотворении мира создатель долго раздумывал, что ему прежде сотворить: луну или солнце. Но солнце ведь дневное светило. А?

— Дневное, разумеется дневное.

— Ну вот видишь. Сам понимаешь. Но ты, Эля, полагаешь, может быть, что звезды созданы богом одновременно с луною? Скажи, как ты думаешь?

— Я думаю, реб Перец, что это вещь невозможная, потому что, сами рассудите, ведь их тьма! Их не сочтешь даже...

— Что ж из того, что их тьма? Что Кракову до Лемберга? *

— А то Кракову до Лемберга, что Краков и Лемберг, я так считаю, города, а звезды суть звезды.

— Ахти, господи отец мой! — горячится и дерет себе горло Перец. — Да что из того, что звезды?..

— Вы напрасно гневаетесь, реб Перец. Вы бы мне, кстати, объяснили, что такое звезды? Ведь вы знаете — я человек простой...

— А! — протягивает обезоруженный Перец, вытирая кулаком выступивший на лице пот. — Да ты бы прямо так и спросил, глупый парень. Этак мы с тобой до конца не дойдем. Но ты скажи мне прежде, понимаешь ли ты, отчего днем бывает день, а ночью — ночь, а? Говори!

Эля упирается своей могучей грудью в совершенно готовый каблук, наведя на него неимоверный глянец.

— Да, верно, верно. Я много раз думал об этом: отчего это вдруг день, а потом вдруг делается ночь? То есть я понимаю, что солнце заходит. Но как это и каким родом то есть, — вот этого я действительно никак не придумаю сам. А интересно бы знать все-таки...

— А? Интересно! То-то, друг мой любезный! — отвечает обрадованный таким оборотом Перец, глубокомысленно выкраивая другую пару подошв. — Взять отсюдова целый лампас, так не хватит для другой подошвы. Вырезать бы этот клинок — жаль мерку испортить... С угла тоже не годится, потому — нерезонно... А чтоб тебе весь мир так вертелся в твоих глазах, как мне голова кружится через твои проклятые башмаки. Полтинника набавить духу не хватило, свинья ты этакая, а подошвы тебе режь из целого куска, чтоб тебя резало там, — тьфу... Насчет того, почему бывает день и почему ночь, я тебе объясню, Эля, как я сам до этого своим умом дошел. Ты слушай и не перебивай... Но вот как бы подошва проклятая не подкузьмила.

И узнал ли наконец Эля, почему ночь сменяет день и наоборот, — нам, признаться, неизвестно.

Но как ни разнообразно было влияние Переца Летучей Мыши на мыслительные способности Эли,

последний смутно сознавал, что оно не только ничего ему не разъясняет, но даже путает его собственные мысли и производит одну только сумятицу в его голове; он готов был плюнуть на Переца и на его суемудрие и навсегда остаться невежественным сапожником, но судьба решила иначе. Эля скоро нашел себе нового воспитателя в лице некоего талмудиста и мыслителя-самоучки Фишла Харифа.

ГЛАВА II,

из которой читатель узнает, как шло дальнейшее развитие моего героя

Кто имел случай быть в N и не видал в лицо Фишла Харифа, тот терял время и расходы даром, ибо с таким редким экземпляром стоило познакомиться. Одно прозвание «Хариф» достаточно свидетельствует о высокой степени учености нашего субъекта. Кроме талмуда и его многочисленных комментариев и толкований, в которых он чувствовал себя как бы в родном доме, где можно прогуливаться даже с закрытыми глазами, Фишл вдобавок имел солидные сведения в области философии, религии, астрономии, медицины, геометрии и проч., почерпнутые им из талмуда же и других древнееврейских сочинений научного содержания. Вследствие своей многоучености Фишл всегда был до того рассеян, что нередко, возвращаясь из синагоги домой, он попадал либо в канцелярию станового пристава, либо в баню и вместо своей он заезжал в чужую тарелку и мог даже напялить на себя женин бурнус. Это, однако, не мешало ему владеть сокровищем, некогда вскружившим голову местному мировому судье, который сначала решился было на самоубийство, но потом, обыграв одного помещика в картах, раздумал и кончил тем, что купил себе беговые дрожки и отличного иноходца за триста пятьдесят рублей, с упряжью. Читатель догадывается, что дело идет о супруге Фишла... Да, читатель, вы можете похвалить эстетический вкус мирового судьи, потому

что очаровательная Эстерка была так же грациозна, как и прекрасна, и так же чиста, как и мила. Но, не желая испортить безупречную репутацию благочестивой Эстерки, принесшей Фишлу в жертву за его ученую славу и свою семнадцатилетнюю молодость, и обаятельную красоту, и пятитысячный капитал, мы лучше не будем распространяться ни об ее красоте, ни о ее честности, потому что это едва ли ей пойдет впрок, так как красота богобоязненной еврейки есть только одна суета, а за чистоту помыслов ручается ее благочестие, а главная ее добродетель — быть подальше от мирских толков. И потому возвратимся к Фишлу.

Судьбе угодно было свести моих героев — Элю и Фишла — следующим образом.

В местечко N невесть откуда приехал медоточивый маггид [1], выжимавший слезы из глаз у своих слушателей. Так как подобные проповеди произносятся преимущественно в субботу, то и ремесленный люд собрался в синагоге «послушать маггида». В толпе ремесленников можно было заметить подвижную фигурку Переца Летучей Мыши, который на этот раз держал свои глазки зажмуренными и вложил палец в нос, делая вид, что относится к проповеди знаменитого маггида критически, между тем как Перец, говоря по совести, ни одного слова не понял из этой казуистики на весьма запутанную тему из мидраша *, которая обещала быть разрешенной по скончании миров. В конце концов скучавший Перец решил-таки уйти из синагоги, более, впрочем, с видом человека разочарованного, нежели непосвященного профана, потому что на вопрос одного портного: «Зачем вы уходите, реб Перец?» — он только махнул рукой и лаконически ответил: «Знаем мы эту старую канитель!..»

Что же до Эли, то он был буквально очарован речью проповедника, глотая каждое его слово и пожирая его глазами, и хотя он также ничего не понял из того, что так энергически защищал ученый

[1] Проповедник *(еврейск.)*.

маггид, но его точно что-то пригвоздило к месту, и он впился глазами в горячившегося оратора.

Но внимание Эли было также обращено на одного молодого человека, высокого, тонкого, белобрысого, с серыми влажными глазами и очень приятным лицом. Это был Фишл Хариф, который с самого начала проповеди вскарабкался на перила кафедры, где качался во все стороны седовласый маггид. Лицо Фишла, прежде серьезное и сосредоточенное, стало мало-помалу проясняться, и на красивых устах его показалась улыбка, ироническая улыбка. И вдруг на самом, по-видимому, замысловатом месте, где оратор, казалось, готовился довершить свое здание, построенное могучей фантазией велемудрого оратора, заговорил Фишл тонким, но сильным фальцетом, ужасно жестикулируя руками и доказывая пастве, что все это грандиозное здание построено оратором на песке и потому его доводы не выдерживают критики, и, подкрепив свой взгляд массою изречений разных ученых, Фишл разбил в пух и прах растерявшегося маггида. Последний стал было защищаться, но неугомонный Фишл победоносно, с глазами, метавшими молнии, наносил своему противнику один удар за другим, ссылаясь на талмуд и его наиболее популярных комментаторов, называя ему даже отделы, страницы и параграфы; одним словом, разбил его наголову, так что побежденному проповеднику оставалось только положить оружие, тут же при всех назвать Фишла великим Харифом (ученым казуистом) и сойти со сцены... Шепот одобрения, пронесшийся, как электрический ток, по всей синагоге, стал мало-помалу усиливаться и возвышаться и перешел, наконец, в бесцеремонный шум, гам, гул и крик, что выражало восторг слушателей, обменивавшихся многозначительными возгласами: н-н-ну! Фишл Хариф! Н-н-н-ну...

Взволнованный своим успехом и растроганный одобрением и сочувствием народа, благочестивый Фишл, чтобы не дать воли своему высокомерию, матери многих пороков, еле протиснулся сквозь толпу и с опущенными долу глазами направился в боковую комнату синагоги, называемую «пулыш», желая поды-

шать свежим воздухом и наедине предаться сладким размышлениям о своей блистательной победе. Но едва Фишл успел присесть на скамейку, как увидел перед собой дрожавшего, как в лихорадке, парня.

— Что вам нужно? Кто вы? — спросил его Фишл.

— Я... Эля, подмастерье сапожника Переца Летучей Мыши...

— Что же тебе надо от меня?

— Я слышал проповедь маггида, — сказал Эля дрожащим голосом, — и слышал также вашу речь, и хотя я ничего не понимаю, — я простой человек, — однако я все выслушал, а когда вы говорили, то мне казалось... Я сам не знаю что... Я не могу выразить... Я...

— Но ведь ты ничего не понял...

— Да, но мне так хорошо сделалось, когда вы начали спорить, и я предчувствовал, что вы выиграете. Теперь я так рад, так рад...

Фишл посмотрел на Элю и увидел на его глазах слезы.

— Хорошо, хорошо, только мне теперь некогда: я никак не могу теперь с тобою говорить. Приди сюда завтра, после утренней молитвы; тогда я свободен; тогда потолкуем.

— Но я работник, подмастерье, я не могу днем уходить с работы, — надтреснутым голосом молвил Эля.

— А! Я забыл, совсем забыл, — сказал Фишл с участием, — ну, так разве вечером, после минхе *.

— Да, да, да, вечером! — воскликнул Эля радостно и удалился.

С тех пор Фишл Хариф и Эля Тамоватый стали мало-помалу сходиться и впоследствии окончательно привязались друг к другу неразрывными узами дружбы и любви. Сначала, разумеется, было не без натяжек, потому что все-таки один был ученый, а другой — сапожник. Но любознательность Эли была так велика, что заставила Фишла забыть различие, существовавшее между ними в умственном отношении: его увлекала роль учителя, которая пришлась ему как

нельзя более по душе, а Эля обнаруживал бесконечное любопытство и глубочайшую жажду ко всему, что носило отпечаток науки. Метод преподавания Фишл избрал оригинальный. Так как Эля целые дни работал в мастерской Переца Летучей Мыши и бывал свободен только по вечерам, то это время употреблялось на учебные занятия, которых Фишл не систематизировал, а передавал запас своих сведений своему ученику как бог на душу положит, яснее говоря, Фишл не обучал, а развивал, образовывал молодого сапожника, передавая ему устно все, что знал, облекал свои лекции в форму рассказов, увлекательно развивая ту или другую мысль и уносясь вместе с восприимчивым и в высшей степени любознательным учеником в высшую область мышления. Он освободил Элю от элементарных мелочей, избавил его от казуистической техники, не заботился о том, достаточно ли грамотен Эля, и узнает ли тот, где именно, когда и кто высказал то или другое изречение или предположение,— к чему ему это! Фишл отыскивал для него квинтэссенцию того, что знал он сам, и нельзя сказать, чтобы это преподавание было бесполезно и для самого учителя. Местом занятий служила им маленькая комнатка в квартире Фишла, и хотя это обстоятельство несколько шокировало его в глазах прекрасной Эстерки, которая не была особенно довольна тем, что ее знаменитый хариф запанибрата с сапожником, но, привыкши смотреть на мужа с безотчетным благоговением, она и на этот раз покорилась ему и только издали наблюдала за ними, любуясь увлекательными речами мужа, конечно, на немецко-еврейском жаргоне *, доступном для всякого.

Так прошло пять-шесть лет. Эля давно уже женился, сделался самостоятельным сапожником, открыл мастерскую, предварительно поссорившись с своим бывшим принципалом, Перецем Летучей Мышью, обменявшись мочеными подошвами и просто кулаками, причем в последнем обнаружилась его заячья трусость, тогда как Эля, напротив того, выказал особенную храбрость в наступательном движении, запечатлев два фонаря под глазами Переца. С тех пор

их дружественные отношения прекратились совершенно и навсегда.

Почтенные обыватели местечка, хотя и знали, что Эля Тамоватый братается с известным ученым Фишлом Харифом, однако это нисколько не способствовало возвышению его умственного уровня в глазах его собратьев по вере: они приписывали эти интимные отношения между сапожником и ученым тому обстоятельству, что первый не больше как «тамоватый», — а про таких закон не писан, а второй — человек рассеянный, или, по-еврейски, — отдаленный от мира сего, которому безразлично, кто бы к нему ни привязался... Насколько это мнение ошибочно, можно было видеть из того, что Фишл целые дни и вечера проводил в мастерской Эли, беседуя с ним о таких вещах, которые приводили в ужас присутствовавших при этом подмастерьев, только глазищами похлопывавших, не постигая, как это можно столько болтать черт знает о каких пустяках...

С течением времени научные беседы этих чудаков принимали все более и более широкие размеры, и по мере того увеличивался их умственный капитал, а выбор книг для чтения был самый разнообразный. Трудно определить и составить каталог тех книг, которые имелись в так называемой «старой синагоге» под ведомством старого и глухого реб Лейбиша, бог весть когда и кем назначенного библиотекарем. Тут был талмуд * вавилонский и талмуд иерусалимский, книги: мишна, мидраш, мехильта, сифри, Альфаси *, даже Зогар; * далее, все сочинения Маймонида, Ибн-Эзры, Бахии, Ибн-Дауда * и многие другие; религиозная философия Саадии Гаона * и другие; сочинения Абарбанеля *, поэзия всех эпох вплоть до XV—XVI веков; поддельная история Иосифа Флавия *, каббалистические и разные мистические сочинения; сочинения позднейшего времени, эпохи хасидизма и разные старые книжки с какими-то таинственными математическими исчислениями, загадочными геометрическими и географическими чертежами бог весть когда, кем и для чего составленными. Одним словом, это была библиотека самого загадочного происхожде-

ния, и недаром реб Лейбиш никому не доверял ключа от этого хранилища, а сам выдавал требуемые книги, записывая их мелом на косяках дверей египетскими иероглифами.

Предоставляю моим читателям судить, какой сумбур стоял в мозгах моих героев от чтения без разбора всей этой груды печатной бумаги. Общими силами взялись они за отыскание своего собственного философского камня. Им, видите ли, хотелось решить следующую дилемму: когда наступит тот блаженный день, когда все народы, рассеянные по лицу земли, познают одного истинного бога, когда все люди, сколько их ни есть, подадут друг другу руки и заключат между собой братский союз, когда волк будет пастись с ягненком, тигр — с теленком, и воцарятся мир и гармония во вселенной, когда всеми народами будет править одна сила правды, мира, веры и любви и т. д. и т. д., как это столь часто говорилось священными устами вещих пророков и разновременно толковалось в талмуде и позднейших сочинениях древнееврейской литературы.

Идиллическая картина, нарисованная в воображении этих юношей, была действительно прекрасна, величественна и поражала смелостью своих красок, своей дивной гармонией и вечной правдою.

Летом, бывало, увлекшись теплой беседой, сами того не замечая, забредут в лес, расположатся под густолиственным деревом на мягкой, пахучей траве, вперят свои взоры в лазоревую высь, всецело предавшись сладкому мечтанию вслух. И чудится им мир, прелестный мир, где все живет вечно, не умирая, где все зреет, не увядая, где все стремится вперед, смело, неотступно, где все наслаждается не теми наслаждениями, которые только опошляют наше существо, а высокими, чистыми, душевными наслаждениями, более достойными человеческого призвания. Вера, правда, любовь, братство, — вот в чем состояло созерцание этих чудаков, — это был именно тот идеал, который создал высокий полет их разыгравшейся фантазии, не ограниченный и не стесненный безотрадным знанием суровых фактов древней и новой истории человечества.

ГЛАВА III,
из которой читатель узнает некоторые неожиданности

В одно прекрасное — именно прекрасное — утро Фишл ворвался в мастерскую Эли и, схватив его за руку, потащил за собой на двор.

— Куда ты меня тащишь? — взмолился Эля.

— Пойдем, пойдем туда! Я должен сообщить тебе кое-что очень важное, пойдем!

Напрасно умолял его Эля обождать хоть полчаса, пока он не распорядится работою на целый день; напрасно доказывал он ему, что, кроме философии, ему надо заботиться также и о куске хлеба для себя и для семейства своего.

— Эх, что семейство, — возразил Фишл, увлекая Элю все дальше и дальше. — До семейства ли нам теперь? Подумай, Эля, об одном... Но нет. Там я тебе все скажу... Идем!

Через полчаса юноши были уже в лесу. Утро было великолепное. Солнце приветливо заглянуло в зеленую листву и только начало обливать ее своими яркими, теплыми лучами. Соловей запел свою чудную песнь, щедро рассыпав по лесу свои неподражаемые трели; он, казалось, упивался своей неограниченной свободой. Из-под куста осторожно выскочил заяц, постоял, повертел мордочкой туда-сюда, точно кумушка, на минуточку выбежавшая из дому поглядеть на проходящих мимо молодцов и, кстати, себя показать, — но через минуту быстро повернул налево кругом — и марш-марш. Там издали зеленели поля, бесконечные и необъятные, как мир. Стая диких гусей правильными рядами пронеслась высоко над их головами, скользя, словно лодка по гладкой зеркальной поверхности реки, качаясь то в одну, то в другую сторону. Славный, чудесный выдался день.

— Помнишь ли ты, Эля, одиннадцатую главу Исайи? Я ее тебе часто читал, — обратился Фишл к Эле, вынув из кармана маленький томик Ветхого завета, отыскал одиннадцатую главу Исайи и начал

читать ее нараспев, переводя каждую фразу на жаргон, вдохновенно жестикулируя и качаясь, как маятник, то в одну, то в другую сторону, постепенно возвышая интонацию.

— Ну так что ж? — спросил Эля, когда Фишл кончил свою декламацию.

— Так я полагаю, что уже настало это время, — ответил Фишл торжественно.

Эля сделал большие глаза.

— То есть как это? Мессианское время? *

— Ну да: мессианское, — заключил Фишл, и в глазах его запылал огонь, какой Эля заметил в них тогда, когда Фишл победил знаменитого маггида.

Эля удивился несказанно; он долго не мог говорить; наконец решился спросить:

— Разве счет кончился?.. *

— Кончился, — тихо ответил Фишл и вздохнул свободней, передав товарищу все, что носил в душе несколько дней сряду.

— Ты высчитал? — спросил Эля взволнованно.

— Нечего считать, — ответил ему Фишл. — Что раз высчитано богом, того человек не сочтет. Он не считает. Для него не существует ни математических вычислений, ни времени. Он вне времени и пространства. Я тебе, кажется, не раз говорил и в книгах показывал тебе. Талмуд, рассуждая о пришествии мессии, тоже нигде не определяет ни места, ни времени. Тогда придет мессия, говорится в талмуде, когда человеческий род в известную эпоху будет состоять или из одних праведников, или же из одних только грешников. Сомневаешься ли ты, Эля, что теперь гораздо больше бесчестных, чем честных людей?

— Ну, положим...

— Положим? Еще в другом месте сказано, что возрастание дерзости есть признак приближения мессианского времени...

— Так, так, понимаю! — воскликнул Эля, прояснившись. — Уж как дерзко и нахально нынче с нашим братом-евреем обходятся, что и говорить.

— Да мало ли еще какие я имею доводы, — продолжал рассуждать Фишл, — всех не сочтешь, да и

нечего считать-то: я в этом так же убежден, как и в том, что вот это земля, а вот это небо. — Он указал глазами на землю и на небо, опять открыл книгу и повторил стих: — «И вырастет ветка из ствола Ишай», то есть дома Давидова. Вникни, Эля, в смысл этих слов.

Эля задумался, потом спросил:

— Что же, однако, из этого видно?

— А то, — молвил Фишл торжественно, — что тот человек (из ствола Ишай) стоит теперь пред твоими глазами...

Остолбенел Эля и потерялся окончательно. Одну минуту в его голове пронеслась мысль: «Не рехнулся ли Фишл?» Но он слишком благоговел пред своим ученым товарищем, которому, по мнению Эли, не было равного в целом мире и в котором он давно подозревал нечто гигантское, неземное, пророческое...

— Что ты смотришь на меня такими глазами? — сказал Фишл и приблизился к отступившему на два шага Эле. — Ты удивляешься?..

— Ты... мессия?! — мог только произнести Эля и задрожал всем телом.

— Да, — сказал Фишл гордо. — Я мессия... Я призван для того, чтобы снять с моего народа тяжелые оковы, которые наложили на него злые люди...

— Но ведь мессия должен быть из царственного дома Давида, — осмелился прервать его Эля.

— Как же ты можешь знать, что я не из этой династии? — сказал Фишл обиженно. — Метрику, ревизскую сказку *, что ли, тебе представить?

— Я против этого не спорю, — поспешил Эля оправдаться. — Только мессия все-таки...

— Что мессия? Что все-таки? — огрызнулся Фишл. — Тебе чудеса нужны? Не тысячу ли раз я доказывал тебе, из книг тебе подтверждал, что мессия должен быть обыкновенным человеком, а вовсе не ангелом без плоти и крови! Только дух, действительно дух должен быть у него возвышенный, необыкновенный, который обнаружится в нем тогда, когда осенит его дух господний, как вещал о том боговдохновенный Исайя. Ну, понимаешь ли ты теперь? Эх,

простота, простота. Тебе чудеса, сверхъестественность нужны. Забыл ты разве, что говорит об этом Маймонид? Он положительно отрицает то мнение, которого придерживается невежественное большинство наших евреев, будто пришествие мессии должно сопровождаться какими-то чудесами и сверхъестественными явлениями, что приехать он должен на белом осле, что земля палестинская будет производить готовые платья из шелка, и прочее и прочее. О амгарацем[1], невежды, ханжи, фарисеи и прочий эреврав[2]. Вы задерживаете, вы продолжаете голес[3], вы...

Фишл все более и более воспламенялся и приходил в экстаз. Эля не на шутку перепугался.

— Извини меня, пожалуйста, — взмолился Эля, — я, право, не из тех; я хоть и не бог весть какой ученый, но я верю, всему верю... Я даже рад, что так случилось, что настал конец, право рад. Только меня это смущает, что... ведь я, если сказать правду, не больше, как бал-мелохе — ремесленник, простой, то есть сапожник, а ты... ты сам мессия!..

— В том-то и дело, что ты, по скромности своей, считаешь себя ничтожеством, между тем как по-настоящему тебе следовало бы гордиться твоим завидным положением.

Эля смотрел на него во все глаза. Фишл опять раскрыл Ветхий завет, отыскал третью главу пророка Малахии и велел ему прочитать и перевести на жаргон двадцать третий стих. Эля громко читал: «Се я посылаю вам Илью-пророка пред наступлением дня божия великого и грозного».

Фишл спрятал томик священного писания в карман, устремил на Элю испытующий взор и промолвил:

— Ну, что ты теперь скажешь, милый друг?

Мозги Эли сильно работали над этим вопросом. Его нервы и без того были ужасно напряжены. Что ему было сказать? — чудеса, да и только! Сказано — мессианское время. А впрочем. Нет...

---

[1] Неучи *(еврейск.)*.
[2] Полчища неверных *(еврейск.)*.
[3] Изгнание *(еврейск.)*.

— Что так долго думаешь? — накинулся на него нетерпеливый Фишл. — Не прикажешь ли разжевывать тебе каждое слово и в рот тебе класть? Как тебя зовут?

— Меня?.. Эля.

— Нет! По-древнееврейски?

— По-древнееврейски? Илья...

— Ну, теперь понял?

Друзья бросились друг другу в объятия.

Между ними тогда только завязалась горячая беседа.

О чем говорили они?

Спросите небо, землю, лес и птиц.

Когда они выходили из лесу, то солнца уже не было, и чудная ночь, сгущаясь, стала надвигаться, как туча окутывая землю своею мглой и высыпая на небе одну за другою свои брильянтовые звезды.

В застывшем воздухе сильно пахнуло сыростью, пронизавшей наших юных мечтателей, которые возвратились домой уже поздно вечером, один — мессией, а другой — Ильей-пророком...

ГЛАВА IV,

из которой читатель узнает начало и конец рассказа

Тяжелое время — время бедствий и испытаний настало для наших героев-самозванцев.

Фишла, как и следовало ожидать, приняли за сумасшедшего, и даже не особенно удивлялись этому, так как и раньше некоторые близкие ему люди считали его маньяком, судя по его рассеянности и странностям. Но прежде говаривали, что у него «открытые мозги» *. Теперь же не подлежало сомнению, что несчастный Фишл свихнул с ума, так как с пришествием настоящего мессии воздух должен наполниться трубными звуками — «бекойл-шойфор», кости покойников должны совершить подземное путешествие в святую землю («гилгул ацомойс»), мертвые должны воскреснуть («тхияс-гамейсим») и еще многое другое. А тут

какой-то Хариф всенародно объявляет себя мессией, богомазаным спасителем евреев. Так-то мы тебе, братец, на слово и поверим? Как же-с! Держи карман... Напрасно сражался с ними Фишл, ораторствуя, показывая им массу изречений священного писания и талмуда, в исступлении цитируя им вещих пророков, называя своих протестантов и фарисеями, и амегарацами, и невеждами, и бог весть чем. Собравшаяся толпа евреев только головами покачивала, соболезнуя рыдавшей от горя Эстерке, а еврейки помогали ей плакать навзрыд.

«Несчастная Эстерка, — говорили они, захлебываясь слезами, — бедная Эстерка. Ее муж, ее хариф, золотая голова, ученый Фишл — тронулся...»

Через несколько часов Фишла, несмотря на все его протесты, насильно снарядили в путь-дорогу. На двор подкатила светло-серая буда реб Лейзера, прочная и просторная, с перетянутыми грубым холстом обручами, со множеством бубенчиков и других металлических побрякушек, производивших оглушительный шум во время прыганья буды по ухабистой мостовой, и, наконец, с тремя тощими, мохнатыми клячами, с величайшим нетерпением дожидавшимися, пока их выпрягут и подсыплют им малую толику душистого овса. Уже реб Лейзер вскарабкался на высочайшие козлы, нахлобучил на голову, несмотря на летнюю пору, баранью шапку и принялся выжидать своих «паршейндлах», то есть пассажиров, высчитывая по пальцам, сколько пойдет на сено, сколько на овес, сколько на собственный корм и сколько останется ему чистого капитала от этого рейса. Он, по-видимому, остался недоволен балансом, потому что угрюмо повернул своими свиными глазами, сплюнул в сторону и стегнул совершенно неповинную пристяжную, которая только что собиралась вздремнуть маленько.

Наконец вынесли на руках бившегося и метавшегося Фишла, положили его со связанными назад руками в буде на подушки. За ним полез туда же здоровенный парень, в качестве усмирителя умалишенного, и плотно уселся у Фишла на ногах. За ним села рыдавшая Эстерка, закутанная множеством зим-

них и летних платков, предварительно расцеловавшись со всеми сердобольными бабами, из которых одна так впилась ей в губы, что подумали: «Не собирается ли она проглотить несчастную Эстерку?..» Мужчины, более набожные, стали благословлять путников, а женщины в сотый раз, кланяясь, кричали: «Форт гезунд»[1]. И бог весть сколько это могло бы продолжаться, если бы к толпе не подошел Эля Тамоватый. Успокоившийся Фишл, выбившись из сил, лежал поперек буды с устремленным вдаль взором. Заметив приближавшегося Элю, он собрался с последними силами, рванулся к отверстию, служившему для пассажиров окном, и отчаянным голосом произнес:

— Прощай, Эля! Прощай, друг мой! Не унывай, брат, что видишь меня в таком положении. Это ничего; это необходимое испытание, ниспосланное мне свыше. Не теряй веры. Еще немножко пострадаем за него. Но скоро-скоро настанет его грозный час... Тебе дадут знать, Эля, или я сам приду. Эти железные оковы, которые ты видишь на мне, что они значат против одного его слова? Эля, не теряй веры. Жди меня. Ты мой посланец. Ты возвестишь Иакову великий час свободы... Ты...

Толпа была потрясена этим торжественным воззванием лже-мессии, подействовавшим на нее зажигающим образом, и никто не решался прервать его речь. Но один старичок накинулся на толпу, упрекая ее в богохульстве, ибо никто не препятствует умалишенному произносить имя господне всуе. Толпа гикнула на реб Лейзера, что пора, мол, тронуть. Реб Лейзер еще сильнее нахлобучил шапку, втянул в нос солидную порцию табаку, потянул вожжи, стегнул лошадей; с криками: «Вью, вью», — экипаж тронулся и с быстротою черепашьего бега скрылся в густой трехсаженной пыли.

Мое слабое перо не берется описать, что перенес Фишл в продолжении семи месяцев мыканья по разным цадикам *, знахарям и другим шарлатанам доморощенной медицины. С непостижимым терпением

---

[1] Счастливого пути *(еврейск.)*.

переносил он всевозможные пытки, душевные и физические, не теряя надежды, что настанет время, когда люди образумятся и единогласно признают его настоящим мессией.

В не менее критическом положении находился и Эля. Его грызло сомнение в действительности своего и Фишла призвания. «Если, — рассуждал он, — мессия явился в лице Фишла, то неужели он не мог бы освободиться от власти каких-нибудь невежественных упрямцев? За него должен был бы заступиться сам бог». На все вопросы любопытных, пожелавших узнать подробности происшествия с Харифом, Эля оставался нем как рыба. Он уже начал терять веру в высокое назначение Фишла, а тем более в свою священную миссию. «Какой я Илья-пророк, — думал Эля и терзал себя мысленно. — Дурак я — вот что! Надо мной подшутила судьба, а я, простофиля, зазнался. Знай сверчок свой шесток...»

Местечко N спало крепким сном. На дворе стояла зимняя январская ночь! Небо вызвездилось и сыпало изумрудом по хрустевшему снегу. Мороз налегал на землю, леденя воду и расписывая причудливые узоры на окнах домов. Нигде не видно было огня. Только в избе сапожника светилось. Над раскрытой библией сидел Эля, но взор его не был устремлен в книгу, а блуждал в пространстве, а мысли его еще дальше. В нем происходила реакция. Трудно отрешиться разом от того, во что прежде верил глубоко, искренне...

Эле вдруг почудилось, что к нему стучатся в дверь. Он стал прислушиваться: точно. «Кто бы мог быть этот поздний посетитель», — подумал Эля и направился к двери. Пред ним предстал человек в жалкой шинелишке, в калошах на босу ногу и с теплым платком на голове вместо шапки. Он постоял с минуту и бросился к Эле на шею.

То был Фишл Хариф...

Первые слова, которыми он встретил своего друга, были: «Будь ты проклинаем, а не проклинающим», — сказано в талмуде. «Будь ты из тех, которые преследу-

ются, а не из преследующих. Кто смиренно принимает обиду, кто делает добро из любви, кто утешает себя в горе — все эти друзья бога, и о них говорит писание, что они будут блистать подобно солнцу в его блеске...»

Незаметно прошла для них ночь в бурной беседе о пережитых страданиях и приветливо улыбающейся будущности.

Когда наступило утро, Эля собрался в путь.

Вот план, обдуманный ими для начала своих действий.

Так как в губернском городе, где произошло описываемое мною событие, предстояла большая ярмарка, на которую обыкновенно съезжается масса евреев со всех мест их оседлости*, то сюда и откомандировал Фишл своего адъюнкта для распространения мессианства, а сам спрятался от своих преследователей в доме Эли, дожидаясь его возвращения оттуда с вестями, какое впечатление произвело на их единоверцев радостное известие о пришествии мессии... И таким образом мы приблизились к самому началу рассказа, к тому моменту, когда Эля стоял визави с грозным швейцаром г-на губернатора.

Добился ли Эля свидания с губернатором, и успел ли он убедить начальника губернии в том, что пришло мессианское время, — неизвестно. Только об одном последствии этого шага Эли мы умолчать не должны: Фишл опять очутился в доме «нищих духом».

Фишл Хариф пробыл две недели в доме умалишенных и умер. Не выдержала его хилая натура стольких физических и душевных испытаний... Это было невообразимым ударом для Эли, которого через несколько дней после смерти Фишла нашли в сарае повесившимся. Его жену и двоих детей приютил у себя бывший принципал и учитель, а впоследствии конкурент покойника — реб Перец Летучая Мышь, который, как говорят, сделался еще более склонным к мечтательности, а в последнее время стал впадать в мистицизм.

ТИПЫ «МАЛОЙ БИРЖИ»

«СТО ТЫСЯЧ»

I

«В настоящее время благодаря спросу на наши фонды за границей рубли значительно повысились в цене, вследствие чего на так называемой «малой бирже» замечается давно небывалое оживление. Называют имена наживших порядочные деньги. Особенно много говорят о некоем N, который в течение трех-четырех дней выиграл на разнице в курсе не больше и не меньше, как сто тысяч рублей. Таким образом, по воле слепой фортуны вчерашний биржевой заяц, легши бедняком, сегодня проснулся Крезом...»

Эта краткая заметка, извлеченная нами из одной черноморской газеты, в свое время произвела в городе Черноморске большой фурор и глубокую сенсацию. Не было дома, где бы в тот день не говорилось о стотысячном выигрыше; не было человека, который не интересовался бы счастливым избранником судьбы: кто он такой? Откуда? Некоторые даже искали случая познакомиться с ним поближе; добрые

люди намеревались служить ему своими практическими советами, каким образом надлежит ему распорядиться капиталом, дабы он был употреблен с пользою и для него самого и для общества. «Подумайте, ведь это сто тысяч, черт побери...» Одним словом, какой-то никому не ведомый господин N вдруг становится героем дня, волнует умы и сердца честных обывателей, между тем как сам герой...

Здесь автор чувствует необходимость прервать нить своего рассказа в самом начале для того, чтобы почтительнейше представить нашего героя просвещенному вниманию благосклонного читателя.

Итак, «наш герой» был низенький, толстенький, с чрезвычайно подвижным лицом, уже не молодой, холостяк, лет сорока или пятидесяти, смотря по обстоятельствам: если дела его шли хорошо, он становился на десять лет моложе; при неудачах же он не казался уже таким молодцом, хотя живости лица не терял никогда, а на устах его всегда играла жизнерадостная улыбка. К чести его характера надо сказать, что несмотря на многочисленные разочарования, испытанные им в жизни, несмотря на все удары, которые наносила ему много раз коварная судьба своей беспощадной рукой, он сумел сохранить полное равновесие духа, никогда не впадая в совершенное отчаяние и ни на минуту не теряя надежды и веры в свою счастливую звезду. Волею судеб и своими когда-то многосложными деловыми операциями занесенный в Черноморск, где и застрял, наш герой испробовал все средства скорого обогащения, которых, кстати сказать, в этом городе немало, и в конце концов должен был отдать пальму первенства истинному «золотому руну», которое называется здесь «малой биржей» и которое привлекает к себе всякий раз все новых аргонавтов. Сначала он, разумеется, как игрок-любитель, только наблюдал, как играют другие, любуясь этой в высшей степени забавной игрой, которая заключается будто бы в купле и продаже мифического «Лондона», то есть реально не существующих английских фунтов стерлингов, и которая, в сущности, есть самая азартная и бессмыслен-

ная игра, может быть, с меньшими шансами, чем знаменитая рулетка в Монте-Карло. Нет ничего удивительного в том, что наш герой, видя, как другие иногда случайно наживаются, позволял себе от времени до времени рисковать некоторыми суммами, и не его вина, конечно, что «Берлин» чаще всего шел наперекор его мнениям относительно устойчивости или неустойчивости нашей валюты. Подобные попытки, правда, обходились ему не совсем дешево. Они доводили его постепенно до разорения; но наш герой, по свойственному ему оптимизму, объяснял свои неудачи чисто случайными препятствиями.

Таким образом он продолжал столь заманчивую и соблазнительную игру до тех самых пор, пока он, в одно прекрасное для всего человечества и вовсе не прекрасное для него утро, не убедился воочию, что последний рубль, который еще болтался в его кармане, вдруг «взял да улетел», подобно птичке из рук несчастного охотника, оставив своего обладателя в таком недоумении и в таком дурацком положении, которого нельзя пожелать даже самому отъявленному глупцу в мире.

Весьма возможно, что другой на месте нашего героя после столь блестящих успехов в биржевой игре впал бы в самое глубокое уныние и, «по зрелому обсуждению вопроса», бросился бы, как это принято в богоспасаемом граде Черноморске, со Строгановского моста вниз головою, или, если это человек со смекалкой, плюнул бы и на биржевую игру, и на «Берлин», и на «Лондон», и зажил бы чем бог послал. Но не таков был наш герой. Скрестив на груди руки и вытянувшись, с откинутой назад головой и с закрытыми глазами, на старом истрепанном диване, он в таком трагическом положении просидел около получаса времени, надо полагать, в самом глубоком раздумье, потом вдруг вскочил на ноги и стал шагать взад и вперед по своей убогой комнатке с быстротою человека, которого осенила гениальная мысль, откровение свыше. Однако такое шагание, насколько нам известно из практики, не может привести человека ни к каким положительным результатам, если бы оно

продолжалось даже целую вечность, и потому, захватив с собою палку — свою неизменную спутницу, наш герой со всех ног пустился бежать. Неизвестно, имел ли он какое-либо преднамерение, или ноги, в силу привычки, сами понесли его, но он очутился, как и всегда, на «малой бирже» среди тех же дельцов, что и всегда, и первым его вопросом было, как и всегда: «Каково положение?».

«Положение» оказалось, однако же, настолько обостренным, что могло внушить истинным жрецам биржи и страх и надежду. Выражаясь языком «малой биржи», в воздухе отдавало «слабостью», то есть можно было предвидеть падение золота, иностранной валюты. Эта весть точно кипятком обдала нашего героя, который, надо отдать ему справедливость, уже несколько лет подряд предсказывал всем и каждому неминуемое понижение заграничных ценностей, и, следовательно, всякий, кому жизнь мила, должен был идти на повышение нашего рубля. Если же его предсказание немножко опоздало, то не надо забывать, что пророков нынче везде очень мало.

Однако, что прикажете делать с одним только «предсказанием», хотя бы и драгоценным, простите за откровенность, без копейки денег в кармане?

«Денег бы теперь побольше, денег!» — вот что думал наш герой, роясь во всех карманах и, разумеется, напрасно.

II

Итак, нашему герою предстояло быть свидетелем того, что люди будут загребать золото лопатами, а он...

«Нет, этому не бывать!» — воскликнул он в сердцах, и сейчас же ему пришла счастливая мысль обратиться к кому-нибудь из так называемых на бирже privatiers, то есть вольнопрактикующих или «временных» дельцов, надеясь убедить их в том, что если они действительно желают себе добра, в чем он нисколько не сомневается, то должны именно сегодня начать игру заодно с ним таким образом, что они вклады-

вают в общее дело свои деньги, а он — свой ум. Но этот проект, несмотря на несомненную выгоду, которую он равномерно сулил обеим заинтересованным сторонам, почему-то был встречен многозначительными улыбками со стороны вольнопрактикующих биржевиков и самым безжалостным образом отклонен ими на том-де основании, будто они уже знают цену всем этим предсказаниям разных молодцов, потерявших все свои капиталы и оставшихся при одном только уме.

Потерпев фиаско среди своих, наш герой бросился к чужим. Вспомнив, может быть совершенно случайно, по какой-то ассоциации идей, что хозяин занимаемой им квартиры, купец очень богатый и человек весьма почтенный, наш неунывающий герой испросил у него аудиенции «по весьма важному делу». Это был действительно почтенный человек, с бородою патриарха и вообще внушительной наружности. Пригласив своего гостя сесть, хозяин приготовился выслушать «важное дело». Но гость, вместо того чтобы прямо приступить к делу, поднялся со своего стула, запер дверь на ключ и, осведомившись предварительно о том, что их никто не слышит, обратился к хозяину со следующей краткой речью:

— Извините меня, почтеннейший, за нескромный вопрос, который я намерен предложить вам сейчас. Но вы, если я не ошибаюсь, немножко озадачены, даже как будто перепуганы.

— Ничего, ничего, — отвечал хозяин, действительно озадаченный и напуганный странным поведением своего квартиранта. — Говорите, я рад вас выслушать, даже очень рад.

— В таком случае, скажите мне по совести, вы ведь, говорят, богатый человек. То есть я хотел бы знать, сколько у вас, например, денег?

— Денег?

— Да, денег. Пожалуйста, не стесняйтесь.

Такой неожиданный оборот речи, весьма натурально, мог уже не на шутку напугать почтенного купца, который бросил безнадежный взгляд за запертую дверь и поспешил ответить.

— Денег? Кто вам сказал, будто у меня есть деньги, горе у меня есть, вот что, дом с банковым долгом, если хотите знать. Да-с.

— То-то, почтеннейший. А между тем стоит вам только захотеть — и у вас их пропасть — пятьдесят тысяч, сто тысяч, как честный человек! Смотрите, вот, вот они перед вашими глазами!

Успокоившись несколько от напрасной тревоги, почтенный купец, вытирая пот с лица, изо всех глаз смотрел впереди себя, но никаких денег не видал. Он видел лишь пылавшее лицо своего собеседника, которого, признаться, он принял за полупомешанного или, пожалуй, и за окончательно помешанного, а потому счел благоразумным ничего ему не возражать. Мнение почтенного патриарха было истолковано нашим героем в наиболее благоприятном смысле, а потому он принялся с еще большим жаром описывать перед ним все те блага, которые ожидали всякого благомыслящего человека в тот именно момент, когда... и т. д. Каково же было его удивление, когда почтенный хозяин, узнав наконец, что речь идет о «Лондоне», «Берлине» и «малой бирже», разразился таким неистовым смехом, что казалось, точно сам сатана поселился в его горле.

— Нельзя ли узнать, почтеннейший, причину вашего столь веселого расположения духа и что именно так рассмешило вас? — спросил гость.

— Вы еще спрашиваете? — отвечал хозяин, чуть ли не задыхаясь от нового приступа смеха. — Ха-ха-ха. Биржа? «Лондон»? Нет, увольте. Ха-ха-ха. Я стар, но, слава богу, еще в здравом уме. Ха-ха-ха!

Подобный инцидент мог огорошить хоть кого, но не нашего многотерпеливого героя, который не падая духом принялся убеждать своего собеседника с удвоенной силой, доказав ему как дважды два — четыре, что теперь самый благоприятный момент для того, чтобы сразу сорвать куш, и тогда — прощай биржа! Что же? Разве он виноват в том, что до сих пор все не было благоприятного момента, курсы все колебались, то вверх, то вниз, вытянув таким образом из него все жилы, высосав все соки, все, как

есть? И неужели теперь, когда он может в один день все с лихвой вернуть, не найдется ни одной доброй души, которая пожалеет человека, когда-то, быть может, не раз выручавшего брата из беды?..

Неизвестно, лицо ли нашего героя было настолько жалко в эту минуту, или в его словах чувствовалась святая правда, но почтенный купец подумал: «Отчего бы в самом деле не испробовать счастья и мне на старости лет? Двести — триста рублей не ахти какая сумма, да и человека жаль».

— Ладно, — сказал хозяин, — даю вам триста целковых. Только не забудьте условия: весь выигрыш пополам.

— Пополам, почтеннейший, пополам, клянусь вам честью. До свидания, я ведь могу опоздать...

III

Кондитерское заведение и кофейня, что на Е-ской улице в Черноморске, там, где обыкновенно собирается большинство деятелей «малой биржи» и где, собственно, и совершаются все биржевые операции, давно уж не запомнит такого волнения среди своих вечно возбужденных посетителей, как в тот день, когда в местной печати появилась сенсационная заметка, приведенная в самом начале нашего невымышленного рассказа.

Еще с самого утра можно было заметить необыкновенное движение среди маклеров и дельцов всех рангов, сновавших взад и вперед по широким тротуарам широкой улицы, горячо между собой разговаривая, ужасно жестикулируя и с беспокойством оглядываясь на городского стража, поставленного для соблюдения порядка в этом беспокойном месте.

Все находились в крайне нервном возбуждении. У всех на языке вертелись одни и те же отрывистые фразы, совершенно для непосвященного непонятные, вроде, например, следующих: «Десять тысяч фунтов с моим гох'ом (hoch'ом)... послушаем, что скажет Петербург... угостили Тработти котлетою на ультимо

(ultimo)... Сделать со стеллажа два бесса... Перевернулся а-ля гаусс (a la Hausse)...» и тому подобное. Все были заняты одной мыслью: чем кончится эта жестокая борьба между повышателями и понижателями, которая ведется вот уже четвертый день, и какая партия возьмет верх? Здесь, как и там, в высших биржевых сферах, мнения разделились: одни стояли горой за наш рубль, другие, напротив того, предсказывали скорое наступление неминуемого кризиса. Но наиболее ярого сторонника и защитника своих интересов наша русская валюта нашла в лице нашего героя, который в течение трех дней с честью и храбростью истинного воина выдержал натиск неприятеля и вышел из побоища увенчанным славою победителя, к удивлению и зависти всех тех, которые раньше никак не подозревали в нем обширных талантов. Никого поэтому не должно удивлять, что наш герой сделался предметом внимания и самой трогательной заботливости со стороны своих соратников, относившихся раньше к нему с явным пренебрежением. Один очень крупный и очень дельный представитель банкирского дома даже нашел возможным поделиться с ним взглядами на биржу вообще и на нынешнее состояние денежного рынка в особенности...

В описываемый нами достопримечательный день мы застаем нашего героя, словно отдыхающим на лаврах победы, в отличном меблированном номере одной из первоклассных гостиниц города. На нем — шелковый халат, вышитые золотом сафьяновые туфли и бархатная ермолка, кокетливо надвинутая набекрень. На покрытом белоснежной скатертью столе, возле которого весело шипит самовар, в поэтическом беспорядке нагромождены разные предметы, завернутые в бумагу и распространяющие довольно приятный запах гастрономических припасов и консервов, из которых грациозно выглядывает обнаженное горлышко бутылки с благородным напитком. Сам же счастливый обитатель этого маленького рая сидит у изящного письменного стола и с лихорадочной быстротой строчит письмо, которое мы позволяем себе передать здесь с буквальной точностью.

IV

Вот что писал наш герой в письме к своим родным:

«Вчера я уже писал вам, мои дорогие, что дела мои поправились настолько, что плюю на весь мир. Сегодня же могу вам сообщить, что в здешних газетах пропечатали про меня, что я выиграл на бирже сразу сто тысяч и, хотя это вранье, но не совсем далеко от правды тоже, потому что, если только «Берлин» захочет поддержать меня сегодня и завтра, как вчера и третьего дня, то, с божьей помощью, будет и сто тысяч и более. Хотелось бы мне показать всем здешним фанабериям, что они таки ни черта не смыслят в этих делах. Со мною даже один банкир советовался в делах, и я его убедил, что это дело надо понимать. Но что об них толковать? Лучше потолкуем о вас, мои друзья. Как живете-можете? Получили ли вы денежки, которые я вам выслал? Приезжайте ко мне, все равно бобылем живу. Об этом вспомнил сегодня один сват, пришедший ко мне с предложением самой блестящей партии. Говорит: красавица девушка из очень знатного дома здешней высшей аристократии. Но я его прогнал: какой же я жених для молодой девушки! А вот когда у меня будет миллион, тогда подумаем. Так я ему и сказал, честное слово! И не думайте, что я шучу. Я верю в свое счастье, у меня будет миллион. Раз я себе дал слово, так быть по сему. А я, как вам известно, умею сдерживать свое слово. Ах, как бы мне хотелось теперь обнять вас, мои милые, да продлит господь бог ваши лета. Еще я забыл вам сообщить, что...»

В этом месте письмо нашего героя прерывается, и биограф его с сокрушением сердца констатирует тот печальный факт, что никогда это письмо не было уже окончено и даже не отправлено по назначению вследствие нижеописанных причин.

В то время, когда наш герой заканчивал при такой счастливой обстановке свое любвеобильное послание, к нему в номер постучались, и, не ожидая его приглашения войти, ворвался какой-то высокий, но

тонкий господин с длинной вытянутой шеей, которую он старался вытягивать еще больше, для чего и носил высокий стоячий воротник.

— Ну что? — сказал высокий, но тонкий господин, не то смеясь, не то плача. — Что я вам сказал?

— А что вы мне сказали? — спросил наш герой.

— Неужели вы забыли? А вот теперь будете знать, когда капут.

— Что капут? кто капут? — удивленно спросил наш герой, выпустив перо из рук и встав на ноги.

— Все капут, — ответил тот, — и вы, и я, и все решительно, все. Пожар, потом светопреставление, прости господи.

— Да что же, что случилось?

— Да ничего; говорят, банкротство за границей, какой-то грандиозный крах, а наш рубль...

И высокий, но тонкий господин ткнул пальцем вниз, что означало большой ужасный кризис. Тогда наш герой, в одно мгновение ока переменив платье, стремглав кинулся на биржу, представлявшую собою, по словам летописца, не многошумный храм Мамона *, а мрачное глухое поле, усеянное трупами несчастных жертв спекуляции, павших в этом жарком финансовом побоище, от которого обеим сторонам досталось-таки на орехи...

Читатель! Если вы житель Черноморска, то вам должна быть известна одна улица, сплошь украшенная чайными домами, кафе-ресторанами и трактирами, которые всегда кишмя кишат народом, принадлежащим к благородному сословию дельцов «малой биржи». В одном из этих наиболее посещаемых биржевиками заведений, не отличающихся особенной чистоплотностью, вы во всякое время можете отыскать нашего героя в обществе ему подобных, за чайным прибором или за шахматной доской. Он, конечно, сильно изменился, постарел; платье на нем также состарилось, поизносилось. При первом с вами знаком-

стве он спросит: «Нет ли у вас покурить?» Его все еще подвижное лицо, бесспорно, вызывает жалость, но, ради бога, не думайте высказать ему это, вы рискуете обидеть человека. Действительно, превратности судьбы поразительны. Но как счастье, так и несчастье изменчиво, а зло, как и добро, не бывает вечно. Наш герой, видите ли, еще ни на минуту не утратил веры в свою звезду, которая не сегодня, так завтра должна взойти на мрачном горизонте его жизни с такою яркостью и с таким блеском, как никогда.

ПЬЕСЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Комедия в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Бейля — кухарка. Вдова лет тридцати с лишним. Женщина дебелая.

Фрадл — горничная. Миловидная брюнетка.

Реб Алтер — книгоноша, около сорока лет. Вдовец, может быть, старый холостяк. Одна половина лица смеется, другая плачет. Носит грязную манишку и потрепанный котелок.

Хаим — лакей из соседнего дома. Парень-хват, с перстнем.

Миша, Маша — хозяйские дети. Говорят наполовину по-еврейски, наполовину по-русски.

Мадам — сама хозяйка. Появляется только на минуту в последней сцене.

Действие происходит на кухне.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Бейля *(стоит, засучив рукава, у печи. Готовит. Напевает)*.

Эх вы, годы, мои годы,
Как вы промелькнули?
То ли вы в огне сгорели?
То ли потонули?

Эх ты, горе мое горькое! Что уж там говорить, если Бейля в таких летах должна быть прислугой и иметь такую хозяйку, такую «мадам», которая только и делает, что ругает ее и пилит! Хороша богачка! Нищему куска хлеба не подаст! У собственных детей куски во рту считает. И всех подозревает: все будто только и делают, что пенки у нее снимают, обворовывают! *(Собирает со всех горшков понемногу и откладывает в отдельную посудину.)* Хватит с них обжираться! Как реб Алтер говорит: «Меньше червям в могиле достанется...» *(Срезает еще кусок мяса.)* Ничего, обойдутся... Эх-хе-хе! Давно ли я сама была хозяйкой! За своим столом, со своим мужем, пасху справляла!.. *(Поет.)*

Ох, скверно нам рыбу
Без перца отведать,
Но хуже из милости
В доме обедать.

Суп без кастрюли, —
Чего уж хуже?
Так же скверно
Жить без мужа.

Ох, скверно, коль пищу
Дымком прихватило,
Но хуже — работать
Всю жизнь через силу.

Ох, скверно, когда
Безвкусна еда, —
Но хуже служить
Такой вот «мадам»...

Стук в двери.

Кто это там стучит? Наверное, реб Алтер! Вот хороший человек! Чистый, честный, без всяких выкрутасов. Трудится, бедняга, из-за куска хлеба, света божьего не видит. Совсем, как я... *(Открывает двери.)*

Входит реб Алтер с пачкой книг под мышкой.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Реб Алтер *(кладет книги, расправляет бороду, вытирает пот красным платком)*. Добрый вечер, Бейля голубушка! Как живете-можете? Проходил мимо, вижу — у вас светло, дай, думаю, загляну на минуточку... Весь день на ногах, из дома в дом, все думаешь — авось то, се, пятое-десятое... Что это у вас за праздник такой, Бейля? Что это вы так поздно готовите?

Бейля. А черт их ведает! Ни с того ни с сего гостей наприглашала, чтоб ей провалиться!.. Жених приехал, нашу мадмазель смотреть. Какой-то хлюст с пуговицами, черт его батьку ведает! Сейчас придет Фрадл, она все знает... Садитесь, реб Алтер! Садитесь! Может быть, стаканчик чаю выпьете? Или мо-

лока? А может быть, и того и другого? А может быть, вы лучше закусите? *(Придвигает к нему тарелки с едой.)*

Реб Алтер. Спасибо, к чему вам утруждать себя, Бейленю? Я вовсе не так голоден. Но, конечно, с другой стороны, как это говорится, почему бы и нет?.. *(Ест.)* Стало быть, у вас сегодня вроде праздника? Ну что ж! Помогай бог! Я против них ничего не имею! Правда, они у меня книг не покупают. Так ведь не они одни: мало ли таких аристократов, не сглазить бы, у которых я ничего заработать не могу? Вот, к примеру, взять хотя бы вашу мадамочку... Было время, когда она мне много денег платила за книжки. Но с некоторых пор она перестала понимать по-еврейски. С тех пор как она побывала за границей, она забыла наш язык, точно сорок лет слова еврейского не слыхала... Заграница эта самая, доложу я вам, для нашего дела зарез!

Бейля. Где уж там книжки читать, когда люди дни и ночи напролет режутся в карты? Только вечер настанет, все собираются: Файнкугл, и Хинкис, и Штрудл, и Бейглман, и Кнакнисл и пошла «стукалка», — чтоб у них в голове стукало, господи боже ты мой! А я должна стоять у печи: вари для них, жарь для них, — пусть бы им самим жариться на медленном огне. Может быть, выпьете, реб Алтер, рюмочку водки? Осталось со вчерашнего дня. *(Достает и наливает ему рюмку. Он пробует.)*

Реб Алтер. Спасибо, к чему вам утруждать себя? *(Опрокидывает рюмку.)* Знаете, что я скажу вам, Бейля? Совсем не скверная стопочка водки, честное слово!

Она наливает еще рюмку.

Спасибо, к чему вам утруждать себя? Тяжелые времена, доложу я вам! Эх-хе-хе! Прибывает, бывало, транспорт романов из Вильны, — у меня их с руками отрывают. А сейчас, бог его ведает, с тех пор как сионисты * стали издавать свои книжки, мои заработки сильно пострадали... Еще и сионисты откуда-то взялись на мою голову! Н-на!

Бейля. Цибелисты? Это что еще за напасть такая, реб Алтер?

Реб Алтер. Сионисты — это, понимаете ли, сионисты, это те, которые занимаются сионизмом... А хотят они, понимаете ли, чтобы мы все ехали в Пелистину...

Бейля *(качает головой)*. Еще чего не хватало! Блестерина какая-то на их голову, провались они!..

Реб Алтер *(перебивает)*. Тише, бог с вами, Бейля, за что вы их проклинаете? Они говорят, что якобы для нас же стараются... Наоборот, им спасибо надо сказать, что они хотят беднякам помочь... Народ, понимаете ли... То, се, пятое-десятое...

Бейля. Вот как? Чего же вы молчите? В таком случае дай им бог здоровья и всего хорошего! Пусть минует их всякая беда... Пусть вместо них мои хозяева пропадом пропадут!

Реб Алтер. Упаси бог! Что я могу иметь против них? Вот, к примеру, получил я свежую пачку товара, романы из самой Америки, свеженькие, еще тепленькие, из-под иголочки. Редкие вещи, говорю я вам! Замечательные! Во рту тают...

Бейля *(достает из-под кровати бутылку и наливает стаканчик вина)*. А ну-ка, реб Алтер, попробуйте, пожалуйста, это вино. Осталось у них со вчерашнего обеда...

Реб Алтер. Спасибо, к чему вам утруждать себя? *(Пробует и облизывается.)* Вот это, доложу я вам, Бейленю, винцо! Всем винам вино! *(Пьет и облизывается.)* С тех пор как господь бог спиртным торгует, у него еще такого напитка не бывало... *(Заглядывает в стаканчик, любуется.)* Эге! Богачи, видать, знают толк в хороших вещах! Да, знаете, — кафтан заложить, а богачом быть!.. Ну, коль скоро так, будемте здоровы! *(Опрокидывает стаканчик.)* Да, знаете, вот это вино! Это напиток, который можно назвать вином... Тут, понимаете ли, имеется все, все штучки, какие полагается иметь... э-э-э... стаканчику вина! *(Облизывается.)* То, се, пятое-десятое...

Бейля *(наливает ему еще стаканчик)*. Ничего, выпейте еще стаканчик! Нечего жалеть: у них в по-

гребе хватит... Прохворать бы им столько. На доброе здоровье!..

Реб Алтер *(повеселев)*. Упаси бог! Что я имею против них? Пускай себе пьют. Пусть евреи пьют на здоровье... Еврей это еврей! Еврей выпьет малость и — ничего... Ну что ж, выпьет рюмочку, две, или даже три и — тихо, спокойно, мухи на стене не обидит... Пьян? Фи! Никогда он не бывает пьян! Никогда!

Бейля *(доливает его рюмку)*. Никогда!

Реб Алтер. Как это мы, собственно, заговорили об этом? Да, вот вы говорите: «трудимся»... трудимся через силу... Вот, скажем, допустим, возьмем к примеру молодую вдову, вроде вас... В чем дело? Почему? Отчего? Ничего... То, се, пятое-десятое... Знаете? Не стал бы я этого говорить вам, но с глазу на глаз могу вам сказать... Так вот оно что... До каких пор, спрашиваю я вас, можно работать на чужих? Приготовили ужин и опять приготовили ужин... Не пора ли приготовить ужин и для себя, в своей собственной печке? То, се, пятое-десятое... Понимаете?

Бейля. Да, конечно, вы правы, реб Алтер. Лучше помойка, да своя, нежели миска, да чужая. Но что толку? Несчастная вдова... Что — мы и что — наша жизнь?

Реб Алтер. Ну и что же? Вдова, по-вашему, не человек? Наоборот, вдова, знаете, это — сортом повыше... С точки зрения жалости... *(Жестикулирует.)* С точки зрения того-сего, пятого-десятого...

Бейля. Ах, бросьте! Кто позарится на меня с моими двумястами целкачей? Моим бы хозяевам иметь не больше, господи милосердный!

Реб Алтер *(хорохорится)*. Э, нет, не скажите, Бейля голубушка! Всякое письмо, знаете, можно читать и так и этак. Двести рублей по нынешним временам это — капитал, а если бы господь бог к таким-то деньгам да послал вам в придачу порядочного, к примеру сказать, молодого человека, честного человека с делом в руках... Человека, который, понимаете ли... *(Жестикулирует.)* То, се, пятое-десятое...

Б е й л я. Например?

Р е б А л т е р *(хорохорится)*. Например? Вот, скажем, взять бы, напшиклад[1], человека с дельцем. Небольшим, правда, дельцем, но с таким приличным, тихим, спокойным... Человека, торгующего таким товаром, который дают напрокат... Ну, к примеру, книгами, романами? *(Жестикулирует.)* То, се, пятое-десятое...

Б е й л я *(задумывается, рукавом вытирает нос снизу вверх)*. Вы говорите, реб Алтер, какие-то такие слова... Намекаете на что-то. Не пойму я... Пейте, пожалуйста, не ждите приглашения... Мы будем трудиться, а они будут жрать и лакать? Пусть черви их съедят! *(Еще наливает.)*

Р е б А л т е р. Упаси бог! Что я могу иметь против них? *(Берет стаканчик.)* Вы говорите, — мы трудимся... Мы к этому привычны, что поделаешь? Бог так создал мир, что мы должны трудиться, изнывать, а они — жить в свое удовольствие, есть, пить, то, се, пятое-десятое... Досадно только то, что не ценят они нашего труда. Взять, к примеру, лошадь. Она тоже трудится из последних сил. Но посмотрите, как ее холят, нежат, кормят, поят, и то, и се, и пятое, и десятое...

Б е й л я. Говорите вы, реб Алтер, всегда так странно... Намеками...

Р е б А л т е р. Не мои это слова. Я их вычитал из нынешних книжек, которые издают эти сорвиголовы, сицилисты...

Б е й л я. Что-о? Это что еще за напасть? Болячка им на самый кончик носа!

Р е б А л т е р. Упаси бог! Что я могу иметь против них? Понимаете ли, это такие люди, понимаете ли, которые заступаются за бедняков, за рабочих, за меня, за вас, за всех, кто горе мыкает на земле...

Б е й л я. Вот как? Что же вы молчите? Пусть мои хозяева провалятся сквозь землю за каждый их ноготок!

---

[1] Например *(польск.)*.

Реб Алтер. Упаси бог! Что я могу иметь против них?

Отворяются двери, входит лакей Хаим. Бейля тут же бросается к печи. Реб Алтер заглядывает в книжку.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Хаим *(шляпа набекрень)*. Здравствуйте, пожалуйста, дорогая Бейля! Добрый вечер! Как поживаете, реб Алтер? Знаете, книжечка, которую вы мне принесли, оказалась замечательной! Только принялся ее читать, сразу же уснул на стуле как убитый... *(Наливает себе стаканчик вина.)* Попробуйте, реб Хаим, почему бы вам не попробовать? Как говорит моя мадам, когда угощает своих гостей червивыми орешками... Почему бы вам не попробовать? Где это Фрадл? *(Хочет налить еще стаканчик.)*

Бейля *(ударяет его по рукам)*. Убирайся ты, выкрест этакий! Не для тебя приготовлено! Расскажи-ка лучше, с какой это радости ты так расфрантился? Что у вас слышно? Как живут твои хозяева?

Хаим. Жить бы им на том свете, моим хозяевам! Сидят оба дома, как голубки, и ругаются и проклинают друг дружку до седьмого колена!.. *(Достает из кармана орешки, ловко бросает их в рот и ударяет кулаком по нижней челюсти снизу вверх.)*

Бейля. Из-за чего?

Хаим. Ни из-за чего! Просто так! Она хочет в Париж. А он говорит: «В Берлин!» Тогда она говорит: «К черту!» А он ей: «Корова!» А она ему: «Извозчик!» А он ей: «Лишь бы не портной!» Видать, думаю я, оба они очень знатного происхождения. Такого, наверно, как и свояк ихний Хинкис. Вы знаете, реб Алтер, родословную господина Хинкиса?

Реб Алтер. А именно? К примеру?

Хаим. А именно? К примеру? Один дед у него был фотографом: снимал белье с чердаков. А другой — был губернским ревизором всех кабаков... О! Легка на помине!..

Входит Фрадл.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Ф р а д л *(не видит Хаима. Поет)*:

Я на камушке сидела,
Слезы лила в три ручья:
Девки все выходят замуж,
Осталась одна лишь я!..

Х а и м *(притворно вытирает слезы)*. Аж за сердце щиплет!..

Ф р а д л *(не видит его. Поет и приплясывает)*.

Ох, ты звездочка моя,
Когда ж невестой стану я?..

Х а и м *(в другом конце сцены)*.

Стою я, стою я у самых дверей
И издали любуюсь красотой твоей.
Душенька-голубушка, да что ж это с тобой?
Вот уже неделя, как не виделась со мной!..

Ф р а д л *(не видит его)*.

Эх, покуда я девица,
Я нежна, как голубица.
А как замуж выйду я, —
Горька долюшка моя!
Ох, ты звездочка моя,
Когда ж невестой стану я?

Х а и м *(идет к ней навстречу с распростертыми объятиями)*. А вот и я! Я готов! Я готов хоть сегодня, душа моя! Я для того и пришел, чтобы сговориться с тобой, с дорогой моей пташкой, насчет помолвки... Добрый вечер, Фрадл! Как ты поживаешь, сердце мое? Как твое здоровье, мой ангел, мое сокровище, клад души моей, свет очей моих, как говорится в книжках у реб Алтера...

Ф р а д л. Что с тобой! Чего ты хорохоришься? Скажи на милость, как он расфрантился! Ради какого праздника? Наверно, из цирка идешь или в картишки где-нибудь перекинулся?

Хаим. А как же иначе, пташка моя? Живем-то ведь один раз, не два, как говаривал мой ребе, когда ему не на что было справлять субботу, а жена его в гроб вгоняла...

Фрадл. Тебя бы самого в гроб!..

Хаим. Аминь! Всех женщин! Глупенькая, на сей раз ты не угадала: в цирк я не хожу и в карты больше не играю. Знаешь, с каких пор?

Фрадл. С каких?

Хаим. С позавчерашнего дня! Я дал себе слово больше не играть! По двум причинам: во-первых, не на что. А когда нет пальцев, как говорит реб Алтер, так и кукиша не покажешь. А во-вторых, я сейчас коплю денежку к денежке. На свадьбу, душа моя... Кто бы ни попросил у меня хотя бы грош, — хоть лопни — не дам! Не хочу я в чужом саване помирать, как говаривала моя бабушка, царство ей небесное, когда у нее просили милостыню!

Фрадл. Что же ты делаешь по целым ночам, когда управишься со всей работой по дому?

Хаим. Что я делаю?! Образованием занимаюсь, голубушка! Образованием! Вот читаю сейчас книжку — сладкую-пресладкую! Как варенье! Реб Алтер принес... Ну и книжка! *(Целует кончики пальцев.)* Всю ночь глаз не сомкнул! Читал, читал и читал... Наслаждение!

Фрадл. Воображаю, что это за книжка, если она тебе понравилась! Что это — романс?

Хаим. Да еще какой! В шести частях с некрологом!

Реб Алтер. С эпилогом!

Хаим. Я и хотел сказать: с эмпилогом.

Фрадл. Как называется?

Хаим *(хлопает себя по лбу)*. Такое длинное название, что никак наизусть не запомнишь... Реб Алтер-сердце! Как она там у вас называется?

Реб Алтер. Кто?

Хаим. Да вот книжка, которую вы мне недавно принесли?

Реб Алтер. Книжка, которую я тебе оставил? Да, уж это, брат ты мой, книжка! Всем книжкам

книжка! Первый сорт. У меня ее с руками отрывают! Называется: «Дикий негр в красном кушаке с десятью заряженными пистолетами и шестью заколдованными дамами в образе голубей, или Кольцо Соломона Мудрого». В высшей степени интересный роман в шести частях с эпилогом и песней для исполнения, сочинения Ицхок-Шлоймы Эсиктрайбера по типу романов Шомера *.

Бейля } (*всплеснув руками*). Гром тебя разрази!
Фрадл } Какое длинное название!

Хаим. Не пугайтесь, у них бывают и подлиннее! И все такие заковыристые названия. Например: «Плененный король на застывшем море, или Рассеченная губа»... «Черный цыган с серебряными пуговицами в кабриолете, или Стеклянная скалка на пасху»... «Распухшая девица — невеста единственного своего жениха, или Красный байструк», пропади он пропадом!..

Бейля } Пропасть бы тебе самому пропадом за
Фрадл } всех нас, господи милосердный!

Хаим. Аминь! Дай бог и всем женщинам! Словом, книжечка, доложу я тебе, Фрадл, — пальчики оближешь!

Фрадл. Что же в ней описывается? Мог бы хоть рассказать.

Хаим. Описывается там... Трудно запомнить наизусть... Что-то такое... Один порядочный молодой человек, лет двадцати с небольшим...

Реб Алтер. Восемнадцати.

Хаим. Романсирует с девицей лет девятнадцати...

Реб Алтер. Семнадцати.

Хаим. С очаровательной девушкой, как яблочко, с ямочками на щечках, блондинка с черными волосами...

Реб Алтер. С русыми волосами...

Хаим. То есть с русоволосой брюнеткой...

Фрадл. Как ее зовут?

Хаим. Как зовут? Только что из головы улетучилось... Так на языке и вертится... Как ее звать, реб Алтер?

Реб Алтер. Кого?

Хаим. Вот эту девицу, что у меня в книжке...

Реб Алтер. Серафима.

Хаим. Вот, вот, я так и хотел сказать... Описывается, как этот парень влюбился в эту девицу... А девица влюбилась в этого парня... Парень хочет жениться на девице... Девица хочет выйти замуж за парня... Оба, стало быть, хотят... Но вот однажды парень встречает эту девицу в одном месте, — кажется, на кухне? Не правда ли, реб Алтер?

Реб Алтер. А? Что такое?

Хаим. Где он встречается, тот парень из вашей книжки, с этой девицей? На кухне, не так ли?

Реб Алтер. В Париже, на водах... Во дворце графа Салима... В саду, где растут лимоны и апельсины...

Хаим. Вот как? Словом, надумал мой паренек, стало быть, и не поленился обнять ее вот таким манером! *(Хочет обнять Фрадл.)*

Фрадл. Убирайся прочь, шарлатан!

Реб Алтер. Нет, упаси бог, совсем не так... Прежде всего он падает к ее ногам...

Хаим. Я хотел только показать тебе, как парень обнимает девушку в книжке...

Фрадл. Провались! Пришел на готовенькое... Поди посмотри, как у людей водится... Вон приехал к нашей барышне жених, черт знает откуда. Заперся с ней в комнате с самого утра...

Хаим. С самого утра? Батюшки! Почему так долго? Что они там делают, кошечка моя?

Фрадл. А я почем знаю? Одно только слово я уловила, когда им чай подавала...

Хаим. Какое слово?

Фрадл. Вот скажу, тогда будешь знать! «Живопри»...

Хаим. Живопри? Ага, знаю! По-нашему, это все равно, что сказать: «Пить хочется, помираю!» Не правда ли, реб Алтер, это значит выпить?

Реб Алтер *(облизывается)*. Что значит выпить? Евреи — люди непьющие. Бывает, конечно, еврей выпьет иной раз капельку...

Хаим. Здорово, кума, — купила петуха! Говорят насчет французского, а вы с водкой...

Доносится голос из дома: «Франя! Фрадл! Подохла ты там, в кухне, что ли, девка мерзкая!»

Фрадл. Подохнуть бы вам за всех нас! Иду, иду! Как вам нравится, как она визжит! Я посуду мою! Сейчас иду. Ходить бы ей на костылях!..

Хаим. Аминь, дай бог и всем женщинам!

Фрадл выбегает из кухни. Вбегают Миша и Маша.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Миша и Маша *(вытаскивают из карманов куски пирога, щелкают орешки, озираются по сторонам)*. Смотри, Бейля, никому не рассказывай, боже сохрани!

Бейля. Болячка вашей матери! Вы голодны, голубчики? Ешьте на здоровье, кушайте, птенчики! Что там в доме, деточки?

Миша и Маша. Ничего... Папа и мама играют в карты... Дядя целует сестру! Ей-богу!

Хаим. Серьезно? А ну-ка, покажите, кошечки, как он ее целует?

Миша и Маша. Вот как! *(Целуются в губы и смеются.)*

Хаим *(хлопает их по плечам)*. Браво! Браво! Молодцы ребята! Вот что значит хорошо воспитанные дети! Если бы вы были порядочными детьми, вы бы стибрили со стола немножко вкусных вещей для нас: торт, орешки, яблоки, груши, апельсины, варенье... Никто ничего и знать не будет. Между нами останется...

Миша и Маша уходят. Приходит Фрадл с графином.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Фрадл. Ах, чтоб они сгорели!..

Хаим. Аминь, дай бог всем женщинам!

Фрадл. Здесь она кричала: «Девка!», а там, при

чужих, медом сочится. «Принеси, говорит, душечка, стакан воды для мадам Локшнкугл...»

Бейля. А что поделывают жених и невеста?

Фрадл. Чтоб им добра не было!

Хаим. Аминь, и всем женщинам!

Фрадл. Невеста распрекрасная боится, как бы жених на меня не взглянул, вот она и держит его взаперти... Не беспокойтесь, она ему еще покажет, где раки зимуют... Женушка, дай бог всякому! Она ему, бог даст, когда-нибудь глаза выцарапает...

Хаим. Пусть ему не хочется, как говорила моя старшая сестрица, когда я, бывало, костью подавлюсь... Видно, сегодня же и поздравлять можно будет? Будьте здоровы, реб Алтер! Бейля, потяните его за левое ухо!

Реб Алтер *(до этого момента дремал, посапывая носом. Очнулся)*. Спасибо! К чему вам утруждать себя? Я пью мало... Еврей — человек непьющий... Сиси-сионисты совершенно правы... Они говорят, что еврей... еврей в могиле лежит, глубоко в земле... Еврей вечно чахнет и сохнет, плачет и рыдает... *(Поет грустным голосом.)*

Плачет и рыдает,
Свои прогоняют...

Хаим. О-го! Реб Алтер, видать, под мухой, и здорово под мухой! Хватил-таки рюмашечку!..

Бейля. А тебе какое дело? Не твое вино он пил!

Хаим. Аминь, дай бог и всем женщинам! Знаете что, реб Алтер? Уж если вы поете, спойте нам что-нибудь настоящее! Ведь вы же человек из тех, которые торгуют и книжками и песенками...

Реб Алтер. Подтянешь? А вы подтянете? Тогда я спою вам песню, которая как будто обо мне сложена.

Все. Ну конечно! С величайшим удовольствием! *(Собираются вокруг Алтера.)*

Реб Алтер
(поет)

В семье нас десять братьев было,
Вином торговля бойко шла, —

Наш брат один был взят могилой —
Скучней пошли у нас дела.

Ай, Шмерл, где же скрипка,
Ай, Берл, где твой бас?
Эту песенку сыграйте
Вы теперь для нас.

Все

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Реб Алтер

В семье нас девять братьев было,
Сбывали с рук мы барахло,
Но брат один был взят могилой —
И восемь нас за гробом шло.

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Все

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Реб Алтер

В семье нас восемь братьев было,
Мы репой торг вели в тот раз,
Но брат один был взят могилой —
И только семь осталось нас.

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Все

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Реб Алтер

В семье у нас семь братьев было,
Мы калачами торг вели,
Но брат один был взят могилой —
Мы вшестером за гробом шли.

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Все

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Реб Алтер

В семье у нас шесть братьев было,
Шел торг чулками в этот раз,
Один наш брат был взят могилой —
И только пять осталось нас.

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Все

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Реб Алтер

В семье у нас пять братьев было,
Торговля пивом — не пустяк,
Но брат один был взят могилой —
Осталось четверо бедняг.

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Все

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Реб Алтер

Нас всех четыре брата было,
Торговля бойко шла свинцом,
Но брат один был взят могилой —
Домой вернулись мы втроем.

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Все

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Реб Алтер

В семье нас трое братьев было,
Мы в этот раз сбывали чай,
Но вновь один был взят могилой
И, знать, унесся к богу в рай.

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Все

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Реб Алтер

В семье нас двое братьев было,
Шел торг костями в этот раз,
Но брат один был взят могилой —
И вот один живет сейчас.

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Все

Ай, Шмерл, где же скрипка...

Хаим
(один)

В семье последний брат остался,
Бедняга книгоношей стал,
Но вот и он в тот мир умчался —
Выпьем чарку водочки...[1]
(Наливает.)
Ай, Шмерл, где же скрипка...

Все

Хороша рифма!

Хаим. Ну что ж, выпьем по маленькой без рифмы! Лехаим, реб Алтер! Будем здоровы!

Реб Алтер *(пьет)*. В самом деле, будемте здоровы!

Прибегают Миша и Маша с полными карманами.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Миша и Маша. Иди, Фрадл, мама зовет!

Фрадл хватает графин с водой и убегает.

Хаим. Ну-ка, покажите, что вы принесли!

---

[1] Перевод Г. Чиж.

Миша и Маша *(выкладывают из карманов)*. Вот вам яблоки, груши, апельсины. Ловко стащили, ей-богу!

Хаим *(целует их)*. Браво! Браво! Молодцы ребята! Вот что значит хорошие дети, умные, талантливые! Вот что значит хорошо учиться с малых лет! *(Наливает по стаканчику вина реб Алтеру и себе.)* Пейте, реб Алтер, и закусывайте. Пусть вам будет на пользу, как сказано в священном писании! Пейте и ешьте, реб Алтер, все равно помирать будем, как говаривал один мой знакомый извозчик, когда на стол подавали миску картошки, от которой шел пар, как в бане.

Реб Алтер. Как? Впрочем, может быть, вы и правы. В самом деле, выпьем по капельке... Лехаим! Лехаим! Дай бог, чтобы евреи были евреями. Потому что еврей — это, знаете ли, не так просто... Еврей водки не пьет, фи! Еврей пьет вино... И сколько бы ни пил, он всегда трезвый... *(Весело.)* Еврей никогда не бывает пьян! Не правда ли, Хаимуля? Ник-когда не п-п-пьян!..

Хаим. Упаси бог! Как это может еврей быть пьяным? Надо по этому случаю выпить еще по капельке! *(Снова наливает, целуется с реб Алтером, затем берет детей за руки и пускается с ними в пляс.)*

Реб Алтер, прихлопывая в ладоши, поет песенку. Входит Фрадл, останавливается в изумлении.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Фрадл *(налетает на Хаима)*. Ты с ума сошел или рехнулся? Вдруг ни с того ни с сего танцевать?! *(К детям.)* Идите, мать зовет. Достанется вам за эти апельсины!

Дети уходят.

И вы тоже, реб Алтер? Постыдились бы! Такой человек, не сглазить бы!

Реб Алтер *(заплетающимся языком)*. Еврей... Еврей это еврей... Еврею дай бог здоровья и долго-

летия! Потому что еврей, сколько бы он ни выпил, никогда не бывает пьян... *(Наливает рюмку.)*

Ф р а д л. Наваждение какое-то, да и только! Там, в доме, обрученье, — по этому случаю вы здесь лакаете вино?! Бейля!

Б е й л я. Да они вовсе не так много выпили. Скажи, пожалуйста! Пригубили...

Х а и м. Пригубили да тут же и проглотили... Послушайте-ка, реб Алтер! Уж если и в самом деле мы дожили до обручения, — давайте выпьем за нас самих и за наших невест и пожелаем друг другу счастья и удачи! Поздравляю тебя, Фрадл, дорогая моя невеста, звездочка моя ясная, пташка моя милая! Дай мне твою сладчайшую ручку и пообещай, что будешь мне верна!.. *(Хочет ее обнять.)*

Ф р а д л *(отталкивает его)*. Это что еще за напасть? Ты пьян?

Х а и м. Пьян? Упаси бог! Разве еврей бывает пьян? Как по-вашему, реб Алтер, может еврей быть пьяным?

Р е б А л т е р *(улыбается, облизывается)*. Еврей ник-когда не бывает пьян! Еврей это еврей и то, и се, и пятое, и десятое...

Х а и м *(хочет обнять Фрадл)*. Может быть, тебе, пташечка, не пристало, что я лакей? Глупенькая, лакеи нынче всем миром верховодят... Мало ли у нас хозяев, которые раньше лакеями были? А мой хозяин, — не смущайся, пожалуйста, — разве не был лакеем? Немножко воровства, немножко удачи и — дай мне бог не хуже хотя бы лет через десять! Или, к примеру сказать, твоя мадам, разве не была она раньше кормилицей?.. Сейчас она уже лечится у докторов и ездит на воды... Глупенькая, ты тоже, бог даст, будешь со временем мадам и тоже будешь, с божьей помощью, лечиться у докторов... Будь спокойна...

Ф р а д л *(отталкивает его)*. Типун тебе на язык!

Х а и м. Аминь, дай бог всем женщинам! Послушайся меня, моя кошечка, давай отпразднуем помолвку! Тарелки разобьем! Поздравляю!.. Бейля! Реб Алтер! Поздравьте нас! *(Достает из кармана золотую цепочку и надевает Фрадл на шею.)* Так как ты теперь

моя невеста, я преподношу тебе этот подарок! Уже две недели, как я его приготовил. *(Обнимает Фрадл и целует ее. Она притворно сопротивляется.)*

Бейля. Поздравляю тебя, Фрадл! Носи на здоровье! Что вы скажете, реб Алтер? *(Показывает на цепочку.)*

Реб Алтер. Что я могу сказать? Я говорю, что еврей... Дай ему бог здоровья и долголетья... Еврей ест и пьет — и все... Ничего! Тихо, спокойно... Чик-чирик... Чирикает, как птичка... То, се, пятое-десятое... *(Пробует встать, но валится с ног.)* Еврей, если даже и выпьет, вс-всегда трезв... Язык у него не заплетается... На ногах крепко держится. Ходит прямо, как по струнке... Не кренится ни туда, ни сюда... В твердой памяти... Потому что еврей... Сколько бы вина он ни выпил, никогда, ник-когда решительно не бывает п-п-п... Ох, горькая наша доля... Еврей, он... *(Напевает под нос.)*

Плачет, рыдает...
Свои прогоняют
Проклятое богом дитя...
Ой-ой-ой...

Хаим *(берет реб Алтера за руку)*. К чему вам, реб Алтер, плакать и рыдать? Пускай лучше враги наши плачут и рыдают! Вы послушайте меня, реб Алтер, налейте-ка лучше стаканчик вина и выпейте с вашей Бейлей. И пусть будет в добрый и счастливый час! Дай вам бог состариться с ней в богатстве и почете! Ведь я же знаю, что вы вот уже полгода, как приударяете за ней... Люди не без глаз... Ну, что вы притворяетесь, Бейля, к чему ломаться? Мне бы такую жизнь, какая из вас удачная пара! Как говорила жена моего ребе, когда их сосед, бывало, подерется со своей супругой. Пара, говорю я вам!

Реб Алтер. Пара, самим небом предначертанная!.. Лехаим! Лехаим!

Снова приходят дети. Их карманы набиты орехами.

Хаим. Дайте же ей, реб Алтер, руку, и желаю вам счастья! Отсюда — в собственный дом, как ска-

зал воришка Лейбуш, когда его впервые привели в острог... Будемте здоровы! *(Насильно вливает Фрадл в рот немного вина.)*

Реб Алтер дает Бейле отпить из своего стакана.

Реб Алтер! Спойте что-нибудь из ваших песен, только настоящую, чтоб весело было!

Реб Алтер
(поет, забирая высоко)

Что отец, что батюшка,
Что свояк, что сватушка,
Сватушка — свояк...
Что сермяга, что армяк,
Что одежа, что пожитки,
Шелк — это не нитки...

Хаим
(перебивает, поет один)

Нитки шелку не чета...
Будем пьяны — ни черта!..

Фрадл. Да ну тебя ко всем чертям!

Хаим. Аминь, дай бог всем женщинам! Знаете, реб Алтер, спойте нам ту песню, что вы раньше пели. Давайте возьмемся за руки и спляшем!

Все берутся за руки и пляшут.

(Кричит.) Веселей, реб Алтер! Ноги выше! Сильней! Крепче! Ребята, нажимай, ребята!.. *(Разбивает тарелку.)*

Все кричат: «Поздравляем! Поздравляем!» Вдруг раскрывается дверь, показывается сначала нос, а затем и вся мадам.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Мадам *(всплеснув руками)*. Проклятье! Все несчастья, все горести и болезни на ваши головы, на ваши руки и ноги, господи боже мой! Такая бездельница, такая паршивая ведьма, такая сопливая девка! Вон из моего дома! *(К реб Алтеру.)* А этот бродяга что тут делает?

Реб Алтер *(рассержен, заплетающимся языком)*. Б-б-бродяга, вы говорите? Как же это еврей может быть бродягой? Еврей ник-к-когда не бродяга! Ник-к-к-когда... А то, что вы гоните людей из дому... Ну что ж, гоните, гоните... Но только это несправедливо с вашей стороны... Знаете, п-п-почему? Нынче другая жизнь... Не то, что раньше... Посмотрели бы вы в моих книжках... Си-ци-листы говорят... Горе вам! То, се, пятое-десятое...

Мадам *(к Хаиму)*. А ты, шарлатан, что тут делаешь? Вон отсюда!

Хаим *(очень элегантно)*. Мерси за комплимент!

Мадам направляется к нему, размахивая руками, хочет забрать детей. Хаим берет ее за руку, подмигивает остальным. Ее забирают в круг и танцуют. Мадам изо всех сил вырывается, но тщетно: ее не выпускают.

Реб Алтер! Чего же вы молчите? А ну-ка, давайте что-нибудь настоящее!

Реб Алтер
(оживленно, поет)

Жизнь новая настала.
Деньги нынче не в чести.
Нету ни больших, ни малых,
Будь ты рожа иль пригож, —
Всяк у нас теперь хорош!..
И в почете нынче всяк —
И богатый и бедняк!

Все
(поют и пляшут)

Будь ты рожа иль пригож, —
Всяк у нас теперь хорош!..
И в почете нынче всяк —
И богатый и бедняк!..

Мадам вырывается и сыплет проклятиями, но голоса ее не слышно. В дверь испуганно заглядывают гости хозяйки: мужчины и дамы, в том числе жених и невеста. У некоторых гостей в руках карты. Все застывают от изумления в разных позах.

Медленно падает занавес.

АГЕНТЫ

Шутка в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Менахем-Мендл Якнегоз — местечковый еврей, в новом, с иголочки, костюме, с высоким воротничком (от которого глаза на лоб лезут), в новой, не по мерке, шляпе. На коленях — большой портфель, тоже новенький.

Марк Моисеевич Ламтерншисер — щеголь, тоже с большим портфелем.

Аким Исакович Бакфиш — плотный субъект, любит покушать; тоже с новеньким портфелем.

Лазарь Константинович Теркельтауб — личность с большой бородой. Обременен большим семейством (жена и несколько детей мал мала меньше).

Разные личности без слов.

Действие происходит в поезде, в вагоне третьего класса.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

В вагоне. Одни пассажиры сидят, другие лежат, третьи спят. На верхних полках — узлы и чемоданы. На переднем плане, у окна, на скамье сидит Менахем-Мендл, разглядывает свой новый костюм и говорит с самим собой.

Менахем-Мендл. Одели меня вроде как жениха! Вырядили, как девицу. Беда только — брюки узковаты. И воротничок... Ох, уж этот воротничок! Задохнуться можно!.. Еду... А куда — не знаю! «Вы, — говорят они, — будете хорошим агентом. Одного вашего имени, — говорят они, — с нас довольно... Шутка ли — Менахем-Мендл Якнегоз, которого, — говорят они, — повсюду знают как облупленного: в Егупце, в Бойберике, в Мазеповке, да мало ли где! Поезжайте, — говорят они, — к вашим евреям, и дай вам бог удачи. Штрафуйте, — говорят они, — людей от смерти...» Штрафовать людей от смерти... Как это можно взять человека и заштрафовать его от смерти? Так бы мне горе знать, как я это знаю. Два дня кряду обучали они меня этой своей науке, и даже аванс дали... Вот в этом и суть, что агенты получают авансы. Не будь авансов, говорят они, не было бы агентов... И еще набили они мне портфель конституциями, то бишь инструкциями, как должен вести себя агент, когда он штрафует от смерти. Надо бы приняться за эти конституции, то бишь инструкции... *(Открывает портфель и достает письмо.)* Вот они. Здравствуйте, —

это письмо от Шейны-Шейндл! Как моя теща говорит: «Ищешь ножницы, найдешь веник...» Ну как не прочесть еще раз, что пишет она, моя супруга, дай ей бог долгие годы? Все равно в вагоне скучно, делать нечего... *(Читает письмо.)* «Моему дорогому, уважаемому, мудрому... короче говоря... Менахем-Мендлу, да сияет светоч его. Во-первых, я хочу сообщить тебе, что все мы, благодарение богу, пребываем в добром здравии, дай бог и от тебя получать такие же вести...» *(Прерывает.)* Ну, спасибо и на том, хоть здоровы. *(Продолжает читать.)* «...а во-вторых, пишу я тебе, чтоб ты так в силах был, изверг ты этакий...» *(Прерывает.)* Уже! Начинаются благословения! *(Читает.)* «...чтоб ты так в силах был, изверг ты этакий, валяться там в болячках, в этом проклятом Егупце, как я в силах ноги волочить. Наш дорогой доктор велел мне лежать, — лежать бы ему на кладбище с тобой по соседству, как моя мама говорит...» *(Прерывает.)* Ага! Мама заговорила!.. *(Читает.)* «...как моя мама говорит! Чтоб вам уютнее было долгими зимними ночами... Новое несчастье! Новый заработок послал господь бог ему, моему кормильцу: он будет штрафовать людей на смерть! Что это значит, Мендл? Ты будешь штрафовать людей на смерть? За что?!» *(Прерывает.)* Ничего не поняла из того, что я ей писал! *(Продолжает читать.)* «Ведь ты же совсем сумасшедший! С ума бы тебе сойти за всех евреев и неевреев... Как мама говорит...» *(Прерывает.)* Опять мамаша тут как тут! *(Читает.)* «...Как мама говорит: только вожжи отпустишь, а у жеребца и хвост трубой. Мало тебе, что ты на всех свадьбах плясал, был чем угодно: купцом, торгашом, маклаком, барышником, ходоком-крутелем, сватом-пустобрехом. Тебе мало того, что ты со всем светом дела делал, — понадобилось тебе еще торговать живыми покойниками! Как мама, чтоб она долго жила, говорит: «Погоди, увидишь, он еще где-нибудь в Польше наймется в кормилицы...» Не лучше ли было бы в тысячу раз, чтоб ты был сейчас, к примеру, на войне с Японией?» *(Прерывает.)* Обязательно! Так я и полетел! *(Продолжает.)* «...И вернулся бы домой таким, упаси бог, как наш Мойше-

Велвл, сын Лейви-Аврома, он приехал, горе мне, без рук, без ног, не живой и не мертвый... Как мать говорит: разве пуля знает, в кого попадает? Помни же, Мендл, на этот раз я говорю тебе подобру: погибель на твою голову, огонь и чума...»

В вагон входит Ламтерншисер с огромным чемоданом, ищет, где бы присесть.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Ламтерншисер. Можно к вам?

Менахем-Мендл *(прячет письмо в портфель)*. Почему нет? *(Про себя.)* Замечательный пассажир, и чемодан хороший... Может быть, он даст оштрафовать себя от смерти?

Ламтерншисер *(устраивает чемодан, усаживается рядом и достает папиросу)*. Нет ли у вас огня? *(Про себя.)* Надо зондировать почву. И в вагоне надо щупать.

Менахем-Мендл. Ох! А почему бы нет? *(Дает спичку. Про себя.)* Очень хорошо, что он первым начал.

Ламтерншисер *(предлагает папиросу)*. Не угодно ли? *(Про себя.)* Подходящий субъект, провинциал в новеньком костюме... Может, удастся с ним дело сделать? Хоть бы небольшую страховочку... расходы вернуть...

Менахем-Мендл *(берет папиросу)*. Ох! А почему бы нет? *(Закуривает. Про себя.)* Видно, обходительный человек. Он, бог даст, наверное, заштрафует себя от смерти.

Ламтерншисер *(про себя)*. С таким сморчком можно открыто разговаривать. *(Переходит прямо к делу.)* Хорошо в вагоне ехать... Не то что в старое время!.. Когда ездили на лошадях, бывало! Вы понимаете, тащишься, и тащишься, и тащишься...

Менахем-Мендл *(повторяет)*. Тащишься, тащишься и тащишься...

Ламтерншисер. Были в кабале у извозчика... Словно глина в руке гончара.

Менахем-Мендл. Словно глина в руке гончара...

Ламтерншисер. Напихает, бывало, в свой фургон всякой твари по паре.

Менахем-Мендл. Всякой твари по паре...

Ламтерншисер. Мужчины, женщины, куль муки, кантор, козел, поп...

Менахем-Мендл. Козел, поп...

Ламтерншисер. А чуть дорога в гору, — велит, бывало, пассажирам потрудиться слезть... Вас честью просят...

Менахем-Мендл. Честью просят...

Ламтерншисер. А теперь я — барин! Сижу, понимаете, в вагоне, курю папиросу и — никаких!

Менахем-Мендл. И никаких!

Ламтерншисер. Одно было хорошо раньше: насчет жизни все были уверены. Нечего было бояться, что вдруг приключится несчастье, катастрофа, то есть в случае, если перевернешься, понимаете, и полетишь вверх тормашками.

Менахем-Мендл. Да, вверх тормашками...

Ламтерншисер. Хорошо еще, если человек обеспечен хоть несколькими тысячами на случай смерти, чтобы жене и детям, упаси бог, не пришлось, понимаете, по миру ходить.

Менахем-Мендл. По миру... *(Про себя.)* Бежит рысью, как хороший конь!

Ламтерншисер *(про себя.)* Идет за мной следом, как жеребчик! *(Громко.)* Потому что, понимаете, покуда колесо вертится, — оно вертится...

Менахем-Мендл. Вертится...

Ламтерншисер. А когда колесо остановилось, тогда стоп машина!

Менахем-Мендл. Стоп машина!

Ламтерншисер *(про себя)*. Держу тебя под уздцы, голубчик! Ну и ступай на конюшню! *(Громко.)* Скверно то, что не каждый может себя обеспечить! Нынешние расходы, понимаете, и нынешние...

Менахем-Мендл. И нынешние...

Ламтерншисер. А в таком случае по крайней мере хотя бы страховочку...

Менахем-Мендл. По крайней мере штрафовочку... *(Про себя.)* Ведь это же прямо-таки от бога, честное слово!

Ламтерншисер. Я как раз сейчас вспомнил об одном случае, который произошел у нас. Некий человек среднего достатка, он, понимаете, за всю свою жизнь тысячи рублей не имел, сотенной бумажки в глаза не видал, — догадался, однако, вовремя застраховаться на несколько тысяч рублей. Теперь он умер, не про вас будь сказано, в вагоне, и жене его недавно выплатили пять тысяч рублей наличными, копеечка в копеечку!

Менахем-Мендл. Наличными! Копеечка в копеечку! Как раз и у нас тоже так было. Только не на пять, а на десять тысяч рублей. Помоги мне так бог во всех моих делах!

Ламтерншисер *(вне себя)*. Десять тысяч рублей?

Менахем-Мендл. Десять тысяч рублей.

Ламтерншисер. Что же они сделали с такими громадными деньгами?

Менахем-Мендл. Что им делать? Торговлю открыли. Солидную торговлю.

Ламтерншисер. Вот как? Ну, и хорошо торгуют?

Менахем-Мендл. Да как еще торгуют! Наживают капитал!

Ламтерншисер *(про себя)*. Сейчас самый подходящий момент. Надо взять его за печенку! *(Громко.)* Смешно, конечно, завидовать покойнику. Но когда вспомнишь о живых, понимаете ли... У каждого жена, дети... *(Вздыхает.)* Каждый должен так поступить.

Менахем-Мендл *(вздыхает)*. Ну вот! А о чем разговор? *(Про себя.)* Сейчас самый лучший момент взять его на крючок.

Ламтерншисер *(вздыхает)*. Благо тому, кто это сделает вовремя!

Менахем-Мендл *(вздыхает)*. У кого голова на плечах, тот все успевает, тот... Да и стоит это не так дорого. Сколько это стоит?

Ламтерншисер *(оживившись)*. Это зависит от возраста. Я думаю, что можно тут же и проделать.

Менахем-Мендл *(оживившись)*. Почему нет?

Ламтерншисер. Доктора можно будет достать... Представить потом свидетельство, понимаете...

Менахем-Мендл. Это дело последнее! Главное — сумма.

Ламтерншисер *(хватается за портфель)*. Не сумма главное, а возраст.

Менахем-Мендл *(хватается за портфель)*. Разумеется, возраст. Сколько вам, к примеру, лет?

Ламтерншисер. Мне? При чем тут мои годы?

Менахем-Мендл. То есть как так при чем? Ведь вы же сами говорите, что главное — это возраст? Вы же сами говорите!

Ламтерншисер. Что значит? Вы хотите меня застраховать?

Менахем-Мендл. Конечно! Не вы же меня штрафовать будете?

Ламтерншисер. Вы разве тоже агент?

Менахем-Мендл. Да еще какой! Суб-агент!

Ламтерншисер *(встает, протягивает руку и представляется галантно и не без гордости)*. Марк Моисеевич Ламтерншисер, окружной агент-аквизитор общества «Эквитебль».

Менахем-Мендл *(встает, представляется весьма элегантно)*. Менахем-Мендл Якнегоз, суб-агент общества «Якорь».

В вагон входит Бакфиш с двумя чемоданами, ищет, где бы присесть.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Бакфиш. Можно?

Ламтерншисер. Пожалуйста!

Менахем-Мендл. Пожал-те!

Бакфиш *(садится против них, кладет чемоданы, из одного достает бутылки и банки с разного рода закусками, устраивает из чемоданов подобие стола и принимается за еду)*. В дороге, знаете ли, хорошо

иметь с собой всякую всячину. Потому что не на каждой станции достанешь, что тебе надо. Да и не все, что дают, я ем. Боюсь за свой желудок. То есть пожаловаться на свой желудок я не могу, дай бог и дальше не хуже, но я боюсь его испортить. Желудок, знаете ли, это котел. Чуть перестал котел варить, — вся машина к черту! *(Откупоривает бутылку и наливает себе рюмку.)* Лехаим, господа, будем здоровы! *(Наливает еще рюмку и предлагает Менахем-Мендлу.)* Попробуйте, прошу вас, капельку! Собственная настойка на апельсиновых корках.

Менахем-Мендл *(про себя)*. Удивительно приветливый человек! Может быть, удастся заштрафовать его от смерти? *(Громко.)* Спасибо! Дайте лучше им! *(Указывает на Ламтерншисера.)*

Ламтерншисер *(Менахем-Мендлу)*. Пейте, пейте! *(Про себя.)* Любезный субъект! Его, пожалуй, можно было бы застраховать. Вернуть расходы...

Бакфиш *(выпивает еще рюмку и предлагает Ламтерншисеру)*. Попробуйте, прошу вас, и закусите этими сардинками. Великолепные сардинки! Не правда ли? Что скажете? Хороши сардинки? Свежие? Я без сардинок в дорогу не отправляюсь. Мало ли что может случиться. В дороге нужно быть осторожным с едой, потому что здоровье, знаете ли, дороже всего. *(Развязывает пакет с колбасой, ест и предлагает попутчикам.)* Раз уж вы отведали моих сардинок, то колбасу и подавно попробовать можете. Не бойтесь, и свежая и кошерная. Я, когда покупаю колбасу, не беру какая попадется. Здоровье, знаете ли, дороже всего. Потому что, как вспомнишь о смерти, так и за жизнь страх берет! Особенно, когда имеешь дома жену и двоих деток!

Ламтерншисер *(жует)*. Всего двое?

Менахем-Мендл. Парочка?

Бакфиш *(жует)*. Мало? А что, если вдруг упаси бог, помрешь?

Ламтерншисер *(жует)*. С вашей комплекцией?

Менахем-Мендл. Выглядите вы, не сглазить бы...

Бакфиш *(жует)*. Вы не смотрите, что я такой... Если бы я не поддерживал свой организм питанием, я бы уже давно — э-ге-ге!.. *(Развязывает еще пакет.)* А ну-ка, попробуйте, прошу вас, это копченое мясо! Оно холодное, но свежее. Я, когда покупаю мясо, не беру какое попало. Почему вы соленого огурчика не возьмете? Ананасы — не огурчики! Моя жена, дай ей бог здоровья, когда я собираюсь в дорогу, как начнет упаковывать!.. Упаковывает, упаковывает и упаковывает... Выпейте, пожалуйста, по стаканчику вишневки. Своя. Женино изделие.

Ламтерншисер *(пьет)*. Преданная у вас жена.

Менахем-Мендл *(пьет)*. Жена у вас преданная.

Бакфиш. Редкость. Одна на всю губернию! Что об этом говорить!

Ламтерншисер. Не жена, понимаете, а прямо-таки клад!

Менахем-Мендл. Клад, а не жена!

Бакфиш. Ах, что вы знаете, что вы знаете?

Ламтерншисер *(про себя)*. Попал в точку... Кажется, дело пойдет на лад... *(Громко.)* Такую жену ценить нужно.

Менахем-Мендл *(про себя)*. Дело идет как по маслу... *(Громко.)* Такую жену почитать надо!

Бакфиш *(чистит апельсин)*. Что вы знаете, что вы знаете? Возьмите, пожалуйста, апельсин. Хорошие апельсины. Я, когда покупаю апельсины, не беру первые попавшиеся. Это тоже она уложила, жена моя то есть...

Ламтерншисер *(чистит апельсин)*. Такую жену, как ваша, нельзя, по-моему, оставлять без всякого обеспечения, на случай, если что-нибудь, упаси бог, стрясется. Вы меня понимаете? Я так полагаю, что жену вообще необходимо обеспечить, в особенности, если имеются дети... В особенности, если... если люди разъездные, как мы с вами...

Менахем-Мендл *(про себя)*. Гм... Неплохо работает, честное слово! *(Громко.)* Ведь мы с вами, так сказать, на колесах...

Бакфиш. Я тоже так полагаю, что жену нужно обеспечить капиталом в каких-нибудь десять тысяч целковых. Есть для этого одно только средство...

Ламтерншисер *(оживленно)*. Застраховаться!

Менахем-Мендл. Заштрафовать себя от смерти!

Бакфиш. Как вы угадали мою мысль? Прямо с языка перехватили!

Ламтерншисер. А как же иначе? А как еще могут такие люди, как мы, понимаете, обеспечить своих жен?

Менахем-Мендл. А что мы еще можем придумать?

Бакфиш. Вы совершенно правы. Тем более что выплачивать можно понемногу. И стоит это недорого... Кто же из вас хочет это дело сделать?

Ламтерншисер *(хватается за портфель.)* Я, разумеется! *(Смотрит на Менахем-Мендла сверху вниз.)*

Менахем-Мендл *(хватается за портфель)*. Разумеется, я!

Бакфиш. Значит, оба хотите? Ну что ж! Тем лучше! *(Берется за портфель.)* За доктором, я думаю, дело не станет.

Ламтерншисер. Свидетельство от доктора представим потом. Главное — возраст.

Менахем-Мендл. Бумагу от доктора можно и после представить. Сколько вам лет — вот главное.

Бакфиш. Мне?

Ламтерншисер. А кому же?

Менахем-Мендл. А что же, мне?

Бакфиш. Что это значит? Ведь вы же хотели, чтоб я вас...

Ламтерншисер. Вы — нас? Мы думали — мы вас!

Менахем-Мендл. Вас мы имели в виду!

Бакфиш. Вы? Меня?.. Разве вы аг...

Ламтерншисер. Конечно, агенты! А вы?

Менахем-Мендл. Агенты, конечно! А вы кто такой?

Бакфиш *(встает, стряхивает крошки, протягивает руку)*. Имею честь представиться: Аким Исакович Бакфиш, инспектор-организатор общества «Нью-Йорк».

Ламтерншисер. Вот оно что?! Наш брат?! Марк Моисеевич Ламтерншисер, агент-аквизитор общества «Эквитебль»! *(Смотрит на Менахем-Мендла сверху вниз.)*

Менахем-Мендл. Значит, вы тоже из наших? *(Элегантно.)* Менахем-Мендл Якнегоз, суб-агент общества «Якорь».

В вагон входит Теркельтауб со своим семейством, с множеством чемоданов, узлов, корзин и пледов, ищет места для себя и семьи.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Теркельтауб. Можно к вам?

Бакфиш. Извольте!

Ламтерншисер. С удовольствием!

Менахем-Мендл. С придовольствием!

Новый пассажир начинает располагаться с семьей и багажом. Шум, толкотня, суета. Один малыш кричит: «Кушать, мама, кушать!» Другой: «Пить!» Мать щелкает орешки и кормит ими меньшого; на коленях у нее грудной ребенок. Старшие спорят из-за места у окна, отталкивают друг друга локтями. Отец, не скупясь, раздает пощечины, тумаки и подзатыльники.

Бакфиш *(про себя)*. Отец такого семейства мог бы уж, конечно, застраховаться. *(Громко.)* Трудно с ребятами в дороге?

Ламтерншисер *(про себя)*. Подходящий субъект для страхования. Дети! *(Громко.)* Нелегко в дороге с ребятами?

Менахем-Мендл *(про себя)*. Может быть, этот заштрафуется от смерти? *(Громко.)* Тяжеловато небось с детишками в пути?

Теркельтауб. Тяжело! Прямо — смерть!

Бакфиш. Похоже, они у вас слабенькие.

Ламтерншисер. Трясетесь над ними?

Менахем-Мендл. Оберегаете их?

Теркельтауб *(дает старшему тумака, отгоняет его от окна)*. Как не беречь — все дороги!

Бакфиш. Хорошие у вас дети.

Ламтерншисер. Удачные, понимаете, не сглазить бы.

Менахем-Мендл. Способные. Не повредил бы им дурной глаз!

Теркельтауб. Ничего. Учатся очень хорошо. Хорошо воспитаны. Воспитание — это главное! *(Подзывает старшего.)* Абраша, поди-ка сюда! Дай этому дяде руку! Ну, Абраша!

Абраша не обнаруживает желания здороваться и получает затрещину.

Видите вон того бутуза? *(Указывает на другого.)* Ох и голова! Ученый, уверяю вас! Но озорной. Ох, и озорной! Поговорите с ним... Он вас изничтожит... А этого замурзанного мальчугана видите? Умница, каких мало. Мать ни во что не ставит. Только меня и побаивается. То есть они бы и меня не слушались, но у меня имеется плетка, и я их деру! Да еще как деру!.. Детей, знаете ли, надо учить, то есть воспитывать. Воспитание — это главное. Видите того карапуза, которого мать орешками кормит? Язычок! Ему еще и четырех лет не исполнилось, а говорит все, буквально все, как взрослый! Давидка! Поди-ка сюда! Давидка!

Карапуз, не желая уходить от мамаши, оборачивается в сторону отца.

Скажи мне, Давидка, как тебя зовут?

Давидка отвечает: «Те-те-те».

Давидка, попроси у мамы варенья!

Давидка оборачивается к мамаше: «Те-те-те».

Ну, что вы скажете? Каждое слово выговаривает, как взрослый!

Бакфиш *(в восторге)*. При таких детях нужны и достатки хорошие.

Ламтерншисер. Надо, понимаете, хорошенько позаботиться.

Менахем-Мендл. Позаботиться надо как следует...

Теркельтауб. Да еще как! Видите седые волосы? *(Указывает на свою бороду.)* А ведь еще и пятнадцати лет после свадьбы не прошло.

Бакфиш *(качает головой)*. Ай-яй-яй!

Ламтерншисер. Такая команда, не сглазить бы!

Менахем-Мендл. Не сглазить бы, такая команда!

Теркельтауб. Содержать, одевать, обувать, учить, воспитывать! Воспитание — это главное! То есть я, вообще говоря, не жалуюсь. У меня, слава богу, очень приличная должность, свои несколько тысяч рублей я зарабатываю этими десятью пальцами *(показывает пальцы)*. Но когда я смотрю на свою семейку, — не сглазить бы, — мне приходит в голову, что вдруг, упаси бог, мало ли что случится... Понимаете? Пока голова работает и руки работают... Понимаете?

Бакфиш. О, мы это прекрасно понимаем! Мы тоже люди семейные. Мы знаем, что значит растить детей.

Ламтерншисер. Обеспечить детей, понимаете, это серьезное дело!

Менахем-Мендл. Великое дело, обеспечить детей!

Теркельтауб. Я о том и говорю, и жене своей, и всякому! Куда ни приду, я твержу одно и то же: что бы стали делать такие люди, как мы, люди среднего достатка, если бы нельзя было...

Бакфиш *(перебивает)*. Застраховаться!

Ламтерншисер. Застраховаться на случай смерти.

Менахем-Мендл. Заштрафоваться от смерти!

Теркельтауб *(оживившись)*. Я вижу, что вы все это прекрасно понимаете и все готовы сделать это дело. Могу вам сказать — да умножатся ваши силы! Вы творите доброе дело!

Бакфиш *(очень оживленно)*. Мы делаем то, что велит нам наш долг!

Ламтерншисер. То, что нам совесть, понимаете, приказывает!

Менахем-Мендл. По закону справедливости!

Теркельтауб. Да поможет вам бог, как вы сами себе того желаете! Да продлятся ваши годы! Пусть господь вас обрадует так же, как вы обрадовали меня, мою жену и детей! Они, бедные, ждут не дождутся этого: ведь я их единственный кормилец! *(Достает портфель.)* Во сколько вы думаете? То есть на какую сумму, примерно?

Бакфиш *(берется за портфель)*. Как мы можем знать, на какую сумму?

Ламтерншисер *(берется за портфель)*. Разве мы, понимаете, можем вам указывать?

Менахем-Мендл. Разве это мы вам должны указывать?

Теркельтауб *(ошеломлен)*. Что значит — вы мне? Ведь я хочу...

Бакфиш *(вне себя)*. Вы нам хотите устроить эту музыку?

Ламтерншисер. Вы нас хотите застраховать на случай смерти?

Менахем-Мендл. Заштрафовать нас от смерти хотите? Нас?

Теркельтауб. А то что же? Вы — меня? Разве вы тоже агенты?

Бакфиш. Ха-ха-ха! Понятно, агенты. А вы?

Ламтерншисер. Агенты, понимаете! А вы кто такой?

Менахем-Мендл. Еще какие агенты! А вы?

Теркельтауб *(элегантно)*. Лазарь Константинович Теркельтауб, генерал-инспектор и агент-организатор общества «Урбен».

Бакфиш *(элегантно)*. Аким Исакович Бакфиш, инспектор-организатор общества «Нью-Йорк».

Ламтерншисер *(элегантно)*. Марк Моисеевич Ламтерншисер, окружной агент-аквизитор, понимаете, общества «Эквитебль». *(Смотрит на Менахем-Мендла свысока.)*

Менахем-Мендл (*элегантно*). А я — Менахем-Мендл Якнегоз, суб-агент общества «Якорь».

Все пожимают друг другу руки и обмениваются визитными карточками. Один только Менахем-Мендл ищет у себя в карманах.

Ай-яй-яй! Нет еще у меня карточек! Нету!

Теркельтауб (*вздыхает*). Тяжелый хлеб, а?

Бакфиш (*вздыхает*). Ох, и не говорите! Ездишь, разнюхиваешь, все думаешь, авось...

Ламтерншисер (*смотрит свысока на Менахем-Мендла*). Вы понимаете? Было бы, может быть, не так уж плохо, если бы не было так много агентов. Понимаете, конкуренция...

Менахем-Мендл. Что там конкуренция-шменция! Скажите прямо: дело дрянь!.. Могила!..

Занавес.

ЛЮДИ

Пьеса в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Даниел — старый слуга эконом. Молодящийся старый холостяк. Носит красный жилет с медными пуговицами, клетчатые брюки, зеленый галстук. Высокомерен и строг в обращении со слугами, с хозяевами угодлив. Ему подчинена вся прислуга.

Герц — элегантный лакей во фраке и белом жилете, с щегольскими усиками.

Рикл — кухарка, веселая по натуре женщина. Белый передник и белый чепец.

Фишл — ее муж, служит в другом доме, всегда озабочен.

Фанечка — бывшая горничная, давно получившая расчет.

Лиза — горничная, принятая вместо Фанечки.

Реб Сендер — меламед, оброс густой бородой.

Иохевед — его жена.

Ревечка — их дочь.

Мадам Голд — новоиспеченная богачка, говорят, миллионерша.

Действие происходит в нижнем этаже богатого дома.

Кухня в богатом доме. Белая плита с блестящими медными поручнями. Кухонная посуда и вся утварь сверкает чистотой. Справа — печь. Слева — лестница на второй этаж. Между лестницей и рампой — нечто вроде комнатушки. Там стоит небольшой столик и старомодное («вольтеровское») кресло. В нем обычно восседает Даниел. Справа, у противоположной стены, — большой зеленый сундук. Рядом с ним, ближе к рампе, — небольшой красный сундучок. Посреди кухни — длинный стол и несколько табуреток.

За столом, сбросив фрак и засучив рукава, сидит Герц и пишет письмо. Рикл стоит за его спиной и диктует.

Рикл. ...И напиши мне, милая сестра, как тебе живется в чужом доме. И много ли у вас слуг, и что за люди? И как у вас обходятся с прислугой?..

Герц *(пишет, высунув язык и двигая им вслед за пером)*. «И напиши мне, милая сестра...» Ну, дальше?

Рикл *(диктует)*. Нас тут на кухне четыре человека, да еще для стирки белья есть человек, и на конюшне еще человек, и у ворот опять человек, и в саду человек...

Герц. Тррр... Вот заладила: человек и человек... что ты гонишь и гонишь.

Рикл. Что ты написал, горе ты мое?

Герц. «Милая сестра».

Рикл. Только всего?! Все напасти, что приснились мне этой и прошлой ночью, — на твою голову! Этак мы никогда до конца не доберемся!

Герц. А вы что думали? Писать, по-вашему, то

же самое, что языком молоть? Перо — это вам не язык и не мельница. Пока выведешь букву, хорошенько вспотеешь. *(Рассматривает перо.)* А тут, как на грех, и перо у нашего эконома... на него самого похоже: толстое и тупое, косолапое.

По лестнице спускается Лиза. Подходит к красному сундучку, садится и, закрыв лицо руками, плачет.

Рикл *(Лизе)*. Бог с тобой, чего ты плачешь?

Герц *(Лизе)*. С ума сошла?! Ни с того ни с сего разревелась! Будет тебе плакать! Выходи лучше за меня замуж...

Рикл. Получила, наверное, хорошую трепку от мадам? Подумаешь, диковина какая! Когда живешь в прислугах, надо все терпеть.

Герц. Пошли их ко всем чертям, дурочка! Бери пример с меня. *(Потягиваясь.)* Я никого не боюсь. Я над собой не признаю никого! Что мне хозяин?! Что мне мадам?! Что мне эконом?! Лучше выходи за меня замуж, глупая ты девушка, — будешь жить, как у бога за пазухой.

Рикл. Сам жених, сам и сват!

По лестнице спускается Даниел, Герц, спохватившись, надевает фрак, ставит чернильницу и перо на маленький столик. Выражение лица у него сразу меняется. Рикл занимает свое место у печи.

Даниел *(Герцу)*. Слушай ты, шалопай, подойди-ка сюда! *(Подводит его к окошку, смотрит ему в глаза, указывая пальцем на Лизу.)* Ну?

Герц. Что «ну»?

Даниел. Хорошо, нечего сказать! Постарался.

Герц. Кто?

Даниел. Я.

Герц. Вы?

Даниел *(щелкнув его рукой по носу)*. Клоун! Паяц! Ну, ступай наверх! Ступай, тебя зовут!.. Пропади вы все пропадом!

Герц. Иду! *(Подходит к лестнице.)*

Даниел *(важно усаживается в кресло, засучивает рукава, со звоном отпирает ящик конторки, вынимает оттуда большую конторскую книгу, напяли-*

вает на нос круглые очки и, глядя в книгу, движением руки подзывает к себе Лизу). Тебе причитается за четыре месяца и три недели. Четырежды восемь как будто тридцать два; а за три недели по два рубля — выходит как будто шесть. Тридцать два и шесть — как будто тридцать восемь. Еще двенадцать прибавим для ровного счета. Выходит как будто пятьдесят, не так ли? На, получай деньги. *(Достает деньги, смотрит на Лизу поверх очков.)* Плачешь? Считаешь, что ты права? А?.. *(Строго.)* Ну, не валяй дурака и получай деньги!

Лиза *(берет деньги, не переставая плакать)*. Чем я виновата? Он мне говорил, что я красивая. Клялся, что любит меня.

Даниел. Подумаешь, какое счастье! Он ее любит! Этот паяц, этот шут, этот прохвост! Пропади все пропадом!

Лиза *(поднимает голову)*. О ком вы говорите?

Даниел. А ты о ком говоришь?

Лиза *(опуская голову)*. О Натане... О Натане Моисеевиче...

Даниел *(встрепенувшись)*. А? Что ты сказала? Натан Моисеевич?

Лиза *(тихо)*. Он.

Даниел *(тихо)*. Ду-ра! Что ж ты молчала, глупенькая козочка! *(Сердито.)* Отчего ты мне не сказала? Наивный теленок. Мне ты должна была сказать! Пропади все пропадом!

Рикл *(подбегает)*. Ой, горе мне, что случилось? *(Ломает руки.)*

Даниел. Не вашей бабушки дело. Ступайте, занимайтесь своими кастрюлями.

Рикл. Тьфу! *(Возвращается к плите.)*

Даниел. Как же это у вас вышло? Рассказывай, не бойся. Мне ты можешь выложить всю правду. *(Тихо.)* Так он, значит, стал тебя уговаривать? Он говорил, что любит тебя? А ты так и поверила ему на слово? Эх ты несчастная!.. А я было подумал, что ты спуталась с этим шалопаем, с этим бездельником. Подойди сюда, садись. *(Указывает ей на табурет рядом со своим креслом.)* Скажи мне чистую правду.

Помни — ты со мной говоришь... Так это он? Натан Моисеевич, говоришь ты?

Л и з а *(плачет)*. Клянусь вам... Он даже колечко мне подарил. *(Показывает ему кольцо на пальце.)*

Д а н и е л *(берет ее руку, разглядывает кольцо)*. Несчастные вы... овечки!.. козочки!.. телята!.. Верите первому встречному! *(Отбрасывает ее руку.)* Скрывала от меня! Секреты! Сговорились! Поверила? Вообразила себя на седьмом небе? Пропади все пропадом! *(Порывисто встает, шагает по комнате.)* Вот так-то вас и завлекают в сети, глупые вы создания! *(Подходит к ней вплотную, повышает голос.)* Ты что же думала? Что ты воображала? Рассчитывала, что он на тебе женится? Размечталась, что станешь мадам Голд? Ха-ха-ха! Чего ж ты молчишь? Ну?! *(Садится на стул против нее, берет ее за руку, смягчает тон.)* Расскажи мне, детка, расскажи мне все.

Лиза садится рядом с ним на стул, всхлипывает.
Рикл, подкравшись, подслушивает.

Л и з а. С первых же дней, как я поступила сюда, он все ходил за мной следом и говорил, что я хорошенькая... что я красавица... что я украшение в доме... что он только глядел бы да глядел на меня... Потом он стал охать и вздыхать и уверять, что любит меня, умирает от любви и без меня жить не может... Он спрашивал, согласна ли я быть его женой, умолял пожалеть его, обещал переговорить с ними. Он уверял меня, что, если они не дадут согласия, он отравится, или застрелится, или вообще покончит с собой... И все откладывал со дня на день... Очень мне было жалко его...

Д а н и е л. Она его пожалела! Ха-ха-ха! Пропади все пропадом! Ну, а он тебя пожалел? Отчего он тебя не пожалел, а? Что же он говорил тебе сегодня? Вчера? Третьего дня? Говорила ты с ним, отвечай?

Л и з а. Говорила, как же не говорить? Я ему все сказала... Я плакала... *(Плачет.)*

Д а н и е л. Она плакала! Ну, а он?

Л и з а. Он сначала просил, чтоб я молчала, подарки обещал, деньги. А когда я отказалась, он сразу

переменился. Он сказал, что, если я подыму скандал, будет хуже для меня... для моей сестры...

Даниел. Откуда он знает про твою сестру?

Лиза. Я ему рассказала, что у меня есть сестра... кассирша. Если узнают, она потеряет место.

Даниел *(встает, в сердцах стучит кулаком по столу, громко)*. Где были мои глаза? И почему ты мне раньше не сказала? Какая же ты глупая... *(Садится, трет руками лицо; голос его становится мягче.)* Скажи мне, глупенькая, кто у тебя здесь, кроме сестры?

Лиза *(сквозь слезы)*. Никого. Я ведь вам говорила, что у меня здесь только одна сестра. Она служит в магазине кассиршей... Она моложе меня... Если узнают о моем несчастье, ее прогонят со службы. *(Рыдает.)*

Даниел *(успокаивает ее)*. Не бойся, ничего с твоей сестрой не случится... Хорошо, что ты мне рассказала. Я уж постараюсь, что-нибудь придумаю... *(Немного поразмыслив.)* Знаешь что? Я тебе дам записку к одной моей знакомой. Побудешь там, пока я что-нибудь придумаю. *(Вынимает листок бумаги, пишет, сопит.)*

Лиза сидит и плачет. На лестнице раздается женский голос: «Даниел! Даниел!»

(Прячет листок в ящик стола, снимает очки, съеживается, становясь на целую голову ниже.) Сейчас! Сейчас! *(Подымается по лестнице наверх.)*

Рикл *(подходит к Лизе с ложкой в руке, качает головой)*. Думаешь, я не слышала? Все слышала! Такова уж наша доля, когда приходится жить у господ, холера их всех побери, боже милосердный!

Лиза *(плачет)*. Ой, Рикл, дорогая, родная моя! Несчастная я... Что мне теперь делать? Куда я пойду? Что я скажу? *(Ломает руки.)*

Рикл. Не плачь, глупенькая, не плачь! Не люблю я, знаешь, вмешиваться в чужие дела, но будь я на твоем месте... *(Наклоняясь к ее уху.)* Случись со мной такое дело, — три горшка крови я бы из них выцедила, шкуру бы я с них содрала... *(Рассекает воздух ложкой.)* Правнукам своим заказали бы они так обращаться с людьми! Холера им в рожу!

Лиза (*ломая руки*). Ох, несчастье! Я за сестру боюсь, ее прогонят с места... Что мне делать? Что делать?

Рикл. Ах ты, божья коровка, глупенькая!.. Ведь у тебя теперь есть случай обеспечить себя приданым! У них всего вдоволь! Хвороба их возьми! А какого жениха ты можешь себе подыскать, дурочка, дай бог мне такое счастье! Выйдешь замуж — и конец. Не придется больше жить в прислугах. Сама себе будешь хозяйкой, дурочка, сама будешь слуг держать... Ты только подумай!.. Ой, идут! (*Бежит обратно к плите.*)

Даниел и Герц спускаются по лестнице.

Герц. Вот это да! Сами «свят-свят», а как согрешили, так пес виноват! (*Делает недоумевающее лицо. Принимается за работу.*) Да еще поклеп возводят!

Даниел (*строго*). Молчать! (*Лизе.*) Собрала свои вещи? (*Открывает ящик стола.*) На вот тебе еще полсотни. На расходы получишь особо. Я уж постараюсь. Несчастные вы создания! Заблудшие овцы! Божьи коровки! Пропади все пропадом!

Лиза, продолжая плакать, собирается уходить.

(*Даниел удерживает ее.*) Погоди. Я тебе записочку дам, письмецо. (*Собирается писать.*)

Рикл (*подбегая к Даниелу с ложкой в руке*). Вы меня знаете — я не люблю вмешиваться в чужие дела. Но у нее теперь такой хороший случай обеспечить себя хотя бы приданым. Вы же сами видите, — божья коровка!

Даниел (*строго глядя на нее через очки*). Кто у вас спрашивает совета? Ваше место у плиты. Накройте еще на троих. Сейчас придут родственники нашей мадам. Бедные родственнички. Приказано дать им поесть на кухне, вместе с людьми.

Герц. Хорошо еще, что не с собаками!

Реб Сендер, Иохевед и Ревечка спускаются с лестницы, раздеваются. Реб Сендер разматывает шарфы, обнажая свое заросшее волосами лицо. Рикл и Герц смотрят на него, как на дикого зверя.

Рикл. Это кто ж такие? *(Указывает глазами на гостей.)*

Герц. Понятия не имею! Впервые вижу нечто подобное. Ну и богатый урожай на лице!

Даниел *(гостям)*. Садитесь за стол, — вам сейчас дадут поесть. Рикл, подавайте гостям.

Реб Сендер совершает обряд омовения рук, после чего произносит вслух соответствующие молитвы. Герц невпопад вторит ему: «Аминь, да возвеличится имя его». Рикл смеется в кулак. В кухне появляется мадам Голд. Ее приход вызывает необычайную суматоху. Рикл бросается к плите. Герц хватает посуду, звенит вилками, швыряет ложки. Лиза подымается с красного сундучка и быстро выходит из кухни. Даниел снимает очки, съеживается, становится на целую голову ниже. Реб Сендер прерывает начатую трапезу.

Мадам Голд *(с нижней ступеньки, чуть повыше пола)*. Рикл! Накормишь их и дашь им по стаканчику чаю. *(Иохевед.)* Да, я забыла спросить, как ее зовут, вашу дочку?

Иохевед. Рива.

Реб Сендер. Ривка, просто говоря.

Мадам Голд. Рива? Ривка? Некрасиво!.. Ревекка. Ревечка, — пусть зовется Ревечка.

Иохевед. Вам угодно Ревечка, — пусть будет Ревечка. Кто смеет вам указывать?! Она же ваша.

Реб Сендер. Мои слова! Было бы ей только хорошо здесь, не знать бы ей ни в чем нужды! Как сказано: «Не в присказке дело, а в самой сказке».

Мадам Голд. Это зависит от нее: будет служить хорошо — будет и ей хорошо; будет служить плохо — и ей будет плохо.

Даниел *(подхватывая)*. Будет служить хорошо — и ей будет хорошо; будет служить плохо — и ей будет плохо. *(Кивает Герцу и Рикл.)*

Герц и Рикл *(одновременно)*. Будет служить хорошо — и ей будет хорошо; будет служить плохо — и ей будет плохо.

Герц *(в сторону)*. Пусть бы им самим так хорошо жилось!

Мадам Голд. Мои люди никогда еще на меня не жаловались.

Даниел. Наши люди никогда еще не жаловались. *(Кивает Герцу и Рикл.)*

Герц и Рикл *(одновременно)*. Никогда не жаловались.

Герц *(в сторону)*. Столько тебе болячек, сколько раз жаловались.

Мадам Голд. У меня уж так заведено: праздники или именины — мои люди получают от меня подарки.

Даниел. Тут все люди получают подарки. *(Кивает Герцу и Рикл.)*

Герц и Рикл. Мы получаем каждый раз подарки.

Герц *(в сторону)*. Пусть бы им самим столько иметь, сколько они нам дарят.

Ревечка. Зачем подарки? Это не обязательно.

Иохевед *(потянув ее за рукав)*. Ты, Ривеле, лучше помолчи.

Реб Сендер. Мои слова! «Молчание — золото»...

Герц *(в сторону)*. Этот еврей прямо-таки весь из пословиц.

Мадам Голд. Очень хорошо, что она умеет писать. Надо, знаете ли, иной раз переписать белье на чердаке, а то крадут, растаскивают, разворовывают.

Даниел. Разворовывают. *(Кивает Герцу и Рикл.)*

Герц и Рикл. Еще как воруют!

Герц *(в сторону)*. Ох, не завидую я этим ворам!

Мадам Голд *(Ревечке)*. Ну, закуси, а потом за работу. *(Даниелу.)* Даниел! Почаще заглядывай на конюшню. Посматривай, дают ли лошадям овес, или, может быть, только выписывают счета на овес. Ох, и любят же они выписывать счета. *(Уходит.)*

Кухня мигом преображается. Даниел снова напяливает на нос очки, высоко поднимает голову, усаживается в кресло, пишет. Рикл приглашает гостей к столу. Гости едят. Герц тоже. Сверху раздается голос: «Даниел! Даниел!»

Даниел *(снимает очки, опять становится на целую голову ниже; застегиваясь на все пуговицы, подымается по лестнице)*. Сию минуту! Иду! Иду! *(Скрывается.)*

Рикл *(подает к столу)*. Милости просим, гости дорогие!

Иохевед. Кто этот сердитый человек, которого зовут Даниел? То он большой, то он совсем маленький.

Герц. Это наш полухозяин.

Реб Сендер *(положив ложку на стол)*. Полу... чего?

Рикл. Наш эконом. Распоряжается всеми людьми. Из его рук мы получаем все, что нам причитается... Так вы, стало быть, состоите в близком родстве с нашими хозяевами?

Иохевед. Не такое уж очень близкое родство. Но как-никак считаемся родней.

Реб Сендер. Седьмая вода на киселе. Хотите знать, каким образом? *(Кладет ложку на стол.)* Вот я вам сейчас расскажу всю родословную.

Герц. Что ж, расскажите. Не мешает знать. *(Продолжает есть.)* Человеку полезно все знать, все, что творится на белом свете. *(Уплетает за обе щеки.)*

Реб Сендер. Мой дядя, то есть наш общий дядя, потому что мы с женой двоюродные брат и сестра, — так вот, наш дядя и тетка вашей мадам были родные брат и сестра. Теперь вам ясно? *(Снова принимается за еду.)*

Иохевед. Как раз наоборот. *(Кладет ложку на стол.)* Наша тетка и дядя вашей мадам были родные брат и сестра.

Реб Сендер *(кладет ложку на стол)*. Мои слова! Разве я не так сказал?

Герц *(Иохевед)*. А они как сказали? Разве не так? *(Ест.)*

Иохевед *(снова кладет ложку на стол)*. Ты говорил, что наш дядя и ее тетка...

Реб Сендер *(бросает ложку, сердито)*. Я так сказал? Как я мог это сказать?

Герц *(Иохевед)*. Как они могли это сказать? *(Продолжает есть.)*

Иохевед *(бросает ложку, обращается к дочери)*. Ну, скажи уж ты, Ривеле: разве не так он сказал? Отвечай же, что же ты молчишь?

Ревечка. Так сказал или этак сказал, — какая разница? Кушайте лучше на здоровье! Целые сутки ничего не ели...

Герц *(Сендеру)*. Ваша дочка права, честное слово! Как говорится: «Натощак танцы не идут никак...» Так вы, стало быть, в родстве с нашими хозяевами? Что же, писали они вам? Приглашали приехать?

Реб Сендер. Боже спаси и помилуй! Мы сами приехали. Как видите, дочку привезли, — хотели ей подыскать место. А тут вспомнили, что у нас здесь богатая родня, — мы и пришли сюда. Сперва они было и не признали нас.

Иохевед. Как же им нас признать? Они ведь такие богачи! Миллионщики, не сглазить бы!

Сверху раздается звонок.

Герц. Это меня приглашают. И доесть не дадут. *(Продолжает жевать на ходу.)* Вечно носишься, как собака, и давишься куском, чтоб им самим подавиться! *(Уходит.)*

Рикл *(Иохевед)*. Выходит, значит, вы и вправду родня?..

Иохевед. А вы что ж думали? В нашем роду никогда не было слуг, одни хозяева! Наша родня...

Ревечка. Мама, к чему им знать, кто наша родня? Ты породниться с ними собираешься, что ли?

Иохевед. А почему бы им и не знать? Пусть знают. Пусть не думают, что ты простая прислуга, такая, как они.

Ревечка. Мама! Трудно было только решиться пойти в прислуги, но раз я уж решилась, то я здесь такая же, как все... *(Кончив обед, принимается за работу, моет и перетирает тарелки.)*

Реб Сендер *(произносит нараспев послеобеденную молитву, одобрительно кивает головой)*. О! Гм! Правда, правда... «Благослови землю и плоды ее... Смилостивься!» *(Покачивается из стороны в сторону.)*

Лиза входит с улицы, ломая руки; подходит к красному сундучку, садится, подпирая голову руками.

Ревечка. Кто эта девушка?

Рикл. Наша бывшая горничная. Сегодня только рассчитали.

Ревечка. За что?

Иохевед. Разве им это впервые? Они принимают людей, они им и отказывают.

Реб Сендер *(прерывая молитву)*. Гм... Гм... «Как глина в руках горшечника».

Рикл *(Иохевед)*. Что сказал ваш муж?

Иохевед. Вам этого не понять. Это из талмуда *.

Сверху спускается Даниел.

Даниел *(с минуту расхаживает взад и вперед по комнате, не произнося ни слова, затем останавливается перед Лизой и говорит очень тихо)*. Несчастная ты моя! Горемычное ты создание! Хоть бы ты раньше мне рассказала! Пропади все пропадом!.. Иди-ка сюда!.. *(Снова садится за прерванное письмо.)*

Лиза подходит к столу.

(Лизе.) Вот тебе адрес. Прямо к ней и заезжай... Передашь от меня привет. Скажешь — я еще сегодня к ней загляну, если можно будет. А не удастся, так завтра... Горемычные вы создания!

Лиза подходит к красному сундучку, раскрывает его, что-то ищет и потом снова запирает.

Реб Сендер *(окончив молитву, встает из-за стола, вытирает руки фалдами своего длинного сюртука, подходит к Даниелу)*. Позвольте вас приветствовать. Шолом алейхем! [1] Я слышал, вы здесь вроде хозяина.

Даниел *(надевает очки, высоко поднимает голову)*. Что скажете?

Реб Сендер. Ничего. Я только хотел попросить вас присматривать за моей дочкой, понаблюдать за ней.

Даниел. Понаблюдать? Присматривать? *(Глядит попеременно то на Ревечку, то на Лизу.)* Присматри-

---

[1] Мир вам! *(еврейск.)*

вать за вашей дочкой? Да-да-да! Присматривать. Понаблюдать.

Иохевед. Она нам дороже всего на свете... Правда, она у нас не единственная, сохрани боже, но зато — старшая, а к тому же такая умница! Я вас прошу, понаблюдайте за ней!

Ревечка. За мной не надо наблюдать. Я, слава богу, сама за себя постою.

Иохевед *(дочери)*. Глупая ты девочка! *(Даниелу.)* Вы сами понимаете, красивая девушка среди чужих людей...

Даниел. Да, красивая девушка среди чужих людей! *(Смотрит то на Ревечку, то на Лизу.)* Тут красота как раз не бог весть какое достоинство...

Ревечка. Мама, обо мне не беспокойся! Меня никто не похитит! Не маленькая, — мне не десять лет!

Иохевед *(Рикл)*. Ну, что вы скажете? Умница какая, не сглазить бы. *(Мужу.)* Ну, Сендер, одевайся, — нам пора ехать. *(Дочери.)* Прощай, Ривеле. Береги себя, — и тебе, с божьей помощью, будет хорошо, лучше, чем дома.

Реб Сендер. Мои слова! «Все в руках божьих»... *(Даниелу.)* Прощайте, реб Даниел! Не забывайте же присматривать за ней. *(Вздыхает.)*

Даниел. Присматривать за вашей дочкой? Да-да-да! Наблюдать за вашей дочкой...

Ревечка провожает отца и мать к выходу и возвращается к прерванной работе. Сендер и Иохевед уходят. С лестницы спускается Герц.

Герц. Мадам велела запрягать лошадей и проводить Лизу с почетом. *(Берет сундучок. Даниелу.)* А вас имеют честь просить наверх. Натану Моисеевичу надо поговорить с вами о лошадях.

Даниел. Опять о лошадях! Замучил он меня своими лошадьми! Лошадь им дороже человека! *(Уходя.)* Пропади все пропадом! *(Скрывается.)*

Герц. Ха-ха-ха! Самому паршивому псу достается самый лакомый кусок! *(Лизе.)* За меня не хотела замуж пойти, не захотела?! Гнушалась! Только потому, что слуга! Конечно, лучше с хозяином, чем со

слугой. Но если все слуги станут путаться с хозяевами, а хозяева со слугами, — на что, спрашивается, станет тогда похож наш божий свет?

Рикл *(Герцу)*. И как у тебя только язык не отсохнет, зубоскал ты этакий? У человека такое горе, такое несчастье, а он языком треплет!

Лиза *(с рыданием бросается в объятия Рикл)*. Мама моя родненькая!

Ревечка *(Герцу)*. Отчего она плачет?

Герц. Вспомнила что-то печальное.

Ревечка *(Рикл)*. Отчего она плачет?

Рикл. Тяжело на душе, — вот она и плачет.

Ревечка *(подходит к Лизе)*. Что с вами? *(С участием.)* Скажите мне...

Лиза *(ломает руки)*. Ой, не приведи вас господь... узнать то, что я узнала!.. *(На мгновенье бросает взгляд на лестницу, и глаза ее наполняются слезами, она бросается в объятия Рикл, рыдая, как ребенок.)* Прощайте, мама моя родная! Вы мне были настоящей мамой!

Рикл *(гладит Лизу по голове)*. Ну, довольно, довольно плакать, дитя мое! Божья воля, божья воля!.. Счастливого пути, дитя мое. Пошли тебе господь столько счастья, сколько ты сама себе желаешь. Конечно, если бы ты меня послушалась... Ну, поезжай с богом!.. *(Слезы душат ее, она не в силах говорить и прячет лицо в передник)*.

Слышно, как подъезжает экипаж. Герц хватает красный сундучок и ставит на плечо. На глазах у него слезы, но он не показывает виду и улыбается.

Герц. А сундучок, не сглазить бы, тяжелый. *(Выходит.)*

Лиза с плачем следует за ним, ломая руки, бросает прощальный взгляд на лестницу наверх. Рикл всхлипывает, пряча лицо в передник. Ревечка, не переставая работать, вопросительно глядит на всех.

Рикл *(про себя)*. Так-то они обходятся со слугой! Слуга и собака — у них один черт... Так ей и надо, — сама виновата! Слуга никогда не должен забывать, что он только слуга! *(Ревечке.)* Слышишь,

девочка? Когда ты будешь там *(показывает на верхний этаж),* ни на минуту не забывай, что ты служанка и что твое место здесь!

Герц *(возвращается с улицы, глаза у него покраснели).* Одним человеком меньше стало у нас. *(Рикл.)* Знаете, Рикл, меня только одно бесит: мало того что они сами нашкодят, они еще взваливают вину на других!

Ревечка. Эта девушка в чем-нибудь провинилась? Она украла что-нибудь?

Рикл и Герц разражаются громким смехом.

Рикл *(Ревечке).* Ты еще совсем козочка, я вижу.

Герц. Наивная ты девочка, честное слово! Люблю таких. *(Хочет погладить ее по щеке.)*

Рикл *(дает ему по рукам).* Без рук! Ты не Натан Моисеевич...

Герц. Твоя правда! Им *(показывает рукой наверх)* все позволено, нам — ничего.

Рикл. Они хозяева, а мы слуги.

Герц. Знаете, что я вам скажу, Рикл, душа моя? Давненько я уже инструмента в руках не держал. Пальцы совсем одеревенели, ну их ко всем чертям! Надо достать инструмент. *(Вынимает из-под кровати гитару.)* На душе тоскливо, надо хоть грусть разогнать... Что бы вы хотели послушать, Рикл? *(Настраивает гитару.)* Стоит мне заиграть — и всех насквозь проймет! *(Глядит на Ревечку, подмигивает ей.)* Я бы хотел, чтобы все хорошенькие девчонки и все красивые бабенки слушали, как я играю. Рикл, душа моя! Что бы мне спеть вам такое, чтоб вас пробрало?

Рикл. Пусть бы тебя самого пробрало! Знаешь что? Спой еврейскую песенку, и дело с концом.

Герц. Хотите еврейскую? Можно, спою еврейскую... *(Играет и напевает залихватскую песню, отбивая ногами такт и качая головой. Чем дальше, тем звучнее и веселей разливается песня, Герц входит в раж.)*

Рикл и Ревечка покатываются со смеху. Они не замечают даже, как с улицы входит Фишл, муж Рикл.

Ф и ш л *(входит незаметно, тихими шагами; останавливается и несколько минут с недоумением глядит на Герца и на хохочущих Ревечку и Рикл, кашляет).* Весело тут у вас, не сглазить бы. С праздником!

Г е р ц. Взаимно. Нечего делать, ну и бренчишь на гитаре.

Ф и ш л *(сердито).* Нечего делать? Бейся головой об стенку. *(Жене.)* Не спросит даже, как дитя поживает. Ей что? Был бы этот пустозвон, тренькал бы на гитаре.

Р и к л. Смотри как разошелся! Садись, отдохни немного!

Герц подносит ему табуретку.

Ф и ш л *(бросает на Герца полный ненависти взгляд и, не желая садиться, отшвыривает табурет в сторону, берет другой, садится).* Эй ты, шалопай, бездельник, гнилой огурец! Ты уже совсем запанибрата с моей женой?! Забавляешь ее своими песенками?!

Г е р ц. Во-первых, я забавляю не только вашу жену — много чести для нее. А во-вторых, не мешает вам помнить: если живешь в людях, для тебя не существует больше ни жены, ни мужа, ни сестры, ни брата.

Ф и ш л. Вот как? Чего моя левая нога хочет?!

Г е р ц. А вы что думали? Гуляй, голытьба! Вольному — воля.

Р и к л *(мужу).* Нашел кого слушать! Что ты обращаешь внимание на этого пустомелю?

Ф и ш л *(вне себя от гнева).* Какой он дурень! Он совсем не дурень! Беспутный он человек — вот он кто! Гуляка, развратник, шут с закрученными усиками и кружит головы чужим бабам и глупым девкам.

Г е р ц. Вот еще! Разве я виноват, если все девчонки и все бабенки вешаются мне на шею?

Р и к л. Чтоб тебя на первом суку повесили, бездельник ты этакий!

Г е р ц. Чего вы кричите? Подумаешь! Им *(показывает наверх)* можно? Чего-чего я только не нагляделся там, мама моя родная! Ничего святого! Муж,

жена, мое, твое — все общее! Я сам видел, как сват обнимал нашу хозяйку вот так... Я вам сейчас покажу как. *(Хочет обнять Рикл.)*

Рикл *(отшвыривает его)*. Головой об стенку.

Сверху появляется Даниел.

Даниел *(хватая Герца за шиворот)*. Вот я тебя сейчас обниму! У тебя искры из глаз посыплются. Ступай наверх, тебя зовут. Пропади все пропадом!

Герц. Сию минуту! Иду. *(Фишлу.)* Всего наилучшего. Счастливой ярмарки!

Фишл *(вслед удаляющемуся Герцу)*. Катись головой вниз! Да сломай себе ногу по дороге туда или обратно!

Герц скрывается.

Даниел *(раскладывает на столе деньги, сложенные стопками; Фишлу)*. Не надо обращать внимания на этого безмозглого шута. Во всей его болтовне столько же смысла, сколько в собачьем лае. *(Открывает ящик письменного стола, вынимает конторские книги.)*

Фишл. Нет, вы понимаете? Разве они нашего брата, слугу, считают человеком? Нанялся — продался! Нет тебе ни субботы, ни праздника, ни жены, ни ребенка! Если в кои-то веки вырвешься на минутку повидаться с женой, так вот вам, извольте радоваться: застаешь этого шарлатана, который тренькает на балалайке, а они, эти глупые телки, рты разинули и не налюбуются на него.

Даниел. Глупости. *(Постукивает костяшками счетов, считает деньги.)* Глупости!

Рикл *(Даниелу)*. Ну, скажите сами...

Фишл *(Даниелу)*. Для вас это глупости, а мне больно и обидно. Пусть мы живем в людях, но людьми-то мы остаемся или нет? А у человека есть самолюбие. Есть амбиция. *(Бьет себя в грудь.)*

Даниел. Что еще за амбиция! *(Стучит костяшками.)* Тоже выдумал — амбиция... Слуга с амбицией! Разве у слуги может быть амбиция?

Рикл *(Даниелу)*. Ну, скажите сами! Амбицию выдумал! Вот еще...

Фишл. Вот именно — амбиция! Пускай я только наемный человек, не больше, но ведь у слуги тоже живая душа! Всю неделю маешься, ходишь в упряжке, как лошадь. А если раз в неделю подвернется тебе счастье и можешь вырваться на полчасика, повидать свое дитя или жену, — натыкаешься черт знает на кого! *(Разворачивает завернутую в бумагу шаль, передает жене.)* На вот, я тебе подарок купил. Всего три рубля! Дешевка! Прямо даром!

Рикл. Ой, правда? Знаешь что, я отнесу эту шаль нашей Фейгеле. Она, бедненькая, совсем плохо одета. Встретилась я как-то с ней на рынке, неделю назад. Поболтали минутку, — видно, ей тоже не очень сладко там живется... Ох-ох! Горе тому, кто и сам живет в прислугах и родное дитя должен отдать в прислуги, вдали от родительского глаза. Подневольные мы люди! *(Снова принимается за работу.)*

Фишл. Подневольные, говоришь?.. А все же, если б тебе очень уж хотелось, ты, я думаю, могла бы видеться с нею почаще. Некогда тебе, что ли? Хлопот много? Пусть бы она к тебе приходила. Нельзя же так забывать свою родную дочь.

Рикл. Вот еще, проповеди читает! Нельзя забывать родную дочь. А если наша мадам и знать не хочет ни о каких детях! Она терпеть не может, чтобы у слуг были дети. Ты это понимаешь или нет?

Фишл. Все они терпеть не могут. Ты бы ее лучше устроила на работу в этом же доме, здесь же, рядом с тобой...

Рикл. Здесь? Рядом со мной? Не доведи господи! Родное дитя бросить в пасть к этим волкам! Чтобы с ней, не дай бог, случилось то же самое, что с Фанечкой или с Лизой? *(Шепчет что-то мужу на ухо, не отрываясь от работы.)*

Фишл *(вскакивая)*. Ах, холера на них! Околеть бы им в муках! Тридцать три холеры! Семьдесят семь смертей на их головы! *(С поднятыми кулаками направляется к лестнице.)* Чтобы она вас схватила, эта холера, и свернула, и трясла, и бросала, и угнала на

тот свет всех до одного, чтобы от вас ни следа, ни пылинки не осталось! Тысяча чертей вашей...

Сверху раздается женский голос: «Даниел! Даниел!»

Даниел *(становится на голову ниже, кричит наверх)*. Иду! Иду! *(Взбираясь по ступенькам, ворчит.)* Вверх и вниз! Вниз и вверх! Пропади все пропадом! *(Скрывается.)*

Фишл. Всюду одно и то же!.. *(Собирается уходить.)* А меня уже, верно, ищут. Все кричат: «Фишл!» Со всех сторон: «Фишл! Фишл!» Чтоб у них глотка треснула, владыка небесный! Чтоб им так хотелось жить на свете, как мне хочется сейчас уходить отсюда! Хотя не очень-то и здесь весело. *(Вздыхает.)* Ох-хо-хо! Неужели же так и должно быть, что если ты служишь у хозяев, то ты уже отрезанный ломоть? Муж оторван от жены, мать — от детей, сестры — от братьев... Как же это мир устроен? *(Ревечке.)* Ты, видно, здесь новая горничная? Быть может, выйдешь когда-нибудь замуж? Так вот, — боже тебя сохрани после свадьбы пойти в прислуги. Лучше раз в три дня черствую корку жевать, но быть самой себе хозяйкой. *(Рикл.)* А ты? Поверь, тебе не худо бы держаться немного подальше от этого музыканта, он закрутил усики вверх и думает, что сам черт ему не брат... Прощай. *(Уходит.)*

Рикл *(с минуту глядит ему вслед, затем начинает хохотать)*. Вот я сейчас сяду реветь.

Ревечка *(вне себя от удивления)*. Чего вы смеетесь?

Рикл. А что же, плакать мне?

Ревечка. Разве он не прав, ваш муж?

Рикл. Кто говорит, что он не прав?

Ревечка. Зачем же вы сердите его?

Рикл. Я — его? Что я ему делаю? Разве я виновата, что мы оба — люди подневольные? Раньше, когда я была девушкой, я всегда служила, все копила и копила деньги, собирала приданое и, наконец, вышла замуж. И увидела, что мало толку: я сижу дома, как барыня, сложа ручки, а муж в людях мается. Нет, решила я, это не дело! И пошла снова в при-

слуги! А когда моя Фейгеле подросла, я и ее определила на место.

Ревечка. В прислуги?

Рикл. Ну конечно! Сами мы в людях, и дети наши в людях, и внуки и правнуки наши, верно, тоже будут в людях. Так уж, видно, нам на роду написано — вечно служить в людях.

Ревечка. На роду написано служить в людях?

Рикл. Ну конечно. Возьми хотя бы себя, к примеру. Вот ты теперь служанка в этом доме. Сколотишь несколько рублей и, уж верно, выйдешь замуж за слугу — за человека.

Ревечка. За кого, сказали вы?

Рикл. За человека.

Ревечка. А за кого же и выходить замуж, как не за человека?

Рикл *(всплеснув руками)*. Ой, родненькие мои! До чего эта девчонка глупа, — можно лопнуть со смеху!

С лестницы спускается Герц с кучей разного платья в руках.

Герц. Тот наверх, этот вниз! Вверх и вниз! Ну и получил же я нахлобучку от мадам! Даниела, положим, она тоже не пропустила. Накинулись! Сначала хозяин, потом сама... Тот вниз, этот наверх! Вверх и вниз! Вниз и вверх! *(Берется за чистку платья, сплевывая на щетку.)* Вверх и вниз! Вниз и вверх!

Рикл. Чего это их сегодня трясет, точно в лихорадке?

Герц *(продолжает чистить)*. Леший их знает! Вверх и вниз! Вниз и вверх! Гостей ждут! Краковецкие скоро должны прийти — мать с дочкой. Вверх и вниз! Вниз и вверх! А Натан Моисеевич-то как вырядился! Говорят, сватается! Вверх и вниз! Вниз и вверх! *(Ревечке.)* Барышня, ты что ж, без работы осталась? Что ты сидишь, как гостья на свадьбе, душа моя? Лучше помоги мне почистить платье, кошечка моя! *(Передает ей щетку.)* Наша мадам не любит, когда служанка сидит без дела, как барыня. Служанке сидеть без дела, она говорит, вредно для

здоровья. *(Щиплет ее за щечку.)* А щечки, как пампушечки!

Рикл *(шлепает его по рукам)*. Брысь, шалопай! Думает, это ему Лиза.

Герц. Надо ее приучать понемногу, пока она не появилась наверху и с ней не познакомился Натан Моисеевич! Тс... Ша!.. Фанечка идет! Вот так гостья! Рикл, отворяйте ворота!

Входит Фанечка, наряженная, напудренная и накрашенная, бросается Рикл на шею.

Фанечка. Бонжур, мадам!

Рикл. Поглядите на нее! Барыня, настоящая барыня. Фанечка, что тебя так долго не было видно? Боялась показаться? Где ты теперь? Что поделываешь?

Герц. Тра-та-та-та! Сразу посыпала, как из дырявого мешка. Дайте ей дух перевести. *(Здоровается с Фанечкой за руку, предлагает ей стул.)*

Фанечка *(Герцу)*. Мерси, мосье![1] *(Делает ему реверанс.)*

Герц. Ты уже говоришь по-французски?

Фанечка. Ха-ха-ха. Иначе как по-французски я теперь и не разговариваю: «Бонжур, же ву при, кескесе, доне муа келькшоз, оревуар, д'аржан, мосье»[2]. А? Поняли? Что вы глаза выпучили? Удивлены? Ерунда! Фанечка теперь уже не та, что раньше! Атанде[3]. Шалишь, брат! Фанечка уже больше не служанка, не «человек» в чужом доме. Я — сама себе человек! Вуаля[4]. *(Хлопает себя рукой по карману.)* Ха-ха-ха! *(Ревечке.)* Чего ты глаза пялишь? Ты кто такая! Новая горничная? А Лиза где? *(Посвистывает, делая соответствующий жест рукой.)* Выставили? Ха-ха-ха! *(Ревечке.)* Мне лучше, чем всем вам тут, черт побери! У меня свой дом, четыре комнаты с кухней, пароль

---

[1] Спасибо, милостивый государь! *(франц.)*

[2] Здравствуйте, прошу вас, что такое, дайте мне что-нибудь, до свиданья, денег, милостивый государь *(франц.)*.

[3] Погодите *(франц.)*.

[4] Вот *(франц.)*.

д'онер[1], полный сундук белья и полнехонький шкаф платья. А драгоценностей и жемчуга — келькшоз де манифик[2]. На днях только у меня украли пару брильянтовых серег. Хотите знать, кто? Мой жених. Черкес с Кавказа, с горящими глазами, ха-ха-ха! Смотрите, как она глаза вытаращила. *(Указывает на Ревечку.)*

Р и к л *(Герцу)*. Что-то она слишком весела.

Г е р ц. Она как будто под мухой.

Ф а н е ч к а. Сэ нэ па врэ[3]. Я непьющая. Я водки не пью. Я пью только вино! Шампанское, пароль д'онер. *(Берет папиросу, Герц подносит ей спичку.)*

Г е р ц. Вот как?! Так у тебя, Фанечка, стало быть, уже и жених есть?

Ф а н е ч к а. Па-шел! Какая я тебе Фанечка? Нет больше Фанечки! Есть Фаня Ефимовна, черт побери! Все офицеры, полковники, генералы знают только Фаню Ефимовну, и баста! За Фаню Ефимовну два студента подрались, пароль д'онер! Меня — тоже избили, видите? *(Засучивает рукав, показывает синяк на руке.)* Вот, глядите, черт вас побери. Ха-ха-ха. *(Истерически смеется.)*

Р и к л *(берет ее за руку, усаживает рядом с собой у плиты)*. Расскажи, дитя мое, где ты была все время? Отчего ты не показывалась?

Ф а н е ч к а. Что мне вам рассказывать? Я уже все рассказала, все! Но что тут, внутри, творится *(показывает рукой на сердце)*, до этого никому дела нет! А там, наверху *(указывает на лестницу)*, что слыхать? Лизу рассчитали, а эту *(указывает на Ревечку)* приняли? Они только и знают, что принимать да прогонять людей. Принимают и прогоняют! Всякий раз новых людей! Ха-ха-ха! Что вы носы повесили? Что вы на меня так смотрите? Я смеюсь? Мне хорошо, вот я и смеюсь! Ха-ха-ха! Чтоб им всем *(указывает на лестницу)* было так хорошо, как мне.

---

[1] Честное слово *(франц.)*.
[2] Нечто великолепное *(франц.)*.
[3] Это неправда *(франц.)*.

Герц. Аминь!

Фанечка. Хоть наполовину так хорошо!

Герц. Аминь, аминь и трижды аминь!

Фанечка. Это им я должна сказать спасибо за свою хорошую жизнь, им! Ха-ха-ха! Ни днем, ни ночью нет тебе покоя! Вечно наряжайся, вечно подкрашивайся, мажь себе лицо, вечно будь весела! А мой брат!.. Со стыда удрал отсюда... Никто не знает, где он. Есть слухи, что сидит. *(Шепотом.)* За политические дела! Раньше был такой тихоня, а теперь стал политический... С горя... Со стыда...

Пауза.

Ой, до чего он меня когда-то любил! Как любил! Ой, как любил! *(Истерически рыдает.)*

Ревечка *(подходит к ней, старается ее успокоить)*. Чего вы плачете? Что с вами? Скажите, что с вами?

Рикл *(плачет в передник)*. Пошли, господи, всем нашим врагам такую долю!

Фанечка *(Ревечке)*. Уйди! Отойди от меня! Не прикасайся ко мне! Ты — чистая, невинная! Никто ко мне не прикасайся! Как бы к вам не прилипло что-нибудь от меня, ха-ха-ха! Как говорит мой жених... У меня есть жених, — поэт, сочинитель, стишки пописывает, ха-ха-ха!

Герц. А женихов-то у нее сколько!

Фанечка. Сколько женихов, говоришь ты? А ты сам не сватался когда-то ко мне, мон шер ами? [1] Эй ты, рожа с усиками! Давай-ка станцуем вальс, силь ву плэ! [2] *(Хватает Герца и кружится с ним в танце.)*

На лестнице показывается мадам Голд, вслед за ней — Даниел. Мадам Голд с минуту стоит молча и пристально разглядывает танцующую пару, пока не узнает, наконец, Фанечку.

Мадам Голд *(в сильнейшем возбуждении)*. Это что такое? У меня на кухне? Мои люди позволяют себе... с эдакой?.. Даниел! Сегодня же рассчитать всех людей. Слышишь, всех людей!

---

[1] Мой милый друг *(франц.)*.

[2] Пожалуйста! *(франц.)*

Даниел (*согнувшись в три погибели*). Всех людей, всех людей.

Фанечка (*подходит к мадам Голд*). Вышвырнуть всех людей? Вам легко принимать людей, легко и выбрасывать. Вы швыряетесь людьми, ма шер мадам [1]. Если это из-за меня, то оревуар, авэк плэзир! [2] (*Делает реверанс.*) И не забудьте передать от меня привет вашему сокровищу, вашему благородному сынку Натану Моисеевичу. Мы еще с ним встретимся, будьте уверены! А вы, мадам, не швыряйтесь так людьми, потому что слуга тоже человек, люди — тоже люди, черт вас побери.

Мадам Голд (*топая ногами*). Даниел! Что ты стоишь как истукан? Прогони их! Всех вышвырни вон! Всех людей! Всех до единого! К черту! Провались они сквозь землю, эти люди! Вы мне весь дом испакостили! Вы мне изгадили мой дом!

Даниел (*спускается с лестницы, подходит к письменному столу, вынимает из ящика деньги, бумаги, конторские книги и швыряет все это к ногам хозяйки вместе со связкой ключей*). Довольно! Хватит! Довольно я молчал, пропади все пропадом! (*Громко, обращаясь к прислуге.*) Мы ей испакостили дом! Мы, люди, изгадили ей дом! Одевайтесь! Идем! Уйдем, уйдем отсюда! Здесь нельзя нам больше оставаться. Нельзя! Кто мы здесь? Что мы для них? Ведь мы хуже самого последнего из последних! Мы — черт знает кто! Мы никто! Мы слуги! Слуги — и только! (*Вне себя от ярости, глаза налиты кровью, кричит во весь голос.*) Люди мы, люди!

Занавес.

---

[1] Милая мадам (*франц.*).
[2] До свидания, с удовольствием! (*франц.*)

КЛАДОИСКАТЕЛИ

Комедия
в четырех действиях, в пяти картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Лейви Мозговоер — почтенный состоятельный еврей, слывет мудрецом, лет пятидесяти.

Башева — его жена, богобоязненная женщина, тех же лет.

Эстер — их дочь, красавица, лет девятнадцати.

Беня Бен (в прошлом — Бендетзон) — племянник Башевы, холостяк, лет тридцати, приехал в гости из Америки.

Идл Торба — вдовец, лет тридцати с лишним, меняла, по малости еще и процентщик, говорит тоненьким голоском.

Ицик — его сынок, лет тринадцати, недоросль, все еще долбит азы.

Мендл Борода, Эфроим Привереда, Нисл Милостивец — лавочники.

Ента, Геня, Асна — лавочницы.

Головешка — городовой, выкрест, отставной солдат с медалью; внешность весьма семитская, речь пестрит еврейскими словами.

Влоцлавский — поляк, ведет торговые дела с евреями. Изъясняется по-еврейски, по-польски и по-древнееврейски.

Авремеле-меламед.

Элька — необычайно словоохотливая вдова.

Зелда — кухарка Мозговоеров.

Раввин — старец.

Кантор — человек высокого роста с закутанной шеей.

Служка — маленького роста, плаксивый человечек.

Евреи, женщины, дети.

Место: еврейское местечко в Польше.
Время: начало восьмидесятых годов.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Базарная площадь. Лавки, рундуки. У лавок вывешены лоскутья кумача, пучки сена, вяленая рыбешка на нитке, фуражки. Возле лавок сидят лавочницы; одна вяжет чулок, другая вполголоса беседует с соседкой. У столиков со снедью и лакомствами сидят, пригорюнившись, одетые в лохмотья базарные торговки, ждут не дождутся покупателя. Несколько в стороне, за небольшим столиком, сидит с большой коленкоровой сумой меняла Идл Торба, углубленный в свое дело: он считает деньги. Кончики его пальцев черны, словно обмакнутые в чернила. Перед ним на столике стоят стопки монет различного достоинства — от копейки до серебряного гривенника. На переднем плане Лейви Мозговоер с засученными рукавами, вспотевшим лбом, он разглагольствует. Его окружают лавочники: Борода, Привереда, Милостивец. Идл Торба настораживается, прислушивается, в то же время делает свое дело — считает деньги. Лавочники возбуждены, горячатся.

Жаркий летний день, день поста, семнадцатое тамуза *.

Мозговоер. Короче говоря, евреи, наши дела незавидны!

Борода. Мало сказать — незавидны. *(Вздыхает.)*

Милостивец. Упаси и помилуй господи! *(Ломает руки.)*

Привереда. Откуда это известно? Велик и всемогущ наш бог...

Никто Привереде не отвечает, все глядят на Лейви Мозговоера.

Мозговоер. Раз город переходит в казну *, наше дело — дрянь. Перво-наперво прикажут снести дома...

Борода. Дома...

Милостивец. Упаси и защити нас господи!..

Привереда. Так сразу и прикажут?

Никто его не слушает.

Мозговоер. Не знаю, как для вас, евреи, но для меня это — величайшее бедствие. Еще прадед мой завещал: наш дом не трогать, ибо наш дом — счастливый дом. А слово прадеда для нас святыня. Вы присмотрелись к моему дому? Наружная стена, выходящая во двор, сильно подалась, уже второй раз подпираем ее горбылем, но перестроить — ни за что! Прадед приказал не трогать... Чего вам больше? Есть у нас бокал — тоже наследство деда, обыкновенный серебряный бокал, я пью из него и совершаю над ним молитву только в пасху. А ну, попробуйте дать мне миллион за этот бокал, — не возьму!

Привереда. А как, если бы я, к примеру, предложил вам полтора миллиона?

Борода (*Привереде*). Какой же вы въедливый человек! Что вам за охота всем перечить?

Милостивец. Каково его имя, таков и он сам. Не зря его зовут Привереда!..

Мозговоер. Это первым делом. Вторым делом, казна распорядится снести наши лавки, деревянные лавки, и прикажет построить вместо них каменные. А мы тем временем будем терпеть убытки.

Борода. Убытки...

Мозговоер. Правда, мы и теперь иногда по три дня в глаза не видим покупателя, особенно в летнее время...

Борода. В летнее время...

Мозговоер. Но пусть уж хоть так. Как говорится: пока дело тянется по-заведенному, оно по-заведенному и тянется...

Борода. По-заведенному и тянется...

Мозговоер. Возьмите, например, чинш... С нашим нынешним хозяином — одно удовольствие: можешь платить — платишь, а нечем платить — просишь отсрочки. При нужде — задобришь пана Влоцлав-

ского куском фаршированной рыбы, а он тебя трахнет по плечу и прикажет петь ему «Майофес»... *

Борода. Петь ему «Майофес»...

Мозговоер. А раз мы переходим к казне, самым главным над нами становится Головешка.

Борода. Головешка...

Милостивец. Пропади он пропадом!

Привереда. Откуда следует, что...

Борода *(перебивает его)*. Что у вас за манера въедаться людям в печенку?..

Привереда. Я спрашиваю, откуда известно, что город переходит в казну?

Мозговоер. Так я же вам про то и толкую, что наш графчик за границей промотался, где-то там в Монте-Карло продулся в карты, спустил все, что ему оставил старый граф. Даже лес и тот он промотал, так что не осталось у него другого исхода, как продать город со всеми потрохами казне...

Борода *(к Привереде)*. Теперь вы наконец довольны?

Привереда. Ведь все это пока не больше чем домысел. Так что я имею право толковать его по-своему. Хочу — толкую так, хочу — толкую этак.

Борода. Так, этак... И всегда у вас получается ни так, ни этак...

Милостивец. Сказано, литвак *, пустая голова, криводум.

Мозговоер. Вот именно... Когда весь мир в пятницу вечером ест халу, литвак совершает молитву над ржаным хлебцем... *(К Привереде.)* Каково будет ваше толкование, если я, к примеру, сообщу вам, что слышал это от самого Головешки? *(Берется за бороду, закрывает глаза.)*

Привереда. А откуда это известно Головешке?

Все переглядываются и ошалело палят глаза на Привереду.

Борода. Тьфу, нечистая сила! И охота же человеку вечно вгрызаться людям в кишки!.. *(К Мозговоеру.)* Короче, дела наши — хуже некуда. Как же нам быть?

Милостивец. Разве только всевышний явит чудо, и графу пойдет хорошая карта?

Мозговоер *(разражается смехом)*. Получается, по-вашему, что мы должны молить бога за графа?! За то, чтобы графу везло в карты? Давайте лучше, если дело уже идет о чуде, просить всевышнего, чтобы он помог нам найти клад, спрятанный в наших местах Наполеоном. Это, кажется мне, для бога куда более легкое дело!

Борода. А для нас, конечно, куда более верное!

Милостивец. Всевышний всемогущ, он все может, если захочет. *(Вздыхает.)* Мы уже, однако, давно отчаялись...

Мозговоер. Отчаялись? Это смотря кто... Если бы вы знали, что я нынешней ночью видел во сне, вы не сказали бы — отчаялись...

Борода, Милостивец. Любопытно! Расскажите, и мы истолкуем ваш сон.

Все настораживаются; Идл Торба тоже прислушивается.

Мозговоер. Как вам известно, я по натуре своей такой человек — в сны не верю. Я не любитель пустых сказок и бабьей болтовни...

Борода. Бабьей болтовни...

Мозговоер. Я верю только в то, что вижу своими глазами или могу пощупать рукой. Имеются на свете, к примеру, глупцы, которые пугаются, когда пересекают им дорогу с пустым ведром, или впереди пробегает черная кошка, или на пути встречают попа...

Борода. Попа...

Мозговоер. А я смеюсь над всем этим. Пусть десять пар пустых ведер, сто черных кошек, тысяча попов пересекут мне дорогу десять раз туда и обратно, — мне нипочем!

Борода. Нипочем!

Мозговоер *(взявшись за бороду, говорит нараспев)*. Как же все-таки прикажете это понимать? Вот уже скоро двадцать один год, как мой отец, да будет ему светло в раю, умер, и с тех пор он ни разу не являлся мне во сне. А нынешней ночью — послушайте только! Когда я узнал от Головешки, пропасть

бы ему, что наш помещик собирается продать город казне, — я очень расстроился и уснул тяжелым сном. Вдруг я услышал голос отца, услышал, как он мне говорит: «Лейви, сын мой, не горюй, вы вскоре возродитесь...»

Все переглядываются.

Борода (*изумленно*). Вскоре возродитесь?

Милостивец. Дай бог! Давно пора!..

Мозговоер. Погодите, вы еще не дослушали до конца. И вот говорит мне отец далее: «Все вы воспрянете, а ты выйдешь в большие богачи...»

Борода. В большие богачи? Этими самыми словами?

Мозговоер. Слово в слово: «Ты выйдешь в большие богачи... А когда разбогатеешь, поставишь ограду и новый памятник на моей могиле». Вот так он и сказал. Я все это так же ясно видел и слышал, как вы сейчас видите и слышите меня!..

Борода. Странный сон!

Милостивец. Диво дивное!

Привереда. Что же из этого следует?

Борода (*Привереде*). Из этого следует, что вы въедливый человек, литвак! Вы никому не верите, только себе одному...

Мозговоер. Вот именно... Он даже самому себе не верит. Литваки — совсем особый народ... Словом, о чем же это я? О сне. Вы же сами прекрасно понимаете, что мне до смерти хотелось услышать, что он еще скажет. Но, как назло, я больше не смог уснуть. Я лежал, как в лихорадке, и все силился понять смысл его слов: «Все вы воспрянете... Ты выйдешь в большие богачи...» Что бы это могло означать? Что-то тут неспроста.

Борода. Неспроста.

Мозговоер. И пришло мне на память то, что отец, мир праху его, рассказывал нам, бывало, как слышанное им от своего отца, а его отец слышал это от отца своего отца...

Борода. От отца своего отца...

Мозговоер. Когда деду пришло время умирать, — он уже был глубокий старец, — собрал он к себе всех детей и обратился к ним с такой речью...

Борода. С такой речью...

Мозговоер. «Знайте же, дети мои, — говорит он, — что я умираю...»

Борода. Я умираю...

Мозговоер. «Меня призывают, — говорит он, — в тот мир...»

Борода. В тот мир...

Мозговоер (*к Бороде*). Вы, может, перестанете повторять за мной, как попугай?

Борода. Как попугай... (*Осекается.*)

Мозговоер (*мгновение смотрит на него и продолжает рассказ*). Короче, на чем же я остановился? На том, как отец моего отца говорил со своими детьми перед смертью... «Запомните же, — говорил он им, — дети мои, ведите себя достойно, поддерживайте друг друга, оберегайте каждый честь другого, как свою собственную честь, и тогда всевышний осчастливит вас и удостоит, — говорил он, — найти клад, который спрятал в этих местах великий Наполеон, когда он шел покорять Москву...»

Борода. Покорять Москву...

Мозговоер. И ни слова больше не произнес он до самой последней минуты...

Борода. До самой последней минуты...

Привереда (*к Мозговоеру*). Не посчитайте за обиду, я не хочу ничего дурного сказать про вашего деда или прадеда. Мне только хочется знать, что ему стоило уж заодно указать детям место, где этот клад запрятан?

Борода. Ну и умник же вы! Он, вероятно, и сам не знал!

Милостивец. Их поколение еще не сподобилось знать...

Мозговоер. Короче говоря, — о чем тут раздумывать, — как только дед, мир праху его, умер, дети выждали тридцать дней траура, а когда тридцать дней прошли, принялись за розыски клада. Искали его как следует. С усердием искали! Во всем городе искали, во всех уголках, и больше чем где бы то ни было — на кладбище, в том месте, где оно идет под гору, к реке.

Борода. Под гору, к реке...

Привереда. Почему вдруг на кладбище?

Мозговоер. Потому что там, как рассказывают старые люди, великий Наполеон отдыхал со всем своим войском при переходе через Неман.

Борода. Через Неман...

Мозговоер. Старые люди рассказывают, будто известно даже место, где Наполеон стоял и глядел на Неман. На этом месте когда-то стоял домишко. Пока старый граф Ксаверий был жив, этот домик оберегали как зеницу ока. Теперь от него и помину не осталось. Никто не знает, куда он девался...

Борода. Девался...

Мозговоер. И очень даже возможно, что он за одну ночь сгинул.

Борода. Сгинул...

Мозговоер. И очень даже возможно, что именно там, где стоял этот домишко, и спрятан клад: ни больше, ни меньше — тринадцать бочонков с золотыми червонцами.

Борода. С золотыми червонцами. *(Вздыхает.)*

Милостивец *(ломает руки)*. Тринадцать бочонков с золотыми червонцами!..

Привереда. Кто их считал?

Борода. Нет сладу с этим человеком! *(К Мозговоеру.)* Значит, дети вашего деда искали понапрасну?

Мозговоер. Не они одни искали, все искали. Весь город искал. И очень даже возможно, что старый граф Ксаверий тоже не прочь был прибрать эти тринадцать бочонков с золотыми червонцами. Но он не знал места...

Борода. Не знал места...

Мозговоер. Никто не знал места, и никто не узнает; а когда узнают, тогда, быть может, настанет время пришествия мессии...

Борода. Пришествия мессии...

Привереда. Мессия?

Милостивец. Мессия!..

Все стоят, пригорюнившись. Идл Торба прислушивается одним ухом. Женщины прерывают свою беседу, хотят расслышать, о чем говорят мужчины, и ловят последнее слово «мессия».

П е р в а я т о р г о в к а *(ко второй)*. Слышишь, там уже добрались до мессии.

В т о р а я т о р г о в к а. Дай бог! Пусть явится мессия, только бы избавиться от горя. Сбросить бы с плеч заботы, — где набраться денег на графа, на квартиру.

Т р е т ь я т о р г о в к а. Детям на хлеб.

Ч е т в е р т а я т о р г о в к а. Хлеб як хлеб, брюхо простит. Нынче, к примеру, пост, так что сегодня еда со счетов долой! Иное дело — плата за учение, горе мне! Плата за учение детей!..

Появляется красивая девушка, нарядно одетая, в шляпке, перчатках, с зонтиком. Женщины оглядывают ее с головы до ног.

Е н т а *(Башеве Мозговоер)*. С гостьей вас. Ваша дочь идет. *(Тихо Гене.)* Как она, скажи на милость, расфуфырилась! И как раз в день поста, — семнадцатого тамуза.

Г е н я *(Енте тихо)*. Не девка, а цимес. Отец с матерью подыхают от жары, а она разгуливает, как графиня... *(Громко Башеве.)* Ваша Эстерл, не сглазить бы, всходит...

А с н а *(Гене тихо)*. Как праздничная хала... *(Громко, Башеве)*. Пора бы вам, Башевеню, призадуматься насчет...

Б а ш е в а. Жениха? Такой бы мне слиток золота привалил с пришествием мессии, какого жениха мы ей скоро дадим!.. Пусть беспокоятся те, у кого дочери засиделись...

Женщины переглядываются, тихо переговариваются. Э с т е р приближается. Отец замечает ее и подходит к своей лавке.

М о з г о в о е р *(к дочери)*. Что тебе вдруг здесь понадобилось в такую жару?

Э с т е р. Я принесла вам письмо. Угадайте откуда?

М о з г о в о е р.
Б а ш е в а. } Откуда?

Э с т е р. Из Америки.

Б а ш е в а *(всплескивает руками)*. Убей меня гром!.. От Бени?

М о з г о в о е р *(к Башеве)*. Подумаешь, гром от Бени?! Никуда он не денется, твой племянник. Что

же он пишет, этот шалопай, из Америки? Давненько не было от него писем. Вначале он еще время от времени писал. Хвастал, что «делает жизнь»... Слыхали вы, чтобы человек «делал» жизнь! Вот болван!.. *(К дочери.)* Ну, обрадуй мать, прочитай ей письмецо. *(Он, видно, не прочь и сам послушать, что пишет племянник; надевает очки, чтобы лучше слышать.)*

Эстер садится на скамеечку возле матери, читает письмо; мать, сложив руки, словно на молитве, благоговейно слушает; отец глядит поверх очков, улыбается, ухватив себя за бороду.

Эстер. «К моему любимому дяде Лейви Мозговоеру и к моей любимой тете Башеве Мозговоер. Живите счастливо. Во-первых, сообщаю вам, что я олл райт...» [1]

Мозговоер. Что он такое?

Эстер *(читает)*. «Олл райт...»

Мозговоер *(оборачивается к лавочникам, во весь голос зовет)*. Люди! Хотите получить удовольствие? Идите сюда, услышите разговор, услышите язык!

Лавочники один за другим подходят, женщины прислушиваются издали. Эстер не знает, что делать. Отец подмигивает ей.

Что же ты остановилась? Читай, читай!

Эстер *(читает)*. «Что я — олл райт. Я уже не работаю у других. Я уже сам босс [2]. Имею собственное фарм [3], несколько сот акров земли, домик из шести румс [4], сад, а в саду всякие фрукты — и яблоки, и груши, и черис [5], и пичес [6], и грайпс [7]...»

Мозговоер *(посмеивается)*. Ну, как? Слыхали вы такой язык? Что ни слово, то загвоздка.

Борода. Околесица...

---

[1] В порядке *(англ.)*.
[2] Хозяин *(англ.)*.
[3] Хозяйство *(англ.)*.
[4] Комнат *(англ.)*.
[5] Вишни *(англ.)*.
[6] Персики *(англ.)*.
[7] Виноград *(англ.)*.

Милостивец. Тарабарщина. Обыкновенный человек не в силах такое понять...

Привереда. Потому что не знаем... Знали бы, — понимали бы...

Борода. Даже тут Привереда не может не перечить. Всегда всем назло!

Мозговоер *(дочери)*. Что же ты остановилась? Читай, читай.

Эстер *(читает)*. «И коней имею собственных, и быков... Имею повозки, сани и кередж[1], на которой я каждое воскресенье выезжаю на прогулку. Водятся и хлеб в мешках и деньги ин кеш[2]...

Мозговоер *(к лавочникам)*. Вероятно, — в кешени[3]... Все бы хорошо, будь это правда. Одно несчастье: все, что исходит из его уст, — брехня и вранье...

Борода. На небе — ярмарка! Чушь!

Эстер *(продолжает читать)*. «И эверитинг[4] своими собственными руками... И я не сожалею, что отправился сюда, в диз кантри[5], где каждый может разжиться, только бы не ленился, только б охота работать. Плохо лишь, что я синглмен[6], один-одинешенек. Хочу жениться, да никак себе жену не подберу; хочется, чтобы моя жена была из порядочного дома, из моего стейт[7], где я родился. Если мои бизнес[8] мне дозволят, я приеду к вам в гости, заодно побываю на могилах моих родителей. Передайте привет вашей дочери Эстер. Когда я от вас уехал, она была еще беби[9], ей и года не было, теперь она, думаю, уже большая. Посылаю вам мою пикчер[10] и прошу — вышлите мне ваши пикчерс...»

Мозговоер. Что? Что?

---

[1] Карету *(англ.)*.
[2] Наличными *(англ.)*.
[3] Кармане *(польск.)*.
[4] Все *(англ.)*.
[5] Эту страну *(англ.)*.
[6] Холостяк *(англ.)*.
[7] Штата *(англ.)*.
[8] Дела *(англ.)*.
[9] Ребенок *(англ.)*.
[10] Фотографию *(англ.)*.

Эстер. Он имеет в виду карточку, вот она. *(Вынимает из конверта портрет, показывает отцу и матери.)*

Из их рук карточка переходит к лавочникам и их женам. Каждый разглядывает ее по-своему. Башева на радостях утирает глаза.

Мозговоер *(к Башеве)*. Коза! Что же ты плачешь? Благодари бога хоть за это. Я от него и того не ждал... *(Лавочникам.)* С самого детства это был какой-то выродок, ничтожество, не хотел учиться, хотя довольно-таки смекалистый. Содержался у меня, потому что остался, бедняжка, сиротой... Он всегда рвался к ремеслу, а я его к ремеслу не хотел допустить. В нашей семье еще не было ни ремесленника, ни выкреста... *(Смотрит на карточку, любуется.)* С виду — человек как человек... Вроде купца... *(Показывает карточку остальным лавочникам.)*

Борода. Вроде купца...

Мозговоер. Дети выходят в люди...

Борода. Выходят в люди...

Привереда *(смотрит на карточку)*. С виду — комедиант. Вроде шарманщика... Ни бороды, ни усов...

Борода. Мыслимое ли дело, чтобы у Привереды что-нибудь прошло без задоринки. *(К Лейви Мозговоеру.)* Знаете, что я вам хочу сказать?

Мозговоер. А ну, к примеру, любопытно? *Берется за бороду, закрывает глаза.)*

Милостивец *(придерживает Мендла Бороду за руку и обращается к Мозговоеру)*. Я вам отгадаю, что он хочет сказать. У меня мелькнула та же мысль, когда Эстер читала письмецо...

Борода *(выпаливает, спеша опередить Милостивца)*. Он для вашей дочери в самую пору...

Милостивец. Богом благословенная чета!

Мозговоер *(к жене)*. Слышишь, Башева?..

Башева. Такой бы мне слиток золота привалил с пришествием мессии... *(К Эстер.)* Что ты так застыдилась, дочка? Это дело житейское...

Привереда. Ша! Зря вы жаловались, что пала выручка, — вон идет покупатель...

Слово «покупатель» действует как бомба. Все бросаются к своим лавкам. Появляется Влоцлавский. Он одет в короткий белый плащ поверх долгополого черного сюртука, над глазами широкий козырек, в руках зонтик из желтой парусины. Останавливается, отводит руку в сторону и, задирая голову, оглядывает базар, все глаза устремлены на него.

Борода *(издали)*. День добрый, вельможный пан!

Привереда. Что пан изволит покупать?

Милостивец *(кланяется ему издали)*. Давненько пана не видно было!

Мозговоер *(отталкивает остальных лавочников)*. Не видите разве, что пан идет ко мне? *(К Влоцлавскому, показывая на свою лавку.)* Прóшу, прóшу! *(К Башеве.)* Корова! Что ты сидишь? Встань, проси его в лавку, может, купит что-нибудь!

Башева встает перед Влоцлавским с заискивающей улыбочкой. Встают и остальные торговки; показывая ему на лари, они начинают перечислять свои товары.

Первая торговка. Дорогой пане! Бардзо сличне цукерки[1], ленты, суровые нитки, пан, канитель с лакрицей!..

Вторая торговка. К вашим услугам, пане! Индюшечьи семена, милюты и секуты, бардзо пшиемны[2] от кашля!..

Третья торговка. Добрых терзаний, пане, наши вам напасти, полный набор несчастий, напрасных мук!..

Влоцлавский *(благодушно)*. Пся крев[3], отродье сатанинское! Ниц не потчебно[4], прекрасные хозяюшки. *(Показывает зонтиком на менялу.)* До тэго лайдаку![5] *(Направляется к Идлу.)* Як се маш[6], пан Юдко, за здравие или за упокой?

---

[1] Отличные конфеты *(польск.)*.
[2] Очень приятны *(польск.)*.
[3] Польское бранное выражение.
[4] Ничего не нужно *(польск.)*.
[5] К тому плуту! *(польск.)*
[6] Как поживаешь *(польск.)*.

Торба *(срывает с головы шапку перед Влоцлавским, победоносно глядит на лавочников)*. День добрый, пане, что слышно нового, пане? *(Уступает ему свою скамеечку, для себя берет у одной из торговок перевернутый ящик.)*

Влоцлавский *(к Идлу Торбе)*. Сядай, Юдко, бендземо[1] обсуждать халоймес[2].

Садятся друг против друга, тихо беседуют.

Борода *(к Лейви Мозговоеру)*. Вы же человек с головой... О чем, по-вашему, этот пан может говорить с менялой?

Милостивец. Конечно, насчет одолженьица. О чем другом пану говорить с евреем?

Привереда. С чего вы взяли?

Борода. Вот! Привереда тут как тут! Черт — свое, Привереда — свое!

Мозговоер. А я вам скажу, что все вы глупцы. Они говорят о том, о чем я вам сейчас рассказывал... *(Меняле издали.)* Реб Идл-сердце, а ну, прощупайте-ка его, этого пана, насчет того пана, касательно той истории, что выкрест мне вчера рассказывал...

Торба *(Мозговоеру)*. Евреи, прекратите! Пан разумеет всякое наше слово...

Влоцлавский *(меняле)*. Чего от тебя хочет тэн[3] богохульник? *(Показывает на Мозговоера; вдруг замечает Эстер, выпрямляется, подкручивает усы.)* Яка ладна цурка у тэго[4], майофес![5] *(Подмигивает девушке.)*

Эстер *(не может вынести взгляда Влоцлавского, поднимается)*. Мама, я иду домой!

Башева. Иди, дочка. Скажешь Зелде, — пусть посолит кусочек курицы и поставит варить бульон. Отцу будет чем подкрепиться после целого дня поста.

Эстер направляется домой. Все женщины провожают ее глазами. Эстер ушла.

---

[1] Будем *(польск.)*.
[2] Сны *(еврейск.)*.
[3] Тот *(польск.)*.
[4] Какая красивая дочка у того *(польск.)*.
[5] В данном случае — красивая! *(еврейск.)*

Ента *(Гене)*. Выступает, как пава...

Геня *(Енте)*. Как дочь графа Броницкого...

Асна *(обеим)*. Будто и в самом деле нет ее красивее на свете! *(Башеве.)* Слышите, что я вам скажу, Башевеню, вам за вашу дочь нечего кручиниться. Как говорят, красота девичья — половина приданого.

Башева. Такой бы мне слиток золота привалил с пришествием мессии...

Вдали появляется Авремеле-меламед, ведет за руку Ицика. Ицик плачет.

Борода *(к остальным лавочникам)*. Смотрите! Зачем это идет сюда Авремеле-меламед с наследничком менялы?

Милостивец. Мальчишка, вероятно, нашалил в хедере. Вот меламед и ведет его, чтобы разложить на скамеечке при папаше.

Привереда. Из чего это следует?

Борода *(к Привереде)*. Скажите на милость, Привереда, вы когда-нибудь перестанете задавать вопросы и вгрызаться людям в кишки?

Меламед *(подводит Ицика прямо к столику менялы, но тот поглощен разговором с Влоцлавским)*. Я привел к вам вашего малого. Быть может, он виноват, а может быть, и нет. Но на всякий случай я ему, прошу прощения, всыпал...

Торба *(кричит на меламеда)*. Что вы мне морочите голову? Вы ведь видите, мы разговариваем!

Меламед отступает. Его окружают лавочники.

Борода. Какая беда приключилась, реб Авремл? Почему он так плачет, этот малый?

Милостивец. По-видимому, выкинул какую-нибудь штуку?

Меламед. Скажу вам, евреи, так: может быть, он виноват, а может быть, и нет. Дело было, вот как дело было: семнадцатого тамуза, у меня заведено, оставляю детей до полудня без дела, пусть погуляют. А после полудня принимаемся за ученье, повторяем очередной раздел Пятикнижия. Вдруг вижу — мои ученики шушукаются... Я не люблю секретов, не люб-

лю... Спрашиваю: «Дети, что случилось?» Они отвечают: «Ничего особенного, монета». Спрашиваю: «Какая такая монета?» Они отвечают: «Он нашел золотую монету», — и указывают на этого малого. Беру в оборот малого: «Ицик, где ты взял монету, Ицик?» Он отвечает: «Нашел...» Я говорю: «Где?» Он отвечает: «На старом кладбище». Я говорю: «Ицик, ты врешь, Ицик. Твой отец меняла, ты украл монету у своего отца...» Прежде всего я его, прошу прощения, выпорол. А теперь привел к отцу, — послушаем, что отец скажет...

Мозговоер *(к остальным лавочникам)*. Нравится вам эта история? *(Хватает за руки меламеда и мальчика, ведет их к меняле.)* Реб Идл, бросьте пана и выслушайте лучше интересную историю о вашем сыне!

Торба *(испуганно)*. А? Что такое? *(К меламеду.)* Что он натворил?

Меламед. Ничего. Дело было, вот как дело было: семнадцатого тамуза, у меня заведено, оставляю детей до полудня без дела, пусть погуляют. А после полудня беремся за ученье, повторяем очередной раздел Пятикнижия. Вдруг вижу — мои ученики шушукаются... Я не люблю секретов, не люблю... Спрашиваю: «Дети, что случилось?» Они отвечают: «Ничего особенного, монета». Я им говорю: «Какая такая монета?» Они отвечают: «Он нашел золотую монету», — и указывают мне на вашего малого, на Ицика, значит... Беру его сразу же в оборот: «Ицик, где ты взял монету, Ицик?» Он отвечает: «Нашел...» — «Где?» — «На старом кладбище». Я говорю: «Ицик, ты врешь, говорю. У тебя отец меняла, ты у него украл, говорю». Прежде всего, прошу прощения, я вкатил ему добрую порцию розог, а теперь привел его к вам вместе с монетой. Вот она, эта монета! *(Передает меняле золотую монету.)*

Все окружают менялу, хотят увидеть монету. Меняла разглядывает ее, взвешивает на ладони, ударяет об стол, царапает ногтем, пробует на зуб.

Торба. Нет, эта монета — не моя монета. Я уже давненько не имел и даже не видывал таких. Это —

настоящий наполеоновский червонец. Видимо, из тех наполеонов, что водились в старину.

Мозговоер *(простирает руки ввысь)*. Евреи! Люди! Слышите? *(К жене издали.)* Башева, где ты? Мне нехорошо! То есть мне хорошо! Нам хорошо! Всем нам хорошо!

Башева *(бежит к мужу, за ней остальные женщины)*. Бог с тобой! Лейви, что с тобой?

Мозговоер. Ничего, ничего... Люди! Поздравляю! Мы возродились! Мы воспрянули! Сбывается сон! Мой сон! *(Бегает взад и вперед.)* Теперь я понимаю! Я знаю, где лежит клад! На кладбище, на старом кладбище; там лежит мой отец, мир праху его, и отец моего отца! Там, должно быть, Наполеон и схоронил этот клад. Ясно как божий день! Тринадцать бочек золотых монет!.. Люди, что же вы стоите? Что тут раздумывать? Идем! Бежим! Возьмем с собой этого мальчика и бежим на старое кладбище искать клад!.. *(Хватает Ицика за руку.)*

Все в экзальтации. Лица мертвенно-бледны. Женщины ломают руки. Слышатся возгласы: «Клад!.. Клад!.. Клад!..»

Торба *(все время стоит ошеломленный, неожиданно срывается с места, одним движением сгребает все деньги и смахивает их со стола в свою коленкоровую суму, подлетает к Лейви Мозговоеру и вырывает Ицика из его рук. Он вне себя)*. Еврей! Полегче! Полегче ручищами! Он спешит, он бежит... Куда? Куда вы бежите?

Мозговоер. Как так — куда? За кладом!

Борода. За кладом!

Милостивец. Искать клад.

Женщины. Клад! Клад!

Торба. Какой клад? Откуда клад? Манна с неба, что ли? Дался им золотой клад! Болтовня! Чушь несусветная! Мало ли что дитя лопочет! Золото — языком намолото!

Мозговоер. Скажите пожалуйста! Дитя лопочет!.. Реб Идл! Знаем мы эти штучки! *(К толпе.)* Скажите пожалуйста, каков умник, этот меняла! Он хочет всех нас надуть, одурачить!

Борода. Одурачить!

Милостивец. Всевышний над нами сжалился, прислал нам такой клад...

Привереда. Такой... Ни рубль, ни грош — рукой не наберешь...

Мозговоер *(Привереде)*. Разумеется, вы не можете не быть заодно с менялой, не можете не перечить всему миру! *(Меняле.)* Реб Идл! Не пройдут вам ваши штучки! Люди! Почему вы молчите?

Поднимается большой шум.

Торба *(сильно возбужденный и вспотевший, к Лейви Мозговоеру)*. Тьфу! Постыдились бы! Рассудительный человек, не сглазить бы! Человек с головой! А поднимаете тарарам из-за глупости, из-за какой-то монеты! Червонец как червонец! Что в нем особенного?.. Червонец!..

Мозговоер. Червонец, говорите вы? Червонцы, реб Идл, червонцы, а не червонец! Тринадцать бочек золотых червонцев! Вы что думаете? Это вам так просто с рук сойдет? *(К толпе.)* Люди, вы слышите? Червонец, говорит он!..

Торба *(вымещает свою злость на Ицике и меламеде)*. Погоди, погоди, болван, уж я тебе отсыплю монет! *(Меламеду.)* А вы, безмозглый вы человек! Зачем вы пришли сюда? Кто посылал за вами? *(Берет Ицика за руку и собирается идти.)* Пойдем ко всем чертям, домой!

Мозговоер *(преграждает ему путь)*. Домой? Ну, нет! Если идти, то всем вместе! Клад общий! Знаете вы, что значит слово «общий»? У нас есть ясный и определенный закон: если кто находит какой-нибудь предмет, а другой крикнет «общий» — находка принадлежит обоим, пропало!

Борода. Про-па-ло!

Мозговоер. И тем более когда речь идет о такой вещи, как клад. Раз это клад — он принадлежит всем! Люди! Почему вы молчите?

Шум все больше нарастает. В возникшей суматохе забыли про Влоцлавского. Его оттеснили в сторону.

Влоцлавский *(потеряв терпение, выходит вперед)*. Пся крев, сатанинске отродье! Цо ту за гармидер? [1]

Мозговоер *(к толпе)*. Срамота перед паном, право! Пусть пан тоже знает об этом деле! Люди, пустите меня, я знаю по-польски! *(Говорит, мешая еврейскую и польскую речь, машет руками.)* Пан! Тэн хлопек *(показывает на Ицика)* учится у этого жидека *(показывает на меламеда)*. Нашел он монету, червонец, из клада, пан, от скарба, что находится у нас на цментарже, на кладбище, пан...

Борода. На кладбище, пан...

Мозговоер. Там лежит мой отец, мой ойтец, пан, и отец моего отца — вшистки [2] Мозговоеры там лежат...

Борода. Все Мозговоеры там лежат...

Мозговоер *(Бороде)*. Кто вас просит? Зачем вы мне помогаете говорить? Я умею сам! *(Пану.)* И вот, значит, нашел он там только что злоты, пан, червонец, наполеон из тех наполеонов, которые Наполеон когда-то здесь спрятал... Пан, конечно, знает, какой Наполеон...

Влоцлавский. Наполеон Бонапарт, который шел бить москалей в року тысенцы ошимсот дванашти?

Мозговоер *(обрадованно к толпе)*. Вот! Слышите? Пан знает! Мой отец... *(Влоцлавскому.)* Мой ойтец, пан, уже давно мне говорил... *(Меняле.)* Что вы мне подмигиваете? Вам не поможет никакое подмигивание! Этот пан не такой пан...

Борода. Не такой пан...

Влоцлавский *(со злостью)*. Цо ту за плутни, шахер-махер? *(Ударяет зонтиком по столу менялы.)* Пся крев, вшистко се належе до пана грабья [3], мошенники!

Мозговоер *(к толпе)*. Пан говорит, что клад вовсе принадлежит графу...

Толпа застывает.

---

[1] Что тут за шум? *(польск.)*

[2] Все *(польск.)*.

[3] Все это принадлежит господину графу *(польск.)*.

Торба (*приходит в себя, обращается к Мозговоеру*). Ну? Чего вы добились своим галдежом? Не пожелали добра Иакову, вот и придется отдать все Исаву... * Доигрались!..

Мозговоер (*после короткой паузы хлопает себя по лбу*). Евреи, тише! У меня есть мысль! Меня звать Лейви Мозговоер! Я происхожу, понимаете ли, из Мозговоеров!

Борода. Из Мозговоеров...

Мозговоер. И я нахожу, пожалуй, даже полезным, что пан знает о кладе. Надо, чтобы пан имел в кладе равную с нами долю. Это может пригодиться в дальнейшем в наших отношениях с графским двором. Потому что, понимаете ли, если узнают во дворе и до графа дойдет, что мы заполучили клад, — тринадцать бочек золотых червонцев, — у него у самого может разгореться аппетит. Эти червонцы ему, бедняжке, очень нужны в Монте-Карле для игры...

Борода. Для игры...

Мозговоер (*Влоцлавскому*). Пане! Предлагаю, чтобы пан получил долю, вошел компаньоном в клад, наравне со всеми нами, пане!

Влоцлавский (*стоит, подбоченясь*). Хоци шели — половина моя, хоци шелох — половина твоя?

Мозговоер. Доля в долю, пане, як бога кохам! [1] (*К толпе.*) Послушайте меня, люди, ударим с паном по рукам! Соглашайтесь и говорите: згода! [2] Кричите же, люди: згода!

Все. Згода! Згода!..

Мозговоер. Слушайте же, братья евреи, и пусть пан тоже слушает... Бог послал нам счастье, клад, какой попадается раз в тысячу лет. Вот мы и должны прежде всего дать святую клятву, что все мы здесь равные компаньоны... Таково уж, видно, наше счастье, шченстье, пан, наша удача...

Борода. Наша удача...

Мозговоер (*Бороде*). Кто вас просит подталкивать телегу? (*Засучивает рукава. К толпе.*) А впро-

---

[1] Как бог свят! (*польск.*)
[2] Согласие (*польск.*).

чем, постойте! Знаете что? Давайте все пойдем к раввину, и немедля! *(К Влоцлавскому.)* До пана рабина, пане! У нас есть раввин, пане, истинный клад, а не раввин!

Борода. Истинный клад, а не раввин...

Влоцлавский. Добже, жиди, пойдемо до пана рабина.

Мозговоер. Вы слышите? Что это за золотой пан! Он согласен положиться на нашего раввина! Истинный клад, а не пан!

Борода. Истинный клад, а не пан!

Мозговоер *(спесиво, тоном главного командира)*. Запомните же, дети, — единство, единство! И держите язык за зубами, потому что дело идет о кладе! А клад, понимаете ли, это — деликатная материя! Клад боится дурного глаза...

Борода. Дурного глаза...

Мозговоер. И больше всех следует остерегаться нашего городового, пропади он пропадом! Потому что, если, упаси бог, дознается эта пиявка Головешка... Прибрала бы его холера, владыка небесный!

Борода. Холера, владыка небесный!

В эту минуту, словно из-под земли, вырастает Головешка. На нем форма полицейского, его обвислые плечи оттягивает шашка. Фуражка с кокардой сидит на его черных курчавых волосах как гостья. На груди крест. Еврейские глаза Головешки глядят на толпу. Толпа глядит на Головешку. Его видят все, кроме Лейви Мозговоера и Мендла Бороды.

Мозговоер *(Влоцлавскому)*. Этот Головешка, пане... Взяла бы его погибель, пане!

Борода. Погибель, пане.

Головешка слышит, как его клянут, Мозговоер поворачивает голову туда, куда смотрят все, замечает городового, срывает с себя шапку и кланяется весьма дружелюбно. Головешка отвечает тем же манером.

Медленно падает занавес.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

У Лейви Мозговоера. Зажиточный дом. Приличествующая дому мебель. Большой стол, зеленая кушетка, старомодное зеркало, шварцвальдские стенные часы с тяжелыми гирями и маятником. На стенах — портреты: Мойше Монтефиоре *, Маймонида, Абарбанела. На восточной стене — резьбой по дереву еврейский орнамент. Две двери: одна ведет наружу, вторая — во внутренние комнаты. Башева. На ней субботнее платье, шелковый платок на голове повязан так, что открыты уши, на которых болтаются две длинные серебряные серьги. Она расставляет свечи, лампы, накрывает на стол... В уголке сидит Эстер, уткнув лицо в ладони. Вечер, полумрак, закат уже погас, но огня еще не зажигают.

Башева. Ну, Эстерл? Когда ты наконец оденешься? Уже пора. Скоро совсем стемнеет. Не успеешь оглянуться, соберутся гости. Людей будет, вероятно, не очень много. Вначале, правда, отец собирался созвать уйму народа, устроить такую помолвку, чтобы по всему городу звон шел. Но потом одумался, решил, что незачем слишком бросаться в глаза. Люди и без того немало завидуют этому сватовству: шутка ли, такое счастье! Благодаря Идлу воспрянет целый город... *(Пауза.)* Эстерл!.. Что же ты молчишь, Эстерл?.. *(Подходит, сквозь полумрак вглядывается в дочь.)* Разрази меня гром! Ты опять плачешь? Ты же обещала мне, доченька, больше не мучить свою маму... *(Садится возле нее, вздыхает, опускает руки.)* Извелась я, белый свет не мил... И зачем только живу я на свете?..

Эстер *(приникает к матери)*. Мама, дай мне горе мое выплакать, дай мне распрощаться с молодостью. *(Плачет.)*

Башева *(прижимает ее к груди)*. Ну, ну, ну, довольно, доченька, довольно. Верь мне, я знаю, я ведь мать, сердце материнское чувствует... Я и сама когда-то была девушкой... Когда я стала невестой твоего отца, — помню, словно сегодня это было, — мало я, думаешь, плакала? Хотя твой отец и «происходит из Мозговоеров», и все же такой бы мне слиток золота привалил с пришествием мессии, какой смех стоял по поводу нашего сватовства. Все смеялись, а я пла-

кала. Не знаю, почему они смеялись, не знаю, почему я плакала...

Эстер. А я-то как раз знаю, почему плачу. Я плачу от горя, что навалилось на меня. Плачу, что этот клад жизнь мою губит!

Башева *(озирается)*. Шшш... Не говори так громко, не то, упаси бог, отец услышит... Не покарай меня, боже, за такие речи, он и без того в последнее время просто рехнулся: не ест, не пьет, сон его не берет. Если и заснет, вскакивает вдруг с диким криком... «Что случилось?» — спрашиваю. А ему, видишь ли, приснилось, что городовой Головешка привел полицию и они захватили старое кладбище вместе с кладом...

Эстер. Дал бы бог, чтобы такое случилось! Я бы пожертвовала в память Меера-чудотворца... *

Башева. Бог с тобой, Эстер, как ты смеешь такое говорить? Весь город — обездоленные люди, нищие, только и живут, бедняжки, надеждой на этот клад! И вдруг ты говоришь такое... Не плачь, деточка! Своим плачем ты надрываешь мне сердце, отнимаешь у меня последние силы.

Эстер, спрятав голову в колени матери, всхлипывает.

Верь мне, я немало упрашивала твоего отца, молила подождать еще день, еще два, все надеялась, — может, приедет он, племянник мой из Америки... Ведь твой отец сам написал ему, чтобы приехал, и даже намекнул, что имеет для него невесту. А в виду-то он имел именно тебя, и никого больше!.. А теперь он повернул оглобли. Торба, да и только! Влюбился в Идла Торбу, — что мне с ним делать?.. Может, он не столько сам виноват, сколько люди добрые подбивают его, — мол, с какой стати упустить такое счастье? Ведь Торбе достанется половина клада... Сам раввин рассудил, что половину клада должен получить Идл, ведь его заслугами оживет целый город... Много хорошего говорят о нем, об Идле, — безобидный, говорят, человек... А я разве знаю? Может быть... Поверь мне, — может, так суждено?.. Может, это от всевышнего, — ведь без его воли ничего не бывает... Хоро-

шая дочь должна делать то, что велят родители... Ты еще сама не знаешь, в чем твое счастье... Что может знать человек?..

Эстер (*поднимает голову с колен матери, вытирает глаза, поправляет волосы*). Что может знать человек?.. (*Вздыхает.*)

Башева. Иди, оденься, дочка, умойся. Чужие люди придут... Никто не должен знать...

Эстер (*повторяет безразлично, монотонно*). Никто не должен знать... Никто не будет знать... Никто... Никто...

Открывается внутренняя дверь, появляется кухарка Зелда. У нее засучены рукава, лицо в жире и саже. Останавливается на пороге.

Башева. Чего тебе, Зелда?

Зелда (*проводит рукой по носу снизу вверх*). Не знаю, то ли в дверь, то ли в окно потянуло ветром, и он простыл... С одной стороны — отек, а в середине его раздуло...

Башева (*испуганно*). Кого это?

Зелда. Торт! А то кого же?

Башева. Тьфу! Сгиньте недобрые сны нынешней ночи, прошлой ночи!..

Зелда. Вот тебе на! Вы же сами велели сказать, когда придет время вынуть торт из печи...

Башева встает и направляется на кухню. Ушла.

Зелда (*идет следом за Башевой, возвращается*). Эстерл, душа моя, дай тебе бог здоровья, правду ли говорят, что не позднее, чем на будущей неделе, его уже должны найти?

Эстер. Кого?

Зелда. Как это, кого? Клад.

Эстер. Откуда мне знать?

Зелда. Вот так так! Кому же знать, если не тебе?

Эстер. Почему это беспокоит вас больше, чем всех?

Зелда. Ты забыла, что я тоже выдаю дочку замуж, а справить свадьбу не на что! Если бог сжалится и найдут клад, мне ведь тоже что-нибудь пере-

падет. Говорят, все евреи имеют долю в этом кладе... Не знаешь, сколько может выпасть на мою долю? Нас, считай, четверо *(откладывает на пальцах):* моя старшая дочь — раз, мой сын — два, моя младшая девочка — три; а сама-то я не в счет, что ли?

Эстер *(не слушает ее).* Помните, Зелда, вы когда-то рассказывали о вашей младшей сестре, что она отравилась... Каким образом?.. Чем она отравилась?

Зелда. Что это ты ни с того ни с сего? Да будет ей светло в раю, она уже свое отмучилась. Спичками она отравилась, никому не доведись такое... Купила за копейку коробок спичек, обломила головки, растворила в стакане воды и выпила. А как, ты думаешь, хватились? Увидели дым. Валил, как из трубы... Когда вошли в дом и...

Эстер. Почему она отравилась, ваша сестра?

Зелда. Моя Рикл, мир праху ее? Из упрямства. Уперлась, не хочет она замуж за мясника; не хочет идти под венец с мясником, лучше пусть ей, говорит, отрубят голову! Ну, а мать, мир праху ее, хотела только мясника. Он был богач, зажиточный хозяин... Правда, уже в летах, вдвое старше моей Рикл, к тому же уродина, рябой, да простит он мне, если жив, а если помер — пусть придет с того света меня душить... Это он был посланцем смерти, это он погубил мою сестру, такое юное деревце. Ой, и не хотела же она умирать! Ой, и кричала же она: «Спасите меня, люди добрые, спасите меня! Спасите меня! Спасите меня!»

Появляется Башева с противнем, на противне свежеиспеченный торт; услышав крики, останавливается.

Башева. Вы с ума сошли, Зелда, что вы орете?

Зелда. Кто орет? Я рассказываю вашей дочери о моей сестре Рикл, мир праху ее, о том, как она отравилась...

Башева *(недовольно смотрит на Зелду).* Ни с того ни с сего! Нашли время говорить об отравленных. Шли бы лучше на кухню, присмотрели за рыбой, чтобы не случилось с ней, упаси бог, того же, что в прошлую пятницу...

Зелда. Поздравляю! Раз в кои веки случилось, что рыбу прихватило, и она пропахла дымом. Теперь вы мне будете напоминать об этом до пришествия мессии... *(Проводит локтем по носу снизу вверх, уходит.)*

Башева *(зажигает лампу, принимается нарезать торт)*. Он все делает сгоряча, твой отец, когда на него находит. Приспичило ему заодно с помолвкой справить свадьбу... Еле уломали отложить свадьбу до середины элула*.

Эстер *(встает, выпрямляется)*. Мама, свадьба состоится раньше, раньше середины элула...

Башева *(перестает резать торт, смотрит на дочь)*. Раньше середины элула?

Эстер. Раньше середины элула... Свадьба... Славная свадьба... Веселая... Обрадуетесь. Пойду одеваться... *(Проходит мимо матери. Ее неподвижное скорбное лицо озарено свечой, на мертвенно-бледных губах — горькая улыбка, глаза блестят. У двери она на мгновенье останавливается, оборачивается, смотрит на мать с нежностью, с тоской и, хрустнув пальцами, уходит.)*

Башева *(роняет из рук нож, застывает, потрясенная)*. Несчастная моя жизнь... Горькая судьба моя... Что мне делать, куда податься? Не видеть бы мне, как мучается мое дитя... Такое дитя... Бедная овечка... Свадьба, говорит она, будет раньше... Веселая свадьба, говорит... *(Ломает руки.)* Горе мне! Не потерять бы ее, упаси боже! Не в черный час будь сказано... Что делать? Что делать? И откуда только беда нагрянула?! Весь город домогается этого сватовства... Нельзя, говорят, сердить Идла... И я должна расплачиваться... Мое дитя должно быть жертвой, попасть к меняле в руки!.. *(Пауза.)* Если бы хоть мой племянник приехал вовремя, как он писал. Все, может, вышло бы по-иному... Все по-иному...

С улицы входит Лейви Мозговоер. Башева снова принимается за торт.

Мозговоер *(одет по-праздничному, шагает по комнате возбужденно, обмахивается фуражкой)*. Ну

и ну, и дался мне этот клад! За всех должны сохнуть мои мозги! Всех я должен таскать на своих плечах!

Башева *(не перестает нарезать торт)*. Почему ты распинаешься больше всех? Ты и впрямь, что ли, обязан ублаготворить всех на свете?..

Мозговоер. Кто же, как не я? Во всем городе одни дурни. Ни у кого на грош разума! Только и умеют, что давать советы и сплетничать... *(Останавливается.)* Вот увидишь, бог даст, будет найден клад, тогда только и начнется свистопляска, драка из-за дележа. Все придут на готовенькое... А у кого голова кру́гом идет? У меня. Кто сделал компаньонами Идла и пана Влоцлавского, чтобы они сообща несли расходы по розыску клада? Я! Все я! Что ни стрясется, где ни случись беда — все сразу ко мне! А теперь господь облагодетельствовал меня новой напастью — Головешка! Слышишь, будет истинное чудо, если из-за этого выкреста меня не хватит удар!

Башева. Что еще случилось?

Мозговоер. Так я тебе и сказал!

Башева. Почему бы не сказать?

Мозговоер. Потому что ты не поймешь.

Башева. Почему бы мне не понять?

Мозговоер. Потому что ты женщина. Что у женщины, что у курицы, понимаешь ли, разум один.

Башева. Что же нам делать, если бог нас такими создал?

Мозговоер. Разумеется, на бога жаловаться не станешь. Всевышний создал человека, всевышний создал, да простится мне, что рядом помянул, скотину...

Башева. И зверя...

Мозговоер *(повторяет машинально)*. И зверя... Надо приготовить закуску для этого выкреста. Он сейчас явится. Он должен, говорит, сообщить мне что-то очень важное, с глазу на глаз... Знаю я его секреты, сгореть бы ему. Ну и кровопийца, пиявка, дался же городовой на мою голову!.. *(Оглядывается.)* Куда девалась Эстер?

Башева. Девочка одевается... К помолвке. Горе мое горькое!

Мозговоер *(застывает)*. Что это за слова?

Башева *(не поднимая глаз, возится с тортом)*. У каждого свои слова... Одно у нас дитя, всего и свету в нашем доме, что дитя... Вырастили дочь на радость! За что же ей идти в такие руки?

Мозговоер *(вспыхивает)*. А? Ей не нравится жених? Куда она девалась? Сейчас я с ней поговорю! *(Хочет идти.)*

Башева *(останавливает его)*. Куда ты? Что она знает? Коза! По ней бы все ладно!.. Это я говорю, — горе мое горькое!

Мозговоер. Ах, так? Это ты так умно рассуждаешь? *(Ходит по комнате.)* На тебя похоже... Будь у тебя все клёпки в голове, ты бы так не говорила... Тут, понимаешь ли ты меня, не о деньгах речь, и не о почете. Здесь дело, от которого зависит судьба целого города. Целый город находится теперь у Идла в руках. Идл захочет — клад будет кладом, не захочет — клад перестанет быть кладом... *(Останавливается, тычет себя пальцем в лоб.)* Можешь ты понять это своей головой или ни в какую?..

Башева. Понять-то я понимаю. Я только спрашиваю, где написано, что именно мое дитя должно пожертвовать собой ради города?

Мозговоер. Ее дитя! *(Ходит взад и вперед, заложив руки за спину.)* Она — мое дитя, как и твое дитя. *(Говорит нараспев.)* Я предан моему ребенку, быть может, не меньше, чем ты. А понимать-то я понимаю больше вас обеих. Что бы я ни делал, я знаю, что делаю. Я происхожу, понимаешь ли ты меня, из Мозговоеров. Того, что есть у меня в голове, у вас и в подметках нет.

Башева. Что правда, то правда: что у тебя в голове, того нет у нас в подметках... Ты забываешь, Лейви, что Эстер — наша единственная дочь. Всего и свету в нашем доме, что Эстер... Подумай только, — Идл Торба и наша Эстерл...

Мозговоер *(начинает еще стремительней носиться по комнате, мечет громы и молнии)*. Причем тут единственная дочь? Что мне Эстерл? Ты еще меня поучаешь? Ну и времена настали, Лейви Мозговоер

выслушивает поучения жены и дочери! Бабы водят его за нос! *(Со злостью.)* Куда она запропастилась? Я хочу ей разъяснить, что у нее ума столько же, сколько у ее матери, а может, и на золотник меньше! *(Бросается к двери.)*

Башева *(преграждает ему дорогу)*. Что? Куда? Я ведь тебе толкую, что она ничего не знает... Она — невинная овечка... Ее ты во всем убедишь... Отвяжись...

Мозговоер *(рвется к двери)*. К кому я привязался? Я никого не трогаю! Я только хочу ей разъяснить, растолковать ей, что ты женщина, а она девушка, что ты корова, а она теленок, что вы тем и схожи, что обе ничего не смыслите. Пусти меня... *(Идет к двери.)*

Башева идет за ним следом.

Лейви Мозговоер и Башева ушли. С полминуты на сцене пусто. Открывается дверь, со стороны улицы в нее просовывается голова с черными курчавыми волосами. На голову насажена полицейская фуражка с кокардой. Обвислые плечи Головешки оттягивает шашка. У него вид обыкновенного еврея, втиснутого в полицейскую форму.

Головешка *(некоторое время стоит на пороге, озирается во все стороны. Никого не увидев, подходит к столу, осматривает бутылки вишневки, нарезанный торт, варенье)*. Давненько я не кушал еврейского лекаха [1], честное слово... *(Съедает кусок торта.)* Дело расчудесное! А ежели бы это самое с каплей винца, должно быть совсем ай-люли-малина! *(Наливает себе стакан вишневки, любуется ею при свете свечи.)* Вишневка — еврейский напиток. Лехаим, Головешка! *(Выпивает, морщится и облизывается.)* Дело спиртуозное! *(Закусывает хрустящим на зубах печеньем.)* Еврейское печенье с еврейским вареньем — просто прелесть! Все у евреев имеет райский вкус. Дай бог жизни евреям! Среди евреев служба — милое дело, среди всяких других — одни неприятности... У евреев по крайней мере можно поживиться, заработать рублик, — дело доходное!.. *(Наливает еще стакан вишневки.)* За

[1] Медовый пряник *(еврейск.)*.

ваше здоровье, Головешка! *(Выпивает и закусывает.)* Э-хе-хе, пропадай моя телега, все четыре колеса!.. К моей службе — да не быть бы мне крещеным! О-го-го!

Открывается дверь со стороны улицы, входит Влоцлавский, оглядывает Головешку.

Головешка вытирает губы, срывает фуражку, швыряет ее на стол и кланяется на солдатский манер, щелкнув каблуками.

Влоцлавский *(оглядывает Головешку)*. День добрый, як се маш [1], пан майофес?

Головешка. У пана на уме майофес — хе-хе! Меня звать Головешка, а не майофес.

Влоцлавский. Глупство, пане. Ты все-таки такой же, как все эти шабес [2], кугл, балабосте [3], хе-хе-хе!

Головешка. Хе-хе-хе! Нех пане лучше отведает немного еврейской вишневки со свежим лекахом. Дело аппетитное! *(Наливает две рюмки.)* За здравие пана Влоцлавского! Хоть я человек и казенный и русский, но у меня все люди равны: что русские, что поляки, что евреи — дело безразличное! *(Протягивает ему рюмку.)* Будем здравствовать!

Влоцлавский. Лехаим, чертово отродье! *(Выпивает.)* Думаешь, не знаю, бесстыдник, что ты тут делаешь? Запевно [4], до пани Эстерки, а! Богохульник! Хе-хе!

Головешка. Пан шутки шутит, хе-хе!

Влоцлавский. Як бога кохам! Я в этих делах знаток. Когда-то и я был знаменитым куроедом. Теперь я уже старый хрыч.

Головешка. Пустяки! Пан еще ой-ой-ой!

Влоцлавский. Было, было, не теперь. Теперь у меня есть балабосте. *(Вздыхает.)*

Открывается внутренняя дверь, входит Лейви Мозговоер. Быстро снимает шапку.

---

[1] Как поживаешь? *(польск.)*
[2] Суббота *(еврейск.)*.
[3] Хозяйка *(еврейск.)*.
[4] Наверно *(польск.)*.

Мозговоер (*обоим, говорит, мешая еврейскую и польскую речь*). День добрый, панове! Добро пожаловать, дорогой гость реб Головешка! Вы уж тут хватили, вижу, по малости — очень разумно! Бардзо![1] Бардзо! (*Влоцлавскому.*) Служим, пане? (*Городовому.*) Пан Головешка! Вы, может быть, потрудились бы пройти ненадолго в соседнюю комнату? Там сидят моя супруга и моя дочь. Мне необходимо переговорить с паном!

Головешка (*вскакивает с резвостью*). Ах, почему же нет! Дело хозяйское...

Мозговоер показывает ему, куда идти. Головешка поправляет воротник, одергивает мундир, прилаживает шашку, взглядывает в зеркало, уходит.

Мозговоер. Короче говоря, пане, я с паном Юдко грызся сегодня целое утро. Тяжелый человек, этот Юдко! Но я своего добился. Бо я естэм[2] Мозговоер, пане!

Влоцлавский. Хоци шели — половина моя, хоци шелох — половина твоя?

Мозговоер. Так, пане! Как мы и говорили. Вы оба, пане, вкладываете деньги в дело; бардзо велький интэрес[3] — клад, пане; надо искать, копать, тэго-вэго, все стоит денег, пане! И поэтому вы оба получите большую часть, пане!.. Быть может, пан покушает кусок рыбы, еврейской рыбы, фаршированной, с перцем, пане?

Влоцлавский. Добже, рыба-фиш лепей[4], чем тысенца[5] майофес...

Мозговоер (*подбегает к внутренней двери, громко*). Башева, Эстер, велите Зелде сию минуту нести сюда на лучшем подносе кусок рыбы для пана! С хреном! С халой!

Слышится голос Башевы: «Сейчас, сейчас!»

---

[1] Очень! (*польск.*)
[2] Ибо я есть (*польск.*).
[3] Очень большой интерес (*польск.*).
[4] Лучше (*польск.*).
[5] Тысяча (*польск.*).

Рыба Мозговоера, пане, славится в мире! Во всем мире!..

Влоцлавский. Так, так, но скажи ты мне, пан Лейви, ты ведь еврей-купец: когда твой Юдко найдет этот «скарб», он не устроит хап-лап?..

Мозговоер. Боже упаси, пане! А я-то на что? Юдко, пане, женится на моей дочери. Пан знает, что я, упаси бог, не подведу, бо я естэм Лейви Мозговоер, пан!

Зелда приносит рыбу, ставит поднос.

Зелда. Вот вам рыба и вот вам хала; хрена нету. То есть хрен есть, но некому его натереть. Из-за этой помолвки я целый день с самого рассвета как зачумленная — пеки, вари, жарь, натирай, начищай. Не может же один человек разорваться, а десяти пар рук у меня нет...

Мозговоер *(к Зелде)*. Ну, идите, идите с богом!

Зелда. Иду, иду, а то что же? Стою, что ли? *(Проводит локтем по носу. Хлопает дверью, уходит.)*

Влоцлавский *(с большим аппетитом ест рыбу)*. Слухай-ка, богохульник. То, что ты предлагаешь нам с паном Юдко делиться пополам, хоци шели — половина моя, хоци шелох — половина твоя, это я принимаю. Но вкладывать деньги в поиски, в раскопки — этого я не хочу, дзенькую бардзо! [1]

Мозговоер *(вскакивает)*. Цо пан муве? [2] Дорогой пане, это кощунство, як бога кохам!..

Влоцлавский *(берет его за руку)*. Сядай, пан Лейви. Что ты так заботишься о пане Юдко? Черт его не возьмет! Ты положись на меня, и молчок, потому что иначе я вызову пана графа из Монте-Карло, и он заберет этот клад вместе с кладбищем, вместе с вами, майофесами, и со всеми вашими потрохами!..

Мозговоер *(смотрит на Влоцлавского и, держась за бороду, что-то обдумывает)*. Так?.. Пан, зна-

---

[1] Благодарю *(польск.)*.
[2] Что вы говорите? *(польск.)*

чит, хочет иметь равную с паном Юдко долю в кладе, но так, чтобы ему это денег не стоило?

Влоцлавский *(утвердительно кивает головой, продолжая уплетать рыбу)*. Так, так.

Мозговоер. Пан прав, як бога кохам. Меня пан убедил. Я переговорю с паном Юдко, так, мол, и так...

Влоцлавский *(вытирает рот)*. Не только переговорить с ним, но выдать мне бумагу, хоци шели — половина моя, хоци шелох — половина твоя, хе-хе! *(Игриво щекочет Мозговоера.)* А подпишете вы оба, хламидники, хе-хе! *(Встает. Мозговоер встает вслед за ним.)* Что у тебя делает этот сатана? *(Показывает на дверь, в которую вошел Головешка.)*

Мозговоер *(машет рукой)*. Вот он где у меня сидит! *(Показывает на горло.)*

Влоцлавский показывает, как надо взять Головешку и вышвырнуть за дверь.

(Поняв смысл его жеста.) Упаси господь! *(Говорит ему на ухо.)* Этот Головешка, почитай, четвертая ступень от самого царя.

Влоцлавский. Як то?

Мозговоер *(тихо на ухо)*. Городовой Головешка, пане, знаком с исправником. А исправник, пане, знаком с губернатором. А губернатор, пане, ездит к царю...

Влоцлавский *(лицо вытянуто, глаза выпучены, пальцы растопырены.)* У тебя — башка!.. *(Подает Мозговоеру руку.)* До видзенья [1], дорогой лапсердак!.. Хе-хе, запомни же, хоци шели — половина моя, хоци шелох — половина твоя... Хе-хе!

Мозговоер кланяется, провожает его.
Влоцлавский ушел.
Через внутреннюю дверь входит Головешка.

Головешка *(озирается)*. Убрался подпанок? Терпеть не могу этих хвастунов. Любопытно, что он у вас делает?

---

[1] До свиданья *(польск.)*.

Мозговоер (*топорщит усы*). Голову мне морочит... Клад, говорит он, принадлежит графу, а граф, он говорит, хозяин над городом, над кладбищем, над всеми нами.

Головешка. Врет он как собака! Город с кладбищем, вместе со всеми вами принадлежит не графу, а казне!

Мозговоер. Еще до того, как граф продал город казне?

Головешка. Еще до того, как граф родился. И даже сам граф ваш принадлежит казне. Дело казенное!..

Мозговоер. Вот как?.. Садитесь, почему же вы не сидите? Может, еще немного выпьете, пане Головешка? (*Хочет ему налить.*)

Головешка (*удерживает его рукой, не дает налить вино, садится*). Покорно благодарю. Я уже три раза глотнул. У меня к вам, пане Мозговоер, важный разговор. Дело серьезное. (*Озирается.*)

Мозговоер (*пододвигается к нему*). Послушаем. Не бойтесь, ни одна живая душа нас не услышит.

Головешка. Дело следующее: вы же знаете, я человек откровенный. У меня — что на душе, то на языке. Я передумал, отказываюсь от участия в кладе.

Мозговоер (*с тревогой*). Что это значит? Не понимаю! Почему? Почему вам не иметь долю в кладе, если вам дают? Боитесь, вам дорого, что ли, обойдется?

Головешка. Совершенно верно! Но войдите в мое положение: я человек казенный; служу у казны, значит я обязан охранять интересы казны. А ваш клад, любезнейший, принадлежит казне. Я боюсь. Мало ли что, вдруг дойдет до исправника, от исправника до губернатора, — кто будет отвечать? Головешка! Головешка — это казна, казна — это Головешка. Дело ответственное!

Мозговоер. Короче, чего вы хотите?

Головешка. Ничего. Хочу доложить начальству.

Мозговоер *(подскакивает)*. Бог с вами, пане, что вы такое говорите?

Головешка. То, что слышите. Дело ясное!

Мозговоер *(не в силах говорить; переждав минуту, вглядывается Головешке в лицо)*. Хотите нас, значит, пане, зарезать? Зарезать целый город? Так и говорите! Берите нож и режьте! К чему вам понадобилось так долго тянуть, притворяться, прикидываться другом?..

Пауза. Оба молчат.

(Меняет тон, говорит умоляюще.) Пане Головешка! Я-то ведь знаю, в чем заковыка: вы, конечно, хотите прибавочки... Вам маловато... *(Заглядывает ему в глаза.)* Скажите... Вы же знаете, со мной можно договориться. И мигом — раз, два, три! Ведь я — Лейви Мозговоер!

Головешка *(с минуту мнется, смотрит на носки своих сапог, разглядывает ногти, кашляет в кулак)*. Дайте мне руку, что будете молчать, дело совершенно секретное!..

Мозговоер *(протягивает ему руку)*. Вот тебе рука Лейви Мозговоера. Если Мозговоер дает руку — дело свято! Вы это знаете?

Головешка. Ладно. Приступаю к делу. У меня, как и у вас, тоже — раз, два, три! Я хочу опять стать евреем, и мне нужна ваша помощь.

Мозговоер *(оживает, преображается)*. Ох, с превеликим удовольствием! Вот это, видите, очень красиво с вашей стороны! Замечательно! Клянусь вам, как истинный еврей! Сколько раз говорил жене: Башева, говорю, у нашего Головешки, говорю, подлинно еврейская душа. Потому что, если выкрест больше чем наполовину говорит по-еврейски и ест по субботам кугл, а в пасху — галушки из мацы, то он уже не выкрест!

Головешка. Дело понятное! Меня тянет обратно к корню... Между прочим, надо вам знать, пане Лейви, что я не какой-нибудь... невесть кто... Я, надо вам знать, сын почтенного отца. Мой отец был могильщик на кладбище. Его так и звали: могильщик

Мендык. Все его знали, и все его боялись, потому что он был страшный силач. Самого крупного покойника он брал вот так! *(Показывает руками, Лейви Мозговоер отодвигается.)* Он не боялся мертвецов! Во время холеры он спал в одном помещении с десятью покойниками!

Мозговоер *(кивает головой)*. Так, так! Он, видимо, был молодчина! Короче, в связи с чем это пришлось к разговору? В связи с тем, что вам охота перейти обратно в еврейскую веру?.. Вы соскучились, значит, по евреям?.. Ничего не скажешь, прекрасно! Весьма, весьма похвально! Что называется, похвальней быть не может!

Головешка. Вы думаете, я крестился по собственному желанию? Меня крестили в солдатах... Между прочим, служить я пошел тоже не по своей воле. Меня отдали в солдаты против желания. Я не хотел, отец тоже не хотел... Когда меня одели в серую шинель, отец несколько раз наказывал мне: «Хаим-бер, — это было мое еврейское имя, — одно ты должен помнить: ты еврей!»

Мозговоер *(в восторге)*. Говорю вам, слышите, реб Хаим-Бер, — это, кажется, ваше еврейское имя? Не так ли? Клянусь честью, вы в моих глазах стали выше на десять голов! Подумайте только, чтобы в наши времена иноверец, обеспеченный заработком, городовой, шутка ли, вдруг взял да заявил, что он хочет снова стать евреем, то есть почернеть от забот, жить как в аду... Отныне вы мне родной брат, — давайте расцелуемся! *(Обнимает его и целует.)* И давайте выпьем понемножку вина. *(Наливает две рюмки.)* Слышите ли, реб Хаим-бер, — так, кажется, ваше еврейское имя? Теперь-то я уже могу надеть шапку? Лехаим! Весь город придет вам на помощь... Мы все отзовемся на ваши нужды. Ни за чем не постоим — манну с неба! Лехаим! Будем здоровы и будем евреями! *(Выпивает и закусывает.)*

Головешка. Именно этого я и хочу. Я думаю, как только найдется клад, пусть мне дадут на расходы и помогут махнуть в землю обетованную. Там я

стану евреем, и там буду жить, как говорится, до гробовой доски...

Мозговоер. Аминь. Поверьте мне, реб Хаимбер, мы вас проводим, как провожают на тот свет, простите за сравнение, праведника, чудотворца! Мы вас проводим с песнопениями, с музыкой.

Головешка. Покорно благодарю. Но раньше я хочу жениться. То есть раньше я хочу стать евреем, потом жениться и уехать в землю обетованную женатым. Дело семейное.

Мозговоер. Мы вас женим. Найдем вам еврейку — разведенную или вдову, расторопную, благочестивую...

Головешка. Покорно благодарю. Но я против вдовы и против разводки. Я хочу девушку, и только красавицу. Дело вкуса...

Мозговоер. Тоже согласен! У меня вы всего добьетесь. Дадим вам девушку, дадим вам красавицу, как вы хотите. Мою кухарку Зелду вы знаете? У нее есть дочь, звать ее Голдой, она писаная красавица... Собственно, она уже вроде как бы невеста, то есть вокруг нее увивается жених, сын сапожника Зимла, и неплохой, правда, паренек, но кто с этим посчитается?

Головешка. Покорно благодарю. Я уже почти имею невесту. То есть я имею в виду девушку, и между прочим, красотку!..

Мозговоер. Неужели? Что же вы молчите? Вас же следует поздравить! *(Жмет ему руку.)* Пошли вам бог счастья, удач, всего, чего вы сами себе желаете!.. *(Поворачивается в сторону внутренней двери.)* Башева! Эстер! *(Спохватывается.)* Тьфу! Тьфу! Что я делаю? Совсем забыл, что это секрет, о котором знаем только я, да вы, да господь бог... *(Потирает руки.)* Короче говоря, раз вы уж доверили мне такую святую тайну, вы бы заодно сказали, кто эта девушка? Сколько ей лет? Есть ли у нее родители?.. Впрочем, если вам не хочется говорить, я вас не принуждаю. Я не такой человек, понимаете ли, я — из Мозговоеров...

Головешка. Напротив! Вам я это скажу с большим удовольствием! Девушку звать Эстер, отца ее звать реб Лейви Мозговоер из Мозговоеров...

Мозговоер *(словно пораженный громом, вскакивает и снова садится)*. Вы — что? Вы больше не нашли, кого на смех поднимать? Я... я... я вам мальчик, что ли, что вы со мною шутки шутите?

Головешка. Шутки? Боже упаси! Я не люблю шутить. Дело серьезное!..

Мозговоер. Если так, я ничего не понимаю. Вы что — ошалели? Рехнулись? Ополоумели? Или вы просто с ума сошли? Что-о-о вы говорите? Сами-то вы слышите, что говорите? Вы?! Городовой Головешка?! И моя дочь?! Дочь Лейви Мозговоера?! Ха-ха-ха-ха!

Головешка *(оскорбленный, встает, застегивает мундир на все пуговицы)*. Не хотите? Как вам угодно! Но смеяться нечего! Насильно мил не будешь... Немедленно отправляюсь по начальству. Я им доложу о кладе, так, мол, и так, пусть решают, как хотят. Дело казенное. *(Хочет идти.)*

Мозговоер *(удерживает его)*. Что же вы спешите? Повремените, я хочу вам кое-что сказать. Я... Я... Я не понимаю. Я не... не... не знаю, как мне это проглотить... Вы меня как дубиной огрели по голове!.. Да, так неожиданно вы меня съездили, что не знаю, на каком я свете!..

Головешка. Не знаю, что тут непонятного, дело обыкновенное. Чем я хуже этого ростовщика Торбы? Роду я такого же, что и он. Умом мы с ним тоже сравняемся, а годами — тем более. Остается только одна загвоздка: я крещен? Так ведь я перехожу обратно в еврейство... А вы, между прочим, как понимаете. Желаю здравствовать. *(Направляется к выходу.)*

Мозговоер *(удерживает его)*. Куда вы так спешите? Давайте сядем и обмозгуем это дело со всех сторон. *(Садится.)* Во-первых, моя дочь почти невеста, — вы же знаете...

Головешка. Дело известное. Потому-то я к вам и бежал как ошпаренный. Мне уже давно приглянуь

лась ваша дочь, но сказать не смел. Дело деликатное... Между прочим, я слышал, ей сватают менялу Идла, но мне не верилось, пока не узнал, что сегодня помолвка...

Мозговоер *(ухватывается за слова Головешки, как за лезвие ножа)*. Ну, ведь сами видите, что так, должно быть, суждено, пропащее дело...

Головешка *(глядит ему прямо в глаза)*. Понапрасну вы так говорите! В городе вас считают умнейшим человеком, а говорите вы, между прочим, такие глупости! Не пристало вам такое, реб Лейви Мозговоер! Ай-яй-яй!..

Мозговоер *(польщенный)*. Я вам скажу, — все это слишком внезапно, неожиданно. Я люблю всякую затею обмозговать со всех сторон. Мозговоеры не любят делать что-либо тяп-ляп, сгоряча... С менялой, понимаете ли, штука нелегкая... Он держит в руках весь город вот так вот. *(Изображает рукой.)* Не забывайте, что он хозяин клада! Захочет — клад будет, не захочет — клада не будет!.. Пожалуйста, придумайте что-нибудь! Может, придумаете что-либо путное? Вы же тоже человек с умом?..

Головешка *(задобренный)*. Дело поправимое. Боюсь только, как бы ваш Идл не надул нас с кладом. Уж лучше надуйте вы его! Дело коммерческое!

Мозговоер *(широко открывает глаза)*. Любопытно! Каким образом, например?

Головешка. Например? *(Говорит нараспев.)* Вы устройте помолвку. Пусть Торба думает, что ваша дочь его невеста. Между прочим, пусть он выкопает клад, мы с ним поделимся, а когда опустим наличность в карман, мы сделаем налево кругом и — сыпьте нам соли на хвост!.. Дело простое...

Мозговоер *(пристально глядит Головешке в глаза; его мозг усиленно работает. Вскакивает)*. Слышите, пане, что я вам скажу? Вы не только выкрест и хитрец, вы, кажется мне, еще и порядочная шельма!

Головешка. Покорно благодарю!

Мозговоер. Говорю это без всякой лести. Мозговоеры не любят льстить. Ваш план мне нравится.

Чем больше я его разжевываю, тем больше нахожу в нем вкуса, клянусь честью! Вижу, вы человек умный, у вас трезвая голова... Вы способны, понимаете ли, находить ходы и выходы! Это говорит вам Лейви Мозговоер.

Головешка *(сильно польщен)*. Покорно благодарю! Не забывайте, что я был, между прочим, под Севастополем и имею благодарность от царя... *(Молодцевато выпрямляется.)*

Мозговоер. Это видно сразу, с первых же слов...

Головешка. Вашу руку!

Мозговоер протягивает ему руку.

Дело кончено?

Мозговоер. Мое слово свято. Меня звать Лейви Мозговоер.

Головешка. Между прочим, это надо держать в тайне. Только я да вы...

Мозговоер. Да третий — господь бог...

Головешка *(после короткого размышления)*. Между прочим, тут есть одна заковыка.

Мозговоер. Что еще?

Головешка. Кто мне, например, даст гарантию, что вы не выставите мне потом большой кукиш? Дело коммерческое...

Мозговоер. Ну, знаете! Не взыщите, реб Хаим-Бер, таково, кажется, ваше еврейское имя? Тут вы уже заговорили не как еврей. Забыли, с кем имеете дело. Мое имя — Лейви Мозговоер.

Головешка. Знаю. Но — дело по делам, а суд по форме. Если делается дело, все должно быть по закону. Я должен получить от вас обеспечение...

Мозговоер. В чем же дело? Пожалуйста, скажите, я готов дать вам все гарантии на свете. У меня нет задних мыслей. У меня — что сказано, то сказано...

Головешка. Вы должны выдать мне письменное обязательство, что отвечаете своей долей клада на основании принадлежащих вам прав по закону, в случае ежели...

Мозговоер. Что? Что? Что? Нельзя ли не так быстро! Это нужно хорошо обмозговать! *(Трет себе лоб.)* Знаете что? Давайте перейдем туда, там мы сядем и подпишем контракт. Здесь нам могут помешать, сейчас должны прийти гости... Я такой человек — каждую вещь люблю обдумать со всех сторон...

Оба направляются в соседнюю комнату.

Головешка. Дело коммерческое...

Мозговоер и Головешка уходят. Входит Башева, несет посуду.

Башева *(расставляет посуду, зажигает остальные лампы)*. С тех пор как показался клад, пошла у него канитель — секреты и секреты. С каждым в отдельности у него секреты: с Идлом — секреты, с паном — секреты, с выкрестом — тоже секреты... Бог знает, куда это может завести... А девочка, бедняжка, плачет, заливается слезами... *(Задумывается.)* И на сердце у меня такое... Сердце матери... Нагрянь сейчас мой племянничек, я бы его растерзала!..

Из кухни приходит Зелда.

Что еще случилось, Зелда?

Зелда. Подите послушайте, что Песя рассказывает о кладе. Прошлой ночью, она говорит, видели что-то вроде пара или дыма над тем местом, где лежит клад...

Башева. И вы пришли сюда рассказывать это сейчас, перед самой помолвкой? Нет у вас другого дела, что ли?

Зелда. Поздравляю! Я разве не исполняю свою работу? Я только пришла рассказать вам, что говорят о кладе...

Башева. Почему этот клад волнует вас больше, чем всех других? Придет время, вам дадут знать...

Зелда. Трудно ждать... Если ты женщина, да еще вдова, и должна выдать дочь замуж, а справить свадьбу не на что... *(Пауза.)* Хозяйка, у меня к вам еще дело...

Башева. Что еще за дело?

З е л д а. Маланья просила меня сказать вам. Она столько времени, говорит, носит воду всему городу, а ее Трофим топит баню... Их ни разу, говорит она, в воровстве не уличили... Оба они разуты, раздеты... Она сейчас на кухне, Маланья...

Б а ш е в а. Ну, и чего же она хочет? Что ей дать? Мои колики? Налей ей рюмку водки. *(Хочет налить рюмку вишневки.)*

З е л д а. Нет, она не за этим. Она просит, если вы можете, добейтесь у хозяина, чтобы и она имела долю...

Б а ш е в а. Долю? В чем?

З е л д а. Что значит, в чем? В кладе.

Б а ш е в а *(в сердцах)*. Тьфу, провалитесь вы! *(Направляется на кухню, Зелда следует за ней.)* Видано ли, чтобы женщина с утра до вечера занималась благотворительными делами...

Башева и Зелда ушли. По одному являются гости: М е н д л Б о р о д а, Э ф р о и м П р и в е р е д а, Н и с л М и л о с т и в е ц, А в р е м е л е - м е л а м е д, к а н т о р, с л у ж к а, Е н т а, Г е н я, А с н а и еще трое-четверо мужчин и женщин. Все одеты по-праздничному.

Б о р о д а *(замечает на столе Головешкину фуражку с кокардой)*. Любопытно, кто эта кокарда?

М и л о с т и в е ц. Видать, полицейская фуражка.

М е л а м е д. Можно предположить, что это Головешка.

П р и в е р е д а. Откуда это следует?

Б о р о д а. Привереда не может не перечить.

М е л а м е д *(с большим уважением оглядывает фуражку со всех сторон)*. Головешкину фуражку я узнаю в темноте за три версты. Он у меня в хедере частый гость!

К а н т о р. Что он делает у вас в хедере?

С л у ж к а. Он проверяет детей, хорошо ли они учатся, не иначе.

М е л а м е д. Я на него не в обиде. Он хороший человек...

Б о р о д а. Берет, когда ему дают...

Е н т а. Дай ему бог хворобу...

Г е н я. За всех нас, отец небесный!

Асна. Аминь, господи!

Борода. Любопытно, что же он делает здесь ни с того ни с сего?

Милостивец. Наверно, по поводу клада!

Привереда. Из чего это явствует?

Меламед. Можно предположить, что они рядятся по поводу клада.

Кантор. Головешка берет везде.

Служка. С живых и с мертвых.

Ента. Прибрала бы его холера!

Геня. Нынешней же ночью, господи боже!

Асна. Аминь, владыка небесный.

Из соседней комнаты выходит Лейви Мозговоер, весь в поту, следом — Головешка с листом бумаги, засунутым в рукав. Все присутствующие снимают шапки, кланяются городовому.

Мозговоер. Добро пожаловать, гости! Садитесь, почему вы не сидите? *(Озирается.)* А жених где? Его еще нет? *(К кантору.)* Кантор, вы уже здесь? Вы, может, сели бы пока писать брачный контракт? *(Показывает кантору место, где ему усесться писать.)*

Служка становится возле кантора с чернильницей и пером в руках.

Головешка *(отыскивает фуражку, прощается со всеми присутствующими одним поклоном)*. Между прочим, до свидания! *(Лейви Мозговоеру, подавая ему руку.)* До приятного свидания. *(Направляется к двери.)*

Мозговоер *(провожает его до двери)*. Будьте здоровы, реб Хаим-Бер!..

Все присутствующие переглядываются.

Будьте уверены, все это останется между нами. Я умею хранить тайну. Меня звать, понимаете ли, Лейви Мозговоер!..

В дверях Головешка встречается с Идлом Торбой. Оба уступают друг другу дорогу. Один не входит, другой не выхо-

дит, и все это тянется до тех пор, пока оба не проталкиваются в дверь одновременно — один в комнату, другой из комнаты. Головешка ушел. Идл Торба входит, ведя за руку Ицика. Меняла наряжен по-праздничному, как подобает жениху; на нем новый кафтан, несколько коротковатый, рукава узки, брюки коротки и широки, на голове у него шапчонка из синего бархата; лицо вымыто, волосы смазаны жиром и только кончики пальцев черны, как всегда. Ицик тоже одет по-субботнему, тоже причесан, только никак не сладит со своим носом, хотя весьма усердно им занимается, — все время вытирает обоими рукавами, справа и слева.

Торба *(Лейви Мозговоеру)*. Что у вас делал этот шалопут Головешка?

Мозговоер *(машет рукой, вздыхает)*. И не спрашивайте! *(Ко всем присутствующим.)* Слышите, евреи, с тех пор как бог торгует пиявками, у него еще не было такой пиявки, как наш городовой, пропади он пропадом! Кувшин крови он высосал из меня сегодня! Узнай вы, чего захотел этот выкрест, вы бы на себе волосы рвали! Не ломайте над этим головы. Вы никогда не догадаетесь, будь вы о семи головах.

Борода. Не догадаетесь о семи головах...

Мозговоер. Слава всевышнему, я своей головой, слышите ли, могу еще похвастать, дай ей бог служить и служить! *(Хлопает себя по лбу.)* Я его обвел-таки вокруг пальца!

Борода. Вокруг пальца!

Мозговоер. Пусть только всевышний поможет нам дорваться до клада, я вам, бог даст, расскажу на радостях, будете смеяться. Ой и посмеетесь же вы!..

Борода. Ой и посмеемся же мы.

Милостивец. Дай-то боже, владыка небесный, чтобы нам всегда смеяться.

Мозговоер. Смеяться — полезно. Врачи советуют смеяться.

Борода. Врачи советуют смеяться.

Мозговоер *(ведет Идла Торбу на самое почетное место. Ицик плетется следом.)* Усаживайтесь! Пойду позову жену и невесту. Женщины всегда канителятся. *(Уходит.)*

Борода (*Идлу Торбе*). Вы и шагу не делаете без своего малого?

Торба молчит.

Милостивец. Они боятся дурного глаза.

Торба молчит.

Ента (*громко*). Ицик, не сглазить бы, заметно поправился!

Геня (*еще громче*). Видно, клад пошел ему впрок.

Асна (*довольно громко*). И везет же людям, не сглазить бы! Сколько народу проходит за год на кладбище и, кроме горя, никто там ничего не находит. А этот один раз в жизни заблудился на старом кладбище, и бог осчастливил его кладом...

Торба (*не в силах более сдерживаться*). С утра до вечера, днем и ночью только и слышно: клад-клад! Клад-клад!

Борода. Вы говорите истинную правду: клад-клад! Клад-клад!

Торба (*высокомерным тоном*). Ну да, вы же ни к чему другому, кроме сокровищ, не привыкли? Вы ведь воспитаны на сокровищах?

Борода. Воспитаны на сокровищах?

Торба (*еще высокомерней*). Что бы вы делали, к примеру, если бы мой сын не заблудился, как вы говорите, семнадцатого тамуза на старом кладбище и не нашел наполеона?

Борода. Наполеона?

Торба. Вероятно, таково уж его счастье?

Борода. Таково уж его счастье.

Привереда. Разве кто-нибудь зарится на его счастье, упаси бог?

Торба. Что же вы нас попрекаете каждую минуту кладом? Что вы тревожитесь? Сами видите, кажется,— люди не спят, роют, ищут, рыщут.

Борода. Ищут, рыщут...

Торба. Уже, слава богу, клада недолго ждать...

Борода. Клада недолго ждать...

Ицик (*громко чихает*). Апчхи!

Торба. Ицик, вытри нос!

Борода. Ицик, вытри нос! К правде чихнул.

Ента. На здоровье...

Геня. Пошли ему бог долгую жизнь...

Асна. Аминь, владыка небесный!..

Входят Лейви Мозговоер, Башева и Эстер. Эстер наряжена, как невеста, в лице ни кровинки. Идет медленно. Глаза опущены. Мать усаживает ее среди женщин, против жениха. Женщины многозначительно переглядываются.

Мозговоер *(с засученными рукавами, как подобает свату; к собравшимся)*. Теперь, любезные гости мои, рассаживайтесь по местам. Скоро, вероятно, придет раввин и мы прочтем брачный контракт. *(К кантору издали.)* Вы скоро управитесь, кантор?.. А потом мы кое-чем подкрепимся...

Борода. Подкрепимся...

Мозговоер *(к Башеве)*. Сунь пока что-нибудь Ицику в рот, пусть пожует...

Борода. Пусть пожует...

Башева подает Ицику кусок коврижки. Ицик жует. Все усаживаются вокруг стола — мужчины отдельно, женщины отдельно. Входит раввин, красивый седой человек, на нем широкая соболья шапка, просторное черное пальто, из-под которого виднеется белоснежный воротник сорочки. Все собравшиеся, как один, встают при его появлении. Ему уступают почетное место. Глаза его излучают свет. Лицо сияет.

Мозговоер *(раввину)*. Ребе, мы ждем вас к помолвке.

Раввин. Дай бог, в добрый час... И пусть это будет добрым знаком, добрым знамением истинного счастья для всего нашего народа. Пусть я удостоюсь бывать у вас, а вы, дети мои, — друг у друга, на радостях, и только на радостях! Потому что чем больше веселья, тем ближе к богу, чем больше радости, тем ближе к божьей благодати... Возрадуйтесь же, дети мои, вашим отцом небесным и удостойтесь обрести то, что вы ищете... Уже пора, давно пора... Народу нашему надобны заработки... Евреям, бедняжкам, нужен хлеб насущный.

Все вздыхают, женщины утирают глаза.

Веселиться, дети, в благорасположении обстоятельств, в добрые времена — не велик подвиг. Обнаружьте силу

и явите веселье души как раз в трудные годы изгнания, как раз тогда, когда тяжело на сердце, как раз тогда, когда, кажется, нет больше надежды!..

Все вздыхают, женщины тихо плачут.

Ибо всевышнему отрадно, когда его дети веселы... Если вы управились, велите читать брачный контракт...

Мозговоер (*кантору*). Будьте любезны, кантор, подойдите сюда с контрактом.

Кантор подходит с исписанным листом бумаги в руках, следом идет служка.

Раввин (*встает. Встают и все присутствующие. Раввин передает Мозговоеру свой платок*). На, возьми, Лейви, платок и заручись согласием жениха и невесты.

Мозговоер (*берет у раввина платок, подает один его конец Идлу*). Реб Идл! Примите заученье.

Идл Торба прикасается к платку, Мозговоер подает другой конец дочери.

Эстер, прими заручение.

Эстер прикасается к платку, лицо ее мертвенно-бледно.

Раввин. А теперь пусть кантор читает брачный контракт.

Кантор разворачивает бумагу. Служка готовится разбить тарелку; женщины готовы заплакать, лица благочестиво вытянуты. Из кухни входит кухарка Зелда, останавливается в дверях и, в ожидании чтения брачного контракта, придает своему лицу набожное выражение.

Кантор (*раскачиваясь, начинает на высокой ноте*). «Предрекающий вначале грядущее...»

Открывается наружная дверь, и появляется молодой человек, здоровый, бритый, румяный, с двумя чемоданами в руках и желтым дорожным мешком за спиной. На нем длинный клетчатый пиджак, клетчатые брюки, белая жилетка, на голове клетчатая дорожная шапочка. Выглядит настоящим англичанином. Все поворачивают головы к двери, разглядывают вошедшего. Гость разглядывает присутствующих. Башева первая узнает в нем своего племянника Беню из Америки.

Беня Бен ищет глазами своих родных. Опускает чемоданы.

Башева *(всплеснув руками)*. Беня! Сын моей сестры Златы! *(Бросается к нему.)* Такой бы мне слиток золота привалил с пришествием мессии! *(Падает ему на шею, плачет.)*

Беня. Тетушка! *(От Башевы — к Лейви Мозговоеру.)* Дядюшка!

Целуются.

Эстер. Мама! *(Падает без сознания.)*

Женщины подхватывают ее.

Женщины. Воды! Невесте дурно! Воды!

Все *(один другому)*. Воды! Невесте дурно! Воды!

Занавес.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

В доме Лейви Мозговоера. Та же комната, но обставлена богаче, наряднее. Вся мебель новая, все блестит. С утра не застланная кровать. За письменным столом, в халате Беня Бен, пишет письмо.

Беня *(окончил письмо, откинулся на спинку стула, ноги положил на стол на американский манер, читает письмо)*. «Май дир [1] Сэм! Пишу тебе это письмо из эсайлума [2], из дома, где все сплошь сумасшедшие, не только из дома, но и из города сумасшедших. Все здесь от мала до велика спятили: они ищут клад, тринадцать бочек золота на сэметэри [3], на старом кладбище, и убеждены, что не сегодня-завтра они этот клад найдут! Не спрашивай меня, Сэм, что я делаю среди этих безумцев. Я — олл райт. У меня здесь есть кузина, звать ее Эстер, можно сойти с ума только от одних ее глаз. Айл-бечью [4], что во всей Америке от

---

[1] Мой дорогой *(англ.)*.
[2] Сумасшедший дом *(англ.)*.
[3] Кладбище *(англ.)*.
[4] Клянусь *(англ.)*.

Нью-Йорка до Флориды не найти таких глаз! Она тут помолвлена с одним джентльменом, круглым идиотом. Но не сомневайся, не будь мое имя Беня Бен, если я через три недели не привезу ее к себе домой в качестве моей законной миссис! Следи внимательно, Сэм, за домом, приготовь комнаты и жди меня с миссис Бен в конце диз монд[1]. *Юр френд[2] Беня Бен». (Заклеивает письмо.)*

Раздается стук в дверь.

Войдите!

Входит Эстер с подносом, на подносе — чай, молоко, сдоба. Ставит все на стол. Лицо ее светится.

(Вскакивает.) Гау ду ю ду[3], Эстер? *(Берет ее за руку, усаживает.)* Я только что написал моему компаньону Сэму письмо, написал, чтобы он ждал нас, меня с тобой, не поздней, чем через три недели, бикоз[4] мы вскоре будем готовы к путешествию.

Эстер *(смеется)*. Ты говоришь об этом так, будто знаешь наверняка...

Беня. Шур![5] Я в этом убежден, бикоз я так хочу, а раз я так хочу, так должно быть! Нет того на свете, чего человек при желании не мог бы достичь. Ю эндэрстэнд?[6]

Эстер. Счастливцы, что ли, там у вас? Счастливые люди?.. Гляжу на тебя и удивляюсь: разве мы с тобой не из одной семьи, не в одном городе родились? Почему ты иной, не такой, как все мы?

Беня. Велл![7] Я такой же, но я иначе воспитан. Я вырос на другой почве, нанюхался американского воздуха. Там каждый работает сам и не ждет чудес и волшебных сокровищ...

---

[1] Этого месяца *(англ.)*.
[2] Твой друг *(англ.)*.
[3] Как поживаете? *(англ.)*
[4] Потому что *(англ.)*.
[5] Конечно! *(англ.)*
[6] Понимаешь? *(англ.)*
[7] Прекрасно! *(англ.)*

Эстер. Ты, что же, никак не можешь поверить, что клад когда-нибудь где-нибудь отыщется?..

Беня. Нэвер![1] Никогда! Если где-нибудь и существует клад, то это в Клондайке. Есть у нас такой край. Туда едут добывать золото из земли, так же, как у вас копают песок. Многие туда кинулись. Пришли нищими, а через несколько лет вернулись миллионерами!

Эстер. Ты там был?

Беня. Нет! Я нашел свой «Клондайк» у себя, на своем участке. Ферму в степи я превратил в рай. Я сам, своими руками вспахал землю, рыл колодцы...

Эстер. Знаешь, что говорят про тебя? Что бог тебя осчастливил: ты купил клочок земли, рыл колодец, а вырыл клад...

Беня *(смеется)*. Всюду им мерещатся клады и снятся сокровища. Хочешь знать, что такое клад? Вот — клад. *(Показывает ей свои руки. Эстер заглядывает в них.)* С этой парой рук, с этими десятью пальцами я, одинокий, нищий, сирота, восемнадцать лет назад приехал в чужую страну, голый и босый, без языка, и вот этими руками сам выбился в люди. Я не дожидался чудес с неба и не искал кладов под землей, бикоз на свете нет чудес, нет чудесных кладов!

Эстер *(задумчиво)*. Нет кладов?..

Беня *(энергично)*. Нет! Это сон. Это нонсенс![2] Блеф, фантазия — ю эндэрстэнд? Я обязан всех тут убедить в этом! Я обязан всем им открыть глаза, и — не будь мое имя Беня Бен, если я этого не добьюсь!

Эстер. Никак не могу себе представить, что с ними тогда будет... *(Печально.)* А мой отец... Он этого не вынесет!..

Беня *(ходит по комнате)*. Велл! Надо его вылечить. Всех их надо лечить, бикоз они больные люди. Надо им прояснить мозги, вернуть назад к своим бизнесам. Ю эндэрстэнд? *(Останавливается против Эстер.)* И когда я их всех исцелю, а раньше всех —

[1] Никогда! *(англ.)*
[2] Чепуха! *(англ.)*

дядюшку Лейви, он увидит, какую глупость и какую несправедливость совершил, желая выдать тебя замуж за такого нотинг[1], как этот паршивый меняла. И он будет рад, что я прибыл сюда как раз в нужную минуту... *(Садится; к Эстер.)* Я прибыл как раз вовремя, скажи?

Эстер. Мне страшно и подумать, что было бы, где бы я была сейчас, не явись ты в тот вечер...

Беня. Не смей больше так говорить. Это — нонсенс. Умереть — не фокус, не геройство. Геройство — жить и бороться за жизнь. Жизнь, Эстер, — это борьба, тяжелая борьба! *(Берет ее за руки.)* Жизнь — это...

Тихо открывается наружная дверь и появляется Башева. Она несет с рынка большую корзину. Увидев, что Беня держит Эстер за руки, она роняет корзину, и на пол валятся все ее покупки, катятся картофелины, репки, луковицы и прочая зелень.

Башева *(делает вид, будто ничего не заметила)*. Вот я вам и принесла, вот оно и лежит. *(Наклоняется, собирает рассыпанное.)*

Беня *(бросается к ней, помогает собирать)*. Я вам помогу, тетушка!

Башева. Спасибо. Зачем тебе утруждаться? *(Собирает.)*

Беня. Нэвермайнд![2] Я моложе вас. *(Собирает.)*

Башева *(поднимается с полу. Все собрано. Притворяется, будто только сейчас увидела Эстер)*. Скажи на милость, ты тоже здесь, Эстерл? Ты принесла Бене чай? Такой бы мне слиток золота с пришествием мессии, как, идя сюда, я подумала: кто же там, дома, догадается подать моему племяннику стакан чаю? Оказывается, родная кровь не чужая... Где, думаете вы, дети, провела я целое утро? Стояла и беседовала с женщинами. Их было много. Бабы любят поболтать. Каждая меня останавливает: «Доброе утро, добрый день... С гостем вас... У вас гость из Америки?! Сын вашей сестры?! Что он делает?.. Как он поживает?.. Правду ли говорят, что он нашел там клад?..»

---

[1] Ничтожного *(англ.)*.

[2] Пустяки! *(англ.)*

Беня *(смеется)*. Ну? И что вы на это отвечаете, тетя?

Башева. Представь себе, я знаю, что ответить. Ты думаешь, я в самом деле то, чем твой дядя меня считает? *(К Эстер.)* Возьми все это, доченька, и отнеси на кухню. Я сейчас тоже приду туда. Скажи Зелде, пусть затопит печь.

Эстер уходит. Башева принимается застилать кровать, вздыхает.

Беня. Вы, может, присели бы на минуту, мы поговорили бы? С тех пор как я здесь, вот уже почти неделя, я еще ни разу толком не говорил с вами.

Башева. О чем же ты хочешь со мной говорить? Опять об этом кладе? Ох уж этот мне клад, — не покарал бы бог мой грешный язык!.. *(Продолжает застилать кровать.)* Что ты знаешь? Сколько горя на меня тут навалилось! С тех пор как началась эта кутерьма с кладом, не знаю, что и сталось с твоим дядей... Всюду ему мерещатся враги, чудится, что весь мир завидует нашему сватовству...

Беня *(смеется)*. Завидуют сватовству!..

Башева. Тебе этого не понять, не понять! Говорю тебе, я крепче камня! Только взгляну — горе мое горькое! — на этого менялу и теряюсь, не знаю, что делать: то ли молить бога, чтобы дался поскорее этот клад, то ли, упаси бог, наоборот?

Беня. Тетя! Просить бога ни к чему. Скорее покойники встанут из могил, нежели вы найдете на кладбище золото...

Башева. Тише!.. Не говори таких слов! Еще, не дай бог, нагрянет твой дядя и услышит!.. Разве ты можешь себе представить, как он прилип к этому кладу? Человек принес себя в жертву — спроси ради чего?! Ради города! Он, видишь ли, обязан осчастливить весь мир! Ради города он пожертвовал своей дочерью, продал ее меняле. *(Озирается, говорит тихо.)* Он околдовал его, этот меняла! Кладом околдовал... Эстер была бы уже сосватана, если бы не этот Головешка, дай ему бог долгой жизни, чтоб ему век горя не знать.

Беня. А при чем тут Головешка? Какая он спица в колеснице?

Башева. Еще бы не спица! Садись, я тебе расскажу. *(Садится.)* Только смотри — никому ни слова.

Беня. Конспирейшн[1], тетушка, вот вам моя рука.

Башева. Даже Эстер не должна об этом знать, слышишь?

Беня. Олл райт!.. Будьте спокойны, тетя!

Башева. Этот Головешка — выкрест и говорит по-еврейски. Поэтому его поставили к нам за городового, чтобы он, значит, присматривал за евреями. Он и присматривает, то есть дерет с живых и с мертвых. С тех пор как началась история с кладом, он кровь из нас сосет, ни дать ни взять — наемщик! * Недавно он заявил, что ему надоело ходить в крещеных; сказал твоему дяде по секрету, что хочет вернуться в еврейство и просит помочь за счет клада перебраться в землю обетованную; там, говорит, он примет иудейство и женится. Угадай на ком?

Беня. Велл! На мисс смерти?

Башева. Почему на смерти, глупенький? Почему не на Эстер?

Беня. На какой Эстер?

Башева. На нашей Эстер. Она ему по душе, говорит, он подыхает по ней! Подох бы он прежде, чем подумал о ней.

Беня *(разражается смехом)*. Ну, а что дядюшка? Не схватил его за шиворот и вышвырнул за дверь?

Башева. Упаси и помилуй господи! Ты забываешь, кто такой Головешка? Твой дядя был вынужден подписать с ним бумагу, будто сразу же, как найдут клад... Понимаешь? С одной стороны Идл Торба торопит со свадьбой, берет за глотку. С другой стороны Головешка угрожает: если мы отдадим Эстер за менялу, он тотчас же доложит кому следует, и клад перейдет в казну...

---

[1] Конспирация *(англ.)*.

Беня *(покатывается со смеху)*. Тетя! Никаких сил нет выдержать! Книги надо писать про вас! Настоящий театр! Комедия! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!..

Входит Лейви Мозговоер; Башева снова принимается за постель и подушки.

Мозговоер. Я вижу, на твоего племянничка напал смех! Что с ним?

Башева *(стелет)*. У него, не сглазить бы, легко на сердце, вот он и смеется...

Мозговоер. Разве что так... Конечно, если бог помог и ты имеешь собственные поместья в Америке, с лошадьми, домами, огородами, со всяческим добром, можно и посмеяться. Конечно!.. А мне не до смеха!.. Здесь еще никто так не смеялся... Здесь люди роют носом землю! Здесь люди чахнут в заботах о хлебе насущном... С одной стороны — пан, с другой — Головешка, — нет, тут не до смеха! Еще счастье, что бог смилостивился над нами, подал нам кроху надежды, этот клад... *(Бене.)* Доброе утро, Беня! Спишь по-барски, как настоящий помещик... Видимо, у вас в Америке все привыкли спать до часу дня... Не по нас такая роскошь. Подумать только, что я успел провернуть за сегодняшнее утро! Страсть! *(Обмахивается шапкой, засучивает рукава.)*

Башева. Кто может сравниться с тобой? Ведь на твоих плечах весь мир!..

Мозговоер. И ты тут как тут! *(Башеве.)* А чего же ты хотела? Чтобы я оставил город на произвол судьбы? Чтобы я не пошел к Айзику и не закатил ему скандал по поводу его зятя? *(Бене.)* Есть тут у нас состоятельный человек, Айзик, считается богачом, у него собственный дом, — могу пожелать себе иметь столько денег, сколько у него долгов по этому дому. И вот он раздобыл себе зятя из Литвы. Грамотей, говорят, зять, прекрасный знаток библии! Пописывает, в газеты пописывает... И вот я только что добился у него, то есть у тестя, чтобы зять ничего не писал о кладе. Как только о нем пронюхают, люди ринутся сюда, как за живой водой! Со всех сторон...

Беня хочет что-то сказать, Мозговоер не дает.

Погоди, я еще не кончил. Оттуда мне пришлось бежать к Идлу по делу Авремеле-меламеда.

Беня. А этому чего надо?

Мозговоер. Того же, что всем: долю в кладе, то есть он хочет полторы доли. У него есть свой довод: если бы не он, наследничек Идла не нашел бы червонца на кладбище. Я их еле помирил. Терпеть не могу ссор. Червонцем больше, червонцем меньше — пусть все евреи имеют свою долю. Как в писании сказано: «Всяк во Израиле к части причастен». Ты еще помнишь хоть слово из библии или ни в зуб ногой?

Беня. У нас в Америке...

Мозговоер (*перебивает его, к Башеве*). У них в Америке!.. Можно подумать, что у них в Америке другое небо и другой владыка небесный... (*Бене.*) Слышишь, что я тебе скажу? Я не гордец и тем более не хвастун. Пора тебе уже немного знать меня: ручаюсь, — все то, что вы, кажется вам, знаете, мы уже давным-давно знали да позабыли. И вот тебе доказательство: пусть только всевышний сотворит чудо, и мы найдем клад. Увидишь, — половина Америки нагрянет сюда к нам искать клады...

Беня. Дядюшка! Это — мистэйк! [1]

Мозговоер. Что? Что? Пустяк?

Беня. Мистэйк — ошибка... У нас в Америке не верят в подобные глупости. У нас есть поговорка: «Гелп юр зелф...» [2]

Мозговоер. А что это означает на нашем, на человеческом языке?

Беня. Это значит: всякий за себя, каждый должен помочь самому себе.

Мозговоер (*смеется от души, к Башеве*). Что ты скажешь про своего племянничка? Ну и новинка, стоило везти ее аж из Америки! (*Бене.*) Возьми открой «Поучение отцов», и ты найдешь, что говорили наши древние мудрецы: «Им эйн ани ли — если не я для себя, ми ли — кто для меня?»

---

[1] Ошибка! (*англ.*)

[2] Помоги сам себе... (*англ.*)

Беня. Велл! По-видимому, они это транслэйтэд[1] с английского...

Мозговоер (*возмущенно*). Что? Наши изречения взяты в вашей Америке? Надо быть наглецом, чтобы говорить такое о нашем священном талмуде!..

Башева (*боясь скандала*). Он разве сказал что-либо, упаси боже, про талмуд?

Мозговоер (*обрушивает свой гнев на жену*). Ты ведь не больше, чем глупая женщина, зачем ты вмешиваешься в разговор мужчин? Твое место там, среди горшков!..

Беня (*заступается*). Дядюшка, почему вы так оскорбляете тетю? Она ведь — леди...

Башева (*Бене*). Ну и ребенок же ты! Разве дядя хотел сказать этим что-либо дурное? Упаси бог! С самого первого дня после нашей свадьбы я только и слышу от него: «И ты туда же», «Куда суешься — и без тебя обойдутся»... Однако мы из-за этого к раввину за разводом ни разу не ходили... Но, боюсь, от всех этих разговоров завтрак не поспеет. Надо пойти глянуть, что делается на кухне у Зелды... (*Идет на кухню.*)

Башева ушла.

Мозговоер. Тетенька твоя, ты уж не взыщи, хоть и безобидная женщина, но тут у нее малость не хватает. (*Показывает пальцем на лоб.*) Все женщины таковы: волос долог, ум короток. Такими их бог создал, непоправимое дело...

Беня. У меня к вам дело, дядюшка. Очень серьезный разговор...

Мозговоер. В самом деле? И у меня к тебе... Садись, потолкуем. (*Оба садятся, один против другого.*)

Беня. Велл! Говорите вы первый, вы — старше.

Мозговоер. Скажи-ка мне, Беня, ты веришь в сны?..

---

[1] Перевели (*англ.*).

Беня. В сны?.. *(Ошеломлен. Хочет что-то сказать, но Мозговоер перебивает его.)*

Мозговоер. Сам я, можешь не сомневаться, никогда в сны не верил. Не верю я в эти глупости, в бабью болтовню, — колдовство, ворожбу, сглаз... Я верю только в то, что вижу собственными глазами, могу пощупать рукой. Есть на свете глупцы, к примеру, которые пугаются, когда им пересекают дорогу с пустым ведром, или впереди пробегает черная кошка, или встречается поп. Я смеюсь над всеми этими пустяками. Пусть десять пар пустых ведер, сто черных кошек, тысяча попов пересекут мне дорогу десять раз туда и обратно — мне нипочем! Вот такой я человек!

Беня. Велл! Так и должно быть...

Мозговоер. Так должно быть, и так оно есть на самом деле. Но что ты скажешь, дорогой мой удалец, вот о чем? Двадцать один год прошел с тех пор, как мой отец, да будет ему светло в раю, умер; ни разу за все эти годы он не являлся мне во сне. А с некоторых пор, с того самого времени, как у нас объявился клад, да еще за ночь до того, мой отец, мир праху его, стал являться мне каждую ночь... Погоди, я знаю, что ты хочешь возразить. Поверь, я понимаю столько же, сколько ты, а то и немного больше. У нас в талмуде буквально так и сказано: «Нет сна без доли вздора». Но у меня не обычный сон, понимаешь ли; я вижу его, отца моего, вот так, как вижу тебя, слышу его речь, узнаю его голос...

Беня. Чего же он от вас хочет?

Мозговоер. Ничего. Чего ему хотеть? Что мертвый может хотеть? Просто так, беседует со мной, говорит со мной, как я с тобой. Обо всем говорит он со мной, даже о тебе.

Беня. Обо мне?

Мозговоер. А почему бы и нет? Он спрашивает: что тут делает племянник моей жены?

Беня. Что же вы ему отвечаете?

Мозговоер. Я отвечаю: он приехал сюда из Америки почтить могилы предков.

Беня. Что же он на это говорит?

Мозговоер. Он говорит, что это очень хорошо с твоей стороны. У него были, спрашивает он, порядочные родители?

Беня *(еле сдерживаясь)*. Так-таки спросил, этими самыми словами?

Мозговоер. А то что же? Разве я стану выдумывать? Мозговоеры не лгуны, — они никогда не были в Америке... Прошлой ночью он явился ко мне с новостью...

Беня. Кто?

Мозговоер. Как это кто? О ком мы говорим?

Беня. О вашем отце, который на том свете.

Мозговоер. Что же ты спрашиваешь: кто?.. Приходит он ко мне и говорит так: «Зачем это евреи еженощно бродят по кладбищу?..» Я отвечаю: «Мы ищем клад...» А он: «Почему же они копают возле могилы старого раввина?..» Я говорю: «Потому что там был найден червонец». Тут он мне и говорит: «Глупцы! — Слово в слово, как я тебе передаю. — Глупцы! Почему бы им лучше не поискать возле меня?..»

Беня. Что же дальше?

Мозговоер. Американский умник! Чего бы ты еще хотел? Чтобы отец с того света взял меня за руку и подвел прямо к месту, где лежит клад? Я же не твоя тетя, чтобы верить во всякое колдовство... О! Вот и она, — легка на помине. Будь помянут мессия, и он бы, видимо, явился!

Входит Башева, перепуганная.

Башева. Какая-то женщина там пришла, боюсь, уж не сумасшедшая ли, словами сыплет, слово со словом не вяжется, — ни смысла, ни толку.

Мозговоер. Чего же ей от меня нужно?

Башева. Не знать бы мне лиха... Плетет что-то несуразное: «Червонец... клад... наполеон...» Притащилась сюда пешком из маленького местечка... Была на базаре, ее и отослали сюда, к тебе...

Мозговоер. Конечно, Привереда! Вот лиса!.. Впусти эту женщину. Послушаем, чего она хочет?..

Башева ушла.

(Бене.) Вот так, как видишь, — и днем и ночью. С тех пор как объявился клад, здесь бурлит, как в котле. Все лезут в дольщики, отбою нет!.. Такова уж сила золота! *(Вздыхает.)* А я — один я! — должен все это выдержать, каждого сумасшедшего выслушать!.. Ты думаешь, клад — это легкий хлеб? Думаешь, это так просто — евреям отведать счастья? Боже упаси, у меня и в мыслях нет согрешить перед всевышним. Пошли мне бог столько добра, сколько доброты у нашего бога, но он любит медлить, тянуть: «Клад, — говорит он, — я вам так и быть, деточки, дам. Но раньше, говорит, вы у меня малость натерпитесь, глаза у вас на лоб вылезут!..»

Через внутреннюю дверь входят Башева и Элька.

(Эльке.) Чего вам нужно? Кто вы такая? Откуда вы пришли? Кто вас сюда прислал?

Элька *(Башеве)*. Скажи на милость, так-таки все — в один раз! *(Мозговоеру.)* Чего мне нужно — вы мне не дадите. Кто я и откуда — вы сейчас узнаете, а прислали меня сюда мои несчастья. Сама я вдова из маленького местечка, недалеко отсюда, величиной оно с горошину, а видом точь-в-точь мои горести. Звать меня Элька, промышляю редким товаром — хлопотами, заботами и египетским мором, про врагов наших будь сказано, еле-еле выколачиваю на кусок хлеба, и то не каждый день, потому что пять роточков хотят жевать, а жевать — это не зевать...

Мозговоер *(Башеве)*. Эта женщина говорит без остановки, как по писаному... *(Эльке.)* Будьте любезны, женщина, скажите покороче, чего вы хотите, потому что я человек занятой, мне некогда!

Элька. Подумаешь, всем им тут некогда, все занятые люди, еле успевают барыши считать. Выходит, я одна лодыря гоняю, только тем и занята, что слоняюсь без дела, баклуши бью...

Мозговоер. Я же просил вас — покороче. Два-три слова — и без обиняков.

Элька. Два-три слова хотите? И без обиняков? Отдайте мне мое, то, что я потеряла. Я потеряла, а вы нашли. В несчастье одного — счастье другого...

Мозговоер (*Бене*). Эта женщина говорит притчами.

Элька. Не притчами, а кровью сердца говорю. Потому что этот червонец — мое единственное состояние, единственное, что осталось в наследство от мужа. Он был... Золотых дел мастером был он и покупал... Золотой лом покупал он, переплавлял монеты... Этот червонец я берегла пуще зеницы ока. Но если суждена беда, ее не минешь. В день семнадцатого тамуза я пришла навестить могилы предков. Я бываю тут каждое лето. У меня немало родных и на старом кладбище и на новом кладбище. Раньше всего побывала я на старом кладбище, там лежат отец и мать, а отец и мать — это первым долгом, а уж потом пошла на новое кладбище, к мужу. Муж может и подождать, я его небось дольше ждала...

Мозговоер. Женщина, либо скажите, чего вам нужно, либо убирайтесь отсюда.

Элька. Тише, не кричите, а то бога разбудите...

Башева (*видя, что Мозговоер раздражается, успокаивает его*). К чему тебе расстраиваться?.. (*Эльке.*) Скажите мне, милая, чего вы хотите?

Элька. Червонец отдайте! Верните мне червонец моего мужа. Это все мое состояние! Уж как его берегла — как сокровище, как святыню, — думала, старшей дочери будет свадебный подарок, золотой червонец, наполеон... Поди знай, что на кладбище, на могиле отца-матери, я его потеряю...

Беня (*Мозговоеру*). Слышите? Червонец... На старом кладбище... Наполеон...

Мозговоер. Ну да, у нее разве слово со словом вяжется?

Элька. Вяжется, да еще как вяжется, только бы дали слово сказать... (*Бене.*) Дай вам бог здоровья, выслушайте меня, я бедная женщина, вдова с пятью детьми, сиротами...

Беня. Олл райт! Садитесь вот сюда и расскажите нам спокойно и коротко, чего вы желаете. (*Пододвигает ей стул.*) Садитесь.

Элька. Спасибо. Могу и постоять. (*Садится на самый край стула.*) Пошли вам бог долгой жизни, вы

хоть даете слово сказать. Мало того что я так несчастна, меня никто до конца и выслушать не хочет. Это — все мое состояние, все, что муж мне оставил, он был золотых дел мастер и чахоточный, плавил монеты...

Беня. Велл! Это мы уже слышали. Перейдите к делу, сразу к делу.

Элька. К делу так к делу. Я сюда пустилась на могилы предков. И то сказать, единственное удовольствие — выплакаться вволю над святыми могилами. Сначала побывала на старом кладбище, — отец и мать это — первым долгом, досыта наплакалась, пусть они знают, как мается их дочь, попросила кантора прочитать поминальную молитву. А уплатить-то кантору надо? Ведь и у него жена и детки. Вот я и вынула свой узелок. А где женщина хранит узелок? В чулке! *(Нагибается, показывает чулок.)* В узелке было увязано все мое добро: немного мелочи, пара старых бумажных сигнаций и червонец, золотой наполеон, червонец моего мужа, единственное наследство...

Беня. Дядюшка! Вы слышите?..

Мозговоер *(смотрит на Эльку)*. Слышу, каждое слово слышу!

Беня *(Эльке)*. Олл райт! Что же было дальше?

Элька. Что было? Горе обрушилось на мою голову, горе мне, я его, видно, уронила на землю, именно там, на старом кладбище, потому что на новом кладбище, — там лежит мой муж, — когда хватилась, червонца уже и в помине не было.

Беня. Дядюшка! Вы слышите? Хорошенько слушайте!

Мозговоер. Я-то слушаю! А вот слышишь ли ты?

Беня *(Эльке)*. Ну, дальше, дальше.

Элька. Чем дальше, тем хуже. Пришла я домой чернее тучи, всю свою горечь излила на моих выродков, — они, бедняжки, жрать просят. Жрали бы черви, говорю, врагов моих. А тут услышала, что у вас в городе кипенем кипит, — клад, говорят, объявился. Где? На старом кладбище. Какой-то мальчик, го-

ворят, дурачок, нашел червонец, наполеон... Услышала я про червонец, про наполеон, — боже мой! — да ведь это же мой червонец, то есть червонец моего мужа! Надо бежать, надо лететь! На чем же мне лететь? Верхом на метле? Вот я и пришла пешком.

Беня *(вне себя от радости)*. Дядюшка! Не будь мое имя Беня, если...

Мозговоер *(перебивая его)*. Шшша! Сейчас мы кое-что услышим... *(Складывает руки на груди, обращается к Эльке.)* Ответьте-ка, женщина, на один вопрос. Только глядите мне прямо в глаза.

Элька *(смотрит ему прямо в глаза)*. Ничего я у вас не украла, и незачем мне смотреть вам прямо в глаза!

Мозговоер. Эти фокусы мы знаем! Мы тоже не лыком шиты, не вчера родились. Не заговаривайте мне зубы, а отвечайте ясно и понятно: со старого кладбища, говорите, вы отправились на новое кладбище, к вашему мужу? Так, кажется, вы сказали? Ну, а над могилой мужа вы совсем не плакали? Нет? Даже слезы не проронили?

Элька. Что значит я не плакала? Что я, каменная? Бессердечная? Или он, упаси бог, не отец моих детей?..

Мозговоер *(берется за бороду, закрывает глаза)*. Постойте-ка. Ну? А поминальную молитву над могилой мужа вы не совершили? Нет? Над мужем можно и не читать поминальной молитвы?

Элька *(Башеве и Бене)*. Смотрите, как этот еврей в меня въелся! Совсем, простите за сравнение, как судебный пристав!..

Мозговоер *(Башеве и Бене)*. Ну? Теперь-то вы уж раскусили, что это за птица? Раньше я тоже думал, что она сумасшедшая. Теперь я вижу, что тут кроется! Это — фокусы, плутовство, афера, чья-то голова тут работала, чтобы впиться в клад!.. *(Эльке.)* Скажите-ка, не к Привереде ли вы раньше заходили? Это вас Привереда сюда прислал? Не так ли?

Элька. Не знать бы мне моей нищеты, отец небесный, а вам — вашей глупости, как я не знаю никакой привереды!..

Мозговоер *(выходит из себя)*. Так? Бедняжечка! Вы совсем не знаете Привереду? Так я вам и поверил! Идемте, идемте со мной к Привереде! *(Тащит Эльку к двери.)*

Башева хочет его удержать.

Башева. Лейви! Бог с тобой! Что ты привязался к Привереде?

Мозговоер *(одной рукой отталкивает Башеву, другой тащит Эльку к двери.)* Я знаю, откуда тянется веревочка! Выродки! Жулики! Аферисты! Я устрою им такое, что чертям тошно станет!..

Элька. Сгиньте, сны недобрые! Мало мне, что ли, горя. Этого только не хватало!

Лейви Мозговоер и Элька ушли.

Беня *(хватаясь за бока, хохочет)*. Ха-ха-ха-ха-ха!..

Башева *(ломает руки)*. Тебе смешно?

Беня *(смеется еще громче)*. Неслыханно, тетя! Ха-ха-ха! Мертвые в могилах должны покатываться со смеху!.. Ха-ха-ха! Мертвецы со всего кладбища должны воскреснуть и снова умереть от смеха, ха-ха-ха!

Башева. Плакать надо, Беня, плакать, а не смеяться! Плакать! Несчастье обрушилось на нас с этим кладом, жизнь мне стала не в радость!.. Пусть бы наследничек Идла сломал себе ногу прежде, чем нашел этот червонец! Я не знала бы этой напасти! Не видишь разве, что беда, божья кара постигла моего мужа? *(Плачет.)*

Беня. Велл! Вы правы. Этот клад — несчастье, болезнь, она охватила весь город, всех жителей. Лечить их надо, врачевать, исцелить. Не будь мое имя Беня, если я их не приведу в себя. *(Размышляет.)* Есть у меня средство!.. Есть у меня план, превосходный план!.. *(Пауза.)* Все будет олл райт!.. Олл райт!!

В дверях показывается Головешка. Башева исчезает. Головешка стоит мгновенье у двери, по-солдатски берет под козырек, кланяется Бене. Беня идет ему навстречу.

Головешка. Здравия желаем! Нет вашего дяденьки? Я хотел его видеть. Дело личное!..

Беня *(подает ему руку)*. Хелло! Это вы местный полисмен Головешка? Меня очень радует знакомство. Дядюшка мне много говорил о вас, весьма хвалил!

Головешка. Вот как?

Беня. Йес![1] Он мне говорил про вас, что вы олл райт. *(Приглашает его сесть.)* Курите? *(Дает ему сигару, подносит огня.)*

Головешка. Покорно благодарю. *(Закуривает, тянет в себя носом.)* Хорошая сигара. Благовоние от нее замечательное. Что стоит в Америке такая сигара?

Беня *(показывает ему пальцем)*. Один.

Головешка. Это значит — сколько же?

Беня. Доллар.

Головешка. Сколько же это будет на наши российские денежки? Больше двух копеек серебром?

Беня. Вы хотели сказать — двух рублей?

Головешка. Га? Два целковых? Дело неслыханное!

Беня. Велл! Это, по-вашему, дорого? У нас в Америке курят сигары по пять долларов и по десять долларов...

Головешка *(не может усидеть)*. Серьезно?

Беня. О йес! Есть и такие, что курят пятидесятидолларовые...

Головешка *(вне себя)*. Гм... Дело расточительное!.. *(Пауза.)* Скажите-ка, вы ведь приезжий? Гость, значит?..

Беня. Олл райт. Чего же вы хотите?

Головешка. Вы еще не заявились? Вы должны заявиться! Непременно!..

Беня. Что я должен?

Головешка. Заявиться, явиться в полицию... Есть у вас паспорт?.. Черным по белому?..

Беня *(широко располагается на стуле, большие пальцы обеих рук в проймах жилета, ноги на столе)*. Вам-то что с того, — есть у меня паспорт, нет ли?

---

[1] Да! *(англ.)*

Головешка. Вот тебе на! *(Показывает на свою форму.)* Ведь я — полиция!..

Беня. Ай дон кер...[1] Меня это не касается... Вы будьте себе полиция, ай эс — американский ситизен...[2] Не понимаете, что это значит? Это значит, что я американский гражданин...

Головешка. Дело по делам, а суд по форме. Раз вы приехали сюда, к нам, вы должны подчиняться всем российским законам на основании предписания циркуляра его превосходительства господина губернатора...

Беня *(издает долгий свист)*. Фью-и-ить!..

Головешка *(оскорбленно)*. Вы свистите? А знаете ли вы, что за этот свист я могу выслать вас отсюда в двадцать четыре часа?

Беня. Олл райт! Тогда я дам депешу моему консулу из Юнайтед Стейтс оф Америка[3]. Это вы знаете?

Головешка. Наплевать мне на вашего консула! Здесь Головешка — консул, и губернатор, и городовой, и все на свете, черт меня возьми!..

Беня *(издает еще более пронзительный свист)*. Фью-и-ить!!

Головешка *(подскакивает)*. Что за свинство! Мальчишка я вам, что ли, что вы свистите? *(Хватается за шашку.)* Я человек в чине! Я служу казне! Дело казенное!..

Беня. Велл! Напрасно горячитесь. Знай вы то, что я знаю про вас, вы говорили бы со мной иначе...

Головешка. Вы про меня? Дело загадочное!

Беня *(встает, кладет Головешке руку на плечо)*. Мистер Головешка! Вы олл райт!

Головешка. В чем дело? Я вас не понимаю.

Беня. Моя кузина, дочь моего дядюшки, Эстер, ваша. Я вам очень многим помог.

Головешка *(потрясен)*. Вы — мне? Дело подозрительное!

---

[1] Я об этом не думаю... *(англ.)*
[2] Гражданин... *(англ.)*
[3] Соединенные Штаты Америки *(англ.)*.

Беня. Сидан! Садитесь-ка, я вам кое-что расскажу.

Оба садятся. Головешка смотрит на Беню недоверчиво.

Я знаю все; больше, чем вы себе представляете. Моя кузина не любит своего жениха, менялу. Между нами идет файт:[1] дядюшка и тетушка хотят, чтобы она вышла замуж за менялу, а моя кузина и я — не хотим. Моей кузине стало известно, что вы ее любите и готовы ради нее снова стать евреем. Вот она и говорит, что не хочет менялу, а хочет вас.

Головешка *(поправляет воротник, глаза сияют)*. Гм... Из какого источника это вам известно?

Беня. От нее самой. Надо вам знать, сэр, что мы с ней весьма дружны. Моя кузина мне очень дорога. Я всецело на ее стороне. Будь я синглмен[2], не имей я жены, сам бы на ней женился.

Головешка *(весьма обрадован)*. Вы женаты? У вас есть жена?

Беня. И двое детей, в Америке.

Головешка. Неужели? А я вас считал холостым... Дело симпатичное!.. *(Пододвигается к Бене.)* Вы так молодо выглядите, просто чудо! Скажите же мне, душечка, что она говорила вам обо мне?.. Со мной вы можете быть откровенны.

Беня *(протягивает руку)*. Гив ми юр хенд![3]

Головешка *(подает ему руку)*. В чем дело?

Беня. Дайте честное слово, что вы со мной заодно, и через три дня Эстер — ваша.

Головешка. Мамочка! Голубчик! *(Протягивает ему обе руки.)* Век вас не забуду! До гробовой доски!..

Беня. Олл райт! Главное, вы должны меня слушаться и делать все, что я вам скажу.

Головешка. Например?

Беня *(встает, говорит словно сам с собой)*. У меня есть план, хороший план... Его надо хоро-

---

[1] Борьба *(англ.)*.
[2] Холостяком *(англ.)*.
[3] Дайте мне вашу руку! *(англ.)*

шенько обдумать... Нужно сделать так, чтобы меняла сам отказался от этого брака... Нет! Необходимо, чтобы дядюшка отослал меняле брачный контракт и меняла вернул брачный контракт дядюшке. Пусть они друг другу дадут развод...

Головешка. Браво!

Беня. Не спешите, это еще не все... Менялу надо женить... *(Ударяет себя по лбу.)* Олл райт! Есть у меня для него невеста — восторг! *(Отпускает Головешке увесистый удар по плечу.)* Ой, и невеста же у меня для него!!! *(Бегает по комнате и смеется, смотрит в окно.)* Вон идет сюда дядюшка. *(Подходит к Головешке.)* Вы пройдите к дядюшке, поговорите с ним о ваших делах, а я переоденусь и выйду на улицу... Мы с вами погуляем и обдумаем наш план со всех сторон... Ю эндэрстэнд? *(Подает ему руку.)*

Головешка *(трясет его руку)*. Я с первой же минуты разглядел, что вы молодчина!.. Я с вашим дяденькой переговорю, скажу ему пару слов и буду вас дожидаться на углу... До приятного свидания! *(Уходит.)*

Беня *(сбрасывает с себя халат, быстро переодевается, насвистывая при этом американскую песенку «Янки дудль». Надевает шапчонку на самую макушку, берет тросточку, стучится во внутреннюю дверь.)* Тетя!! Эстер!

Прибегают сначала Башева, потом Эстер.

Башева. Меня, что ли, зовешь?

Эстер. Ты меня звал?

Беня. Йес! Я вас звал... Хочу сообщить, что я — олл райт! Что вы — олл райт! Все мы — олл райт!

Башева *(дочери)*. Что он говорит?

Эстер *(матери)*. Что он задумал?

Беня. Велл! Вы меня не спрашивайте! Вы должны смотреть и молчать. Если я вечером исчезну на несколько часов — не спрашивайте, где я... Дядюшка не должен знать, что меня нет... Ю эндэрстэнд? Еще день, еще два, и клад мой! Мой! Мой! *(Обнимает сначала Эстер, потом Башеву и целует их.)*

Башева *(всплескивает руками. К дочери, во весь*

голос). Люди! Он спятил! Не видеть мне слитка золота с пришествием мессии, если он не рехнулся! Он сошел с ума!.. Весь мир сошел с ума!..

Беня весело смеется, бежит к двери, посылает издали Эстер воздушный поцелуй.

Занавес.

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Старое кладбище. Старые памятники. Одни стоят накренившись, иные и вовсе повалились; несколько старых побеленных домиков. Кладбище заросло зеленью. С одной его стороны высится гора, с другой стороны — невысокая ограда.

Вечереет. Погас последний луч заходящего солнца. Вдали, в гуще деревьев, поет кладбищенский соловей. Царит торжественная тишина, тихое уныние. Над забором показывается Головешкина голова, а следом и весь Головешка. Кто-то подталкивает его снизу.

Головешка в дождевом плаще, капюшон надвинут на полицейскую фуражку.

Головешка *(тихо)*. Осторожно! Полегче! Тут недолго сорваться... Еще, упаси бог, сломаю ногу... Дело рискованное!..

Прежде чем Головешка спрыгивает, позади него показывается Беня Бен, тоже в плаще.

Беня *(спрыгивает с забора первый и протягивает обе руки Головешке)*. Хелло! Быстрей! Они могут сейчас прийти и застигнуть нас здесь, — тогда пропала вся игра. *(Берет Головешку за руки.)* Вот так, олл райт!

Оба, пригнувшись к земле, осторожно пробираются вдоль забора. Останавливаются, выпрямляются, говорят тихо. У обоих в руках маленькие фонарики.

Запомните же, мистер Головешка, что вам предстоит делать... Видите? *(Показывает рукой на один из белых домиков.)* Вы должны лечь там, за тем домиком,

где похоронен старый раввин... Там они ищут клад... Ю эндэрстэнд?

Головешка. Разумеется... Дело понятное!

Беня. Вы должны лежать тихо, не шевелясь, дожидаться минуты, когда меняла останется один... Тогда вы его назовете по имени и скажете ему то, чему я вас научил. Вы точно помните все слова?

Головешка. А как же? Я их заучил наизусть, как «отче наш»... Могу повторить, если хотите. Дело минутное!

Беня. Олл райт! Главное, голос, звук! Как из-под земли. Ю эндэрстэнд?.. Олл райт!.. А я пойду туда, где мой дядюшка рыщет вот уже несколько ночей... Я устрою ему такое, что он плюнет на менялу и отдаст свою дочь за вас. Гуд бай[1]. *(Протягивает Головешке руку.)*

Головешка *(колеблется)*. Как вы думаете, между прочим, не может со мной произойти несчастный случай? Я отродясь не был ночью на кладбище...

Беня *(с напускным хладнокровием)*. Велл! Если вы такой герой, что боитесь мертвецов...

Головешка. Вот тебе здравствуй! *(Хорохорится.)* А знаете ли вы, что я был под Севастополем? Имею награду от царя... Я...

Вдали появляются огоньки, сначала один, потом второй, потом множество.

Беня. Народ двинулся, ищут клад... Давайте спрячемся...

Расходятся в разные стороны, исчезают.

По двое сходятся с фонарями в руках все мужские персонажи комедии. Луна, наполовину скрытая тучами, заливает светлым, серебристым сиянием все поле и мрачные лица людей. Фигуры передвигаются, припадая к земле. Отдельно идет Идл Торба, ведет за руку Ицика. Люди идут медленно, тихо переговариваясь между собой.

Мозговоер, Борода, Привереда, Милостивец, Идл, Ицик.

Первая фигура. Слышите, люди, сердце мне подсказывает: уже недолго осталось искать, скоро, скоро мы будем вознаграждены. *(Вздыхает.)*

---

[1] До свиданья *(англ.)*.

Вторая фигура. Будем вознаграждены...
Третья фигура. Дай то бог! Отец небесный, уже пора...
Четвертая фигура. Уже давно пора. Но что из того?
Пятая фигура *(вздыхает)*. Ой, господи! Господи!..

Пауза.

Первая фигура. Знаете, кому я завидую? Мертвым.
Вторая фигура. Мертвым.
Третья фигура. Они лежат спокойно... Они свое отстрадали...
Четвертая фигура. Им не надо надеяться на чудеса, на клады...
Пятая фигура. Ой, боже! Боже! *(Тихо, приглушенно плачет.)*

Пауза.

Первая фигура. Люди, не кажется ли вам, что там блеснул огонек?
Вторая фигура. Блестит огонек...
Третья фигура. Мне тоже кажется, что огонек... Может, это и есть клад?
Четвертая фигура. Вам все мерещатся огоньки... Это огоньки наших собственных фонарей...
Пятая фигура. Ох, боже милостивый!.. *(Всхлипывает.)*

Пауза.

Первая фигура. Так всегда бывает: клад то покажется, то исчезнет...
Вторая фигура. Исчезнет...
Третья фигура. Вероятно, мы не удостоились у всевышнего... Или... быть может, согрешили чем-нибудь...
Четвертая фигура. Отец небесный!.. *(Вздыхает.)*

Пауза.

Первая фигура. А может, все оттого, что мы топчем святые могилы? Как по-вашему, евреи? Тут ведь лежат святые, мученики с незапамятных времен...

Вторая фигура. С незапамятных времен...

Третья фигура. И просто великие люди... Двенадцать праведников...

Четвертая фигура. А раввин — тринадцатый...

Пятая фигура. Господи милосердный!..

Огонек, показавшийся вдали, постепенно приближается. Со стороны города появляется раввин с фонарем в руке. Все окружают его.

Раввин. Добрый вечер, дети! Великий бог да будет вам в помощь.

Мозговоер *(подходит к раввину)*. Благословите нас, ребе; пусть эта ночь будет счастливее всех минувших ночей. Чует сердце мое, что приспело истинное время...

Раввин. Истинное время, дитя мое, может наступить только тогда, когда захочет он... Главное, дети мои, чтобы ваше усердие было потрачено не одного только золота ради... Золото во все времена было и будет идолом, и пришел я сюда не за тем, упаси бог, чтобы поучать вас, а чтобы предостеречь от распрей, раздоров, чтобы, упаси бог, не возникла у вас ссора в ту минуту, когда, бог даст, откроется благодать... Распри в этих случаях — отрава горькая... Доверяйте друг другу и не теряйте надежды... Берегите старые могилы и памятники, не нарушайте их покоя... Не давайте вашим голосам звучать громко, потому что ветер может донести их туда, в город, и как бы это, упаси бог, не повредило вам... Я иду домой успокоить оставшихся. Они, бедняжки, ждут не дождутся доброй вести. Дай бог мне удостоиться быть добрым вестником, — сообщить им эту радость. Доброй ночи. Доброй ночи. *(Пускается в путь, все светят ему фонарями.)*

Голос из толпы. Пусть кто-нибудь пойдет проводить ребе домой...

Раввин. Ну и дитя же ты! Человек человека не может вести... Есть тот, кто нас ведет... Он поведет и меня. *(Уходит.)*

Первая фигура. Что за раввин у нас!

Вторая фигура. И раввин же у нас!

Третья фигура. Клад, а не раввин!

Четвертая фигура. Пока у нас есть только раввин. А клада нет... Клада все еще нет...

Пятая фигура. Ох, великий создатель, отец небесный, боже милосердный, господи!..

Первая фигура. Оставьте в покое господа бога. Идите лучше туда, где копают, ищут клад...

Вторая фигура. Где копают, ищут клад...

Фигуры одна за другой спускаются под гору; понемногу они исчезают. На месте остается только первая фигура — Лейви Мозговоер.

Мозговоер *(сам с собой)*. Надо еще раз поискать вон там, у могилы моего отца... *(Берет правее.)* Быть может, покажется какой-нибудь след... *(Наклоняется с фонарем к земле, ищет в траве.)* Вот было бы чудесно, если б клад попал в руки ко мне, а не к Идлу... *(Пауза.)* Я не так бы обошелся с людьми, как этот меняла... Не сосал бы их кровь, как он изо дня в день пьет ведрами нашу... *(Вздыхает.)* Обещаю тебе, ой, господи, яви чудо... *(Выпрямляется, прислушивается.)* Кто меня окликнул?.. Или мне почудилось?.. *(Нагибается, чтобы начать поиски, как вдруг слышит странный голос, идущий словно из-под земли... Полусогнувшись, он застывает, прислушивается.)*

Голос *(нараспев)*. Лейви!.. Лейви!..

Мозговоер выпрямляется, напряженно вслушивается.

Лейви! Лейви!

Мозговоер пятится, дрожит.

Лейви, сын мой! Подойди ближе, не бойся...

Мозговоер делает шаг вперед, потом отступает на два шага, еле держится на ногах.

(Торжественно, монотонно.) Слушай, сын мой Лейви,

внимай моим словам, к тебе обращаю их: клад близок... Через два дня, не позднее, откроется он в воздаяние заслуг сестры твоей жены Златы и ее сына Бени бен-Златы, который приведет тебя прямо к кладу, если ты все сделаешь так, как я тебе скажу. Завтра на рассвете, прежде чем взойдет солнце, отошли назад брачный контракт меняле Идлу, а вечером, прежде чем солнце скроется, справь свадьбу дочери своей Эстер с ее суженым Беней бен-Златы. Он тебе и скажет, где находится клад... А теперь иди домой и не бойся Головешки: делай все, что я тебе говорю, и тогда ты будешь — олл райт...

Мозговоер (*слушает в великом страхе и волнении, роняет из рук фонарь, падает с криком*). Помогите, люди добрые!..

На крик сбегаются из-под горы все фигуры с фонарями, склоняются над Мозговоером. Шум, галдеж.

Один. Что случилось?

Второй. Упал в обморок.

Третий. Кто?

Четвертый. Лейви Мозговоер...

Пятый. Спасите его! Воды! Воды!

Шестой. Откуда здесь взяться воде? Растирайте ему руки!

Седьмой. Сжимайте ему виски!..

Все. Растирайте!.. Сжимайте!..

Мозговоера растирают и разминают.

Мозговоер (*открывает глаза, поднимает голову, садится, озирается по сторонам*). Люди! Поднимите меня!.. Я должен вам что-то сказать...

Его поднимают, он вытирает пот.

На нас снизошла благодать... Мы спасены... Мы возродились... Мы уже на пути... Вам не был слышен голос?

Один. Слышал какой-то тоненький голос.

Другой. Писк пичужки.

Третий. Воркование голубя.

Четвертый. Голос как бы свыше.

Пятый. Потусторонний голос.

Шестой. Весть о кладе...

Седьмой. Дай-то боже, господи! Уже пора!.. Давно пора!.. Нет больше сил!

Мозговоер. Ждать уже осталось меньше, чем мы ждали... Последние дни, последние дни... Идемте со мной, со мной... *(Пускается в путь.)*

Все следуют за ним.

Один *(останавливается)*. Где же меняла?

Другой. Идл Торба с наследничком? Остались, ищут...

Третий. О самой главной персоне мы и позабыли!

Четвертый. Он ищет каждый раз на новом месте... Его нельзя оставить одного...

Пятый. А вдруг он найдет?! Чем черт не шутит?!

Шестой. И промолчит.

Седьмой. А то возьмет и сбежит...

Мозговоер. Оставьте его в покое, Идла, оставьте в покое! Не он посланец божий, не он, а другой... Пойдемте к раввину, там я вам кое-что расскажу... Завтра вы, с божьей помощью, услышите добрую весть... Мы вознаграждены, евреи, мы спасены, мы спасены, мы спасены!

Идут к воротам.
Борода, Привереда, Милостивец, меламед, кантор, служка и другие уходят. Из-за горы слева появляются Идл Торба с Ициком.

Идл Торба *(ведет Ицика за руку. Пригибается с фонарем к земле неподалеку от ветхого строения на могиле старого раввина)*. Ицик, Ицик, ну?

Ицик. Что — ну?

Торба. Вот тут?

Ицик. Что вот тут?

Торба. Тут ты нашел червонец?

Ицик. Да.

Торба *(показывает несколько дальше)*. Быть может, тут?

Ицик. Да.

Торба *(показывает еще дальше)*. Может быть, тут?

Ицик. Да.

Торба *(дергает Ицика за руку)*. О, чтоб ты пропал! Где ему ни покажешь, он все да, и да, и да! *(Показывает на то же место, что раньше.)* А не вот тут?

Ицик. Что не вот тут?

Торба. Не тут ты нашел червонец?

Ицик. Нет.

Торба *(показывает несколько дальше)*. И не тут?

Ицик. Нет.

Торба. Тьфу, провалиться бы тебе, выродок! Раньше у него все было — да и да, а теперь — нет и нет! *(Выпрямляется.)* У меня уже каждая косточка ноет... Надо отдохнуть. *(Садится на землю, прислоняется к стене старого домика над могилой раввина.)*

Ицик садится несколько поодаль, играет песком.

(Сидя, озирается, говорит сам с собой). Куда это они все запропастились? Никого не видно!.. Ведь они от меня не отстают ни на минуту... Всё стерегут мою душу, боятся, как бы я не захватил клад и не сбежал с ним... А того знать не хотят, что, не будь меня, никогда бы они никакого клада и не видели. Кто ищет? Кто роет? Кто деньги дает на рытье? Кто содержит целый город нищих, побирушек, попрошаек, бедняков — один бедней другого? *(Озирается.)* Где же они?.. Может, наткнулись на новый след и хотят меня надуть?.. Дудки! Идла не так-то просто обставить! *(Встает, хочет идти, но вдруг слышит странный голос, будто из-под земли. Застывает, словно прирос к месту, не в состоянии шевельнуться.)*

Голос. Идл! Идл! Не смей сдвигаться отсюда ни на шаг. Это говорит с тобой старый раввин... Надобно тебе знать, что до тех пор, пока ты будешь женихом Эстер, клада тебе не найти. С дочерью Лейви Мозговоера счастья тебе не будет. Счастье свое ты найдешь у вдовушки Эльки. К ней тебе и надлежит уехать

завтра чуть свет, но допрежь того отошли Лейви Мозговоеру брачный контракт, а уж затем отправишься к вдове. Ей ты отдашь червонец, найденный твоим сыном Ицхоком, улестишь ее добрыми речами и женишься на ней; после этого, не медля, приведешь ее сюда, к раввину, и она перед раввином откроет, где находится клад... А с городовым Головешкой ты должен заключить дружбу, угождать ему — и дело будет в шляпе!.. *(Голос замолкает.)*

Идл Торба еще мгновение прислушивается, затем падает на землю, как подрубленное дерево.

Торба *(после короткой паузы, еле шевелит языком)*. Ицик!

Ицик увлечен игрой и не слышит.

Ицик!! Ицик!!!

Ицик. А?

Торба. Иди сюда... Подними меня...

Ицик поднимает его.

Ицик!

Ицик. А?

Торба. Где я?

Ицик. Не знаю.

Торба. Я спал?

Ицик. Да.

Торба. Мне это снилось?

Ицик. Да.

Торба. Может, я это слышал наяву?

Ицик. Да.

Торба *(озирается)*. Нет никого?

Ицик. Нет.

Торба. Где мы находимся?

Ицик. Не знаю.

Торба. Непостижимо! Ночь чудес... Ночь сплошного колдовства!.. Со мной говорил, светлой памяти, старый раввин... Странная речь!.. Знакомый голос... Гм... Вдова Элька?.. Клад-то, оказывается, у нее?! Никому ни слова!.. А то найдутся охотники... Ицик, идем домой!

Торба, Ицик уходят. Беня и Головешка выскакивают из своих укрытий.

Беня. Ну?

Головешка. Ну-ну?

Беня. Олл райт! Теперь вам нужно ехать, как мы и договорились. Там вы получите письмо от раввина о том, что вы снова стали евреем, иначе вы не можете жениться на дочери моего дядюшки. Там вы заодно проследите за менялой. Он едет жениться на вдове, которую мы ему сосватали... Ю эндэрстэнд?.. А к тому времени, когда вы вернетесь назад, я уговорю дядюшку, чтобы он отдал вам Эстерку. Если же он не захочет, я возьму вас и мою кузину на мои экспенсес [1] ко мне, в Америку, и поженю вас там...

Головешка *(обнимает его)*. Голубчик!..

Беня. Я это делаю только ради моей кузины,— ю эндэрстэнд?

Головешка. Между прочим, у меня к вам еще одна просьба.

Беня. Велл, если только это возможно...

Головешка. Мне очень жаль бросить службу. Нельзя ли, чтобы вы там выхлопотали мне такую же самую полицейскую должность городового?

Беня. Олл'райт! Только бы оказались в порядке все ваши пейперс, документы.

Головешка *(с живостью)*. Разумеется! У меня есть чистая отставка. Я ведь был под Севастополем, имею благодарность от царя...

Беня. Вот вы и — олл райт!.. У нас такой полисмен, как вы, получает точно в три раза больше... Да что я говорю? — в тридцать раз больше!

Головешка. А со стороны перепадает доходец? Дело служебное!

Беня. Да еще какой! Еще бы! У нас нет полисмена, который не владел бы двумя собственными домами, кереджем... Есть у нас полисмен — выезжает он не иначе как с двумя черными неграми: один спереди, другой сзади. Еще есть у нас один полисмен, который в три раза богаче, чем Вандербильд и Рокфеллер вместе взятые!..

---

[1] Расходы *(англ.)*.

Головешка. Мамочка! *(Бросается его целовать.)* Между прочим, а то, что я снова становлюсь евреем, не помешает по должности?

Беня. Наоборот! Это еще лучше! У нас почти вся полиция сплошь из евреев! Нет у нас ни одного полисмена не из евреев... Был один, — он, как и вы, недавно перешел в иудейскую веру ради девушки, ха-ха-ха! *(Хлопает Головешку по плечу.)*

Головешка *(отвечает ему тем же)*. Хе-хе-хе!

Оба берут друг друга под руки, осторожно идут к забору. Первым лезет Головешка. Беня подталкивает его снизу.

Беня *(подсаживая его)*. Лезьте, не бойтесь!..

Головешка. Осторожно! Тут можно, упаси бог, зацепиться плащом... Дело опасное!..

Беня. Олл райт! Олл райт! *(Лезет следом за ним.)*

Занавес.

ВТОРАЯ КАРТИНА

Просторный шалаш. Длинные накрытые столы, на столах — бутылки, стаканы, леках, варенья. За столами сидят мужчины и женщины, среди них все персонажи пьесы, кроме Идла Торбы, Ицика, Головешки, Влоцлавского и Эльки. На почетном месте — жених с невестой; Беня во фраке, в цилиндре, при белом галстуке. Под белым покрывалом сидит Эстер в белом подвенечном платье. Несколько в стороне евреи-музыканты с инструментами наготове ждут, — вот-вот их попросят играть. Между столиками с сияющими лицами снуют: Лейви Мозговоер — у него засучены рукава, шапка задрана кверху, раскраснелся и весь в поту, Башева в шелковом платке, завязанном на затылке. Они потчуют гостей. За ними следуют служка и кухарка Зелда, помогают расставлять тарелки, раскладывать ложки и вилки.

Несколько голосов. Шшша! Тише! Евреи! Ребе хочет пить лехаим!

Раввин *(с серебряным кубком в руке, ищет глазами свата)*. Лехаим, сват! Где сват?

Голоса. Сват! Сват! Где сват? Ребе хочет пить со сватом лехаим!..

Мозговоер *(услышал)*. Да вот же я! Иду. *(Подходит к раввину, берет рюмку.)*

Все собравшиеся теснятся, чтобы лучше расслышать слова ребе; лицо раввина сияет.

Раввин. Лехаим, сват, реб Лейви! Пусть всевышний наделит счастьем новобрачных! Пусть это счастье будет тебе вознаграждением за муки, что ты вынес с той поры, как нам показался свет надежды... Я должен сказать тебе в похвалу, реб Лейви, прямо в глаза, что ты подлинно верующий человек!.. У тебя вера выше рассудка... Чего ты не можешь понять умом, ты постигаешь верой... Ты образец истинно благочестивого еврея, который не задает вопросов, ибо вопросы можно задавать без конца без края... Быть может, ты и прав... Быть может, в воздаяние заслуг сына сестры твоей жены суждено, чтобы евреи воспрянули... Быть может, именно ради этого всевышний привел его сюда аж из дальних краев... Такова воля небес, и мы это видим. Видим воочию, что есть у нас великий бог, который одной рукой карает, другой — милует... Есть у нас добрый, милосердный бог, ниспосылающий целебное средство раньше, чем скажется недуг... Ведь это знамение господне, что именно в то время, когда наш владетельный граф собирается продать город, а евреи, бедняжки, так бедны и обездолены, появляется вдруг луч надежды, как в изречении ска...

Внезапно поднимается шум: Головешка явился. Раввина заглушают.

Голоса. Головешка! Головешка!

Головешка в штатском, но с полицейской фуражкой на голове; окидывает взором собравшихся и, увидев на почетном месте жениха и невесту, инстинктивно шарит по боку, где у него обычно висела шашка.

Головешка *(протяжно)*. Вот ка-а-ак! Значит, меня надули? Обвели вокруг пальца? И кто? *(Показывает на жениха.)* Мальчишка, молокосос!.. Он думает, что это ему так просто с рук сойдет?! Что я дам

себя водить за нос?! Никому еще не удавалось меня обмануть! Я — Головешка! Я вам покажу, кто я такой!.. Сейчас же бегу, надеваю амуницию, и я — опять городовой! Вы что думали? Уже избавились от меня?.. Я подам на вас! Это вы меня уговорили, это вы заставили меня опять стать евреем! Вам известно, что я человек казенный? Да вы знаете, чем это пахнет? Сибирью! Каторгой! Дело уголовное!..

Мозговоер *(Головешке)*. Не взыщите, реб Хаим-Бер, зря стращаете, — мы не из пугливых. Во-первых, у нас есть бумага, где черным по белому написано, — вы же не станете отрекаться от своей подписи, — что вы наравне со всеми нами имеете долю в кладе и обязуетесь утаить дело от казны. Стало быть, если вы донесете на нас, вы донесете на самого себя. Это — раз. Во-вторых, не делайте из себя посмешища! Клад, с божьей помощью, уже как бы у нас в кармане. Послушайтесь моего совета, и — молчок! Тогда вам кое-что достанется. Иначе же вы останетесь, понимаете ли, и в доносчиках и в дураках. К чему вам это?

Головешка. А с чего это вы вдруг нос задрали? Может быть, на основании тех слов, что вам сообщили вчера на кладбище, из могилы вашего папаши? Так знайте же, что это он!.. *(Показывает на жениха.)* Вот этот молокосос!

Мозговоер *(смеется)*. Ну и глупый же вы человек! Вы слышите звон, а не знаете, откуда он! Это был голос моего отца с того света.

Беня *(встает)*. Дядюшка, это был я.

Мозговоер *(Бене)*. Ты?

Беня. Йес!

Мозговоер *(чуть не падает)*. Башева, где ты? *(Бене.)* Ка-ка-ка-ак так? Не понимаю!

Беня. Мне очень жаль, но я обязан вам сказать, дядюшка, что не мог поступить иначе. Я видел, как вы блуждаете, а выйти на верный путь не можете, не хотите. Этот клад всех вас так заморочил, что вы потеряли рассудок. Вы стали верить в сны, в сверхъестественные чудеса. Мертвецы начали наносить вам визиты с того света, разговаривать с вами, как живые

люди. Я убедился, что словами на вас не подействуешь, бикоз вы слишком далеко зашли... И я сказал себе: олл райт! Вас надо сечь вашими же розгами, и, не будь мое имя Беня, если я не открою вам глаза и не верну вас к вашим бизнесам, бикоз этот клад нонсенс, плод вашей фантазии! Друзья мои! Ваши поиски — пустая затея, бикоз нет кладов на старом кладбище. На старом кладбище древние могилы, разбитые надгробные плиты...

В течение всего этого спича присутствующие сидят взбудораженные, переглядываются, глядят на раввина, который сидит спокойно и слушает, бросает испепеляющие взгляды на оратора. Последние его слова выводят из себя собравшихся, с разных сторон несутся возгласы.

Первый голос. Это дерзость!

Второй голос. Наглость!

Третий голос. Неслыханное кощунство!

Четвертый голос. Он потерял уважение к ребе!

Мозговоер *(который только теперь едва-едва пришел в себя)*. Получается, стало быть, что ты — мудрец и умная голова, а мы — мальчишки, глупцы, слепые люди, которые ни аза ни в чем не смыслят? *(К жене.)* Башева! Что ты скажешь — прошу, пожалуйста! — про своего племянничка? Он сделал из нас посмешище! Он из меня мочалку сделал! Получается, что твой муж, Лейви Мозговоер, которого весь мир считает умницей, к которому люди приходят за советом, ха-ха-ха, — мальчишка! Глупец!! Осел!!!

Башева. Такой бы мне слиток золота... *(Спохватывается и не заканчивает.)*

Мозговоер *(показывает на Беню и обращается к присутствующим)*. Люди! Этот мошенник шел на все единственно ради того, чтобы заполучить мою дочь, — и ничего не скажешь — это ему удалось. *(Бене.)* Это тебе удалось, Беня, зачем я стану отрицать? Ты ловко обстряпал это дело! Это я говорю тебе! Сам Лейви Мозговоер говорит тебе, что дело сделано мастерски! Так и быть, совершилось — пропало. Дай бог тебе состариться с ней в почете и богатстве. Глупо теперь говорить иное: теперь я тебе

отец так же, как и ей. *(Показывает на Эстер.)* Она твоя, ты честно заслужил ее, как наш праотец Иаков у Лавана Арамейского...* Ибо перед тем, как идти войной на Лейви Мозговоера, понимаешь ли ты меня, надо туго подпоясаться!.. Но все-таки зря ты хочешь нас убедить, что не существует никакого клада. Это ты будешь доказывать там, в Америке, а нас не уговоришь. Ты глупец из глупцов, говорю тебе! Ведь если ты приведешь даже тысячи доводов, будешь кричать и клясться всеми святыми клятвами, что нет клада, — мы разве поверим тебе? *(К толпе.)* Люди! Почему вы молчите?

Несколько голосов. Дерзость!.. Наглость!.. Нахальство!.. Бесстыдство!..

Движение среди толпы.

Головешка *(Мозговоеру)*. Между прочим, что я вам, мальчик, что ли? Я не понимаю фокусов! Вы думаете, я не знаю, что у вас с этим молокососом *(показывает на Беню)* общее согласие? Кому вы рассказываете сказки? Не видно разве, что это собачья комедия? Не понимаю, зачем ему понадобилось ради этого идиота менялы выставить меня на кладбище пугалом... А вот и он!

Приходит Идл Торба, за ним следует Элька. Оба сильно взволнованы, оба говорят одновременно, перебивают один другого. Все с недоумением глядят на них.

Торба. Вот несчастье!.. Кто-то, видимо, донес... Вы не знаете разве, что творится?

Элька. Не знаю, чего от меня хочет этот еврей? Наседает на меня... С самого рассвета... Вот докука.

Торба *(Эльке)*. Ша! Дай слово вымолвить!

Элька. А мне молчать, что ли, несчастный?..

Мозговоер *(вмешивается, хочет их унять)*. Уважайте порядок. Пусть говорит один из вас, не оба разом! Пусть он говорит, он — мужчина!

Элька *(Мозговоеру)*. Таково ваше решение? Кто вы такой? Уж не раввин ли местечковый?

Мозговоер *(присутствующим)*. Мне кажется, что это та полоумная вдова! *(К жене.)* Башева! Это она, не правда ли?

Элька. Во-первых, я не знаю, кто из нас обоих больше полоумный, я или вы? Я еще тогда вам говорила, что этот червонец — мой червонец, а вы меня назвали сумасшедшей и вздумали передать во вражеские руки, в руки городового, какого-то Головешки, пропади он пропадом! Еще счастье, что он говорит по-еврейски и берет взятки, прибрала бы его холера!

Головешка хочет броситься на нее, вспоминает, что он не при форме, и отступает.

А вдовой вы называете меня напрасно! У меня уже есть муж, жить ему сто двадцать лет. Он хоть и бестолковый, но все-таки муж, как говорится, заступник...

Торба *(перебивает ее)*. Кто тебя спрашивает? Дай сказать слово. Пусть все знают, как обстоит дело с кладом...

Голоса. С кладом?.. С кладом?.. Что с кладом?..

Торба. Плохо! Горько! Видимо, был донос... Мы с нею только что с...

Элька. Если он станет рассказывать, нечего будет слушать! Послушайте лучше меня! Сегодня, на рассвете, когда сам бог еще спал, приходит он ко мне, это чучело *(показывает на Идла Торбу)*... приносит мне червонец, червонец моего первого мужа, садится и начинает у меня выспрашивать, как я живу, сколько у меня детей и почему я не выхожу замуж? Я отвечаю: «Какой сумасшедший меня возьмет?» Он и говорит: «Я! Я, — говорит он, — состоятельный человек, можно сказать, богач...» Тогда я и говорю...

Торба. К чему им это знать? Не в этом суть. Вся суть в том, что...

Элька *(закрывает ему рот)*. Суть? У меня вся суть — в этом! Что тут говорить, привязался он ко мне, чистая докука, увел меня к нашему раввину, и мы обвенчались...

Мозговоер *(Идлу)*. Так вас ведь надо поздравить!.. Почему же вы так, второпях?

Торба. Спасибо за поздравление... Я поступил так, как мне было приказано... Таков был голос свыше...

Головешка *(бросает Идлу прямо в лицо)*. И-ди-от!!

Элька. И я твержу то же самое, хоть он мне и муж, муж по закону Моисееву. Слыханное ли дело, чтобы муж — ну, не идиот ли — повел свою жену сразу же после свадьбы на кладбище? На старое кладбище?..

Голоса. На кладбище?.. На старое кладбище?.. А что ему там делать одному на кладбище?.. Без нас? Нас обокрасть? Он вор!.. Вор!..

Торба *(красный, вспотевший, вне себя)*. Вор? Что я у вас украл?

Голоса. Хотел украсть!.. Хотел украсть клад!.. Наш клад!

Торба. Ваш клад? Какой клад? Нет уже у вас никакого клада! Ступайте смотрите, что творится на старом кладбище! Оно обложено со всех четырех сторон!.. Граф... Сам граф приехал... Видимо, донесли... На кладбище полно поляков!.. Влоцлавский тоже там... Роют... Ищут клад!..

При этих словах Головешка исчезает.
Головешка ушел. Весть вызывает сильное смятение. Собравшиеся застывают в оцепенении. Никто не может с места двинуться, никто не может слова выговорить. Исключение составляет один Лейви Мозговоер, который мгновенно вспыхивает.

Мозговоер. Люди! Не сойти мне с этого места, если я не знал, что этим кончится!.. *(Жене.)* Башева! Что я тебе говорил?.. Ой, мои сны! Мои сны!..

Башева. Такой бы мне слиток золота привалил с пришествием мессии!

Мозговоер *(Бене, издали)*. Ну, умник ты мой из Америки! Теперь-то ты уже видишь? Теперь-то ты уже не станешь отрицать, что есть клад!.. *(Раввину.)* Ребе! Посоветуйте, что делать? Куда идти? Куда бежать? *(Засучивает рукава, готов бежать куда глаза глядят.)*

Начинают волноваться и остальные. Мужчины вздыхают. Женщины ломают руки, иные тихо плачут.

Раввин *(спокойно, с сияющим лицом, твердо)*. Никуда не нужно идти. Никуда не нужно бежать.

Нужно уповать на всевышнего; если всевышний захочет, совершится чудо: они будут искать, искать и ничего не найдут, точно так же, как мы искали, искали и до сих пор ничего еще не нашли... Дети мои! Сколько раз я вам говорил: у нас есть великий бог! У нас есть всемогущий бог!..

Мозговоер *(воодушевляется словами раввина)*. Люди добрые! Раввин прав! У нас есть великий всемогущий бог!

Голоса. Великий бог! Всемогущий бог!

Раввин *(Лейви Мозговоеру)*. Сегодня, реб Лейви, у тебя торжество, значит, ты обязан веселиться!.. *(К остальным.)* И вы также обязаны веселиться у еврея на торжестве. Богоугодное дело — увеселять жениха и невесту! Богоугодное дело!

Мозговоер. Клянусь жизнью, ребе прав! Люди! Пусть будет весело! *(К капелле.)* Музыканты! Фрейлехс, еврейскую!

Голоса. Еврейскую! Еврейскую!..

Музыканты играют «еврейскую». Лейви Мозговоер, подняв полы кафтана, танцует «хасидскую». Ему навстречу, с кротким лицом, двигается, помахивая платочком, Башева. В этом танце они изливают всю свою душу. Присутствующие воодушевляются, хлопают в такт танца.

Раввин глядит, возведя очи горе, его лицо сияет.

Медленно падает занавес.

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

Шарж в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мистер Черкис — преуспевающий («оллрайтник»).
Миссис Черкис — его жена.
Мистер Квочка — учитель древнееврейского языка.
Человек с улицы.
Два свидетеля.

Место действия: провинциальный город в Америке.
Время действия: наши дни.

В гостиной, в кресле-качалке, с сигарой во рту, сидит, задрав ноги вверх, мистер Черкис, крепко сложенный мужчина средних лет, элегантно одетый. Против него, тоже в кресле-качалке, сидит миссис Черкис, грузная особа с тройным подбородком. Оба раскачиваются в креслах.

Мистер Черкис *(глядя на часы)*. Не могу понять, что произошло с учителем. Обещал прийти вместе с раввином, тем самым, что продает свою долю в царствии небесном, а его все нет и нет. Уж не раздумал ли он?

Миссис Черкис. Пустяки! *(Зевает.)*

Мистер Черкис. Как это пустяки? Бизнес есть бизнес.

Миссис Черкис. К чему тебе этот бизнес, Джо? Деньги бросать на ветер?!

Мистер Черкис. У тебя все деньги да деньги. Надо же когда-нибудь посмотреть и немного дальше своего носа. Ты живешь только сегодняшним днем. А я вот люблю заглядывать в будущее. Вспомни, кем мы были тридцать лет назад, когда только что приехали в эту страну и торговали всякой мелочью вразнос. Тогда мы были простые евреи, мы ничем не отличались от всех прочих. А теперь?! *(Встает, шагает по комнате.)* Какие мы теперь, с позволения сказать, евреи? Ни субботы, ни праздников, ни молитвы, ни поста — ничего! День и ночь только и знаем, что резаться в покер, или пинокль, или другие игры. Нет того, чтобы подумать о загробной жизни. Что ждет

нас впереди, через сто двадцать лет, когда нас не будет в живых? Кто прочтет по нас поминальную молитву?

Миссис Черкис. То есть как это? У нас нет сыновей?

Мистер Черкис *(остановившись)*. Эти шалопаи будут за нас молиться? Еще чего захотела?!

Миссис Черкис. Что ж, Джек, пожалуй, не будет. Но Максик? Это же золотой мальчик, благословение божье!

Мистер Черкис. Макс будет читать по нас поминальную молитву?

Миссис Черкис. Безусловно. Я в этом уверена.

Мистер Черкис. Боюсь, что нет. Первые семь дней еще туда-сюда. Но после — никогда!

Миссис Черкис. Безусловно, будет.

Мистер Черкис. Безусловно, нет.

Миссис Черкис. Безусловно, да.

Мистер Черкис *(стучит кулаком по столу)*. Говорю — никогда, значит — никогда!

Раздается стук в дверь.

Оба одновременно. Кам ин — войдите!

Входит учитель, мистер Квочка, подвижной человек с худощавым лицом и беспокойными глазками. По внешнему виду не то портной, не то раввин.

Гау-ду-ю-ду, господин учитель? Садитесь, плиз [1].

Мистер Квочка *(садится, вытирает пот с лица)*. Ну и жарища! Еле-еле уговорил этого человека. Измаялся, пока разыскал его. Поверьте, я бы за такой труд и десяти долларов не взял, — не будь мое имя Квочка, если я лгу!

Мистер Черкис. Это и есть тот самый праведник, о котором мы с вами говорили?

Мистер Квочка. Он самый. Но, знаете, он вдруг, ни с того ни с сего, взял да раздумал. Не хочет. Ни за какие деньги. Хоть золотом его осыпь. Он

---

[1] Пожалуйста *(англ.)*.

говорит, что не нужны ему деньги. Деньги — сегодня есть, завтра их нет, а царствие небесное — вечно. Пришлось насесть на его жену. Ну, женщина, конечно, остается женщиной. Хоть с трудом, но все-таки уломал ее, за двести долларов, — и то не вся его доля в царствии небесном, а только половина... Зато поглядели бы вы на этого праведника, — в жизни ничего подобного не видывали! Одет, как турок, а говорит все больше по-древнееврейски... Десять лет прожил в Палестине. Приехал сюда навестить детей, скоро едет обратно в Палестину... Редкого благочестия человек, день и ночь над священными книгами... Если уж отрывается от книги, то только чтобы помолиться. Строго соблюдает все посты, два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, — маковой росинки в рот не берет... Совершеннейший бессребреник, — в денежных делах ничего не смыслит.

Мистер Черкис. А запросить двести долларов, — на это у него ума хватило?!

Мистер Квочка. У него? Помилуйте, да что вы! Он и понятия не имеет о деньгах. Он к этим делам никакого касательства не имеет. Это с ней, с его благоверной, я договорился насчет цены... Итак, мистер Черкис, готовы ли вы приступить к церемонии покупки царствия небесного?

Мистер Черкис. Позитивли! Ну конечно. Но у меня к вам маленькая просьба. *(Робко и нерешительно.)* Мне бы хотелось, чтобы на этой церемонии присутствовал, если это возможно, раввин... настоящий раввин...

Мистер Квочка *(испуганно)*. К чему лишние расходы? Кажется, я у вас состою учителем не первый год? Поверьте, все законы, касающиеся покупки и продажи царствия небесного, я изучил досконально, как величайший раввин. Согласно закону, для передачи своих прав на причитающуюся долю в царствии небесном требуется только взаимный обмен рукопожатиями в присутствии двух свидетелей, — больше ничего.

Мистер Черкис. Именно так предписывает закон?

Мистер Квочка. Таково точное указание закона. Именно так написано черным по белому в книге загробных обрядов, в главе «Дунь-плюнь»... Можно пригласить их сюда? Они дожидаются в зале.

Мистер Черкис. Олл райт. А мне что делать?

Мистер Квочка. Вам? Ничего. Потрудитесь только, будьте любезны, одеться по-праздничному, как если бы вы собирались в синагогу. Попрошу вас также надеть шляпу. Миссис я тоже попрошу надеть что-нибудь на голову, — прикрыть волосы. А перед тем, как переодеваться, вам следует помыть руки, согласно установленному обычаю, как моют руки перед едой.

Мистер Черкис. Велл! *(Лицо его принимает строгое, благочестивое выражение.)* А что мне говорить при этом?

Мистер Квочка. Говорить вам ничего не придется. Но думать вы должны только о боге, о смерти, о загробной жизни.

Мистер Черкис *(с той же постно-благочестивой миной)*. Олл райт. *(Встает.)* Скажите, может быть, мне надо принести с собой псалтырь или, — как вы там его называете? — молитвенник, что ли?..

Мистер Квочка. Ровно ничего. Вам следует думать только об одном — о смерти, о загробной жизни. Придет кто-нибудь по делу — гоните его. Позвонят по телефону — не отвечайте. Лучше всего — снимите трубку. А вам, миссис Черкис, тоже не следует заниматься земными делами: не разговаривайте с прислугой, да и с мужем избегайте говорить, думайте только о смерти.

Мистер Черкис. Олл райт. Переменить костюм — дело десяти — пятнадцати минут, не больше. *(К миссис.)* Кам-ин — пойдем. Время не ждет.

Оба уходят. Вслед за ними уходит и учитель, который быстро возвращается в сопровождении Человека с улицы. Это — высокий, краснощекий, здоровенный детина, с виду похожий на хорошо откормленного мясника либо на дюжего ломового извозчика. На нем какой-то странный, причудливый халат, голова повязана куском пестрой материи в виде чалмы. Красивая окладистая борода и длинные пейсы украшают его лицо, но нетрудно заметить, что и борода и пейсы приклеенные. Вслед за Человеком с улицы идут два свидетеля — тоже люди с улицы.

Мистер Квочка *(приглашает свидетелей садиться, а Человека с улицы уводит поближе к рампе и говорит ему на ухо — так, чтобы свидетелям не было слышно)*. Не мешало бы вам все же привести в порядок бороду... Слишком уж заметно, что она приклеенная...

Человек с улицы *(смотрится в зеркало)*. Виноват парикмахер проклятый, черт бы его побрал! Говорю ему: сделай мне такую бороду, какую ты делаешь актерам в театре, — так, чтобы ничего не было видно. *(Поправляет на себе бороду и пейсы.)* А что мне надо делать? То есть что мне придется говорить?

Мистер Квочка. Ничего, решительно ничего! Чем меньше вы будете разговаривать, тем лучше. Встаньте, прошу вас, лицом к стене *(показывает, как надо встать)* и делайте вид, что вы шепчете молитву.

Человек с улицы. Что это вдруг молитву, ни с того ни с сего?

Мистер Квочка. Предвечернюю молитву.

Человек с улицы. Предвечернюю молитву в середине дня?

Мистер Квочка. Набожные люди начинают предвечернюю молитву после полудня.

Человек с улицы. Олл райт. Вы — учитель, вам и книги в руки. Но я не знаю наизусть ни одной молитвы.

Мистер Квочка. И не надо. Ваша обязанность только стоять лицом к стене, шептать что-нибудь и время от времени испускать вздохи, как полагается благочестивому еврею во время молитвы... Умеете вздыхать?

Человек с улицы. Еще бы! Кто этого не умеет? Я как начну вздыхать,— ого! — от каждого вздоха вы у меня в обморок упадете...

Мистер Квочка. Слишком громко не годится. Вот как надо вздыхать. *(Показывает, как надо.)* Говорить надо как можно меньше. А если уж придется сказать что-нибудь, говорите только по-древнееврейски.

Человек с улицы. Но я по-древнееврейски — ни бельмеса. Откуда мне знать древнееврейский? Со

своими лошадьми я никогда по-древнееврейски не разговаривал.

Мистер Квочка. Осел вы этакий! Хозяева понимают по-древнееврейски не больше, чем вы. Вам только надо невнятно лепетать что-нибудь из псалтыря или молитвенника, — все, что на ум взбредет. Они подумают, что вы говорите по-древнееврейски.

Человек с улицы. Олл райт. Я буду сыпать стихами из молитвенника. Но боюсь, как бы мне не рассмеяться.

Мистер Квочка. Боже упаси! Не смейте и подумать об этом! Вы поставите в ужасное положение и себя и меня... Тсс!.. Идут.

Человек с улицы становится лицом к стене. Входит мистер Черкис, за ним его супруга. Он — в новом костюме, в цилиндре. На ней брильянты и драгоценности, на волосах — белая вуаль. У обоих строгие, набожно-постные мины. Оба почтительно разглядывают человека в причудливом одеянии.

Мистер Черкис *(тихо к учителю)*. Это он и есть?

Мистер Квочка. Можете говорить громче. Во-первых, он чуть-чуть глуховат. А во-вторых, он теперь углубился в молитву. Можете хоть из пушки палить, — ничего не услышит.

Мистер Черкис. Скажите пожалуйста! А долго он будет молиться?

Мистер Квочка. Нет, недолго. То есть молиться-то он молится часа три-четыре подряд, а иногда и все пять, но теперь это продолжится считанных несколько минут. Это ведь еще не молитва, а только приготовление к молитве.

В эту минуту раздается такой оглушительный вздох, что супруги Черкис испуганно вскакивают с мест.

Миссис Черкис. Послушайте, мистер учитель, мне хотелось бы спросить вас кое о чем. *(Мнется, не решаясь сказать.)*

Мистер Квочка. А именно, миссис? Что бы вы хотели узнать от меня? Какой-нибудь закон, касающийся царствия небесного?

Миссис Черкис. Да, это касается царствия небесного и... меня самой... Скажите, пожалуйста, из той доли царствия небесного, которую мой муж покупает у этого праведника, перепадет что-нибудь и на мою долю?

Мистер Квочка. Боже сохрани! Жена участвует в мужниной доле царствия небесного лишь в том случае, если муж сам, своими заслугами, то есть молитвами, постом, усердным изучением талмуда либо щедрой благотворительностью, заслужил царствие небесное. В купленном же царствии небесном жена не разделяет прав мужа, равно как и муж не разделяет прав жены.

Миссис Черкис. Вот как? *(Сердито.)* Где же справедливость?

Мистер Квочка. Уважаемая миссис, таков закон. Так, именно так записано в книге «Чудес», трактат «Гуммиарабикум», глава «Царствие небесное». Я тут ни при чем.

Миссис Черкис *(ласково и вкрадчиво)*. Посоветуйте же мне, милый мистер учитель, что мне делать, чтобы иметь хоть маленькие права на царствие небесное?

Мистер Черкис *(жене)*. Не понимаю, что тебя беспокоит? Разболталась ни с того ни с сего. Время уходит на всякие пустяки.

Миссис Черкис *(сердито)*. По-твоему, это пустяки?.. Сам-то он себя обеспечил царствием небесным по горло, а до жены ему и дела нет. Никакого дела! Сам будет восседать, как граф, в райской обители, вместе с другими богачами и богачками, будет играть с ними, бесстыдницами, в покер или пинокль, а меня, бедную, будут жарить в аду в раскаленной смоле? Но что ему до этого? *(Всхлипывает.)*

Мистер Черкис *(сочувственно)*. Плиз, миссис, успокойся. За свои деньги ты можешь купить для себя лично какую-нибудь часть царствия небесного у этого самого праведника. Раз он уж пошел на такой бизнес, пускай идет до конца!

Мистер Квочка *(делает сочувственную мину)*. Боюсь, он не согласится... Спрошу-ка его. *(Подходит*

к Человеку с улицы, говорит ему на ухо очень громко, как глухому.) Простите меня, реб Арн бен-Мойше, что я прерываю вас. Эта миссис просит уступить ей хоть какую-нибудь часть из оставшейся у вас доли царствия небесного... Так как ее муж уже имеет половину вашей доли, то справедливость требует, чтобы жена получила хоть половину того, что у вас осталось.

Человек с улицы. «Адойн ойлом ашер молах...» [1]

Мистер Квочка. Он говорит: тогда ему самому останется царствия небесного не больше наперстка.

Человек с улицы. «Нишмас кол хай дворейх...» [2]

Мистер Квочка. Он, быть может, согласится, если ему заплатят за четверть, как за половину.

Миссис Черкис. Вот так бессребреник! Вы же говорите, — он в денежных делах ничего не понимает. А торгуется, как будто быка продает. За четверть следует платить, как за четверть. Хватит!

Человек с улицы. «Кол ханшомо тхалэл йо» [3].

Мистер Квочка. Он говорит: за четверть — полцены. Это выходит ровным счетом сто долларов, — не более и не менее.

Миссис Черкис. Почему за четвертую долю полцены? Этого я никак не пойму.

Человек с улицы. «Ашрей иойшвей бейсэхо...» [4]

Мистер Квочка. Он говорит: половина от половины — это и есть четверть.

Миссис Черкис. Скажите ему, что ради меня он должен был бы уступить дешевле. Хватит и полсотни.

Человек с улицы. «Лой омус ки эхье ваасапер...» [5]

---

[1] «Владыка мира, который царствовал...» *(древнееврейск.)*

[2] «Душа всего живущего будет благословлять...» *(древнееврейск.)*

[3] «Всякая душа да восславит бога» *(древнееврейск.)*.

[4] «Благословенны обитающие в доме твоем...» *(древнееврейск.)*

[5] «Не умру, а буду жить и рассказывать...» *(древнееврейск.)*

Мистер Квочка. Он и слышать не хочет.

Мистер Черкис. Не хочет — не надо, обойдемся без этого.

Человек с улицы. «Хойду лаадойной ки тойв»[1].

Мистер Квочка. Он сказал: «Тойв», — ладно. Будь по-вашему, значит.

Миссис Черкис. Раз так, хватит с него и сорока долларов.

Человек с улицы. «Ки лэойлом хасдой»[2].

Мистер Квочка. Он сказал, ради вас он согласен. Теперь можно приступить к церемонии. *(Делает знак свидетелям. Те подходят.)*

Первый свидетель. Нас пригласили быть свидетелями у мистера Черкиса, и за это была условлена плата по три доллара каждому. Но так как теперь свидетели нужны не только мистеру, но и миссис, мы требуем двойной платы.

Второй свидетель. Или хотя бы по пяти долларов на брата.

Миссис Черкис. Вот как? Чего захотели!

Мистер Черкис. Забастовка, значит? Против забастовщиков у нас найдутся скебы-штрейкбрехеры.

Мистер Квочка *(шепчет что-то свидетелям на ухо)*. Олл райт. Теперь мы можем приступить к делу, мистер Черкис. Будьте любезны, подойдите сюда. Вам полагается стоять вот здесь, по правую руку.

Мистер Черкис становится по правую руку.

А вы, миссис, пожалуйте сюда, прошу вас. Становитесь по левую руку.

Миссис Черкис становится по левую руку.

(К Человеку с улицы.) Реб Арн бен-Мойше, будьте столь любезны, подойдите ко мне.

Человек с улицы подходит к нему и испускает глубокий вздох.

Теперь, многоуважаемые господа, я должен сказать вам несколько поучительных слов, дабы вы знали, что

---

[1] «Возблагодарите господа, ибо он добр» *(древнееврейск.)*.
[2] «Ибо навеки милость его» *(древнееврейск.)*.

вам надлежит сейчас делать и как себя вести: я обращаюсь к вам обоим. Все ваши помыслы должны быть устремлены в грядущее, — в загробную жизнь. Вы должны думать только об ожидающей вас смерти, о том последнем смертном часе, когда душа отделится от тела и вы вступите в райскую обитель, дабы вкушать там блаженство царствия небесного, уступленного вам добровольно, без всякого принуждения, многоуважаемым реб Арн бен-Мойше. Ни о чем другом — о хорошем, как и о дурном — вы не должны думать. Ни о чем, кроме загробной жизни. Это во-первых, а во-вторых, будьте столь любезны, протяните правую руку многоуважаемому реб Арн бен-Мойше и отвечайте мне, принимаете ли вы добровольно, без принуждения, ту долю царствия небесного, которую он преподносит вам в дар? Скажите «да».

Мистер Черкис. Йес.

Мистер Квочка. Не йес, а да.

Мистер Черкис. Да.

Мистер Квочка. Не приходят ли вам в голову превратные мысли и не раскаиваетесь ли вы в том, что покупаете царствие небесное? Скажите «нет».

Мистер Черкис. Нозэр!

Мистер Квочка. Не нозэр, а нет.

Мистер Черкис. Нет.

Мистер Квочка. Теперь скажите, пожалуйста, как вас звать по-еврейски.

Мистер Черкис. Джозеф.

Мистер Квочка. А вашего отца?

Мистер Черкис. Авремл.

Мистер Квочка. Так, Иосиф бен-Авраам. А вас, миссис?

Миссис Черкис. Меня — Флоси. Но мое еврейское имя Лее-Двося, а мать мою звали Нехаме-Сося.

Мистер Квочка. Олл райт. Свидетели, подойдите-ка сюда. Будьте свидетелями, что многоуважаемый реб Арн бен-Мойше уступает добровольно, в дарственном порядке, реб Иосифу бен-Аврааму половину своей доли царствия небесного, а супруге его госпоже Лее-Двосе, дочери Нехаме-Соси, половину своей поло-

вины царствия небесного со всеми правами и преимуществами, какие ему могут причитаться в загробной жизни через сто двадцать лет. Будьте также свидетелями, что в виде вознаграждения за этот дар многоуважаемый реб Арн бен-Мойше получит от реб Иосифа бен-Авраама дар в сумме двухсот долларов, а от супруги его, госпожи Лее-Двоси, дочери Нехаме-Соси, сверх того, дар в сумме сорока долларов. Слыхали? Отвечайте: да.

Оба свидетеля. Мы не глухие.

Мистер Квочка. Я вас не спрашиваю, глухие вы или нет. Отвечайте «да» — и больше ничего.

Оба свидетеля. Да.

Мистер Квочка. Понятно вам все, что здесь было совершено? Отвечайте «да».

Оба свидетеля. Шур. Конечно!

Мистер Квочка. Какое «шур»? Отвечайте «да».

Оба свидетеля. Да.

Мистер Квочка. Не имело ли здесь место, упаси боже, принуждение, криводушие или обман с чьей-либо стороны? Отвечайте «нет».

Оба свидетеля. Это нас не касается, — не наш бизнес.

Мистер Квочка *(вне себя от гнева)*. Вот тупицы! Скажите «нет»!

Оба свидетеля. Нет.

Мистер Квочка. Слава тебе господи! *(К Человеку с улицы.)* Скажите, пожалуйста, три раза подряд: «Колдунью не оставляй в живых», «Не оставляй в живых колдунью», «Колдунью в живых не оставляй» *.

Человек с улицы повторяет эти слова трижды. Вспотевший мистер Черкис приподнимает цилиндр и вытирает лоб. Миссис Черкис также раскраснелась и вспотела.

Мистер Черкис! Поздравляю! Миссис Черкис! Поздравляю вас! Дай вам бог дожить до глубокой старости — до ста двадцати лет! Теперь позвольте мне сказать, что это дельце обошлось вам очень дешево, можно сказать, почти даром. Другому это стоило бы не меньше пятисот долларов, а то и целую

тысячу, поверьте. Не будь мое имя Квочка, если это не так!

Мистер Черкис. Велл! *(Набожная мина сходит с его лица. Он снимает цилиндр.)* Теперь надо бы нам немного подкрепиться. Но бизнес — прежде всего. Вот вам ваши деньги. *(Вынимает двести долларов и сверх того шесть долларов для свидетелей и вручает деньги мистеру Квочке. Затем — к жене.)* Ну, миссис, потрудитесь-ка, деньги на бочку!

Миссис Черкис, наклонившись, приподнимает все юбки, вытаскивает из чулка сорок долларов и вручает их мистеру Квочке.

Велл! Иду переодеваться — мне что-то очень жарко. А ты, миссис, будь любезна, приготовь нам что-нибудь прохладительное — яблочный сидр, что ли, или другой какой-нибудь напиток. *(Уходит.)*

Вслед за ним уходит и миссис Черкис.

Мистер Квочка *(подождав с минуту, подходит к Человеку с улицы)*. Ну, теперь, многоуважаемый... как вас там?.. Давайте делиться. Вам сотнягу, мне сотнягу, вам двадцать, мне двадцать. А вот по три доллара свидетелям.

Оба свидетеля. По три? Ничего подобного! Не выйдет.

Мистер Квочка. Ладно, так и быть, прибавим по доллару на брата.

Первый свидетель. Нет, не пройдет!

Второй свидетель. Милостыни нам не надо. Что полагается, то и платите.

Человек с улицы. Вам полагается? За что, скажите, пожалуйста? За ваши прекрасные глаза?

Первый свидетель. Вот как?! У вас язык развязался наконец?!

Второй свидетель. Вы же как будто говорите только по-древнееврейски?

Человек с улицы. Бесстыдники! Наглецы! Гангстеры!

Первый свидетель. Сам ты гангстер!

Второй свидетель. Гангстер в маске, черт тебя побери вместе с твоей фальшивой бородой!

Человек с улицы. Ах, вот ты как! Так на ж тебе, на! *(Ударяет второго свидетеля по щеке.)*

Второй свидетель *(хватает Человека с улицы за бороду.)* Драться будешь, мошенник, шарлатан? Царствием небесным промышляешь? *(Тащит его к себе, срывает с него фальшивую бороду и потрясает ею в воздухе.)*

Внезапно отворяется дверь и на пороге показывается мистер Черкис в другом костюме и миссис Черкис с подносом в руках. На подносе несколько бутылок и тарелок с закусками. Увидев бороду в руках свидетеля и Человека с улицы без малейшего признака растительности на лице, они обомлели, застыли в неподвижной позе и изумленно переглядываются. С минуту продолжается немая сцена.

Занавес медленно падает.

КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ

Народное представление в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Шимеле Сорокер — «потомственный портной», человек средних лет, обладает голосом.

Эти-Мени — его жена, занятная женщина.

Бейлка — их дочь, красивая девушка.

Мотл Косой, Копл Фалбон — портные-подмастерья. Проворные парни.

Оскар Соломонович (реб Ошер Файн) — богач с брюшком и лысиной.

Гертруда Григорьевна (Голда) Файн — его мадам, с лицом землистого цвета.

Соломон Оскарович Файн — их сынок, красивый парень.

Колтун — приказчик Файна, уродливый парень.

Соловейчик — современный профессиональный сват, в шляпе.

Голдентолер — директор банка.

Гимелфарб — бухгалтер, человек с хорошо подвешенным языком.

Вигдорчук — бывший музыкант, человек с выдумкой.

Рубинчик — бывший парикмахер, его товарищ.

Перл — торгует мукой и в разговоре мелет, как мельница.

Мендл — бывший слуга, ныне «лакей».

Иохевед — горничная, женщина заносчивая.

Мясник Шмул-Иося, владелец бакалейной лавчонки Мойше-Велвл, попечители талмудторы, господа и дамы, и просто мужчины и женщины.

Место: город в России с преобладающим еврейским населением.

Время — канун войны *.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Большая комната, обставленная, как обычно у мастеровых. Длинный стол. На столе разбросаны ткани, большие ножницы и мелок. Углубившись в работу, сидят за столом оба подмастерья — Мотл Косой и Копл Фалбон, вздыхают. У окна — швейная машина. Две двери: одна — на улицу, другая — в кухню.

Мотл Косой. Ко всем чертям! Чего ты вздыхаешь, Копл?

Копл Фалбон. А ты чего вздыхаешь, Мотл? Тебе можно?

Мотл Косой. Бьюсь об заклад, — я знаю, о чем ты вздыхаешь!

Копл Фалбон. Если знаешь, зачем спрашиваешь? *(Пауза.)*

Мотл Косой. Копл, если ты дашь мне слово, что никому не скажешь, я тебе кое-что скажу.

Копл Фалбон *(протягивает ему руку)*. Вот тебе моя рука!

Мотл Косой *(оглядывается)*. Копл! До каких пор мы с тобой будем играть в прятки? К чему эта комедия? Пора нам объясниться... В конце концов, что это нам даст? Ровным счетом ничего. Мы оба любим одну и ту же девушку, да так, что места себе не находим.

Копл Фалбон. Ты имеешь в виду Бейлку? *(Застенчиво опускает глаза.)*

Мотл Косой. Умница ты, Копл! Светлая голова! А то кого же я имею в виду? Дочку раввина? Конечно, я никого иного не имею в виду, как только ее, дочь нашего хозяина, Бейлку... И тут одно из двух: либо я, либо ты... Не можем же мы оба жениться на одной девушке... Как ты думаешь, Копл?

Копл Фалбон. Конечно, не можем.

Мотл Косой. Мне бы столько счастья, сколько у тебя ума! Она, значит, выйдет за того, кого любит. Ясно?

Копл Фалбон. Как божий день!

Мотл Косой. Дай бог тебе здоровья! Ну и умен же ты, братец!.. Но что же, Копл, душечка, ты прикажешь нам делать, если она любит нас обоих одинаково?

Копл Фалбон. Действительно, что нам тогда делать?

Мотл Косой. Тогда остается один только выход.

Копл Фалбон. Какой именно, Мотл?

Мотл Косой. Мы бросим жребий. Будем тянуть узелки. Вытянул узелок, — ну и живи счастливо! Раскусил?

Копл утвердительно кивает головой.

Ну вот и хорошо! Тогда мы должны поклясться друг другу, что этот наш уговор мы будем выполнять свято! Мы будем идти рука об руку, помогать друг другу в нужде, и оба примем все меры, чтобы Бейлка была наша... то есть моя или твоя. Согласен? Давай лапу!

Копл протягивает ему руку.

Давай морду, я хоть поцелую тебя! *(Целуются крепко, звонко, причмокивая.)*

Открывается наружная дверь. Входит Бейлка. В руках у нее сверток. Положив его на стол, она снимает шляпку, поправляет прическу, собирается сесть за машину.

Бейлка. Мотл Косой! Копл Фалбон! Что это вы уселись, как два жениха! Почему вы не разворачиваете сверток?

Подмастерья бросаются к свертку. Бейлка смеется.

Мотл Косой. Бейлка, мы хотели спросить вас об одном деле...

Копл Фалбон (*вздыхает*). Да, об одном деле.

Бейлка. Оба об одном? Или каждый о другом?

Мотл Косой. Дело как раз одно. Но оно касается каждого из нас обоих в отдельности.

Копл Фалбон. Действительно, каждого из нас обоих...

Бейлка (*закрывает уши руками*). Тра-та-та-та-та! Если вы будете тараторить одновременно...

Мотл Косой (*Коплу*). Позволь мне... Я буду говорить...

Копл Фалбон (*Мотлу*). Ладно! Говори ты, говори...

Мотл Косой. Ой, Бейлка!.. Если б вы знали... Мы уже давно собираемся...

Копл Фалбон (*вздыхает*). Еще с прошлого года...

Мотл Косой (*Коплу*). Не перебивай же! Одно из двух: или я, или ты...

Копл Фалбон (*Мотлу*). Ну, говори, говори! Кто тебе мешает?

Мотл Косой (*Бейлке*). Сначала мы хотели поговорить с вашим отцом...

Копл Фалбон. То есть с хозяином...

Мотл Косой (*сердито посмотрев на Копла*). А потом мы решили: нет, это не годится; прежде всего надо поговорить с вами...

Копл Фалбон. Ведь мы же не знаем, *кто* из нас двоих...

Мотл Косой (*Коплу*). Зачем ты срываешь у меня слова с языка?

Бейлка. Тише! Знаете что? Давайте бросать жребий, тянуть узелки. (*Вынимает носовой платок, завязывает узел.*) Тот, кто вытянет узелок, тот и будет говорить.

Мотл Косой. Ой, Бейлка, душенька, дай вам бог долго жить! Тянуть узелки?.. Мы только что так и порешили с ним...

Копл Фалбон. Но кое о чем другом...

Бейлка. О чем именно?

Копл Фалбон. О том, что мы... что вы...

Мотл Косой. Ну и наговорил! *(Передразнивает его.)* «Что мы... что вы...» Вот я...

Копл Фалбон. Ну, говори ты, говори!

Мотл Косой. Мы вот на чем сошлись: так как мы все еще не знаем, *кто,* то есть кого, я хотел сказать, кого... Значит, мы бросим жребий: кто вытянет узелок, тому, то есть того... Тьфу, когда он не дает говорить!

Бейлка. Ха-ха-ха!

В наружную дверь вкатывается Эти-Мени, возвращающаяся с базара; в руках у нее — большая корзинка овощей. Подмастерья быстро берутся за работу. Бейлка подбегает к машине.

Эти-Мени. Отец еще не приходил? *(Опорожняет корзинку.)* Господи, до чего же чеснок вздорожал! Слава богу, хоть лук дешев. А поговори с моим мужем, он ничего знать не хочет. Ему подавай чеснок! А вот и он — наш кормилец!.. Легок на помине! Как говорится, если бы помянули мессию, явился бы мессия...

Входит Шимеле Сорокер. На нем — удивительно большой картуз и старый желтый репсовый длиннополый сюртук. Войдя, Шимеле сбрасывает сюртук и остается в безрукавке-телогрейке с большими карманами, заменяющей ему жилет. Правый лацкан безрукавки утыкан иголками. Из-под безрукавки выглядывает кисть его талескотна *. В бороде торчит белая нитка. На шее висит длинная бумажная мерка — сантиметр. Шимеле надевает очки, ермолку, которая едва заметна на его густых волосах, берет ножницы и чертит мелком по черной ткани, лежащей на столе.

Шимеле Сорокер *(кроит и, напевая, мычит себе под нос)*. Эх, наш брат — простой народ, утюг да ножницы! *(Жене.)* Что это ты тут говорила о мессии?

Эти-Мени *(принесла из кухни два горшочка, садится в сторонке, чистит картофель)*. Я говорю: помянули бы мессию... Заговорили о чесноке, — и ты тут как тут!

Шимеле Сорокер *(чертит мелом)*. В огороде бузина, а в Киеве дядька! Может, поэтому утки ходят без обутки, а гуси — без штанов.

Бейлка и подмастерья смеются.

Эти-Мени *(обиженно)*. Он стрекочет, а они гогочут. Скажи, пожалуйста, чего тут гоготать?

Шимеле Сорокер. Что из того, что ты заговорила о чесноке?

Эти-Мени. Я сказала, что на базаре чеснок уже прямо на вес золота, а ты, как на грех, любишь чеснок...

Шимеле Сорокер. Поэтому должен явиться мессия? *(Стучит по столу.)* Где мои ножницы? *(Находит ножницы.)* Вот мои ножницы! *(Режет ткань по начерченным мелком линиям, часто снимает с шеи бумажную мерку и сверяет. Работая, Шимеле затягивает песню.)*

Бейлка и подмастерья ему подпевают.

Эти-Мени *(вздыхая)*. Вот-вот свалится на нас этот вымогатель, этот миленький приказчик нашего миленького домовладельца, пусть бы холера свалилась ему на голову, на руки и на ноги, а также и на хозяйского сыночка!..

Подмастерья смеются.

Шимеле Сорокер. Что ты все против хозяина? Чем он виноват, что у него квартира и мы ее снимаем?.. *(Подмастерьям, продолжающим смеяться.)* Может быть, вы возьметесь за утюги? Сейчас должен прийти сын хозяина примерять свой костюм.

Подмастерья быстро берутся за утюги.

Я ему обещал примерку на сегодня, а слово надо держать. Шимеле Сорокер — не из тех мастеровых, которые, утюг и ножницы, наш брат...

Открывается дверь, и входит Соломон Файн, гладкий, выхоленный, щегольски одетый с головы до ног. Шимеле Сорокер встречает его с улыбкой.

Легки на помине!.. Только что говорили о вас.

Соломон. Неужели? *(Поглядывая на Бейлку.)* По крайней мере добрым словом помянули?

Эти-Мени. А как же? Неужели вас будут поминать лихом? С какой стати?

Соломон *(жене портного)*. Очень рад. *(Портному.)* А что слышно, дорогой сосед, насчет моего летнего костюма?

Шимеле Сорокер. Ваш летний костюм? Дай бог, чтобы я так был обеспечен деньгами для уплаты вашему папаше за квартиру, как вы обеспечены летним костюмом.

Эти-Мени *(мужу)*. Не потолковать ли тебе с ним, чтобы он потолковал с отцом, чтобы отец потолковал с миленьким приказчиком, чтобы приказчик соизволил не докучать нам насчет платы за квартиру?..

Шимеле Сорокер *(снимает с крючка летний, еще не законченный костюм. Жене)*. Перестань! Он ведь кумекает... *(Примеряет Соломону белый пиджак.)* Дай мне бог такую хорошую жизнь, как хорошо на вас сидит этот костюм! Как влитой! Я всегда стараюсь, чтобы получилось... Дай мне бог такую хорошую жизнь!

Эти-Мени. Аминь!

Шимеле Сорокер *(любуется пиджаком)*. Никогда в жизни не увидишь такой работы в самом большом магазине готового платья. Куда им сработать такую вещь?! Утюг и ножницы, наш брат простой народ!..

Эти-Мени. Аминь!

Шимеле Сорокер *(жене)*. «Благословен он и благословенно имя его! Аминь!» Ты где? В синагоге, прости господи? Все аминь да аминь!

Соломон. Когда же?

Шимеле Сорокер. Когда будет готово? Дай бог, чтобы у меня так скоро были готовы деньги, которые я должен уплатить вашему отцу за квартиру! А ваш управляющий докучает, жить не дает!.. Неплохо, если бы вы замолвили словечко вашему папаше, чтобы...

Соломон *(обрывает его)*. Это не мое дело...

Шимеле Сорокер *(жене)*. Он говорит, что не вмешивается в дела своего отца.

Соломон *(не сводя глаз с Бейлки, обращается к портному и его жене)*. До свидания.

Шимеле Сорокер *(провожает его, кланяется)*. До свидания, прощайте, передайте привет вашему папаше. Скажите ему, что он может быть совершенно спокоен, — с божьей помощью, я ему, вероятно, скоро уплачу...

Эти-Мени *(кричит вслед Соломону)*. И еще с большой благодарностью!..

Соломон *(опустив голову, уже в дверях)*. Это меня не касается. *(Уходит.)*

Короткое неприятное молчание. Все вернулись к своим занятиям.

Эти-Мени *(чистя картофель)*. Черт бы его не взял, если бы он замолвил папаше доброе словечко за нас!

Мотл Косой *(разглаживая ткань утюгом)*. Яблочко от яблони недалеко падает.

Копл Фалбон *(плюет на палец и на утюг)*. Буржуйчик всегда останется буржуйчиком.

Шимеле Сорокер *(отложил в сторону ножницы. К подмастерьям)*. «Буржуйчик»! Хотел бы я видеть, что бы вы, голодранцы, сказали, если бы вы сами были сыновья реб Ошера Файна. Вы были бы лучше? Что уж тут болтать впустую: «Буржуй!» Наш брат!.. *(Жене.)* А ты тоже стала заниматься критикой, Пети-Мети?.. *(Заглядывает в ее горшки.)* Кажется, ты занята тонкой работой, — чистишь картофель. Вот и чисть! Разве ты знаешь другое блюдо, кроме картошки? *(Напевает.)* «В воскресенье картошка! В понедельник картошка! Во вторник картошка!..»

Эти-Мени. Видали? Картошка ниже его достоинства! Тогда, может быть, прикажешь жареных голубков с марципанами? *(Перестает чистить картофель. Режет картофелины на мелкие кусочки, перекладывает их из одного горшка в другой.)*

Шимеле Сорокер. А ты что думаешь? Если бог захочет, у нас еще сегодня будут жареные голубки с марципанами... Сегодня же второе мая... Сегодня как будто уже должно стать известно... *(Смотрит на стенные часы.)* Эх, еще нет десяти часов, не то я послал бы в банк спросить, сколько выиграл мой билет...

Эти-Мени. Ха-ха! *Сколько* он выиграл! Ты бы сперва узнал, выиграл ли он вообще, а потом уже сколько?

Шимеле Сорокер *(уставясь на жену)*. Вот как! Умница моя! О том, что мой билет выиграл, мне и спрашивать нечего...

Эти-Мени. Как ты об этом узнал? Тебе кто-нибудь написал?

Шимеле Сорокер *(насмешливо, с видом человека, знающего какую-то тайну)*. Если бы вы знали, какой сон я видел сегодня ночью, вы бы перестали острить... Но о чем мне с вами разговаривать? *(Расстегивает безрукавку, из внутреннего кармана вынимает большой носовой платок, в который завернута стершаяся по краям и засаленная желтая бумага.)* Вот вы услышите, что может присниться Шимеле.

Все отложили работу и приготовились слушать сон Шимеле.

Не люблю я пустых снов. Если уж Шимеле видит что-нибудь во сне, то стоит послушать! Утюг и ножницы, наш брат простой народ! *(Снимает очки.)* Значит, снится мне, что я стою за моим столом, вот, к примеру, как сейчас. Тут же мой утюг и мои ножницы, и я крою костюм из сукна «Принц Альберт», четыре рубля восемьдесят копеек аршин. Стою я вот так, задумавшись, с ножницами в руках, поднимаю глаза и смотрю просто так, — и что я вижу? Посреди комнаты — дерево.

Бейлка. Посреди комнаты — дерево?!

Шимеле Сорокер. И на дереве растут червонцы...

Бейлка. На дереве — червонцы?!

Шимеле Сорокер *(Бейлке)*. Золотые червонцы. И я говорю маме: «Эти-Мени, говорю, ты видишь червонцы?» — «Вижу», — она говорит... «Что же ты молчишь?» — «А что я должна делать?» — «Как что? — я говорю. — Полезай, будь любезна, на дерево и встряхни его, а я буду собирать». — «Но почему я? Полезай сам!» — «А чего ты боишься? Отвалится от

тебя что-нибудь?» А она говорит: «Пусть у моих врагов отваливаются целые куски!»

Эти-Мени. Неправда! Я этого не говорила!

Шимеле Сорокер *(жене)*. Ну и ослиная же голова у тебя! Ведь это было во сне... *(Дочке.)* Вот тебе квитанция... Когда закончишь работу на машине, будь любезна, пойди в банк — ты знаешь куда?

Бейлка *(за работой)*. В «Частно-комерческий»?

Шимеле Сорокер. В «Частно-коммерческий»... Ты им покажешь квитанцию и помни: покажешь, но в руки не отдашь... и спросишь: сколько я выиграл?

Эти-Мени *(продолжая работать)*. Опять — сколько? Комедия с ним!

Шимеле Сорокер *(возмущен)*. Видали, кто разбирается в комедиях?! Мне снится сон, а она мне байки рассказывает, — комедия!.. Она думает, я встал утром и ни с того ни с сего сам себя уговорил, что у меня на носу вырос арбуз... А я хоть и портной, но на крупный выигрыш у меня ума хватит не хуже, чем у любого богача! Это надо уметь, — двадцать с лишним лет хранить выигрышный билет, нуждаться в копейке, хоть ложись и помирай, а билета не продать, — дудки! Так умеет только Шимеле Сорокер, наш брат — простой народ, утюг и ножницы!.. *(Принимается гладить и, напевая какую-то мелодию, мычит под нос.)*

Молодежь подхватывает эту мелодию.

(После паузы. Дочке.) Кончила? Тогда иди, дочка. *(Осторожно передает ей квитанцию.)* И помни, не приведи господь потерять квитанцию! Это деньги! И большие деньги!..

Бейлка уходит.

Эти-Мени. Шимен! Сколько это денег?

Шимеле Сорокер. Что — это?

Эти-Мени. Ну, этот самый большой выигрыш, о котором ты говоришь.

Шимеле Сорокер *(уставясь на нее)*. Разве ты поймешь, если я тебе скажу? Это — два раза по сто тысяч.

Эти-Мени (*испуганно*). Два раза по тысяче сто?!

Шимеле Сорокер. Да не два раза по тысяче сто, а два раза по сто тысяч. Ох, эти женщины! Ох, эти женщины! Вот кого надо было бы описывать в книгах! Комедия мне с ней!

Эти-Мени. Вот как? Со мной уже комедия?

Шимеле Сорокер. А то с кем же? Со мной?

Входит приказчик Колтун, смуглый, сутуловатый молодой человек. Он одет с головы до ног во все новое, но все сидит на нем мешком. Говорит всегда улыбаясь, часто хватаясь за свои непомерно длинные рукава и подтягивая их вверх. Говорит быстро, глотает слова, не прожевывая их, и немного сюсюкает. Его лысина прикрыта несколькими оставшимися длинными черными жирными волосами. Лицо всегда потное.

(*Обращается к вошедшему.*) О! Легки на помине! Только что говорили о вас.

Колтун. Добрым словом помянули, хе-хе? (*Оглядывается кругом.*)

Эти-Мени. А как же? Неужели мы будем вас поминать лихом?

Шимеле Сорокер (*указывая на стул*). Садитесь, пан Колтун.

Колтун. Спасибо. Я не сидеть пришел, хе-хе... Я пришел по делу... (*Оглядывается, ищет кого-то.*) Наверное, вы уже сами знаете, зачем я пришел...

Эти-Мени (*следит за Колтуном, который все ищет кого-то*). Лучше бы мы не знали... Кого вы ищете, хотела бы я знать? Вчерашний день?

Колтун (*делает вид, что не расслышал*). Сегодня уже — второе мая, хе-хе.

Шимеле Сорокер (*вдел нитку в иголку и лизнул палец*). Знаю, что сегодня второе мая. У меня хорошая примета. Ведь вчера был тираж. (*Смотрит на часы.*)

Колтун. Какой тираж? (*Закуривает толстую сигару.*)

Шимеле Сорокер (*закашлялся от сигарного дыма*). Сколько вы платите за ваши головешки, пан Колтун?

Колтун. Во-первых, не называйте меня «пан Колтун», хе-хе. Называйте меня моим настоящим именем: «Ефим Пантелеймонович». Теперь меня все так называют.

Шимеле Сорокер. Не обижайтесь, Ефим Панталонович...

Колтун. Не Панталонович, а Пан-те-лей-мо-нович!

Шимеле Сорокер. Пусть будет Пантелемович... Вы верите в сны? Нет?

Колтун. Почему нет? Вот мне недавно снилось, что мне удаляют коренной зуб. И что вы думаете? Оказалось, что у меня умерла сестра еще до того, как это мне приснилось. Но к чему я все это рассказываю? *(Оглядывается.)* А где ваша дочь? Почему ее не видать?

Подмастерья переглядываются.

Шимеле Сорокер. Моя Бейлка? Она скоро придет. *(Вздыхает.)* Эх, если бог захочет, я еще сегодня стану богачом и набью деньгами вот такой короб! *(Показывает руками.)* Наш брат!..

Колтун. Это было бы очень умно и, хе-хе, очень-очень хорошо!

Шимеле Сорокер *(всматривается в него)*. Почему это было бы так уж очень-очень хорошо?

Колтун. Потому что тогда вам не приходилось бы, хе-хе, откладывать уплату за квартиру с одной недели на другую, с одного месяца на другой... Но откуда, скажите, пожалуйста, к вам привалит такое богатство? У вас — что? богатый дядя умер в Америке?

Шимеле Сорокер *(отставляет работу)*. Нет! Мой дядя в Америке еще жив и пусть себе живет до ста двадцати лет! *(Смотрит на стенные часы.)* Еще полчаса, и мы будем знать... Понимаете ли, у меня есть выигрышный билет.

Колтун *(поражен)*. Вы имеете выигрышные билеты, а когда надо платить за квартиру...

Эти-Мени. «Билеты»?! Подумаешь! Один-единственный билет, и тот лежит в банке — заложен-пере-

заложен, еще со времен Мафусала...* Врагам бы моим иметь столько денег, сколько уже осталось в этом билете!

Шимеле Сорокер. И все-таки такой билет может выиграть самый главный выигрыш... Никто не знает, чем его встретит завтрашний день.

Колтун *(встал)*. Если вы думаете этим заплатить мне за квартиру, ошибаетесь, мой милый портной. Выигрышные билеты не выигрывают. Чепуха! Это банки и банкирские конторы выдумали. Видите этот потолок? Скорее он на вас упадет, чем...

Эти-Мени. Как говорится, собака лает, ветер носит! Пусть гром поразит моих врагов! Видали вы такое?!

Колтун. Баба! Я же это говорил только иносказательно. Ведь мои хозяева имеют, я думаю, немного больше выигрышных билетов, чем вы, но еще ни один не выиграл. Забудьте про эти билеты и постарайтесь заплатить за квартиру, потому что я вам должен сказать, хотя мне это очень неприятно, что *(смотрит на часы)*... через полчаса я приду к вам с судебным приставом и выброшу вас отсюда...

Эти слова производят впечатление грома. Все повскакали с места, но тотчас замерли. Никто не в состоянии произнести ни слова, кроме одной Эти-Мени.

Эти-Мени *(подходит к Колтуну)*. Выбросить?! С приставом?! Как это — выбросить?! Да еще с приставом? Думаете, вам все сойдет? Шимен, ты молчишь?! Я сама найду дорогу к хозяевам — к Файнерам. Я их спрошу: справедливо ли выбрасывать людей, которые несколько лет живут в доме? Я их...

Колтун *(положив руки в карманы)*. Прошу прощения, моя милая, к Файнерам, как вы их называете, все это не имеет никакого отношения. Все полностью поручено мне. Это я подал на вас в суд, это я приведу к вам судебного пристава и это я выброшу вас из квартиры, если вы не уплатите мне хотя бы за три месяца.

Шимеле Сорокер. Вот как? Это все вы? Если так, то провалитесь вы сквозь землю! Утюг и нож-

ницы, наш брат простой народ!.. *(Хватает Колтуна за шиворот и выбрасывает на улицу.)*

За дверью — сильный удар. Шум, голоса. Через полминуты вбегает Шмул-Иося, могучего сложения мужчина, на нем передник мясника. Следом за ним появляются владелец бакалейной лавочки Мойше-Велвл и хозяйка мучной лавчонки Перл, вся с головы до ног запорошенная мукой.

Шмул-Иося. Кто это вышвырнул отсюда этого шута? Он всех нас чуть не сбил с ног... К счастью, я его хорошенько толкнул. Теперь он уж недосчитывает нескольких зубов.

Шимеле Сорокер. Это я его выставил! Садитесь, реб Шмул-Иося... Садитесь, реб Мойше-Велвл. Что слышно на свете?

Шмул-Иося. Большое спасибо, но сидеть нам некогда. Мы пришли за деньгами. Вы не забудьте, мой милый, я вам всегда отпускал мясо, а не кости...

Мойше-Велвл. А я отпускал вам бакалею...

Эти-Мени. Присаживайтесь, Перл, почему вы не сядете?

Перл. Спасибо, я уже насиделась сегодня! *(Садится и мелет, как мельница.)* Вы думаете, я бы пришла к вам? Разве я имею время оставить лавчонку и муку и ходить за старыми долгами и за всякими пустяками? Мне не на кого оставить лавчонку даже, если черт беду принесет, потому что сын мой все время корпит над книжками: днем и ночью книжки и книжки, а дочь сидит дома... Я говорю — дома! Но разве это дом? Какой же это дом? С позволения сказать, развалины, а не дом! Да! Так вот я вижу: идет Мойше-Велвл, бакалейщик Мойше-Велвл. «Доброе утро, добрый день! Куда вас несет?» Он мне отвечает: «К портному, к Шимеле Сорокеру за деньгами». — «У Шимеле завелись деньги?» — я спрашиваю. А он говорит: «Да»...

Эти-Мени *(бакалейщику)*. Что это значит?

Мойше-Велвл *(хочет начать рассказывать)*. Тут такое дело: Соловейчик мне сказал...

Перл *(не дает ему говорить, мелет)*. Раз так, я подумала, раз у Шимеле есть деньги, надо пойти,

потому что мне с него причитается не за меха и не за брильянты... Мне причитается за муку, а мука — это самое необходимое из всего самого необходимого! Вот тут лежит хлеб... *(Заметив на полке половину буханки, она встает, берет в руки и все мелет и мелет.)* Из моей муки испечен этот хлеб!.. Мука — это мое добро, моя кровь, моя жизнь! Что я еще имею, кроме горстки муки? И если каждый и всякий будет приходить ко мне и брать муку в долг, что же мне останется? Где я возьму деньги, чтобы уплатить на мельнице? Где? Кто будет содержать моих детей? Кто?..

Эти-Мени. Погодите! Дайте еще кому-нибудь сказать хоть одно слово! *(Мойше-Велвлу.)* Что вы сказали про Соловейчика?

Мойше-Велвл. Соловейчик мне сказал, что он имеет для вас деньги.

Шимеле Сорокер *(жене)*. Что это еще за напасть?.. Наш брат!..

Эти-Мени. Мои несчастья на его голову!

Перл. Значит, все-таки я не сумасшедшая!

Входит Соловейчик. Он в шляпе, хоть и изрядно поношенной. На нем коротенькое пальтишко, тоже не особенно новое, широкие, но короткие брюки и стоптанные ботинки.

Шимеле Сорокер. Честь и место! Вы легки на помине! Только что, ну, вот действительно сию секунду про вас говорили!

Соловейчик. Неужели?!

Эти-Мени. Скажите-ка, пане Соловейчик, к чему мне ваше «неужели»? Что это вы распустили по городу слух, будто у вас есть деньги для нас?

Соловейчик. Вот столько денег! *(Показывает руками.)* Вы даже не можете себе представить... Это — нечто особенное!

Шимеле Сорокер. Вероятно, он нашел жениха для нашей дочери. Я знаю Соловейчика как облупленного!..

Подмастерья переглядываются, берутся за утюги и тяжко вздыхают.

Соловейчик. Что за вопрос? И не какой-нибудь жених, а нечто замечательное! Клянусь вам жизнью! Я вам говорю сущую правду! Я вам расскажу, *кто* он, и, если вам не очень жарко, вы поразмыслите и, конечно, ухватитесь за него обеими руками! Но вот что никуда не годится: здесь чересчур много народу. *(К посетителям.)* Извините, господа!

Мясник и бакалейщик отходят в сторону. Перл продолжает сидеть на своем месте. Соловейчик подходит к ней.

Извините, мадам!

Перл. Что мне «извините»? Что мне «мадам»? Вы говорите, что принесли портному деньги. Где они, эти деньги? Мне тут должны за муку, а не за брильянты! Этот хлеб, который вы здесь видите, испечен из моей муки. Мука — это мое добро, моя кровь, моя жизнь!..

Соловейчик *(отталкивает Перл, которая не умолкает)*. Напасть какая-то, а не лавочница! Возмутительно! *(Хозяину.)* Жених, которого я предлагаю вашей дочери, человек самостоятельный... Должность у него замечательная! Он полновластный управляющий домом. Одним словом, вы его очень хорошо знаете. Управляющий этим самым домом — Колтун!

У подмастерьев утюги падают из рук. Общее смятение.

Шимеле Сорокер *(даже подскочил)*. Этот Ефим Панталонович? Этот паршивец, которого я только что вышвырнул за дверь? Утюг и ножницы, наш брат простой народ!!

Входит Бейлка.

Бейлка *(раскрасневшись, еле говорит)*. Отец! Хорошая весть!

Шимеле Сорокер *(кинулся к дочке)*. А? Что? Сколько?

Бейлка. Большой выигрыш! Самый крупный выигрыш!

Шимеле Сорокер *(все еще растерянный)*. Эти-Мени! Ты слышишь?

Эти-Мени *(всплеснув руками)*. Боже!

Перл. Что там еще? Новое несчастье? Ой, горе мне, горе!

Шимеле Сорокер *(вне себя от радости)*. Люди! Поздравьте меня: мой билет выиграл! Выиграл!! Большой выигрыш!!! Самый крупный выигрыш!!! *(Бегает по комнате.)*

Перл. Пустите меня! Пустите! Где?

Соловейчик *(отталкивая Перл)*. Извините, мадам... *(Хочет что-то сказать.)*

Все остальные, ошеломленные, переглядываются молча. Мотл Косой и Копл Фалбон забились в уголок, стоят глубоко опечаленные, онемевшие.

Бейлка *(все еще в шляпе, радостно возбужденная)*. Весь город уже знает об этом... Директор банка, бухгалтер, Файны... Сейчас они все придут сюда...

Эти-Мени *(всплеснув руками)*. Все сюда?! Ой, горе мне!.. *(В большом смятении садится на стул, вытирает передником пот с лица.)*

Открывается дверь. Входит бухгалтер банка Гимелфарб. Следом за ним входит директор банка Голдентолер.

Гимелфарб. Где здесь портной?

Шимеле Сорокер *(гордо выступив вперед)*. Портной — это я.

Гимелфарб *(оглядывает ошеломленных людей, находящихся в комнате. Портному)*. Вы уже знаете? На ваш билет, который заложен в нашем банке, пал большой выигрыш. Наш банк — частно-коммерческий, — самый счастливый банк в мире. Уже в четвертый раз в нашем банке люди выигрывают. Каждый, кто покупает билеты у нас, имеет шанс выиграть. Если вы мне не верите, — вот стоит директор нашего банка, сам господин Голдентолер...

Голдентолер *(оглядывая всех, говорит Шимеле)*. Это вы — тот... тот... Сорокер?.. Вы уже знаете? *(Пожимает ему руку.)* Мазлтов! Поздравляю вас!

Перл *(банкиру, затем всем остальным)*. Скажите, я умоляю вас: что тут случилось? Почему поздравления? У кого-то родился ребенок? Кто-то обвенчался? Помолвка? Или что?

С о л о в е й ч и к *(отталкивает Перл)*. Извините, мадам! *(Пожимает руку портному.)* Поздравляю! *(Обнимает его и целует.)*

К о л т у н *(вбегает ни жив ни мертв)*. А? Что? Так это — правда? А что я сказал? Ну, надо было вам так волноваться?!! Вы можете тут жить и жить... Вот и сам хозяин тоже здесь...

Входит О ш е р Ф а й н. Колтун почтительно отступает, не осмеливаясь больше говорить.

О ш е р Ф а й н *(подает руку только директору, что-то говорит ему и издали обращается к портному)*. Мазлтов! Поздравляю вас, господин Сорокер! Я очень доволен, очень доволен, что в моем доме вам привалило такое счастье...

Входит С о л о м о н.

(Обращается к сыну.) Ты слышишь? Оказывается, это правда!..

С о л о м о н. Сколько? Двести тысяч? *(Глаза у него заблестели. Издали обращается к портному, ища глазами дочь портного.)* Поздравляю! Поздравляю! *(Бейлке, галантно расшаркиваясь.)* Особенно я счастлив за вас. Очень рад, очень счастлив, мадемуазель Сорокин...

Б е й л к а *(все еще раскрасневшаяся. С улыбкой)*. Во-первых, не Сорокин, а Сорокер. А во-вторых, почему *вы* в таком восторге?

С о л о м о н. Потому что, понимаете ли... *(Хочет что-то сказать, но, сглянувшись, замечает, что подмастерья уставились на него.)*

Подмастерья уходят в сторону и тихо говорят между собою.

М о т л К о с о й. Ну, Копл, что ты теперь скажешь?

К о п л Ф а л б о н. А что я могу сказать? Суждено было человеку сразу стать бур... бур... буржуем, миллионщиком!

М о т л К о с о й. За них я рад всей душою. Но что теперь будет с *нами?*

К о п л Ф а л б о н. А как бы ты хотел, чтобы с нами было?

Мотл Косой *(недолго смотрит на него в упор)*. Ты же просто осел!

Ошер Файн *(портному)*. Может быть, вам нужны деньги? *(Берется за карман.)*

Гимелфарб *(подскочил)*. Деньги? Нет!.. Позвольте! Деньги — у нас в банке. *(Портному.)* Мы открыли вам счет, контокоррент — текущий счет!.. *(Смотрит на директора.)*

Остальные говорят все вместе.

Шмул-Иося. Так сколько же прислать вам мяса?

Мойше-Велвл. Недаром говорят: если бог даст крупицу — люди добавят сторицей!

Перл *(услышав, что говорят о деньгах, пробилась к Ошеру Файну, затем — к директору)*. Вот как?! Уже деньги платят? Я должна получить раньше всех. Я вдова, и мне следует за муку, а мука — это самое необходимое из самого необходимого. *(Считает по пальцам.)* Рубль двадцать за пшеничную муку и шестьдесят пять копеек за ржаную муку, — раз, и еще раз шестьдесят пять, и опять шестьдесят пять...

Соловейчик *(оттаскивает ее в сторону)*. Извините, мадам! *(Заметил Соломона рядом с Бейлкой. Портному.)* Послушайте, у меня есть для вас идея, совсем новенькая идея! Это нечто особенное, клянусь вам жизнью.

Шимеле Сорокер *(как обезумевший снует между всеми и кричит, покрывая все голоса)*. Вы только подождите немного! Я вам... я вам всем покажу, кто такой Шимеле Сорокер, на что Шимеле Сорокер способен и что такое наш брат — утюг и ножницы, простой народ! *(Жене.)* Ну, Эти-Мени, как тебе нравится мой сон?..

Эти-Мени. А как же? Разве ты какой-нибудь мальчишка?

Шимеле Сорокер *(снимает очки.)* Милые вы мои!.. *(Обняв Бейлку, целует ее. Зарыдал.)*

Медленно падает занавес.
Конец первого действия.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Большая комната. Как будто кабинет, но скорее похоже на мебельный магазин. Здесь можно увидеть любую мебель всех существующих на белом свете сортов. Все новое, и все блестит. Все, что носит хозяин дома, Шимеле Сорокер, ново и элегантно: шелковый халат, только что принесенный из мастерской, и пестрый бархатный жилет с золотыми пуговицами. Все новое, все отглажено. Сорочка сияет белизной. Бородка коротко подстрижена. Он — в золотых очках, без головного убора. С трудом можно в нем узнать прежнего портного. Его жена Эти-Мени вся в шелку и бархате, отделанном самыми лучшими кружевами. На шее — нитка жемчуга. В ушах — серьги с крупными брильянтами. На восьми пальцах сверкают кольца. У него в руках книга. Раскачиваясь, он читает ее, видимо, с большим интересом. Она сидит, занятая только тем, что любуется своими драгоценными украшениями.

Эти-Мени *(мужу, нараспев)*. Шимен! Шимен?

Он не откликается.

(Она повторяет с тою же интонацией, но чуть громче.) Шимен! Шимен?

Шимеле Сорокер *(оторвавшись от книги, передразнивает.)* «Шимен! Шимен?» Семен Макарович, а не Шимен!

Эти-Мени. Семен Макарович! Который теперь час на твоих золотых часах?

Шимеле Сорокер *(вынимает из кармана золотые часы)*. Без четверти одиннадцать! А что?..

Эти-Мени. Ничего... просто так... Три недели тому назад в этот самый час мы еще не знали, что на наш билет выпал самый большой выигрыш. *(Хрустит пальцами, любуется своими драгоценными кольцами. Пауза.)* Шимен! Шимен?

Шимеле Сорокер *(поворачивает к ней голову)*. Опять «Шимен»? Кошачьи твои мозги! Сколько раз в день должен я вдалбливать тебе в голову: Семен Макарович! Семен Макарович! Семен Макарович!!

Эти-Мени. Не обижайся, пожалуйста! Семен Макарович, что ты там делаешь?

Шимеле Сорокер. Ты же видишь, что я делаю: я читаю. *(Не может оторваться от книги.)*

Эти-Мени. Я вижу, что ты читаешь... Я хочу знать: что́ ты читаешь?

Шимеле Сорокер. А если я тебе скажу, ты разве поймешь?.. Я читаю одну историю.

Эти-Мени. Какую историю ты читаешь?

Шимеле Сорокер. Ну, не историю, а так сказать, описание, ну, ну... критику я читаю... Да отвяжись ты! *(Раскачивается и продолжает читать.)*

Эти-Мени. Ты что, встал с левой ноги? *(Пауза.)* Ты, вероятно, потому так сердишься, что читаешь и сам не знаешь, что́ читаешь...

Шимеле Сорокер *(все еще раскачиваясь)*. А вот представь себе — знаю! Я читаю критику, ну — сочинение одного насмешника, который издевается над всем миром. И его зовут Шолом-Алейхем.

Эти-Мени. Алейхем шолом! Если нечего делать, можно и такой работой заняться... А чем ему не угодил весь мир?

Шимеле Сорокер. Не то, что весь мир. Понимаешь, он описывает, как один бедный портной, бедняк из бедняков, вдруг высоко взлетел, стал богачом...

Эти-Мени. А какое ему дело?! Ну, и что дальше?

Шимеле Сорокер. И больше ничего. Насмехается он и над портным и над его женой... Ну и пройдоха! Настоящий наш брат простой народ!..

Эти-Мени. Все мои горести на его голову!.. Чем ему не угодила жена портного?

Шимеле Сорокер. Он разделывает под орех и мужа и жену, но жену он просто в порошок растирает, черт бы его побрал!..

Эти-Мени. Все болячки на его голову! Тьфу! Я бы в руки не взяла такой дряни!.. Что это вообще ты себе нашел за работу? Человек ни с того ни с сего читает книжку и смеется!..

Шимеле Сорокер. А что мне делать? Я чуть с ума не схожу от безделья!.. Если бы я имел хоть какую-нибудь работенку!.. Я же привык работать, наш брат простой народ!..

Эти-Мени. Достаточно ты наработался. Пусть теперь твои враги работают вместо тебя!.. *(Пауза.)*

Шимен... Тьфу, я же хотела сказать: Семен Макарович, куда мы пойдем сегодня вечером?

Шимеле Сорокер. Может быть, ты хочешь пойти в театр?

Эти-Мени. Да ну, театр! *(Зевает.)* Скучно! Я ни одного слова не понимаю! Если бы хоть играли по-еврейски! Лучше в «Иллюзион».

Шимеле Сорокер. В кинематограф, ты хочешь сказать? Погоди, я закончу дело с этой кинокомпанией, тогда мы будем ходить в кинематограф каждый вечер и без копейки денег.

Эти-Мени *(вкрадчиво)*. Ты не обидишься? Нет? Я тебе кое-что скажу.

Шимеле Сорокер Я обижусь? Я часто обижаюсь? Если что-нибудь толковое, почему не сказать?

Эти-Мени. Не нравится мне твоя компания с этими двумя жуликами, с которыми ты спутался...

Шимеле Сорокер. Почему ты называешь их жуликами, разве ты их знаешь?

Эти-Мени. Я их не знаю... Поэтому я и боюсь, чтобы они тебя не обманули...

Шимеле Сорокер. Обмануть? Меня? Дудки! Меня не проведешь! Я подписываю с ними хороший контракт. Они у меня будут здорово подвинчены. Двадцать два пункта! Наш брат простой народ! Утюг и ножницы.

Эти-Мени. Двадцать два пункта!.. А по двадцать третьему они у тебя деньги заберут как миленькие.

Шимеле Сорокер *(рассердился)*. Типун тебе на язык! Ослиная твоя голова! Ты подумай прежде, чем говорить! Разве ты понимаешь, что говоришь?

Эти-Мени. В том-то и беда, что с тобой и поговорить нельзя — чуть что, ты уже начинаешь петушиться.

Шимеле Сорокер *(стучит по столу)*. Не выводи меня из терпения! *(Встает, шагает по комнате взад и вперед.)* Ты забываешь, с кем ты разговариваешь! Тебе все еще кажется, что ты разговариваешь

с портным Шимеле... Ты забываешь, что я уже теперь не наш брат, не утюг и ножницы! Я теперь *Семен Макарович Сорокер,* один из самых крупных богачей в городе, если не самый крупный богач! *(Ходит по комнате и постепенно успокаивается.)* Поди послушай, что про меня говорят... А какие люди у меня бывают!.. А какие дела мне предлагают!

Эти-Мени. Для меня ты остался таким же, каким был.

Шимеле Сорокер. В том-то и несчастье!.. Не мешало бы тебе немножко больше меня уважать...

Эти-Мени. Вот сейчас я сниму перед тобой шапку...

Шимеле Сорокер *(махнув рукой).* Э, да что с тобой говорить! *(Пауза.)* Где Бейлка, то есть Изабеллочка?

Эти-Мени. Зачем тебе Бейлка, то есть Изабеллочка?

Шимеле Сорокер. Я хочу, чтобы она мне вслух прочитала почту.

Эти-Мени. Опять почта? Ты уже опять получил почту?

Шимеле Сорокер. И еще какую! *(Показывает на гору нераспечатанных писем на столе.)*

Эти-Мени. Подумаешь, какие нужные письма! Наверное, от еврея, которого выселили из деревни с женой и детьми; от вдовы, муж которой из-за нее же повесился, или от девицы, которой приспичило выйти замуж, но нет приданого...

Шимеле Сорокер. А что ты думаешь? Разве ее не жалко, эту девицу?

Эти-Мени. Получается, что ты должен обеспечить весь мир?

Шимеле Сорокер. Насколько я в состоянии.

Эти-Мени. Разве для этого тебе бог дал крупный выигрыш?

Шимеле Сорокер. А для чего же еще? Для того, чтобы мы ели каждый день бульон с кашей?

Эти-Мени. Надолго ли тебе хватит твоего выигрыша?

Шимеле Сорокер *(очень мягко)*. Глупенькая, дело с кинокомпанией даст нам столько, что хватит на все. Весь город мне завидует. Считают, что тут пахнет полумиллионом... Но что ты понимаешь в миллионах?

Эти-Мени. Хорошо тебе, что ты понимаешь. Ты ведь вырос на миллионах!

Шимеле Сорокер. Однако... Ты же видишь... *(Сел на свое прежнее место, покачивается, заглядывает в ту же книгу. После небольшой паузы говорит тихо.)* Эти-Мени! *(Через полминуты повторяет громче.)* Эти-Мени!

Эти-Мени. Какая я тебе Эти-Мени? Его должны звать Семен Макарович, а меня *(передразнивает)* «Эти-Мени! Эти-Мени!»

Шимеле Сорокер *(смущенно)*. Что правда, то правда... Не обижайся, пожалуйста, я забыл, что теперь уже тебя зовут Эрнестина Ефимовна.

Эти-Мени. Ты же про меня говоришь, что у *меня* кошачьи мозги.

Шимеле Сорокер. Ты права. Прости, пожалуйста!.. Знаешь, что я у тебя попрошу, Эрнестина Ефимовна?

Эти-Мени. Ну, что ты у меня попросишь, Семен Макарович?

Шимеле Сорокер *(жалобно)*. Немножко варенья...

Эти-Мени. Вдруг, ни с того ни с сего варенье?.. *(Громко кричит.)* Девка! Девка!

Открывается боковая дверь, и входит девка (Иохевед).

Иохевед *(принимает надменную позу)*. Вы *меня* звали?

Эти-Мени. А то кого же? Раввина?

Иохевед. Разве у меня нет другого имени, кроме как «девка»?

Эти-Мени. А что тебе так обидно, если называют девкой? Разве так уж плохо быть девкой?.. *(Дает ей ключи.)* На, пойди возьми блюдце и принеси хозяину варенья из открытой банки, которая прикрыта блюдцем и обвязана платком.

Иохевед *(берет ключи)*. Сколько принести?

Эти-Мени. Ты же говоришь, что служила в богатых домах. Значит, сама должна знать, сколько варенья ест богач.

Иохевед. Богачи бывают разные. Бывает богач, который ест чуть-чуть — на кончике ножа, как птичка какая-нибудь... А бывают, простите за выражение, богачи — свиньи, которым все мало, сколько бы они ни ели...

Эти-Мени. Чтоб тебя ели черви! Что за язык у этой девки!

Иохевед *(уходит с ключами в руках, останавливается. Хозяйке)*. Меня зовут Иохевед.

Эти-Мени *(мужу)*. Прислуга — и такая дерзость! *(Громко кричит.)* Мендл! Мендл!

Входит Мендл. Он — во фраке, при белом галстуке на высоком воротнике. Вокруг его губ обильная, густая черная растительность. Голова слегка наклонена. Руки болтаются как плети.

Мендл *(облизывая губы)*. Вы меня звали?

Эти-Мени. А то кого же? Раввиншу? Пойди-ка посмотри за этой девкой. Я ее послала за вареньем, как бы она там не набросилась на варенье, как кошка на сметану...

Мендл *(идет к двери, возвращается и говорит хозяину)*. Хозяин! Эти пустозвоны уже ждут там, в передней.

Шимеле Сорокер. Какие пустозвоны?

Мендл. Те двое... из театра...

Шимеле Сорокер *(отложив книгу)*. А, Вигдорчук и Рубинчик? Мои компаньоны по кинокомпании? Почему они не идут сюда?

Мендл *(на его толстых губах показывается улыбка)*. Потому что я их не пускаю.

Шимеле Сорокер *(удивленно)*. Как это ты их не пускаешь?

Мендл *(очень серьезно)*. У богачей так заведено. Если приходит человек бедно одетый, ему дают по шее и выбрасывают вон. Если он одет прилично, надо доложить хозяину. И если хозяин прикажет впустить, тогда его впускают.

Шимеле Сорокер *(пораженный. Жене)*. Эрнестина Ефимовна! Что ты на это скажешь? А? Наш брат!..

Эти-Мени *(мужу)*. Чепуха! Ни с того ни с сего ты здесь завел разговор с каким-то слугой, а за это время девка сожрет там все варенье! *(Слуге.)* Иди и делай, что тебе приказывают!

Мендл *(направляется к двери, останавливается. Хозяину)*. А им я что должен сказать?

Шимеле Сорокер. Кому?

Мендл. Этим пустозвонам.

Шимеле Сорокер. Ничего не говори. Пришли их сюда!

Мендл уходит. У порога встречается с Иохевед. Погружает палец в варенье и облизывает. Иохевед ударяет его по руке. Подав варенье хозяину, она направляется к двери, но останавливается.

Иохевед *(хозяйке)*. Больше ничего?

Эти-Мени. Чего бы ты еще хотела?

Иохевед *(после паузы)*. Если я вам опять понадоблюсь, то знайте: меня зовут Иохевед! *(Уходит.)*

Эти-Мени *(мужу)*. Это еще что такое? Наказание божие, а не девка!..

Открывается дверь. Мендл впускает Вигдорчука и Рубинчика и исчезает. Оба посетителя очень нарядно одеты. Лица бритые, как у актеров. У каждого в руках цилиндр. Руки в перчатках. Роскошные галстуки.

Шимеле Сорокер *(весьма учтиво принимает вошедших)*. Милости просим! Вы принесли договор? Его уже переписали? *(Жене.)* Эрнестина Ефимовна! Прикажи принести еще варенья, а заодно уже и вишневой наливки.

Эти-Мени встает и неохотно уходит за вишневкой и закуской.

(Обращаясь к молодым людям.) Дайте договор, мы его просмотрим.

Вигдорчук вынимает из кармана бумагу.

Собственно говоря, его просмотрит моя дочь. Не про вас будь сказано, в грамоте я хромаю. Но бог награ-

дил меня дочкой, хорошей дочкой! Вы ее знаете, — она у меня и бухгалтер — самый настоящий! — и приказчик, и письмоводитель, и все, что угодно... Читает, пишет, считает и все мигом. *(Подносит им серебряный портсигар.)* Пане Рубинчик! Пане Вигдорчук! А ну-ка попробуйте эти папиросы... Это уж всем папиросам папиросы! Вот это уж наш брат!

Молодые люди встают и берут по папиросе.

Да, на чем, значит, мы остановились?.. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос, мой милый Вигдорчук и мой дорогой Рубинчик: как это вы оба, молодые люди, — простите, что я говорю так откровенно и запросто, — как это вы добрались до такого золотого дела, как это предприятие с фильмами?

Вигдорчук. О, это целая история...

Рубинчик. Но ее можно рассказать в трех словах. Мы, как вы видите...

Вигдорчук *(не дает ему говорить)*. Дай мне. Я все расскажу в трех словах. Я и мой друг Рубинчик, — мы оба люди с выдумкой.

Рубинчик. С комбинациями.

Вигдорчук. И мы всегда имели отношение к театру. Я, например, сам был музыкантом и знаменитым музыкантом, играл во всех театрах, а мой друг Рубинчик — тоже не кто-нибудь! Он был владельцем парикмахерского заведения и ходил в театр гримировать артистов. Я должен сказать ему в глаза — этому шельмецу: уж если он загримирует кого-нибудь, то это не грим, а живое лицо! Но вот случилась такая история. Наступили плохие времена, — такого времени ни нам, ни вам не довелось бы переживать! — и тогда я нанялся музыкантом в театр-кинематограф. Играю там вечер, играю — два, играю — три, начинаю присматриваться, — в чем его премудрость, этого кинематографа? Оказывается, никакой премудрости нет...

Рубинчик. Ерунда!..

Вигдорчук *(спохватился)*. Хотя, конечно, премудрость есть. И не малая. Но для того, кто ее узнал, она уже не премудрость.

Рубинчик. А сущий пустяк!

Шимеле Сорокер. Я вас не понимаю, я простой наш брат! Одно из двух: либо рыба, либо мясо! Или сюда, или туда! А у вас выходит так: не то премудрость есть и не малая, не то все это ерунда и никакой премудрости. Признаться, я уже совсем сбит с толку!..

Вигдорчук *(Рубинчику)*. А все ты виноват. Ты все время меня перебиваешь! Я хочу объяснить им толком...

Рубинчик. Ладно, объясняй. Кто тебе мешает?

Шимеле Сорокер. Погодите! Вы должны иметь в виду, что мы очень приохотились к этому... «иллюзиону». Когда я еще был... ну... больше чтоб нам уж этого не знать, — я был простой наш брат, мы еженедельно ходили в «иллюзион», конечно, если были деньги на билеты. А теперь, после того как бог осчастливил меня крупным выигрышем, почти не бывает вечера, чтобы мы туда не ходили. И я очень хотел бы узнать, тем более теперь, когда я вкладываю деньги в это дело, в чем, ну... ну... суть, премудрость этого самого дела. Здесь же непременно должен быть какой-то фокус, какой-то... вроде... *(Пощелкивает пальцами.)*

Вигдорчук. Тут, конечно, не без фокуса!

Рубинчик. Еще какой фокус!

Вигдорчук *(перебивает его)*. Да погоди ты! Вот я им объясню все это дело точно. Они же — человек с головой! *(Приближается к Шимеле.)* Дело простое. Вы заметили, что в кинематографе, против сцены, над дверью, находится фонарь с колесиком, которое крутится. Так вот на это колесико наматывают ленту из целлулоида, длинную ленту. *(Показывает жестами.)*

Рубинчик *(смотрит товарищу в рот и утвердительно кивает головою)*. То есть фильм.

Вигдорчук. А на этом фильме сфотографированы все картинки, которые вы видите на полотне... Ну, как? Раскусили?

Шимеле Сорокер. Простите! Одну минуточку!.. Я хочу, понимаете ли, чтобы моя жена тоже слы-

шала все это и тоже узнала всю премудрость. *(Оборачивается к жене, которая входит из соседней комнаты.)*

За ней Мендл несет поднос. На подносе — графин вишневки, стаканчики. За Мендлом — Иохевед со вторым подносом. Поставив угощение на стол, Мендл и Иохевед уходят.

Эти-Мени. Вот вам — вишневка, вот — варенье. Отведайте, если вам угодно.

Шимеле Сорокер. Отведают, с божьей помощью, обязательно отведают. *(Жене.)* Ты хочешь узнать, в чем секрет «иллюзиона», почему крутится и почему мы видим на полотне все, что только ни происходит на белом свете?.. Присаживайся, — и ты кое-что услышишь. Ты же любишь «иллюзион», — ты бы там дневала и ночевала...

Эти-Мени. А ты, бедненький, не любишь!.. *(Садится на мягкую кушетку, на шелковую подушечку, на которой вышиты пестрые цветы, и складывает руки так, чтобы были видны все ее драгоценности.)* Ну, давайте послушаем.

Вигдорчук *(старается сидеть лицом к мадам, но говорит, обращаясь к Шимеле)*. Так на чем мы остановились?

Рубинчик. Мы остановились на фильме, на том, как колесико крутится возле фонаря...

Шимеле Сорокер *(жене)*. Ты видела наверху, над дверью, как раз напротив простыни стоит фонарь? Так вот там имеется колесико, и оно крутится. *(Показывает руками, как оно крутится. Внезапно хватает графин и наливает три стаканчика.)* Ну, пусть оно там крутится, а мы пока выпьем по стаканчику... Лехаим! Дай бог, чтобы раз и навсегда... Наш простой народ... *(Пьет.)*

Гости едва прикасаются губами к стаканчикам.

А теперь валяйте дальше!

Вигдорчук. Итак, я повторю вкратце. *(Изображает жестами.)* Здесь вы имеете полотно.

Рубинчик. Обыкновенное полотно.

Вигдорчук. На этом полотне ничего нет.

Рубинчик. Ну, ровным счетом — ничего.

Вигдорчук. И на обратной стороне полотна тоже ничего нет!..

Рубинчик. Тоже — ничего!

Шимеле Сорокер, изумленный, смотрит на жену.

Эти-Мени. Это вы бабушке своей рассказывайте!. Как это «ничего нет»? Разве мы не бываем в «иллюзионе»? Разве это стоит нам мало денег? Другой пожелал бы сам себе, чтобы... ну, не знаю, чего бы он себе пожелал. А вы говорите, что на той стороне полотна ничего нет! Мы же не маленькие дети, чтобы рассказывать нам бабушкины сказки!..

Вигдорчук *(растерянно улыбаясь)*. Простите, мадам, но мы специалисты. Мы днем и ночью только и заняты этим делом. Мы свое здоровье отдали, жизнь отдаем именно этому делу.

Рубинчик. Это же наш хлеб!

Шимеле Сорокер *(Вигдорчуку)*. Ну ладно, валяйте дальше!

Вигдорчук. Итак, на полотне ничего нет. Самое главное — это колесико, которое находится как раз против полотна, там, где фонарь... *(Обернулся, показывает рукою на дверь.)*

Все оборачиваются к двери.

Вон там, где крутится лента...

Рубинчик *(крутит руками)*. То есть фильм...

Открывается дверь, несколько мужчин рвутся в комнату. Мендл преграждает путь обеими руками.

Мендл. Потерпите одну минуту, пока я доложу.

Пришедшие *(говорят все вместе)*. Что «доложить»? Зачем «доложить»? Мы пришли за пожертвованием в пользу местной талмудторы!

Шимеле Сорокер *(лакею. Кричит громко)*. Дурак ты, черт бы тебя побрал со всеми твоими потрохами! Что ты хочешь от этих людей? Впусти их!

Мендл отступает, но жестом предлагает пришедшим снять головные уборы. Они колеблются. Некоторые сняли, остальные еще не решились. Медленно входят.

Эти-Мени *(пришедшим)*. Что скажете?

Шимеле Сорокер. Садитесь. Можете оставаться в шапках.

Пришедшие, подбодренные словами Шимеле, усаживаются. Один из них, первый попечитель, обращается к портному.

Первый попечитель. Мы пришли к вам, реб Шимен. Мы слыхали про вас, что с тех пор, как бог вам помог, вы даете одно пожертвование за другим. А мы — попечители местной талмудторы и нам нужно ваше пожертвование...

Эти-Мени *(протягивая руку к карману. Пришедшим)*. К чему такое длинное предисловие? Скажите, что вы хотите пожертвование, и вам дадут... Сдача у вас найдется?

Пришедшие *(обрадовались, говорят все вместе)*. Со скольких?

Эти-Мени *(вынимает серебряную монету)*. С двугривенного.

Пришедшие поражены. Онемев, они смотрят друг на друга.

Шимеле Сорокер *(меняется в лице, встает, хочет выместить свою злобу на жене, но сдерживается. К пришедшим, смеясь)*. Моя жена не расслышала, ха-ха, что вы — попечители местной талмудторы. Она, видимо, подумала, что речь идет о пожертвовании для какого-то бедняка. Ничего, я вам сейчас дам. *(Вынимает из жилетного кармана ключик, подходит к несгораемой кассе, недолго роется в ней, достает четыре четвертных билета и подносит их пришедшим.)* Получайте! Вот вам пожертвование и запишите в книге мое имя, мое настоящее еврейское имя: Шимен, сын Меера, Сорокер жертвует для местной талмудторы сотню.

Пришедшие встают, изумленные, горячо благодарят его. Один из них решил сказать хоть несколько слов.

Первый попечитель. Реб Шимен! Мы благодарим бога за то, что он дал нам дожить до этого дня. Впервые, с тех пор как существует местная тал-

мудтора, мы получаем такое пожертвование! Сто рублей! Дай вам бог сто лет счастья, удач и всякого добра. Аминь!

Пришедшие *(все вместе)*. Да благословит вас бог и да пошлет он вам счастья! Аминь! *(Тепло прощаются и уходят.)*

Эти-Мени пылает от гнева. Шимеле, видимо неловко себя чувствуя, ходит по комнате. Останавливается. Настроение подавленное.

Шимеле Сорокер *(про себя)*. Да, да! Какая поразительная штука... Чего только люди не придумывают... Лента... полотно... фильм... И оно живет, двигается! Наш брат! *(Молодым людям.)* Ну, на чем, значит, мы остановились? Да! Чтобы не забыть... Нужен еще один пункт. Моя жена ни в коем случае не разрешит нам не вписать его в контракт. *(Жене.)* Эрнестина Ефимовна! Я хочу, чтобы в контракте было ясно сказано, что и ты, и я, и наши родственники имеем право ходить в любой театр, в какой мы только захотим и когда мы только захотим, — днем или ночью, совсем бесплатно, то есть без всякой платы за билет.

Эти-Мени *(ломает руки)*. Хорошее дело... Неужели это еще не записано в контракте?!

Вигдорчук. Забыли записать.

Рубинчик. Мадам! Наше слово свято!..

Эти-Мени *(вымещая свою злобу на нем)*. Ах, вот как?! А на самом деле вы потом скажете: «Знать не знаем!» Я вашего брата знаю. Видали мы!

Шимеле Сорокер. По-твоему это надо записать? По-моему тоже — записать! *(Вигдорчуку, указывая ему на письменный стол.)* Засучите, пожалуйста, рукава и записывайте.

Вигдорчук *(бросается к столу, приписывает к контракту, потом читает)*. «Мы, нижеподписавшиеся, добавляем еще один пункт, а именно: господин Сорокер, мадам Сорокер, а также любой член их семьи имеют право в любое время дня и ночи входить и си-

деть в любом из наших театров-кинематографов бесплатно». Вы удовлетворены?

Шимеле смотрит на жену.

Эти-Мени. Я хочу, чтобы в контракте была записана также моя сестра Фейгл.

Вигдорчук. Мадам! Тут же записано, что любой член семьи Сорокер!

Эти-Мени. Ее фамилия — не Сорокер, ее фамилия — Вышкробенко.

Рубинчик. Мадам, вы, конечно, правы.

Шимеле Сорокер. В таком случае давайте запишем: «Все родные и знакомые...»

Эти-Мени *(вспылив)*. Знакомые? Этого еще не хватало! И без них достаточно! Болячка им — вот что! Они не хворы заплатить!

Рубинчик. Мадам совершенно права. *(Своему товарищу.)* Запиши: «Мадам Вышкробенко с ее детьми».

Эти-Мени. Нет! Сестру — да, а ее детей — нет. У нее такие детки, пусть они подавятся! Один шалопай хуже другого!

Рубинчик. Мадам совершенно права. Запиши: «Мадам Вышкробенко» — и все!

Эти-Мени. Что за «мадам»? Хороша мадам! Гроша ломаного нет за душой... Беда с ней, горе одно!

Входит Бейлка; она, как всегда, одета скромно.

Шимеле Сорокер. Ты очень кстати пришла. Подойди-ка сюда и прочитай мне контракт. Там все написано, о чем мы вчера говорили?

Молодые люди встают, здороваются с Бейлкой и, подав ей контракт, садятся вновь.

Бейлка *(берет контракт)*. Можно, я прочитаю про себя?.. *(Села, читает.)*

Шимеле Сорокер *(молодым людям, тихо)*. Она-то все умеет!.. Знает еврейский язык, русский и немецкий, какой только хотите!

Входит Мендл с букетом цветов в руках.

Мендл. Принесли Изабелле Семеновне. С карточкой.

Бейлка *(берет цветы)*. Мне?

Шимеле Сорокер *(довольным тоном)*. Цветы?.. От кого это?

Бейлка *(читает визитную карточку)*. «Соломон Оскарович Файн». Ха-ха-ха!

Шимеле Сорокер. Что тут смешного? *(Лакею.)* Можешь идти.

Мендл уходит.

Бейлка. Разве не смешно? Преподношения, цветы!.. Что это он вдруг? Где он был три недели тому назад, когда — помнишь? — его просили сделать одолжение и замолвить словечко перед отцом о плате за квартиру? Он только плечами пожал *(передразнивает Соломона)*: «Это меня не касается!..» *(Отдает отцу контракт.)* Написано так, как вы вчера говорили. *(Показывает на гору писем, лежащих на столе.)* А это — сегодняшняя почта?.. *(Собирает письма.)* Я возьму с собой, прочитаю у себя в комнате и потом все тебе расскажу... *(Кивком головы прощается с гостями.)*

Гости быстро и шумно вскакивают. Бейлка уходит.

Шимеле Сорокер *(молодым людям)*. Странная у меня дочка!.. Другая бы на ее месте... в такой роскоши!.. И при таком богатстве!..

Эти-Мени. Скажи хоть: «Не сглазить бы!»

Шимеле Сорокер. А когда хочешь нашей дочке купить новое платье, пальто, шляпку, она тебя доводит до белого каления. Не хочет! Что вы прикажете с ней делать?!

Молодые люди слушают с изумлением.

Чего вам больше: ей сватают женихов — самых хороших, самых знатных, она слышать не хочет!.. И смотреть в их сторону не хочет! Представьте себе: сам реб Ошер Файн, — вы же, конечно, слыхали о нем? —

он хочет, просто помирает, женить сына на моей дочери! То есть, собственно, не так этого хочет он, как его сын, и не так даже его сын, как мне самому очень хотелось, чтобы жених моей дочери был из такой знатной семьи, как Файны, у которых я еще недавно снимал квартиру...

Эти-Мени. Скажи хоть: «Не приведи господи больше никогда...»

Шимеле Сорокер. Кажется, все в порядке,— да? Он хочет, его сын хочет, и я тоже хочу. Можно было устроить помолвку — и все? А она, Бейлка, говорит: «Нет!» Она еще, видите ли, подумает.

Молодые люди слушают с изумлением. Появляется Мендл.

Мендл *(продолжая что-то жевать)*. Этот чудак опять пришел.

Шимеле Сорокер. Какой чудак?

Мендл. Соловейчик... Сват.

Шимеле Сорокер. Соловейчик? Где же он?

Мендл. Там, в передней.

Шимеле Сорокер. Почему же он не входит?..

Мендл. Я же говорил вам, что я не первый год служу в богатых домах. А у богачей всегда полагается...

Шимеле Сорокер. Раньше доложить? Ладно, ты уже доложил. А теперь иди и зови его сюда!

Мендл уходит.

Ох, между нами говоря, и порядочки, церемонии у аристократов. Пусть господь бог меня не накажет за мои слова...

Распахнулась дверь. Мендл впускает Соловейчика, закрывает дверь, уходит.

Честь и место. Вы легки на помине! Садитесь, пане Соловейчик.

Соловейчик. Какая жара сегодня,— нечто особенное! *(Вглядываясь в молодых людей.)* А это кто? Что-то они мне очень знакомы. *(Припоминает.)* Ага!

Это — те самые? Из театра? Это вы с ними затеяли дело, о котором весь город уже звонит? *(Здоровается с молодыми людьми.)* Как дела? Говорят, вы деньги загребаете? *(Показывает руками.)*

Вигдорчук. Подумаешь! Деньги загребаем! Ничего, не жалуемся. Зарабатываем...

Рубинчик. И еще приберегаем рублик-другой про черный день.

Соловейчик *(портному)*. Вы их не слушайте! Вы меня спросите! Это — золотое дело! Неисчерпаемый источник! Люди на этом наживают капиталы, а они говорят: «Приберегаем рублик-другой!»

Молодые люди в восторге от его слов.

Шимеле Сорокер. Так вы говорите, что в городе уже знают о моем деле, о «фильм-компании»? Не отведаете ли нашей вишневки? *(Наливает ему стаканчик.)*

Соловейчик. Что за вопрос? Все знают, все говорят об этом, и все вам завидуют. *(Осушив стаканчик, закусывает.)*

Шимеле Сорокер. Завидуют?

Соловейчик. Клянусь вам жизнью! Что же, я лгать буду? Говорят даже, скоро станете миллионером... И дай вам бог! *(Молодым людям.)* Я вам скажу, Семен Макарович такой человек! Они любят сами хорошо зарабатывать, но им не жалко, если и другой при этом заработает. Как говорится: живи и давай жить другим!.. *(Портному.)* Вам, Семен Макарович, счастье уже улыбнулось. Значит, теперь пойдет удача за удачей! Как сказано в писании: «Если ты начал падать, ты будешь падать и падать»...

Шимеле Сорокер *(жене)*. Ты слышишь, что он говорит? *(Наливает Соловейчику еще стаканчик.)*

Эти-Мени *(глядя на графин)*. Слышу, я не глухая. *(Свату.)* Скажите лучше, что слышно с тем делом?

Соловейчик *(жене портного)*. А что, мадам, должно быть слышно? Дай бог всем евреям такие дела! *(Портному и его жене.)* Если у Соловейчика в

голове родится какая-нибудь идея, он доведет ее до конца, хоть бы весь мир перевернулся!.. Я как раз только что оттуда, от аристократов... Ну и приняли они меня! «Мое почтение», и «садитесь», и «вот папиросы», и «вот лимонад»... Из-за жары пересохло в горле — нечто особенное!.. *(Вновь осушив стаканчик, закусывает.)*

Шимеле предлагает Соловейчику папиросу из своего портсигара.

Шимеле Сорокер. Значит, вы от Файнеров? Как теперь обстоит там дело?

Соловейчик. Все обстоит очень хорошо! Было бы так хорошо повсюду, где я сватаю женихов и невест!.. Уж если у Соловейчика в голове родится какая-нибудь идея!.. *(Закуривает папиросу.)* Если вам не очень жарко, я вам расскажу про мой сегодняшний визит, как я туда пришел, и что сказал, и что они сказали, и что я ответил, и что они ответили, словом — весь наш разговор... *(Засучивает рукава, готовясь рассказывать обстоятельно, со всеми подробностями.)*

Шимеле Сорокер *(нетерпеливо)*. Пане Соловейчик, зачем же разговоры? Вы же знаете: я — простой человек, люблю, чтобы все было сшито и выутюжено. Скажите мне самый-самый конец, к чему вы в конце концов пришли?

Соловейчик. Вот самый конец! Они пригласят вас к себе в гости. Там будет вся аристократия... Но до этого они еще будут с визитом у вас... И может быть, еще сегодня... Вот на что способен Соловейчик!

Шимеле Сорокер *(жене)*. Ты слышишь?.. *(Тихо.)* Надо приготовить всякого рода закуски... *(Свату.)* А вы уверены, что они придут сюда?

Соловейчик *(ест варенье, запивает вишневкой)*. Так же, как в том, что моя фамилия — Соловейчик.

Шимеле Сорокер. А их парень тоже будет с ними?

Соловейчик *(доедает остатки варенья)*. Что за вопрос?

Шимеле Сорокер. Значит, *сам* старик сказал вам это?

Соловейчик. Да! Он! Сам старик сказал мне: «Мы будем с визитом у господина Сорокера, может быть, еще сегодня. Он все же одно время, говорит, снимал квартиру в нашем доме...»

Шимеле Сорокер. Так и сказал? *(Жене.)* Ступай позаботься, чтобы все было...

Эти-Мени уходит.

Соловейчик. Так и сказал! Это его подлинные слова,— клянусь вам жизнью... А вы думали, Соловейчик какой-нибудь мальчишка? Кстати, мне надо вам сказать пару слов с глазу на глаз... *(Молодым людям.)* Извините... *(Отводит Шимеле в сторону.)* Как говорится, три дела — два слова. *(Остановились недалеко от рампы.)*

Шимеле Сорокер *(свату)*. Я наперед знаю, что вы хотите мне сказать. Насчет приданого. Сколько я даю?

Соловейчик *(тихо)*. Вы же просто мудрец! Но вы, наверно, думаете, что это *они* хотят узнать или сам жених? Боже сохрани! Я ведь это так... Если конец дела, думаю, уже так близок, положительно вот-вот, то нельзя же мне стоять как истукан, если вдруг, понимаете ли, меня спросят...

Шимеле Сорокер. Вы прекрасно знаете, что дочка у меня одна-единственная и через сто двадцать лет... все перейдет к ней.

Соловейчик. А все-таки более или менее...

Шимеле Сорокер. Пятьдесят тысяч рублей отложены в «Частном коммерческом банке». По правде сказать, там лежит три раза по пятьдесят тысяч. Но одни пятьдесят тысяч — отдельно для дочери. Она же у меня одна-единственная, следовательно, когда через сто двадцать лет меня позовут туда: «Будьте любезны, наш брат — простой народ...»

Молодые люди прислушиваются.

Соловейчик *(перебивает)*. Чепуха! Зачем говорить о таких вещах?! Вы еще будете жить и жить,

даст бог!.. Вы *должны* жить, потому что вы делаете много добра людям... Кто этого не знает? Добрые дела дают о себе знать. Следовательно, пятьдесят тысяч — это точно, наличными?

Шимеле Сорокер. Деньги на бочку! У меня — без всяких хитростей, без пустых слов и обещаний. У меня так: если я говорю: «дам», значит даю. Это же, понимаете ли, наш брат — простой народ!..

Соловейчик. Одним словом, мы уже обо всем договорились. И я, следовательно, могу идти дальше. Мне еще предстоит бегать и бегать, говорить и говорить. Ну, будьте здоровы и успевайте в делах! Прощайте! С божьей помощью, скоро встретимся на помолвке... *(К двум компаньонам Шимеле.)* Желаю вам каждому по полмиллиона прибыли, а вашему компаньону — целый миллион! До свиданья, прощайте! *(Уходит.)*

Шимеле Сорокер *(молодым людям)*. Не обижайтесь, у меня, не сглазить бы, такой дом, что каждую минуту новые люди с новыми делами... А теперь надо все-таки взяться за наше дело. *(Надевает очки, засучивает рукава, подходит к столу.)* Сейчас, стало быть, надо выполнить деликатную работу: проставить подпись. *(Подписывает контракт.)*

Вслед за ним подписывают контракт оба компаньона.

Шимеле Сорокер. Теперь, стало быть, нужно дать вам монету... немножко медяков... *(Идет к несгораемому шкафу.)* Но должен вас предупредить, мои милые компаньоны, что у меня нет наличных денег... Несгораемая касса, как видите, у меня есть, но таких больших денег я дома не держу. Для этого, понимаете ли, имеется банк... *(Открывает кассу, достает чековую книжку.)* «Частный коммерческий банк». Там я храню весь свой капитал. А когда бы мне ни понадобилось и сколько бы мне ни понадобилось — я выписываю чек и мне дают... *(Кладет чековую книжку на стол.)* Но вот какое дело! Писать надо по-русски, а я в грамоте немного хромаю. Для этого

у меня есть дочка, и она, как вы уже знаете, ведет всю мою бухгалтерию.

Входит Эти-Мени.

Позови сюда Бейлку на минуточку. Ей нужно кое-что написать для меня.

Эти-Мени. Изабеллочку? Ее, кажется, дома нет. Пойду посмотрю. *(Уходит.)*

Шимеле Сорокер. Нехорошо, знаете ли, когда ты слепой человек. Не уметь писать по-русски еще хуже, чем без очков... *(Пауза.)* А впрочем... Знаете что? Может быть, имело бы смысл, чтобы вы были настолько любезны и сами заполнили этот чек? Вот вам чернила и ручка. Кто из вас лучше пишет?

Вигдорчук и Рубинчик подбегают к письменному столу. Вигдорчук берет ручку с пером, готовится писать.

(Шимеле надевает очки и с видом человека, хорошо разбирающегося в правилах заполнения чеков, указывает пальцем на чековую книжку.) Вот здесь, справа, — видите? — будьте любезны, напишите цифрами: пятнадцать тысяч... Одна единица, пятерка и три нуля, да, три нуля. О, вот так! А там, внизу, напишите уже словами: «Пятнадцать тысяч». «Рублей» не надо писать: это уже напечатано. О, вот так... Написали? Теперь дайте, пожалуйста, сюда перо, и я опять проставлю подпись. *(Снова засучивает рукава и медленно ставит свою подпись. Ему даже жарко стало.)* Уф! Я просто уже устал сегодня писать... *(Размахивает чеком в воздухе.)* А кто виноват? Мой же родной отец, царство ему небесное, не хотел он, чтобы меня учили писать. Если бы меня учили, я писал бы, как никто в мире! Можете поверить. Вы же видите, как я быстро и хорошо разбираюсь в самых больших делах!..

Вигдорчук *(прощаясь)*. Вы на редкость способный человек.

Рубинчик *(прощаясь)*. Талант! Особого рода талант!

Шимеле Сорокер *(явно польщен, пожимает им руки)*. Неужели? Как жаль, что моей жены тут нет. Пусть бы она послушала, что обо мне говорят! *(Передает чек Вигдорчуку.)*

Рубинчик пытается заглянуть в чек, но Вигдорчук отталкивает его локтем и прячет чек в свой бумажник. Заметно нервничая, он застегивает пиджак и готовится попрощаться с Шимеле.

Вигдорчук. Мы отняли у вас так много времени...

Рубинчик. И заморочили вам голову...

Шимеле Сорокер. О чем вы говорите? Мы же, с божьей помощью, сделали дело!

Вигдорчук. И — хорошее дело!

Рубинчик. Блестящее!

Шимеле Сорокер. Зачем же лишние разговоры? Раз так, мы обязательно должны перед вашим уходом выпить хотя бы еще по стаканчику этой вишневки *(стоя, наливает три стаканчика)* и пожелать друг другу, чтобы наши полмиллиона не заставили себя долго ждать и чтобы весь город знал, что значит наш брат — простой народ!.. *(Чокаются, пьют стоя.)* Теперь можете идти. Идите и будьте здоровы. Желаю успеха...

Вигдорчук и Рубинчик почтительно прощаются. Уходят. Шимеле провожает их до дверей. Через полминуты входит Эти-Мени.

Эти-Мени. Бейлка сейчас зайдет. *(Осматривается.)* А где эти пройдохи! Ушли уже? Кто же тебе написал все, что нужно? Ты отложил до другого раза?

Шимеле Сорокер. Какое там «отложил»? Я не люблю откладывать: у меня сказано — сделано, сшито — выутюжено! Наш брат!

Эти-Мени. Но кто же тебе писал?

Шимеле Сорокер. Они. Я диктовал, а они писали.

Эти-Мени *(всплеснув руками)*. Они писали! Кто знает, что они тебе там написали?! Ты не мог подождать Изабеллочку?

При последних словах Эти-Мени входит Бейлка.

Бейлка. Я прошу вас: не называйте меня Изабеллочкой, называйте меня моим настоящим именем. У меня есть имя — Бейлка!

Эти-Мени. Вот тебе радость! Разве мы теперь такие, какими были раньше?

Бейлка. Вот это и печально, мама, что мы не такие, как раньше... То есть, на самом деле, мы такие же, какими были, но почему-то думаем, что мы уже не мы... Поэтому и делаем не то, что нужно: ходим не туда, куда нужно, и принимаем у себя не тех, кого нужно... А тех, кто наши настоящие друзья и равные нам, — тех мы и в дом не пускаем...

Эти-Мени (*мужу*). Что-то она так туманно, так странно говорит! И не поймешь ничего!..

Шимеле Сорокер (*жене*). Куда тебе понять наши разговоры... (*Дочери.*) Но все-таки одно другого не касается; если нас пригласят к Файнерам в гости, — тем более, что раньше они будут с визитом у нас, то к ним ты не откажешься пойти вместе с нами? Это все-таки реб Ошер Файн!

Бейлка. Посмотрим... Еще подумаем... Может, пойду с вами, а может, и не пойду.

Шимеле Сорокер (*разгневанный*). Как это не пойдешь с нами? А я-то кто тебе? Отец или не отец?

Эти-Мени (*желая примирить их*). Ну, стоит ли? Посмотрите, что творится!.. Медведь еще не убит, а уже спорят, никак шкуры не поделят. Файнеры пока что у нас еще не были, и к себе еще не звали, и не так еще скоро будем мы на помолвке тарелки бить... А вы уже ссоритесь...

Шимеле Сорокер (*возмущенно*). Мазлтов! Поздравляю! Она тоже вмешивается! (*Жене.*) Кто тебя просил мирить нас?.. (*Дочери.*) Мы с тобой никогда не ссорились и теперь не будем ссориться. Наш брат, мы знаем, что лучше по-хорошему сговориться, чем ссориться и злиться... Скажи мне, дочка, что с тобой делается? С тех пор как бог осчастливил меня крупным выигрышем, я не вижу, чтобы ты была довольна, весела, счастлива... Как будто не мне достался главный выигрыш!..

Бейлка. Чего же ты хочешь? Чтобы я танцевала на улице?

Шимеле Сорокер. Кто требует, чтобы ты танцевала на улице? Я только думаю, что ты должна была бы как-то так... *(Показывает жестами.)* Как-то зажить... вроде, как-то. Наш брат...

Бейлка. Скажу тебе, отец, всю правду. Если ты уж заставляешь меня говорить, я тебе скажу... Не по мне все это... Ничто мне не мило... Ничто мне не дорого. Все я делаю словно из-под палки... Все против моей воли... Кого бы я хотела видеть, тех не вижу. Кого вижу — не хочу видеть... Я не могу раскрыть душу перед вами, потому что вы меня не поймете!.. Вы не хотите меня понять и не можете понять, — потому что выигрыш вскружил вам головы и вы не видите, что вокруг вас творится. Белое вам кажется черным, а черное — белым...

Шимеле Сорокер. Получается, что мой крупный выигрыш — это несчастье?

Бейлка. Для кого счастье, а для кого несчастье... *(Чуть ли не сквозь слезы.)* Ваше счастье для меня несчастье.

Шимеле Сорокер *(повторяет ее слова)*. Наше счастье для нее — несчастье... *(Жене.)* Что ты на это скажешь? Ты что-нибудь понимаешь?

Эти-Мени *(мужу)*. Ты же говорил, что только я одна ничего не понимаю, а ты все понимаешь... Она тебе намекает, что не хочет идти с нами к богачам... Она их ненавидит...

Шимеле Сорокер *(повторив ее последние слова)*. Ты? А я скажу иначе! *(Повысив голос.)* Если я говорю «идти», значит надо идти. *(Стучит по столу.)* Наш брат простой народ! Утюг и ножницы!..

Эти-Мени. Ну? Зачем тебе это нужно было? Только разозлил девочку...

Шимеле Сорокер *(вскакивает как ошпаренный)*. Эти-Мени! Не зли меня!

Эти-Мени. Послушай-ка! Что ты меня пугаешь?

Шимеле Сорокер. Уважать меня надо! Держи язык за зубами! Ты, кажется, знаешь, кто я такой!

Эти-Мени. Смотри-ка, как возгордился! Иголка с ниткой тебе кланялись!

Шимеле Сорокер *(вне себя)*. И ты смеешь мне говорить такие слова? Мне, перед которым все снимают шапки, когда я прохожу по улице?

Эти-Мени. Все! Только не я! Ты воображаешь, что ты — великий барин! А я считаю, что ты портной, портняжка!

Шимеле Сорокер. Замолчи, горе ты мое! Не то я тебе покажу, кто я!

Эти-Мени. Пропади ты пропадом, — не доживешь ты до этого!

Шимеле Сорокер. Тьфу на тебя!

Эти-Мени. Тьфу на тебя!

Открывается дверь, и появляется Мендл.

Мендл *(жует)*. В зале вас ждут гости.

Шимеле Сорокер *(опомнившись)*. Гости?

Эти-Мени. Какие еще гости?

Мендл. Господин Файн, мадам Файн...

Шимеле Сорокер *(сразу протрезвившись)*. Что же ты молчишь? *(Жене.)* Эрнестина Ефимовна! Прикажи поставить самовар! Прикажи подать вишневку, вино и варенье, всякого рода варенье!.. *(Хочет направиться к двери.)*

Эти-Мени *(тянет его назад)*. Куда ты летишь?! Таких гостей ты хочешь принимать в халате? *(Лакею.)* Что ты стоишь как истукан? Ты же видишь, что хозяин в халате. Принеси ему сюртук!

Мендл уходит.

А я пока пойду принимать гостей. *(Остановившись у зеркала, приводит себя в порядок. Уходит.)*

Мендл приносит черный сюртук, помогает хозяину надеть его. Шимеле застегивает сюртук на все пуговицы, расшаркивается и раскланивается, репетируя, как он войдет и представится именитым гостям. За его спиною Мендл повторяет его движения со всеми его ужимками. Шимеле большими шагами идет к двери. Мендл идет за ним такими же шагами.

Занавес падает.
Конец второго действия.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Прихожая. В глубине — второй занавес, который подымается сейчас же после окончания первой картины, и вторая картина третьего действия может начаться без антракта. Прихожая должна быть достаточно длинной. В ней находятся столик с зеркалом, вешалка, стойка для зонтиков и палок, стенные часы и несколько плетеных стульев. На втором занавесе нарисована закрытая дверь. Один или два боковых входа. У нарисованной двери стоит Мендл. Возле него в позе, выражающей покорность, стоят подмастерья — Мотл Косой и Копл Фалбон. Вытирая пот с лица, они торгуются с лакеем Мендлом, а тот, с видом человека, от которого многое зависит, держит руки в карманах и жует.

Мендл. Пусть отсохнут рукава моей жилетки, если бы я сделал это для кого-нибудь другого. Попробовал бы он даже насыпать эту комнату золотом до потолка, все равно я вышвырнул бы его отсюда вон. Потому что... потому что вы даже не можете себе представить, какой строгий у меня хозяин!

Подмастерья крайне удивлены.

Мотл Косой. Шимеле Сорокер — строгий хозяин? Вы шутите!

Копл Фалбон. Вы насмехаетесь над нами!

Мендл. Насмехаюсь? Пусть у того, кто насмехается, вскочат чирьи на носу! Хозяин чуть ли не тысячу раз приказывал, чтобы бедно одетый человек не переступал порога... А если придет мастеровой, например, портной, так просто гнать в шею.

Подмастерья поражены.

Мотл Косой *(товарищу)*. Как тебе это нравится? Кто бы мог подумать?..

Копл Фалбон. Человек меняется. Деньги привалят, — и человек становится таким же буржуем, как все буржуи.

Мотл Косой *(вынимает кошелек и, порывшись в нем, достает монету, вручает ее лакею).* Вот вам! Пусть уж будет по-вашему!..

Копл Фалбон. Но только пойдите и вызовите ее сюда.

Мендл *(рассмотрев монету, прячет в карман).* Так кого, вы сказали, я должен вызвать? Только ее, барышню значит, или?..

Мотл Косой. Только ее! Только ее!

Копл Фалбон. Никого другого не нужно!

Мендл. И что мне сказать ей?

Мотл Косой. Скажите ей, что два хлопца ждут ее. Они должны сказать ей всего лишь два слова.

Копл Фалбон. Не просто хлопцы, а хлопцы, которые три года работали с нею за одним столом.

Мендл *(продолжает жевать. После раздумья).* Нет! Сказать только «хлопцы» — никуда не годится. Мало ли какие хлопцы бывают на свете! Нужны имена! Имена нужны!

Мотл Косой. Раз так, то скажите ей: Мотл Косой и Копл Фалбон хотят вас видеть!

Копл Фалбон. На два слова — не больше.

Мендл *(повторяет).* Мотл Фалбон и Копл Косой. Мотл Фалбон и Копл Косой.

Мотл Косой *(поправляет его).* Не Мотл Фалбон и Копл Косой, а наоборот.

Копл Фалбон. Мотл Косой и Копл Фалбон.

Мендл. Ага! А непременно надо говорить «хлопцы»?

Мотл Косой. Вы зря теряете время.

Копл Фалбон. И может ведь нагрянуть сам...

Мендл. Его не бойтесь — нет его дома. Ушел гулять. Он сделал дело, огромное дело! Закупил все театры в городе! Теперь все театры будут нашими... Если надумаете пойти в театр, сперва нужно будет обратиться к нам.

Парни переглядываются.

А мы... если захотим — впустим вас. Не захотим — придется постоять на улице. С нами не шутите! *(За-*

метил, что его речь мало действует на парней, но все же продолжает.) А вам известно, что мы побогаче самих Файнеров? Они обивают у нас пороги. Сперва посылали к нам сватов по три раза в день... Потом сами пришли... И все норовят скорее свадьбу справить... Они помирают, готовы на все, лишь бы заполучить нашу барышню! А их сыночек влюблен *(показывает на уши)* по уши. Просто — вот-вот кондрашка его хватит. Ну, и она, конечно, в него втюрилась.

Мотл Косой. Влюблена?

Копл Фалбон. Давно? С каких пор?

Мендл. С каких пор, я не знаю, но целыми днями они только и знают, что целуются, милуются. То — он к ней, то — она к нему, никак не нацелуются досыта, не намилуются вволю... Ну, как же я должен ей сказать? Два хлопца, Котл Фасой и Мопл Фалбон? Тьфу! Из-за вас я совсем уже запутался! Все морочите мне голову!..

Мотл Косой. Не надо называть имен! Скажите только: «Два хлопца» — и все!

Копл Фалбон. И скорее бы все кончилось!

Мендл. Хорошо. Я согласен. Иду. Но если вдруг сюда зайдет холера...

Мотл Косой. Какая холера?

Копл Фалбон. Это он, наверное, об Эти-Мени...

Мендл. Какая Эти-Мени? Забудьте Эти-Мени! Ее уже зовут не Эти-Мени, а Эрнестина Ефимовна. *(Идет к двери, но тут же возвращается.)* Сядьте пока здесь... Или лучше — вот здесь... *(Усадив обоих, снова идет, жуя и повторяя.)* Мокл Фасой и Фотл Фалбон. Котл Фасой и Мопл Фалбон... *(Уходит.)*

Подмастерья осторожно садятся на плетеные стулья и разговаривают вполголоса.

Мотл Косой. Странный лакей!

Копл Фалбон. Придурковатый какой-то!

Пауза.

Мотл Косой. Кто будет говорить первым, — я или ты?

Копл Фалбон. Начинай ты, а я уж потом...

Мотл Косой. А не успею я рот открыть, как ты тут же и заговоришь.

Копл Фалбон. Нет, не буду. С чего ты думаешь начать?

Мотл Косой. Начну я так. *(Встает, откашливается, репетирует дрожащим голосом.)* «То, что мы сюда пришли, Бейлка, то, что нас сюда привело, не касается никого, кроме...»

Копл Фалбон. «...кроме вас одной!»

Мотл Косой *(товарищу)*. Значит, ты хочешь говорить. Говори! *(Садится.)*

Копл Фалбон. Нет, нет, говори ты, говори!

Мотл Косой. Что же ты перебиваешь меня? *(Встает, откашливается, положив руку на сердце, вновь репетирует.)* «Речь здесь идет только о вас, Бейлка, о вашем счастье, о всей вашей жизни. Мы не имеем права вмешиваться в чужие дела — это мы знаем. Но мы не могли больше совладать с собою. Нам стало известно, что вы себя связываете, — или другие связывают вас на всю жизнь с человеком, который вас недостоин... Он недостоин быть с вами под одной крышей, дышать с вами одним воздухом...»

Копл Фалбон. Хорошо сказано!.. А если она тебя спросит: «Почему вы вдруг заговорили об этом?»

Мотл Косой. Тогда я ей скажу всю правду: мы оба ее любим с давних пор, мы изнываем...

Копл Фалбон. ...телом и душой! *(Прислушивается.)* Тише! Кажется, она идет...

Мотл Косой *(прислушиваясь)*. Кто? Бейлка? *(Застегнулся на все пуговицы, откашлялся, готов выступить с речью.)*

Входит Бейлка. Подмастерья делают шаг ей навстречу.

Бейлка *(протягивая к ним руки)*. Как хорошо, что вы пришли!.. Сам бог вас сюда привел!.. Где вы

были до сих пор? Я уже все глаза проглядела, ожидая вас! Я уже потеряла всякую надежду...

Мотл Косой. Бейлка, душенька, вы ведь не знаете, как мы мучаемся.

Копл Фалбон. Разве к вам пускают?

Бейлка. Кто не пускает?

Мотл Косой. Да этот... ваш верный страж!

Бейлка. Да, да, я забыла! Если бы вы знали, что за дом у нас теперь! Моим страданиям нет конца...

Мотл Косой. Уж который раз мы пытаемся пробраться сюда...

Копл Фалбон. Как сквозь железные ворота...

Мотл Косой *(Коплу)*. Только не перебивай меня!

Копл умолкает.

Мы хотели вам сказать... Вы не знаете, как вы нам дороги, как вы вросли в наши сердца!

Копл Фалбон. Как сестра! Как родная сестра!

Бейлка. Не то... Нет... Сейчас не об этом надо говорить... Сейчас надо меня спасти!

Мотл Косой. Для вас мы готовы на все!

Копл Фалбон. В огонь и в воду!..

Бейлка. Вот, вот! Вот это главное! Вы должны помочь мне спастись, уйти из этого дома, вырваться отсюда! Вы не знаете, какой теперь дом у нас! А что стало с моим отцом! С тех пор как он заполучил этот большой выигрыш, его и узнать нельзя! Я не помню, чтобы он раньше хоть раз так сердился. А теперь, чуть что не по нем, — он страшно раздражается, не дает слова сказать... Не дает голову поднять! А главное — он хочет обкрутить меня с этим... *(Закрывает лицо руками.)*

Мотл Косой. Мы знаем! Мы уже слыхали! Мы все знаем!..

Копл Фалбон. Этот буржуй?.. Не дожить бы ему до этого!

Бейлка. Недавно он был у нас... Они все пришли... И нас к себе звали... Наши обещали, что мы придем к ним... Но я сказала потом отцу, что не пойду. Вот он и устроил мне «концерт». Все было:

крики, слезы... Чего только не было! Но я настаивала на своем — нет, нет и нет! Что я — кукла? Я не позволю продавать себя!..

Копл Фалбон, Мотл Косой (*вместе*). Правильно! Совершенно верно!

Бейлка. Не пойду! Никуда я не пойду!.. Я убегу от них! Убегу куда глаза глядят! Лучше есть кусок хлеба раз в три дня, лишь бы не... (*Закрывает лицо руками, тихо плачет.*)

Мотл Косой. Бейлка, душенька, сердце мое, не плачьте! Мы вам поможем!

Копл Фалбон. Мы готовы в огонь и в воду!

Бейлка (*оживает*). Вы мне поможете? Я знала, что вы придете мне на помощь!.. Я хочу их проучить! Моего отца и мою мать хочу я проучить!.. Хочу напугать их! Устроить скандал!.. Убежать, убежать среди ночи... Нет, недалеко убежать: в соседний город, на ближайшую станцию. Но убежать!.. Ой, как они испугаются!.. Как они будут меня искать... И тогда я добьюсь своего!..

Мотл Косой. Какая вы умница!

Копл Фалбон. Умнее всех на свете!

Бейлка. Так вы поможете мне бежать?

Мотл Косой, Копл Фалбон (*вместе*). Когда?

Бейлка. Хотя бы сегодня ночью!.. Они уйдут туда, я останусь одна... а вы будьте наготове... вот здесь — под моим окном. (*Указывая рукой.*) Вы должны приготовить подводу... Вам же нужны деньги... (*Берется за карман.*)

Мотл Косой, Копл Фалбон (*вместе*). Какие деньги? При чем тут деньги? Не надо! У нас есть!..

Бейлка. Так помните: как только они уйдут, я открываю окно... Ой, мать идет!.. (*Бросается бежать.*)

С противоположной стороны входит Эти-Мени. Парни замирают.

Эти-Мени (*осматривает Мотла и Копла*). Смотри-ка! Копл? Мотл? Наверное, к моему мужу? Ну,

как вы поживаете? У кого работаете? Почему стоите? Если уж пришли, так можете присесть на минуточку... Вы хотите видеть моего мужа? Сегодня вам нельзя будет его увидеть... Завтра тоже... Послезавтра тоже нельзя... Потому что он теперь вечно занят. Он подписал контракт с какой-то большой компанией... Предпринял одно дело. Большое дело. Очень большое дело!..

Мотл Косой. Да, мы знаем...

Копл Фалбон. Мы уже слыхали...

Эти-Мени. Что вы слыхали?

Мотл Косой. Что реб Шимен сделал большое дело.

Копл Фалбон. Скупил весь город...

Мотл Косой. Со всеми театрами...

Копл Фалбон. И со всеми гостиницами...

Эти-Мени *(поражена)*. Кто это вам рассказал?

Мотл Косой. Все говорят!

Копл Фалбон. Весь город!

Эти-Мени. Весь город?!

Мотл Косой. Из конца в конец!

Копл Фалбон. Как в котле кипит...

Эти-Мени. Кипело бы у них в сердце и в животе! Откуда они все узнали и так скоро? Вероятно, этот Соловейчик раструбил. Вот у кого длинный язык!.. Да! Вы теперь не можете увидеть его, моего мужа. Но если он вам очень нужен, можете сказать мне.

Мотл Косой. Нам ничего не нужно.

Копл Фалбон. Мы просто так зашли.

Эти-Мени. В гости, значит? Пожалуйста! Очень мило с вашей стороны... Я ненавижу разных этих бедняков, попрошаек, — пусть не накажет меня бог за такие слова, — сколько ни делай им добра, сколько ни давай, — все мало! Как в прорву... У вас, значит, все есть?.. Мне это приятно. И это очень хорошо с вашей стороны, что вы не забываете своих старых хозяев. Заходите когда-нибудь... Знаете, когда? Бог даст на праздник...

Парни переглядываются и встают.

Тогда мой муж будет свободен... Только не заговаривайте с ним о прежней нашей жизни. Ему это неприятно... Вы же понимаете. Вам пальца в рот класть не надо, откусите...

Парни медленно пятятся к выходу, не сводя глаз с Эти-Мени, и вытирают пот.

Идите и будьте здоровы. Ради бога, не забудьте же, на праздники! Вы тогда будете приятными гостями. Я вас угощу вишневкой и вареньем... Идите и будьте здоровы! *(Уходит направо.)*

Подмастерья направляются налево и у самого выхода встречаются с Шимеле Сорокером.
Он пришел с улицы в пальто и с тростью в руке.

Шимеле Сорокер. А-а! Мое почтение, гости! Что вы здесь делаете? И почему вас не видно было? Что вы прячетесь? Наш брат простой народ, утюг и ножницы...

Мотл Косой. К вам теперь не подступись... Как к какому-нибудь царю! Мы уж столько раз сюда приходили, но он нас не пускает.

Шимеле Сорокер. Кто?

Копл Фалбон. А это... Чучело... Ваш слуга...

Шимеле Сорокер. А вы его не слушайте! Идите прямо ко мне! Вы же из моих людей, наш брат — простой народ!..

Мотл Косой. Он говорит, вы ему приказали гнать в шею всякого портного, который сюда придет...

Копл Фалбон. Ко всем чертям гнать! Клянусь богом, он так и сказал.

Шимеле Сорокер *(вне себя)*. Я так сказал? Я? *(В возмущении хватает колокольчик и звонит.)*

Эти-Мени вбегает ни жива ни мертва.

Эти-Мени. Кто это звонит? *(Увидев подмастерьев.)* Вы еще здесь?

Подмастерья пятятся к дверям. Шимеле задерживает их.

Шимеле Сорокер. Это я звонил... Где он — этот замечательный лакей, этот шут гороховый, этот паяц?..

Эти-Мени. Что такое? Зачем он тебе нужен?

Шимеле Сорокер. На кой черт он мне дался! Ничего, он получит от меня такую взбучку, что у него потемнеет в глазах. Ему не повадно будет выгонять людей из моего дома! *(Подмастерьям.)* Как же вы поживаете? Я по вас давно скучаю... Как-никак столько времени работали за одним столом... Пойдемте ко мне, посидим, побалакаем, выпьем немного, наш брат...

Эти-Мени. С ума спятил! Кто тебе даст выпить хоть каплю? Ты забыл, что нам пора уже готовиться к такому визиту?.. *(Смотрит на часы.)* Пора переодеваться... Мотл и Копл не обидятся, они свои люди. Пусть лучше зайдут в другой раз...

Мотл и Копл *(довольны, говорят вместе)*. Да, лучше в другой раз.

Шимеле Сорокер *(протягивая им руку)*. Боюсь, уйдете, и поминай как звали! Нет! Заходите в субботу... Только приходите прямо ко мне и никого не спрашивайте! А на этого дурака, который стоит у дверей, не обращайте никакого внимания. Если он вздумает вас не пускать, покажите ему, что такое наш брат — простой народ!..

Подмастерья уходят в одну сторону; Шимеле — в другую. Эти-Мени звонит в колокольчик. Входит Иохевед.

Эти-Мени. Видишь, что здесь творится? Пойди принеси половую щетку, подмети так, чтоб было чисто.

Иохевед *(внимательно разглядывая пол)*. Где? Тут, кажется, и так довольно чисто. Зачем здесь подметать? Зачем убирать?

Эти-Мени. Тебе говорят убрать, значит должна убрать. Ты же видела: только что здесь сидели двое подмастерьев, напачкали своими сапожищами. А ты еще задаешь вопросы: «Где?», «Что?»

Иохевед, пожав плечами, уходит. Входит Бейлка. Голова ее завязана белым платком.

Бейлка *(держась за голову)*. Кто тут звонил?

Эти-Мени. Это я вызывала сюда девку... *(Обеспокоенно.)* Что ты, доченька, держишься за голову?

Бейлка. Ничего, мама, пройдет...

Эти-Мени *(еще более обеспокоенно)*. Не лихорадка ли, сохрани бог? Озноба нет?

Бейлка. Не то чтобы озноб, но немного холодно...

Эти-Мени. А не чувствуешь ли ты ломоту или, не дай бог, не колет ли у тебя в боку?

Бейлка. Не ломит, нет... А вот в боку немножко покалывает...

Эти-Мени *(заламывает руки)*. Ой, горе мне!

Входит Шимеле. На нем — накрахмаленная верхняя сорочка, надетая поверх брюк. Он держится за воротник.

Шимеле Сорокер *(задрав голову кверху, не замечает дочери)*. Эти-Мени, тьфу, я хотел сказать, Эрнестина Ефимовна! Где ты? Что это за сорочку ты мне приготовила? Таким воротником впору лишь удавиться! У меня уже глаза на лоб вылезли! Хоть руки на себя наложи! Хоть кричи!

Эти-Мени. Пойди сними ее, я тебе дам другую. Зачем же кричать?

Шимеле Сорокер *(держась за шею)*. Легко тебе сказать — «другую сорочку», когда я из этой — ни туда ни сюда! *(Замечает дочку.)* Что такое? Зачем ты завязала голову?

Эти-Мени. Девочка нездорова.

Бейлка. Немного нездоровится...

Шимеле Сорокер *(забыв о воротнике)*. Чего же вы молчите? Почему ты не ляжешь? Надо послать за доктором! *(Звонит.)*

Бейлка. Зачем? Не стоит, пройдет и так... Я прилягу. Может быть, засну немного. Только пусть меня не будят...

Эти-Мени. Ложись, спи на здоровье... Никто тебя не станет будить...

Бейлка уходит.

Шимеле Сорокер *(обеспокоенный. Жене).* Может, все-таки послать за доктором?

Входит Мендл.

Мендл, бегом за доктором! Одна нога — здесь, другая — там!

Эти-Мени. Давай лучше попозже, когда мы вернемся из гостей. А теперь пусть она поспит... *(Мендлу.)* Не надо вызывать врача!

Мендл, направившийся к выходу, останавливается.

Шимеле Сорокер. А может быть, мы отложим этот визит на другой раз?

Эти-Мени. Пожалуйста. На кой черт дался мне этот визит!..

Шимеле Сорокер. Но, с другой стороны, как же это так? А свадьба? Столько трудов ухлопали, бились головой об стенку, носом землю рыли, а теперь, когда вот-вот уже подходим к счастливому концу, получается, — наш брат!..

Эти-Мени. Ну, тогда иди одевайся.

Входит Иохевед. В руках у нее — половая щетка, мокрая тряпка и гусиное крыло для стряхивания пыли.

Видали вы девку! Ей велели немного подмести, а она явилась со всеми своими причиндалами!

Шимеле Сорокер. Так как же по-твоему? Не посылать за доктором? *(Мендлу.)* Погоди! *(Жене.)* А вдруг это инфлуэнца?

Эти-Мени. Ты же сам слышал: девочка хочет спать. И она просила, чтобы ее не будили.

Шимеле Сорокер. Не было у бабы хлопот, она купила себе лихо... Зачем мне нужен был весь этот тарарам, все это... *(Уходит.)*

Вслед за ним — Эти-Мени.

Мендл и Иохевед молча смотрят друг на друга и, держась за бока, долго смеются. Их смех нарастает crescendo[1]. Свет гаснет; в это мгновение декорация исчезает и вторая картина третьего действия начинается без перерыва.

---

[1] Музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звучания.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Ярко освещенная гостиная в богатом доме. Хозяин дома, Ошер Файн, человек с брюшком и лысиной, весьма несловоохотливый, с неизменной сигарой во рту, и трое гостей играют за ломберным столиком в преферанс. Остальные гости-аристократы сидят вокруг игроков и с большим интересом заглядывают в карты. Доносятся только чередующиеся с паузами отдельные возгласы: «Семь пик...», «Пас...», «Трефы...», «Пас...», «Пас...», «Пас...» За другим столом, на котором лежат всякого рода большие и маленькие альбомы, сидит мадам Файн со своими гостьями — женами аристократов. Мадам Файн представляет собою полную противоположность мужу: она худая, лицо землистого цвета, вся в брильянтах. Дамы одеты нарядно и тоже увешаны драгоценностями. Все сидят чинно, как настоящие аристократки, и просматривают альбомы. Только две из них, сидящие подле мадам Файн, беседуют с ней вполголоса. Остальные дамы, делая вид, что углублены в рассматривание альбомов, прислушиваются к их разговору, многозначительно переглядываются и при этом странно гримасничают. По случаю торжества у Файнов Колтун Ефим Пантелеймонович одет «шикарно»: во фраке, при белом галстуке и в белых перчатках. Он взял на себя роль главного распорядителя, обслуживающего гостей, не как слуга, — боже упаси, — а как близкий друг хозяев дома. Стоит поодаль от гостей, но держит себя высокомерно, с видом управляющего, которому дано право распоряжаться всем и всеми. Сват Соловейчик тоже здесь. Одет по-праздничному, лицо сияет. Он не в состоянии усидеть на одном месте.

Мадам Файн. Не родись красивым, не родись умным, а родись счастливым.

Первая дама. К чему вы это говорите, Гертруда Григорьевна?

Мадам Файн *(не обращая внимания на вопрос)*. Вы понимаете? Мой муж с давних пор имеет бесконечное множество выигрышных билетов, но он не выиграл. А этот имел, с позволения сказать, один-единственный билет, и как раз на его номер падает выигрыш, да еще самый крупный!

Дамы, рассматривающие альбомы, многозначительно переглядываются и улыбаются.

Вы поверите? В тот день, когда мне сообщили «радостную весть», что двести тысяч достались этому... Сорокеру, я чуть не умерла. Сперва я не поверила.

Потом, когда пришел мой муж, а за ним мой Соломон и сказали мне, что они сами видели директора банка Голдентолера, и он сам это подтвердил, мне, с позволения сказать, стало так плохо! Еще минута — и я упала бы в обморок! А после этого мне всю ночь клали на сердце мокрые полотенца. У меня, видимо, были спазмы... Еще теперь, когда я вспоминаю, у меня пробегает по телу судорога...

Дамы, рассматривающие альбомы, качают головами: «Ай-яй-яй!»

Первая дама. Но я слышала, будто этот Сорокер вот-вот станет тестем вашего сына, Гертруда Григорьевна!

Мадам Файн (*не обращая внимания на ее слова*). То же самое происходит со мной из-за женитьбы сына. Я всегда молила бога, чтобы он послал моему Соломону невесту не из нашего города, а из большого города, из знатной семьи... Такой сын, как мой Соломон!.. Мне ведь не надо его расхваливать, его и без того знают... Но вот в дело вмешивается сатана, любовь, с позволения сказать!..

На лицах дам, рассматривающих альбомы, появляются гримасы. Одна из них говорит тихо: «Любовь к пятидесяти тысячам».

Вторая дама. Гертруда Григорьевна, а правду говорят, будто Сорокер дает за своей дочкой пятьдесят тысяч приданого?

Мадам Файн. Представьте себе, он дает как раз семьдесят пять тысяч... А если бы даже он давал все сто тысяч? Разве он не в состоянии это сделать? Она же — их единственное дитя!.. Но вы не должны забывать, кто такой, с позволения сказать, *он*, и кто — *мы*.

Первая дама. Но ведь говорят, что девушка очень красивая.

Вторая дама. И хорошая, говорят, девушка!..

Мадам Файн (*не обращая внимания на слова обеих дам*). Если бы к нам пришел посредник и предложил невесту из такой семьи, мой муж сбросил бы

его с лестницы... Но раз уж вмешалась любовь, с позволения сказать...

Колтун надменно и вместе с тем угодливо-покорно называет входящих гостей.

Колтун. Семен Макарович Сорокер! Эрнестина Ефимовна Сорокер! *(Подобострастно расшаркиваясь перед ними, он с фамильярно-дружеской улыбкой почтительно отступает, чтобы дать дорогу портному и его жене.)*

Шимеле в новеньком цилиндре. Эти-Мени странно одета. На ней все цвета радуги. Гости внимательно разглядывают обоих.

Шимеле Сорокер *(протягивает руку Колтуну.)* Как поживаете, Ефим Панте... Панте...

Колтун *(убрав руки за спину, подсказывает ему вполголоса)*. Пантелеймонович...

Эти-Мени *(тянет мужа за рукав)*. Идем!.. Нашел, с кем завести разговор! Противно смотреть на него.

Шимеле Сорокер *(жене)*. Это же Колтун, наш бывший управляющий! Ты его не узнала?

Хозяин дома, Ошер Файн, швыряет карты на стол, встает и бросается встречать гостей. Мадам Файн тоже встала. Из боковой двери выходит Соломон Файн. Идет навстречу гостям.

Ошер Файн *(по дороге)*. Милости просим, дорогие гости! Мы все так долго и с таким нетерпением ждем вас. Почему так поздно? И где ваша дочь?

Шимеле Сорокер *(останавливается, не снимая цилиндра)*. Она виновата! *(Указывает на жену.)* Начали одеваться, — и что бы мы ни надели, все плохо. А когда мы были уже совсем готовы *(осматривает себя в новом костюме)*, она вдруг придумала, чтобы я надел цилиндр. Иначе она со мной не пойдет. Я ей говорю: «Зачем мне этот цилиндр? Зачем эта дымоходная труба на голове?» А она отвечает: «Все аристократы так одеваются...» — «А если аристократы

отрежут себе носы, я тоже обязан?» *(Снимает цилиндр.)*

Колтун подбегает, хочет принять цилиндр и положить на место. но портной не отдает.

Один из гостей. Ха-ха! Отрежут себе носы! Хорошо сказано!

Все смеются. Среди гостей неожиданно вырастает фигура свата Соловейчика.

Соловейчик. Ха-ха! Замечательно! Если уж Семен Макарович скажут, так это — нечто особенное...

Ошер Файн *(берет портного под руку)*. Пойдемте, я вас представлю моим гостям! *(Подводит его к каждому гостю отдельно.)* Макар Семенович Сорокер... Будьте знакомы... Макар Семенович Сорокер...

Шимеле Сорокер *(обрывает его)*. Извините, вы перепутали молитву, вы вывернули ее наизнанку...

В это же время мадам Файн обнимает мадам Сорокер, сначала крепко целуется с ней, затем представляет ее дамам.

Мадам Файн. Где же ваша дочь?

Эти-Мени. Что-то ей нездоровится... Боюсь, не инфлуэнца ли у нее...

Мадам Файн. Боже упаси! Почему вы так думаете? Бывает, человеку нездоровится... Да я сама, с позволения сказать, целую неделю плохо себя чувствовала... *(Усаживает Эти-Мени на самое почетное место.)*

Первая дама *(тихо)*. Я не желаю ей плохого, но нам бы себя так чувствовать...

Вторая дама. И всем дай бог!..

Ошер Файн *(портному)*. Где же ваша дочь? Почему мы ее не видим?

Шимеле Сорокер. Вдруг заболела. Простудилась. А может, угорела... Осталась дома, бедняжка...

Ошер Файн *(усаживает гостя на самое почетное место).*

Шимеле широко разваливается в кресле. Все занимают свои места.

(Хозяин дома подает Шимеле коробку сигар.) Что вы курите? Я хотел сказать, что вы больше любите — папиросы или сигары? Да, жаль, ох как жаль, что ваша дочка не пришла!

Шимеле Сорокер. Правду говоря, я не курю ни сигар, ни папирос. Но это неважно. Как говорится, от прибытка голова не болит... *(Берет сигару.)*

Один из гостей. От прибытка голова не болит! Ха-ха! Хорошо сказано!

Все гости смеются.

Соловейчик. Ха-ха! Замечательно!

Шимеле Сорокер *(поднеся сигару ко рту).* Ну, кто из вас с огоньком и может дать прикурить?

Несколько гостей поспешно роются в карманах и сразу подносят ему зажженные спички.

Большое вам спасибо! *(Подносит сигару к огню, пыхтит, кряхтит, но ему все не удается прикурить.)*

Соловейчик *(стоявший в стороне, подбегает).* Извините! Вы же забыли откусить этот питем * райского яблока.

Шимеле Сорокер *(Соловейчику).* Зачем же я стану откусывать питем райского яблока? Разве я беременная женщина?

Отдельные голоса. «Беременная женщина»! Ха-ха! Хорошо сказано!

Остальные смеются.

Соловейчик. Замечательно! Ха-ха!

В это время дамы усиленно ухаживают за женой портного: кто подносит ей стул, кто подсовывает ей скамеечку для ног, кто показывает ей альбомы. Мадам Файн с сияющей физиономией следит, чтобы всем был подан чай. Колтун сервирует чай искусно, ловко, как фокусник.

Шимеле Сорокер *(схватил Колтуна за фрак).* Ефим Пантелеймонович! Что это вы все мечетесь как

угорелый? Постойте минуточку! Я хочу у вас кое-что спросить. Вы хоть помните, как три недели тому назад говорили мне, что с тех пор, как существует мир, ни один человек еще не выиграл по выигрышному билету? Вы сказали, что это мошенничество? Эх, наш брат!

Мадам Файн вне себя от скандального происшествия: будущий тесть ее сына завел разговор с приказчиком. Она взглядом предлагает мужу спасти положение — загладить впечатление от «скандала».

Ошер Файн. Вас можно поздравить, Семен Макарович. Говорят, вы сделали большое дело.

Один из гостей. Миллионное дело!

Шимеле Сорокер. До миллионов еще далеко, но если бог захочет, будут и миллионы...

Один из гостей. Говорят, вы сделали синдикат из всех кинематографов нашего города?

Еще один из гостей. В Америке это называется трест.

Шимеле Сорокер. Я не знаю, как это называется в Америке, но я знаю одно: из всех дел, которые мне предлагали, это было самое лучшее, самое красивое и самое почетное. А миллионы — у бога... *(Дымит сигарой.)* Вы не можете себе представить, сколько дел мне предлагали. У вас не хватит волос на голове, чтоб сосчитать! И все, все без исключения вдруг стали моими лучшими друзьями и готовы за меня хоть сквозь землю провалиться!

Раздается звонок. Колтун скользящим шагом устремляется к двери.

Колтун *(объявляет громогласно)*. Генрих Феликсович Гимелфарб!

Ошер Файн *(берет за руку Гимелфарба, подводит к гостям и представляет его)*. Генрих Феликсович Гимелфарб — бухгалтер Коммерческого банка.

Шимеле Сорокер. Старый знакомый! *(Подает ему руку.)* Что слышно нового? Наш брат!

Гимелфарб. Да, мы старые-старые знакомые. *(Хозяину дома.)* Я первый принес им радостную весть, когда на их билет пал самый крупный выигрыш. *(Портному.)* Что? Разве я не был первым?

Шимеле Сорокер. Первый не первый, но из первых.

Один из гостей *(повторяет)*. Первый — не первый, но из первых... Ха-ха! Хорошо сказано!

Все смеются.

Соловейчик. Когда Семен Макарович скажут, — так это уже нечто особенное!

Шимеле Сорокер *(свату)*. Собственно говоря, что я такое особенное сказал?

Гимелфарб *(портному)*. Во всяком случае, на наш банк вам жаловаться не приходится.

Шимеле Сорокер. Потратить бы мне на врачей и лекарства столько, сколько я потерял на делах с вашим банком! Всем бедным мастеровым желаю таких дел, наш брат — простой народ!

Гимелфарб *(портному)*. Спрашивается, почему же в таком случае вы ни с того ни с сего ушли от нас? Это же называется: черная неблагодарность, или, как говорят, поблагодарить камнем по голове... Мы, конечно, из-за вас не попали, упаси боже, в беду. Но все-таки обидно. У нас ведь своя амбиция! У нас не какой-нибудь мелкий банк! Наш банк вполне мог бы работать даже в Егупце! Он и там лицом в грязь не ударил бы! Подумаешь, какую роль играет для нас выдать сто пятьдесят тысяч рублей! Для нас это просто — фу! *(Взмахнул рукой.)*

Шимеле Сорокер *(не поняв, продолжает пить чай; оглядывается)*. Вы не знаете, чего он хочет, этот чудак?

Гимелфарб *(продолжает, не слушая)*. Мы не разоримся, упаси боже, и без ваших денег. Приятно, конечно, иметь такого клиента, как вы. Почему бы и нет? Но жили ведь мы и до того, как вы выиграли эти двести тысяч! Все же нам обидно, что вы надумали вдруг, ни с того ни с сего забрать все ваши деньги!

Шимеле Сорокер *(смеясь во все горло)*. Что за чушь! Что он лопочет? Что он мне морочит голову? Чудак какой-то.

Гимелфарб *(не слушая, говорит безостановочно)*. В первую минуту, как только мы увидели ваш чек на такую сумму, нам стало немножко не по себе, и мы хотели послать к вам проверить: не ошибка ли это? Но мы же слыхали, что вы предпринимаете какое-то колоссальное дело, — синдикат, затеваете чудовищно большое предприятие. Поэтому мы только обратились за указаниями к нашему директору господину Голдентолеру. А наш директор распорядился не ставить никаких вопросов и выдать деньги... Но по тому, *как* он говорил об этом, легко было заметить, что директор обижен. И он прав! Ведь какое бы крупное дело ни затевалось, все равно не могут понадобиться вам сразу все сто пятьдесят тысяч... Следовательно, есть еще одна причина, по которой вы решили перевести ваш текущий счет в другой банк. Я не спрашиваю, какой это банк, потому что мы не боимся конкуренции. Я только спрашиваю: что тут за причина? Я прошу вас: вот сейчас при всех скажите...

Все постепенно заинтересовываются. Мужчины окружают портного и бухгалтера. Дамы прислушиваются издали. Никто ничего не понимает и меньше всех — портной.

Шимеле Сорокер *(Файну)*. Сколько, «наш брат», этот господин Сорок-один говорит, я взял со счета?

Ошер Файн. Он говорит: сто пятьдесят тысяч...

Шимеле Сорокер. Ха-ха-ха! Настоящий шут! *(Бухгалтеру.)* Молодой человек, идите домой и проспитесь!

Гимелфарб. Лучше вы идите спать, — вам пора. А я человек молодой и хочу еще повеселиться. Говорили, что сегодня здесь и танцы будут. Вы же не танцуете, Семен Макарович, а я танцую.

Шимеле Сорокер. Танцуй, танцуй! На здоровье! Но что это за сто пятьдесят тысяч? О чем ты говоришь?

Гимелфарб *(рассердившись)*. Во-первых, я попрошу вас не тыкать...

Шимеле Сорокер. Чего не делать? *(Закрывает один глаз.)*

Гимелфарб. Не тыкать! Не говорить мне «ты»... Правда, я — моложе вас, намного моложе, но я тоже уже не мальчик.

Ошер Файн *(хочет примирить их)*. Ну, бросьте!.. Пустяки!..

Соловейчик *(тоже вмешивается)*. Чепуха!

Гимелфарб. А во-вторых, зачем вы прикидываетесь наивненьким: «Что это за сто пятьдесят тысяч?» Может быть, вы еще скажете, что это не ваш чек принес какой-то Кременчук или Романчук?

Шимеле Сорокер. Не Кременчук и не Романчук, а Вигдорчук. Это один из моих компаньонов, которые организуют вместе со мною эту... эту фильмокомпанию. И я ему действительно выдал чек на пятнадцать тысяч...

Гимелфарб. Вероятно, вы хотите сказать — на сто пятьдесят тысяч?

Шимеле Сорокер. Это *вы*, вероятно, так хотите сказать! А я говорю точно, столько, сколько было написано в чеке.

Гимелфарб. Если вы хотите назвать точную сумму, которая была обозначена в чеке, вы должны сказать: сто пятьдесят тысяч.

Шимеле Сорокер. Почему?

Гимелфарб. Потому что вы сами приказали выдать именно такую сумму.

Шимеле Сорокер. Вы что, хотите сказать, что я сумасшедший?

Гимелфарб. Нет, это вы хотите представить *меня* лгуном или плутом. Но, может быть, вы шутите? Бог вас знает...

Все заинтересовываются. Мужчины еще теснее окружают спорящих.

Шимеле Сорокер *(уже обеспокоенный)*. Ну, я вас спрашиваю, что вы скажете об этой комедии? Он мне рассказывает, будто я дал чек на сто пятьдесят тысяч, когда я выдал на пятнадцать тысяч. Какой-то странный человек!

Ошер Файн. Между пятнадцатью и ста пятьюдесятью тысячами чересчур большая разница.

Соловейчик. Замечательно!

Шимеле Сорокер. Что вы мне рассказываете сказки? Я ведь сам писал чек... То есть не я, писал-то он — этот Вигдорчук. Но я хорошо смотрел, когда подписывал. *(Пишет в воздухе пальцем.)* Одна единица, одна пятерка и три нуля...

Гимелфарб *(тоже пишет в воздухе)*. Одна единица, одна пятерка и четыре нуля.

Шимеле Сорокер *(пишет в воздухе)*. Три нуля!

Гимелфарб *(пишет в воздухе)*. Четыре нуля.

Шимеле Сорокер. Посмотрите, как он размахивает рукой, этот надутый индюк!.. Четыре нуля! Пять нулей! Шестьсот нулей!.. А разве там не было написано словами ясно и точно: «Пятнадцать тысяч»?! Что вы теперь скажете, наш брат?

Гимелфарб *(громко)*. Вы, вероятно, хотите сказать: «Сто пятьдесят тысяч! Сто пятьдесят тысяч рублей!»

Ошер Файн. Фи, здесь какая-то некрасивая история!

Все, в том числе и дамы, столпились около спорящих. Чувствуется, что назревает какое-то событие. Эти-Мени подошла последней.

Эти-Мени. Что здесь происходит, Шимен... то есть Семен Макарович?

Во время спора между Шимеле и Гимелфарбом Колтун стоит в стороне. «Мефистофельски» улыбаясь, он смотрит то на одного, то на другого и злорадствует. Раздается звонок. Колтун скользящим шагом устремляется к двери, возвращается и объявляет.

Колтун. Максим Васильевич Голдентолер!

На мгновение взоры всех обращены на дверь. Ошер Файн идет навстречу директору, хочет представить его гостям, но Гимелфарб мешает ему и, горячась, кричит.

Гимелфарб. Вот и сам директор! *(Голдентолеру.)* Максим Васильевич! На какую сумму был чек господина Сорокера, по которому мы уплатили какому-то Мееровичу... или Вигдоровичу... а может быть, Вигдорчуку — да, Вигдорчуку?

Голдентолер *(равнодушно-спокойно)*. Сто пятьдесят тысяч рублей. А что?

Шимеле Сорокер *(с блуждающим взором)*. Эти-Мени!.. Где мы? *(Увидев жену, кричит не своим голосом.)* Спасите! Караул! Бегите! Догоняйте! Ловите! Меня обокрали! Ограбили! Обобрали до нитки! Они же все забрали! Я стал нищим! Помогите! Помогите мне поймать этих разбойников! *(Хватает свой цилиндр и устремляется к дверям.)*

Открывается дверь, и врывается Мендл. Лицо его выражает сильный испуг.

Мендл *(ищет глазами кого-то)*. Не было здесь Изабеллы Семеновны? Значит, на вас свалилось большое несчастье... Хозяин! Ваша дочь удрала через окно и — фьють!..

Эти-Мени *(заламывает руки)*. Горе мне! Горе мне горькое! Несчастье стряслось! Беда на мою голову!.. Теперь я понимаю, в чем дело! Я знала, что так будет!.. Она же мне говорила: «Мама, я убегу куда глаза глядят!..»

Шимеле Сорокер *(жене)*. Вот как! Чего же ты молчала?! Дура! Почему ты мне не сказала? *(Хватается за голову.)* Дочь моя! Мое дитя!.. Пусть пропадут к черту деньги! Пусть все к черту пропадет, — лишь бы с дочерью моей ничего не случилось!.. *(Быстро вынимает кошелек из кармана, срывает с себя золотую цепочку с часами, кричит.)* Эти-Мени! Снимай! Дай сюда жемчуг! Серьги! Кольца! Все драгоценности!..

Эти-Мени послушно снимает с себя все и отдает мужу.

(Он собирает все в цилиндр и протягивает гостям.) Вот! Отдаю вам все, что имею!.. Делайте что хотите — только помогите мне найти дочь! Помогите мне! Помогите мне вернуть мою дочь!.. *(Рыдает.)*

Эти-Мени тоже плачет. Все ошеломлены.

Занавес падает.

Конец третьего действия.

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Заезжий двор близ железнодорожной станции. Две комнаты. Одна — большая, светлая. У стен — две опрятно застеленные кровати. Столик, несколько стульев, диван, зеркало. На стенах — дешевые картины в простых рамках. Несколько горшков с цветами. Две двери: одна — прямо против зрителя — ведет на улицу, вторая — в другую комнату. У закрытой двери, ведущей в соседнюю комнату, приложив к ней ухо, стоит Мотл Косой. Посреди комнаты стоит Копл Фалбон. Они тихо разговаривают.

Копл Фалбон *(Мотлу)*. Ну?

Мотл Косой *(отступая от дверей на цыпочках)*. Она еще спит...

Копл Фалбон. Шутка ли! Такая ночь! Она ведь совсем не спала!..

Мотл Косой. А страх? А ужасы? Ей все казалось, что за нами погоня...

Копл Фалбон. Откуда ты знаешь?

Мотл Косой. Она сама мне сказала...

Копл Фалбон. Когда?

Мотл Косой. Сегодня... Когда ты пошел заказать еду, самовар, мы здесь немножко побеседовали...

Копл Фалбон. О чем?

Мотл Косой. Обо всем...

Копл Фалбон. А о том, что будет дальше?

Мотл Косой. Тоже говорили...

Копл Фалбон. Что говорили?

Мотл Косой *(раздраженно)*. Что говорили! Сам знаешь, зачем же спрашивать? Она боится, чтобы отец не догнал нас... Тогда нам всем несдобровать!

Копл Фалбон. В таком случае... Что же нам остается делать?

Мотл Косой. Остается только одно: возможно скорее справить свадьбу. Тогда пусть он приезжает хотя бы вместе с раввином и раввиншей, — поздно, пропало... Значит, теперь надо решить только один вопрос: кто из нас двух будет тем счастливцем?

Копл Фалбон *(испуганно)*. Ну да! В этом все дело!..

Мотл Косой. Но об этом мы с тобой давно уже договорились. Либо мы предоставим это ей самой,

то есть Бейлке... Пусть, стало быть, сама скажет, кого она выбирает... Либо мы бросим жребий...

Копл Фалбон *(беспокойно)*. А она тебе еще ничего не говорила, кто... то есть... кого...

Мотл Косой. Глупенький, если б она мне сказала, я бы тебе рассказал...

Копл Фалбон. Значит, все еще висит в воздухе?

Мотл Косой *(поднимает глаза кверху)*. Конечно, в воздухе... Однако не мешает заранее приготовить все, что потребуется для венчания...

Копл Фалбон. А именно?

Мотл Косой. Например, десять евреев... *

Копл Фалбон. Ну, это не трудно: заплатим по полтиннику, сейчас же соберутся.

Мотл Косой *(оживленно)*. Дай бог, чтобы все было так хорошо, как твой план!

Копл Фалбон. А если здесь нет раввина, я могу пойти на то, чтобы венчал любой честный еврей!

Мотл Косой. Ей-богу, Копл, ты умница! Ты человек с головой!

Копл Фалбон. А если у них нет здесь балдахина для венчания? Ничего, обойдемся. Возьмем четыре палки, натянем большой платок... Чем плохо?

Мотл Косой *(обнимает его)*. Копл! Расцеловать тебя надо за это! Делай так, как ты придумал! Пусть все будет наготове!.. Ступай, а я побуду здесь: нельзя же оставлять ее одну...

Копл Фалбон. Боже сохрани! *(Колеблется.)* Но дело вот в чем: не лучше ли нам раньше узнать, как и что... а потом пойти...

Мотл Косой. Нельзя медлить. Что, если, не дай бог, нагрянет отец... Зачем терять время? Нет, лучше ты все приготовь. А когда вернешься, мы вместе с ней и решим — туда или сюда!.. Что ж? Кому выпадет счастье... Но я тебя уверяю, если ты окажешься счастливцем, я сердечно порадуюсь за тебя... Что я могу против тебя иметь? Ведь у нас с тобой одно и то же желание: видеть Бейлку счастливой...

Копл Фалбон. Я тоже так считаю. Если ты —

твое счастье... Ведь главное — Бейлка... Ну, я иду. *(Одевается.)* А ты уж тут старайся, следи за всем... *(Копл идет к двери, возвращается, останавливается на мгновение, уходит.)*

Мотл Косой *(про себя)*. Вот размазня! Он еще надеется... Кажется, и слепому видно, в кого влюблена Бейлка... *(Прислушивается.)* Кажется, встала...

Открывается дверь, ведущая во вторую комнату. На пороге показывается Бейлка. Она сияет и улыбается.

Бейлка *(приводит в порядок слегка растрепавшиеся волосы, осматривается)*. Никого нет? А Копл?

Мотл Косой. Ушел поискать балдахин, привести людей и все прочее. Как мы условились...

Бейлка. Мотл! А это должно произойти именно сегодня?

Мотл Косой. А как же? Отложить на завтра? Вдруг нагрянет твой отец...

Бейлка. Ой, Мотл, молчи! Я даже подумать об этом не могу! *(Приближается к нему.)* Мне хочется отомстить им, доказать, что я человек, что я живу своим умом, что я свободна!.. А потом пусть они приходят и говорят что угодно... Ах, Мотл, Мотл! Ведь у нас девушка освобождается от родительской власти только тогда, когда отдает свою свободу кому-нибудь другому...

Мотл Косой. Разве кто-нибудь говорит о твоей свободе? Разве кто-нибудь хочет отнять у тебя свободу? Бейлка, душа моя! Разве мы не клялись любить друг друга верно и вечно?! Разве мы не связаны с тобой давным-давно? Задолго до того, как твой отец, к его большому счастью или большому несчастью, заполучил крупный выигрыш? Но мы друг другу об этом не говорили, пока не пришло время... А теперь? Неужели один из нас уже раздумал?

Бейлка *(пылко)*. Я не такая! Уж если я решила... Я только пожаловалась на свою судьбу. Почему я — единственная дочь, всеми любимая, над которой всегда дрожали и отец и мать, — почему я должна самый радостный день в моей жизни, самый лучший праздник моего сердца, справлять тайком и

поспешно, словно я совершаю какое-то преступление... Не забудь, Мотл, что отец мне все-таки отец. И мать — все-таки мать...

Мотл Косой. Видишь ли, если тебе жалко отца и мать, то могут быть два выхода: подождать, пока они приедут сюда, или повернуть оглобли и ехать домой...

Бейлка. Боже сохрани! Тогда я пропала! Ты не знаешь моего отца. Думаешь, он такой же, как был раньше? Пусть бог простит мне эти слова, но с тех пор, как отцу достался крупный выигрыш, он просто взбесился. Нет, я должна его так проучить, чтобы возврата к прошлому не было.

Мотл Косой. Значит, только ради этого?

Бейлка *(смотрит на него, улыбаясь)*. Ах, Мотл! Ну и занятный же ты парень, Мотл! Тебе хочется лишний раз услышать слово «люблю»... Люблю тебя так, как можно любить только жизнь!.. Копл уже все знает? Ты говорил с ним?

Мотл Косой. Нет, Бейлка, я не смог... Сердце не позволяет!.. Парень совсем ослеп. Он все еще надеется: а вдруг ты выберешь его, а не меня...

Бейлка *(загрустила)*. Жалко его... он меня любит...

Мотл Косой. Души в тебе не чает!

Бейлка. Как же быть? Может быть, *мне* с ним потолковать?

Мотл Косой. Если можешь... Я ему сказал, что ты должна решить сегодня же, в последнюю минуту: кто из нас тебе по сердцу. А если ты откажешься это решить, тогда мы будем бросать жребий, тянуть узелки. Кто вытянет узелок...

Бейлка *(звонко смеется)*. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Мотл Косой *(удивленно)*. Что тут смешного?

Бейлка. Мне пришла в голову мысль! Замечательная мысль! *(Вынимает белый платок, делает два узла.)* У меня тут два узла. Ты — старше Копла, вот я тебе первому и дам тянуть. И ты вытянешь узелок — ха-ха-ха!..

Слышатся шаги. Бейлка отходит к окну. Входит Копл Фалбон, вспотевший, нагруженный свертками и кульками.

Копл Фалбон. А, Бейлка уже встала? *(Бейлке.)* Желаю здравствовать!.. Уф! Ну и набегался же я... *(Складывает свертки и кульки, вытирает пот.)*

Мотл Косой. Хоть не напрасно бегал? *(Рассматривает свертки.)*

Копл Фалбон. Боже упаси! Как это напрасно?.. Сейчас сюда придут люди со всем, что полагается, как мы уговорились... *(Указал на свертки.)* А это разные лакомства и закуски: пряники, селедка, немного крепкого вина...

Мотл Косой. Браво, Копл! Ты достоин медали!.. Теперь дело только вот за чем: значит, десять евреев для обряда венчания у нас есть, кому совершить венчание — тоже есть, и балдахин есть. Вином, закуской и пряниками мы тоже обеспечены. Невесту мы тоже имеем. Осталось решить только одно: кто из нас будет женихом? *(Бейлке.)* А уж это ты *(спохватился)*... то есть вы, Бейлка, должны решить... Зависит от тебя... то есть от вас...

Бейлка. Поверьте, мне очень тяжело... Мне неприятно... Вы знаете, как я вам обоим благодарна... Вы оба так много для меня сделали...

Мотл Косой. Мы и теперь готовы для вас...

Копл Фалбон. ...в огонь и в воду!

Бейлка *(делает вид, что обдумывает)*. Погодите!.. Знаете, что мне сейчас пришло в голову? Давайте бросим жребий!..

Мотл Косой. Мы и сами об этом подумывали...

Копл Фалбон. Даже до того еще, как случилось это несчастье с выигрышем...

Бейлка. Видите? Удачная мысль приходит на ум сразу многим... *(Вынимает платок с готовыми узелками, отворачивается, словно для того, чтобы завязать узел, и затем протягивает им торчащие из кулака два хвостика.)* Кто из вас старше?

Копл Фалбон *(уже протянувший было руку к платку)*. Ты старше, Мотл, если я не ошибаюсь...

Мотл Косой. На один год и одну неделю...

Бейлка *(Мотлу)*. Если так, тогда ты... то есть

вы, Мотл, должны тянуть первым... *(Протягивает ему кулак с двумя хвостиками платка.)*

Мотл Косой делает вид, что задумывается на мгновение, колеблется и медленно тянет двумя пальцами кончик платка; показался узелок. Бейлка прячет платок.

Мотл Косой *(словно стряхивая что-то со своих рук, смотрит на Копла взглядом, просящим прощения)*. Ну?..

Копл Фалбон *(побледнев и вздохнув, обращается к Мотлу)*. Твое счастье... Дай бог... *(От волнения он не может больше говорить; глотает слезы.)*

Бейлка. Эх, Копл, я не ожидала... Я считала вас другом...

Мотл Косой *(Бейлке)*. Разве он что-нибудь говорит? Наоборот!..

Копл Фалбон. Вот именно... Дай мне бог того же, чего я желаю Мотлу и вам обоим... Это ведь жребий, лотерея...

Мотл Косой. Если бы он вытянул, он и был бы...

Копл Фалбон. Конечно, если бы вытянул я... Желаю вам вместе дожить до старости и в... и в... полном благополучии!

Мотл Косой. Аминь! Поди сюда, давай расцелуемся.

Мотл и Копл обнимаются и целуются.

Копл Фалбон. Сказать вам правду? Если вы хотите знать, мое сердце давно уже подсказывало мне, что счастливцем окажется Мотл, а не я... Куда мне?! Я всегда был самым настоящим неудачником... Отпетый неудачник!.. И я ни к кому не в претензии... Бог свидетель, как я вас любил, Бейлка, и как люблю еще сейчас и какой я настоящий друг моему товарищу Мотлу... Повторяю: дай бог мне хоть половину того, что я вам желаю... А если была у меня маленькая надежда, то я не виноват... Я ведь только человек... Но я не забывал, что судьба может мне и не улыбнуться. Ну, вот я и решил: если, упаси боже, для меня все развеется как дым, я сейчас же уеду в Аме-

рику. Если не верите, вот... *(Расстегивает сюртук, вынимает из внутреннего кармана книжечку.)* Вот я приготовил паспорт...

Мотл Косой и Бейлка переглядываются. Оба растроганны.

Бейлка. Зачем так далеко, в Америку? Оставайтесь здесь и давайте будем настоящими друзьями.

Мотл Косой. Подумай, Копл, кто тебя просит...

Копл Фалбон. Мы еще подумаем... А пока я ведь остаюсь с вами и раньше всего должен справить вашу свадьбу. Я ведь буду на этой свадьбе вроде как единственный близкий родственник жениха.

Бейлка. Нет, невесты!

Мотл Косой. И жениха и невесты!

Копл Фалбон. И жениха и невесты. *(Прислушивается.)* Идут? Идут...

Один за другим входят десять евреев разного вида: в картузах и шляпах, в длинных кафтанах и коротких пиджачках. Один подпоясан красным платком, а из-под мягкой шляпы видны толстые пейсы и ермолка. Он взял на себя роль раввина. Другой держит в руках стаканчик и бутылку. Он заменит синагогального служку. Четверо держат высокие шесты, к верхним концам которых привязана зеленая шаль с бахромой. Это будет заменять свадебный балдахин. Осторожно проскользнули сюда несколько женщин. Они стали поодаль с благочестивым выражением на лицах, готовые произнести: «Благословен бог и благословенно имя его, аминь!» Мальчишки-озорники пришли посмотреть «тайную свадьбу». Они к тому же надеются получить по куску пряника.

(Подмигнув тому, кто взял на себя роль раввина.) Ну?!

Еврей *(Коплу)*. Ну-ну! *(Кивком предлагает одной из женщин подойти к невесте.)*

Женщина подходит к Бейлке, разворачивает желтый платок.

Женщина. Кто жених? *(Жестом приглашает Копла подойти ближе.)*

Копл Фалбон *(указывая на Мотла)*. Жених он.

Мотл Косой *(подходит)*. Это я.

Женщина *(дает ему желтый платок)*. Будьте

любезны, вот этим платком покройте невесте лицо. Это нам заменит фату.

Мотл берет платок, медленно подходит к Бейлке и покрывает ей лицо. Женщина берет Бейлку за руку и жестом показывает Коплу взять жениха под руку. Копл ведет жениха и невесту под балдахин.

Еврей *(жениху)*. Ну! Кольцо!

Жених не понимает его вопроса.

Женщина. Обручальное кольцо!..

Копл Фалбон *(схватился за карман)*. Кольцо? Есть, есть... Обо всем я должен помнить... Все приготовить, даже обручальнсе кольцо. *(Вынимает из кармана завернутое в бумажку кольцо, разворачивает бумажку, достает кольцо, передает его Мотлу.)*

Еврей *(Мотлу)*. Надень кольцо на палец невесте и повторяй за мной каждое слово! *(Он говорит. Мотл повторяет за ним.)* «Вот ты... обвенчана... со мною... этим... кольцом... по закону... Моисея и Израиля...» *(Всем.)* Поздравляю! Мазлтов!

Все присутствующие. Поздравляем! Мазлтов!

Копл и Мотл обнимаются, целуются. Шум усилился. В разгар шума в комнагу врываются Шимеле Сорокер, Эти-Мени и Соловейчик. Переполох.

Бейлка *(припадает головой к рукам Мотла)*. Отец!.. Мама!..

Шимеле Сорокер *(оглядывается, не узнав дочери, лицо которой закрыто желтым платком)*. Где она?! Где мое дитя?! Что вы молчите?! Наш брат!..

Эти-Мени. Ты не узнал ее голоса?

Соловейчик *(протискивается)*. Позвольте!.. Извините, господа! Вот же она! *(Срывает желтый платок с лица Бейлки.)* Замечательно! Вот так история! Это же нечто особенное!..

Шимеле Сорокер *(увидев Бейлку, бежит к ней с раскрытыми объятиями)*. Доченька моя дорогая! Ты жива, и мои глаза тебя видят! Чего же еще?!

Бейлка падает в объятия к отцу. Оба плачут.

Эти-Мени *(заламывает руки, опускается на стул, покачивается, плачет и причитает)*. Горе мне, горе мое горькое! Гром меня поразил! Несчастье какое! До чего мы дожили, и что мы видим своими глазами! Чем согрешили мы перед богом, что наш ребенок так нас опозорил? Что здесь делается?! С кем она хочет венчаться? Все в моей жизни опустело, все потемнело!..

Соловейчик *(который уже успел поговорить шепотом с присутствующими и в одну минуту все узнать, обращается к Эти-Мени)*. Извините, мадам, вы не понимаете, о чем говорите. Ваша дочь только что обвенчалась. Вот с этим хлопцем... *(Показывает на Мотла.)* Вас надо поздравить, мазлтов!..

Эти-Мени *(закидывает голову, словно падает в обморок)*. Гром меня поразил! Ой, беда, удар какой! Пуля попала мне в самое сердце! Копьем в мое сердце ударили!..

Шимеле Сорокер. Ладно! Тихо! Хватит тебе причитать, глупая плакальщица! Ослиная твоя голова! А если бы твое дитя, сохрани господь, умерло, тебе было бы лучше? Слыхали, какое несчастье? Ее дочь вышла замуж за человека, который ей ровня, за портного! Это же — настоящий наш брат! А мать еще горюет! *(Дочери.)* Который твой муж? *(Показывает на Мотла и на Копла.)* Этот? А может быть, тот? Мне еще не очень ясно...

Копл Фалбон *(указывая на Мотла)*. Он счастливец, он... Мы бросали жребий...

Шимеле Сорокер *(поражен)*. Какой жребий?

Копл Фалбон. Мы же оба были влюблены... Поэтому мы тянули узелки. И он вытянул... Значит, он выиграл...

Соловейчик. Замечательно! Разве я не говорил вам, что один из них двоих женится на вашей дочери? Клянусь вам жизнью...

Шимеле Сорокер. Зачем же надо было бежать из дому? Ведь вы могли сказать мне. Было бы красиво, благородно и тихо, и наш брат...

Мотл Косой. Разве можно было говорить с вами?

Бейлка. После этого несчастного случая, после того как ты выиграл крупный выигрыш?

Шимеле Сорокер. Ты мелешь чушь! Вздор ты городишь! Нет больше выигрыша! Нет моего несчастья! Обобрали, все высосали, околпачили, выскребли все — до последнего гроша! И следа от денег не оставили. Я теперь такой же наш брат, как был...

Бейлка *(поражена)*. Кто у тебя забрал? Где? Когда?

Эти-Мени. Вот те двое!.. Эти пройдохи из театра...

Бейлка. Вигдорчук и Рубинчик? Как это случилось?

Шимеле Сорокер. Как бы ни случилось — все пропало... Отняли как миленькие, удрали — и ищи ветра в поле!.. И воробей на крыше не чирикнул... Но может быть, ты думаешь, что перед этим, накануне ночью, мне не снился плохой сон? Дай бог, чтобы на их головы обрушилось все, что мне снилось!

Эти-Мени. Аминь!

Женщины *(их лица приняли благочестивое выражение)*. Аминь! Благословен он и благословенно имя его!..

Шимеле Сорокер. Ну, ладно! Шут с ними! Мое дитя нашлось — чего ж мне еще надо?! И я воздымаю руки к небу и говорю: «И это — к лучшему!..»

Эти-Мени. Аминь!

Женщины *(благочестиво)*. Аминь! Благословен он и благословенно имя его!..

Шимеле Сорокер. Правда, я остался гол как сокол! Сам бог покарал меня за то, что я захотел стать миллионщиком... Захотелось пролезть в знать... Голова у меня закружилась. Я опьянел... вроде как угорел... Теперь угар прошел, я протрезвился и вижу, что был дурак дураком, что меня пороть следует... *(Присутствующим.)* Люди добрые! Вы, верно, слышали, что одному бедному портному выпал самый большой выигрыш — двести тысяч? Это я выиграл! Меня зовут Шимеле Сорокер... Двести тысяч улетучи-

лись, унеслись с ветром и дымом. И опять Шимеле — такой же наш брат, как и был... Сегодня у меня радость, веселье: моя дочь, в добрый час, вышла замуж! Но где же пирушка в честь ее свадьбы?! Давайте нальем понемножку чего-нибудь покрепче и выпьем за наш простой народ, наш брат, утюг и ножницы!.. Лехаим!

Копл Фалбон *(бросается к своим сверткам и кулькам, развертывает их и раскладывает на столе).* Здесь есть все: и выпивка и закуска... *(Он и заменяющий синагогального служку расставляют на столе бутылки и стаканчики.)*

Соловейчик *(берет на себя роль распорядителя свадебного стола. Он проводит Мотла и Бейлку на почетные места за столом, а Шимеле и Эти-Мени сажает рядом с молодыми).* Извините, вам полагаются самые почетные места. *(Остальным.)* Давайте все к столу! *(Коплу.)* Ну-ка, родственник жениха! Наливай стаканчики! *(Женщинам.)* Женщины! Берите пряники и сотворите над ними молитву! *(Раздает им пряники и пробует сам. Указывает взглядом на детей.)* Дайте этим хлопчикам тоже по куску пряника! Это будет доброе дело. К тому же пряники вкусные — нечто замечательное! *(Жует.)* Лехаим, друзья жениха и друзья невесты! Лехаим, все собравшиеся! Дай нам бог здоровья! И танцевать на свадьбах! *(Пьет.)*

Все протягивают друг другу стаканчики, пьют и закусывают.

Шимеле Сорокер. Выслушайте меня, люди добрые! История вот какая: у меня сегодня двойной праздник. Во-первых, нашлось мое дитя, моя единственная дочь, которой дорожу как зеницей ока! Пусть она будет здорова и переживет меня!

Эти-Мени. Аминь!

Женщины *(с благочестивой миной).* Аминь! Благословен он и благословенно имя его!

Шимеле Сорокер. Во-вторых, она соединила свою судьбу с человеком, который ей ровня, она выбрала себе мужа из нашего простого народа, — утюг и ножницы! Она и слушать не хотела о том гусе, об

аристократе, который с улыбочкой подбирался к приданому в пятьдесят тысяч. Я было и думал дать ей именно столько. Но жулики забрали эти деньги и заодно еще сто тысяч. Пропади они пропадом вместе с деньгами. Если суждены мне, вам, всем евреям всякие беды, пусть они обрушатся на головы этих двух жуликов.

Эти-Мени. Аминь!

Женщины *(благочестиво)*. Аминь! Благословен он и благословенно имя его!

Шимеле Сорокер. Но если так случилось, надо опять налить понемножку и выпить «лехаим» в честь молодых и в честь их родных и друзей, и... и в честь всех наших, в честь нашего брата — простого народа!.. *(Протягивает свой стаканчик к другим, пьет.)*

Все пьют вместе с ним.

Теперь я хочу выпить с тем, кого выбрала моя дочь. *(Мотлу.)* Лехаим, Мотл! И дай бог, чтобы твой выигрыш был счастливей и долговечней моего.

Эти-Мени. Аминь!

Женщины *(благочестиво)*. Аминь! Благословен он и благословенно имя его!

Шимеле и Мотл целуются.

Шимеле Сорокер *(уже совсем навеселе)*. Выслушайте меня! Уж если господь привел, что мы встретились с вами на таком торжестве, бессовестно будет не повеселиться и не поплясать по-настоящему, как полагается. Давайте возьмемся за руки, вы поможете мне петь, и мы все будем танцевать. Наш брат — настоящий простой народ!..

Все окружают Шимеле, прихлопывают в ладоши, подхватывают веселую мелодию. Из толпы отделяется еврей, обвенчавший молодых. К нему присоединяется еще один, и оба пускаются в пляс.

Соловейчик *(останавливает первого)*. Дядя, кто вы такой?

Еврей *(продолжая плясать)*. Тот, кто венчал молодых!

Соловейчик. А другой кто? *(Указывает на второго пляшущего.)*

Еврей *(продолжая плясать)*. Просто еврей...

Шимеле Сорокер. Совершенно верно! Это бравый еврей! Он наш брат! *(Подбирает полы сюртука, танцует «фрейлехс» *.)*

Соловейчик. А что же я? *(Засучив рукава, пляшет перед Шимеле.)*

Оба стараются превзойти друг друга в пляске. Темп ее делается все более стремительный и бурный, до того момента, пока в середину круга не врывается женщина, которая вела невесту под балдахин. Помахивая желтым платком над головой, она пляшет «козачка». Копл Фалбон не может совладать с собою и тоже пляшет в середине круга, пускаясь вприсядку. Все поют, хлопают в ладоши. Голос Шимеле покрывает шум.

Шимеле Сорокер. Крепче, братцы! Живее! Живее! Наш брат, утюг и ножницы! Наш брат — простой народ!!!

Занавес медленно падает.

О ЛИТЕРАТУРЕ

СУД НАД ШОМЕРОМ
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

Лет двадцать прошло с тех пор, как еврейский язык стал обнаруживать признаки языка, шевелиться, приходить в движение. Такие три великана, как Абрамович, Линецкий * и Гольдфаден * в Польше, а также Айзик-Меер Дик * в Литве, нашли в себе достаточно силы, чтобы поставить народный язык на ноги, перенести его из «Цеэно-уреэно» * и «Тайчхумеша» * в живую литературу, из детской сказки — в роман, из «Прославлений Бешта» * — в поэзию, из «Тхинес» * в сатиру. Эти четыре гиганта, эти великие мужи создали новый язык, вселили европейский дух в старый жаргон, и читатели пришли массами! Публика ухватилась за еврейскую литературу с энтузиазмом, с пылом, присущим еврейскому народу. И не было почти ни одного еврейского дома, где бы люди не надрывали животики со смеху, читая «Польского мальчика» Линецкого в первой еврейской газете «Кол мевасер» *, выходящей под редакцией Цедербаума, где бы не пели бессмертных сладостных песен Гольдфадена, где бы не увлекались прекрасными сценами из «Таксы» Абрамовича, не декламировали и не заучивали их, и т. д. Одним словом, это был яркий момент в истории еврейской литературы, счастливая пора в еврейской жизни вообще. Евреи и поныне вспоминают об этом с большим удовольствием...

Но вместе с ясным солнцем приходят и мрачные тени. Там, где растут плодоносные деревья, пробиваются и сорняки, а на розах растут и шипы. В каждой литературе рядом с великим талантом шагают по одной и той же тропе бездарность и ничтожество. Вслед за величавым богатырем-львом ползет червячок. Если бы великий талант, гений существовал вечно и вечно осенял литературу своим крылом, червячок не имел бы никакого значения. Но поскольку так бывает очень редко, червячок постепенно вырастает в большого червя, и вред от него столь велик, что люди начинают искать, как бы выкурить его, чтобы от него и духу не осталось. Но не всегда это проходит гладко...

Упомянутые выше знаменитые народные писатели сложили оружие, и публика стала их постепенно забывать. Вот тогда и вылезли червячки из своих дыр, стали откладывать яички, плодиться и размножаться. Из всех углов и гнезд посыпались тараканы и всякие жучки и так запакостили еврейскую литературу, что придется долго ее чистить и мыть, пока она примет приличный вид.

Словно песок и мусор, просыпались «народные писатели», романоделы и до того запрудили еврейскую литературу своими «романами» — да еще какими! — до того наводнили ими весь мир, до того испортили вкус публики, что никто и в руки брать не хочет других произведений, кроме этих «романов». Более того, все читатели стали писателями; все мальчишки, все праздношатающиеся — романистами! Достаточно любому парню прочесть какую-нибудь книжонку, чужой роман, как он уже становится романистом; он лишь переделывает имена героев, дает произведению еврейское название и за бесценок продает первому попавшемуся книгоноше свой «сверхзанимательный роман» в четырех частях с эпилогом. Книгоноша становится издателем, мошенник — «народным писателем», «романистом», а толпа принимает это за товар. И пошло.

Самым крупным, плодовитым и богатым из всех этих тараканов, жучков и червей является великий «романодел», наш подсудимый Шомер.

Этот молодчик взялся не на шутку затопить еврейскую литературу своими невозможными, водянистыми романами, своими диковинными произведениями, стоящими ниже всякой критики. Они, безусловно, вредны читателям, как яд, ибо извращают его лучшие чувства ужасными небылицами, дикими мыслями, душераздирающими сценами, о которых еврейский читатель раньше не имел никакого представления.

Это показалось странным нашим представителям. Была выделена комиссия. Обследовав полсотни романов Шомера, она пришла к следующим выводам:

а) почти все они просто украдены из других литератур;

б) все сшиты на один покрой;

в) романодел не дает реальных, подлинных картин еврейской жизни;

г) поэтому его романы к нам, евреям, никакого отношения не имеют;

д) эти романы лишь расстраивают воображение и никакого поучения, никакой морали дать не могут;

е) они содержат лишь словоблудие и цинизм;

ж) они, кроме того, очень плохо составлены;

з) автор, по-видимому, невежда;

и) школьникам и взрослым девицам ни в коем случае нельзя давать этих романов;

к) было бы большим благодеянием выкурить его вместе со всеми его диковинными романами из еврейской литературы с помощью конкретной систематической критики.

Здесь, на столе, лежит перед вами полсотни романов этого романодела. Они служат лучшим доказательством того, к чему может привести невежество сочинителя, наивность читателя, а также молчание критики, терпящей существование таких романистов.

РЕЧЬ ПРОКУРОРА

Господа судьи и господа присяжные заседатели!

Подсудимый, сидящий перед нами, — не вор, не злодей, не мошенник. Он не совершил никакого уго-

ловного преступления. Он никого не оскорбил, ни у кого ничего не отнял, никого по миру не пустил, — и все же он сидит у нас на скамье подсудимых, как настоящий преступник, как подсудимый. Что же это значит? В чем его особенность? По-моему, господа присяжные заседатели, он более преступен, чем вор, злодей, душегуб. Этот злодей не вышел убивать людей на большой дороге со шпагой, или копьем, или с обухом в руках, — нет! Он всего лишь выступил против невинной еврейской литературы и, изуродовав народный язык, испортил вкус публики, совратил множество простых читателей, которые без критики не умеют отличить хорошее от плохого, блуждают в темноте и поэтому не понимают разницы между произведениями Абрамовича и мусором, какой им подносят сочинители, вроде подсудимого Шомера.

Обмануть человека, отнять у него деньги, убить, зарезать, по-моему, менее преступно, чем обмануть целый народ, зарезать целую литературу, испортить вкус тысяч читателей, ибо в первом случае страдает только одно лицо, а в данном случае страдает коллектив, множество, вся народная масса.

Поглядите-ка, до чего этот романодел довел нас! Посмотрите, до чего он извратил чувства и испортил вкус массового читателя. Любой ремесленник, любая женщина, любая девушка так напичканы пустыми, дикими, нелепыми романами Шомера, их мозги так засорены его сумасбродными небылицами, что они, эти читатели, уже не способны взять в руки путную, поучительную книгу, а только «сверхзанимательные» романы Шомера! А в них описывается много сложных, запутанных интриг, трогательных и душещипательных сцен: в них воруют и разбойничают среди бела дня, выкапывают мертвецов из могил, дерутся и убивают из-за прекрасной брюнетки или красивого блондина. Есть и другие подобные дикие выдумки, заимствованные из разных пустых русских, немецких или французских романов.

Полагаю, господа присяжные заседатели, вам известна священная цель литературы. Изящная литера-

тура, подлинный роман из подлинной жизни, знакомой каждому читателю, рисует всевозможными красками положительные и отрицательные черты человеческого характера, стремясь познакомить читателя с духом человеческим.

В каком случае писатель достигает своей цели? В том случае, когда он живописует знакомые нам картины, которые могут иметь место в жизни. Если же, например, писатель рассказывает нам сказку о том, как кочерга влюбилась в лопату, а ревнивому гусиному крылу, которым сметают пыль, стало обидно и оно взбудоражило всех гусей и индюков, — что за пользу, спрашиваю я вас, какое нравоучение, какую мораль мы из всего этого можем извлечь? Кто это поймет? Кому это доставит удовольствие, и кому это причинит страдание?

Увлекшись плодами своей фантазии, наш «романист» Шомер зашел так далеко, что меламед превращается у него в лорда, трубочист — в графа, мертвец превращается в живого и живой — в мертвеца, миллионы и брильянты валяются у него, как мусор, все слуги и служанки «крутят любовь», или, как Шомер это называет, «романсируют». Из-за этого они топятся, стреляются, вешаются и т. д., — делают именно то, что мы привыкли видеть в некоторых французских романах. Таким образом, когда вы читаете роман Шомера, вам кажется, что Бердичев перенесен в Париж, что Хаим, Иосл и Авремл — люди не от мира сего; они не знают, что значит купец, рубль, маклерство, пан, процент, и лишь ищут «любви», а Ханця, Мирка и Брайндл никогда не слыхали, что на свете существует торговля, лавка, шинок, тайчхумеш, — нет! Ханця, Мирка и Брайндл сидят на мягких бархатных диванах с белыми собачонками в руках и распевают сладенькие сентиментальные песенки о «любви»...

Но так как запутанную историю иногда хочется послушать, даже пустую сказку и ту порой хочется послушать; и когда нет рыбы, едят картошку, а если нет и ее, жуют солому, — вот народная масса и жует солому. Каждый бедный еврей и каждая простая

еврейка раздобывают роман Шомера и в субботу днем, после обеда, когда можно на минуту сбросить с себя бремя забот о пропитании, когда можно хоть на миг забыть о существовании лавки, торговли, маклерства, пана, процентщика, все усаживаются в круг: бабы, парни, девки — и слушают диковинные, нелепые истории, удивительные чудеса про меламеда-лорда, про трубочиста-графа, про любовь белокурого юноши Янкла к брюнетке Рохеле с розовыми щеками. О, какие прекрасные песни они изволят петь, какие горючие слезы они проливают при бледном свете луны. А охи и вздохи несчастных влюбленных, чьи сердца соединены, но изверги родители хотят разлучить их, сделать несчастными, сжить со свету?..

...Любовь, господа присяжные заседатели, это песенка старая в литературе, очень старая песенка! Каждый писатель и каждый читатель уже понимают, что самый лучший материал для романа — это любовь, любовь молодых. Любовь, конечно, священное чувство, благородное чувство, дар божий, без которого мы, люди, стояли бы не намного выше животных. Однако существует любовь различного рода и вида, например: любовь родителей к детям и взаимно — детей к родителям; любовь братьев, сестер, друзей и т. п., любовь между товарищами, любовь к человечеству, к природе, к просвещению, к добру или злу и т. д. Однако лишь любовь мужчины к женщине, юноши к девушке именно тот вид любви, который используют почти все романисты всего мира, именно об этом роде любви написаны тысячи тысяч романов. Юноша и девушка, мужчина и молодая женщина — вот главные элементы почти каждого романа. Юноша любит девушку, девушка любит юношу, они любят друг друга, их сердца соединены, души близки, но сами они разъединены, их тела далеко друг от друга, и оба стремятся быстрее и легче достичь единственной своей цели в жизни, удовлетворить единственное желание — прильнуть друг к другу, связаться в прочном вечном союзе. Вот эта борьба и эти страдания, в сочетании со счастьем неустанной борьбы за идею, это преимущественно и есть та канва, по которой

писатель вышивает образы своего романа. Но не везде и не всегда любовь протекает гладко. Часто она наталкивается на препятствия, бывают разные несчастные или счастливые случаи: тут родители согласны, а там — нет; тут нравится жених, а там не нравится невеста; тут оказывается дядя-изверг или соседка-сплетница, и они все расстраивают, — словом, влюбленные никак не могут достигнуть своей цели. Тогда они преисполняются гневом и возмущением и начинают лить слезы, а там уже возникают всяческие, не приведи господи, несчастья: жених вешается, невеста топится, поднимается шум, переполох. Или же наоборот: все препятствия, слава богу, преодолены, и жених соединился с невестой — мазлтов! мазлтов! Вот так большей частью заканчиваются романы у многих писателей.

Нужно, однако, быть наивным, как ребенок, чтобы считать главным в романе самое происшествие и полагать, будто весь интерес заключается лишь в том, добился ли юноша своей девушки или не добился. Как я вам уже говорил, господа присяжные заседатели, суть в том, чтобы изображать положительные и отрицательные черты человеческого характера. И подлинный писатель, образованный романист, кроме наслаждения, которое он доставляет правдивыми картинами жизни, должен раскрыть каждому, по его разумению и представлениям, мораль, в них заключенную. Показывая нам, как нужно жить, он облагораживает нас, помогает разрешить жизненные вопросы, воспитывает в нас высокие чувства сострадания, любви, человечности и т. д., и т. д.

Однако это удел только образованного писателя, честного романиста. Что же мы видим у нашего подсудимого, господина Шомера? В одном из сладеньких произведений, лежащих здесь перед вами в романе «Кровавое прощай», упомянутый романодел позволяет себе говорить следующее: «Сочиняя свой роман, я не имею в виду дать вам какое-нибудь нравоучение, как это делают все романисты. Нет, клянусь своими бородой и пейсами (как вам нравится такая острота?), что я об этом и не помышлял... Я писал

роман с единственной целью — доставить вам удовольствие.

Мы скоро увидим, какое удовольствие может нам доставить Шомер своими удивительными историями. Сейчас я говорю лишь о нравственности нашего романодела. Он имеет наглость утверждать, да еще клянется замечательной прибауткой, «бородой и пейсами», что не имеет в виду нравоучения, а думает лишь об удовольствии.

Как Шомер понимает слово «сатира» и ее цели, можно усмотреть из его маленького сатирического произведения «Черт с ним». Он говорит, что сатира нынче вошла в моду, а именно: высмеять друга за глаза, издеваться над бедняком — одним словом, смеяться для того, чтобы хорошо посмеяться. Но тут же невзначай Шомер просит, чтобы его самого не высмеяли. И вот это называется сатирой!..

...Нет! Не могу я больше равнодушно говорить о сатире и юморе Шомера, о его нравственности! Оставляю это и перехожу к шомеровской фантазии, к его серьезным, крупным, капитальным «сверхзанимательным романам в двух частях», где талант нашего великого романиста проявляется в полном объеме. И чудится мне, что я вижу перед собой не Шомера, а знаменитых французских псевдороманистов Ксавье де Монтепена, Понсона дю Террайля, Поль-де-Кока и т. п., с той только разницей, что эти фантазеры создали своих неправдоподобных героев с их дикими приключениями силой собственного воображения, а наш романодел Шомер всем этим полакомился и перенес данных героев из Парижа в Несвиж, из Марселя в Бердичев и из Бордо в Эйшишки! Поэтому все они имеют такое же отношение к нашей еврейской жизни, как Марсель к Бердичеву. Оттого и нужны нам романы Шомера, как собаке пятая нога. Вот я беру со стола один из лучших романов Шомера «Нищий миллионер» (сверхзанимательный роман в двух частях).

Этот «сверхзанимательный роман», господа присяжные заседатели, переделан, перелицован с извест-

ного романа «Парижские тайны» известного французского романиста Эжена Сю[1]. Насколько этот роман хорош или плох, сейчас не время толковать. Известному гебраисту Калмену Шульману роман понравился, он его перевел, просто перевел на древнееврейский язык и, кстати, хорошо перевел. Казалось бы, и Шомер мог бы поступить так же, то есть перевести на еврейский язык «Парижские тайны» Эжена Сю — и все! Но нет, наш подсудимый не хочет быть простым переводчиком, это ему не к лицу. Что же он сделал? Он состряпал собственный роман, использовав сюжет

[1] Как видно, господину прокурору неизвестно произведение Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Если бы он его читал, то наверняка увидел, что «Нищий миллионер» является подделкой произведения Дюма, лишь французские имена героев переделаны на еврейские. Удивительно, что стенограф Шолом-Алейхем этого не заметил! Или, может быть, из благодарности к прокурору за его защиту еврейской литературы он не хотел его перебивать. Впрочем, какая разница, кому Шомер подражает, важно то, что это не свое...

Наборщик.

Примечание автора. Виноват, виноват, виноват! Я верю наборщику. Раз он говорит, что «Нищий миллионер» перелицован Шомером из «Графа Монте-Кристо», стало быть, он компетентен в таких делах. О, если б я сейчас мог найти «Графа Монте-Кристо», я бы за него отдал состояние вместе со всеми пятьюдесятью романами Шомера! Но кто виноват, если не сам Шомер? Кто обязан присматривать за его произведениями и проверять их? Автор сам обязан указать место, откуда он добывает такое сырье. Вот перед нашими глазами три «исторических» романа Шомера:

1. «Мнимый наследник» — исторический роман.
2. «Кровавый жених» — исторический роман.
3. «Фальшивый герцог» — историческая повесть.

На всех трех книгах значится: «Сочинение Шомера» (не перевод?). И я обомлел, откуда это у Шомера взялся исторический роман? Ведь для того чтобы написать исторический роман, надобно прежде всего знать историю, а чтобы знать историю, надо знать еще кое-что... Я сильно сомневаюсь, имеют ли эти романы отношение к истории, не перелицованы ли они, как и другие романы Шомера... Поэтому я откладываю эти три «исторических» романа и еще несколько редкостных вещей Шомера и прихвостней Шомера (этих редкостных вещей, присланных мне друзьями, спасибо им, наберется до полсотни). Я откладываю все это до следующего раза, когда, даст бог, на сердце будет радостно. Аминь!

Шолом-Алейхем.

произведения Эжена Сю, и назвал его «Нищий миллионер». У Эжена Сю главную роль играет принц Рудольф, у Шомера ту же роль играет еврей — миллионер Глазвалд. Кто он такой, этот Глазвалд? Что это за Глазвалд? Это нас не касается. Принц Рудольф бродит по Парижу инкогнито и разыскивает пропавшую семью. Точно также ходит Глазвалд по городу Несвижу и тоже ищет свою пропавшую семью. Принц Рудольф, как вам известно, в конце концов нашел свою пропавшую дочь Марию — и господин Глазвалд нашел своего пропавшего сына часовщика Нафтоле. У Эжена Сю фигурирует страшный убийца Жак Ферран. Соответственно этому имеются у Шомера изверг Герценштейн, вор и разбойник Шпин, какой-то аспид Гилон из Парижа, некая Элизабет и много других героев. Если у Эжена Сю имеется несчастная бедная семья Морель в Париже, то почему бы у Шомера не быть такой же бедной семье — Ципы и Леи в Несвиже? Там появляется Рудольф и выручает их из нужды, здесь приходит Глазвалд и сидит у изголовья Леи.

Но я повторяю: если бы Шомер всю эту запутанную историю перевел на еврейский язык, в этом был бы какой-то смысл, и мы тогда говорили бы об Эжене Сю, а не о Шомере. Но так как Шомер, изменив название романа, выдал его за собственное произведение, мы забываем об Эжене Сю и рассматриваем «Нищего миллионера» как произведение Шомера.

Однако мы, к сожалению, не находим во всем романе ни одного типа еврея, ни единого еврейского образа. Сочинитель показывает нам целую кучу марионеток, заводных человечков, которые ходят, бегают, сидят, разговаривают. Этот влюблен в ту, а та влюблена в того: этот — ангел, на редкость благородный человек, тот — злодей, убийца; этот — умница, тот — идиот; эта — прекрасная, нежная женщина с белокурыми длинными волосами, а та — уродливая, противная, как смерть... Шомер повелевает тому или другому герою пасть ниц и произносить: «Люблю тебя, мой ангел!» — и тот падает на колени и произносит: «Люблю тебя, мой ангел!»

Нет, это не роман. Это какая-то шарманка, ручку

которой Шомер вертит сзади, а с лицевой стороны выскакивает «любовь»! Все у него влюблены, и все влюблены на один манер. Элизабет падает в обморок, и модистка падает в обморок, ибо все они обмануты в своей любви, все в отчаянии, все недоверчивы. Герои Шомера так похожи друг на друга, что, если бы не разные имена, мы бы не отличали богатую Элизабет от бедной Леи, миллионера Глазвалда от часового мастера Нафтоле, изверга Герценштейна от злодея Шпина-Гехта-Фаерфана. Злодеем у Шомера называется тот, кто убивает людей, грабит на большой дороге, похищает мертвецов из могил, маскируется под разными именами: то он убийца Шпин, то подрядчик Гехт, то муж модистки Фаерфан, который всюду имеет невесту, богатую невесту с богатым приданым, с большими деньгами — деньги у Шомера что мусор, по всем уголкам валяются миллионы!

Таков у Шомера отрицательный герой, злодей. Шомер не понимает, что отрицательным героем, разбойником может быть и человек вполне благопристойный, почтенный хозяин, вовсе не скрывающийся под тремя разными именами; ему невдомек, что можно быть убийцей, никого не отравив, не зарезав, не ограбив ночью при луне, не вытаскивая мертвецов из могил, чего еще среди евреев никогда не случалось, и мне даже не представляется, чтобы среди читателей нашлись такие дураки, которые приняли бы это за чистую монету и поверили сочинителю на слово.

Итак, поскольку роман не имеет ничего общего с действительной жизнью, значит роман не роман, а небылица, сказка о принце и принцессе, о раввине и раввинше, о двенадцати братьях с двенадцатью замками, о гиене полосатой и оборотне и т. д.

Было бы еще полбеды, если бы романы Шомера были только пустыми и бесполезными. Но они еще вредны с нравственной стороны, как я вам уже ранее показал и как покажу еще, с божьей помощью, дальше.

Я раскрываю перед вами еще один «сверхзанимательный» роман Шомера под названием «Покинутая».

С удовольствием выслушал я предисловие, в котором Шомер говорит: «Могу положительно утверждать,

что все мои герои взяты из жизни...» Мне это было очень приятно. Стало быть, Шомер все-таки знает, что герои романа должны иметь отношение к подлинной жизни...

Но говорить легко, а верить Шомеру на слово никто не обязан. Поэтому я принялся искать по всему роману хотя бы одного живого человека, а не дутую куклу, хотя бы один знакомый тип, хотя бы одну правдивую картину из еврейской жизни. И что я нашел? Опять ангела, идеал, небожителя, который страдает, бедняга, за чужие грехи на земле, и опять злодея, разбойника, бандита (у Шомера сплошь бандиты), опять изверга, который грабит, разбойничает, загребает деньги, живет припеваючи и в конце концов терпит поражение совсем неожиданно, к вящему удовольствию сочинителя и читателей, уже осведомленных, что нечестивца ждет у Шомера плохой конец, а праведник будет вскоре, с божьей помощью, спасен, — аминь...

Так у Шомера происходит с «Покинутой», с «Разлученной», с «Наследством», с «Братом-тираном», с «Кающимся», с «Нищим миллионером», с «Богатым нищим», с «Кладом», с «Современной невестой», с «Проданной невестой» — со всеми героями «сверхзанимательных» романов Шомера, которые, в сущности, представляют собой один большой, бесконечный роман, где меняются лишь имена, — здесь бандита звать Герценштейн, там — Фельдбаум, тут он — Перец, там — Велвл-ростовщик, а там — Даниел Пинтл. Однако все они бандиты, все они воры, разбойники, кровопийцы, вампиры, ханжи. Они то и дело строят интриги, выманивают деньги; они по нескольку раз женятся и совращают много прекрасных невинных девушек, они запанибрата со всеми международными ворами и работают заодно с могильщиками, похищающими мертвецов из могил... Одним словом, все персонажи — бандиты Шомера — это не герои, не люди, не звери, а какие-то драконы, полурыбы-полулюди, какие-то вурдалаки, восьминогие кони, диковинные, страшные создания из сказок «Тысячи и одной ночи», какими можно пугать малых детей.

Так обстоит с персонажами-бандитами, так

обстоит с персонажами-ангелами, праведниками. Они тоже все являются одним и тем же лицом, но с разными именами: хорошие, благочестивые, честные, чистые, красивые, замечательные, без единого пятнышка, отважные, смелые парни, высокообразованные, беспредельно преданные ребята. Если они пишут горячие, пламенные письма — им присущ один и тот же язык, если они говорят о священной любви — их стиль единообразен, будто выписан из книги и заучен наизусть: «О, люблю тебя, мой ангел!», «О, люблю тебя, жизнь моя!» Шомер стоит позади своего героя и подсказывает ему: «О, люблю тебя, мой ангел!» И тот говорит: «О, люблю тебя, мой ангел!» Слова без души, без всякого чувства, и произносятся они автоматически, как машиной... Героини, женщины, девушки, у Шомера ведут себя иначе, но также все на один манер, все по одной и той же программе, по одной и той же инструкции, а именно: они все устремляют очи горе; они там ищут свой идеал, витающий в далеких небесах, и поют во всех романах слащаво-сентиментальные песни...

Чтобы заинтересовать публику, наш талантливый романист, написавший за свою жизнь тьму романов, совершил в «Покинутой» нечто новое. Это новое — скандал.

Правда, в других литературах это уже не ново, например в парижских бульварных романах. Но у нас, на еврейском языке, это очень важное новшество, и ввел его Шомер...

...Как бездонно море, так и философия Шомера бездонна, и я должен был бы говорить перед вами три дня и три ночи, чтобы показать хотя бы десятую долю того, что наш подсудимый написал в своих ста романах. Шутка ли сказать — целая сотня романов! В каждом романе имеется от тридцати до сорока героев (на героев у Шомера урожай), значит не больше и не меньше, как четыре тысячи героев, то есть четыре тысячи разных лиц, разных характеров, у каждого свои чувства, свои мысли, свои способности, свои наклонности, свои привычки, свои достоинства и свои недостатки, — словом, это дело не такое уж легкое.

Для этого требуется совсем иной талант. Каждая книжка в отдельности должна быть обработана, должна доставаться кровью, должна стоить здоровья. Помимо того что нужно обладать божьим даром, талантом, сочинитель, прежде чем выпустить свое произведение, должен его хорошенько обдумать, десять раз обдумать, чтобы оно выглядело литературным произведением, реальным и актуальным, чтобы оно жило, говорило и уму и сердцу.

Но не так понял свою обязанность наш подсудимый Шомер: он принял народную литературу за предприятие по поставке романов, он сделался подрядчиком, поставщиком романов для еврейской печати... А масса смотрит на это равнодушно, и критика также смотрит и молчит: «Что уж там, ведь это только для народа, для массы, для толпы, ей можно и солому жевать, — не велика беда!» И таким вот образом эксплуатируют массу, берут у нее деньги и дают ей жевать солому, и никто не смеет и слова сказать. «Но ведь Шомер — это Шомер; он все же написал почти сто романов, и масса их читает, наверное они что-то собой представляют!» И когда известный критик из «Восхода» *, господин Критикус *, сделал попытку просмотреть одну книжку Шомера и оценил ее по достоинству, великий романодел выступил со статьей в «Идишес фолксблат» *, в которой Шомер доказывает, что он Шомер...

Словом, Шомер знает, что требует публика. Шомер знает, что толпа любит иллюзии, фокусы, и он дает ей иллюзии, фокусы; толпа любит скандалы, он подает скандалы, один больше другого, такие вот скандалы... Но к этому мы скоро вернемся. Я хочу показать образец его «Предисловия».

«Еще раз прошу моих читателей, если они возьмут в руки какое-нибудь из моих произведений, хорошенько рассмотреть первую страницу, значится ли там мое настоящее имя, так как некоторые стали эксплуатировать мое имя, Шомер, и выставляют его на разном тряпье, дабы пустить читателям пыль в глаза...»

Это значит: «Остерегайтесь подделки!» или: «Берегитесь воров!..» Горе молодой еврейской литературе,

если у нее могут найтись такие сочинители и такие издатели, которые пошли бы на подделку Шомера! Мы можем его утешить словами русского поэта:

— Я разорился от воров.
— Жалею о твоем я горе.
— Украли пук моих стихов.
— Жалею я о воре.

Жалко вора, жалко еврейскую литературу, жалко народ!

Чтобы быть народным писателем, нужно быть талантливым писателем, патриотом и другом людей, нужно любить народ; бичуя и высмеивая, надо быть преданным народу, подобно Абрамовичу, у которого кровь сочится, когда он смеется и критикует. «Когда я пишу о моем несчастном народе, — пишет Абрамович в частном письме к знакомому, — у меня сочится кровь; я как будто смеюсь, но это горький смех, а когда я пишу с пылом, я и сам пылаю и медленно сгораю, как свеча...» Но так пишет Абрамович, а отнюдь не Шомер, который ищет лишь скандалы и гадости, за которые, как ему кажется, народ ему рукоплещет...

...Другой великий еврейский писатель — Линецкий. За кусок хлеба насущного он мучается, кривляется и транжирит свой редкостный сатирический талант на шутовские штучки, которые любит толпа. Но, смеясь и кривляясь перед публикой, он исходит кровью, когда говорит, или пишет, или думает о бедном еврейском народе. Нет, господа, ничего более печального на свете, чем смеяться поневоле, когда тебе очень хочется плакать, паясничать, когда сердце пылает огнем, когда мысли витают где-то далеко, а за спиной стоит ангел смерти...

Но это о Линецком, а отнюдь не о Шомере, который признается в романе «Покаявшийся», — голова у него, мол, такая слабая, что он не помнит ничего...

Я ему верю, верю: голова может разболеться от одного только чтения таких, с позволения сказать, пятидесяти романов Шомера. Я с большим ужасом прочитал их, и перед моими глазами сейчас мелькают одни лишь оборотни, драконы, бандиты, ангелы, старые девы с очами, воздетыми горе, с сентиментальными

приторно-сладкими песенками и с шомеровской «мрачной философией, или кранцефолией»...

...Писатель, господа присяжные заседатели, народный писатель, художник, поэт, настоящий поэт является для своего времени, для своей эпохи своего рода зеркалом, в котором отражаются лучи жизни, как в чистом источнике — лучи светлого солнца. Поэтому идея рождается сначала у талантливого писателя, у духовного пастыря человеческого общества. Поэтому, когда случается бедствие, божья кара, когда обрушивается несчастье, это прежде всего доходит до тонкого чутья поэта, радетеля о благе народном. То же самое, когда доносится благая весть, радость: прежде всех это выражает поэт, одухотворенный человек, которого господь благословил возвышенным умом, благородным чувством, мягким и горячим сердцем. Поэтому между народом и писателем существует крепкий, вечный союз; поэтому каждый такой писатель является для своего народа и слугой, и жрецом, и пророком, поборником правды и справедливости; поэтому каждый народ любит такого слугу божьего, жреца, пророка, борца, который утешает народ в его горе, радуется его радостям и высказывает его идеи, мысли, думы, надежды и упования и т. д.; поэтому, говорю я, немыслимо ни одно жизненное явление, радость или несчастье у народа, которых писатель не касался бы.

...Теперь, господа присяжные заседатели, после того как я вам разъяснил, что за романист наш подсудимый, каким народным писателем является Шомер, я надеюсь, что ваш здравый смысл, ваш вкус и ваша чистая совесть подскажут вам, как вы должны поступить с ним по всей строгости закона. Вы его, безусловно, не помилуете, так как этого не заслуживает такой вредный писатель, как он. Этим вы совершите два благодеяния: вы уничтожите литературного дельца и оградите нашу молодую еврейскую литературу от других подобных паразитов. Не от себя я это говорю вам, господа присяжные заседатели, — я это говорю от имени литературы, всей массы читателей, всего народа!

ТЕМА НИЩЕТЫ В ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

АБРАМОВИЧ
(«Фишка хромой»)

К изображению низших классов, к созданию образов бедных, голодных, бесприютных, оскорбленных и обездоленных людей часто обращаются крупнейшие писатели мира. Нет ничего удивительного в том, что тема нищеты так занимает и наших народных писателей, ибо не всюду вы встретите столько бедняков, угнетенных, несчастных, убогих и побирающихся, как у евреев.

Русский народный поэт Некрасов выражает свою скорбь о доле русского мужика такими словами:

Волга, Волга, весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля!

Что же сказать о еврейском бедняке, у которого ни земли, ни скотины, ни кола, ни двора?

. . . .

Из всех бед и напастей нашего тяжелого времени нужно выделить две самые тягостные — голод и нужду. Не случайно поэтому такой талантливый,

поистине народный писатель, как Абрамович, чаще всего изображает в своих замечательных творениях бедняков, нищету; то и дело вы встречаете у него людей обездоленных, разоренных, нищих, выпрашивающих милостыню или просто голодающих...

Книгу «Фишка хромой», это самое маленькое по размеру произведение нашего самого крупного писателя, мы потому и выбрали для рассмотрения, что она целиком посвящена еврейской нищете, того рода беднякам, которых у нас называют попрошайками; короче говоря, перед нами *рассказ о еврейских нищих.* О бедноте у Менделе Мойхер-Сфорима сказано немало глубокомысленных, острых и горьких слов и в других произведениях, где освещаются хорошие и дурные стороны еврейской жизни, как, например, в книге «Путешествие Вениамина Третьего»:

«Жители Тунеядовки почти все большие бедняки, не при вас будь сказано, настоящие нищие, но, — правды не скроешь, — они веселые бедняки, жизнерадостные нищие, полные надежд... Если, к примеру, вам вздумается вдруг спросить тунеядовского еврея, где и каким образом он добывает средства к существованию, то вначале он растеряется, бедняга, не зная, что ответить, а потом придет в себя и скажет со всем простодушием: «Я? Э! Как бы я ни жил... Есть, говорю я вам, бог на свете, он не оставляет свои создания. Худо-бедно, но кое-что он им подбрасывает, и дальше, наверное, будет подбрасывать, вот что я говорю».

«Но чем же вы все-таки занимаетесь? Владеете вы хоть каким-нибудь ремеслом, имеете какое-нибудь дело?»

«Благословен всевышний, у меня, видите ли, дар божий — хороший голос, настоящий инструмент, по праздникам я молюсь у аналоя, где-нибудь в округе. А по части обрезания младенцев и раскатывания мацы мне равного нет. Порой удается и сосватать кого-нибудь. И вот, как видите, у меня даже постоянное место в здешней синагоге. Между нами говоря, я содержу еще и шинок, который понемногу доится, и коза у меня есть, эта хорошо доится, а недалеко

отсюда у меня богатый родственник, который в трудную минуту тоже дает себя слегка подоить... А помимо всего прочего, бог, говорю я вам, отец, и не перевелись еще среди нас милосердные, сыны милосердных. Грешно жаловаться...»

Вот таким образом вполне достойно проживает свой век уважаемый тунеядовский хозяин... А если вам угодно, вы можете прочитать у нашего лучшего писателя в «Маленьком человечке», как живется детям в бедной еврейской семье:

«...Когда я плакал, меня унимали не медовыми пряниками и не другими лакомствами, а оплеухами и подзатыльниками. Ни от кого я не видел ласки; мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь сказал, например: «Бедненький, он ничего не ел», или: «Жаль бедняжку, у него лицо распухло» и т. п. В моих ушах только и звучало: «Посмотрите-ка на эту образину, на эту надутую физиономию, на эти лапы, красные, как бураки; посмотрите-ка на этого обжору, вечно у него слюнки текут; посмотрите-ка на этого урода, как он дергается, дрожит, стучит зубами...»

И все это не по злобе, не от жестокости, а от вопиющей бедности. Читайте дальше:

«Ребенок бедных родителей — это никому не нужное существо. Он всем мозолит глаза, он успевает нажить себе врагов еще до того, как появится на свет божий. А уж когда появится, то растет сам по себе, без любви, без ласки. Разве лишь тяжело заболеет. Тогда только найдет он путь к человеческому сердцу, окаменевшему от жестоких страданий, от горькой нужды; тогда только раскроется это сердце с его подлинными родительскими чувствами. Родителям ясно представится бесприютная жизнь их бедного ребенка, лишенного тепла и радости, им станет больно за эту невинную душу, которая зря прозябает на свете. А когда окаменевшее сердце открывается, оно похоже на реку во время ледохода...»

Какой глубокий, поистине философский взгляд на жизнь еврейской бедноты! Абрамович вовсе не отрицает наличия родительских чувств у бедных людей,

но показывает, как нужда, горе, злосчастье сковывают, превращают в камень человеческое, может быть, даже доброе сердце. Но стоит льду тронуться, и вода прорывается. Так и человеческое сердце. Оно раскрывается для всех чувств, свойственных человеку, и он дает волю слезам.

Однако мы слишком задержались на двух крупнейших произведениях Абрамовича. Разговор о них нам предстоит в будущем, теперь же вернемся к той небольшой книжке, о которой нам хотелось побеседовать с читателем.

Напечатанное лет двадцать тому назад в Житомире под названием «Фишка хромой», это произведение мало знакомо публике, во всяком случае намного меньше, чем «Кляча», «Такса», «Маленький человечек» и другие произведения Абрамовича, хотя, по моему мнению, оно ни на йоту им не уступает и может быть поставлено рядом со всем лучшим, что написал Абрамович. «Фишка хромой» заслуживает того, чтобы ему была посвящена особая статья[1].

Кто такой Фишка? Откуда он взялся и что это за существо такое? Остановимся на этом вкратце.

Фишка всего-навсего бедный парень, косоглазый и хромой, «урод, не про вас будь сказано, — пишет о нем Абрамович. — Даже в «холерные женихи» * его и то не взяли»... Жил Фишка в городе Глупске, в кирпичной бане; его делом было каждую пятницу зазывать народ в баню. Летом он, кроме того, еще торговал вразнос зеленым чесноком. И вдруг Фишка пошел в гору. Каким образом? Община женила его на немолодой слепой сироте, их обвенчали около «Мертвой синагоги», рядом со старым кладбищем, и Фишка превратился в щеголя, в новом с иголочки кафтане и в плисовой шапке... Но ведь не может счастье

[1] До нас дошло, что «Фишка хромой» перерабатывается теперь писателем для нового издания. Вступление, напечатанное в виде образца в «Гойз-фрайнд», 1888 г., дает нам право надеяться, что в переработанном виде это произведение станет еще лучше, если только возможно писать лучше, чем оно написано.

Автор.

улыбаться человеку вечно! Бывает и так, что удача, дразня нас, как шут, сверкнет перед глазами, покажется на мгновение и тут же исчезнет. Так случилось и с Фишкой; в один прекрасный летний день ему пришлось, разутому, раздетому, с опухшими, искусанными ногами, пуститься бегом за чужой телегой, умоляя:

« — Люди, сжальтесь над калекой, подвезите меня в город!

— Как ты сюда попал, Фишка? Откуда ты вдруг взялся?

— Ой, провалиться бы ей! — со стоном ответил Фишка.

— Что случилось, Фишка? Кого это ты проклинаешь?

— Ой, провалиться бы им обоим — и ей и ему!

— В чем дело, Фишка, расскажи нам. Ты рассказывай, а мы тем временем помолимся».

И Фишка трогательно и простодушно, тем изумительным языком, равного которому мы не находим ни у одного еврейского писателя ни до, ни после Абрамовича, рассказывает свою грустную историю.

Ее можно передать в нескольких словах: слепая жена Фишки, жившая попрошайничеством, научившая и мужа побираться, изменила ему. Неверная жена стала обходиться с ним крайне деспотично, совсем не по-людски, как мы это увидим в дальнейшем. Эта незамысловатая история служит Абрамовичу канвой, по которой он вышивает разнообразнейшие узоры, яркими красками изображая жизнь еврейских нищих, попрошаек; с ними стоит познакомиться, и это даже небезынтересно. Почему бы и нет? Интересует же нас жизнь зверей и животных, слонов например, или обезьян, пчел и даже незатейливого клеща. Тем более должна нас интересовать жизнь нищих, ведь они, не взыщите, такие же люди, как и мы с вами. Слушайте же внимательно!

Нищие делятся у Абрамовича на оседлых и бродячих. Бродячие, в свою очередь, делятся, как солдаты, на пехоту и кавалерию, то есть на пеших нищих, тех, что передвигаются пешком, и фургонных нищих — эти тащатся в фургонах. Последние совсем

как цыгане. День и ночь они странствуют с места на место; они родятся, вырастают, женятся, живут и умирают в пути. Они свободные люди. Вы, конечно, хотите знать, что разумеет Абрамович под словом «свободные»? «Свободные» здесь означает: «Их ничто не касается — ни налоги, ни паспорта, ни молитвы, ни все прочее, относящееся к еврейству; нищенская сума неразборчива: что мясное, что молочное — все вперемешку. Нищие — люди особого склада...» Фишка и его слепая жена были из пеших. А так как Фишка припадал на одну ногу, жена грызла его, говорила колкости, пока не перешла на откровенную ругань. Обучая Фишку ремеслу нищего, она осыпала его бранью.

Так добрались они до Балты, потом плелись еще несколько месяцев, пока не пристали к ватаге фургонных нищих — «кавалеристов». Перед Фишкой, который все больше присматривался к этим людям, к их нравам, к их повадкам, открылся новый мир. Фишка вдоволь нагляделся и наслушался, как они смеются над всеми на свете, как они издеваются над богачами, не оставляя на них живого места. Проклиная, ругая их почем зря, они, когда приходят за подаянием, делают жалостливое лицо, прикидываются калеками, клянчат и вымогают, из-за каждого гроша затевают спор, а иногда и унесут, что плохо лежит: хлеб «слямзят», курицу «стибрят» и т. п.

От Фишки не ускользнуло и то, как в этой компании парни вступают в разговоры с девушками, шутят с ними, как один фургон сватается к другому. Но об этом, считает Фишка, и рассказывать неловко...

Вот вам подлинная картина жизни наших нищих. Но не думайте, что в их среде не существует интриг, всяких вздорных историй, сплетен! Бывают, конечно, и среди них интриги, но они нисколько не походят на те бессмысленные, запутанные, нелепые интриги, которыми изобилуют писания наших недалеких, пустоголовых романистов, вернее романоделов. Интриги здесь вполне реальные, каждый может их себе представить.

Потрудитесь послушать самого Фишку:

«Один из этой компании, рыжий, здоровенный детина, стал улещивать мою жену разговорами и шутками. Если ему удавалось где-нибудь выпросить кусок халы, коржик или немного вареного гороха, он отдавал ей. А я ничего не понимал. Ну и балуй ее коржиками, угождай ей, балагурь с ней! Пусть! Не моя забота! Но со временем, однако, они уж слишком снюхались и начали надо мной насмехаться, грызть меня, залезать в печенку, а вслед за ними мною занялись все фургоны, — то и дело по моему адресу отпускались шуточки, каждую минуту меня обзывали новым прозвищем. Я стал козлом отпущения; каждый мог делать со мной все, что ему вздумается. Если я выходил из себя, компания возмущалась: «Смотрите-ка на этого неженку, как он тут расшумелся, сейчас нюни распустит!»

Меня били-колотили, а когда я порой плакал от обиды и боли, спрашивали: «Чему ты так радуешься, Фишка? Чего зубы скалишь? А ну-ка, стукните его по лопаткам. Да по ляжкам не забудьте погладить...»

Иногда меня выбрасывали из фургона, и я терпел страшные муки, так как приходилось бежать на больных ногах за повозкой, а они в это время хлопали в ладоши и со смехом кричали:

«Браво, Фишка! Так, так, Фишка! Потанцуй, потанцуй немножко! Потопай ножками!» Однажды тот, который лез к моей жене, провалиться бы ему, сказал даже, что я вовсе не хромой, что я притворяюсь. Короче говоря, люди добрые, меня всячески изводили. И мне вспоминались счастливые, добрые дни, когда я барином сидел в бане, и жилось мне как у бога за пазухой. Чего мне тогда не хватало?»

Сознайтесь, дорогой читатель, не защемило ли у вас в груди от трогательного, наивного рассказа незадачливого Фишки? Вот в этом-то и кроется великая тайна, поразительное искусство Абрамовича: мимоходом, как бы невзначай, он вас глубоко тронет, за душу возьмет, увлечет, вырвет из груди вздох, а иногда вы даже подарите автору слезу — и все это без страшных, душераздирающих сцен злодейства,

как в пресловутых «чрезвычайно интересных романах». Никто, никто не может состязаться с Абрамовичем в искусстве самым неожиданным образом заставить вас смеяться. И вместе с тем, даже такой урод, прости господи, как Фишка хромой, вызывает у вас симпатию, жалость, будит человеческие чувства. И чем же? Несколькими простыми, от души идущими словами, а не высокопарными, крикливыми и в одинаковой мере пустыми фразами.

Однако, увлекшись автором, мы забыли о нищих. Может быть, вы думаете, что у них нет собственных идей? Есть идеи, да еще какие независимые! Вот полюбопытствуйте, что Фишка нам рассказывает дальше:

«Прибыв на какое-нибудь новое место, компания устремлялась кто куда, разбредалась по домам, налетала на город, как саранча. Это называлось «идти на работу». Каждый был убежден, что жители обязаны вынести подаяние ему навстречу. Как же иначе? На роду у них, что ли, написано, у этих богачей, сидеть дома сложа руки и чтоб все на них работали? Не мешало бы, право, поменяться с ними: пусть сами попробуют просить милостыню. Ничего, мы ничем не хуже их».

Неплохо сказано, не правда ли? Подозревали ли вы о наличии таких высоких мыслей среди «пехотинцев» и «кавалеристов»? И попробуйте докажите, что то, что они говорят, — неверно, не ясно, как божий день. Приходится удивляться писателю, откуда он только так знает этих людей с их языком, со всеми их повадками. Здесь и не пахнет выдуманным романом, бабьими сказками. Для того чтобы так знать нищих, так глубоко проникнуть в их жизнь, требуется, очевидно, помимо таланта, еще и умение заглядывать в самые укромные уголки, искать, докапываться, нюхать и чуять, все видеть, замечать каждую мелочь.

Здесь необходима уверенность в том, что то, о чем автор пишет, он доподлинно знает, и то, что знает, о том и пишет, — не в пример сочинителям пресловутых историй об ангелах и деспотах, раввинах и раввиншах, принцах и принцессах!..

— Но помилуйте, ведь здесь нет любви! Куда годится книга без любви? — спросят некоторые читатели...

Ах так? Вам любовь подавай? Так вот вам и любовь! Но не та, что изготовляют романоделы, не затасканная любовь между блондином и брюнеткой, которым больше и делать нечего, как целоваться при «невинной» луне, распевать глупые сентиментальные романсы и проливать водянистые слезы...

Раз вы заупрямились и требуете непременно любви, то мы и у Фишки хромого отыщем для вас любовь.

Вот послушайте.

В том фургоне, куда судьба забросила Фишку, обреталась горбатая девушка, одинокая, потерянная, несчастная, как и он сам. Кто она была, чья, откуда — об этом история молчит, значит, и нам говорить не стоит... Абрамович рассказывает только, что росла эта девушка за кухонной печью, куда ее запихнули, словно какой-то запрещенный товар. Вся скрюченная, она сидела там, не смея издать ни звука. От запаха жареных гусей и гусиных печенок рот у нее наполнялся слюной; голодная, она терпеливо ждала, пока вспомнят о ней и сунут в ручку корку хлеба или обглоданную косточку. Стоило бедняжке невзначай пискнуть, как внезапно возникшая над печью кочерга или лопата опускалась на ее голову, руку, била куда попало. Так провела девушка годы раннего детства, но и потом ей было не легче. Когда ее мать, кухарка, вышла замуж, она отвела своего горбатого ребенка на глухую уличку и там оставила.

« — Чья ты, девочка? — спросила подкидыша какая-то торговка.

— Я мамина! — последовал ответ. — Мамина я. Мама велела мне здесь сидеть, а то кочерга с лопатой придут и будут меня бить...»

Кочерга и лопата — их силу девочка испытала на себе; кроме этого, она ничего не видела на своем веку. У «сердобольной» торговки девочке тоже приходилось не сладко: по целым дням она нянчилась с ребенком торговки, а по вечерам та отправляла ее на

«работу», выпрашивать себе на хлеб... Однажды девочка так долго ходила, побираясь, из дома в дом, что заблудилась, и тут-то она попалась на глаза фургонным нищим. Они увезли ее и стали повсюду таскать с собой. «Кавалеристы» обходились с ней весьма жестоко, немало она от них натерпелась.

«Не стану отрицать, — говорит Фишка, — я сильно, всей душой полюбил ее. Мне ее очень жалко было и что-то влекло меня к ней... Не раз, когда все спали, мы с ней разговаривали наедине и плакали всласть. Мы изливали душу друг перед другом без всяких задних мыслей, а тот негодяй, рыжий, увидел нас, чтоб ему не видать царства небесного, и наврал моей жене с три короба. Тогда она совсем разъярилась и назло мне еще ближе сошлась с рыжим поганцем, провалиться бы ему, и они, как господа какие, вместе ходили побираться и стали совсем свои — одна рука...»

Ну, чего же еще? Тут вам и любовь, и ревность, и интриги, все, чему полагается быть в романе. Конечно, у тех пресловутых писак дело не обошлось бы без дуэли, убийства, покойников, крови, слез, пламенных поцелуев и «запретных плодов» любви... Вернее, этим писакам вообще было бы не к лицу заниматься бог знает кем, Фишкой хромым и убогой горбатой девушкой, — какой уж тут роман?! Главное в романе, утверждают они, интрига, запутанная интрига, от которой читателя бросает в жар и в холод. Без этого у них роман не роман...

Представляю себе удивление некоторых, определенного типа читателей, если скажу, что в небольшой книжке Абрамовича, отнюдь не романе, а обыкновенном рассказе о еврейских нищих, намного больше любви и поэзии, чем в тысяче романов всей банды романоделов, которые пекут романы, как бублики.

Чтобы подкрепить свои слова доказательством, я разрешу себе привести целых два отрывка из этой книжки, где каждая страничка — изображение, каждый персонаж — тип, где каждая строчка и каждое

слово взвешены, ибо в еврейской литературе Абрамович — непревзойденный стилист. Мысли его глубоки, его творения полны мудрых иносказаний, слова всегда отточены, отшлифованы, хорошо пригнаны, гармоничны, язык по-настоящему народный.

«Как-то, — рассказывает Фишка хромой, — мы приехали в одно местечко Херсонской губернии, и вся компания отправилась на работу. Рыжий — тот поганый, ходил с моей женой, а я один... Мне, однако, повезло: я попал в дом, где справляли обрезание, и мне преподнесли хорошую стопку водки, дали изрядный кусок коврижки да еще несколько грошей наличными... «Вот сегодня жена будет меня уважать», — подумал я. Правда, добрый кусок коврижки я отложил для горбуньи, которая засела у меня глубоко в сердце. Когда все лягут спать, я дам ей, пусть полакомится, бедняжка, ведь она такая одинокая, такая покинутая, с такими ранами в душе, ведь она светлой минуты в своей жизни не видела. Пусть же знает, что Фишка ей брат, что он заботится о ней, что он готов оберегать ее как зеницу ока. Фишка лучше сам не поест, а для нее прибережет самый лакомый кусок. Мне представилось, я это словно своими глазами видел, что мы с ней сидим под открытым небом на поросшем травой пятачке около Большой синагоги. В глазах у горбатенькой слезы, и она поет своим тихим, жалобным голосом, как это часто бывало, известную песенку:

Отец со свету сжил меня,
Родная мать живьем заела...

Я стараюсь утешить ее добрыми словами и протягиваю кусок коврижки; лицо у девушки становится веселее, она смотрит мне в глаза и смеется.

— Какой ты добрый, Фишка! — говорит она. — Ты мне очень дорог, Фишка, ты мой единственный на земле! Ты, Фишка, мне и отец, и мать, и брат! Смотри же, будь мне верен, не оставляй меня! Поклянись мне синагогой. В этот ночной час там молятся покойники *, а среди них, может быть, и мой отец, которого я никогда не видела, и он будет сви-

детелем! Поклянись мне, Фишка, что ты меня никогда не забудешь!..»

Дорогой читатель! Чтобы проникнуть в душу такого создания, как изображенная Абрамовичем бедная горбатая девушка, нужно быть большим поэтом и подлинным психологом. Кто читал произведение известного французского поэта Виктора Гюго «Человек, который смеется», тот не мог не почувствовать возвышенной одухотворенной любви бедной слепой Деи. Святое чувство любви, этот божественный дар, может овладеть любым человеком, может проникнуть в любое горячее сердце, которое еще не успел остудить ледяной поток жизни, поэтому нам не трудно предположить, что горбатая девушка была способна любить ничуть не меньше, а может быть, и сильнее, чем богатая, счастливая Элизабет или прекрасная Зинаида, и незадачливый Фишка любил горбатую девушку ничуть не меньше, а может быть, и сильнее, чем какой-нибудь блондин Соломон любил свою возлюбленную.

. . . .

Но вам, наверно, хочется знать конец Фишкиной истории. Конец этот грустный, очень грустный. Не суждено было горбатой девушке отведать кусок коврижки, который приберег для нее наш герой, и его воздушные замки рухнули. Когда Фишка вернулся в богадельню, где остановились «кавалеристы», он никого из них там не застал. За несколько часов до его прихода фургон с нищими укатил вместе с его слепой женой, с рыжим поганцем, «провалиться бы ему», и с горбатой девушкой, а Фишка остался один-одинешенек, как придорожный камень. Кое-как добравшись до Одессы, он устроился на неплохую службу в бане. Одесская баня, однако, ему не понравилась. Одесские бани, по его словам, даже не пахнут тем, чем должны пахнуть еврейские бани, а миква * там и вовсе курам на смех. В глупской микве вода имеет совсем другой вкус, другой цвет, она намного гуще, в ней чувствуешь себя евреем... А там, в одесской микве, вода как вода, прозрачная вода, которую даже

можно пить. Свой рассказ Фишка заканчивает такими словами:

«Мое место в Глупске, и туда я вернусь. Как говорится: «Хоть и связанный, да среди своих...» Отправлюсь-ка я восвояси, в Глупск, и пусть придет погибель на мою слепую жену и на того поганца, провалиться бы ему! Вот только горбатую девушку мне очень жаль!..»

Ну, а дальше?... Это все? Стоило ли столько говорить о такой маленькой книжке? — спросят иные любители «чрезвычайно интересных романов». Я их слышу, этих любителей, я знаю, я чувствую, что так *должны* говорить некоторые, определенного типа, читатели. Но от этого я вовсе не падаю духом, а еще меньше падает духом талантливый автор «маленькой книжки», отец всех еврейских писателей, наш единственный, бессмертный Абрамович.

ЛИНЕЦКИЙ
(«Мальчик из Польши»)

Линецкий, «Мальчик из Польши» — этих нескольких слов достаточно, чтобы вызвать улыбку у любого еврейского читателя, настолько первый еврейский сатирик известен публике.

Сатира в умелых руках талантливого писателя — бесценный инструмент, который облегчает самый тяжелый труд и никогда не попадает мимо. Публика надрывается от смеха, не замечая, что смеется над самой собой. Смех этот горький, господа!

Вот таким редким даром сатирика обладает знаменитый писатель Линецкий. В представлении народа он простой парень, свой брат, весельчак; он непринужденно говорит, плетет что-то, насмехается, чисто шут какой... Именно поэтому Линецкий так известен и так любим народом.

Давайте посмотрим, как описана у Линецкого по-

вседневная жизнь еврейской нищеты в первом и самом лучшем его произведении «Мальчик из Польши».

. . . .

Не таясь, автор перед всем миром выставляет напоказ самые горькие и темные стороны этой нищеты, он как бы выворачивает еврейскую жизнь наизнанку: «Нате, мол, любуйтесь!» И мы любуемся, и мы смеемся, хотя и с болью душевной, но смеемся, горе нашему смеху!..

Мы смеемся, мы наслаждаемся тем, как описана жизнь несчастного мальчика из Польши, и в то же время жалеем его. Нам, однако, и в голову не приходит, что смеемся-то мы над самими собой и жалеем не кого иного, как самих себя. Ведь с той самой минуты, когда ангел щелчком по носу * заставляет нас забыть тору, которую мы изучали в утробе матери, начиная с этого сигнала перед тем, как увидеть свет в темном мире, и вплоть до момента, когда подвыпивший служка отрешает нас от всего земного и просит прощения от имени остающихся в живых, — на нас, к сожалению, не перестают обрушиваться всякие беды, как это описано у Линецкого.

. . . .

Первой встречает нового пришельца в мир бабка-повитуха, у нее диплом еще со времен рабства египетского, ибо сказано: «И они повитухи». И в самом деле, зачем бабке чему-либо учиться? Эка важность! У нее еврейская голова на плечах, она и без всякого учения разберется. Эта повитуха, эта многоопытная бабка немало повинна в болезнях и муках, которые невинное создание пронесет через всю свою жизнь. Вслед за бабкой появляется нянька, у этой ребенок по двадцать раз на день падает и приобретает горб, кривые ноги, а иногда и изрядную чесотку от нечистоплотности. Солидная доля в бедах и напастях, преследующих маленького мученика, принадлежит и самим родителям, не имеющим никакого представления о воспитании. Позднее им на помощь приходят помощники меламедов, которые выманивают завтрак у малыша, затем сами меламеды, которые порют его, потому что не внесена плата за обучение к на-

чалу месяца, затем товарищи, обучающие его всяким пакостям; позже появляются знаменитые сваты и свахи, готовые свести гору с долиной, лишь бы заработать несколько рублей, а затем и жена, которая могла бы быть матерью своему супругу, или же, наоборот, которой в пору еще в куклы играть, и тесть с тещей, дающие хворобу вместо обещанного полного содержания молодых, и сборщик *, и «он, долгие годы ему», с его старостами и посыльными, и дети мал мала меньше, и милые заработки... Ах, эта бедность, нищета, еврейская стоголовая и тысячеголая нищета!

Вот он лежит в корыте, маленький человек, связанный, спутанный, а в рот суют ему тряпку, пытаясь обмануть: пусть думает, что это грудь... Когда малыш немного подрастает, нянька пугает его чертом, трубочистом, нищим, который вот-вот запрячет его в свою торбу. Ребенок катается на своем «простите за выражение» по улице, калечит себя и ест золу из печи... И все же мальчик из Польши, благодарение богу, растет, и отец с матерью искусно воспитывают его. Это значит, что отец учит его показывать матери кукиш, а мать учит его плевать отцу в бороду, и оба вместе учат его и перед чужими людьми отличаться соответственным образом...

. . . .

Время, однако, не стоит на месте. Мальчику из Польши, с божьей помощью, уже исполнилось четыре года: пора в хедер. И тут в семье начинаются раздоры: мать хочет отдать мальчика к Нехемье Штурмаку, так как плакальщица Хайча говорит, что Нехемье — самый ученый из всех меламедов; отец же, обозвав мать коровой, толкует наоборот: раз Нехемье Штурмак ездит к зеркевичскому цадику, значит он наглец, и хорошим меламедом можно назвать только Нахмана Траска.

Вам, наверно, интересно узнать, что за хедер у Нахмана Траска. Но он вам знаком, этот хедер, господа, вы хорошо его знаете.

«В доме грязи по горло: возле двери полное до краев помойное ведро, покрытое плесенью, на по-

верхности которого плавает то, что было вылито на голову Амана...* Из печи валит дым, как в пятницу в бане. Ребе в засаленной, потрепанной ермолке на голове и в накинутом на плечи рыжем бершадском талескотне сидит на почетном месте и чешет себе спину о печку; в одной руке у него плетка с пятью ремешками, второй рукой он поскребывает у себя за пазухой. Рядом на кровати лежит его тяжело больная жена. По полу ползают двое маленьких детей, задрав выше головы свои задрипанные рубашонки. На столе корзина с горшками, и на них облизывается рябой кот, с глазами, серыми, как у ангела смерти. Помощник учителя щелкает плеткой, и десять сопливых мальчишек, заглядывая в один молитвенник, кричат во всю глотку.

— Видишь эту плетку? — спросил меня ребе. — Этой плеткой порют мальчишку, не желающего учиться. Если ты пожелаешь учиться, то ангел сбросит тебе с потолка грош. Если же не пожелаешь, тебя будут пороть железными прутьями и черти тебя закинут за темные горы. Ну, говори же «алеф»! Говори «бейс»!..» *

Но ведь это ничем не примечательная, совсем будничная картина! Чем здесь восхищаться? Разве надо быть Линецким, чтобы такое описать? Все так просто, так обыкновенно!

И в самом деле, просто, обыкновенно, но это-то и хорошо, потому что правдиво.

. . . .

«Годы раннего детства, — говорит Линецкий дальше, — промчались, как облако, и мальчику из Польши исполнилось, на радость родителям, семь лет. И тогда мать сказала отцу: «Пора, право, купить мальчику пару башмаков!» — «Потерпи еще немножко, — ответил отец, — на кущи я, с божьей помощью, всучу кишкевскому арендатору моих два цитруса с дырками. Тогда...»

Однако удастся ли отцу сбыть свои два цитруса с дырками или не удастся; будут ли у мальчика башмаки или не будут, — так или иначе, к учителю талмуда его надо отдать, ибо ему минуло семь лет.

Учитель талмуда — пресловутый сладкоречивый Авремл Хирик с трехэтажной губой. Да его всякий знает.

Когда к нему привели мальчика, Авремл Хирик извлек из-под полы березовые прутья и, с почетом уложив нового ученика на скамейку, всыпал ему намного больше, чем тот мог сосчитать. Так как Авремл Хирик предпочитал проводить свое время в синагоге, а не в хедере, то жена его поручала ученикам самые разнообразные домашние работы: они выносили помойное ведро, сажали хлеба в печь, выгребали золу, месили глину и т. п. Хотя до учения почти и не доходило, все же каждую субботу мальчик должен был принести талмуд домой, чтобы отец его проверил. Но до проверки ли отцу, когда на дворе осень, а он сам, и мать, и дети пухнут с голоду? В общину за помощью отец пойти не может, две пары опорков он уже оставил в уличной грязи... Нищета скачет, нужда пляшет. Нищета, куда ни повернись! Вот скупая и вместе с тем точная картина еврейской нищеты в изображении талантливого сатирика:

«Итак, милые кущи ушли, как, оставив жену и детей, уходит отшельник; ушли, как летняя ночь проходит за игрой в преферанс; как после свадьбы — горячая любовь; ушли, как заговор знахарки от сглазу, как последний миг обманутой надежды.

Пение сменилось стонами, радость — страданием, башмаки — опорками, и молодые женщины стали похожи на старых баб... Мне, однако, хуже всех: надо снова идти в хедер к Авремлу Хирику...»

Одна эта картина может послужить достаточно яркой иллюстрацией жизни еврейской бедноты. Как это правдиво и как грустно!

. . . .

Вот уже мальчику из Польши, слава богу, и девять лет. Меламеда для него на месте не найти, да и платить за обучение нечем, поэтому ему остается только «тереться» в синагоге среди взрослых парней-ешиботников. Как проводят время в польской сина-

гоге такие парни, известно всякому. Они бездельничают, пьют водку, закусывают коржами, режутся в «козу и волка», воруют подгнившие яблоки, затевают драки и пакостят как только могут: ломают пюпитры, превращают молитвенники в макароны, озорничают вовсю. По части озорства мальчик из Польши лицом в грязь не ударит... Но погодите! Он уже парень хоть куда, ему уже невесту сватают! На него напяливают отцовский субботний кафтан, и наше сокровище предстает перед «экзаменатором». Экзаменатор, дока в писании, забирается вместе со сватом в глубокие дебри схоластики. Словно богатыри какие, выходят они оба на поединок. А сражаются они из-за печки, которую топили не то соломой, не то щепками. В спор вмешивается и отец жениха. Экзаменатор загибает толстый палец и кричит: «Вот на что намекает мишна!» Сват протягивает в ответ все пять пальцев и утверждает обратное: прав, мол, жених. Хотя о женихе среди шума и крика совсем забывают, все же в результате оказывается, что он «весьма приличный» парень, и помолвка с божьей помощью состоится. Вот с этого момента, господа, нищета разрастается вширь и вглубь.

. . . .

Вам, конечно, хочется узнать со всеми подробностями о великолепной свадьбе «Мальчика из Польши»; вас интересуют рифмы бадхна *, спич жениха, свадебные подарки, золотой бульон * и т. п. А может быть, вам еще любопытней узнать, как впоследствии коротает свой век такой законченный нищий, а также новое поколение нищих, которое он производит на свет? Тогда потрудитесь перечитать сочинение Ицхок-Иоэла Линецкого «Мальчик из Польши», от корки до корки. Получите удовольствие. Наряду с забавным и смешным вы найдете там много грустного, и, смеясь, захотите плакать, плакать над вековечной, горькой нищетой, бездонной, как море, обширной, как мир, который так же стар, как стары страдания еврейского народа...

СПЕКТОР*
(«Бедные и обездоленные»)

Надо признаться, что от романа «Бедные и обездоленные» мы ожидали большего. Само название давало нам право думать, что перед нами раскроется новый мир, мир нищих со всеми его сословиями, нищих «бедных» и «богатых», весь еврейский пролетариат — одним словом, мы надеялись увидеть подлинную картину современной еврейской нищеты, модной нищеты.

Нашу надежду поддерживало имя М. Спектора, молодого писателя, который, как мы знаем, умеет создавать правдивые картины жизни. Казалось бы, в книге, посвященной бедным и обездоленным, можно было тем более оставаться верным реальности и изображать жизнь без романтики, не фантазируя. Бедняков у нас предостаточно, их так много повсюду, что писателю с талантом можно поставить свой письменный стол где угодно — в городе ли, в местечке ли. Надо только смотреть на прохожих и зарисовывать их. Можно не сомневаться, что картины возникнут самые правдивые, и люди будут как живые...

Поэт, конечно, вправе создавать картины, порожденные его фантазией, лишь бы они были жизненными. Спектор, однако, как и всякий начинающий, слишком уж полагается на свое воображение, а оно уносит его так высоко, что у него начинает кружиться голова и он видит мир в особой окраске. От солнечного сияния там, на вершинах фантазии, самые обыкновенные, пепельно-серые краски превращаются в розовые. Отсюда — праздничность, телячий восторг по любому поводу, как в тех пасторалях, где изображаются златокудрые пастухи в шелковых рубахах, в красных сафьяновых сапожках с серебряными застежками и с золотой свирелью в руках. Такие картины привлекательны, они радуют глаз, но как далеки они от истины!..

В жизни, к сожалению, пастухи не так уж поражают нас благообразием. Они подчас разуты-раздеты, ноги у них исколоты и распухли, лица

темны, как земля, и мрачны они, как ночь. В руках у такого пастуха — обыкновенная ивовая дудка, на спине — торба, а в торбе — краюха хлеба или же и того нет — как бог даст.

Бесприютная, горькая жизнь бедняков отнюдь не идиллия, отнюдь не красивая картинка для пресыщенных, как это получается местами у Спектора. Мы видим в книге Абрамовича «Фишка хромой» горбатую девушку такой, какой ей надлежит быть. Горбатая девушка — милое дитя. Это несчастное создание, обладающее нежным сердцем, показано с чувством меры. У Абрамовича все, как в самой жизни, все у него взвешено: ни одного лишнего слова, ни одной ненужной улыбки. Подобной строгости не хватает автору романа «Бедные и обездоленные». Так, Шейндл, Рохл и Рейзеле — девушки, живущие на подаяния, — ведут между собой «умный» разговор о еврейском мягкосердечии, которое, мол, портит бедный класс, потому что жалость только умножает число тунеядцев, бездельников и попрошаек.

. . . .

Можно подумать, что не нищенки, а какие-нибудь барышни, курсистки завели разговор о самостоятельной работе, о независимости, чуть ли не об эмансипации.

Из-за подобных недостатков нам придется хорошенько провеять роман «Бедные и обездоленные», отделить мякину, и тогда останется одно хорошее, немного, правда, совсем немного, но зато настоящее. Лучше немного, да хорошо, чем много, да черт знает что...

Так же, как и у Абрамовича, нищие у Спектора делятся на три категории. Первая — оседлые нищие. Так как они из города никогда не выезжают и широкий мир перед ними закрыт, они убеждены, что все городские обыватели, вместе с их домами, делами и всем прочим, для того только и созданы, чтобы им, нищим, было у кого просить подаяние.

Вы, может быть, думаете, что эта нищая братия невысокого мнения о себе? Упаси бог! Наоборот, все они гордецы и кичатся своей знатностью. «Богом избранные», — называет их Спектор...

«Попробуйте только усомниться, и нищий тут же выложит вам свою родословную, из которой видно, что его предки были «не кто-нибудь», а потому не воображайте, что своим подаянием вы делаете ему одолжение. Напротив, он делает одолжение вам, ибо чем бы вы заслужили царство небесное, если бы вам некому было подать милостыню?..»

Вторая категория, по Спектору, — это скитающиеся нищие, такие, которые бродят по белу свету. Их жизнь подчас бывает весьма интересной. В большинстве это несчастные разорившиеся хозяева, скатившиеся на дно. Они, в свою очередь, делятся на две категории — на пеших и на владельцев собственной лошадки и повозки, на которой и разъезжают. Это, в сущности, те же два сорта нищих, которые Абрамович называет «пехотой» и «кавалерией».

Вряд ли «пешему» нищему приходится ходить пешком больше, чем обладателю повозки и лошади, потому что лошадь его такое же жалкое создание, как и ее хозяин. Автор «Бедных и обездоленных» с большой правдивостью изображает бедную лошаденку, которая мучается, выбивается из сил до тех пор, пока не свалится и так и останется лежать где-нибудь под горой глины, возвышающейся у въезда почти в любой город с еврейским населением.

«Эта грустная сцена привлекает толпу, глазеющую на растянувшуюся на земле лошадь и на несчастную женщину с детьми. Преисполненные жалости, добрые люди запрягают другую лошадь и завозят нищих во двор синагоги».

Наблюдательный читатель мог заметить, что в романе Спектора «Бедные и обездоленные», как в зеркале, отражаются те же самые типы, что и у Абрамовича в книге «Фишка хромой». Нищие — это почти те же «пехота» и «кавалерия», и даже лошадь напоминает ту горемычную лошаденку, которая так часто встречается у Абрамовича. Мы ни в малейшей степени не собираемся бросить тень на г-на Спектора: возможно, он даже еще и не видел сочинение Абрамовича, когда сел писать своих «Бедных и обездоленных». Нам хотелось только отметить этот случай.

Ведь иногда разные канторы поют на один манер, хотя, впрочем, наши мудрецы утверждают, что каждый пророк изрекает свои истины по-своему.

Мастерски изображает Спектор в своем романе поездку одного нищего из Кишинева в Одессу, поездку, длившуюся не более и не менее как семь лет.

Еще красочнее изображены в романе интриги, которые плетут оседлые нищие, стоит только затесаться среди них чужому.

«Опять эти шатуны! И какой ветер заносит их сюда? Точно мы загребаем золото, точно здесь не хватает своих нищих. И чего они у нас не видали, какого черта!..

— Посмотри-ка на эту, как она оглядывает все кругом! Можно подумать, что она попала к своему папаше на виноградник. Теперь небось у нее жалостливое лицо... Но попробуй-ка пожалеть такую бродяжку и не успеешь оглянуться, как она нахально будет стоять впереди тебя у дверей и перехватывать лучшие куски. О, уж я знаю этих бездельников! Терпеть их не могу. И зачем только они здесь шляются? Они обжоры, и глаза у них завидущие, им всего мало. Гнать их надо, как собак...»

. . . .

«Попробуйте сойтись с ними поближе, поживите среди них, — говорит у Спектора «добрый знакомый», — присмотритесь к ним, и в каждом нищем, в каждом попрошайке перед вами откроется целый мир».

ШАЦКЕС*

(«Предпасхальные дни»)

Здесь, господа, перед нами снова правдивое воспроизведение жизни, печальная картина горемычной нищеты. И до чего мастерски эта нищета показана, как великолепно изображена!

Длинное нравоучение, если его прочитает даже наилучший проповедник, тоже надоест слушать. Но

никогда не надоест слушать поговорки, шутки, хотя бы и злые, видеть перед собой знакомые, вернее, правдивые картины подлинной жизни и незаметно для себя извлекать из них пользу, услышать дружеский совет, слово, которое заставит вас серьезно призадуматься. В этом, по нашему мнению, секрет искусства милого г-на Шацкеса, критика и сатирика, скрывавшего даже вначале свое настоящее имя, в этом вся прелесть «Предпасхальных дней». Серьезное и смешное, сожаление и шутка, талмудическое пустословие и острая поговорка идут здесь рядом, и так тесно, что едва только вы успеете проникнуться печалью, ага, опять шутка, опять смешное описание, и вы не можете не смеяться. Но смех ваш недолог, так как вы снова сталкиваетесь с картиной нищеты, и охота смеяться у вас пропадает.

Не будем, однако, голословны. Откроем книгу и посмотрим, так ли это на самом деле.

«Послушайте, женщины! — разошлась одна из соседок, плакальщица и говорунья Геля. — Так бы мне зла не знать, и вам, и всем евреям, как я не знаю, каким чудом придет в этот дом пасха. Право же, пусть народ размножается, но ведь пять семейств, не сглазить бы... Говорю вам по совести, пасха в этом году меня немного тревожит. Несколько монет завтра придется истратить на базаре. Индюшку какую-нибудь надо купить? От куска падали, прости господи, бульон жирнее не станет. А от индюшки, не забывайте, еще и смалец будет. Ну, а как же с картошкой, с луком, с хреном? Вот тут и начинается! Придется попросить деньги у моего милого муженька, чтоб ему так любо было жить, как мне любо просить у него деньги, пусть к нему черт в гости напросится. Вы думаете, самому ему жрать неохота? Ого, еще как разборчив! Между нами говоря, он, может быть, и прав. От такого кусочка индюшки тоже особенного вкуса не будет. Для меня-то все ладно. Положишь луковичку, картошечки накрошишь, ну и на том спасибо, лишь бы здоровье... Куропатки мне нужны, что ли? По мне, хоть бы и вовсе завтра ничего не готовить! Но он, злосчастье мое, разве он может потер-

петь? Он будет рвать и метать. Ему все равно, что будни, что канун пасхи, его не касается, ему бы только жрать. Мне смешно, когда люди говорят: «Ведь он, бедняжка, трудится!» А на кого же он, собственно, трудится? На себя и на своих же байстрюков! Такую бы ему долю на том свете, какую жизнь он мне устроил на этом свете».

После такого очаровательного монолога вы можете подумать, что бóльших обжор, чем литовские евреи, и на свете нет. Но послушайте дальше «и вникните», как говорит Шацкес.

«Соседки сошлись на том, что ужин все-таки надо приготовить, но легкий, потому что время позднее. Угадайте же, что они приготовили? Ну, конечно, не яичницу из десятка яиц и не клецки на чистом молоке. Только у вас, на Волыни, может такое прийти в голову, но никак не в Литве. Здесь это не пройдет. Кому охота прослыть обжорой и расточителем? Кто на Литве разрешит себе подобные яства? Разве лишь откупщик, подрядчик, сборщик или же странник из Палестины, а простому человеку, который кормится собственным трудом, такие роскошества недоступны Что же, в таком случае, сварили женщины? Похлебку».

Что это за блюдо такое «похлебка»?

На это Шацкес дает исчерпывающий ответ:

«Есть такое блюдо на Литве, которое называется «похлебка». Круглую неделю, по три раза в день, это блюдо бурлит в каждом доме, как река Самбатьон *. Может быть, вы, волынские и галицийские евреи, никогда не едали похлебки и не знаете даже, из чего она делается? Тогда я вам расскажу: похлебка — это, прошу прощения, самая обыкновенная вода с крупой; иногда к ней прибавляется картошка, а иногда и нет, нельзя же вечно угождать утробе! О мясе приходится только мечтать, ибо кто же это в состоянии платить пятнадцать, а то и шестнадцать копеек за фунт мяса? Достаточно положить в похлебку на грош смальца или масла... Таким питанием довольствуются всю неделю. Хотите знать, кто породил похлебку? Ведьма-такса *, да будет проклято имя ее, вот кто родная мать похлебки!»

Таков, как видите, обычай в Литве: круглый год ходить с пустым брюхом, разница там между буднями и кануном пасхи только в том, что в канун пасхи о еде даже говорить не полагается.

Но время не ждет. Как туча, надвигается «длинная суббота», и голова идет кругом. Вот уже, слава богу, есть и новый мешок для мацы. Его поставили в уголок, на особую табуретку, постланную свежим сеном, и строго наказали детям не вертеться около него, держаться подальше.

Легко представить себе, как эти бедняки рады пасхальной муке, которая досталась им с таким трудом. Покупать пшеницу, тащить ее на мельницу, ругаться с мельником и ссориться друг с другом не так уж приятно. А насчет привозной муки раввин, — долгие годы ему, — очень строг: он велел объявить во всех синагогах, чтобы ни под каким видом никто не пользовался привозной мукой. Да и без этого никому не хочется изменить старинному обычаю, в особенности если этот обычай связан с пасхой.

. . . .

Вот против таких раввинов, которые свое пустое тщеславие ставят выше страданий бедняка, против этих мелких людишек, которые легко разрешат богачам пить сомнительное по своей «кошерности» вино, а беднякам не разрешат в голодный год пшено или рис на пасху, потому что вино-то будут пить богачи, а пшено и рис — пища бедняков, — вот против таких ханжей и выступает г-н Шацкес в своих «Предпасхальных днях», против них направлено его острое оружие.

. . . .

Послушайте-ка чудеса: должно же так случиться, что индюшка, которую купила женщина, представьте себе, стала трефной.

«Готовишься, готовишься, а как праздник придет, не хватит сил даже поесть, прости господи! По правде говоря, и есть-то особенно нечего. Рыбу я сегодня готовить не буду, лучше оставить на завтра. Сварила бы я галушки, так смальца пока нет. Трудилась

четыре недели на черта, пусть не накажет меня бог за такие слова. Хоть бы картошкой заправить бульон... А то что же? Пустая вода... Фасоль нельзя положить — пасха!»

Легко смеяться сытому, он сидит после вкусного обеда с сигарой в зубах. Легко ему смеяться над замечательными порядками в Литве, а также и в Польше, описанными в занимательной книге «Предпасхальные дни». Но не так уж весело бедному человеку, который весь год ждет не дождется милого, светлого праздника пасхи. Можете себе представить, каково-то ему? «Кто не видел, как радовались эти люди, когда ели картошку, тот никогда в своей жизни не видел настоящей радости!» — так заканчивает автор эту главу.

А как же пасха? Слава богу, пасха уже наступила: в каждом доме — трапеза; за каждой трапезой — своя «королева» и свои «принцы». Одно удовольствие!

«В общем, церемониал закончен, парад уже позади, пора бы и поесть чего-нибудь. К столу подается одно яйцо на троих. Только хозяину дома, «королю», подается целое яйцо. Яйца макают в соленую воду и набивают животы мацой, иначе сыт не будешь... После яиц подается бульон, то есть полная до краев миска горячей воды, в которой плавает крупа из толченой мацы. Мясом и не пахнет. Какой вкус может придать полфунта падали такой многоводной реке? И говорливая плакальщица не стерпела:

— Женщины, вы хоть обратили внимание на дайена *, который объявил наших индюшек трефными, и как он сидел в шапке набекрень? Не знаю, но мне кажется, что он даже не дал себе труда подумать... Он только и смотрел на кружку, как бы кто-нибудь не забыл опустить монету за продажу хомеца *, — да не накажет меня бог за такие слова!»

Заметьте, дорогой читатель, как часто у этой говорливой женщины вырывается протест против деспотизма духовенства с его дикими нравами! Роняя вскользь слова, она тут же спохватывается: «Да не накажет меня бог!..». Видно, немало таких женщин, которые не только чувствуют, но и начинают пони-

мать, в какие смешные и вместе с тем грустные обстоятельства они поставлены. Они только высказываться не умеют. Петуха кольнет под крыльями, он и кукарекает, но что означает его кукареку, в этом он себе отчета не отдает... И многое эти люди делают автоматически: как дед и отец поступали, так и сын. Но стоит заронить в душу такого человека искру, стоит немного открыть ему глаза, как он начинает задумываться над тем, что происходит вокруг него:

— Горе мне! Ведь мы, стыдно сказать, будто скотина какая; мы погрязаем в болоте черной нужды, мы погребены в ней и думаем, что иначе и быть не может. Так червяк, забравшись в хрен, воображает, что нет ничего слаще...

К подобным мыслям неизбежно приходит любой читатель, даже самый неискушенный, когда дочитывает последнюю страницу «Предпасхальных дней», книгу, полную остроумных шуток, поговорок, светлых мыслей, полезных сведений, назидательных слов, прекрасных образов, веселых сцен и грустных раздумий. Все в ней сделано с толком. Эта острая, пламенная сатира написана хорошим языком и богата такими находками, такими оригинальными оборотами, каких до Шацкеса наш молодой разговорный язык не знал.

Нам очень жаль расстаться с книгой «Предпасхальные дни», ибо нам не удалось показать и тысячной доли ее достоинств, рассыпанных чуть ли не на каждой странице, но надо же когда-нибудь кончать...

Словом, нищета у нас растет и растет, и ничего не меняется, и нет просвета, и нет надежды, а может быть, только надежда и осталась нам в удел.

Из книги

«ЕВРЕЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ»

ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ!

(Диалог)

— Шолом алейхем![1]
— Алейхем шолом![2]
— Откуда едете?
— Из Варшавы.
— Чем занимаетесь?
— Я — еврейская газета.
— Как вас звать?
— «Юдишес фолкс-цайтунг». А вы, откуда вы?
— Откуда мне быть? Из Егупца.
— Чем вы занимаетесь?
— Чем мне заниматься? Я — еврейский писатель.
— Как вас звать?
— Шолом-Алейхем.
— Шолом-Алейхем? Жить вам, значит, миром и ладом!
— Того же вам и вашим чадам!
— Что же вы поделываете, пане Шолом-Алейхем?
— Что же нам поделывать? Пишем.
— Что пишем?
— Что нам писать? Что видим, про то и пишем.
— Что же дают вам писания, которые вы пишете!

---

[1] Мир вам! *(еврейск.)*
[2] Вам мир! *(еврейск.)*

— Что они могут дать? Горести, колики, слезы, обиды, муки, страдания, тревоги...

— И это все?

— Чего вы еще хотите?

— Я имею в виду...

— Почет? Без меры, без счета! Ни один писатель в мире не имеет столько почета, как еврейский сочинитель. Шутка ли, у евреев писатель, человек, который пишет!

— Вы это всерьез?

— А то что же? Шучу, что ли? Посмотрите-ка сами, что творится на наших юбилеях. Наилучшие пожелания от почитателей, от горячих поклонников и просто от усердных читателей летят со всех концов света, — из Касриловки, из Тунеядовки, из Тетеревца, из Затрапезовки, из Галаганишка, из Стрища, — отовсюду! А корреспонденции, которые сам юбиляр печатает в газетах?! А пиршества, банкеты, тосты?! Море разливанное! А стипендии, а пожертвования, которые вносятся в это время на благо трудящихся земли обетованной!.. Вы шутки шутите, — какой почет оказывают еврейскому сочинителю?

— Нет, я не о том; я имею в виду...

— Заработок? Полон рот! Только бы хватило свободного времени вдобавок к тому быть еще и меламедом, лавочником, маклером, сватом или просто человеком, не отказывающимся от подаяний, способным ходить по домам и собирать деньги на издание своей книги. Вы шутки шутите с еврейским сочинителем? Еврейский сочинитель — свободный человек!

— Что значит свободный человек?

— Он свободен от всех благ и на этом и на том свете; он свободен от куска хлеба, от здоровья, от друзей, от жены и детей, от всех радостей жизни...

— Мне кажется, пане Шолом-Алейхем, что тут в вас уже говорит желчь, вы даже залезаете в дебри нетерпимости. ...Нехорошо это. Не к лицу еврейскому писателю, который пишет для народа, так обрушиваться на евреев. Еврей обязан все в жизни принимать с любовью и три раза в день произносить...

— «Все к лучшему»?

— Конечно! Все к лучшему! А что было бы, если бы вы и того не имели? Какой вид мы имели бы среди народов, если бы сбросили с себя наш единственный кафтан? Разве есть у нас, кроме нашей литературы, иная одежда, чтобы покрасоваться в ней перед миром?

— Быть может, вы и правы.

— Как это «быть может»? Наверняка! Но давайте поговорим о чем-нибудь более веселом.

— О поминках?

— Не то. У меня к вам...

— Просьба? Пропечатать кого-нибудь в газетах?

— Боже сохрани! У меня к вам небольшое дело.

— По части сватовства?

— Нет... А впрочем, да, по части сватовства.

— Кто жених? Откуда невеста?

— Жених в Егупце, невеста в Варшаве.

— Далековато для сватовства. Как же их звать?

— Невесту звать «Юдишес фолкс-цайтунг», а жениха — Шолом-Алейхем. Нравится вам план?

— Недурно. Только бы...

— Что «только бы»?

— Только бы... Ничего...

— Не люблю недомолвок. Скажите, что вас смущает?

— Что может меня смущать? Ничто ни капельки не смущает меня! Одним словом, чего вы хотите?

— Хочу я вот чего. Раз я еврейская газета, а вы еврейский писатель, я хочу, чтоб вы писали, а я печатал.

— Что же мне писать?

— Фельетоны... Чтоб смеялись.

— Смеяться? Ведь плакать хочется...

— Вы можете плакать, только бы публика смеялась. Понимаете?

— Понимаю, как не понять? Вы хотите, чтоб я представился скоморохом, комедиантом, клоуном, шутом гороховым, словом забавлял публику...

— О! Только свяжись с еврейским сочинителем! Кто сказал — скоморох, комедиант, клоун, шут гороховый? Я только хочу, чтобы в ваших писаниях была

и шутка, и прибаутка, и по плечу хлопок, и по заду шлепок. Словом, публике надо доставлять удовольствие...

— Чтобы все говорили: «Черт бы побрал этого Шолом-Алейхема! Ну и язычок — онеметь бы ему! Ну и рученька — отсохнуть бы ей!»

— И еще я хочу, чтобы вы толком поговорили с нашими евреями, и именно на их наречии, на их родном языке, чтобы вы так и сказали им: вы, мол, такие и сякие, вы, дескать, и растакие и рассякие!.. То есть вы должны разделать их под орех, но красиво, чинно и благородно. Вы меня понимаете?

— Понимаю, как не понять? Вы хотите, чтобы мы с ними играли в ту игру, которая называется «кошки-мышки»?.. Так и быть... Только бы...

— Что «только бы»?

— Только бы... Ничего.

— Я же вам говорил — терпеть не могу недомолвок. Давайте прямо, что вас смущает?

— Что может меня смущать? Ничто ни капельки не смущает меня. Одним словом, чего вы еще хотите?

— Еще давайте им сценки...

— Чтоб они зевали?

— Рассказывайте им истории...

— Чтоб они быстрее засыпали?

— Напишите большой роман, роман с любовью, с трогательными сценами, чтобы дух захватывало. Одним словом, чтоб был роман...

— В шести частях с прологом и эпилогом, а-ля Шомер? Ни с чем не сообразные, дикие, нелепые сцены, ни к селу ни к городу?.. Меламед из Несвижа заводит любовь со служанкой Ривкой; он пишет горячие письма, она поет чувствительные песни; потом он уезжает в Париж и спустя девять месяцев возвращается бароном или миллионером и застает свою возлюбленную на кухне у ростовщика Эфраима, бандита, убийцы, душегуба. Тут между ними разыгрывается дуэль: ростовщик Эфраим хочет расколоть пополам несвижского барона; тогда барон бежит к губернатору, будит его и возвращается вместе с ним и с тремя жандармами; видя такой оборот дела, рос-

товщик хватает нож и закалывается, служанка Ривка падает в обморок и поет при этом немецко-еврейскую песню, да такую душещипательную, что и камень может растаять...

— Все? Вы уже кончили? Не нужно, чтоб несвижские меламеды ездили в Париж, чтоб губернаторов будили среди ночи, чтоб ростовщики закалывались и служанки пели на кухне душещипательные немецко-еврейские песни. Я хочу, чтобы вы дали роман, но роман еврейский, любовь, но любовь еврейскую. Вы меня понимаете?

— Понимаю, почему не понять? Вы хотите, чтоб я писал о жизни, о подлинной еврейской жизни? Хотите, чтоб я писал кровью сердца, нервами, от глубины души, нечто такое, за что расплачиваешься здоровьем и старишься раньше времени, от чего лицо покрывается морщинами, а голова — сединой, вы этого хотите? Так и быть... Только бы...

— Что «только бы»?

— Только бы... Ничего.

— Опять недомолвки? Скажите же наконец, что вас смущает?

— Что может меня смущать? Ничто ни капельки не смущает меня! Словом, чего вы еще хотите?

— Хочу, чтоб вы потрудились хоть раз в месяц просмотреть все те книги и книжонки, что пишут писатели...

— Изводят бумагу...

— Но печатники печатают...

— Как подмажешь, так и поедешь. Раз им платят, они печатают.

— Но книготорговцы берут.

— Меняют книгу на книгу, шило на швайку...

— Но народ читает...

— Что ему еще остается? Не дают скотинке отрубей, — она жует солому...

— Вот вы и потрудитесь все это просмотреть, прочесть, а потом вкратце пересказать читателю, хорошенько ему разжевать, объяснить, что хорошо, а что ни к черту не годится...

— Надо щадить его желудок...

— Словом, будете писать критику.

— Велико ли дело?! Стану той же скотинкой и подохну в том же стаде...

— Но что же? Попрошу, чтобы все это — без лишнего шума...

— К чему кричать?

— И без огня...

— И без воды...

— И без злости...

— Злиться — грех...

— Ваша критика должна быть и нескучной, и полезной, и серьезной, и шутливой... Вы меня понимаете?

— Понимаю! Почему не понять? Вы хотите, чтоб из хлама, которым завален наш литературный рынок, я состряпал вам настоящий цимес. Рыться в куче навоза, — авось найдется когда-нибудь жемчужина, — легкая работа; от нее недолго посинеть — так полезна она и для тела и для души. Ну что ж, недурно... Я готов, только бы...

— Что «только бы»?

— Только бы... Ничего...

— Фу, пане Шолом-Алейхем! Я вам сколько раз говорил, что не терплю недомолвок. Со мной вы должны быть откровенны. Скажите, пожалуйста, что означает ваше «только бы»?.. Деньги?

— Кто говорит о деньгах?

— Что же? Почет?

— Кто говорит о почете?

— Что же? Здоровье?

— Что говорить о здоровье?

— Что же вы все твердите «только бы»?

— Только бы читали!..

ДЕДУШКИН ОТЕЛЬ

Случалось ли когда-нибудь, чтобы вам захотелось стать не тем, что вы есть? Я, к примеру, был бы иногда не прочь стать нееврееем. Конечно, не навсегда, боже сохрани, а только так, на короткое время, чтобы поглядеть нееврейскими глазами, какой вид имеют евреи, когда они идут, беседуют, галдят, препираются и машут руками. Это, полагаю, должна быть необычайно интересная картина? Самая обыкновенная беседа, несомненно, показалась бы мне ссорой, перебранкой, и, глядя на двух евреев, спорящих между собой по какому-нибудь принципиальному вопросу, скажем, — когда нынче заход солнца, или когда у нас в этом году рош-гашоно[1], или сколько может стоить вот этот каменный дом, или еще о чем-либо подобном, — я определенно решил бы, что они поносят друг друга и дело вот-вот дойдет до потасовки.

Эти мысли пришли мне на ум, когда мы, три еврейских прозаика и один поэт, совершали первое путешествие по знаменитым Альпам. Почти все, кого мы встречали на нашем пути, — среди них были французы, немцы и англичане, — с каким-то удивлением смотрели на нас, словно мы явились сюда бог

[1] Новый год (*древнееврейск.*).

весть из какой страны и наряжены в невиданные одежды. Полагаю, это было потому, что мы беседовали, быть может, слишком громко, и в какой-то мере еще и потому, что мы, все четверо, говорили разом. Говорить всем вместе — это такое искусство, которым владеем только мы, евреи. Ни один народ не может этим похвастать. Наши собрания, наши разбирательства, торжества и заседания славятся в мире. Парламентаризм, то есть когда говорят по очереди каждый в отдельности, — хорошая штука, но не всегда и не везде. И менее всего по душе он трем еврейским прозаикам и одному поэту, странствующим вчетвером по Швейцарии среди знаменитых, покрытых вечными снегами Альп, когда они, все четверо разом, говорят о литературе, о поэзии, о талмуде, о его толкованиях, об истории, политике, революции и прочих подобных вещах. Не устроим же мы *на ходу* «заседание», чтобы выбрать президента и просить у него слова!

Люди, которых мы встречаем, — эти французы, немцы и англичане, — карабкаются по тем же горам, что и мы, но их путешествие лишено интереса.

Они идут и молчат, а если заговорят, то очень тихо, еле-еле слышно. Каждый из них занят только собой, своим собственным желудком. Это вообще правило: если несколько человек идут вместе и молчат, значит, их мысли погружены в дела собственных желудков. Мы не таковы. У нас желудок — груз, подвешенный нам природой, что-то вроде внутренней торбы, чтобы нам весь век с ней маяться. Мысль эта — не моя. Дедушка реб Менделе уже много раз касался ее в своих бессмертных творениях.

Как бы ни обстояло дело — все прохожие смотрели на нас с большим удивлением. Иные останавливались и прислушивались к нашим крикам, — видимо, в ожидании минуты, когда мы начнем драться. Глупцы! Они не знали, конечно, что таких истинно добрых друзей, как мы, трудно найти на всем белом свете, хотя мы друг другу комплиментов не говорим, в карты не играем, не питаем пристрастия и к другим земным утехам, которые обычно сближают

людей. Когда еврейские беды сгоняют нас в одно место, вся наша отрада в том, что мы изливаем один перед другим всю горечь исстрадавшегося сердца, вместе сетуем над бездомностью благодати, скорбим о судьбе несчастной, исхлестанной «клячи», то есть народа нашего, — а уж если, с божьей помощью, иногда на проводах царицы субботы хлебнем по малости вина, нам становится так весело, так весело, что слезы льются из глаз...

*

Шествие солнца по светло-голубому швейцарскому небу было в самом разгаре. Оно закидало горы золотыми снопами, которые колосьями рассыпались по вековым камням и катились вниз, под гору, по зеленым долинам, и падали вместе со змеящимися ручейками в ослепительно-синюю беспокойную Рону, бегущую с певучим шумом между скал, бог весть с каких пор и доколе, бог весть почему, зачем и ради чего! А мы все еще под горой, которая вырастает у нас на глазах, с каждой минутой становится шире, выше и прекрасней. И чудится, что она уже не бежит от нас, как прежде, а, наоборот, идет нам навстречу, чтобы чествовать, глядит на нас дружелюбно, но горделиво, подмигивает нам, чтобы, дескать, мы, четыре еврейских писателя, потрудились взойти туда, к ней наверх, поближе к небу, к трону божьему. Там она покажет нам свои великие чудеса; там прочитает нам главу из книги творения; там она расскажет нам, на что горазд всевышний, и оттуда откроет перед нами низменный, глупый мирок, где несмышленыши дети понастроили маленькие домики и их скопления назвали городами, погнали маленькие тележки и назвали это поездами, а сами представляются царями, королями и президентами, разыгрывают войны, морские битвы, господ и рабов — совсем, совсем, как большие...

У каждого из нас гора получает свое название: у одного она называется «Старец», другой нашел, что ей больше к лицу быть «Великой», третьему нра-

вится величать ее «реб Снизойдите». Дедушке реб Менделе захотелось доставить сюда величайшего из великанов, легендарного Ога, царя Васанского, который взвалил бы гору на плечи, пробежал с нею одним духом пятьсот миль и задумал сбросить ее на евреев; но бог вдруг совершает чудо, и у свирепого царя вырастают два клыка, один — вверх, другой — вниз, и царь-душегуб застывает с горой — ни туда ни сюда. Неповторимая трагикомическая сцена!..

— Как она называется, эта прекрасная гора?

Все глаза обращены на моего коллегу, человека с горячим темпераментом, — ведь он в Швейцарии, как у себя дома. Он здесь знаком, — по его словам, — со всеми горами и в наилучших отношениях со всеми реками и речушками. Одним словом — свой человек. Мой коллега, тот самый, что с горячим темпераментом, остановился, покраснел, потер себе лоб, посмотрел вверх, на вершину горы, и сплюнул с такой злостью, словно ему наступили на ногу.

— Тьфу, чертовщина! Я забыл название этой горы! Только что знал, — и забыл! Что скажете?

— Забыл? — отзывается дедушка реб Менделе. — Скажи на милость! О том, что такое забывчивость, спросите меня. Нет худшей кары на свете, чем забывчивость! Мне знакомо такое, когда что-нибудь хорошо тебе известное вдруг вылетает из памяти, как птичка из клетки, — поди лови! Забывчивость — это болезнь, наваждение, несчастье для человека! Если хотите, дети, расскажу вам историю, — не выдумку, а подлинную быль. Это случилось со мной в Одессе несколько лет назад. История с отелем...

— Я расскажу вам поинтереснее историю, которая приключилась со мной, и тоже в Одессе!.. Слышите? Она стоит того, чтобы ее описали!..

Так воскликнул мой темпераментный коллега и уже собрался было начать рассказ, но поэт его перебил:

— А я вам расскажу еще более интересную историю, происшедшую со мной не в Одессе, а в Житомире!

— А я-то что? Не в счет? — вырвался четвертый, то есть я сам, своей собственной персоной. — Я вам лучше расскажу историю о трех городах сразу, будете покатываться со смеху!..

— Сразу о трех городах? Если так, — за вами первенство!

Так проговорил Дедушка нараспев, раскатисто смеясь, и махнул рукой, словно говоря: «Вы всех обскакали!.. Ваш и выигрыш!»

Все четверо расхохотались, а я вспомнил изречение: «Семь примет у болвана!» Я понял, как бестактно было с нашей стороны прервать нашими историями речь Дедушки. Желая загладить свою вину, мы стали просить Дедушку рассказать историю, происшедшую с ним в Одессе. И Дедушка, — настойчивой просьбе он всегда уступит, — по своему обыкновению, засучил рукава, сдвинул очки на высокий, белый, умный лоб, обрамленный волнистыми белоснежными волосами. Маленькие, но острые, глубокие, пронизывающие глаза полуприкрылись, посмотрели вверх, несколько в сторону, по лицу разлилась сияющая детская улыбка, которая делает его лет на пятьдесят моложе и придает ему столько обаяния, что хочется сидеть возле него и вечно слушать, — только бы он говорил, и говорил, и говорил!..

И медленно, по своему обыкновению полушутливым-полусерьезным тоном, он начал свой рассказ:

— Было это, как я вам сказал, несколько лет назад в Одессе, то есть не в самой Одессе, а где-то недоезжая Одессы. Короче говоря, я ехал домой, в Одессу. Дело было осенью. Весь мир облачился в дождь. Небо заливалось слезами, ветер выл, земля скорбела и тосковала по милому горячему солнцу, словно вдова по мужу. Деревья давно стряхнули с себя пожелтевшие листья, птицы покинули свои гнезда, пообещав вернуться на будущий год, если бог дарует жизнь... Непрерывно моросил мелкий дождь, время от времени сердито нахлестывая по запотевшим окнам вагона, где мы, расположившись удобно, просторно, в тепле, сидели целой компанией и беседовали о различных вещах, делах, предметах,

Напротив сидел пассажир — образованный, начитанный, чудесный человек, как выяснилось позднее, христианин и редкостный друг евреев. Вы ведь знаете, для меня еврей-подхалим хуже выкреста, и я не прихожу в раж, когда христианин говорит о нас доброе слово. Но к моему соседу я проникся личной симпатией благодаря глубоко скрытой в нем притягательной силе, не подвластной рассудку. Что мне вам сказать? Я чувствовал себя так хорошо с ним, я сказал бы даже — по-свойски, мне, право, не надоело бы ехать вместе еще три дня. И хотелось хоть чем-нибудь быть полезным ему, сделать что-нибудь приятное. И представьте себе, желанный случай подвернулся сам собой. Как это произошло? Так как он, видите ли, впервые едет в мой город, в Одессу, и ему хотелось найти подходящее пристанище — какой-нибудь приличный отель, и так как я местный старожил, то не могу ли порекомендовать ему по моему разумению самый благоустроенный, самый лучший отель в Одессе?

— Отель? Ах!..

Обеими руками ухватился я за этот предлог и самыми яркими красками стал рисовать ему известный отель, по моему мнению, самый большой и самый прекрасный из всех имеющихся в городе. Во-первых, панорама. Дом поставлен так искусно, что все окна выходят к морю. Просторные, высокие, светлые комнаты, роскошный зимний сад, оранжереи, читальный зал, обслуживание, я имею в виду персонал. А ресторан! А музыка! Короче, я так воодушевился, словно рисовал перед ним не отель, а рай.

Светлое, теплое, веселое пристанище в чужом городе, когда на улице так пасмурно, в десять раз отрадней, чем в другое время. В глазах моего спутника светилась благодарность, он выслушал меня с сияющим, счастливым лицом. Я видел, как он вынул из кармана записную книжку, отцепил от часов золотой карандашик и ждал, покуда я кончу говорить, чтоб записать название отеля. Но я все еще был воодушевлен моим описанием и не переставал перечислять достоинства этого замечательного отеля.

Я совсем не заметил, что мы уже вот-вот в Одессе. Но когда народ стал подниматься с мест и заглядывать вверх на свои узлы, мой собеседник осторожно, с весьма дружеской улыбкой, обратился ко мне и деликатно спросил, каково название этого отеля?

— Ах да! Название? Сейчас я вам скажу!..

Я на минуту задумался. Боже мой, как же он называется? Я только что знал... Дело — дрянь! Не стало названия! Вылетело!.. Напрасно я тер себе лоб, искал во всех карманах, — нет никакого намека! Вы, может, думаете, что название такое сложное, запутанное, что его нелегко запомнить? Сейчас вы услышите! Более простого и не может быть на свете! Скажу больше — это такое название, которое даже при желании невозможно забыть! Услышите — сами скажете! Короче, мне казалось, что я сам разорву себя на части! Это слово лежало у меня, как говорится, на языке: вот-вот! Но выговорить его — никак, хоть взывай к всевышнему! Хоть ложись да помирай! Что мне вам сказать? Мой спутник, видимо, заметил, что я в трагическом положении. Он хотел мне помочь, насколько возможно, вытащить из трясины, в которую я по собственной воле залез. Он прилагал все усилия, стал подсказывать мне, перечислять все существующие на белом свете названия: «Гранд-отель», «Бельвью», «Терминус», «Метрополь», «Националь», «Интернационал», «Бристоль», «Париж», «Мадрид», «Санкт-Петербург», «Чикаго», «Сан-Ремо», «Лондон», «Гамбург», «Константинополь». Нет, нет и нет! Короче, мой попутчик, увидев, что названия городов меня не выручают, кинулся к названиям стран: быть может, «Франция», «Монтенегро», «Англетер», «Россия», «Австро-Венгрия», «Бельгия», «Голландия», «Бразилия», «Аргентина»? Какое там! Ничего похожего! Быть может, «Отель Пост», «Отель Рояль», «Отель Европа», «Отель Лувр», «Отель Дагмара», «Отель Империаль»? Короче, я видел, как мой собеседник спрятал свою записную книжку, прицепил золотой карандашик назад к часам, довольно добродушно распрощался со мной, благодарил, просил не утруждаться, — он как-нибудь

уж сам позаботится, чтобы его доставили в самый лучший отель...

А я? Разверзнись передо мной могила — я бы туда живьем полез! Такой срам! Такой скандал! Пощечин надавать бы себе! Порку, порку заслужил я!.. И я безжалостно честил себя: старый ты дурень! Ты же каждый день повторяешь перевранную молитву: «Да пребуду все дни свои во злодеях, нежели час единый во глупцах!» — «Лучше быть мне всю жизнь разбойником, только бы ни часу дурнем!» И ты напорол такой вздор? Кто просил тебя изображать из себя благодетеля? Кто тебя просил рекомендовать незнакомому человеку отель в Одессе? Откуда у тебя взялись отели? И как можно забыть такое, что знаешь, что видишь каждый день, что у тебя в мыслях любую минуту???

Короче, что мне вам рассказывать? Домой пришел я распаленный, ходил по комнатам, тер себе лоб, — быть может, я все-таки вспомню название отеля? Нет, нет никакого названия!

— Не знаешь ли ты, — говорю я моей жене, — как называется отель?

— Какой отель?

— Вот так-так! Поди скажи ей, какой отель! Я ведь спрашиваю тебя!

— Скажи же мне название, — отвечает она.

— Ну? Поговорите-ка с женщиной! Короче, придется самому потрудиться и сейчас же пройти туда, к отелю?

Но у человека, вернувшегося из поездки, обычно находятся тысячи занятий, письма, дела — со всем этим надо управиться. От того я еще больше раздражаюсь, волнуюсь, злюсь на себя и на весь белый свет, изливаю свое недовольство на тех, кто ни в чем не виноват. Таким образом, дела и завертели меня. Настала ночь, уже давно отужинали, пора ложиться спать, а меня все еще мучает название отеля. Слыхали вы такое? Что мне вам рассказывать? Один выход: завтра чуть свет, без всяких проволочек пойду к отелю! Но сон меня не берет! Скорей бы дождаться рассвета, одеться и первым делом подойти

к отелю и посмотреть вывеску, — как же он называется. Вдруг срываюсь с кровати и начинаю одеваться.

— Бог с тобой! — говорит мне жена. Она, бедняжка, перепугана насмерть. — Куда ты?

— Терпения больше нет! — отвечаю. — Я должен немедля пойти и посмотреть!

— Что посмотреть?

— Возьми фонарь, — говорю я жене. — Пойдем со мной!

— Куда?

— Не спрашивай, идем!

Что и говорить! Положение моей бедняжки жены излишне описывать. Вы сами должны понять состояние женщины, муж которой уезжает из дому, кажется, совершенно здоровый, а возвращается злой, ни с кем не разговаривает, шагает по дому, трет лоб, словно умом тронулся, и вдруг просыпается ночью, поднимается с кровати, велит зажечь фонарь и говорит: «Идем!»... Но чего только не сделает жена ради мужа? Он говорит «идем», она идет! Короче, что тут толковать, я иду, моя жена — за мной. Я шлепаю по лужам, моя жена шлепает следом! Бог помог, и мы пришли. Подходим к отелю, я поднимаю фонарь, гляжу на вывеску, — а ну, угадайте, какое название? Будь вы о семи головах — не угадаете! Отель назывался: «Одесса»!!!

КАК МЕНЯ ЗВАТЬ?

— Когда у нас в Одессе начались погромы, пожары, убийства, я сказал себе: провались оно сквозь землю, уберусь-ка я отсюда, уеду куда глаза глядят, черт возьми! И стал я готовиться в путь. Но легко сказать: уеду! Не так-то просто в бочке селедке вырваться из самой середки. Паспорт стал у меня костью в глотке!.. Не моя вина, что у меня рифмуются середки, селедки, глотки, плетки и околотки... Да, так на чем же я остановился? Пришлось начать хлопоты о паспорте, пришлось иметь дело с различными субъектами, да сотрется вовеки память о них, познакомиться с писарьками, холера их возьми сегодня же!..

— Этак вы скоро исчерпаете весь запас проклятий. Может, вернее перестать ругаться и толком рассказать свою историю?

Так обратился к нему Дедушка, и мой коллега, обладатель горячего темперамента, продолжал свой рассказ:

— Разве я кого-нибудь проклинаю? Черт его возьми! Я просто говорю — провались оно в преисподнюю! Словом, стал я добывать себе паспорт. А что у нас значит раздобыть паспорт — это, кажется, излишне рассказывать вам. Раздобыть паспорт означает: познакомиться со всякими мордами, со всякого рода паразитами, раздавать им деньги, как — про-

стите за сравнение — в канун Судного дня у входа в синагогу. Каждой морде — целковый! Короче, вполне достаточно морд насмотрелся я, прежде чем попал к его благомордию, к самому начальнику... Пройдя все семь кругов ада, вошел я к нему в кабинет и застал в самом разгаре работы: он скрипел пером. А это вы, конечно, знаете, — когда чиновник скрипит пером, не смей к нему соваться! Пусть погибает весь мир, но ты обязан стоять и ждать, пока не перестанет скрипеть. Только уж очень не любитель я стоять у двери, пока его благомордие когда-нибудь перестанет скрипеть. Набрался я духу и слегка кашлянул, — так сказать, послал эстафету: человек, мол, пришел...

Начальник, однако, не перестает скрипеть. Я осмелел и кашлянул погромче. Он поднимает голову, пялит на меня налитые кровью глаза, разевает пасть и рявкает:

— Что надо?

Я, конечно, вспыхиваю как спичка. Что это за «что надо»? И к чему на меня орать? Я, когда разозлюсь, забываю сразу, на каком я свете; у меня темнеет в глазах, начинает першить в горле, вот тут вот, говорю все, что попадет на язык, мне хочется изломать все, что вижу, разодрать в клочья, уничтожить дотла! Помню историю, я был тогда ребенком. Рос я сиротой, и слово «сирота» было мне ненавистней свинины, и еще не мог я терпеть, когда меня, бедняжку, мол, сироту, жалели. Жалость, когда ее проявляют публично, открыто, перед всем миром, отвратительна, тошнотворна, гадость! Короче, я был сиротой, и меня жалели, а больше других жалела меня наша соседка, ее звали Иешиихой. Надумала однажды эта Иешииха и, преисполненная жалости к сироте, купила ему, прошу вашего прощения, портки. Ладно, описывать вам великолепие, красоту, шик этих портков не приходится. Раз в сто лет попадаются такие портки. Не знаю, можно ли в наше время достать такие портки по три рубля за дюжину! Ладно, не это главное. Стоило бы вам посмотреть, как Иешииха созвала всех соседок и кумушек со всей улицы, развернула портки, показала всему миру — пусть все видят, что за портки Иешииха купила сироте. И весь мир любовался

портками, все их разглядывали, как сокровище, оценивали и завидовали не столько сироте, ставшему обладателем таких знаменитых портков, сколько Иешиихе, совершившей такое благодеяние... Я смотрел на все это издали, разъяренный, слезы стояли у меня не в глазах, а в горле, — вот тут вот. Иешииха полагала, вероятно, что я на седьмом небе от счастья, только стыжусь это показать, и обратилась ко мне голосом слаще меда:

— Подойди сюда, сирота, не стыдись, примерь-ка портки, что я тебе купила.

Больше не понадобилось. Я подбежал, схватил портки, впился в них раньше всего ногтями, потом зубами, остальное я доделал ногами. Короче, в несколько минут от портков остались только клочья, напоминавшие, что были некогда портки на белом свете и нет их более... Короче, на чем же я остановился? Да, на том, как «большой» начальник крикнул «что надо?» и как я разозлился и едва не пришел в ярость... но я одумался, — что же из этого получится? Еще останусь, чего доброго, без паспорта! И сдержался на этот раз. Подхожу к столу, без единого слова подаю ему бумаги. Начальник заглянул в бумаги и — ко мне: «Как тебя звать?» Я молчу. Видя, что я молчу, он повысил на несколько тонов голос: «Как тебя звать? Как твое имя?!» Мое имя!!! Слышите, клянусь жизнью, в эту минуту я, как нарочно, забыл, что, кроме моего псевдонима, у меня есть еще и собственное имя. Но как, скажите на милость, забыл?! Совершенно таки забыл! Начисто забыл! Все имена во всем мире я помнил; все имена моих родственников, друзей и знакомых стояли перед моими глазами, и только одно имя, мое собственное имя, ушло туда, куда уходит милая святая суббота, исчезло бесследно! Неслыханное дело! «Боже милостивый! Как мое имя? Как меня зовут? Ну???» Хоть убейте, забыл! Что тут делать? Начальник смотрит на меня, как на наглеца. «Вот-вот, — думаю я, — он разразится трехэтажным благословлением с разворотом, позвонит, и войдут два ангела-хранителя, зацапают меня

как бес зацапал меламеда, и со всеми почестями отведут прямо в холодную!» А я это ненавижу, эту штуку я уже отведал. Довольно! Больше не хочу.

Есть, однако, на свете великий бог, и он спас правого. Он подал мне мысль, чтобы я тверд был как камень. Эти людишки, если вести себя дерзко, да еще говорить с ними, повысив голос, тотчас обмякают, хоть вей из них веревки. Так и было. Сейчас вы услышите, какой разговор произошел между нами. Передаю его дословно.

Он. Как тебя звать?

Я. Кого? Меня?

Он. А то кого же? Меня?

Я. Точно так, как значится в этих бумагах.

Он. А как значится в этих бумагах?

Я. А читать ты умеешь?

Он. Кто? Я?

Я. А то кто же? Я?

Он *(громким голосом)*. Ка-а-ак! Ты смеешь со мной так разговаривать? Со мной? Да ты знаешь, с кем ты разговариваешь?

Я *(тоже громким голосом)*. А ты знаешь, с кем ты разговариваешь?

Услышав мой резкий тон, какого отродясь не слышал от еврея, начальник заглянул в бумаги и вслух прочел мое имя, — только это мне и нужно было!

Что было дальше — уже неинтересно. Я, благодарение всевышнему, благополучно выбрался оттуда и славлю бога каждый день, каждый час за то, что он вызволил меня из беды, не знать мне подобной отныне и вовеки!

— Аминь! — отозвались мы все трое, и Дедушка подмигнул мне: «Теперь, мол, твой черед рассказывать». И я приступил к моей «Истории с тремя городами».

ИСТОРИЯ С ТРЕМЯ ГОРОДАМИ

Почтеннейшие! Было это года за два до «конституции»*. Я тогда разъезжал по городам и местечкам, совершал благотворительное турне по Литве. Однажды, под хануку, получил я приглашения сразу из трех городов: из Могилева, Витебска и Смоленска, находящихся недалеко один от другого, — все они лежат на одной линии. Приглашения были от различных братий: от «чистых сионистов»*, «поалей-сионистов»* и «бундистов»*. Само собой разумеется, между всей этой братией царила такая же дружба, как между кошкой и мышкой. «Чистые сионисты» ничего дурного, упаси боже, про своих товарищей «поалей-сионистов» не говорили, а только писали, что «фальшивые сионисты», это им известно, собираются доставить меня в вышеупомянутые три города, чтоб использовать в интересах своей работы, которая ничего общего с сионизмом не имеет. «Поалей-сионисты» тоже не делали враждебных выпадов против своих коллег «чистых сионистов», а только сокрушались, что эти лжемессии ведут агитацию за дело, которое давно уже мертво... Зато «бундисты» со всем гневом обрушивались и на тех и на других, уверяя, что моим выступлениям на вечерах сионистов гарантирован провал... Короче, дела мои были безотрадны. Что тут делать? И я нашел решение, мудрое решение: пока —

«да объединятся», а потом — «да размежуются». То есть я им ответил: «Так, мол, и так, деточки, я приеду к вам только при условии, если все вы объединитесь хотя бы на эти три вечера...» После коротких переговоров мое предложение было принято. И полетели туда и обратно письма и телеграммы по поводу моего маршрута, — какой город должен первым удостоиться моего посещения. Этот пункт достался нам труднее, чем все остальные. План менялся каждый день. Вначале было решено, что раньше всего я еду в Могилев, из Могилева — в Витебск, из Витебска — в Смоленск, а из Смоленска, через Могилев, — домой. Потом решили, что лучше ехать сначала в Смоленск, оттуда — в Могилев, из Могилева — в Витебск и опять-таки через Могилев — домой. Потом и этот план был отменен. Сошлись на том, что я прежде всего еду в Витебск, из Витебска — в Могилев, из Могилева — в Смоленск, а из Смоленска назад, через Могилев, — домой. Поразмыслив еще, выработали новый план, — моего же блага ради, — прежде всего податься в Смоленск, из Смоленска через Могилев — в Витебск, из Витебска — назад, в Могилев, а из Могилева, сразу же после вечера, — прямо домой. Дни были установлены следующие: восемнадцатое, девятнадцатое, двадцатое. Итак, запомните и держите в голове этот расчет: восемнадцатого — Смоленск, девятнадцатого — Витебск, двадцатого — Могилев. Выехал я семнадцатого, на ночь глядя, и послал три телеграммы во все три города, что приеду к назначенному сроку. Всюду подготовили все, что нужно, — плакаты, билеты, программы и так далее. По дороге к поезду я снова и снова пережевывал и повторял мой маршрут, но так как мне забили голову планами, каждый раз — новыми, я, вполне естественно, все перепутал, и мне показалось, что восемнадцатого я должен быть в Витебске, девятнадцатого — в Смоленске, а двадцатого — в Могилеве. На этом я и утвердился. Беру билет и совершенно спокойно еду в Витебск. Приезжаю в Витебск, выхожу на вокзал, брожу там полчаса, час, два часа в надежде увидеть кого-нибудь из встречающих. Ай да

шатия-братия! Где же ваш порядок? Никто не явился меня встретить.

Я нанял экипаж и поехал в самый большой отель. Снял номер, умылся, не спеша, спокойно переоделся и думаю: «Раз вы оказались такими грубиянами, то черт с вами, ищите меня во всех отелях. Не страшно, Шолом-Алейхем не иголка в сене, будете искать его до тех пор, пока не найдете...» Спустился я вниз в ресторан пообедать, гляжу — два больших плаката:

«Гость в нашем городе! Гость!!!

Шолом-Алейхем — величайший еврейский юморист!

Девятнадцатого...»

— Девятнадцатого? Как так девятнадцатого? — И я подзываю кельнера, детину с красными руками, черной физиономией и белой салфеткой под мышкой грязного фрака.

— Скажи-ка мне, любезный, что у нас сегодня?

Детина высморкал черный нос в белую салфетку и с полной готовностью ответил:

— Сегодня? Сегодня у нас свекольный борщ с капустой, очень хороший борщ, зразы с кашей и утка, если хотите...

— Нет, — говорю, — я не про то. Я спрашиваю, какой день у нас сегодня?

Детина несколько призадумался:

— Что за день у нас сегодня? Вторник, восемнадцатое.

— Как же, — говорю, — называется этот город?

— Какой город?

— Этот самый город, — говорю я, — ваш город?

Он ошалело смотрит на меня и говорит:

— То есть, что значит, как называется этот город? Этот город называется... Витебск называется этот город!

— Врешь! — говорю я ему. — Это тебе приснилось, любезнейший. Ваш город называется Смоленск, а не Витебск!

— Хи-хи-хи!.. Хи-хи-хи!..

Величайший еврейский юморист, видимо, показался кельнеру величайшим идиотом в мире, потому

что он, этот субъект, отвернулся в сторону, уткнул свою черную образину в белую салфетку, чтоб я не заметил, как его душит смех. Я же снова обращаюсь к плакатам и читаю. Крупными буквами выведено:

«Шолом-Алейхем в Витебске!..»

В Витебске? Господи боже! Откуда я взялся в Витебске, когда сегодня я совсем в Смоленске? Короче, я не могу найти себе места. Что мне борщ? Зачем мне утка? Надо уезжать отсюда, бежать в Смоленск. Но, чтобы точно установить, на каком я свете, самое верное — сначала протелеграфировать домой, жене, — пусть она мне телеграммой даст знать, где я должен провести первый вечер?.. Во всех делах, касающихся времени и маршрута, моя жена — профессор. И, чтобы не терять зря времени, безотлагательно посылаю ей телеграмму в несколько коротких слов:

«Телеграфируй востребования, где я сегодня?»

Отослав телеграмму, я немного успокоился и вернулся в ресторан, назад к свекольному борщу со зразами и уткой, потом прилег вздремнуть и, как полагается, уснул. И во сне путаются у меня перед глазами красные женщины и черные кошки... Это у меня примета: раз мне снятся красные женщины или черные кошки, значит, дело мое плохо. Так и было. Просыпаюсь — горе мне! — поздно! Надо бежать, как можно скорее, может, успею еще попасть в Смоленск! Прибегаю, сажусь в поезд и уезжаю в Смоленск. Уже в вагоне начинаю расспрашивать кондуктора, когда мы прибудем в Смоленск? Он останавливается, глядит на носки своих сапог и сообщает, что в Смоленске я буду завтра в шесть часов утра. Я, конечно, взрываюсь:

— Как это — завтра в шесть часов утра? Я должен там быть сегодня не позднее семи вчера!..

Кондуктор довольно спокойно выслушивает меня и с часами в руках объясняет, что отсюда в Смоленск даже курьерский идет не меньше двенадцати часов с минутами, а теперь у нас четыре часа с минутами, как же мы можем сегодня попасть в Смоленск?..

Выходит, что он прав, но мне-то что от того? Проворонил Смоленск! Что теперь делать? Возвращаться в Витебск? Черт бы его взял! Знать бы хоть, как у меня обстоит дело с Могилевом? Но уж этого никто не знает так досконально, как моя жена. И тут я вспоминаю, что просил жену телеграфировать мне в Витебск, а сам я нахожусь на пути в Смоленск... Как же свяжутся концы с концами? Но человек с соображением всегда найдет выход, не так ли? Посылаю еще одну телеграмму жене и отправляю через кондуктора с какой-то станции:

«Телеграфируй Смоленск, когда я Могилеве».

А теперь давайте пустимся в дебри филологии — науки о языке. Давайте разберем обе мои телеграммы. Получается, что, во-первых, я спрашиваю у моей жены, где я («Телеграфируй, где я сегодня»), и, во-вторых, наказываю телеграфировать в Смоленск, тогда как сам я в Могилеве («Телеграфируй Смоленск, когда я Могилеве?»). Когда вы, к примеру, получаете две таких телеграммы от одного и того же лица, у вас не остается сомнений, что тот спятил. К тому же вам не следует забывать, что и Смоленск не хлопал ушами и тоже не промолчал. Как полагается, восемнадцатого меня ждали на вокзале с часу дня до двенадцати ночи. И разразился невероятный скандал! Публика разносила зал. На сионистов кричали, что они затеяли аферу, выдумали какого-то Шолом-Алейхема, чтобы выманить у публики денежки. Что тут говорить, пришлось открыть кассы и вернуть публике деньги. После полуночи, с болью в сердце, сионисты и бундисты в складчину послали ко мне домой телеграмму:

«Что с Шолом-Алейхемом?»

А теперь покинем принца и обратимся к принцессе. Моя жена, дай ей бог здоровья, получив все эти три веселенькие телеграммы, не стала долго канителиться, уселась в поезд и укатила прямо в Могилев.

Вам, конечно, покажется диким — почему вдруг в Могилев? Но если вы меня выслушаете до конца, сами скажете, что она умница. Во-первых, она знает

меня уже не первый год. И она знает, что, если я телеграфирую ей из Витебска, чтобы она мне телеграфировала в Смоленск, это верный знак, что я в Могилеве. Она помнит, понимаете ли, одну интересную историю. Однажды был я в Варшаве и на пасху ехал домой в Киев. Вдруг, в первый день пасхи, прибывает от меня телеграмма, что я провожу праздник в Голендре, неподалеку от Вапнярки. Как я попал в Вапнярку, когда Вапнярка лежит на пути между Жмеринкой и Одессой? Шуточка — скачок! Но не задавайте вопросов. Я это сделал не со зла, упаси боже! Я сделал это из лучших побуждений. Чтобы попасть домой как можно раньше, я перескакивал из одного скорого поезда в другой до тех пор, пока не оказался на одесской линии и застрял на какой-то станции Голендра. Но это к лучшему, будем благодарить бога, что я не заехал в Ригу. Таковы плоды поспешности. Не зря говорят в народе: поспешишь — людей насмешишь... Это вам номер первый.

Во-вторых, моя жена исходила из того соображения, что несчастье, судя по моим телеграммам, должно было со мной случиться не в Витебске и не в Смоленске, а где-то между этими обоими городами. Поэтому она не могла выбрать лучшего среднего пункта, чем город Могилев. Для нее не оставалось никаких сомнений, что тут по меньшей мере имело место столкновение двух поездов, — одного, шедшего из Смоленска в Витебск, с другим, шедшим из Витебска в Смоленск. От этого столкновения, считала она, все вагоны разлетелись в щепки; убитых наповал не меньше двухсот; сотни тяжелораненых, среди них — множество сошедших с ума, и среди последних, конечно, я!

Вообще, надо вам знать, у моей жены такой характер: стоит мне отлучиться из дому, и я начинаю представляться ей жертвой самых страшных происшествий, какие только могут приключиться на белом свете. Какая ни есть напасть: железнодорожная катастрофа, обвал моста, удар молнии, землетрясение, пожар, неожиданная эпидемия, нападение вооруженных разбойников, укус змеи, который случается раз

в пятьсот лет, — все это, по ее мнению, подстерегает меня и ждет только минуты, когда мне понадобится куда-нибудь ехать. А когда я возвращаюсь домой цел и невредим, она не верит своим глазам, глядит на меня, как на счастливца, чудом вырвавшегося из лап смерти, и благословляет судьбу.

Увидев меня на сей раз живым и невредимым, она расплакалась, как дитя. Спрашиваю ее: «Что ты плачешь, глупенькая?» Она отвечает: «Он еще смеет спрашивать, почему я плачу! Это ему — второе «Ровно»!..»

Интересуетесь, что это за «Ровно»? Это тоже одно из моих испытаний. Если вы горите желанием слушать, я охотно расскажу вам, что случилось со мной в Ровно. Это было несколько лет назад. Я пропадал в Петербурге в связи с изданием еврейской газеты и собирался ехать домой через Вильно. С женой я условился, что в такой и такой-то день выезжаю из Петербурга и, если будет нужно, остановлюсь на день-два в Вильно, а уж оттуда — домой. Если же остановиться в Вильно не будет надобности, поеду домой прямо из Петербурга. Так и было. Случилось, что в Вильно мне остановиться не пришлось, и я ехал без задержек. Зная, что жена оценит это по достоинству, я ночью с пути послал ей телеграмму. Спросонья я выразился не совсем точно, вместо «еду прямо», написал: «Еду ровно...» И так как давно уже не видел детей, я прибавил еще два слова: «Встречай детьми». Коротко ли, долго ли, приезжаю в город ночью, бегаю как сумасшедший по вокзалу — где жена, где дети? Ни души! Подъезжаю к дому — темно, как на кладбище! Звоню, звоню, обрываю звонок, колочу в дверь — еле достучался Потягиваясь, словно заспанная кошка, в дверях показалась кухарка, чернявая литвачка.

Я — к ней:

— Где хозяйка? Где дети?

— Где хозяйка? — отвечает она и проводит рукой по носу. — Хозяйки нету!

— Как так нету?

— Они ведь уехали!

— Что значит, «уехали»? Куда они уехали?

— Почем я знаю куда? В Ровно.

— Почему вдруг в Ровно?

— А почему вы меня спрашиваете? Вы же сами вызывали их в Ровно!

— Я вызывал их в Ровно? Я?

— А то кто же? Я? — говорит кухарка, и кажется, она смеется.

Вы понимаете? Я обливаюсь кровью, а она смеется! Клянусь вам честью, — слышите? — стыд и срам признаться, никому другому не рассказал бы об этом, — накажи меня бог, если я в жизни хоть раз тронул человека пальцем!.. Но эта заспанная баба с ее идиотским смехом так вывела меня из себя, что я забыл, на каком свете нахожусь... Чем, думаете, кончилось? Дело дошло до суда... Слово «ровно» влетело мне в копеечку, к тому же пришлось просить прощения у этой женщины...

Короче, услышав добрую весть, что жена моя с детьми в Ровно, я, сами понимаете, — одна нога здесь, другая там, — лечу в Ровно. Приезжаю в Ровно. Какое там? Нет никого? Начинаю допытываться — не было ли где-нибудь тут такой-то женщины с несколькими детьми? Мне говорят: была и уехала. Надо, стало быть, возвращаться домой! Приезжаю домой, застаю там доктора. Что стряслось? Моя жена заболела от переживаний...

— Ну, я тебя спрашиваю, — обращаюсь я к ней после того, как мы оба немного успокоились, — почему ты с детьми полетела в Ровно? С чего это тебе, собственно, взбрело в голову?

— И ты еще спрашиваешь? — отвечает она. — Когда я получила твою телеграмму, чтобы мне с детьми выехать в Ровно, я чуть с ума не сошла. Какие только мысли не мелькали у меня в голове! Я иначе и не думала, что ты, не дай бог, заболел в пути, где-то неподалеку от Ровно, либо тифом, либо черной оспой...

— Откуда еще взялась черная оспа? — сдержанно спрашиваю я.

— Я как раз в тот день читала, — говорит она, — в газете, что где-то в Индии вспыхнула черная оспа.

Тут я больше не мог сдержаться и подпрыгнул на стуле.

— Я не понимаю! Где Индия и где Петербург?!

Смотрит она на меня, как мать на ребенка, и говорит:

— С тобой все может статься!

. . . .

Ну, не правда ли, цены нет такой жене?!

ПРОИСХОЖДЕНИЕ «КЛЯЧИ»*

Солнце палило, припекало вовсю, накалило камни в горах так, что от них шел нестерпимый жар, с нас сошло семь потов, и мы вынуждены были скинуть пиджаки. Отирая обильный пот, мы поднимались в гору уже не так стремительно, потому что дали себя почувствовать ноги. А это плохая примета: части человеческого тела любят, чтобы их не ощущали. Нехорошо, когда вы чувствуете их, — это я еще в хедере слышал от моего ребе, вызывавшего тем не менее чувствительность в таких частях моего тела, которые без него никогда о себе не напоминали... Короче говоря, ноги дали себя знать, и мы начали переглядываться, спрашивать друг друга:

— Что случилось? Вы уже отстаете?

— Кто? Я? Боже упаси!

— Что же вы так тащитесь?

— Это вам кажется...

— Вы что-то стали, чудится мне, припадать на ногу?

— Кто? Я?

— Вам, видно, трудновато подниматься в гору?

— Ничуть не бывало!

— Что же вы так сопите?

— Ошибаетесь! Отродясь не сопел, у меня и привычки такой нет!

— Ну, а вы, как вы себя чувствуете?

— Недурно! Только ноги отказываются повиноваться.

— И у меня то же самое.

— А у меня не так ноги, как ступни!

— Ступни — вздор! Главное — икры!..

И младенец поймет, что после такого разговора мы, четыре еврейских писателя, из коих один поэт, уселись на зеленую травку и буквально ожили. Дедушке, реб Менделе, уступили самое почетное место, а мы трое расселись вокруг него, как внуки или как ученики вокруг старого учителя, готовые слушать его поучения, слушать, как он трактует библейские изречения, рассказывает о вещах, имеющих отношение к тому, что касается всех нас, — к еврейской литературе, причем каждый раз вплетает постороннюю историю, которую называет «предисловием». Предисловие в начале, предисловие в середине, предисловие в конце.

— Когда я забеременел «Клячей», — начал рассказ дедушка...

Но тотчас же его, как обычно, перебили. Его засыпали вопросами.

— Дедушка! Откуда у вас взялась «Кляча»?

— Дедушка! Какое произведение впервые было написано вами по-еврейски? Что привело вас к решению писать по-еврейски?

— Дедушка! Почему вы избрали себе псевдоним «Менделе Мойхер-Сфорим»?

Спокойно, с полузакрытыми глазами и улыбкой на губах, выслушал Дедушка все наши вопросы и, громко засмеявшись, ответил:

— Ну? Все? Больше ни у кого из вас вопросов нет? Если есть еще вопросы, давайте их сюда, пожалуйста, не стесняйтесь, дружно сыпьте в груду — это дело обычное... Забросав меня со всех сторон вопросами, вы напомнили мне сцену: мать приносит с базара корзину со всякой всячиной — тут и яблоки, и груши, и бублики, булочки, яйца, картофель, морковь, сливы, петрушка, и с упругим гребнем красный петух сам-друг выходит в круг. И вот ее окружают

со всех сторон дети: «Мама, мне яблоко! Мама, мне грушу! Мама, а можно мне съесть сырую морковку? Мама, а зачем нужна петрушка? Мама! Сколько стоит этот петух?» — «Деточки, — умоляет мать, — дайте мне перевести дух, и я вам всем отвечу!»

Так успокоил нас Дедушка, и каждому дал обстоятельный ответ на его вопрос, никого, упаси бог, не обошел. Оказалось, что писать по-еврейски, то есть говорить с народом на его языке, Дедушку тянуло уже давно, задолго до того, как он посвятил себя еврейской литературе. А так как сорок лет назад писать по-еврейски считалось делом зазорным, тем более для него, молодого человека, «просветителя», о котором умные люди говорили — это, мол, растет второй Хаим-Зелик Слонимский *, — первое свое произведение, «Маленький человечек», он тщательно скрывал и, чтобы никто не дознался об авторе, подписался именем некоего Сендерла-книгоноши (Мойхер-Сфорим) — подлинное имя человека, таскавшегося в ту пору со своей лошадкой и тележкой по окрестностям Бердичева, то есть знаменитого Глупска. Образ «маленького человечка» — богача Ицхок-Авремла — тоже написан с живого человека, который в те годы, пощелкивая большим кнутом, управлял еврейской паствой в Глупске... Написал он «Маленького человечка» в течение трех дней, не более; полный страха и трепета, автор отослал свою рукопись в «Койл мевасер» к Александру Цедербауму *. Увидев на титуле «Сендерл Мойхер-Сфорим», Цедербаум всполошился — не метят ли в него самого (Александр — Сендер — Сендерл)? Он недолго раздумывал — еврейский редактор никогда не разводил особых церемоний с еврейским писателем, в те времена тем более — и переделал имя Сендерл на Менделе. Так возник и вышел в свет «Менделе Мойхер-Сфорим», который не переставал разъезжать со своей тележкой, полной печатного товара, по царству Глупскому, а оттуда перекочевал в Кабцанск и Тунеядовку...

Вот те три столицы, которые фигурируют во всех творениях Менделе Мойхер-Сфорима и самими названиями метко выражают всю сущность тогдашнего

еврейского гетто. Вот те три черты, которыми отмечено было прежнее еврейство в России: Глупск — невежество, Кабцанск — нищета, Тунеядовка — бедняки без ремесла, без работы, без занятий, лишние существа на свете.

— В ту эпоху это были три главных элемента еврейского народа, с которыми мне суждено было иметь дело во всей черте оседлости, — вздохнул Дедушка и горько улыбнулся. — Но вы, кажется, спрашивали о происхождении «Клячи»? Придется уважить вас, дети, и рассказать. Дело было так. Однажды летом сижу я в Глупске в заезжем доме и, задумавшись, гляжу на улицу в открытое окно; вижу — подоткнув полы рваного кафтана, измученный, обливающийся потом еврей хлещет кнутом бедную, измочаленную, взмокшую, всю искусанную клячу, запряженную в телегу, полную кирпича, и осыпает страшными проклятиями и клячу, и себя, и весь белый свет:

— Сгореть бы шкуре твоей, кляча проклятая!

А кляча, повернув к нему изможденную горестную морду, глядит на него, как грешный человек, и чудится мне, будто слышу, как она ему говорит:

— Глупец! Он называет меня клячей! Сам ты кляча! Взгляни туда, на площадь, куда я тащу кирпичи, и увидишь, что все вы клячи, истомленные, изнуренные клячи, горе, горе вам!

Так, чудилось мне, говорила кляча. И я обратил глаза к площади, на которую указала мордой кляча, и увидел знакомое обличье расторопного живоглота, ухитрившегося махинациями да плутнями стать обладателем собственного каменного дома в Глупске, затем еще одного такого же дома, и все это за счет праведных грошей еврейской бедноты, праведного пота и крови евреев... Удачливый ловкач, так сказать, достойный человек, стоял он, заложив руки за спину; шапка сдвинута на затылок, лоб, за которым прятались большие планы, покрыт потом, а вокруг него, как рабы, униженно суетились бедные людишки, заглядывали ему в глаза, как преданные собаки, радовались каждой его улыбке и тряслись, как в лихорадке, от одного его свирепого взгляда... И пришли

мне на ум слова из «Песни песней»: *«Кобылице в колеснице фараоновой уподобил я тебя, возлюбленная моя»*. Кляче в повозке фараона приравниваю я тебя, еврейская паства! Так и произошло во мне зачатие «Клячи»...

Три дня метался я по Глупску сам не свой. Не слышал, что люди говорят мне, на «здравствуйте» отвечал «кляча», потому что все лица казались мне теперь клячеобразными. И так вот «клячило» меня до тех пор, пока не вернулся я домой, в Тунеядовку, заперся у себя в комнате на шестнадцать дней и написал все шестнадцать глав «Клячи»...

И тогда возник вопрос: что делать с «Клячей»? Для нас еще не была открыта Колумбова Америка, еще не было тех добросердых людей, которые тридцать лет спустя пожалели меня, бедного Менделе Мойхер-Сфорима, и издали там, в Америке, не испросив на то согласия и не дав мне знать, — мол, сим ставим вас в известность, реб Менделе, что вас облагодетельствовали, вас обокрали!..

Тут Дедушка замолчал и задумался. Мы, внуки, имели все основания полагать, что теперь самое время метать громы и молнии, обрушить огненный шквал на головы этих ловких плутов в Америке, которые и в самом деле совершили неслыханное преступление против единственного еврейского классика, против величайшего еврейского поэта, мыслителя и художника. Они издали все его произведения и продавали не только в своей Америке, но и приволокли их сюда, в Европу, и тем самым нанесли ему жестокий удар, создав конкуренцию его товару при помощи его же собственного товара — и подите тащите их на суд праведный!..

Естественно, что мой коллега — тот самый, с горячим темпераментом, — выступил с пламенным протестом против американских пиратов и морских разбойников, смешал их (за глаза) с грязью и удивлялся, почему никто не поднял свой голос.

— Почему вы смолчали, Дедушка? — взывал мой коллега. — На вашем месте я сделал бы из них вот это вот!

И мой темпераментный коллега показал в воздухе обеими руками, что он сделал бы из них; но что именно — понять было трудно, потому что показать руками человек может все, что угодно, бог знает что!..

Дедушка ответил ему на это с улыбкой:

— Я вот что вам скажу. Быть только ограбленным — это еще куда ни шло, это можно стерпеть, что поделаешь? Никто не огражден от несчастья. Но быть вдобавок к тому же еще и глупцом — это для меня уж слишком. Протестовать, мстить — глупо; это должны делать другие, не я. То, что я сам должен сделать, будет, вероятно, сделано... Менделе Мойхер-Сфорим, хвала всевышнему, еще не умер! Ладно... Короче говоря, все это глупости. Вы ведь хотите знать, как «Кляча» вышла в свет? Вот и следует рассказать вам, что было дальше.

И Дедушка поведал нам, как в тесном кругу близких друзей он впервые читал «Клячу», как друзья вначале смеялись над ним, и высмеяли даже название произведения.

— Далась же ему лошадь, кляча!

И как они потом стали серьезны... Как один из них (Йойсеф-Бецалел Гаркави) после чтения «Клячи» забрал у автора тетрадь, молча положил в боковой карман, увез в Петербург и через некоторое время прислал сочинителю готовую, напечатанную «Клячу». Как потом цензор горько поплатился за то, что пропустил такой крамольный товар. И еще много интересных историй рассказал нам Дедушка, пока мы, его внуки, сидели на травке, а наши измученные ноги наслаждались отдыхом!

НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ

И опять нас было четверо, те же четыре еврейских писателя и самый молодой среди них — поэт. Дедушка, как всегда, был душой нашего общества и сидел в середине, а мы, внуки, расположились вокруг него. Была летняя ночь, восхитительная, ароматная теплая ночь. Не хотелось возвращаться в дом — трудно было расстаться с такой ночью! Разговор шел о сверхъестественном, непостижимом в природе и о декадансе в литературе. Дедушка смотрел своими небольшими, но острыми, близоруко сощуренными глазами куда-то в полумглистую даль. Потом речь зашла об описаниях природы. Дедушка сказал, что описывать природу, значит профанировать ее, и начал своим незатейливым, но сочным еврейским языком рисовать картину ночи не то восторженным, не то ироническим тоном, так, что трудно было понять, говорит он серьезно или шутит...

Вот как Дедушка изображал летнюю ночь:

— Тихо подкрадывается ночь. Поодиночке, точно свечи, угасают красные лучи заходящего солнца. Пробегает легкий ветерок и поверяет вам тайну: «День миновал... День умирает...» Деревья насупили брови, они хотят спать. Повсюду печаль, уныние вокруг, как в субботний вечер перед последней трапезой, когда все грустит, все тоскует, и дух праздничной благодати

порывается куда-то, трепещет, ему трудна разлука... Но — тише! Вот и она, колдунья-ночь, шествует, простирая над нами свои черные крылья. Вот-вот усядется она в своем темном шатре, и его озарят мерцающие звезды. Вот-вот она скажет нам: доброй ночи! Тихо прошепчет последнюю молитву на сон грядущий и уснет, и будут ей сниться разные причудливо переплетенные, запутанные всесветные сны...

Дедушка умолкает. Мы сидим как зачарованные. Нам хочется в эту роскошную летнюю ночь слушать еще и еще, отдаться очарованию его великолепных ночных картин. Он понимает наше желание.

Вдруг Дедушка прерывает свое молчание:

— Ну, ладно, короче говоря, природа! Все наши описания — сплошная ложь! Перед лицом самой природы все наши изображения, картины имеют такой же вид и дают нам о ней такое же представление, как те знаменитые иллюстрации к хагоде, что печатаются в Вильно или в Бердичеве, дают представление об исходе евреев из Египта... Если хотите, дети, я лучше расскажу вам подлинную историю, страшную историю, которая однажды приключилась со мною в Бессарабии. История эта содержит в себе нечто мистическое, непостижимое и очень гармонирует с такой вот прекрасной ночью, полной волшебства, мистицизма и декаданса... Если хотите слушать, сидите тихо, спокойно, а главное — не перебивайте, по своему обыкновению, и не задавайте вопросов. Могу вас заверить, со временем все само собою разъяснится.

И мы, все три внука, придвинулись к Дедушке поближе, а он махнул рукой, как бы отгоняя от себя кого-то, и начал спокойно и медленно рассказывать свою страшную историю:

— Бессарабия, знаете, это край, где не водятся, упаси боже, ни колдуны, ни духи, ни прославленные на весь мир воры, разбойники или грабители. Бессарабия это — край кукурузы, вина и мамалыги, так что само название это еще не дает особого основания ожидать, что со мной случится там какая-нибудь необыкновенная, сверхъестественная история. И тем не менее я обязан вас предупредить, что, слушая меня,

вы будете цепенеть, замирать и трепетать от страха. Трезвым рассудком вы не сможете понять суть происходящего, я даже побаиваюсь, что не захотите поверить, то есть не станете, боже сохрани, думать, что я выдаю вам вымысел за подлинное происшествие, — помилуй бог! Вы не позволите себе такой грубости! Но про себя будете думать: мало ли что могло стрястись со стариком, ему могло и примерещиться...

Итак, слушайте внимательно. Представьте себе город в Бессарабии лет тридцать с лишним назад (но только не Кишинев, от Кишинева меня уже воротит!). Итак, город в Бессарабии, и в центре города — заезжий дом. Разумеется, мне незачем рассказывать вам, что такое заезжий дом и как он выглядит. Этот дом был построен специально для господ, а раз для господ, можете не сомневаться, он обладал всеми возможными удобствами, потому что господин — это не еврей. Еврей это еврей, господин это господин! Но не в этом суть...

Сам по себе дом — обыкновенное здание, не высокое, не низкое, под красной черепичной крышей. Высокие и широкие ворота рассчитаны на то, чтобы экипажи въезжали прямо во двор, где с обеих сторон, справа и слева, протянулись двери комнат. Комнаты — чистые, просторные, глядящие окнами на улицу. Приличная мебель: круглый стол посреди комнаты, красивая полированная деревянная кровать, свежеубранная и затянутая занавесью, такой же платяной шкаф, умывальник, мягкий диван с зеркалом в спинке и пара стульев. На стенах — картины, обычные картины: портрет Мойше Монтефиоре с его пышным жабо и, — да простится мне, что рядом помянул, — Наполеон Бонапарт со своей треуголкой и рукой, заложенной за борт жилета, и, пожалуй, слишком уж свирепым видом, являющим резкий контраст с Монтефиоре, у которого, наоборот, излишне слащавый вид. Примечательно! Два различных героя двух разных эпох изображены двумя художниками, а в обоих портретах один и тот же недостаток: не соблюдена мера... Но не в этом суть. Самым прекрасным и самым лучшим украшением комнаты

была печь,— простая печь, без затейливых завитушек, обыкновенная, желтая с синими разводами, приятная, а главное — теплая печь, надежная, как мать. Отсюда следует, что история, которую я собираюсь вам рассказать, произошла зимой,— это очень существенная для дела подробность.

Точно так же, как лето имеет свое обаяние и красоту, которые милы нам и дороги, и зима имеет свою прелесть и очарование, когда на дворе стоит изрядный холод, дует ветер, жгучий мороз прокрадывается сквозь закрытые ставни и рисует веселые узоры на окнах, а вы сидите с друзьями в жарко натопленной и ярко освещенной комнате у накрытого стола; и горячий самовар кипит, исходит паром и долго, тонко и тягуче поет. Говорите, что хотите,— все хорошо в свое время. Нехорошо только, когда среди зимы вдруг становится по-летнему дождливо или среди лета нагрянет холод, напомнив о зиме... Но не в этом суть.

Сидел я у самовара и пил чай один-одинешенек, вот мне и захотелось, чтоб кто-нибудь вошел, хоть слово сказал, как это бывает иногда, когда стоскуешься о человеке. Кстати, такова особенность людей: они надоедают, но когда их не видишь, тоскуешь по ним. И бог помог: открылась дверь и показалось обросшее существо, с волосатыми руками, одно из тех, какие могут водиться только в стране кукурузы, вина и мамалыги. Давать его портрет я считаю необязательным, но в двух словах сказать не помешает: он был, как говорится, поперек себя шире, да так зарос жиром, что едва переводил дыхание. Человек оказался хозяином, владельцем заезжего дома. Зашел он ко мне, чтобы, как принято, приветствовать гостя, почтить вниманием, спросить, откуда и куда тот едет, заглянуть, пронюхать, так сказать «прощупать», а вдруг гостю что-нибудь нужно, и тогда он окажет ему услугу. Ну, и так далее. Долго уговаривать его присесть не понадобилось; выпить со мной стакан чаю я тоже легко убедил его. И пошел у нас разговор, но вряд ли он будет вам интересен. Разговор этот вертелся все больше вокруг разных мировых событий,

городских дел, торговли, семейных обстоятельств, а отчасти и просто так, — лишь бы говорить, не молчать. Мой хозяин, как я вам уже говорил, был несколько тяжелый человек, пожалуй чересчур обросший жиром, оттого ему и трудно было начать говорить... Каждый раз перед тем, как что-нибудь сказать, он некоторое время сопел и отдувался, как кузнечный мех, но едва кончал сопеть и выдувал все содержимое меха, его речь шла как по маслу. Он дал мне полный отчет о Бессарабии, ознакомил со всеми помещиками, — и с теми, у которых много земли и мало собак, и с теми, у кого мало земли и много собак. Рассказал он мне также много интересных историй о конях; о «честных» конях и о «вороватых» конях, о конокрадах и о ворах, таскающих все, что попадает под руки, и о разбойниках, которые приходят в эти места из Румынии, преимущественно цыгане, и вытворяют иногда такое, что волосы дыбом встают! Я слушал и присматривался к этому обросшему существу с волосатыми руками, — уж не находится ли он в дальнем родстве с теми разбойниками из Румынии. Но тут же убедился, что напрасно заподозрил его. Из дальнейшего разговора выяснилось, что он просто невежда, неуч, а, кроме того, вдобавок еще и основательная скотина! Покончив с разбойниками, он перешел к колдунам, духам, бесам и чертям, мертвецам, вампирам и гномам, которых «своими глазами видел», и — вот вам доказательство: они с рогами. Кто с рогами, — я забыл спросить, у меня уже слипались глаза... Бог знает, сколько этот умник просидел бы над моей душой, если б я не начал подремывать. Материалу для болтовни у него было, видимо, сколько угодно, потому что, прощаясь, он пообещал зайти завтра в это же время и еще многое, многое порассказать. Перед уходом он вместе со мной осмотрел окна, проверил, хорошо ли прикрыты ставни, заглянул в печь, не слишком ли рано закрыли вьюшкой трубу, показал, как надо запереть дверь, пожелал мне доброй ночи, выдул свой кузнечный мех и ушел.

Как только он вышел, я замкнул дверь и потянул:

не открывается ли? Нет, не открывается. После этого я осмотрел все окна, заглянул, просто так, мимоходом, под кровать, стал раздеваться, положил на стол часы и спички, лег в кровать, накрылся чистым теплым байковым одеялом, погасил огонь и...

Тут Дедушка вдруг остановился и замолчал. Ночь и вправду была полна волшебства. Высь глядела на нас своими звездами, которые перемигивались, мерцали, моргали, совсем как человек. Они подмигивали нам, они обращались к нам, они нам говорили: «Если бы вы знали, что у нас тут в небе творится?!» — «А ну, пожалуйста, скажите, нам, звездочки, скажите, что у вас там в небе творится?» Но звездочки не говорят, что у них там в небе творится. Они мигают, искрятся, моргают. А мы глядим, вглядываемся в глубь неба и не знаем, что там происходит.

Мы все, по-видимому, разглядывая звезды, углубились в свои мысли, и не сразу заметили, что Дедушка почему-то очень долго молчит. И мы все трое обратились к нему:

— Ну?

— Что ну?

— Почему вы замолчали?

— Я хотел испытать, внимательно ли вы слушаете.

— Как так внимательно ли слушаем? Конечно, слушаем во все уши.

— Скажите же, деточки, на чем я остановился?

— Вы остановились на теплом байковом одеяле. Вы укрылись, погасили огонь и...

— Вот такими я вас люблю. Раз вы слушаете со вниманием, я могу продолжать рассказ. Итак, я чудесно укрылся и — спокойной ночи!.. Не скажу вам точно, — то ли я уже уснул, то ли вот-вот должен был уснуть, то ли успел уже поспать некоторое время, — знаю только, что глаза у меня были закрыты, когда я услышал вдруг шаги, тихие-тихие шаги. Идут!.. Напрягаю слух — да, идут!.. «Пустое! Мне это наверное чудится!.. Это плоды россказней хозяина... Так думаю я про себя, хочу накрыться одеялом с головой и — снова слышу довольно явственные шаги! Пускаюсь

в догадки: быть может, это ходят в соседней комнате, по ту сторону стены? Быть может, это — наверху, над моей головой? Нет! Я слышу шаги вот тут, у себя в комнате, недалеко от моей кровати! Я собрал воедино все свои мысли, вспоминаю — как будто хорошо замкнул дверь, осмотрел все окна, заглянул и под кровать... Кто же это может быть и откуда он здесь взялся?.. А вокруг темно, хоть глаз выколи! Что делать? Спичку чиркнуть? Вы, конечно, правы. Это — верная мысль. Только вот вопрос, как взять спички, когда они за версту, где-то на столе? Ну? Что станете делать? Молчите, не так ли? В том, что кто-то находится в комнате, у меня уже сомнений не было. Неизвестно только, откуда он взялся? Как он вошел? Думать надо — либо через дверь, либо через окно? Если через дверь, то это сам хозяин с запасным ключом; если через окно, — это просто вор. Большой разницы тут, правда, нет, но человек, наделенный умом, любит каждую вещь продумать, чтобы знать, на каком он свете, чтобы не блуждать в темноте даже тогда, когда он лежит в темноте... Я представил себе, понимаете ли, все, как в библии сказано: «У мудреца глаза его в голове его». Я воскресил в памяти комнату, стол, кровать. Как я улегся? Головой к окну, ногами к двери. Следовательно, будь открыта дверь, кто прежде всего почувствует это? Ноги. Высовываю осторожно ногу из-под одеяла, — сейчас почувствую наверное легкий ветерок? Какое там! Дверь заперта — готов поклясться! Значит, надо взяться за окно. Как же это сделать? Высовываю осторожно из-под одеяла руку, — ни малейшего ветерка, прохлады. Двери и окна заперты, а шаги становятся все явственнее и ближе. Могу поручиться, что уже слышу возле себя чье-то дыхание! Разумеется, каждая минута, каждая секунда кажется годом.

У меня выступает холодный пот! Сердце стучит, стучит, точно часы. Что делать? Соскочить с кровати? Поднять крик? Звать на помощь? О чем кричать? Кого звать? Разве знаешь, с кем тут имеешь дело? Сесть в кровати? Но ведь боишься шелохнуться, — к чему показать пришельцу, что ты не спишь? Тут

соображение простое,— если это вор, он возьмет все, что ему нужно, и уберется подобру-поздорову. Но если ты начнешь вопить, он захочет спасти свою шкуру, вот и нападет на тебя бог весть с каким оружием. Стало быть, ты сам сделаешь из него душегуба, — к чему тебе это? Но что же? Ждать, покуда он подойдет к тебе, к твоей кровати, набросится на тебя, схватит за горло и начнет душить? Это что-то тоже не то. Итак, скажите теперь, как поступили бы вы? Послушаем. Вы люди молодые, герои!..

С этими словами Дедушка обратился к нам, к своим трем внукам, и стал дожидаться нашего ответа. Раньше всех выскочил с ответом самый младший из нас — поэт.

Он воспламенился как истинный герой и, сжав два страшных кулака, показал, какой бы сделал прыжок с кровати, как свалил бы того на землю, как душил бы его, и закончил горячо:

— Жизнь за жизнь! Мне смерть, но и тебе смерть!..

Выслушав ответ поэта, Дедушка махнул рукой, словно говоря: «Допустим, что так!» — и обратился к моему коллеге, обладателю горячего темперамента: как поступил бы он? И тот ответил довольно искренне:

— Скажу вам правду, Дедушка. Напасть на человека, когда я его не знаю и не вижу, — этого я бы не сделал. Я оставил бы ему часы со всем моим скарбом, черт его возьми, а сам выскочил в окно. Связываться со всяким паршивцем, со всяким ворюгой? Провались оно сквозь землю...

— Тоже верно! — произнес Дедушка. — Связываться с неравным себе, конечно, не стоит. Ну, а вы что сделали бы, случись такая история с вами?

Это дедушка обращается уже ко мне, и я отвечаю ему тоже довольно откровенно:

— Я? Мне бы не пришлось делать ни того, ни другого! Я бы не напал на вора, не прыгал бы в окно. Я бы... Я бы... умер!

— Это вернее всего! — говорит Дедушка, заливаясь громким смехом. И, глядя на него, смеются все, кроме меня. — Умереть со страху — действительно

добрый совет, но, прежде чем приходишь к такому выводу, у тебя трижды уходит душа в пятки, прошибает холодный пот, и чувствуешь, как мозги шевелятся под черепом! Видишь перед собой ангела смерти, ощущаешь на горле холодное лезвие и не знаешь только, когда произойдет «чик!»... Короче, не стану вас больше мучить. Слышу, возле самой моей кровати кто-то сопит, но как! С силой, со злобой: «Ха! И-ха! И-ха!» Сквозь одеяло чувствую на себе чью-то руку, крепкую, тяжелую, холодную, волосатую руку, и затем — еще руку. Ага! Кто-то лезет ко мне в кровать, вот, вот он... Вот-вот он схватит меня за горло! Вот-вот он долбанет меня чем-нибудь тяжелым по голове! Вот-вот... Ну? Умники! Что бы вы теперь сделали?

Тут Дедушка остановился, желая, видимо, передохнуть. Мы поняли, — ему, очевидно, было тяжело еще раз пережить эту критическую минуту, — и оставили его в покое, а сами стали вслушиваться в тишину ночи. Знаете, милые друзья? Тишина ночи говорлива, она шепчет какие-то слова. Прислушайтесь когда-нибудь и услышите голоса; тихие, но сладкие слова незнакомого существа, которое сидит возле вас, о чем-то шушукается с вами, и чудится, что этот голос вам знаком, вы где-то его слышали, но не знаете где... А вдруг померещится, что вы слышали вздох, глубокий вздох, и не знаете, кто это вздохнул, — то ли таинственное существо, что сидит подле вас, то ли вы сами вздохнули?! И вас охватывают разом и страх и тоска; вы рады бы подняться, уйти, но что-то удерживает вас — неведомо что... Что-то тянет вас за душу — неведомо что... Давит смертельная тоска, — неведомо по ком... И вдруг вы слышите: плюх! Словно в реку кинули камень или что-то опустили в колодец!.. Нигде вблизи вас, это вы знаете, нет ни колодца, ни реки. Что же это за «плюх»?.. Или «кра» послышится. Откуда это «кра», если все птицы спят?.. И кажется вам, что земля дышит, чуть-чуть слышно... Вместе с вами дышит она, земля, весь мир, и вы чувствуете себя частью дышащей земли, частью огромного мира, предстающего перед вами великой, великой тайной...

Молчание Дедушки снова затянулось дольше, чем следовало; мы изнемогали от желания поскорей услышать конец этой истории, и начали тормошить Дедушку.

— Ну?!

— Что ну?!

— Как так «что ну»?! Что было дальше? Кто это был? Что он с вами сделал? Как вы вырвались из его рук?

— Ах так? Вы и в самом деле хотите узнать конец? Повремените. Завтра тоже не плохой день. Считайте, что это рассказ, который печатается в газете, и умник редактор оборвал его на самом интересном месте, поставив внизу два известных слова: «Продолжение следует». И подите тащите его на суд праведный. Умный редактор, разумеется, сделал это нарочно, чтобы заставить вас на следующий день снова купить газету, — разве есть у вас другой выход? А если хотите, считайте, что это история со змеей.

— С какой змеей?

— Вы не знаете истории со змеей? — протягивает Дедушка нараспев. — Тогда я расскажу вам новую историю, историю со змеей.

Однажды, было это тридцать первого декабря, как раз накануне Нового года, люди читают в газете такого рода рассказ: «Молодая красивая женщина, родившая первенца, сидела со своим крошкой у окна и собиралась покормить младенца грудью. Вдруг откуда ни возьмись подползает змея, кидается прямо на женщину, впивается ей в грудь и начинает сосать. Женщина, само собой разумеется, лишилась чувств. Весь город, естественно, сбежался спасти женщину. Созвали крупнейших врачей, но попробуйте что-нибудь сделать, начните войну с ядовитым хищником! Ничем тут не поможешь — троньте змею, она выпустит свой яд и убьет женщину на месте. Но, с другой стороны, если не помешать змее, она не отстанет от женщины, покуда та не умрет... Скверно! — так заканчивает газета. — Положение критическое. Змея сосет. Женщина без сознания. Врачи заседают и изыскивают средства. Репортеры ждут. Завтра мы сооб-

щим нашим читателям, что сталось с женщиной и змеей». Не одно завтра, разумеется, прошло с тех пор. Публика ежедневно раскупала газету, долго, долго дожидаясь конца истории. Я даже думаю, что есть такие стойкие читатели, которые и по сей день не перестают покупать газету все ради той же женщины со змеей... Неужто же я не заслужил у вас, дети, чтобы вы подождали меня до завтра? Спокойной ночи!

И Дедушка поднялся и в самом деле стал прощаться с нами. И тогда мы, все три внука, припали к нему, просили, умоляли, целовали, — еле уговорили его снова усесться на свое место и продолжить свою страшную историю.

— Вспомните же, дети, на чем мы остановились! Мы остановились на том, что это существо подошло тихими шагами к моей кровати. И я слышу, как оно сопит с силой и злобой: «Ха! И-ха! И-ха!» И чувствую сквозь одеяло чью-то руку и еще руку, кто-то лезет ко мне в кровать, вот-вот он будет в моей постели!.. Не знаю, как вы, но я когда-то в юности начитался разных страшных историй о чертях, разбойниках, колдунах и духах. Все эти истории, скажу вам по правде, не производили на меня никакого впечатления, кроме того, что я каждый раз хотел знать конец истории, — вот так, к примеру, как вы теперь... Понятия «напасть», «наброситься», «убить», «умертвить» были мне чужды. Даже многоглазый ангел смерти был для меня не более, чем страшилище, нарочно придуманное, чтобы пугать нас, не более. Но на этот раз я увидел ангела смерти перед глазами. Я увидел его и узнал его. Это он! Он! Я только не мог угадать, какой смертью предстоит мне теперь умереть, поэтому я не знал, за что раньше схватиться, — за голову, за горло, за живот? Две большие костлявые холодные руки, представлял я себе, схватят меня скорее всего за горло и начнут душить. Я почернею и посинею, глаза вылезут на лоб, и я не смогу кричать. Еще я представил себе, как тяжелый предмет, железный предмет, обрушивается мне на голову и я умираю... Или широкий, острый, холодный нож врезается мне прямо в живот, и я уже чувствую его прикосновение...

Не знаю сам, дети, откуда взялись во мне силы и мужество. Со страху величайший трус иногда становится героем, а если хотите, я открою вам тайну: никаких героев нет; настоящий герой это — именно и только! — трус... Короче, я увидел, что нахожусь на волосок от смерти и подумал: «Что ты лежишь, дурак? Кого ты ждешь? Твоей жизни теперь все равно грош цена...» Одним рывком поднялся я и спрыгнул с кровати, следующим прыжком я оказался у стола, схватил спички — чирк! — и поднес к кровати, гляжу: большой черный кудлатый пес, настоящий «сибиряк» с красными глазами!..

По-видимому, этот пес лежал все время где-то под диваном или за шкафом; то ли ему там надоело, то ли ему стало холодно, и вот он явился ко мне с визитом, познакомиться с новым постояльцем, тем более что у меня, на байковом одеяле, и впрямь гораздо лучше, теплее и приятнее...

На следующий день волосатый хозяин заезжего дома рассказал мне, что получил этого пса в подарок от какого-то барина.

— Тихий пес, — оправдывался он, — очень смирный пес, мухи не тронет. Он уже очень стар, да к тому еще слеп на оба глаза,

КАК КРАСИВО ДЕРЕВО!

(Эпизод с грушами. Рассказан первым внуком[1] Дедушки реб Менделе и посвящается его 75-летнему юбилею)

Если вы желаете близко познакомиться с Дедушкой, с удовольствием провести с ним часок, что-нибудь почерпнуть из беседы с ним, воистину насладиться его обществом, то знайте: это невозможно в избранном кругу, на банкетах, где осаждают тостами и оглушают аплодисментами и криками «ура».

Правда, Дедушка и в обществе не растеряется, не спрячется в уголок. Он ответит на все тосты, речи и выступления каждому в отдельности, и ответы его будут полны блестящего остроумия. При этом лицо у него станет светиться, как зажженный семисвечник, а вы почувствуете себя с ним в такой степени по-праздничному, как только можно чувствовать себя с истинным мудрецом. Но это будет, господа, только писатель Менделе Мойхер-Сфорим, отнюдь не Дедушка.

---

[1] Свидетельствую перед всем миром, что я увенчал Менделе Мойхер-Сфорима именем Дедушки. Это было четверть века назад. Тогда я был совсем еще юнец, «озорной внучек», как назвал меня Дедушка в одном из своих писем ко мне. С тех пор и пошло: Дед, Дедушка. Сейчас Дедушка дождался, слава богу, целого поколения внуков.

Пусть же растут и множатся!

Шолом-Алейхем.

Если же вы хотите узнать Дедушку, уйдите с ним далеко-далеко за черту города, на вольную-волюшку, под купол небес. Уйдите туда, где цветет дерево, пробивается травка, пасется теленок, зеленеет лес, где машет крыльями мельница, бежит ручеек, поет птица, прыгает белка, порхает бабочка, летают стрекозы, роится, вьется столбом мошка, гудит и кружится, поет хвалу богу...

Туда, туда пойдите с ним, там только вы познакомитесь с Дедушкой, только там вы его узнаете по-настоящему.

Вы увидите перед собой и глубокого мыслителя, и своеобразного художника, и дитя природы. Он сядет с вами на божью землю, на ее зеленый благоухающий покров, усыпанный цветами. Глядя в голубое небо, он выскажет глубокую мысль, нарисует яркую картину, поведает прекрасное предание старины, бросит умную, острую еврейскую шутку. Громко смеясь, он заставит вас и развеселиться и задуматься. И вам будет с ним так хорошо, как никогда раньше, и будет вам обидно, почему вы раньше не знали его. Вы будете сожалеть, что не захватили с собой карандаша, чтоб записать его глубокие мысли, живые картины, удивительные предания старины, умные, острые еврейские шутки.

Нет, Менделе Мойхер-Сфорим в жизни — это не тот Менделе Мойхер-Сфорим, что в книгах. Менделе Мойхер-Сфорим в жизни сам — книга.

Из этой книги я вырываю листок и отдаю его тебе, друг-читатель, сегодня, в день 75-летнего юбилея нашего Дедушки, в честь нашего общего праздника, праздника еврейской литературы.

В те далекие времена я жил в Одессе, на даче, далеко от города, на берегу Черного моря, на Фонтане. Время было хорошее (Толмачев * тогда еще не свирепствовал). Славное это было время! Недоставало только гостей, милых добрых гостей.

И бог помог мне: ко мне приехал из города Дедушка Менделе со своим адъютантом И.-Х. Равницким *.

Трудно представить себе Дедушку Менделе в Одессе без Равницкого, как трудно представить себе, например, город без казенного раввина, или варшавский еврейский дозор * без крещеного еврея, или царскую думу без Пуришкевича... Тысячу раз прошу прощения у моего друга и товарища Равницкого за такое сравнение. Я отнюдь не хотел его задеть. Упаси боже! Я ничего против него не имею. Но таков уж писатель: если пустится сравнивать и проводить параллели — подхватит все, что узрит глаз.

Короче, у меня были гости: Дедушка Менделе и Равницкий. Искупавшись в море, где Дедушка показал нам, как можно плавать в шестьдесят лет и какие можно проделывать фокусы в воде, мы пешком отправились с Малого фонтана на Большой и дальше. По дороге Дедушка рассказывал нам множество разных историй. Мы слушали и удивлялись, восхищались и радовались, как настоящие хорошие любящие внуки. Вдруг Дедушка останавливается:

— Как красиво это дерево!

Мы поднимаем глаза, — вот так дерево! Ай да дерево! И не так дерево, как груши на нем. Что за груши! Бергамоты! Круглые, желтые, сочные, сладкие, атласные, мягкие, они висят на толстых загорелых ветвях. Они распространяют тонкий аромат. Они приветливо глядят на нас, подмигивают нам, просят нас: «Люди добрые, сделайте милость: благословите и отведайте нас...» А за этим деревом еще дерево, и еще дерево — и все они усыпаны грушами. Море груш!

С мефистофельской улыбкой на посеребренных устах Дедушка сквозь очки пронзил нас острым взглядом своих умных глаз, без слов говоря: «Вижу: вы, ребятки, кажется, охотники до этих груш...» И мы, все трое, словно сговорившись, направились в сад за грушами.

Евреи не любят долго раздумывать. Мы не стали гадать, что за груши, какие груши, чьи груши. Выяснится, вероятно. Самое главное — найти ворота, вход в сад, а там уж найдется, конечно, хозяин, сторож или садовник, и за деньги мы получим груши.

И действительно, очень скоро мы увидели ворота. На дощечке — золотыми буквами: «Анатра». Таким образом нам стало известно, что хозяин сада — Анатра.

Мы слышали об Анатре: он грек, миллионер и неприятный человек. Но кто может знать, продает ли он груши? Может быть, продает, а может быть, и нет. Можно быть миллионером, а груши из своего сада все-таки продавать. Здраво рассуждая, для чего одному человеку столько груш?

Так размышляя, мы медленно вступаем в чудесный сад, идем по расчищенным дорожкам, выложенным маленькими морскими камешками и украшенным с обеих сторон подстриженными деревцами. Отовсюду выглядывают ароматные цветы, они улыбаются нам и дружелюбно приветствуют: «Благословенны вошедшие! Милости просим! Добро пожаловать!»

Мы идем дальше и дальше, все глубже в сад. Вдруг, откуда ни возьмись, с яростью и рычанием прямо на нас — собака. Но какая собака! Теленок, а не собака! Лев! Леопард! Блестящая желтая шкура. Лапы мягкие, круглые, как у тигра. Морда черная, мокрая, но симпатичная. Зубы белые, острые. Глаза красные, горящие, как у разбойника. Красавец пес, но все же пес!

Не знаю, как вы, но я, — признаюсь, чего мне стесняться? — я собак боюсь... То есть мало сказать «боюсь». Слово «боюсь» слишком слабо, чтоб передать вам то чувство, которое вызывает у меня собака. Всех животных на земле я люблю, люблю всех без всякого исключения. Собаку я тоже люблю, но собака, видите ли, не внушает мне доверия...

Когда я прихожу к кому-нибудь в дом и вижу собаку (у христиан, разумеется, потому что евреи собак не держат, а если у евреев есть собака, так это не собака), я уже не слышу слов, обращенных ко мне. Мои мысли там, вокруг собаки... Когда она подходит ко мне близко и обнюхивает меня, ласкается ко мне и вертит хвостом, — ладно, очень мило, согласен: мы приятели! Только не трогай меня, только не клади на

меня свою холодную лапу и не тычь мне в лицо мокрую морду. Я люблю тебя, понимаешь ли, только на почтительном расстоянии...

Как мой товарищ Равницкий — не скажу: возможно, он боится собак еще больше, чем я. Он уверяет меня, что не очень боится. И что за страх? Разве у него нет зонтика? И еще какого зонтика... Да, я забыл сказать вам, что мой друг Равницкий шагу не делает без зонтика ни зимой, ни летом. Если вам случится быть в Одессе и вы встретите на улице еврея с румяным сияющим лицом, с добрыми немного грустными глазами, с задумчивым белым лбом и с зонтиком под мышкой, хотя на улице зима и трещит мороз, знайте, что это он, Равницкий. Мне известна тайна его зонтика: это от собак... Ах, вы скажете: ведь для собаки лучше палка?

Не задавайте лишних вопросов!

Словом, когда мы оба, — я и мой товарищ Равницкий, — увидели это создание, движущееся прямо на нас с разинутой пастью, наши души отделились от тела. Нашей первой мыслью было — бежать! Но хорошо бежать, когда у вас есть ноги. А что станете вы делать, если ноги у вас отнялись, сердце держится на ниточке, волосы стоят дыбом, а глаза вот-вот выскочат? Милый друг, вы можете нам не завидовать. Разве только врагу можно пожелать оказаться в том положении, в каком находились мы.

А Дедушка? Этой минуты я никогда, никогда не забуду. Как только собака раскрыла пасть и кинулась на непрошеных гостей, Дедушка скрестил руки на груди, губы сложил в улыбочку и, глядя собаке прямо в глаза, рассмеялся. Я могу поклясться, что собака поняла этот смех. И не только поняла, — она почувствовала себя обиженной. С полминуты они так стояли один против другого и смотрели друг другу в глаза. Может быть, даже меньше, чем полминуты, но мне это показалось вечностью. Это был тяжелый, критический момент. Человек и зверь стояли друг против друга, мерили один другого взглядом: кто кого?.. Потом собаке, видно, надоела вся эта история. Она опустила свои горящие разбойничьи глаза, зевнула во

всю пасть, облизнулась и потянулась; затем встряхнулась всей своей блестящей желтой шкурой, повернулась к нам без всякого стесненья, извините, задом и, обнюхивая свои собственные следы, отправилась восвояси.

В тот день мы ели груши, и неплохие груши. Но это были груши, которые моя жена привезла из города.

АУТОДАФЕ

(Воспоминания, посвященные юбилею Дедушки Менделе Мойхер-Сфорима, написанные его первым внуком)

Уж так повелось у нас: когда умирает, не будь здесь помянуто и не про вас будь сказано, большой человек, его начинают превозносить и прославлять. Начинают вспоминать и пересказывать разные истории из его жизни, отдельные эпизоды, анекдоты, повторяют его афоризмы, шутки, остроты и даже глупости. Все подхватывается! Все давайте сюда! Все пойдет!

Я беру на себя смелость сказать, что это не только глупый обычай, но, если хотите, это даже в какой-то мере и несправедливо. Что толку возносить человека после его смерти? Почему бы ему не вкусить славы при жизни? Почему бы при жизни ему не услышать расточаемых похвал, разных историй, которые без конца рассказывают о нем, анекдотов, афоризмов, шуток, острот и даже глупостей, приписываемых ему? Я даже пойду дальше и скажу, что гораздо правильнее было бы при жизни передавать такие вещи, потому что, если, не дай бог, кто-либо расскажет о человеке какую-нибудь несуразность, он может открыто выступить и сказать: «Прошу прощения, господин! Вы, кажется, это выдумали про меня».

Об одном насмешнике рассказывают, что он уехал в дальние края и распустил слух, будто судно, на

котором он плыл, затонуло, а сам он погиб. Спустя некоторое время возвращается он домой и, конечно, застает полный разгром: жена сошлась с другим, дом продан, имущество поделили между собой друзья,— все погибло. Он стал слоняться из дома в дом:

— Слышали вы когда-нибудь что-нибудь подобное? Такое несчастье!

— А зачем вы это затеяли?

— Я хотел послушать, что люди скажут...

Юбилей — это давно уже отмечено мудрецами — подобен, не будь они рядом помянуты, похоронам. Со мной это случилось. Я сам пережил несколько лет назад такого рода похороны и наслушался о себе таких вещей, каких и во сне не видывал. Жаль только, что публика занялась чем-то другим и скоро замолчала... Так вот, зная, что такое юбилей, я хочу сделать приятное Дедушке и его многочисленным друзьям и почитателям и поделиться с ними одним из многих, многих моих воспоминаний о Дедушке.

История эта случилась в Одессе, на берегу Черного моря, на даче, на Большом фонтане. Вот все приметы этого места. А самой верной приметой будет название дачи: «Мандражи» — и пусть Дедушка вспомнит, «как может живой опровергнуть свидетельство живого...»

В то время — лет двадцать, должно быть, прошло с тех пор — я находился под сильнейшим влиянием Дедушки и писал большое аллегорическое произведение. Это был роман, но с аллегорией, нечто вроде «Клячи». А так как мне непременно хотелось дать аллегорию, то я, вместо того чтоб рисовать реальную действительность, витал в эмпиреях. И, как это с нашим братом бывает, я был влюблен в свое произведение, как жених в невесту, и полагал, что лучше этого произведения нет. Мне очень хотелось показать кому-нибудь предмет моей любви,— мое новое произведение. Кому же показать такой перл?.. Батюшки, да ведь есть у меня высокий авторитет: всего в получасе езды от Одессы живет Дедушка Менделе! Как говорится, ему и книги в руки! Но до бога высоко, а до Дедушки далеко... Как быть?.. Понести

рукопись Дедушке? Уж слишком она велика. Заставить Дедушку прийти ко мне, — как-то не совсем почтительно. И я нашел выход: время летнее, стоят жаркие дни, надо пригласить Дедушку на дачу подышать воздухом, искупаться в море. Тогда можно будет немного и поговорить. Однако заполучить Дедушку не так просто, нужен удобный случай. И бог мне помог: нашелся благовидный предлог, и я привез Дедушку на дачу. Дедушка — мой гость на целые сутки.

По моему глупому разумению, среди всех добродетелей долг гостеприимства скорее удовольствие, чем долг. И, если будет мне дозволено говорить еще более откровенно, я сказал бы: не тем велик прародитель наш Авраам, что он был странноприимен, — что может быть приятнее, чем принимать гостей?

Но если вообще принимать гостей — удовольствие, то иметь в качестве гостя Дедушку реб Менделе — праздник. Менделе Мойхер-Сфорим в обществе так же своеобразен, как Менделе Мойхер-Сфорим в литературе, если хотите, он в жизни еще ярче. Встречаясь с писателями, нам случается иногда жалеть о том, что мы увидели их слишком близко. Дедушка же Менделе при личном знакомстве превосходит все, что вы раньше представляли себе о нем в своем воображении. Разумеется, он не чудо какое-нибудь, но, беседуя с Дедушкой, вы чувствуете, что перед вами незаурядная личность. Это не только старец, украшенный высоким разумом, лучший тип еврейского мудреца; это человек, полный жизни, движения. Жизнь горит в остром взгляде его умных глаз, глядит из глубоких морщин высокого лба и молодой улыбки, которая змеится на его тонких губах, жизнь бьется в каждой его жилке. И вы спрашиваете себя: «Так это и есть Менделе Мойхер-Сфорим?» При более близком, более интимном знакомстве с ним вы увидите перед собой ребенка, старца-мальчишку, который покажет вам, что такое мускулы, что значит держаться прямо как струна, что значит бодро шагать, бегать, играть с детьми. И вы снова спросите себя: «Так это и есть еврейский писатель, 75-летний юбилей которого

сейчас празднуют?» В его обществе вы сами начинаете чувствовать себя моложе, свежее, живее, и вы забываете с ним, как пролетело время, куда девался день.

Но, как известно, соловья баснями не кормят. Как ни был я рад дорогому гостю, как быстро ни убегало время, мой роман не выходил у меня из головы ни на одну минуту. Но как приступить к этому делу? Нельзя же вдруг взять да сказать: «Дедушка, я буду вам читать свой роман!» И господь сотворил чудо: Дедушка сам спросил у меня — вечером это было, после ужина: «Что слышно? Что новенького пишете?» Я почувствовал, что сердце у меня забилось. Слава богу, пришла желанная минута! Я не заставил себя долго просить, вынул мою зазнобушку из ящика, где она лежала свернутая, как священный свиток, перевязанная красной шелковой нитью, и уже готов был приступить к чтению. За мной дело не станет! Но Дедушка взял меня за руку: «Сейчас? Нет. Сейчас нужно идти встречать луну, которая выходит из моря».

Прекрасно море, когда разыграется оно под ослепительными лучами золотого солнца; прекрасно оно во время заката, когда огненный шар спускается с неба и вдруг падает в бездну; все вокруг облито пламенем, в пурпурный плащ одевается край горизонта, и тихая прохлада спускается на землю и воцаряется на ней. Но во сто крат прекраснее море ночью, когда вырисовывается на небе бледный лепесток луны. Волны все в свете и серебре; луна заливает белым очарованием и сковывает ночным колдовством тихие воды дремлющего моря; оно чуть-чуть дрожит и отражает мириады звезд. Нет, Дедушка прав. Не время сейчас читать романы. Такая ночь!.. И все же у меня из головы не выходит мой роман. Все роман! О чем бы мы ни говорили, я сворачиваю на роман. Я хочу передать Дедушке хотя бы идею романа, познакомить его с содержанием. «Зачем? — говорит Дедушка. — Завтра утром мы сядем с вами вдвоем и прочитаем роман от корки до корки». Ах, как хорошо, как хорошо!

В ту ночь я не сомкнул глаз. Я представлял себе, что будет, например, когда мое произведение уже будет прочитано. Что Дедушка скажет? «Я в восторге»? «Я поражен»? Нет. Дедушка не таков. Он не рассыплется в комплиментах, в сладких речах. На его языке это называется слащавостью. Будет вполне достаточно, если он положит мне руку на плечо и скажет: «Ну, бог в помощь. Пишите, пишите много таких произведений, и пусть Дедушка порадуется на своего внука...»

А может быть, он ничего не скажет. Решительно ничего. И его молчание будет для меня достаточно выразительно. «Дедушка», которого «внучек» обогнал (признаюсь, была такая мысль), — что может он сказать?.. Немножко мне было жаль Дедушку, что я его обогнал. Он ведь не кто-нибудь, он ведь Менделе Мойхер-Сфорим! Шутка сказать: появляется какой-то мальчишка и создает произведение, которое отодвигает в сторону такого исполина, оставляет его позади, — ах, бедняга, бедняга...

В ту ночь Дедушка тоже не спал, но не из-за моего романа. Причина была несколько другая: комната, где мы устроили нашего гостя, была рядом с детской. Ребенок (этот «ребенок» сейчас уже студент) всю ночь плакал, у него прорезались зубки, и он не дал Дедушке глаз сомкнуть!

— Что это у вас за крикун? — жаловался нам Дедушка на следующее утро. — Я хотел бы знать, откуда у ребенка берутся силы так кричать, не сглазить бы?

Еще несколько шуток в адрес «крикуна», и Дедушка делает мне знак:

— Ну?

Из всех «ну» на свете это было самое лучшее, самое сладкое «ну». Райское блаженство разлилось по всему моему телу. Я уселся с Дедушкой в кабинете, закрыл окно, запер двери, вынул из ящика священную рукопись, развязал красную шелковую нить и...

— Я сяду, — сказал мне Дедушка, — вот здесь, у окна, против вас, а вы садитесь сюда, ближе к

моему левому уху, чтобы я мог вас лучше слышать. Но прежде расскажите мне, что вы хотели сказать этим романом.

Что я хотел сказать? Этим вопросом Дедушка как будто обдал меня ушатом холодной воды.

Что это значит — хотел сказать?..

— Писатель, когда садится писать книгу, — поясняет мне Дедушка, — должен прежде всего спросить себя: «Что я хочу сказать?»

Признаюсь, для меня это было настоящее открытие Америки. Уже лет пять, как я пишу, написал уже, слава богу, столько вещей и еще ни разу не спросил себя, чего я хочу. Чего может хотеть писатель? Писатель хочет писать, потому что, если б он не хотел писать, он не был бы писателем... Я вышел из положения, сказав, что мое произведение представляет собой аллегорию, в которой заложена мысль, и я хочу видеть, поймет ли Дедушка эту мысль, прежде чем я окончу произведение. И я принялся читать, и мне казалось, что это не я читаю, а кто-то другой читает. Я не узнавал своего голоса, и это взволновало меня. Но это было бы еще с полбеды. В самую решительную минуту раскричался мой наследник — крикун. Хоть повесься! Ах, показал бы я ему, как плакать! Я готов был с минуты на минуту вскочить, вбежать в комнату крикуна и заткнуть ему рот ватой. Но Дедушка меня не отпускал. Он взял меня за руку, глаза у него были закрыты, — это значило, что он внимательно слушает, и приказал мне ни на что не обращать внимания и продолжать читать. Сколько времени я читал, — не знаю. Я не смотрел на часы, я смотрел только на Дедушку. Я хотел видеть, сильно ли он восхищен. Но трудно было по лицу его прочитать, что он думает. Если у человека глаза закрыты, вы никогда не угадаете, что он думает. Вдруг Дедушка открывает глаза, берет меня за руку, с улыбкой глядит на меня поверх очков и машет рукой.

— Послушайте, я должен вас прервать. Как вы думаете, у вас на кухне уже готовят обед?

— Обед? Наверное. Вы, может быть, хотите есть? Я попрошу что-нибудь принести.

— Есть? Боже сохрани! Я только хочу знать, топится ли у вас там печь.

— Наверное, топится...

— Если топится, то бросьте, будьте добры, эту тетрадь в печь и сожгите ее. Это не ваш жанр. Нет, нет! Никуда не годится!

. . . .

Мы не однажды после этого встречались с Дедушкой, много раз говорили о писательском труде, о том, что является моим жанром, — но о той истории с «нет» и аутодафе мы никогда, никогда больше не говорили, никогда не вспоминали. И поэтому мне не случилось до сегодняшнего дня высказать Дедушке, пошли бог ему долгие годы, как я ему благодарен!

Ах, очень нужно, чтобы чаще топилась у нас печь в то время, когда мы заканчиваем книгу, которая нам кажется так хороша, что лучше и быть не может...

ПИСЬМА
(1882—1914)

№ 1

БРАТУ ВОЛФУ (ВЕВИКУ)

Декабрь, 1882—10/XII, Лубны.

Дорогой брат!

Твое письмо я получил. Меня радует, что ты с большим усердием взялся за изучение ремесла! Ты всегда должен держаться того, что труд человека не позорит... Наши мудрецы говорили, что не стыдно сдирать шкуру с падали, только бы не жить подаянием человеческим. Блажен тот, чья рука искусна в ремесле.

Почему ты мне не пишешь, как проводишь свободное время, с кем встречаешься, приобрел ли ты товарищей среди молодых людей, кто они?

Мне хочется рассказать тебе о лесе и саде. В каждом городе живут различные люди с разными характерами, по-разному воспитанные. Люди честные и нечестные; люди доброго нрава и люди дурного нрава; чужой город — что лес дремучий. В дремучем лесу все деревья неведомы, очень трудно отличить одно дерево от другого. Поэтому-то в нем и трудно отыскать дорогу. В чужом городе среди чужих людей тоже вначале трудно разобраться и найти среди них хороших товарищей труднее, чем у себя дома.

Теперь — о саде. В саду растут плодовые деревья — яблони, груши, вишни, сливы и иные. Каждое дерево в саду имеет свои особенности, свою природу,

характер, приносит свои плоды. Например, на яблоне не станут расти груши и, наоборот, на груше не будут расти яблоки. Это очень просто. Каков корень, посаженный в землю, таково дерево, вырастающее из него. Что еще растет в том же саду? Сорные травы, тернии, колючки и крапива.

Ты непохож на тех молодых людей, которые подобны тернию или крапиве. Ты обязан помнить, что ты сын Менахем-Нохума сына Зэйв-Волфа Рабиновича и носишь имя нашего, светлой памяти, деда. Оберегай же честь нашего деда, оберегай честь нашего отца, всегда ступай лучшей стезей.

И в этих наших «беседах», и когда мы, бог даст, встретимся, я не буду читать тебе нравоучений. Ведь если я тебе, к примеру, скажу: «Смотри, Вевик, будь благочестив, не то станешь посмешищем в глазах всех!..» Разве такое нравоучение имело бы успех? Нет! Оно лишено смысла, так пугают маленьких детей — бу! Иное дело, если я тебе скажу, что ты обязан быть *честным* человеком, чтобы твоя совесть всегда была чиста, кристально чиста!

Давать наказы, поучать, читать нравоучения — нет у меня к этому призвания. Я хочу только вести с тобой «беседы» для того, чтобы ты никогда в жизни не плутал, чтобы ты, во время нашей разлуки, находясь в чужом городе, мог обо всем говорить со своим родным братом.

Пиши мне, получаешь ли письма от отца и что он тебе пишет? Пиши ему почаще да повеселее. Ты должен знать, что у нашего отца, пошли ему бог долгие годы, только и отрады — получать от нас частые радостные письма.

Пиши мне обо всем подробно. Будь здоров и счастлив.

Твой брат *Шолом.*

Пиши, как к тебе относится Янкеле. Передай ему мой сердечный привет, а также всей его семье, каждому в отдельности. Смотри не обойди ни одной из наших тетушек.

Помнят ли они еще поклоны тети Ханы, которые были так... сердечны?..

№ 2

ОТЦУ

16 апреля 1884.

Дорогой отец! Сегодня в часов пять-шесть пополудни я сообщил тебе радостную весть: бог благословил меня дорогим даром. У нас прекрасная дочь, — плод многолетней любви, пошли ей бог долгую жизнь! Помнишь, отец, когда ты гостил здесь, у нас, мы были готовы выехать за границу, чтобы там искать исцеления болезни моей хрупкой жены. Но болезнь исчезла, словно ветром ее унесло, потому что на чашах весов все врачи с их измышлениями весят не больше тончайшей пылинки по сравнению с всемогущей природой; все их советы не много стоят! Страх и радость наполняли сердце при мысли, что не сегодня-завтра наступит положенный час, когда женщина становится матерью! И вот прошли секунды, не больше двадцати минут, — и моя жена, храни ее бог, дала себя услышать раз и другой, и дом из края в край наполнился голосами... Крошка-малютка распелась, что-то вроде: «Куа! Куа!» По-видимому, природа одарила ее певучим голосом? Хорошо, хорошо, дочурка моя! Пой же, пой, прекраснейшая из дочерей, дай мне слышать твой голос, он так хорош! «Куа! Куа!..» Но что ты скажешь лет через пятнадцать и более? Что ты тогда будешь петь? Где слова, тайные знаки и намеки, начертанные на страницах твоей жизни? Запечатаны и скрыты эти слова, и ничей человеческий глаз их не видел!.. Иди же, дочь моя, и живи в стране жизни! Руками любви обнимет тебя первый день и понесет на своем плече дальше, дальше и передаст тебя второму дню, а второй день — третьему дню, и так далее, и это — твоя жизнь! А что потом будет? Спроси, дочь моя, своего деда, и он тебе расскажет, спроси своих прадедов — они тебе скажут, а мне не задавай вопросов. Потому что *нет вопросов и нет ответов в жизни,* — все зависит от судьбы и случая... Но хватит философствовать!

Будь здоров, дорогой отец, передай привет всей семье, а заодно и нашим друзьям — Золотушкину и Галеви.

Любящий тебя и желающий тебе всего наилучшего твой сын

Шолом.

Привет моей уважаемой матери Хане, долгой ей жизни. Моему дорогому брату Гершлу, да сияет светоч его, а также жене его Рохл-Лее особый привет.

№ 3

И. И. ЛИНЕЦКОМУ

Киев, 27 марта 1888.

Господин Линецкий, сударь мой Линецкий! Отец хочет идти в синагогу, и дитя хочет идти в синагогу, — кто важнее? Скажете: отец? Нет — дитя! Вы хотите ехать из Одессы в Киев, а я хочу ехать из Киева в Одессу. Кто важнее? Тут остается нерешенным только один вопрос: когда? Бог даст в ближайшие дни, аминь! А теперь вы можете выставить ваши 20 вопросов, и не только 20, но и 200. Вы сразу же получите на них ответы, — не бойтесь. Но прежде, чем вы станете задавать мне вопросы, я изложу вам ответы. Вот слушайте:

1. У меня есть «рука» в Петербурге, и надеюсь, что все удастся.

2. Нельзя разглашать имя ребенка до того, как он родится.

3. До выхода журнала* я издам один за другим два сборника, которыми ошеломлю мир.

4. Цена — самая дешевая, дабы осчастливить многих и многих.

5. Затея моя предпринята не ради прибылей, а во славу еврейского языка.

6. Программа будет такая, какой не упомнят со времен Адама.

7. Она будет содержать все, включая птичье молоко.

8. Вводится систематическая критика того, что выходит на еврейском языке.

9. Если где-нибудь имеется еврейский писатель, и стоящий, он мой.

10. Плачу (и, что называется, чистоганом) за каждую строчку от 2 до 10 копеек за прозу, от 10 до 20 — за поэзию.

11. Хочу изгнать манеру эксплуатировать автора при помощи лести.

12. В первом сборнике я дам оригинальные статьи разных писателей, пишущих по-еврейски, а также гебраистских и русских писателей в переводе на еврейский язык, целые, не очень большие рассказы, новеллы, поэмы, один роман, немного стихов (и хороших), а также разное из всех отраслей знания и из области языка.

13. О медицине, гигиене, кушаньях, напитках и тому подобном тоже будет.

14. Популярные отрывки из Бернштейна*, Дарвина, Брема*, Бокля*, Милля*, мудрецов талмуда и еще, и еще.

15. Таким образом, ваш перевод истории естествознания может не найти себе места: это — слишком жирно. К тому же боюсь, как бы такой большой дозой не испортить читателям желудок.

16. О чем я позволю себе просить вас, господин мой Линецкий? О весьма небольшом: сценку из еврейской жизни, из народного быта, вроде ваших «выборов»; я воздерживаюсь от лести, но тут я вынужден обнаружить мой вкус и сказать, что нравится мне в этом жанре.

17. Мне нравятся портреты «по-гейневскому» и народный язык «по-щедринскому»; там, где вы пишете *от народа,* вы Линецкий, а там, где вы хлещете избитое, — вы уже не Линецкий. Об этом моем мнении знают Черни и Соколовский *.

18. Не думайте только, что я не знаю, почему и ради чего вы повторяете известное? Знаю, знаю!

19. Ваши «сценки» будут у меня в числе избранных и оплачивать их буду не так, как Спектор, — обещаниями, а наилучшим образом и наличными.

20. Сценок может быть три, четыре, маленькие, красочные, живые. А теперь, господин мой Линецкий,

когда у вас имеются двадцать моих ответов, вы можете ответить на них своими вопросами, и я незамедлительно откликнусь ответом, и вы мне тотчас ответите вопросом, и так до тех пор, пока не придем к чему-нибудь определенному.

Ну, идет? Ваш слуга покорный *Шолом-Алейхем.*

P. S. О дне моего выезда в Одессу я вас извещу, а пока отвечайте. Не ждите, некогда. Напишите мне ваш подробный адрес.

Шолом-Алейхем.

№ 4

Я. ДИНЕЗОНУ*

Киев, 1 апреля 1888.

Уважаемый господин Динезон!

Сколько ни ломаю голову, чтобы найти причину, почему вы на меня рассердились и не хотите мне писать, ничего не могу понять, ибо я от греха чист, невинен и чист. К тому же друг наш, господин Вайсберг*, клянется, что вы на меня нисколько не в обиде. Почему же вы молчите?

А теперь, любезный друг мой, у меня к вам серьезная просьба. Но прежде, чем начать говорить, хочу взять с вас святое обещание, что вы сохраните все в строжайшем секрете. Потому что когда я однажды доверил Вайсбергу доставшийся мне от Леви * секрет, он написал о нем вам, а вы по простоте душевной, без всякой задней мысли передали его идиоту Тобиашу, который тут же написал об этом Леви; Леви переслал мне письмо Тобиаша, и с той поры между нами — между мной и Леви — разгорелась ссора, которая закончится, кажется, полным разрывом, как это можно заметить по «Фолксблату», от которого Шолом-Алейхем уже начинает понемногу отдаляться...

Потому я и нашел справедливым обратить на это, друг мой, твое внимание и просить тебя, — а я совершенно уверен в твоей честности, — не оглашать до поры до времени строжайшую тайну, в которую я тебя сегодня посвящаю.

Как по-вашему, могу ли я молчать при виде того, как измываются над нашим бедным народным языком? Возьмите три-четыре последних номера «Фолксблата» — и увидите, что там творится! У меня нет слов, язык прилипает к гортани, а перо бессильно выразить причиняемые мне страдания! Вы меня понимаете, собрат, вы обязаны меня понять! Но чем я могу помочь, когда я — *тут*, а он, этот сумасшедший упрямец, — *там*? Достаточно крови стоил он мне, и, наконец, я плюнул, махнул на все рукой, — провались он со своим «Фолксблатом», с вокалами Мейзаха * и с невеждой Ульрихом Калмусом * вместе!

А то что же? Шолом-Алейхему отставить, стало быть, свой инструмент и — конец, долой идиш! — приняться за торговлю? Что вы скажете? Справедливо? Ну, а муза? А то самое, что щекочет (литературный зуд)? А народ? Нет, этого вы от Шолом-Алейхема не добьетесь!

Что же сделал Шолом-Алейхем? Пошел он, принес себя в жертву во имя господа и сотворил нечто совершенно новое: ежемесячный еврейский журнал, на который у меня, надо полагать, имеются шансы и протекции среди власть имущих, но так как должно пройти еще два-три месяца, пока что-либо определится, а Шолом-Алейхем принадлежит к тем проказникам, которым ждать некогда, то поэтому я расшибу голову публике тем, что в одно прекрасное утро вдруг выйдет в свет большой еврейский сборник, да такой, каких свет не видал, но без объявлений, без барабанного боя, без трезвона, без выманивания денег, без премий, но — с оригинальной программой, с твердо установленной оплатой сотрудников, с доступнейшей ценой, со всеми достоинствами, со всеми привилегиями; в общем, брат мой, это будет нечто особенное, такое, чего и на древнееврейском не было. И представьте себе — это нравится публике, в течение двух недель я получил уже больше половины материала. И что за материал! И от каких писателей! От каких еврейских писателей! Товар высочайшей м[арки]. Первые известия о нем появятся, когда сборник будет

полностью готов; за деньгами остановки нет, и трезвонить мне ни к чему...

Итак, брат мой Динезон, имею к вам две просьбы:

1. Дайте мне мудрый совет, как, что и когда, потому что я считаю вас и знатоком и верным другом.

2. Вайсберг мне говорил, что вы основательно начитаны в немецкой литературе, а посему вы могли бы меня снабдить значительным количеством афоризмов умных людей, эпиграмм, поговорок и т. д. А если у вас есть что-либо готовое, небольшая зарисовка, новелла или что-нибудь иное в этом роде, прошу прислать мне как можно скорее, ибо я через месяц примусь за дело.

Печататься сборник будет с пунктуацией, под моим собственным наблюдением, во святом граде Бердичеве.

Гонорар вы от меня получите соответственно стоимости труда. Я вообще не обижу ни одного сотрудника, не стану отделываться лестью и добрым словцом, как это делают иные иезуиты. Нет! Мои сотрудники — это мои товарищи, мои компаньоны, мои братья! Совет каждого мне дорог, пожелание каждого для меня свято, я пойду по стезе первосвященника Аарона * и не превращу свой журнал в место дрязг и ссор из-за почета. Названия я еще не сообщаю вам, ибо до рождения ребенка его имени не разглашают. Вы сами, конечно, понимаете, что я все это затеял не как «доходное дело», упаси боже. То, что останется от прибылей, будет распределено между сотрудниками как бы в виде дивиденда, простите за сравнение. Если же придется, упаси боже, покрывать убытки, то есть человек, который их покроет, благословен господь. Но так или иначе, писателям буду платить всем.

Ну, как вам нравится моя затея? Представляю себе глаза Леви и его нос при виде первого блина. Боюсь, как бы с ним, упаси боже, не случился припадок. Шутите с литваком?..

Афоризмы, — спасите! — присылайте афоризмы! Ибо на это у меня, кроме вас, никого нет. Вайсберг говорит, что у вас там в Варшаве редчайшая

библиотека. Пишите мне незамедлительно, каково ваше мнение, дайте совет и ваши соображения относительно того, что я предпринимаю; пишите откровенно и точно; помогите мне!

И не один только Леви содрогнется. Думаю, что и Спектор не слишком обрадуется, прочитав в газете: «Вышел в свет сборник и т. д., составленный Шолом-Алейхемом и т. д.». У него заноет под ложечкой, потому что *он меня знает,* он знает: то, что я сделаю, я сделаю как следует... Не думайте только, что я хочу этим кому-либо из них насолить! Накажи меня бог! Наоборот, я пишу сейчас и для «Векера»*, и для второго номера «Хойзфрайнда»* (кстати, и первый номер «Хойзфрайнда» лежит еще в пеленках, а то и во чреве матери)...

Итак, мой друг, жду вашего незамедлительного благоприятного ответа и надеюсь, что вы все это сохраните в тайне до поры до времени, пока я не напишу вам: «Разгласите».

У меня к вам еще просьба.

Поспрошайте-ка у честного печатника:

1. Сколько он берет за одно только печатание — не его бумага, не его обложка — за одно только печатание, включая расходы по брошюровке, с каждого листа (1000 и 2000 экз.)?

2. Как считается лист: по тексту с обеих сторон или только с одной стороны? К примеру, 16 или 32 страницы?

3. Есть ли разница в цене между малым и большим форматом?

Милый Динезон! Если вы просто сердились на меня, забудьте. Если кто-нибудь вам насплетничал (это случается среди наших сочинителей, дай им бог долгой жизни и здоровья), плюньте тому в лицо. Если я вас задел острым словом, чем-нибудь, упаси бог, затронул вашу честь и т. д., простите меня, и тогда — будь даже мои прегрешения багряны, как кармазин, они станут белы, как снег. Подадим же друг другу руку и станем снова друзьями, как прежде, тем более, что никакого Леви уже больше нет

между нами, а мне нужен ваш совет, ваша помощь, ваше мнение, ваша поговорка, потому что я ведь все-таки в этом деле зелен, — учтите это!

Преданный вам

Шолом-Алейхем.

P. S. Посылаю заказным! Боюсь: говорят, в Варшаве водятся воры.

№ 5
МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМ

Киев, 26 июня 1888.

Мой дорогой любимый Дедушка.

Нахожу, что я сильно провинился перед вами. Не думайте только, что я забыл о вас; у меня голова кругом идет: работы по горло! «Библиотека»* уже печатается в Бердичеве. Ваш «Призыв»* я получил и дважды перечитал. Там есть на чем остановиться; вам пришлось, чувствую, дорогой Дедушка, хорошенько попотеть над ним. Особенно — над концом драмы, потому что в ней много мысли, многое продумано и взвешено, финал напоминает «темное царство» Островского, он хорошо задуман и сильно отработан; я вообще могу думать, что «Заветное кольцо»*, к примеру, написано *сердцем,* а «Призыв» — *рассудком,* то есть преимущественно *головой,* хотя Рейзеле* и *сердечная* девушка, но, сжальтесь, я не о том; я тут имею в виду *ваше* сердце... Или, если вы не понимаете меня с полуслова, мы отложим это до следующего раза. Теперь я настолько заморочен, что мне «плюнуть некогда» (риторика!). Кто это придумал бердичевскую типографию? У меня к вам просьбишка, дорогой Дедушка. Так как я пишу для «Библиотеки» роман*, и к тому же еврейский роман, как вы того хотите, вот мне и хотелось бы, чтобы Дедушка его видел раньше и высказал свое мнение! Но, любопытно, как он может к вам попасть и сможете ли вы его взять и прочесть в *несколько дней*. Тогда бы я выслал его вам. Но он покамест еще не готов: я должен еще

закончить его и отшлифовать, — как вы говорите. Я послушен вам во всем! Ответьте мне, как ваше здоровье и чем Менделе занят?

Ваш преданный внук *Шолом-Алейхем.*

№ 6

ЕМУ ЖЕ

Ст. Боярка (Ю.-З. ж. д.), дача 26.
6 июня 1890.

Родной мой, дорогой, добрейший Дедушка!

Сообщаю вам, что мы с женой собираемся, если бог даст, нынешним летом ехать в Одессу, как *обычно.* Выедем мы в обычное время, заедем на *обычную* станцию и будем там находиться *обычное* число дней. Здесь мы сидим покамест на *обычной* даче и заняты *обычной* работой. Дела идут, как *обычно.* Третья «Библиотека» тоже вероятно выйдет к *обычному* сроку с *обычным* материалом. Писем от вас не получаю, как *обычно,* и полагаю, что у вас на душе, вероятно, как *обычно...* Потому что и мне последнее время весьма не по себе, словно мне предстоит вскоре покинуть этот мир, право. Но ведь мы, вероятно, все умрем в *обычный* час!

Будьте здоровы. Привет вашей семье и всем нашим *обычным* друзьям и отвечайте на письма. Ваш обремененный заботами внук

Шолом-Алейхем.

№ 7

МОРДХЕ СПЕКТОРУ

Киев, 26 сентября 1894.

Милый коллега!

Ваше счастье, что письмо ваше застигло меня как раз тогда, когда обед еще не готов, жены и детей еще

нет, я смертельно голоден и ни за какое дело не могу взяться, потому что на голодный желудок не пляшется. Вот я и взялся за перо, чтобы ответить на ваше письмо. Дело решено, — вы будете удовлетворены. Это значит, что не поздней, чем через месяц, числа двадцатого октября, бог даст, вы получите обещанное мною произведение под названием «Тевье-молочник — история его внезапного возрождения, рассказанная самим Тевье и переданная слово в слово Шолом-Алейхемом». Двести экземпляров, которые я требую от вас, нужны мне не для продажи. Я уже говорил вам это ранее. Но, чтобы успокоить вас, прошу выслать мне сейчас только пятьдесят экземпляров, а остальные сто пятьдесят — позднее. Итак, братец, смотрите же, вытяните на будущий год добрый жребий, как вам того желает

Шолом-Алейхем.

P. S. Почему бы вам не прислать мне ваш календарь? Мне ведь все ваше интересно читать.

№ 8

Б. ИЕРУХИМЗОНУ*

Соломон Наумович
Рабинович
Киев, Б. Васильковская, 5
27/XI 1901.

Г-ну Б. Иерухимзону
Б. Церковь.

Славный вы мой человек!

На ваше милое письмо могу лишь ответить, что «Десять историй» — запаситесь терпением! — еще не вышли, и немало воды утечет, заверяю вас, пока они выйдут. Мне хочется выпустить такую книгу, какой еще не бывало в нашей народной литературе, а на нашей барахолке тем более. Основные моменты каждого рассказа будут иллюстрированы молодыми, весьма одаренными художниками, и на это требуется время. Кроме того, все старые рассказы я перерабо-

тал так, что, мне кажется, только названия остались прежние. В общем, все здесь ново.

Один из этих рассказов я, возможно, буду иметь честь читать публично шестого декабря у вас, в Б. Церкви, на вечере в школе для девочек, хотя, по совести говоря, ваши белоцерковские паршивцы-аристократы этого не заслужили. Я отлично понимаю: стоит им услышать, что в город собирается приехать Шолом-Алейхем с каким-то Варшавским, будут рассказывать побасенки, будут петь песенки, и пойдет: фи, разве пристало белоцерковскому богачу, который, видите ли, и мухи не обидит, богачу, обладающему собственными домами и туго набитой мошной,— своими ли деньгами, чужими ли, безразлично, — разве подобает такому богачу сидеть рядом с бедняками, с какими-то меламедами, простыми мужчинами и простыми женщинами, не украшенными брильянтами, — фи, позор! Но если хорошенько подумать, то им назло *надо* приехать и им назло *надо* читать, и пусть сидят дома, черт их подери, пусть любуются на себя в зеркало, пусть поглаживают животики и наслаждаются пищеварением. Знаю я их, этих сволочей, ох, как знаю! Они изнывают, им тоже хочется послушать живое слово, но перед самими собой неловко, — ведь аристократы же!

Что касается вашего восторга, то я его не понимаю. Прочитайте «Маленькие рассказы»*. Только там *я начинаю писать.*

Правильно говорит мой Менахем-Мендл:* «Пишешь и пишешь, и все еще будто только начинаешь». Да, я еще только начинаю. Надеюсь, что, с божьей помощью, в скором времени начну писать неплохие вещи. Знаете ли вы, что лучшие люди начали нами интересоваться, присматриваться и прислушиваться к нам. Один из них, замечательный мастер пера, человек огромного таланта и золотого сердца — Максим Горький — взялся за дело с большим жаром.

Готовится к изданию довольно большой сборник лучших произведений еврейской литературы в переводе на русский язык. Из моих вещей уже успели подготовить «Горшок» (именно, «Горшок»), «Фла-

жок», «Рябчик» и еще кое-что. Несколько вещей Дедушки я сам перевожу на русский. Стихи Бялика (не Ляма и не «Исаака», а другого Бялика!), Гордона*, Долицкого* и Розенфельда Мориса* переводит Фруг*. В общем, дело идет. Посоветуйте, стоит нам ехать в Белую Церковь или нет, — но серьезно, по совести.

Шолом-Алейхем.

P. S. Передайте привет доктору Черни. Как вам понравилась моя «Ханука»? Слабовато или ничего? Читал местным аристократам в праздник хануки, чуть дом не разнесли.

№ 9
ДОЧЕРИ ЭРНЕСТИНЕ

Кременчуг, 18 августа 1902 г.

Дорогая моя Тисенька! Я, кажется, уже писал тебе, что местному фотографу захотелось, как рекламу для своей фирмы, снять меня «всей Европе на смех» (посылаю Равницкому одну карточку). Словом, выхожу вчера, в субботу, погулять по главному проспекту (по Екатерининской улице) и вижу — народ толпится возле витрины, словно увидели знаменитость, к примеру, Шаляпина. Фотограф, ради пущего эффекта, подписал также и мой псевдоним по-еврейски. И посыпались гуляющие со всех сторон, и стали смотреть на меня, тыкать пальцами, заглядывать прямо в лицо, — черт знает, что такое! Я был вынужден бежать с проспекта и спрятаться в гостинице! Но меня разыскали и начали приглашать на вечера, на заседания и просто на чашку чая. Ну и народ же тут! Как долго я здесь пробуду, не знаю. У мамы очень много забот, для нее — слишком много. Тебе следовало бы, может, приехать домой, ей стало бы легче. У меня на душе так тоскливо, что временами жизнь невмоготу. И вообще трудно жить на свете. Работы по горло. Целую тебя несчетно.

Твой папа.

№ 10
М. СПЕКТОРУ

Киев, 2 ноября 1902.

Моей дражайшей супруге, госпоже Спектор *, дай бог ей здравствовать.

Ты меня, стало быть, вполне заворожил, ну тебя совсем!

Не понимаю, дражайшая супруга, какой черт тебе мешает, если наши письма останутся целы? Почему нам сжигать их? Пусть горят наши враги! Наоборот, пусть через сто двадцать лет читают о том, как переписывались два еврейских народных писателя, которые сочетались браком без венца и обручения, и что творилось с еврейским языком (идиш). Представляю себе, какой вид мы оба будем иметь в глазах наших праправнуков, к примеру, через пятьдесят или сто лет, когда наши кости уже давно будут гнить в земле! Ах, идиш, идиш! Кто знает, какую роль он еще будет играть в жизни нашего народа! Но пусть «история» идет своим путем, мы должны пока помнить о наших делах. Дражайшая супруга! Если бы ты был в Житомире и видел почет, который был мне там оказан нашей публикой, ты умер бы от радости. Буквально на руках носили! На другой день в «Волыни» * был помещен отчет о том, что в городе гостит известный еврейский писатель Шолом-Алейхем. Там упомянуто также и твое имя («Волынь», номер 242). Всюду, где приводится мое имя, я забочусь, чтобы и моя вторая половина — Спектор — тоже была упомянута, только бы он не злился на меня! В субботу вечером, перед отъездом, мне устроили банкет — ну-ну! Пишу фельетон о хануке. Моя дочь перенесла операцию и, слава богу, поправляется. Мой малыш уже надел гимназическую фуражку, взглянешь на него — помрешь!

Жду теперь хороших сообщений от моей супруги и приветствую от всей моей ватаги.

Твой супруг *Шолом-Алейхем.*

№ 11

ЕМУ ЖЕ

(Киев) 12 ноября 1902 г.

Моей дражайшей супруге госпоже Спектор, дай бог ей здравствовать.

Посылаю тебе копию письма, полученного от редактора Гинзбурга *. Я ему тотчас ответил телеграммой: *«Прошу ради общих интересов воздержаться от опубликования моего имени в проспекте»*. И надеюсь, что этот Гинзбург джентльмен, вероятно, послушается, и моего имени не поставит. А сейчас, дражайшая супруга, смотри, в какую кутерьму ты меня вовлек! Совершенно чужие люди предлагают мне сто рублей всего-то за пять коротких очерков в месяц, без каких-либо условий, а я оказался связан, завязан и привязан пуповиной! Горе, горе нам обоим! Ладно уж, связанность из-за «Юда» я понимаю; было бы нечестно, если бы я писал и туда и сюда. Но в петербургскую газету — какое это имеет отношение? Вообще, условие, которое ты мне поставил, моя дражайшая супруга, чтобы *я нигде никогда не заглядывался ни на какую другую женщину,* — это было такое варварское условие, что только два таких глупца, как мы оба, и только в таких горьких обстоятельствах, [в которых] я находился, могли на такое согласиться! Ничего подобного не слышно было во всем мире! Так не продает себя даже служанка, раб, — разве только сто или сто пятьдесят лет тому назад. Но — пропало. Я буду привязан пуповиной до тех пор, покуда ты, дражайшая супруга моя, не скажешь: идем, дорогой супруг, мы свободны, то есть хозяева нам отказали от места. И, несомненно, бог даст, так и будет, потому что они не смогут вести войну против нового Голиафа. Наши лучшие места займут такие людишки, что нам доведется, не дай бог, кланяться им в пояс. Это — материальная сторона дела. Что же говорить о моральной?! Я, Шолом-Алейхем, — вольная пташка, я имею крылья, умею летать и хочу летать, умею петь и хочу

петь, а весь народ хочет слушать, — с какой же стати я вынужден буду сидеть в стороне, на дереве, любоваться чужими птицами, слушать чужие песни и молчать, тихонько покачиваться на одинокой ветке и слушать, слушать, слушать?! Да, дражайшая супруга, горе, горе нам обоим!.. Я пока ответил им письмом, но путем переписки мы с ними ни о чем не договоримся, необходимо лично свидеться, потолковать; конечно, я писал дипломатично. Я убежден, что не поздней, чем через неделю ко мне явятся из Петербурга. Так что, супруга моя, надобно тебе знать, что мое первое условие: у меня есть жена Спектор, жить ей до ста двадцати лет, с которой я не могу развестись ни при каких добавлениях к брачному контракту! Я не могу без моей жены Спектора, жить ей до ста двадцати лет, ни двинуться с места, ни взять в руки перо, ни вывести букву. Так я им скажу. А если они меня спросят: как так и почему? — я скажу им, что в «Фрайнд» я смогу писать лишь в том случае, если моя жена, Спектор, жить ей до ста двадцати лет, будет находиться в Петербурге и стоять у печи «Фрайнда». Никому другому не могу я доверить мое тесто, мое печенье, мои яства, мои блюда. Об оплате моей работы потрудитесь обратиться опять же к ней, к моей супруге, дай бог ей жить и здравствовать до ста двадцати лет. А тебя, дражайшая супруга, извещаю: надобно тебе знать, что дела наши — хуже некуда; твоя шатия получит свою ежедневную газету тогда, когда я от тебя забеременею. Что касается письма, в котором тот пишет вам, будто он говорил с министром, то оно к лицу моему Менахем-Мендлу, — а ты, глупая баба, опухнуть бы твоей роже, веришь в ворожбу? Но я знаю, супруга моя, тебе тяжко и горько, ты сама связана, и меня привязала, и обоих нас завязала, и оба мы, благодарение господу, весьма основательно угроблены, не сглазить бы, увязли в болоте и трепыхаемся!.. Понимаешь ли хоть ты, глупая баба, сгореть бы всем моим врагам, что означает для меня, по нынешним временам, еще сто целковых в месяц (к тем сорока, которые я получаю после удержаний по счетам)?! Но я держусь за юбку моей супруги, что мне еще делать? Что

мне делать, если ты уже на сносях, вот-вот должен разрешиться, на здоровье, не было бы только, упаси боже, выкидыша и не родила бы ты бычка, не приведи господь, или уродца, а то и вовсе не оказались бы; боже сохрани, все твои потуги всуе...

Твой супруг *Шолом-Алейхем.*

№ 12

ЕМУ ЖЕ

Пасха. Киев (1—4 апреля 1903).

С праздником, Спектор, черт бы тебя побрал!

Знай же, какой подарок я шлю тебе, — ты его вовсе не стоишь! Новый роман, а-ля «Стемпеню», но значительно короче, разбитый на восемнадцать небольших глав, и называется «Мошкеле-вор». Может, в субботу вышлю тебе первые восемь глав, но ты не огорчайся. Клянусь тебе святой мацой, что роман уже закончен и находится у переписчика. Во вторник вышлю остальные десять глав, и ты будешь, с божьей помощью, обеспечен материалом до Пятидесятницы. Должен признаться, что чувствую себя, словно я заново родился и полон новых непочатых сил. Могу сказать, что *только начинаю писать.* До сих пор я дурака валял, шалил. Боюсь, не иссякает ли уже, упаси бог, запас моих лет... Я теперь забеременел столькими мыслями и картинами, что я крепче железа, если не лопаюсь от досады: горе, горе мне, я вынужден метаться в поисках рубля! Сгорела бы биржа. Сгорел бы этот рубль! Сгореть бы всем евреям со стыда, если еврейский писатель не может жить одним своим писательством и вынужден метаться в поисках рубля! Те, кто знает, кто видит меня каждый день, спрашивают, когда я пишу? Право, я и сам не знаю! Вот так и пишу, на ходу, на бегу, сидя у кого-то в кабинете, разъезжая в трамвае, и как раз в ту самую минуту, когда мне морочат голову по поводу леса, непорубленного леса, или дорогого имения, или заводика, как раз тогда у меня

вырастают самые яркие сцены и слагаются самые лучшие мысли, а нельзя оторваться ни на минуту, ни на мгновенье, чтобы изложить все это на бумаге, — сгореть бы всем моим делам! Сгореть бы всему миру! А тут еще приходит жена и напоминает о квартирной плате, о плате за учение в гимназии, а мясник, джентльмен — он ждет, а лавочник — паршивец, не хочет давать в долг, а адвокат грозит описать стулья (глупец! — он не знает, что они уже давно описаны...)... А тут выбирают нового казенного раввина — и опять-таки виноват я, а мой маленький сынишка говорит: «Папа, деньги!» Ему необходимо купить себе какую-нибудь очень нужную вещь, вероятно, лошадку. Попробуй наберись духу и не дай! А с одной стороны кричит Спектор: спаси, давай материал! А «Фрайнд» засыпает меня телеграммами: материал! А Америка прежде всего присылает гонорар, так что уже невозможно быть свиньей и приходится посылать и туда, а «Восход» тоже не собачья затея, а изданию Максима Горького и подавно необходимо... Ша, звонят. Поздравляю, либо кредитор со *счетом,* либо маклер с *описью* имения — сгореть бы им всем, и тебе, Спектор, вместе с ними хотя бы за одно то, что ты мне пишешь так редко и так мало!

Твой *Шолом-Алейхем.*

№ 13

ЕМУ ЖЕ

Киев, 2 февраля 1904 г.

Брат Спектор!

Не стал бы писать тебе. Я дал себе слово по крайней мере полгода ни строчки тебе не писать, за то что ты так отличился при отъезде и за твое гробовое молчание вот уже пять-шесть недель. Но две вещи заставили меня написать тебе. Не могу не написать.

1. . . . .[1]

---

[1] Строка точек автора.

2. Все, что когда-либо приснилось мне дурного, мрачного, зловещего, страшного, да падет на головы моих врагов! Это я тоскую о твоей безумной, нелепой трагедии, которую ты напечатал в «Тог»! * Ты думаешь, я шучу? Нет, я серьезно. Ты взял и измазал себе лицо, не взыщи за выражение, ..., украсил себя мочалой, напялил на голову бумажный шутовской колпак с бубенчиками, взобрался на гребень крыши касриловской бани, и это называется — Спектор показал фокус: сатиру, с позволения сказать, написал, провалиться тебе! Не могу понять, что с тобой приключилось, — то ли ты хлебнул лишнее в тот день, то ли просто на несколько часов с ума спятил? Позор, стыдно перед людьми! Где это видано, чтобы Спектор, который написал «Роман без названия», «Межбиж», «Еврейские дочери», «Украсил свадьбу» (последнее — прямо пальчики оближешь), чтобы тот же Спектор замесил квашню из лука с яичной скорлупой, кошачьим пометом и обмывками детских пеленок. И это у него называется юмор, сатира! Причем ты тут, дуралей ты этакий?! Не твое это дело! Это должно быть Я....с! Не будь подписи «Эмес» *, я подумал бы, что «Тог» решил кому-то всыпать среди бела дня [1], какого-то новоявленного комедианта, подумал я, вырвало таким длинным опусом, что вчуже тошно становится. Поклянись мне, брат, что это в первый и в последний раз! Был бы ты поумнее, ты бы разослал всем своим персонажам письма, попросил бы у них тысячу раз прощения и поклялся бы своей совестью, что ты в тот день был не в своем уме. Задевать живых людей надо умеючи, надо знать кого, как и к чему. Ты меня опозорил, брат! Я здесь, в Киеве, говорю всем, что это вовсе не Спектор, хотя и подписано Эмес. Это какой-то новичок по фамилии Амитин*. А теперь, когда ты получил по заслугам, потрудись натянуть на себя штанишки, поцелуй розгу и скажи: больше не буду! Оставайся Спектором праздничных рассказов, повестей о простых людях и их дочерях, о свадьбах и бедных тра-

[1] Здесь игра слов: тог — по-еврейски означает день.

пезах. Оставайся самим собой, тогда ты будешь моим. В противном случае провались в преисподнюю. (Боже упаси!)

Твой, черт тебя побери, навеки

Шолом-Алейхем.

№ 14

ДЕТЯМ

Санкт-Петербург, 15 ноября 1904.

Дорогие дети!

Пишу вам *всем* под свежим впечатлением моего первого визита к кумиру наших дней, властителю дум, Максиму Горькому. Он принял меня по-товарищески. После первых же слов он оглядел меня с головы до ног и пригласил в столовую выпить чаю. И пошел у нас разговор о делах литературы вообще, и в частности о еврейской. Не успел я, право, оглянуться, как прошел час (с 11 до 12). Он просил приходить к нему запросто. Сам взялся познакомить меня с лучшими представителями прессы, — одним словом, был дружелюбен, совсем не как некоторые другие! Внешность его вовсе не такая, какой мы себе ее представляем. Интересный человечище, русский человек в полном смысле слова, с хорошим, открытым, ясным лицом и широким носом. Сам высокий, крепкий (совсем не больной), мягкий, хотя немного угловатый, в блузе, разумеется, и в высоких сапогах (продолжение следует).

Папа.

№ 15

ДОЧЕРИ ЭРНЕСТИНЕ

Санкт-Петербург, 15 ноября 1904.

Моя дорогая Тиси!

Получил твое хорошее письмо от 12 и обрадовался.

Сегодня я вам всем написал о моем первом визите к Максиму Горькому, который принял меня в высшей

степени дружелюбно, чисто по-товарищески, и очаровал меня.

Пользуюсь случаем и посылаю тебе трешницу на почтовые расходы. Я очень рад, что могу обсчитать государство на пятнадцать копеек, все теперь обкрадывают государство; давай, думаю, будем делать то же самое. Без меня у тебя, наверное, нет ни сантима, ведь мама-то женщина скупая, тем более что кошелек ее набит пуговицами, квитанциями лесоторговцев, старыми конвертами и другим подобным добром.

Как поживает Нумчик? * Сердце болит, когда я произношу это имя! Скорее бы дожить и увидеть вас! До свиданья. Миллион поцелуев.

Твой па.

№ 16

ЕЙ ЖЕ

Санкт-Петербург, 29 ноября 1904.

Друг Тиси!

Все ближе время нашего свидания, и я с трепетом в сердце жду часа, когда смогу покинуть проклятый Петербург. Есть надежда, что этот час близок, очень близок. По секрету пишу тебе, что в субботу вечером выеду, и прежде всего, разумеется, в Киев; мне тяжело откладывать до субботы, но это зависит не от меня, а от обстоятельств.

. . . .

То, что здесь делается, трудно описать. Вчера был бой — что-то вроде репетиции революции. Ждут завтра чего-то грандиозного...

Па.

№ 17

И. Д. БЕРКОВИЧУ

Киев, 23 ноября 1905.

Дорогой мой сын Беркович! Пишу тебе эти строки, весь обложенный компрессами от макушки до бороды (хотя она и сбрита), потому что очень и очень страдаю от зубной боли!

Картина, которую ты мне нарисовал, — люди редакции «Хазман» *, — как живая перед моими глазами, но в Бен-Авигдора * я все же верю, верю, что он достигнет своей цели *.

Посылаю тебе «Надпись для памятника на моей могиле», которую я сочинил в эти «черные» дни, и прошу тебя перевести ее в стихах, как у меня; если сам не сможешь осилить, попроси от моего имени нашего друга Шнеера *, который «зубы съел» на стихотворном деле.

Здесь погребен простой еврей.
Он был писатель из народа,
Всю жизнь писал он для людей
Простого звания и рода.

Он на́ смех поднимал, честил,
Язвил насмешкой мир великий,
Но мир, однако, не тужил,
А он век прожил горемыкой.

И в час, когда все от души
Смеялись, позабыв печали,
Он плакал, — видит бог, — в тиши
Тайком, чтоб люди не видали [1].

Шолом-Алейхем.

Год конституции и погромов (1905).

№ 18

ДОЧЕРИ ЭРНЕСТИНЕ

Киев, 23—24 ноября 1905.

Дорогая Тисюня!

Пишу среди ночной тишины. Все спят, а я бодрствую до утра в ожидании предстоящей экстракции (ты еще не забыла зубоврачебной терминологии?). Страдания мои превосходят всякие пределы, и я ищу успокое-

---

[1] Перевод И. Гуревича.

ния в письме к тебе и Берковичу (на обороте). Между прочим, я посылаю ему эпитафию в стихах, которую бы желал иметь на моей могиле (через сто двадцать лет, разумеется) на обоих еврейских языках. Стихи правильные восьмислоговые и девятислоговые ямбы; таковыми же они должны бы быть и по-древнееврейски, если это возможно. Что касается срока, то это не к спеху: я на тот свет еще не собираюсь. Думаю еще совершить турне по Америке, затем вернуться сюда вкушать пару десятков лет истинную свободу. А затем целую тебя очень крепко.

Твой па[па].

№ 19

ДЕТЯМ

Лидз, 6—7 июля 1906.

Дорогие деточки!

Прежде чем начать описывать наше пребывание в провинциальной Англии, чувствую себя вынужденным дать вам торжественную клятву, что все, прочитанное вами здесь, истинная правда, то есть это не фельетон, а подлинное происшествие.

Из Манчестера мы выехали второпях (сломя голову), не позавтракав, и прибыли сюда часа в два, голодные, как Ляля * в шестом классе гимназии или как Миша *, который вчера вечером не ужинал. Сионисты (подайте Кауфману * стакан воды), встретившие нас, вначале привели нас в один, потом в другой отель, на что потребовался час. Первый вопрос, который был задан голодным путешественникам, заключался вот в чем: «Как смотрят русские евреи на раскол в сионизме после Герцеля и имеет ли территориализм * в России будущее?» На это я ответил, что мы не только ничего не ели, но даже еще и чаю не пили. Намек был сразу же (назло Кауфману!) понят, и один из них проговорил с английским акцентом: о! что касается еды, мы можем быть совершенно спокойны, так как мистер Ф. предоставил в наше распоряжение свою столовую на все время нашего пребывания в Лидзе! И вот

наконец явился сам мистер Ф., расспросил, как проходит наше путешествие, и пригласил к себе. Мы пошли. Шли-шли, шли-шли, пришли. Уселись. Сидим. Беседуем о том о сем, а больше всего о сионизме. У него вот сынишка (бой), четырнадцать лет ему, он тоже сионист и отлично декламирует «Сион» Любошицкого. «Эй, Сэм, подойди-ка сюда! Продекламируй-ка дорогим гостям «Сион»! Но — с блеском!» И четырнадцатилетний Сэм встал и начал декламировать перед нами «Сион», отчего у нас стало сосать под ложечкой (по-видимому, от голода, потому что время было уже около четырех), а Нумчик, бедняжка, расплакался: «Мама, кушать! Мама, булку!» Этот дуэт длился не так уж долго, всего каких-нибудь минут сорок восемь, и нас в конце концов представили хозяйке, которая до сих пор была занята своим туалетом. Просидев с мистрисс Ф. минут двадцать и побеседовав о «местном климате» и наболевшем в Англии злободневном вопросе (служанки), мы наконец сами встали и направились вместе с хозяйкой в столовую. На наше несчастье, нам пришлось проходить мимо пианино, и маме вздумалось вдруг выказать хозяйке свое дружелюбие и спросить: «Что, ваши дети играют?» Хозяйка сочла себя оскорбленной: «Что за вопрос? Еще как играют! Эй, дочка, сыграй-ка для дорогих гостей!» В ответ на этот призыв тотчас же показалось существо с распущенными локонами, сделало реверанс и — давай барабанить на чем свет стоит. Мы остолбенели и все время простояли на ногах; один только Нумчик время от времени нарушал гармонию, заявляя довольно громким голосом: «Мама, я не хочу музыки, я хочу кушать!» (Вот озорник!) Но всему на свете существует предел. Я заявил мистеру Ф., что прошу второе музыкальное отделение отложить на послеобеденное время, потому что ребенок, говорю, голоден, а сами мы сегодня еще и чаю не пили. Мы спустились в столовую (она — на нижнем этаже). На столе уже были приготовлены блюдечки, стояла тарелка с земляникой, лежали два-три ломтика хлеба, намазанных мягким желтым маслом (как раз то, что я страшно люблю, можно сказать — обожаю!) и... больше ничего! «Что

вы больше уважаете — содовую воду или лимонэйд?» Я говорю: «Нет, ни то, ни другое. Дайте, если это возможно, хлеба, только без масла». Хозяйка спрашивает: «Почему? Вы не уважаете хлеб с маслом?» У меня на языке уже вертелось: «Это дрянь какая-то, а не масло», — но Нумчик меня опередил и обратился к маме: «Это у них называется обед? Хорош обед!» (Вот сорванец, на что способен!)

. . . .

Эпилог

Часов в восемь вечера тихие жители города Лидз могли заметить, как два отощавших путешественника с мальчиком тащатся без цели и надежды по улицам, останавливают мирных англичан и обращаются к ним на ломаном языке с вопросом: «Ресто-рант?!»

(Конец. Продолжение не следует.)

Меня сюда вызвали сионисты. Я еще голоден. Скоро полночь. Ресторана мы не нашли. Подумываю о браунинге. Муторно на чужбине без обеда...

Целую вас.

№ 20

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «УНЗЕР ЛЕБН»*

Нью-Йорк, 30 апреля 1907 г.

Дорогие друзья Спектор, Вайнтройб и Гохберг!

Хотя я от вас еще не получил ответа на мои два письма (со вложением глав моего романа «Потоп»), посылаю вам также новый рассказ *«Шпринца»*, новехонький рассказ *Тевье-Молочника* (в честь Пятидесятницы), «рассказанный самим Тевье и переданный слово в слово *Шолом-Алейхемом»*.

Бог велик, Шолом-Алейхем жив, и Тевье еще не *умер*.

«Шпринца» — это *шестой* рассказ моего друга Тевье из Бойберика, который впервые имел честь встре-

титься с еврейской публикой в газете Спектора «Хойзфрайнд». С тех пор Тевье дарит нам каждый год по новой истории. И сколько *дочерей,* столько историй. Как видите, Тевье не изменился нисколечко. То есть как сказать? Обстоятельства изменились, годы сделали свое, но Тевье остался тем же Тевье, с тем же мировоззрением, с теми же мыслями и принципами и даже свой слог сохранил. Мне доставит живую радость, если мои братья и сестры в России, которые иногда интересуются еврейским словом, встретятся в Пятидесятницу этого года со стариком Тевье и через него получат сердечный привет от их друга

Шолом-Алейхема.

P. S. А ну, покажите, что вы такие же джентльмены, как ваш преданнейший

Шолом-Алейхем.

Само собой разумеется, что «Шпринца» не должна быть напечатана раньше Пятидесятницы и пусть пойдет обязательно в газете и ни вами, ни кем-либо другим не печатается отдельным изданием ни до и ни после праздника.

№ 21

БЯЛИКУ

Эх, Бялик, Бялик!

Вы уехали и как в воду канули. Где это видано, чтобы человек уехал и даже письмеца не написал? А у меня, представьте, для вас привет. Угадайте-ка от кого! От туфель, от ваших домашних туфель. На следующий день после вашего отъезда из Швейцарии я, как обычно, просыпаюсь рано утром, хочу достать из-под кровати свои домашние туфли, смотрю — совсем незнакомые туфли, клетчатые, с кожаными носками. Беру в руки, что ж, хорошие туфли, еще совсем новенькие. Чьи же они? Оказывается, это домашние туфли Бялика, вот какая история! Каким об-

разом попали сюда туфли Бялика? Видно, он забыл их, а может быть, нарочно оставил мне в подарок? В общем, в доме начался кавардак: туфли-туфли, туфли да туфли!.. Первой выступила с претензией Тиси. Ее Берковича с Бяликом водой не разольешь, и поэтому туфли принадлежат ей и никому больше. Тогда вторая, Ляля, та, что учится на доктора, говорит: по справедливости, туфли должна получить она. На каком основании? Просто так. У нее нет домашних туфель. Она уже давно собирается купить туфли. Тогда третья, Эмма, говорит, что было бы не грешно, если бы туфли достались ей, уж у нее-то во всяком случае нет туфель. А младшая, Маруся, и вовсе обижается: чем она хуже других? Туфли Бялика и ей впору. Тут о туфлях услышал Нумчик. Не вдаваясь в подробности, он закричал во все горло: «Мама, хочу туфли!» Разбуженный шумом, Миша устроил погром: это, мол, его туфли, и все тут. Ведь Бялик спал в одной комнате именно с ним, а не с кем-нибудь другим. Значит, туфли, по совести, должны принадлежать ему. В это время приходит Бен-Ами с дочерью Саррой. Узнав, из-за чего спор, Бен-Ами заявляет, что туфли, конечно, должны перейти к нему. Ведь не случись новогоднего инцидента, Бялик, несомненно, заехал бы к нему и туфли оставил бы у него, а не в другом месте. Сарра, естественно, поддакивает ему и не отрывает глаз от туфель. Тогда Миха и Тамара предлагают половинчатое решение: пусть достанется одна туфля Михе, а вторая — Тамаре. Короче говоря, мы отправились к Дедушке попросить совета, как поступить с туфлями, кому, наконец, нужно их отдать. Выслушав с прищуренными глазами и с улыбкой на устах все претензии, Дедушка реб Менделе вынес решение: так как туфли эти забыты, брошены на произвол судьбы и так как их хотят получить все, пусть туфли пока перенесут к нему, к Дедушке значит, и у него они будут храниться до пришествия Ильи-пророка. Приговором остался доволен один только Бен-Ами. Ему припомнилось изречение: «Ни тебе, ни мне...» Я же остался недоволен, и поэтому туфли пока у меня. Собираюсь вскоре, с божьей помощью, пере-

править их вам в Одессу, не обе сразу, конечно: одну я вам пришлю осенью, тотчас после кущей, а вторую — под пасху, вот у вас опять и будут две туфли. А для того чтобы вы не скучали по своим туфлям, я сфотографировал их. Прилагаю при сем снимок туфель с дружеским приветом от всех нас, а также и от них, пока они находятся у меня на ногах, потому что у меня и в самом деле нет туфель, кроме ваших. Спасибо вам за туфли. Прошу вас и в дальнейшем приезжать к нам каждое лето в новых туфлях и оставлять их у нас, ибо я по опыту знаю, что в туфлях лучше, чем без туфель, не говоря уж о таких красивых, как ваши, которые являются наилучшими туфлями среди всех возможных.

Шолом-Алейхем.

После дня всепрощения 1907.

№ 22
ДРУЗЬЯМ

Берлин, «Централотель, 196», 21. XII. 07.

Многоуважаемые друзья.

Саул Моисеевич и С. Розенфельд *.

Часа два тому назад я получил любезное приглашение от г-на Розенфельда участвовать в «Венике» *. При этом г-н Розенфельд ставит мне три условия: 1) дать «самое лучшее»; 2) не больше 100 строк фельетон и 3) гонорар за фельетон Ш.-Алейхема «самое лучшее» *шесть* рублей серебром! Помните, — в Питере у вас такую монету дают старшему дворнику в день Нового года. Будем откровенны, господа. В первую минуту я был возмущен. Поймите, после моей вопиющей телеграммы из Берлина, после полученных из Швейцарии печальных писем: «От Фрайнда ничего», после обещания С. М., что 1 дек[абря] будет выслано, — я вдруг получаю подобное приглашение. Чем можно отомстить за подобную злую насмешку? А вот чем. Я исполнил желание ваше. Сел и написал

вам фельетончик для 1-го № «Веника», который присем прилагаю и, — клянусь Вам, — пожелай я от какого-нибудь Крынского *, кабцана из кабцанов[1], 100 рублей за него, он жену заложит в ломбард и пришлет мне, п. ч. Крынский за нечто подобное, за «Дядю Пиню и тетю Рейзу» попробовал заработать тысячи. (Я не преувеличиваю.) Я хочу, чтобы этим фельетоном ваш «Безем» прогремел от одного конца евр[ейского] мира до другого и чтобы вы помнили (и, кстати, поняли), что у вас был сотрудник, которого зовут Ш.-Алейхем. Что же касается до гонорара, то если вы стоите на этой цене, о которой пишет г-н Розенфельд, то будьте любезны отдать его в кассу взаимопомощи нуждающимся студентам-евреям в П. Бурге. Я был бы грубияном, если бы я сказал, что дарю вам этакий гонорар. Разумеется, что только в первом номере «Безем», а не в другом номере вы можете дать эту историйку. Что касается рекламы и пр., то не мое дело вмешиваться в ваш бизнес. В знак того, что я не сержусь (обида слишком велика, чтобы сердиться), я жму обоим вам руку совершенно подружески.

Ш.-Алейхем.

№ 23

И. Д. БЕРКОВИЧУ

Женева, 7—8 апреля 1908.

Дорогой мой сын Беркович! Я озадачен и не верю, что получу от тебя ответ на телеграмму, — наверняка не получу. Я отчаялся и махнул на это рукой. Мы будем спасены иным путем. И тем не менее я не потерял надежды. От всего сердца верю, что настанет время, когда «Клад» * будут разыскивать днем с огнем, с ним будут носиться, им будут наслаждаться, о нем будут говорить очень и очень много! Но пока с ним дело очень трудное. Что же нам делать и что

---

[1] Бедняка из бедняков *(еврейск.)*.

мы можем сделать? Надо подождать еще полгода — не больше. Мои глаза, быть может, этого не увидят, но ты, несомненно, увидишь это, потому что ты молод и тебе предстоит еще долгий жизненный путь. Поэтому ты не должен поддаваться отчаянию. Если ты не находишь себе там работы по душе, не пугайся и не падай духом, потому что, быть может, суждено, чтобы и нам и тебе пришло спасение не в стране доллара. Мы, наверное, не умрем с голоду и здесь, в странах Запада, а что касается тебя, мне не следует повторять еще раз слова, уже однажды сказанные мной тебе от глубины души, а именно, что наш дом — твой дом, что мы будем делить хлеб, и только если, упаси боже, нам нечего будет есть, тогда не будет и для тебя, как водится в нашей коммуне. (А Тамара лезет мне под ноги, катается по полу и поет песенку под столом.)

А я, обнимающий тебя с отцовской любовью, весь

твой *Шол.*

№ 24

Н. Е. МАЗОР*

(Нерви) 7—20. 10. 08.

Милая Наташа!

Жестокий рок играет со мной, он хочет омрачить мою душу, испортить настроение, бросить меня во тьму меланхолии, но я не из тех, которые так скоро распускают нюни. Раскис я только тогда, когда ты, словно светлая голубка, слетела ко мне в Барановичи, в незабываемые Барановичи *. О, тогда было совсем другое дело. Тогда я плакал, бывало, по два раза в день, но, кажется, напрасно. Теперь я уже не плачу. Я только пугаюсь немножечко, и больше ничего. Вот, к примеру, позавчера утром снова показалась кровь, то есть не кровь, а так, невесть что, самые пустяки, какие-то «кровяные шарики в выделениях мокроты»... И я подумал: вот-вот повторится барано-

вичская история. Стоило ли в таком случае трудиться и ехать в эту божественную страну? Но явился врач (Мандельберг — милый человек) и высмеял нас; выяснилось, что это отрыжка барановичских грехов. И действительно, я встал, гуляю по «марине» (взморье), и меня ласкают лучи такого солнца, какого я до сих пор еще никогда не видывал. Какое солнце! Какой воздух! Если я отсюда не уеду богатырем, значит судьба моя решена. Ты получишь, Наташа, это письмо точно в самый день моего праздника, моих литературных «именин» *, к которым, как нам пишут, готовятся повсюду, во всех уголках. А я буду в этот день бродить, одинокий, по берегу Средиземного моря, один со своими мыслями, темными как ночь, с непостижимым страхом перед неизвестным будущим, так как я не знаю сегодня, на что мы проживем завтрашний день... А если мы и проживем, то на чьи средства? На средства «общества»? Да, как ни верти, все всегда грустно, черт побери, и, уж во всяком случае, не так весело, как это обычно рисуется в моих глупых, но веселых писаниях. Было когда-то и весело, но это было давно, это было в ту счастливую пору, когда мы праздновали твой 19-летний юбилей (в Одессе, помнишь?). Ну, мне уже надо идти к морю. Желаю вам веселиться на этом свете. Моисею Савельевичу *, Н. С. Сыркину *, Евгению Львовичу * и всем моим друзьям в несчастье и в радости — мой самый теплый привет!

Твой дядя, не падающий духом

Шолом-Алейхем.

№ 25

Я. ДИНЕЗОНУ

Октябрь — ноябрь 1908.

Бесценный друг, дорогой Динезон!

Не обессудьте за карандаш, я все еще пишу лежа. А ну-ка, попробуйте писать лежа, чернилами, вы увидите, что из этого получится: кривульки, закорючки, поди разберись!

Бог с вами, Динезон, вы совсем колдун! Ваше описание моего юбилея и сравнение моей особы со знаменитой вашей лошадкой Шамшона-Шлоймы попало в точку. Как будто вы своими глазами видели. По совести говорю: было много радости, — телеграммы со всех концов земли и пожелания, бесконечные добрые пожелания, и слезы, конечно, были, скрытые тихие слезы, как водится у Шолом-Алейхема. Но и слезы эти были слезами радости. От того, что я сподобился увидеть свой народ или по крайней мере лучших людей народа выросшими, сознательными, тактичными, полными человеческого достоинства, равными другим народам, нисколько не менее благородными.

Видели бы вы телеграммы! Многие и многие из них проникнуты любовью к народу, «к униженному народу, к его литературе, к его языку». Разве это не прогресс? Разве это не достаточное вознаграждение для писателя? Что касается меня, то клянусь, что уж одним этим я удовлетворен. Мне не хватает только двух вещей, которые имеют отношение ко мне лично и без которых Шолом-Алейхем не Шолом-Алейхем: первое — это здоровье, второе — душа моя.

Что касается первого пункта, то моему бренному телу необходимо проваляться не меньше года у моря, в жилище, полном света и воздуха, а такое жилище обходится в 1500—1800 франков в сезон (600—700 русских целковых). А поскольку такие деньги мне и во сне не снились, то дело плохо. Здесь обычай: деньги на бочку! Вы должны знать, что в той же мере, в какой мне на свой собственный рубль наплевать, мне чужой рубль дорог. Не думайте, что так уж приятно разменивать чужие целковые, общественные! Да и целковые эти, кстати сказать, где-то еще в пути, а может быть, только в воображении. Но такие целковые итальянские банкиры никак не хотят разменивать, хоть им кол на голове теши. «Динариа дел Русиа ченто рубла» [1], — говорит банкир, глотая слюнки и показывая вам сотню. Вот и приходится лежать

---

[1] На русские деньги четыре рубля *(итал.)*.

в пансионе без солнца, а это скверно, скверно, Динезон. Нужно солнце, солнце нужно.

Второе, душа, вы сами знаете, — это мои детища, мои сочинения, они должны быть мои и ничьи больше... Был бы я здоров, я бы своими силами постепенно выкупил их из рабства *. Но где же взять здоровье? Здесь, в раю, в котором я нахожусь, можно окончательно выздороветь только при помощи воздуха, солнца и хорошего питания. На все это нужны деньги, деньги, деньги. А все мое достояние пока составляют лишь огорчения и прошлогодний снег. И все-таки ничего, не надо падать духом, как вы говорите.

Вы меня достаточно знаете, меланхолией я не страдаю. Я, пожалуй, полная противоположность вам, Динезон. Вы вздыхаете, рыдаете, обливаетесь слезами, а кончаете ласковым словом, доброю надеждой. И читатель уходит от вас умиротворенный, в несколько размягченном состоянии, но довольный, счастливый, согретый, обласканный и утешенный наилучшим образом. Я же наоборот — ха-ха-ха да хи-хи-хи, всегда живой, всегда веселый, и, глядь, ущипнул, уколол, сжал сердце в комок, а там — вздох, стон, слеза и снова ха-ха-ха и опять хи-хи-хи, но, расставаясь со мной, читатель, мне кажется, чувствует себя немножко того... И, наверно, про меня говорят: «Вот бездельник, а? Что вы скажете? Будто ничего... А как подумаешь... черта его батьке!»

Но вернемся к началу. Вы хотите знать, как я себя чувствую? Пока, благодарение богу, так, что и врагам не пожелаю. Кашляю ли я? Еще бы! Желаю Крушевану * так кашлять хотя бы года три с хвостиком. Болит ли голова? А почему бы ей, собственно, не болеть? Иногда больше, иногда меньше — не от меня зависит. Голова — своенравное создание, это все знают. Температура? Ничего! Должна быть 36 с чем-то или без чего-то. А у меня — 37 и того больше. Спасибо, что не 38. Аппетит? Кто этим интересуется? Интересоваться-то интересуются, еще как! То и дело суют кашу, молоко, яйца! Сколько вы думаете яиц? Шесть яиц, семь яиц, восемь яиц, девять яиц, десять яиц, — во имя бога, оставьте меня в покое! Вы ду-

маете, это все? Так нет же, потрудитесь еще похлебать молока, да масло глотайте, да кашу жрите, наполняйте кишки, набивайте их, дабы червям было чем питаться лет этак через сто двадцать...

Как я себя чувствую? Дай бог Пуришкевичу! Я чувствую себя так, как должна себя чувствовать телка, которую вскармливают не просто так, а с задней мыслью; как стреноженный конь в чужом овсе; как кот, который смотрит на масло, накрытое стаканом; как связанный петух; как верный пес, потерявший своего доброго хозяина или, — погодите-ка! — как еврейский писатель, который отбарабанил 20 лет, стал кашлять кровью, да убережет вас от этого господь, и как раз к юбилею завезли его куда-то там в Италию, забрали перо из рук и стали ему твердить: «Побольше воздуха, побольше солнца! Ешь, ешь, ешь!»

Ваш благодарный друг

Шолом-Алейхем.

№ 28

И. РОЗЕТУ*

Нерви, 8 ноября 1908 г.

Май дир френд[1] Розет! Ай тенк ю вери мач[2] за портреты, за почтовые открытки и за ваш поздравительный стих. Надеюсь, что вы олл райт и ваши бизнесы хороши. У меня это идет номером хуже. Мне еще не разрешают писать письмо пером и чернилами, и поэтому прошу вас экскюзить[3] меня, что пишу вам карандашом. Благодарение богу за это. Было время, — и совсем недавно, — когда я одной ногой был на том свете. А сегодня меня уже тянет писать фельетоны, рассказы, комедии, но, увы, друзья не дают! Бог создал жену затем, чтобы морочить нам голову

[1] Мой дорогой друг *(англ.)*.
[2] Благодарю вас *(англ.)*.
[3] Простить *(искаж. англ.)*.

бифштексами, молоком и яйцами, причем только сырыми и во множестве. Гулять она велит по берегу моря и на солнце, а солнце здесь, Розет, не то, которое светит притворно, греет холодной усмешкой, а настоящее солнце, сияющее светом первых семи дней творения. Оно ласкает и греет, как мать, а воздух, друг Розет, струится сюда прямо из рая. И вот тут, у моря, на воздухе, под этим солнышком гуляет ваш больной Шолом-Алейхем с карандашом в руках и пишет свои историйки (одну вы скоро получите, если потрудитесь написать в Варшаву доктору Левину, Лешна, 34. Рассказ называется «Шмуел Шмелькис из Касриловки и его юбилей»). Пришлите мне, если возможно, почтовые открытки с моим портретом и передайте привет всем интересующимся мной. Напишите мне лэтэр[1]. Гуд бай.

Шолом-Алейхем.

№ 27

М. Н. СЫРКИНУ*

Нерви, 6 декабря 1908.

Милый дорогой Сыркин!

Мы только что получили ваш весьма дружеский адрес, который вы написали, а пьяная братия подписала. Представляю себе, сколько было выпито водки. Пусть ее столько достанется всем нашим врагам вместе с Пуришкевичем, скажем даже, на один завтрак. Жалко вам, что ли? Адрес растрогал меня до слез. Это ведь Киев, а Киев — это ведь мой город. Можно пожелать нам обоим, мне и вам, иметь то, во что мне обошелся Киев. Быть всюду на моем празднике немыслимо, но то, что я не мог быть в Киеве, нагоняет на меня тоску! Что же касается самого вечера, должен вам правду сказать, — я никоим образом не ждал и половины того. Я лично считаю это необычайным успехом. А что творилось бы, если бы вам предо-

---

[1] Письмо *(англ.)*.

ставили там немного больше свободы! Если бы вам дали, к примеру, держать речи на Подоле и на Демиевке, а доктору Лиокумовичу — читать меня на еврейском языке! Но не будем говорить о грустных вещах. Подождите немного, — взойдет еще когда-нибудь солнце и на нашей улице. Вы ведь не любите, когда вас благодарят, — передайте же привет моей старой знакомой, с которой я был знаком еще до того, как вы надели ей на палец обручальное кольцо, ущипните вашего наследничка в щечку и напишите мне, везет ли вам в карты, в «шестьдесят шесть»? Доктора Элиашева я уже пригласил сюда на хануку. Сорвитесь-ка и вы сюда, в Нерви, и мы втроем, скинув сюртуки, в одних арбеканфесах будем резаться на балконе в «пятьсот одно» всю ночь напролет.

Ваш друг *Шолом-Алейхем.*

№ 28

ОДЕССКИМ ДРУЗЬЯМ

Нерви (Италия), вилла «Бриано».

6 декабря 1908.

Дорогим друзьям, избранным и могущественным и т. д., и т. д.! Дедушке реб Менделе, льву среди нас, Бялику, Левинскому * и Равницкому — привет!

По каллиграфическому почерку, по бисерным буковкам а-ля Абрамович вы можете догадаться, что Шолом-Алейхем больше на этом свете, чем на том. Не день ото дня, а час от часу я чувствую себя все лучше и лучше. За те несколько недель, что я здесь, в благословенном городе Нерви, я прибавил почти четыре кило, то есть десять фунтов. Десять фунтов мяса. Скажите «не сглазить бы», сплюньте три раза и покажите мне за глаза кукиш...

Как человек практичный, который когда-то, не в пример теперешнему, делал дела, я подсчитал, что если так пойдет дальше, то мне не останется желать ничего лучшего. Расчет как на ладони: десять—пятнадцать фунтов в месяц, вот вам и сто восемьдесят

фунтов в год. Фунтов сто пятьдесят я весил раньше, значит, мы имеем на круг триста тридцать фунтов, или восемь пудов и десять фунтов. С таким весом мне уже незачем писать или выступать с публичными чтениями, достаточно показываться перед публикой! Это намного легче, чем писать или выступать. Да и публике тоже интереснее посмотреть на *крупного* писателя, чем слушать его. Что же касается Америки, то там можно золото загребать. Я уже и рекламу придумал:

!Чудо чудес!
!Приходите! Валите толпами! Смотрите! Любуйтесь!
!Самый крупный юморист в мире!
!Весит триста тридцать фунтов!
— Шолом-Алейхем! —
...Вход один доллар...
!Спешите! Передайте друзьям!

Теперь давайте прикинем, сколько можно на этом заработать. Предположим, что во всем мире десять миллионов евреев. Не будем обольщаться. Допустим, что лишь один из ста захочет посмотреть на крупного юмориста, и то вы имеете сто тысяч долларов. Тогда уже незачем ждать, пока еврейская община преподнесет тебе имение *, можно самому купить целых два имения. Мы с вами знакомы, кажется, не день и не два, и вы прекрасно знаете, что я не фантазер какой-нибудь, упаси бог. Я люблю, когда расчет ясен, подан на тарелке. С таким расчетом можно прожить в Италии не одну зиму. А больше мне вам нечего писать, то есть я бы многое мог написать, но мне не дают. Помимо врача, бог наградил меня еще и домочадцами, которые берегут меня как зеницу ока (нехорошо быть зеницей ока!), дрожат надо мной, как над стеклянной пасхальной посудой, не допускают, чтобы я склонялся над столом больше получаса в день, и гонят меня или на солнце, которое по целым дням купается в море, или есть. Ох, эта еда меня в могилу вгонит. Она у меня уже под ложечкой стоит (да убережет вас от этого господь!). Душа из меня вон, а они — знай одно: есть! есть! есть!

Таким образом вы думаете, что я уж и не пишу вовсе. Столько бы болячек на кончик языка нашим злопыхателям и столько бы нам с вами тысяч, сколько строк я здесь написал. В скором времени, бог даст, вы будете читать мою небольшую книжонку * сразу на трех языках: на еврейском, древнееврейском и русском. Надеюсь, она доставит вам удовольствие, и вы скажете, что Шолом-Алейхем остается

Шолом-Алейхемом.

О главном забыл: пусть вас не удивляет, что я не выступаю в газетах с благодарностью за оказанную мне честь. Я уже несколько раз собирался это сделать, но что ни день поступают все новые поздравления, письма, адреса, телеграммы. По не зависящим от них обстоятельствам, многие города не успели освятить луну *, некоторые собираются в праздник хануки есть в мою честь оладьи. В Америке тоже готовится к тому же времени большая шумиха. Там во главе Давид Пинский *. Авром-Эля *, очевидно, опоздал, хотя я получил от него несколько очень горячих писем из Карлсбада, Берлина, Парижа и других городов, в которых он побывал. Ну-ка, соберитесь с силами все четверо, купите в складчину марку и напишите письмецо вашему лучшему и верному другу

Шолом-Алейхему.

№ 29

СЫНУ МИШЕ

Нерви, вилла Бриано, 8/XII 1908.

Дорогой Миша! Заниматься переводами достаточно сложное дело. Тем не менее нельзя знать заранее, кто хорошо и кто плохо переведет. Многое зависит от таланта, но еще больше — от опыта, навыка и, по моему мнению, все зависит от желания. Даже то, что люди видят во мне талантливого, я называю исключительно желанием, настойчивым желанием.

Переводчик, кроме того, что он знает и понимает оба языка, должен сильно желать хорошо переводить. А чтобы желать, требуются усилия. Прежде всего надо вдуматься в оригинал. После того как перевод уже сделан, нужно тщательно проконтролировать каждую фразу: говорят ли так, пишут ли так по-русски. Каждый язык имеет свои идиомы, которых сразу не перевести. Надо искать соответствующие эквиваленты. Примеров имеются тысячи. Я приведу тебе по меньшей мере один:

По-еврейски: от спешки ничего хорошего не получается; по-русски: тише едешь — дальше будешь.

Или еще пример.

По-еврейски: вот ты и имеешь! По-русски: вот тебе на!

И еще. По-еврейски: ну и сбегал же по порученьицу!

По-русски: попал пальцем в небо.

По-еврейски: и не начинается!

По-русски: ничуть не бывало!

При встрече с трудными идиомами я всегда готов тебе помочь. Начинай! Мы еще не раз будем беседовать об искусстве перевода. Меня это будет радовать не только с точки зрения заработка, но и по многим другим мотивам. На днях пришлю тебе кое-что для дебюта. Целую тебя.

Папа.

P. S. Прежде всего ставлю условие: всегда, даже в черновиках, писать четко и ясно. Эта ясность сообщается и мысли. Пойми это.

№ 30

И. РОЗЕТУ

Милый друг Розет!

Вы, конечно, еще не получили мою благодарность за ваши открытки? Ну, примите же ее сегодня, когда мне, слава богу, немного лучше и я могу уже ходить

один, без провожатого, уже могу выводить буковки тоненьким перышком... Программки киевского вечера, вижу, у вас напечатаны. В «Киевских вестях» читаю, что ваши открытки полностью распространены, и меня радует, что мой литературный вечер связан с именем того, кто остался мне так дорог и перед кем я, бывало, изливал свое наболевшее сердце в те времена, когда все держались за бока, читая мою писанину. Помните те времена? Но прочь сетования! Живу, выздоравливаю и пишу уже второй и третий рассказ, а в голове роится еще множество рассказов, и все они жизненно-трагичны и горестно-веселы, и хохочется сквозь слезы, и плачется сквозь раскатистый смех, и тянет меня домой к свирепой мачехе, к бедненьким родненьким братьям и сестрам, томящимся в изгнании, в изгнании, в изгнании... Мир вам.

Шолом-Алейхем.

P. S. Напишите мне, прошу вас, исчерпывающий отчет о вечере и обо всем, что может интересовать меня в далекой Италии.

11 декабря 1908.

№ 31

СЫНУ МИШЕ

(Нерви) 10—23/I 1909.

Дорогой Миша!

По правде говоря, мне твои оба письма не нравятся. В первом письме ты излагаешь какую-то скептическую чайльд-гарольдовскую философию безысходности. В сегодняшнем письме ты подводишь итог своим занятиям за минувшие годы и приходишь к выводу, что до золотой медали тебе не дотянуться. Разве дело в медали? И разве медалисты имеют гарантию, а не медалисты разве непременно останутся вне стен университета? Речь идет о том, что ты должен стараться получить как можно больше пятерок и ни одной двойки. Об университете пока забудь.

Думай только об аттестате, причем о хорошем аттестате, вот тебе и вся философия. Что же касается разочарования, — плюнь на него, не читай современных идиотов, читай лучше классиков. Весь поток современного литературного декаданса (в особенности российского) очень скоро минет! Жаль, что ты не прислал мне копию твоего перевода прежде, чем отнес в редакцию. Но раз отнес, то — пропало. Я просил тебя достать «Киевскую мысль» и непременно прислать мне. От Наташи и от М. С. мы почти ежедневно получаем письма из Ниццы.

Твой па[па].

№ 32

А. Л. ПРИЦКЕРУ ДЛЯ Н. Е. МАЗОР

4. II. 1909.

Дорогие Моисей Савельевич и Наталья Евсеевна!

Вы, стало быть, объездили мир. Были в Париже, теперь вы в Берлине. Я особенно рад, что Наташа в конце концов увидела мой Париж, которым я так горжусь. Надеюсь, Моисей Савельевич, что тебе показали там все, начиная от Лувра и кончая Гранд-оперой. А бульвар? А кафе по вечерам? Ах, Наташа, Наташа! Как жалко выглядит теперь Киев после блестящего Парижа и после чистенького Берлина! И все-таки, если бы мне предложили выбрать один из этих трех городов, я остановился бы только на Киеве, хотя он и не так благоухает и не так благоустроен. И чем чаще я слышу, что мне придется оставаться здесь не один сезон и не один год, тем больше меня тянет туда, *домой*... До сегодняшнего дня я себя чувствовал превосходно, много гулял по взморью и еще больше писал. Сегодня же подскочила температура, но это — мелочь. Кашляю гораздо меньше. Аппетит есть. В весе я прибыл. Чего же еще нужно? Погода у нас — просто очарование. Запахло маем. Вчера я написал вам в Киев, писал и по поводу «первофев-

ральской» лжи в виленской «Идишер цайтунг» о моем юбилее в Филадельфии. Это еще остается загадкой по сей день. Кончаю мое письмо приветом многоуважаемой Анне Львовне и желаю вам и ей всего наилучшего.

Ваш Соломон Рабинович.

№ 33

Н. Е. МАЗОР

(Нерви) 24. 2. 09.

Дорогая Н. Е.!

Мы теперь переживаем здесь какое-то подобие зимы. Вчера ночью температура была 10° (ниже нуля. Днем — 5°). Кутаемся теперь в перины и т. д. Видимо, русские снежные завирухи сказались и на нашей атмосфере. Тем не менее завтра у нас может быть очень жарко, вот ведь, к примеру, вчера днем на солнце было больше 25° тепла.

Вчера и сегодня мы получили из Варшавы два письма, которые я отсылаю вам. Для того чтобы вы их поняли, мне нужно рассказать вам все детали. Как вы знаете, с главным издателем, с Лидским, уже уладили (он издал два юбилейных тома по 1 рублю и около 30 небольших брошюр, которые расходятся очень хорошо). Ему уплатили 2700 рублей за все права на 75 печатных листов за 1000 экземпляров этих двух томов. Эти самые экземпляры и брошюры упакованы и ждут дальнейших результатов переговоров с другими двумя издателями. Один из них («Тушийо») уже сдался. С ним уладили на прошлой неделе. У него отобрали первые, уже давно изданные, четыре тома и все права. Сколько комитет уплатил этому «Тушийо», мне не пишут. Таким образом, комитет имеет в своем распоряжении 6 томов и около 30 брошюр, то есть, не считая книг, матриц-стереотипов; все, стало быть, было бы очень хорошо, не будь здесь небольшой беды. Беда такая: дело с обоими издателями будет считаться улаженным при условии,

что и третий издатель (Кринский) отступится от своих прав, которые он получил в качестве компаньона на 20 листов прозы (небольшими брошюрками) и 10 листов драматических произведений. И вот, представьте себе, что именно Кринский — это такой орешек, который не дает себя раскусить. Вы это увидите из писем доктора Левина и Динезона, посылаемых мною. А почему он не сдается — вполне понятно. Я знаю, к примеру, наверняка, что одна брошюрка «Дядя Пиня», выдержавшая много изданий, дала ему не меньше 3—4 тысяч. Кроме этой брошюры, он издал еще 20 брошюр, из которых иные выдержали 3—4 и 5 изданий. Итого они, по моим подсчетам, за 4 года дали ему 12—15 тысяч прибыли, часть которой должна принадлежать автору. В действительности же автор по сей день не только не получил ни одного сантима из прибыли, но даже гонорар и тот ему еще не весь выплачен (по договору я ему уступил на 20 лет право издавать 20 листов прозы с гонораром по 20 рублей за лист, и 10 листов драматических произведений — по 40 рублей за лист, кроме того, я получаю первые 10 лет по 10%, а вторые 10 лет — 25% прибыли). Целых три года я требовал у него гонорар с процентами, но он мне ни разу не ответил. Теперь он представил комитету отчет, по которому он якобы заработал всего-навсего 5200 рублей, причем он считает, что чистой прибыли тут только 50%, то есть 2600 рублей, из которых, по его признанию, мне причитаются 260 рублей, а кроме того, еще рублей сто гонорара. Но не в этом дело. Несчастье в том, что он не хочет расстаться с изданием. Он требует много тысяч отступного; комитет, по-видимому, растерялся, потому что с этим господином связано все дело по выкупу моих произведений. Это вам — раз. Во-вторых, вот уже два месяца, как продажа книг и брошюр по нашей вине почти полностью остановилась. Мы упускаем золотое время! Но... Тут идет хорошее «но». В моем контракте с этим самым господином (этот контракт мой где-то в пути среди бумаг, следующих из Варшавы в Нерви уже больше месяца) имеется среди прочих и такой пунктик, который гласит:

«Если автор продает *полное* собрание своих сочинений, он, Кринский, обязан уступить по той же цене и его 30 листов и все права» и т. д. Таким образом, я могу продать полное собрание вам или комитету, третьему, четвертому, скажем, по цене в 10—15 рублей за лист и за какие-нибудь три-четыре сотни рублей ликвидировать с ним все дело. Останется только выкупить у него остаток экземпляров согласно оценке или по взаимной договоренности, а также и стереотипы. Так что мы его аппетит немного умерим. Остается один вопрос: как это провести? Пока я об этом пункте написал комитету. Но ведь комитет это всего только комитет. Если бы я уже был вполне здоров, Ольга съездила бы сама в Варшаву. Необходимо послать ему нотариальное извещение, во-первых, о расторжении контракта за невыполнение элементарных условий Общества. Во-вторых, о продаже *полного собрания* и т. д. (как сказано выше). Жаль, что Варшава так далеко от Киева. Иначе Наташа могла бы много помочь, и вы, Моисей Савельевич, тоже не отказались бы помочь комитету своим добрым советом. Если даже передать это дело третейскому суду, то некому выступить за меня. А хуже всего, что этот субъект тормозит выкуп, а также распродажу книг. Не могу выразить, сколько волнений и страданий я испытываю от всего этого. За последние 8—10 лет люди заработали на моих произведениях десятки, да, десятки тысяч рублей, а я получил всего-навсего жалких несколько сот рублей!!! К тому же я преступно отнял у моих детей единственное достояние, которое может остаться после меня... Все это сделала нужда, державшая меня словно железный обруч все эти годы моей неудачливой жизни... Простите, дорогая, что я вторгся к вам с моими «гешефтами». Хотелось излить душу, и все. Письма, которые я при этом посылаю, прошу вас сохранить. Обнимаю вас и целую ваших детей.

Ваш *Соломон*.

№ 34
МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМУ

Нерви, 20 февраля — 5 марта 1909.

Моему милому и дорогому Дедушке реб Менделе Мойхер-Сфориму, да сияет светоч его.

Из всех благословений и подарков, которых я удостоился на моем литературном празднестве, этот подарок несомненно самый лучший; я имею в виду машинку, на которой я выстукиваю, Дедушка, мое первое вам машинное письмо. Врачи мне категорически запретили писать, иное дело — машинка. Сидишь, понимаете ли, удобно расположившись, как король за пасхальной трапезой, и постукиваешь. Истинное, говорю вам, наслаждение!

Словом, как же вы поживаете? Главное, как ваше здоровье? Я, благословен господь, как говорят в Америке, — олл райт! Главное, что от смертельной опасности я, слава богу, ушел. Подумываем уже о чем-нибудь послекурортном, то есть, когда лето здесь закончится, — примерно в мае, — уехать искать другое (несколько более прохладное) лето, где-нибудь в Швейцарии или даже в нашей России, быть может, в лесу и возможно где-нибудь неподалеку от вашей Одессы — все это зависит не от меня, а от врачей. Во всяком случае, в Америку уже не так скоро. Ну, а раз не в Америку, значит, есть какая-то надежда, что мы с вами, бог даст, свидимся. Скорее бы, с радостью в сердце, да обновятся наши дни, как в былые времена... Если вам не лень, Дедушка, напишите когда-нибудь письмо. Не ищите себе оправдания в том, что раз у вас нет машинки, то вы свободны от писания писем. Наоборот, ваше письмо имеет наибольшую ценность именно потому, что оно написано вашей рукой. Пропади все машинки, кроме моей, за одно ваше собственноручное письмо с вашим редкостным очаровательным жемчужным почерком.

Ну, будьте здоровы вместе со всеми, всеми вашими! Ваш внук

Шолом-Алейхем.

Моя жена просит передать вам привет, написанный именно моей рукой, а не на машинке. Она не в восторге от нее. Она утверждает, что машинка это — тело без души. Если я когда-нибудь, говорит она, уеду и стану писать ей письмо, чтоб я не смел писать его на машинке. Она отошлет мне его назад. Так она говорит. Посмотрим!

Ваш *Шолом-Алейхем.*

№ 35

Я. ДИНЕЗОНУ

Нерви, 27 марта 1909.

Дорогой, хороший, милый Яков Динезон!

Узнали вы бумагу? Это — ваша. Имеется, слава богу, и в Италии бумага. Но бумага *Динезона* совсем не то. Есть и чай в Италии. За деньги можно достать все. Но чай *Динезона* имеет совсем другой вкус. Мы уже вчера пили чай Динезона за столом со всеми детьми. Маленькая Тамара тоже была. Она не знает дядю Динезона. Но скоро узнает, что где-то в каком-то городе Варшаве на Дзельной улице живет маленький, худенький, бледненький, с маленькими, но чистыми ручками, с маленькой седоватой бородкой, — была когда-то рыжеватой, — с хорошими, всегда улыбающимися, даже когда он плачет, глазами, всегда тщательно одетый, маленькие сапожки блестят, папироски курит собственные, своими маленькими пальчиками свернутые, чай пьет собственный, им самим в своем чайничке заваренный, и всегда на одном и том же стуле сидит он за столом, где всегда лежат в необычайном порядке скрытые чужие тайны, чужие беды, чужие боли, которым он отдал большую часть своего необыкновенного большого сердца, — и звать этого самого доброго дядю: *дядя Динезон...* Из этого вы должны понять, что у нас теперь гость, — вы знаете, конечно, кто этот гость. Если я вам, к примеру, выскажу сотую долю того, что питает к вам мое сердце, то знаю, это было бы большой профана-

цией. Если мне будет суждено прожить несколькими годами больше, чем я полагал, я смогу не колеблясь сказать, что в этом *вы повинны*, вы и все остальные друзья, сделавшие столько, чтобы осуществить вашу идею «выкупа пленных» *. Мое выражение благодарности вам отложу до поры моего пребывания в Варшаве в полном здоровье. А пока хочу передать вам привет и братский поцелуй от меня и от всех моих — и тех, кого знаете, и тех, кого еще не знаете.

Ваш *Шолом-Алейхем.*

№ 36

ПРИЯТЕЛЮ *

Дражайший друг!

Бог велик, одной рукой он карает, другой исцеляет. «Не карай меня и не исцеляй меня» — старая глупая претензия. Бог карает, дабы иметь, что исцелять. Я был наказан по дороге из Италии в Швейцарию (как я вам уже писал). Зато я получил исцеление здесь, в санатории, в Шварцвальде. Если не полное исцеление, то по крайней мере есть надежда на будущее. Лето еще впереди, лес достаточно зелен. Можно лежать да лежать. Немцы знают только одно лечение — лежать. Больные с утра до поздней ночи лежат под открытым небом на свежем воздухе. Встают только для того, чтобы поесть и погулять. Не всякий, однако, удостаивается прогулки. Для этого отводятся считанные часы. И если вы ведете себя прилично, то есть лежите хорошо и едите хорошо, вы получаете добавку — еще несколько минут в день. Я здесь, очевидно, из пай-мальчиков. Я, по милости божьей, так пришелся по душе докторам, что мне дали целых два часа для прогулок и всего лишь восемь часов для лежания (не считая десяти часов, когда полагается спать). Сейчас подсчитаем: если отнять три часа на еду, то увидим, сколько остается для писания. И что же? Бог милостив! Я догадался уворовать у врачей (немецких!) из восьми лежачих часов пять-шесть часов для писания. Вы спросите, каким образом? *Я пишу*

лежа. Как можно писать лежа? Не спрашивайте, да сохранит вас от этого господь! Я не враг вам, но если вас уложат и прикажут лежать, вы научитесь писать лежа. Увидите, что это вовсе не так трудно. Наоборот, даже приятно. Только бы кашель не докучал. По всему этому вы можете судить, любезный друг, что дела мои, слава богу, неплохи, хотя могли бы быть и лучше... Итак, скажем: «Все к лучшему». Вы ведь знаете: «все к лучшему» — мой девиз. Передайте же это всем друзьям вместе с наилучшими пожеланиями, будьте здоровы и пишите письма.

Шолом-Алейхем.

1 июля 1909, санаторий Сент-Блазьен.

№ 37

МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМУ

Блазьен (Шварцвальд), 7/20, VII. 1909.

Здравствуйте, дорогой мой Дедушка!

Тот, кто почитает старших, не станет сводить с дедом счеты — ты мне писал, я тебе писал... Когда я доживу до ваших лет (что-то не верится!), я от своих внуков тоже буду требовать, чтобы они мне уступали. Я увлекся, как видите, вопросами, касающимися вас, а пишу вам, как поживаю я. Слава богу. Вначале, когда я из Италии прибыл в Швейцарию, поживал я не весьма хорошо. То есть совсем-совсем нехорошо. Ха-ха, мне повредила Швейцария! Не смешно ли? И меня переправили сюда, тут я начинаю выздоравливать, и по-настоящему. Послушайте только: я уже купаюсь в холодной воде, как и вы, ежедневно. Так немцы лечат легочных больных. Они полагают, что это новинка. Не знают (ослы!), что Дедушка Менделе лечится этим способом вот уже лет 40. Словом, все в порядке. И аппетит уже появился. И температура — так, пустяки, а кашлять — ни-ни! Пусть наши враги кашляют, если им хочется. А ходим мы здесь потихонечку и понемножечку, но уже в гору без палки. Все дело только в том, что они не говорят, сколько времени

еще придется здесь пробыть и когда уже можно будет уехать *домой,* я имею в виду именно домой, пусть в Одессу, пусть в Варшаву, только бы перестать заниматься легкими и печенью, желудком и нервами, — тьфу, осточертело! Но должно быть, нет, не так скоро. На зиму они посылают меня еще выше. На какую-то гору в 2000 саженей высотой. К чему это? Подите спросите их. Словом, вы уже все знаете. А теперь послушаем вас. Как вы поживаете? Вы поселились на лето под Вильно. Не плохо. Я там был. Конечно, с Женевой не сравнить, но это лучше, чем жариться на камнях в Одессе. Привет вам от меня, моей жены, моих детей. А я просил, чтобы спекторскую «Найе велт» * высылали вам в Одессу. Я не знал, что вы теперь виленский житель...

Ваш очень любящий внук

Шолом-Алейхем.

№ 38

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ДИ НАЙЕ ВЕЛТ»

Лугано, отель Регина, 10 сентября 1909.

Многоуважаемые друзья Спектор, Загородский, Милштейн! *

По словам моей жены, вы ждете от меня непременно романа и считаете, что он необходим для дела. Так знайте же, что в интересах вашей газеты и в интересах дорогой нам литературы я готов исполнить ваше желание. Пора, право, произвести дезинфекцию в литературе, чтобы лицо не пылало от стыда из-за того, что мы дожили до пресловутого американского вкуса, из-за бульварщины, которую мы с таким трудом выкурили во время оно, двадцать лет назад. Я и сам ощущал потребность написать еще один роман после «Стемпеню» и «Иоселе-соловья», и тем закончить свою трилогию, как обещал когда-то (если не ошибаюсь, во вступлении к роману «Иоселе-соловей»). Там я говорил, что мой третий «герой» будет уже не свадебным музыкантом и не кантором, а чем-

то больше, человеком более тонкой души, — артистом или художником. За истекшие двадцать два года обстоятельства, естественно, сильно изменились. Возникли новые идеи. Появились новые кумиры. Народились новые типы. Короче, я нисколько не раскаиваюсь в том, что не поторопился с третьим романом. Было бы куда лучше, если бы и те романы я написал теперь, а не тогда, они выглядели бы совсем по-иному. Ничего удивительного, что мой новый роман * резко отличается по своему построению от тех двух. Я вовсе не собираюсь приспосабливаться ко вкусам улицы, лишь бы сделать его интересным и увлекательным. Но по самому существу своему это увлекательная история, роман, полный поэзии, а также жизни, действия и, само собой, всевозможных картин и образов, — все в юмористическом плане, иначе я уже не умею, если бы даже и захотел стать плакальщицей. Я собираюсь осветить в своем произведении жизнь определенного круга в России, а затем в Америке. Фундамент моей постройки в нашей стране, а завершение свое она найдет в Америке — там происходит развязка. Пишу вам обо всем этом весьма приблизительно. Пока еще не могу дать вам ни названия романа, ни конспекта его содержания, но, во всяком случае, вы о нем уже знаете и можете даже выпустить первую ласточку (анонс!), но с толком. И всевышний, который дал мне силы до сих пор писать лежа или полулежа, с трудом и мучениями, и впредь меня не оставит, ибо писание — это единственное мое лечение, без него я бы давно уже очутился... ого-го!.. Да будет вам известно, дорогие друзья мои, я надеюсь — и *очень хочу этого,* — что мой роман сделает эпоху в нашей литературе и вместе с тем побьет рекорд в привлечении широкой публики. И пусть нашими руками исполнится завет: «Искорени зло в себе», и без ругани, болтовни и пустой полемики, а мирно, на самый благородный манер, чтобы читатель и смеялся, и наслаждался, и хотел бы знать, что будет дальше. Аминь!

Ваш покорный слуга

Шолом-Алейхем.

№ 39

Н. ЗАБЛУДОВСКОМУ*

Санаторий ст. Блазьен, Шварцвальд.
12 сентября 1909.

Добрый, добрый друг. Нойах Заблудовский!

Благословен воскрешающий мертвых, — вы, благодарение господу, живы! Откиньте прочь меланхолию, мрачность духа не к лицу хасиду из наших хасидов...

Хотите сделать богоугодное дело? Так и быть. Почему бы нет? И вот вам тут же исполнение вашего желания: как я понимаю, вы едете просто так, пускаетесь в прогулку, удовольствия ради, в путешествие по «черте». Очень хорошо. Вы можете быть полезны и себе, и мне, и литературе вообще. Любопытствуете, каким образом?

Поскольку вы знаете, я теперь вроде путешественника, коммивояжера по всем местам, где обретаются евреи (смотри «Найе велт»). Так вот, быть может, вы смогли бы проделать следующее: прислали бы мне материал (сырье) из Гомеля, из Витебска, из Белостока, — откуда хотите, но такой материал, который мог бы послужить мне для моих «Железнодорожных рассказов». Тут должны быть типы, встречи, события, происшествия, злоключения, удачи, разные случаи, любовные истории, свадьбы, разводы, вещие сны, банкротства, празднества, — упаси боже, похороны, — одним словом, все, что видите и слышите, или видели и слышали, или услышите в пути, в гостинице, где хотите. Одно только хочу подчеркнуть: никаких вымыслов, только факты и факты! Жизнь богата фактами, полна курьезов, кругом множество несчастий, море слез, которым, пройдя через мою призму, не миновать обернуться смехом, они станут яствами в моем вкусе... Возьмите, к примеру, рассказ номер шесть — «Могилы предков». Это подлинная трагедия, материалу в нем для модернистского романа на полгода. И все же, как он короток, как безыскусствен! Словом, вы должны меня понять. Само собой разумеется, вашего имени я не назову, а покажу вас толь-

ко в такой роли, как, например, в рассказе номер восемь «Чудо в седьмой день кущей» (выйдет к празднику кущей). Там у меня изображена встреча с гайсинским купцом. А ваши рассказы будут у меня воспроизведены в виде новой встречи с другом инкассатором Нойахом Элькесом, или подберите себе сами какое хотите имя. Понимаете? Я, Шолом-Алейхем, коммивояжер, встречаюсь в поезде с вами, инкассатором, и вы мне рассказываете историю за историей.

Не старайтесь писать так, чтобы уже было готово к печати. Только разборчиво и на одной стороне листа.

И еще одно: названия городов и имена людей должны быть подлинными. Я их сам уже переиначу там, где надо. Пойдет дело или нет? Ответьте.

Как прежде, ваш

Шолом-Алейхем.

№ 40

МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМУ

Монтре (Швейцария), Гранд Ри, 93.
15 октября 1911.

Уже несколько дней, Дедушка, собираюсь написать вам и все откладываю со дня на день. Во-первых, потому что я не могу решиться вдруг обратиться к вам с просьбой. Я никогда, кажется, не обращался к вам с просьбой. И, во-вторых, я болен не моей болезнью, благодарение господу, но от волнения. Это называется — я нервен. И изводит меня одна глупость, но так сильно, что ни за какое дело взяться не могу. Даже писать не могу, а это мне внове, как пьянчуге, простите за сравнение, которому вдруг опостылела водка, это — дурная примета. Но давайте-ка перейдем к «бизнесам».

У вас в Одессе кому-то вздумалось издавать еврейский листок. Ну что ж, пусть листок, кого это трогает? Так нет же, захотелось ему этот листок назвать не иначе, как «Шолом алейхем» *. Услышав об этом,

я тотчас же написал Равницкому и самому редактору и получил от них обоих письма, которые еще больше меня взволновали. Редактор позволяет себе насмешки. Он говорит, что лишь после того, как принял решение издать листок под названием «Шолом алейхем», он вспомнил, что существует писатель Шолом-Алейхем... Ну и совпадение, что и говорить! Излагать вам мотивы, по которым я не могу мириться с этим, считаю излишним, вы сами хорошо все понимаете. Но вижу, что все мои старания ни к чему не приведут, пока вы, и только вы, не окажетесь так добры и не придете мне на помощь. Вам нужно только позвать к себе этого редактора, его зовут Янкелевич. Его адрес: Пушкинская, 57. Подарите мне десять минут и переговорите с ним, я уверен — все будет сделано. Клянусь вам всем святым, я так пришиблен этим пустяком, что не знаю, как мне быть! Прошу вас, сделайте это ради меня. Ваше слово подействует лучше всяких переписок.

С любовью, ваш внук

Шолом-Алейхем.

№ 41

И. КОТИКУ*

Берн, 28. I. 13.

Вот мой теперешний адрес:
Линденгоф, Организация Красного Креста для ухода за больными, Берн, частная больница № 82.

Очень дорогой мой Котик!

Вы хотите получить от меня письмо, потому что оно для вас, вы говорите, праздник. Иду вам навстречу, но у вас будет, боюсь, омраченный праздник: пишу из больницы, куда я приехал умирать. Но, представьте себе, не так скоро умирает Шолом-Алейхем. И вот уж несколько дней, как мне вдруг даже лучше стало, и я еще смогу, кажется, закончить свою

автобиографию, которую начал писать в 1908 году, когда заболел туберкулезом в Барановичах, если помните. От туберкулеза я излечился: народ меня у смерти отмолил. Что теперь будет, — не знаю: пока мне лучше. Я уже кое-как передвигаюсь, но муки мои еще не кончились. Все же — пишу и пишу. А главное — хочу описать всю историю моей жизни. Она представляет некоторый интерес для литературы, потому что в ней проходят все наши писатели со всей их литературой. Простите, много я сегодня писать не могу. В понедельник мне было совсем плохо. В женевской синагоге молились. Конечно, Женева не Каменец, и не то богослужение; тем не менее и тут живут евреи, женщины, девушки, студенты и просто еврейская молодежь, которые не хотят, чтобы я вдруг взял да помер, и это придает мне силы. Но в конце концов разве что-нибудь поможет? Мне немного жаль литературу и немного жаль детей. Мои дети еще молоды. Сам же я смеюсь над этим глупым миром, верьте слову!

Пишите письма, старичок, и заканчивайте ваши книги!

Ваш *Шолом-Алейхем.*

№ 42

МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМУ

Линденгоф, Организация Красного Креста для ухода за больными, Берн, частная больница № 82.
Берн, 31. I, 13.

Дедушка! Дедушка!

Сегодня такой день, что мне полегчало и хочется написать вам несколько слов. Вы уже стороной узнали, что я очень, очень болен. Но меня обнадеживают, говорят, что я еще буду жить. Право, не так уж боюсь я смерти. Мне только жаль детей. Они меня странно любят. Моя Тиси, к примеру, ничего ни о чем не подозревает. Я пишу ей в письмах разные глупости о

Лозанне, а сам я в Берне, в клинике. Что со мной будет, не знаю. Но кажется, что у Смерти я выпросил отсрочку, и мы еще увидимся с вами в Одессе, и, ой, смеяться же мы будем! Будьте здоровы и излейте душу перед моим Берковичем. Он мне — родное дитя. Я давно уже должен был написать вам поздравление. Пусть ваши дети доставят вам столько радости, сколько мои — мне. Дайте мне вашу руку, Дедушка, и благословите меня!

Ваш первый внук *Шолом-Алейхем.*

№ 43

И. Д. БЕРКОВИЧУ

Берн, 1 февраля 1913.

Сын мой, дорогой мой Беркович! Прошлой ночью я одной ногой уже был в могиле. Оставался один шаг между мной и смертью. Я много кричал и еще больше плакал, что не увижу Тиси перед смертью. Но вот пришел профессор, сделал все, что нужно, и мне стало немного легче. Сегодня днем он еще раз придет сделать мне подкожное вспрыскивание, чтобы заглушить боль, пока природа будет делать свое. Но я не очень сильно верю в это... Может быть, я излечусь, а может быть, уйду в могилу. Очень страдаю при мысли, что не выживу и не увижусь со всеми вами. А вы, которые так привязаны ко мне, живите все. Вообще я не слишком огорчаюсь, что моя жизнь обрывается. Я достаточно жил, имел много почета при жизни да еще какое-то наследство после смерти оставляю моему народу, который я люблю великой любовью. Но эти юные агнцы, чем они согрешили? А агнцы еще очень юны! Тамара и Белла меня уж совсем не будут помнить; даже Нума не достиг еще совершеннолетия. А моя жена, любимая всей душой, — увы! — что с ней будет? Сегодня консилиум решит, что делать. Приведенные в твоем письме случаи с различными людьми, пережившими такие же боли, вызвали у меня смех. Ведь я всю ночь буквально землю грыз, мои

вопли доходили до неба. Передай привет моим друзьям Бялику, Равницкому и всем нашим близким. Мне очень обидно, что нет возле меня никого, кому я мог бы диктовать мои последние слова. Человек так глуп, что откладывает со дня на день свое завещание. Доктора уверяют меня, что есть еще надежда. Поживем — увидим. Пока пиши мне каждый день.

Твой отец, пишущий тебе с омраченным духом, но при ясном разуме.

Ш.

№ 44

ЕМУ ЖЕ

Берн, 26 февраля 1913.

Мой дорогой любимый сын!

Я больше не пишу тебе по-древнееврейски, — вдруг письмо попадет в руки Тиси. Я уже поднялся и буду сегодня гулять, и я уже снова стал человеком, и я уже громко смеюсь, и я уже снова надеюсь жить, и писать, и путешествовать, хотя лечиться мне еще, разумеется, надо. Но лечение можно продолжить дома, и моей радости нет предела, когда я вспоминаю, что всех вас увижу, и с Тамарой буду беседовать, и Беллу держать на руках, и с Тиси прогуливаться, и мои книги смогу читать, и даже бутылочку вина распить с добрыми друзьями, и публику, которая, кажется, немножко меня любит, приветствовать и смешить, — в общем, огромный мир передо мной открыт, а я ведь был на краю могилы, и повергнут в отчаяние, и почти готов распрощаться с солнцем, которое я так люблю, с небом, которое, я всегда думал, принадлежит мне, с землей, которая терпеливо носит меня, и с людьми, которых я почти всех считаю моими родными и близкими. Писать завещание я пока раздумал, и это глупо. Целую вас, Тиси и Тамару.

Твой отец *Шол.*

№ 45

ШРИРО*

6/IV 1913.

Мой друг Шриро!

Я обещал поговорить с вами о моей «Автобиографии». Дело обстоит так. Я давно уже хотел взяться за историю моей жизни. Кроме того, что она сама по себе занимательна, что она представляет собой роман о своеобразном Менахем-Мендле, который проделал путь из маленьких людей в большие, а из больших в еще большие, потом сорвался вниз, затем снова возвысился, но уже в другом мире и с другими интересами; кроме того, что герой моей автобиографии повстречался с разного рода типами, купцами, большими, малыми и средней руки, и с миллионерами и был с ними знаком совсем, совсем близко. Кроме всего этого, на моих глазах (и вместе со мной) выросла целая литература, наша еврейская литература. Целое поколение сочинителей, целая галерея писателей, больших и малых, молодых и старых, всяческих мастей и различных талантов — и все это мои хорошие знакомые, а некоторые — мои добрые друзья. «Ваша биография это — история нашей литературы, — пишет мне один молодой критик из новых. — Ваш долг как можно скорее взяться за работу. Это будет если не лучшее, то необходимейшее, и полезнейшее, а также удачнейшее из всего, что вы до сих пор писали». Теперь я взялся закончить то, что я уже давно начал, и мне кажется, что тот молодой критик, о котором я вам говорю, не ошибся. Боюсь, что это будет не только лучшая, но и единственная моя удачная книга.

А теперь начинается «история об истории», канитель на тему, «где печатать такую книгу»? В ежедневной газете нет места для такого крупного произведения. Толстых ежемесячных журналов у нас еще нет. Издать это произведение в виде книги у моего всегдашнего издателя — мне жаль моего гонорара.

Я ведь наказан богом согласно библейскому стиху: «И ты будешь жить мечом твоим» *.

Мой варшавский издатель обязан издавать только то, что ранее прошло в газете или в журнале. То, что я получаю от журнала, это — моя чистая прибыль. Книги — мой последующий доход. В данное время я веду переговоры с одним виленским предпринимателем, который предлагает сто рублей за печатный лист (в биографии будет от 25 до 30 листов), а я хочу 200 рублей за лист. И еще тут есть один недостаток: виленский предприниматель хочет печатать ее в своем ежемесячном издании «Ди идише велт» * 1 лист в месяц, это значит ни много ни мало — растянуть печатание на 2 или 2½ года. — Неудобно! Главное, чего я хочу, — чтобы биография была, поэтому надо ее закончить. Но так как я вынужден писать и другие вещи (очерки) для заработка (с пасхи в «Хайнте» * начнут печататься письма Менахем-Мендла к его жене Шейне-Шейндл), то я буду каждый день понемногу продолжать мою «биографию». Я называю ее здесь «биографией», а не «автобиографией», потому что избрал форму «биографии», то есть автор говорит с читателем о себе в третьем лице. Чтобы вы меня правильно поняли, посылаю вам отдельным пакетом первые несколько глав и прошу вас в свободный час дать себе труд просмотреть их, вдуматься и потом письмом высказать мне откровенно свое мнение, что вы думаете об этом? Не делаю ли я ошибки, придавая столько значения этой книге? Считаю вас лучшим критиком, не потому что вы критик, а потому что у вас глубокий и широкий взгляд на мир и на людей. Жаль только, что книга пока не сможет дать мне того дохода, который мне причитается по справедливости. Нет у нас литературы, как у других людей. Нет у нас меценатов, как у других народов. Я буду, вероятно, мучиться, но кое-как доведу книгу до завершения и в конце концов все-таки издам ее сам в виде книги, как давно печатавшуюся вещь, — что поделаешь?

В том, что вы мне эти главы вернете, я убежден после того, как вы мне вернули «Блуждающие звезды».

До вашего ответа на оба моих письма прощаюсь с вами и дружески целую.

Ваш благодарный друг

Шолом-Алейхем.

№ 46

ЕМУ ЖЕ

Лозанна, 30/IV 1913.

Глубокоуважаемый и дорогой друг Шриро!

Ваше любезное письмо от 6/19 апреля было мне переслано сюда из Нерви, — мы уже снова в Лозанне. Соглашаюсь с вами в том, что моя автобиография должна была бы быть более литературной. Этим вы, вероятно, хотите сказать, что я должен уделять больше места литературе и меньше говорить о себе. Так оно и будет. Пока ведь это только начало, описание моего детства. Птичка только вылупилась из яйца, — это еще только, как пишут в книгах, «эмбрион». Дальше все будет расширяться и углубляться, откроются новые горизонты, число типов и картин будет умножаться, как песок на берегу морском, а вместе с тем будет выясняться и личность автора, сначала как человека, потом как писателя. Так постепенно дойдем мы до самой сути дела, — до еврейской литературы с ее пророками и лжепророками, с ее ценными творениями и с гнилыми. Но не один литературный мир будет здесь фигурировать. Перед читателем пройдут, как в кинематографе, целые картины из купеческой жизни; вся биржа с ее настоящими и воображаемыми Менахем-Мендлами, которую я наблюдал в Киеве (Егупце) с тех пор, как мне было 23 года и до последнего времени. Развернется целая цепь движений нашей общественной жизни: хасиды, миснагды *, ассимиляторы, националисты, ховвейцион *, сионисты, территориалисты, социалисты — все, что пережил я сам. Все это не выдуманные, а живые люди, которых я прекрасно знаю и вижу насквозь, — словом, это будет не моя биография, а история всего нашего еврейского мирка. Попутно же выяснится и

моя фигура, — как человека и писателя, и если я местами (как, например, когда речь идет о Шмулике) и делаю сокращения, то только с одним намерением: не задерживаться долго на одном месте, а безостановочно идти вперед к настоящей цели. Но я не хотел бы, чтобы вы показывали рукопись чужим людям и моим землякам — воронковцам. Я доверил ее лично вам и никому больше, и ни одна живая душа не должна ее видеть, пока она не выйдет из печати.

А теперь о «деловой» стороне.

Я, конечно, с радостью принимаю ваше предложение. При моем теперешнем бюджете триста рублей в месяц — большой плюс. Но не будем говорить лишних слов. Не будете ли вы так добры распорядиться в конторе, чтобы ваш кассир каждое первое число переводил мне деньги по почте (или через банк). Пусть запишет у себя в книге мой адрес и пусть начнет высылать деньги с 1/14 мая с. г. и высылает их до 1/14 апреля будущего года. Потому что вы ведь еврей, заваленный делами, да еще, не в обиду вам сказано, рассеянный, если не такой рассеянный, как мой герой «Шахне» (см. в «Хайнте», в номере, вышедшем в канун пасхи, мой рассказ «Из-за шапки»), то по крайней мере, как Шриро из Баку, который пишет письмо, потом засовывает его в карман и носит с собой три месяца. Я же, со своей стороны, буду потихоньку писать автобиографию и отсылать вам главу за главой, и через год, надеюсь, то есть к концу апреля 1914 года, (а может быть и раньше), книга будет закончена. Принимаю я, само собой разумеется, и все ваши условия за исключением одного пункта, который может убить меня в смысле заработка. А именно: у меня с газетой «Хайнт» условие, по которому я не могу напечатать ни одной строки ни в одной варшавской газете, ни в одном журнале. В Вильне же я могу печататься в журнале (но не в газете) у того самого Клецкина, который предложил мне 100 рублей в месяц. Вы же пишете что-то о варшавских газетах «Момент» и «Фрайнд». Это совершенно невозможно. Яцкан меня за это убьет, да и вас пристрелит.

Будьте добры, когда начнете вести переговоры с издателями, напишите им, пожалуйста, что вы купили у меня мою книгу — автобиографию — в качестве мецената, хотите издать ее через их посредство и т. п.

То же можете вы сделать и с американскими жуликами. Предупреждаю вас, впрочем, заранее, что с этим народом вам ничего сделать не удастся, а если и удастся, то вы потом сами не рады будете. Они напечатают вещь, а потом за один доллар продадут обоих нас, и вас и меня. Они могут, например, как-нибудь ввезти книгу в Россию и создать, таким образом, конкуренцию русскому изданию, — словом, они будут вам делать всевозможные неприятности и пакости, даже если вы будете о трех головах и заключите с ними десять контрактов (на их воровском жаргоне это называется «агримент»). Не забудьте, что и наши русские издатели имеют в Америке отделения и что тамошний рынок для нас открыт. Не стоит из-за нескольких сот долларов создавать конкуренцию самим себе и наживать себе кучу неприятностей.

Итак, я резюмирую все пункты: прежде всего надо попытаться выпустить книгу в виде приложения к «Хайнту», — только не к «Моменту», — или же издать ее отдельными выпусками. И после издания, скажем у Яцкана * в виде приложения, выпусками ли или отдельной книгой, у нас еще остается навсегда право издать потом книгу в издательстве «Централ». Должен вам сказать, что в «Централе» мои книги почти ежегодно выходят новым изданием, — иначе разве стали бы они платить мне пять-шесть тысяч в год? Надеюсь, вы будете добры известить меня своевременно о ходе ваших переговоров с издателями. Несмотря на то что я Менахем-Мендл, а вы — опытный делец и лучше знаете, что и как следует делать, чтобы получить побольше денег, я все же посоветую вам не пренебрегать моими советами. И Менахем-Мендл может подать иногда хороший совет.

Надеюсь, что, прочтя следующие главы, вы измените свое мнение о субъективности биографии. Поло-

вину работы нельзя показывать не только глупому, но и умному человеку, а уж одно начало работы и подавно.

Кончаю наконец.

Остаюсь ваш Менахем-Мендл — тьфу! я хотел сказать — ваш

Шолом-Алейхем.

№ 47

ЯКОВУ П. АДЛЕРУ*

Лозанна, пансион Гелиос, 20 января 1914.

Большому художнику и мастеру
еврейской сцены, мистеру
Джейкобу П. Адлеру. Нью-Йорк.

Несравненный мастер!

Посылаю вам через моего друга Джейкоба Сапирштейна пьесу *, которую я переработал из ряда моих произведений, написанных за двадцать лет. Я над нею изрядно потрудился и вложил в нее большое содержание. Работая над главным героем, я все время имел в виду вас, маэстро; только такой артист, как вы, сумеет создать и представить его подлинный, живой образ, потому что только вы почувствуете его душу.

Большой мастер сцены! В моей пьесе вы не найдете тех эффектов, которыми пичкают уже столько лет еврейскую публику, посещающую еврейский театр. Ни душераздирающих слезливых сцен с мертвыми и живыми трупиками в детских кроватках, с безумными женщинами, с взлохмаченными девицами, кричащими, как в доме умалишенных, чем доводят до слез все Бауэри; нет и приторно-сладких, рассчитанных на национализм невежд, патриотических песенок, не стоющих никеля *, тогда как со зрителя дерут кводер; * нет и постояльцев, влюбляющих в себя распутных скромниц и стреляющихся на глазах у публики; нет и пошлых острот и щекотания кончиками пальцев под мышками — ради того же вожделенного

кводера. Нет, не ищите всех этих штук, — у меня вы их не найдете. Зато вы найдете еврея, отца пятерых дочерей — он простой человек, но цельный, честный, чистый, страдающий, который при всей своей трагичности, смешит слушателя от начала до конца. Смешит не за тем, чтобы осмеивать, а чтобы веселым смехом вызвать симпатии и сочувствие к его великим страданиям и малым горестям. Все четыре акта представляют собой четыре малых трагедии, а взятые вместе они составляют одну долгую жизненную трагедию еврейской семьи. Я это так и назвал, не крикливо: «Семейные картины в 4 актах». Не комедия, не трагедия, хотя она носит в себе элементы обоих жанров. Пора уже, пора вам, большой мастер, в осеннюю пору своей артистической карьеры выйти на сцену в представлении из подлинной еврейской повседневной жизни. Хорошенько вчитайтесь, вдумайтесь, и вы увидите, что покажете чудеса, что именно в таком представлении без претензий, без пустых эффектов, без выжимания слез и без натужного смеха, вы покажете себя во всем своем подлинном размахе и создадите одну из лучших, любимейших ролей, где вы будете привлекательны и любимы, будете вызывать и здоровый смех, и сочувственный вздох, и непринужденную тихую скрытую слезу. Хочу думать, что это станет вашей коронной ролью на вашем долгом артистическом пути прежде, чем вы расстанетесь с вашей профессией, дай бог, чтобы это произошло не так скоро, аминь!

Один из ваших горячих почитателей

Шолом-Алейхем.

P. S. При распределении ролей вы роль Хавы, собирающейся принять христианство, будьте любезны передать миссис Адлер. Она проведет ее блестяще. Остальные роли — вашим дочерям, которые, как я слышал, одарены от природы и от вас по наследству. Короче, это — ваша фамильная пьеса.

Шолом-Алейхем.

№ 48

М. СПЕКТОРУ

Нерви, Приморский отель, 17 февраля 1914.

Друг Спектор!

Старым, но милым и святым дохнуло мне в сердце от твоего короткого, но теплого письмеца. Спасибо за адрес Пинского! Ты спрашиваешь, что тебе делать, чтобы нам увидеться вскоре в Варшаве? Вот наивный человек Спектор! Ты разве не знаешь, что ждут разрешения? Живешь в Варшаве двадцать лет, а то и больше, хвор ты, что ли, шепнуть там полицмейстеру пару слов, чтобы он не валял дурака? «Пан, — скажи ему на твоем русском языке, — пан! Вы думаете, Шолом-Алейхем реферат, товарищи, киш-кищ, куры на свободу? И не начинается! Це не боле мене добре братикл читает по-нашему, по-жаргонскому, а мы, еврейчики, держимся за стороны и качаемся на земля!..» Вот, если ты выступишь с такой речью, он расхохочется до колик и подмахнет: «Шолом-Алейхему разрешаю, и конец»! Как видишь, я пока еще на старом месте, в Нерви, сижу у моря, под жарким палящим солнцем и — пишу. Стареем, говоришь? Я — нет, слава богу, пока становлюсь моложе. Я не люблю стареть! Бродский мне когда-то признался, что он не любит бедняка. Я признаюсь, что не люблю старика... Но тебя я не ненавижу, потому что ты Мордхе Спектор и ты, слава богу, еще большой мастер покушать, дай бог на многие лета. Аминь!

Был и остался твой

Шолом-Алейхем.

Главное забыл: где, ты говоришь, мы подзакусим ночью после чтения? В каком баре? Ты думаешь, что я не читаю «Момента» и всего, что ты там пишешь? Ай, глупец, глупец! Я тебя от души разбранил за то, что ты восхищался в Одессе «народной песней», а ты не знаешь, что эта самая «народная песня» написана, шутка ли, Варшавским! Сгори со стыда!

№ 49

Ш. ШРЕБЕРКУ*

Двинск, 6/19. 6. 14, пятница.

Друг Шреберк. Такого приема, как в Двинске, я не имел нигде. Вокзал был запружен евреями (молодежью); кроме букетов, великолепных букетов, меня засыпали цветами, и всю дорогу от вагона до кареты устлали цветами. Сама карета тоже была украшена цветами. Цветы, цветы, цветы! Гремели приветственные возгласы и «ура». Офицеры, жандармы, полиция были чрезвычайно удивлены этим приемом. Одни говорили, что знаменитый раввин приехал, другие объясняли, что это еврейский Чехов, еврейский Горький прибыл. В отеле было битком набито. Всюду приветствия и «ура». Билеты почти все расхватаны. Хотя вечер должен состояться еще только послезавтра, в воскресенье, а уже поговаривают о необходимости второго вечера, во вторник. С приветом.

Шолом-Алейхем.

О моем отъезде я вас телеграфно извещу.

ПИСЬМА К РУССКИМ ПИСАТЕЛЯМ[1]

№ 1
М. ГОРЬКОМУ

Соломон Наумович Рабинович
Киев, Большая Васильковская, 5.

31 декабря 1901.

Многоуважаемый
Максим Горький!

Простите, что я вас так называю, не имея чести знать вашего имени отчества.

В свое время я получил ваше любезное приглашение, которое, вследствие своей официальности, показалось мне несколько обидным. Показалось оно мне обидным еще потому, что в вашем письме не указан ваш адрес, из чего я должен был заключить, что вы намерены отклонить от себя непосредственные со мною сношения. Тем не менее я дважды писал вам по адресу г. Гольдовского, п. ч. я считал для себя великою честью переписываться с «властителем дум нашего времени», к которому, признаться, давно стремилась душа моя. И вот оказывается, к[а]к сообщает мне Гольдовский, что письма мои к вам затерялись у г. Потемкина и у него. Поистине — перст божий!

Ныне же, узнав, что к вам можно писать, хотя и по чужому адресу, я намерен нарушить ваш покой присылкой копий с двух моих посланий на имя

[1] Письма написаны на русском языке.

Гольдовского (от 12.XI и 29.XII) для того, чтобы ознакомить вас с программою вашего сборника* по моему разумению.

Просил бы вас вникнуть в их содержание и удостоить меня скорым ответом. Через несколько дней я вам пришлю копии с некоторых моих вещиц, уже переведенных с евр[ейского] жаргона. Я хочу, чтобы вы познакомились с характером моих писаний и поэтому просил бы вас покорнейше уделить им несколько минут внимания.

Затем позвольте пожать вам дружески руку и пожелать вам Ново[го] года и полного восстановления сил на пользу неблагодарного человечества.

Шалем-Алейхем.

№ 2

Л. Н. ТОЛСТОМУ

Соломон Наумович Рабинович
(Шалем-Алейхем)
Киев, Б. Васильковская, 5.

27 апреля 1903.

Графу Л. Н. Толстому
Ясная Поляна

Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Судя по тому, как вы чутко следите за всеми течениями и явлениями жизни общества и народов, нельзя допустить, чтобы вы прошли без должного внимания мимо того вопиющего дела, которое творилось в дни «Светлого» праздника Христова в губ[ернском] городе Кишиневе, по наущению злых людей, вроде Крушевана и К⁰. Читая газеты, вы не могли не содрогаться при мысли, что в наш век возможны такие безобразия, как избиение евреев в Кишиневе в продолжение 2-х дней на глазах полиции и местной интеллигенции, гнусные насилия над девицами на глазах родителей, избиение младенцев и т. п. ужасы времен варварства. Автор этих строк имеет честь не только принадлежать к этому вечно гонимому, бесправному, презираемому, но по-своему великому на-

роду, но быть скромным выразителем его чувств, мыслей и идеалов. Короче — я еврейский народный бытописатель, пишущий на еврейском разговорном наречии, именуемом жаргоном, вот уже 20 лет[1] под псевдонимом «Шалем-Алейхем». Мне поручено составить сборник в пользу пострадавших от кишиневского погрома. В сборнике участвуют лучшие еврейские силы. Чтобы обеспечить сборнику успех, я осмеливаюсь просить вас, Великий Писатель Земли Русской, дать нам что-нибудь, ну хотя бы письмо утешительного свойства. Удрученное и растерявшееся восьмимиллионное еврейство в России нуждается в таком слове, быть может, еще более, нежели в чем-либо другом. Ваше письмо я берусь перевести на еврейский (народный) язык, которого люди знающие считают меня одним из лучших стилистов.

Ждем вашего скорого ответа *, за который заранее благодарит вас редакция сборника в лице

глубоко уважающего вас Соломона Рабиновича.

Шалем-Алейхем.

P. S. Не побрезгайте прочесть небольшой этюд мой в «Восходе», при сем препровождаемом и, если не трудно, высказать ваше мнение.

№ 3

А. П. ЧЕХОВУ

Соломон Наумович Рабинович
(Шалем-Алейхем)
Киев, М. Благовещенский, 17.

30. VIII. 1903.

Многоуважаемый Антон Павлович!

На этих днях я получил от гр. Л. Н. Толстого «Три сказки», спец[иально] для нашего изд. «Hilf» *, написанные в пользу кишиневских евреев, и «сказки» эти мною уже переведены на евр[ейский] жаргон и от-

[1] Пишу и много писал также и на древнееврейском языке, равно как и на русском.

правлены в редакцию сборника. Я уполномочен редакцией еще раз обратиться к вам с просьбою, не найдете ли вы возможным уделить нам какую-нибудь новенькую вещицу? (Хотя бы копию с того, что предназначено для ближайшей книжки журнала.)

Одновременно с этим прошу вас, не можете ли вы взять на себя труд перевести мой рассказ из еврейской жизни (на русский язык) в журнале «Русская мысль» * или др. каком-либо русском журнале? Если да, то могу ли я вам прислать мой рассказ для просмотра?

С глубоким уважением

С. Рабинович

Шалем-Алейхем.

№ 1
М. ГОРЬКОМУ

Schalom-Aleichem
S. Rabinowitz

Nervi, 22. 4. 1910.

Многоуважаемый Алексей Максимович!

Пишу под диктовку моего отца, Шолом-Алейхема.

Ваше короткое, но выразительное и прочувствованное письмо застало его в постели, как раз во время сильного недомогания, постигшего его вследствие наступившей у нас неслыханной жары. Потребовались консультации врачей, вызов профессора и прочая бестолочь, которым, по мнению больного, грош цена. Братски выраженное вами мнение * подействовало на него, говорит он, лучше всяких велемудрых профессоров и хитропридуманных лекарств.

Папа просит передать вам, что, по словам американских еврейских газет, вы собираетесь будто к будущему сезону с супругою на гастроли в собственном театре, где будут играть исключительно ваши пьесы на английском и русском языках. Папа сообщает вам это потому, что те же газеты в прошлом году чуть не похоронили его в развалинах Мессины, так что приходилось ему писать опровержение, что благодаря

счастливой случайности Nervi лежит далеконько от Мессины и что поэтому он чудом спасся от землетрясения.

Примите рукопожатие от дочери Шолом-Алейхема, которая является вашей, неведомой вам, поклонницей.

Ляля Кауфман.

№ 5

М. ГОРЬКОМУ

S. Rabinowitz
Schalom-Aleichem

7. IV. 1911.

Дорогой Алексей Максимович!

Здесь распространился слух, будто вы собираетесь в Нерви.

Если это правда, то моя квартира к вашим услугам. Занимаю большую виллу в Эденском саду,— лучшем в Нерви.

Бываете ли вы в Ferrano у Амфитеатрова? * Собираюсь туда на один день. Был бы рад встретиться с вами где бы то ни было.

Любящий вас
Ш.-Алейхем.

Привет вашей уважаемой супруге — извиняюсь, не знаю ее имени-отчества.

Nervi (Italia),
Villa Rosengarten.

№ 6

М. ГОРЬКОМУ

8/21. IX. 1911.

Дорогой Алексей Максимович!

Как вам нравится это письмо? Представьте — это лишь копия. Оригинал остался у меня. И писано оно чрезвычайно легко и до курьезности просто: каменным, агатовым карандашом (Achatstift). Таким

карандашом и книгой в 100 листов я снабдил А. В. Амфитеатрова, который пришел в такой восторг, что попросил для Германа Александровича* то же. Исполняя его просьбу, я, будучи в магазине (Freiburg Eisenbahnstr. 12. Wuhrmann), вспомнил о вас по ассоциации идей. Авось и вам случится надобность написать что-либо в 2-х экз. без всякого труда, а напротив, с значительным облегчением труда.

Я, напр., пишу уже теперь *только* агатовым пером. Даже в 3-х (можно и 4-х) экз. Каталог и книга вам объяснят, к[а]к это делать, чтобы получать по 3—4 экз. зараз.

Надеясь, что вы не откажетесь от ничтожного подарка, чем доставите мне великое удовольствие, остаюсь — любящий вас

Шолом-Алейхем.

Книга и карандаш к ним высылаются посылкой без цены. Баденваймар (Шварцвальд), Villa Ruppert.

№ 7
М. ГОРЬКОМУ

10/23. IX. 12.

Дорогой Алексей Максимович!

Податель сего г. Гольдберг — сотрудник самой распространенной и богатой газеты еврейской в России — «Гайнт» (ее тираж достиг 100 000). Я состою одним из ее постоянных сотрудников (в отделе беллетристики), и это, беру смелость думать, некоторым образом говорит о ее лит[ературной] физиономии.

Редакция «Гайнта» желает заручиться вашей статьей по определенному вопросу, который передаст вам г. Гольдберг. Переведет статью сам г. Г[ольд]берг, который отлично владеет жаргоном. Размер гонорара потрудитесь определить сами, и сколько бы ни сказали, если только г. Г[ольд]берг вам подтвердит, то я вам ручаюсь. С таким же предложением, но по другому вопросу, он едет в Фетзано к А. В. Амфитеатрову.

Любящий вас

Шолом-Алейхем.

№ 8

М. ГОРЬКОМУ

18. X. 12.

Дорогой Алексей Максимович!

Если вас не затруднит, будьте добры сообщить, действительно ли бывают на Капри зимою, как говорят, сильные ветры? Это раз. Второе — название отель-пансиона (лучшего) и цена какая приблизительно. Четыре зимы провел в Нерви. Хоть я и выздоровел окончательно, но на декабрь — февраль, когда здесь выпадает снег, я бегу на Ривьеру.

Что с вашей статьей для «Хайнта»? Налаживается ли?

Читаю в рукописи *начало* новой повести А. В. Амф[итеатро]ва. Чудесная, талантливая вещица!

Шолом-Алейхем.

ЗАВЕЩАНИЕ

Прошу распечатать и обнародовать в день моей смерти

19 сентября 1915, Нью-Йорк.

Сегодня, на следующий день после иом-кипур, в самом начале Нового года, мою семью постигло большое несчастье — скончался мой старший сын Миша (Михаил) Рабинович и унес с собой в могилу часть моей жизни, — поэтому я решил заново переписать свое завещание, составленное мною в 1908 году, когда я был болен, в Нерви (Италия).

Будучи здоров и при полном сознании, я пишу свое завещание, состоящее из десяти пунктов:

1. Где бы я ни умер, пусть меня похоронят не среди аристократов, знатных людей или богачей, а именно среди простых людей, рабочих, вместе с подлинным народом, так, чтобы памятник, который потом поставят на моей могиле, украсил скромные надгробия вокруг меня, а скромные могилы украсили бы мой памятник так же, как простой и честный народ при моей жизни был украшением своего народного писателя.

2. Никаких величаний и восхвалений не должно быть на моем памятнике, кроме имени «Шолом-Алейхем» на одной стороне и кроме еврейской надписи, здесь приложенной *, с другой стороны.

3. Никаких дебатов и дискуссий моих коллег относительно увековечения моего имени и установления монумента в Нью-Йорке и т. п. не должно быть. Я не смогу спокойно лежать в могиле, если мои товарищи будут дурачиться. Лучшим монументом для меня будет, если люди будут читать мои произведения и если среди зажиточных слоев нашего народа найдутся меценаты, которые возьмутся издавать и распространять мои произведения как на еврейском, так и на других языках, — так будет дана возможность народу читать, а семье моей — прилично существовать. Если я не удостоился или не заслужил иметь меценатов при жизни, то, может быть, я удостоюсь их после смерти. Я ухожу из жизни уверенный в том, что народ не оставит моих сирот.

4. На моей могиле потом в течение года и дальше в каждую годовщину моей смерти пусть оставшийся мой единственный сын, а также мои зятья, если пожелают, читают по мне поминальную молитву. А если читать молитву у них не будет особого желания, либо время не позволит, либо это будет против их религиозных убеждений, то они могут ограничиться тем, что будут собираться вместе с моими дочерьми, внуками и просто добрыми друзьями и будут читать это мое завещание, а также выберут какой-нибудь рассказ из моих самых веселых рассказов и прочитают вслух на любом, понятном им, языке. И пусть имя мое будет ими помянуто лучше со смехом, нежели вообще не помянуто.

5. Религиозные убеждения детей моих и внуков могут быть какие им угодно, но свое еврейское происхождение я прошу их сохранить. Те из моих детей и внуков, которые отрекутся от еврейства и перейдут в другую веру, тем самым откажутся от своего происхождения и от своей семьи и сами вычеркнут себя из моего завещания. «И нет им доли и участия в среде их братьев».

6. Все, что мне принадлежит — как наличные деньги (если таковые окажутся в моем распоряжении), так и книги — напечатанные и в рукописи, как на еврейском, так и на других языках (кроме тех, что

переведены на древнееврейский), принадлежит жене моей Годл, дочери Элимелеха, или Ольге Рабинович, а после ее смерти переходит к моим детям — все поровну: к дочери моей Хае-Эстер (Эрнестина) Беркович, к дочери Сарре (Ляля) Кауфман, к дочери Ноэми (Эмма) Рабинович, к дочери Мириам (Маруся) Рабинович и к сыну Нохуму (Нума) Рабиновичу. Что же касается моих произведений, переведенных на древнееврейский язык, то они принадлежат талантливому переводчику, моему зятю З. Д. Берковичу, и его дочери, моей внучке Томор (Тамаре) Беркович — это будет ее приданым; тантьемы, которые будут поступать за мои пьесы как в России, так и в Америке, наполовину отчислять моим наследникам, а другую половину откладывать на имя моей внучки Беллы, дочери Михаила и Сарры Кауфман, — это будет ее приданым.

7. Из всех доходов, перечисленных в предыдущем параграфе, отчислять в пользу фонда для еврейских писателей (пишущих на еврейском и древнееврейском языках) с пяти тысяч рублей в год — пять процентов; если же доход превысит 5000 рублей в год, то десять процентов (например: с 6000 руб. — 600, с 7000—700, с 8000—800 руб. и т. д.). Если к тому времени будет такой фонд здесь, в Америке, или там, в Европе, то проценты должны быть ежегодно выплачены фонду. Если же к тому времени официального фонда не будет или будет такой, который не соответствует моему желанию, оговоренному в начале этого параграфа, пусть проценты будут розданы нуждающимся писателям непосредственно моими наследниками по взаимному соглашению.

8. Если я при жизни не успею сам поставить памятник на могиле только что умершего сына моего Михаила (Миши) Рабиновича в Копенгагене, пусть это сделают, не скупясь, мои наследники, а в день его смерти ежегодно пусть читают по нем поминальную молитву и раздают 18 крон милостыни бедным.

9. Я желаю, чтобы мои наследники устроились таким образом, чтобы произведения мои и пьесы не были просто проданы — ни здесь, в Америке, ни в

Европе, но чтобы они (наследники. — *Ред.)* имели возможность жить все годы на доход, который будет поступать, согласно законам страны. Разве что наступит такое время или отыщется такой глупец, который уплатит за свое право сумму, достаточную для содержания семьи. Тогда пусть все наследники согласятся между собою, и если большинство не будет возражать, — поделятся наличными деньгами доля в долю, согласно параграфу шестому, сняв в первую очередь 10% в пользу Еврейского литературного фонда, согласно параграфу 7.

10. Последняя моя воля, обращенная к наследникам, и просьба к моим детям: оберегать мать, скрасить ее старость, усладить ее горькую жизнь, целить ее разбитое сердце, не плакать по мне, а, наоборот, поминать меня в радости, и — главное — жить между собою в мире, не таить вражды друг против друга, поддерживать один другого в трудное время, вспоминать время от времени о семье, питать жалость к бедняку и при благоприятных обстоятельствах платить мои долги, если таковые окажутся. Дети! Носите с честью мое трудом заслуженное еврейское имя и да будет вам в помощь господь в небе. Аминь.

Шолом, сын Менахем-Нохума, Рабинович
(Шолом-Алейхем).

ПРИМЕЧАНИЯ

СЕНДЕР БЛАНК И ЕГО СЕМЕЙКА
(Роман без романа)

Впервые напечатано отдельной книгой в качестве приложения к еврейскому еженедельнику «Идишес фолксблат» («Еврейская народная газета»), под названием «Реб Сендер Бланк и его высокочтимая семья — роман без любви», Петербург, 1888.

В письме от 2 сентября 1888 года к С. Дубнову (буржуазный еврейский историк и литературный критик) Шолом-Алейхем пишет: «Я забыл вас предупредить, что «Реб Сендер Бланк» — собственно, первая часть романа. Вторую часть — «Маркус Бланк» я заканчиваю, а третью часть — «Последний из Бланков» напишу со временем, когда я лучше, подробнее, всесторонне познакомлюсь с нашим молодым поколением, которое стоит серьезного изучения. Вы видите, что я имел в виду то же, что Э. Золя, когда он сочинил свое бессмертное произведение «Карьера Ругонов» (что не может быть сравнимо!!)». Дальнейшая судьба названных Шолом-Алейхемом рукописей неизвестна.

Позже (в 1903 г.) Шолом-Алейхем основательно переработал свой роман. Около двух печатных листов было изъято, а вместо них были вставлены новые тексты, заострившие антибуржуазную сатиру, внесены значительные языковые и стилистические изменения. Шолом-Алейхем изменил и название романа. В новом варианте роман был назван автором «Сендер Бланк и его семейка (Роман без романа)».

Стр. 11. *...ходили с непокрытыми головими...* — Религия запрещает евреям ходить без головного убора.

Стр. 20. *...из-за курицы и петуха будет разрушен такой большой город, как Бетар?* — Талмудическая легенда рассказывает, что город Тур-Малка («Царская гора») был разрушен из-за петуха и курицы. По обычаю того времени, жениха и невесту после венчания встречали с петухом и курицей в руках. Однажды римские солдаты похитили у новобрачных петуха и курицу; возмущенные евреи напали на римлян. Тогда римские войска осадили город и разрушили его.

Шолом-Алейхем, очевидно, спутал города Тур-Малка и Бетар, который, как трактует легенда, был также разрушен, но по другому поводу.

Талесник — тот, кто изготовляет талесы или торгует ими; *талес* — молитвенное облачение.

Стр. 26. *...языком «чрезвычайно интересных романистов».* — Речь идет о сочинителях бульварных романов, с которыми Шолом-Алейхем вел ожесточенную борьбу.

Стр. 29. *Ханука* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 625.

Пурим — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 623.

Стр. 30. *Меламед* — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 598.

Стр. 33. *Бармицве* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 613.

Стр. 34. *«Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки...»* — стих из библейской книги «Екклезиаст».

Стр. 38. *Талмудтора* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 605.

Стр. 44. *Квитанция* — имеется в виду так называемая «зачетная рекрутская квитанция». В сороковых годах XIX века царское правительство стало нанимать охотников на военную службу, выпуская по числу нанятых «зачетные рекрутские квитанции». Владелец такой «квитанции» освобождался от воинской повинности. В 1874 году все оставшиеся на руках «квитанции» были переписаны на имя их владельцев, передача допускалась только братьям. С каждым годом число предъявляемых «квитанций» сокращалось, но в девяностых годах они еще имелись на руках и сохраняли свою силу.

Стр. 47. *Капорес* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 614.

Стр. 60. *«Катлонис»* (убийца) — так в талмуде называется женщина, у которой умерло трое мужей.

Стр. 72. *...курит в субботу...* — Еврейская религия запрещает курить по субботам.

Наши дочери... не носят париков... — Согласно предписаниям еврейской религии, замужние женщины не должны показывать посторонним мужчинам свои волосы и ходить с непокрытой головой. Поэтому они носили парики.

ЛЕТО КРАСНОЕ

ДАЧНАЯ КАБАЛА

Впервые напечатано в еврейском еженедельнике «Дер юд» («Еврей») под названием «В Бойберике», Варшава, 1901.

Стр. 89. *Бойберик* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 629.

Стр. 90. *Швуэс* — то же, что Пятидесятница; см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 600.

Стр. 95. *Хасид* — приверженец религиозно-мистического течения в иудаизме — «хасидизма»; здесь: фанатик.

Аристократ — здесь: светский человек.

Евреям можно жить здесь совершенно свободно?.. — В царской России евреям (за редким исключением) было воспрещено проживать в сельских местностях.

Стр. 100. *А тарелки бьют уже в Егупце* — то есть во время помолвки.

Стр. 104. *Арбеканфес* — то же, что талескотн; см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 625.

Стр. 105. *Ребе* — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 598.

Стр. 118. *Трефная кухня* — то есть не соответствующая предписаниям еврейской религии, согласно которым нельзя смешивать мясную и молочную пищу.

Стр. 130. *Коробочный сбор* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 633.

НА ТЕПЛЫЕ ВОДЫ

Впервые напечатано в еврейском еженедельнике «Юдише фолкс-цайтунг» («Еврейская народная газета»), Варшава, 1903.

Стр. 139. *Бродский* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 629.

Стр. 151. *Кущи* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 634.

Стр. 158. *«Кошер»* — годный, дозволенный (в данном случае речь идет о пище) к употреблению. Надпись «кошер» еврейскими буквами делалась на вывесках столовых, ресторанов и гостиниц, где пища готовилась в соответствии с предписанием еврейской религии.

МАРИЕНБАД

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Хайнт» («Сегодня») под названием «От Налевок до Мариенбада» (Налевки — улица в Варшаве), Варшава, 1911.

Стр. 181. *...частенько теряешь на курсе...* — то есть на биржевом курсе, при обмене денег на иностранную валюту.

Стр. 205. *...чем больше запрещений...* — Речь идет о существовавшей в царской России процентной норме для евреев при поступлении в средние и высшие учебные заведения; права евреев на образование урезывались с каждым годом.

Стр. 214. *...в Базеле на конгрессе.* — Вероятно, речь идет о седьмом сионистском конгрессе в 1905 году.

Стр. 219. *...со своими «Иче-Майерами».* — До революции среди евреев русской части Польши мужское имя Иче-Майер было очень распространенным и стало нарицательным именем польских евреев.

Стр. 220. *Наш Дедушка...* — подразумевается Ш. Я. Абрамович (1836—1917), основоположник современной еврейской литературы, прозванный «Дедушкой» еврейской литературы (выступал под псевдонимом Менделе *Мойхер-Сфорим).*

Стр. 234. *«Перемена места — перемена счастья»* — талмудический афоризм.

Стр. 244. *Кадет* — в данном случае воспитанник кадетского корпуса, закрытого учебного заведения в царской России, подготовлявшего дворянских детей в офицерские школы.

Стр. 245. *Пуришкевич* — см. прим. к т. 5 наст. изд., стр. 762.

Стр. 253. *...в субботу кататься на лодке...* — Это воспрещено еврейской религией.

Стр. 254. *Юшкевич* С. С. (1868—1927) — писатель, прозаик и драматург, писавший на русском языке. Его «Комедия брака» дает сатирическую картину быта еврейской буржуазии.

Стр. 255. *Койрах,* то же, что Корей — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 600.

Содом — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 629.

РАССКАЗЫ, НАПИСАННЫЕ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМОМ ПО-РУССКИ

Шолом-Алейхем хорошо знал русскую культуру и был вдохновлен ее демократическими идеалами. Первые его произведения были написаны по-русски, два из них печатаются в настоящем томе в том виде, в каком они были опубликованы в прижизненных изданиях автора, без каких-либо стилистических изменений. В одном из своих писем Шолом-Алейхем говорил: «Этот язык (то есть русский) мне близок. Я потратил немало времени в школе на его изучение. И после этого я достаточно потрудился, чтобы он стал моим родным языком».

МЕЧТАТЕЛИ

Впервые напечатано в журнале «Еврейское обозрение», Петербург, 1884.

Стр. 299. *Асмодей* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 627.

Стр. 302. *Лемберг* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 625.

Стр. 305. *Мидраш* — общее название многочисленных сборников еврейской религиозной литературы, в которых изложены толкования библейских стихов, помещены многочисленные назидательные сказания и легенды.

Стр. 307. *Минхе* — предвечерняя молитва.

Стр. 308. *Жаргон* — см. прим. к т. 5 наст. изд., стр. 761.

Стр. 309. *Талмуд* (см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 611) — состоит из «Мишны» (повторение, учение) — древнейшей основы, и «Гемары» (окончание, решение) — своеобразного комментария к «Мишне». Талмуд дошел до нас в двух различных редакциях: палестинской (иерусалимской) и вавилонской. Кроме этого, имеется целый ряд талмудических сборников, не вошедших в указанные два варианта («Мехилте», «Сифре» и др.).

Альфаси — сочинения Исаака Альфаси (1013—1103) — средневекового кодификатора талмуда.

Зогар (сияние) — название книги, в которой изложено религиозно-мистическое учение — «каббала». Окончательную редакцию книги Зогар относят к XIII веку.

Маймонид (1135—1204), *Ибн-Эзра* Авраам (1102—1167), *Бахия* (Ибн-Пакуда, XI в.), *Ибн-Дауд* Авраам (1110—1180) — еврейские средневековые мыслители и богословы.

Саадия гаон (892—942) — средневековый еврейский философ и богослов (гаон — титул главы талмудической академии).

Абарбанель (Абрабанель Исаак; 1437—1508) — теолог, комментатор библии,

...поддельная история Иосифа Флавия... — Речь идет о книге «Иосиппон». В ней наряду с историей евреев имеются описания из истории Вавилона, Греции, Рима и др. В средние века книга эта считалась исторически достоверной, но историчность ее весьма сомнительна. В ней много анахронизмов. По всем данным, книга написана в X веке, но автор отождествляет себя с историком Иосифом Флавием, жившим в I веке.

Стр. 312. *Мессианское время* — время пришествия мессии. Мессия (по-еврейски мошиах — помазанник) — мифический «избавитель», по представлениям верующих евреев, должен прийти на землю для «вызволения» еврейского народа и всего человечества.

...счет кончился — то есть наступил срок «пришествия мессии».

Стр. 313. *Ревизская сказка* — именной список крепостных крестьян, подлежавших обложению подушной податью и рекрутской повинности (XVIII—XIX вв.).

Стр. 315. *«Открытые мозги»* — еврейская идиома, означающая «быстрая хватка»; здесь: недюжинный интеллект.

Стр. 317. *Цадик* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 623.

Стр. 319. *...мест их оседлости...* — то же, что «черта»; см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 614.

ТИПЫ «МАЛОЙ БИРЖИ»

Впервые напечатано в газете «Одесский листок». Одесса, 1892.

Стр. 329. *Мамон* — бог богатства у древних сирийцев.

ПЬЕСЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Впервые напечатано в еженедельнике «Дер юд», Варшава, 1899.

Стр. 337. *Сионисты* — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 601.

Стр. 344. *Шомер* — псевдоним Н. М. Шайкевича (1849—1906), родоначальника бульварного романа на языке идиш (см. в наст. томе статью Шолом-Алейхема «Суд над Шомером»).

АГЕНТЫ

Впервые напечатано в ежемесячном журнале «Ди юдише цукунфт» («Еврейская будущность»), Краков, 1905.

ЛЮДИ

Впервые напечатано в еврейской газете «Унзер лебн» («Наша жизнь»), Варшава, 1908.

Стр. 385. *Это из талмуда.* — Указанная фраза взята из библии.

КЛАДОИСКАТЕЛИ

Написано Шолом-Алейхемом в 1907 году. В его переписке и в газетных рецензиях пьеса называется «Клад».

При жизни автора пьеса не была издана. Впервые напечатана в нью-йоркском еврейском журнале «Ди цукунфт» («Будущность»), 1927, под названием «Золотоискатели» с примечанием И. Д. Берковича, где указывается, что из имеющихся трех вариантов комедии публикуется второй, который Шолом-Алейхем считал лучшим. В настоящем издании дается этот вариант.

Стр. 401. *...семнадцатое тамуза...* — Тамуз — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 611. У правоверных евреев — день поста и траура.

Раз город переходит в казну... — Большинство городов и местечек в Польше находилось на помещичьей земле. Владельцы домов платили помещику арендную плату (чинш) за землю. По мнению Мозговоера, при переходе города в казну (то есть если территория города станет собственностью государства) — положение жителей ухудшится.

Стр. 403. *«Майофес» («Как ты красив»)* — еврейский религиозный гимн. Польские паны часто заставляли зависевших от них евреев петь «Майофес». Слова «петь Майофес», «майофесник» стали синонимом покорности, подхалимства.

Литваки — литовско-белорусские евреи; в устах польских евреев слово «литвак» выражало презрение.

Стр. 419. *Иакову* (еврею), *Исаву* (нееврею). — По библейской мифологии, Иаков и Исав — сыновья патриарха Исаака; Иаков — мифический родоначальник еврейского народа.

Стр. 421. *Монтефиоре* Мойше — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 606.

Стр. 422. *...пожертвовала в память Меера-чудотворца* — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 612.

Стр. 425. *...до середины элула.* — Элул — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 605.

Стр. 452. *Наемщик* — нанявшийся в солдаты царской армии вместо кого-либо. Уходя в армию, наемщик требовал всевозможных развлечений. Все его желания наниматель обязан был удовлетворить.

Стр. 481. *...как наш праотец Иаков у Лавана Арамейского.* — Согласно библейской легенде, Иаков служил пастухом у своего дяди Лавана, чтобы получить в жены его дочерей Рахиль и Лию.

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

Впервые напечатано в еврейской газете «Дер тог» («День»), Нью-Йорк, 1915.

Стр. 497. *Колдунью в живых не оставляй.* — Библейский стих, приводимый персонажем без всякого смысла.

КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ

Впервые напечатано в еврейском журнале «Цукунфт», Нью-Йорк, 1916.

Стр. 502. *...канун войны.* — События пьесы происходят накануне первой мировой войны (1914—1918).

Стр. 506. *Талескотн* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 625.

Стр. 514. *...еще со времен Мафусала* — то есть очень давно. Мафусал — см. прим. к т. 5 наст. изд., стр. 774.

Стр. 561. *Питем* — кончик цитрусового плода (лимона), называемого «райским яблоком». Этот плод — один из атрибутов празднования праздника кущей. Очень распространено было суеверие, что если беременная женщина откусит и съест этот кончик,

она родит мальчика. Здесь речь идет о кончике сигары, который откусывают перед тем, как закурить.

Стр. 569. *Например, десять евреев...* — Согласно религиозному обряду, для того чтобы вести невесту под венец, необходимо присутствие десяти евреев (миньен), мужчин старше тринадцати лет.

Стр. 580. *«Фрейлехс»* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 626.

О ЛИТЕРАТУРЕ

СУД НАД ШОМЕРОМ

Впервые напечатано отдельной брошюрой в типографии Я. Г. Шефтеля под названием «Суд над Шомером, или Суд присяжных над всеми романами Шомера. Стенографировано Шолом-Алейхемом», Бердичев, 1888.

В настоящем издании печатается с сокращениями.

Стр. 583. *Линецкий* И. И. (1835—1915) — еврейский прогрессивный писатель. Прославился своей антихасидской сатирико-бытовой повестью «Дос пойлише ингл» («Польский мальчик»), в которой бичует фанатизм, суеверие, невежество.

Гольдфаден — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 627.

Дик Айзик-Меер (1807—1893) — еврейский писатель. Буржуазный просветитель. Ему принадлежат более трехсот дидактических рассказов и новелл, пользовавшихся огромной популярностью в 60—70-х годах XIX века.

Цеэно-уреэно — изложение Пятикнижия на языке идиш (с добавлением позднейших легенд и назидательных сказаний) для женщин. Впервые опубликовано в 1590 году.

Тайчхумеш — перевод Пятикнижия с комментариями на язык идиш (впервые в 1560 г.).

Прославления Бешта — книга легенд и сказаний об Израиле Баал-шем-тове (сокр. Бешт), основателе хасидизма.

Тхинес — сборник молитв для женщин на языке идиш.

«Кол мевасер» («Голос возвещающий») — еврейский еженедельник, выходивший в Одессе с октября 1862 по ноябрь 1873 года.

Стр. 596. *«Восход»* — ежемесячный журнал, отражавший интересы еврейской буржуазии, выходил с января 1881 до апреля 1906 года в Петербурге.

Критикус — псевдоним С. Дубнова, еврейского буржуазного историка, публициста и литературного критика.

«Идишес фолксблат» — еженедельник, выходивший в Петербурге с 1881 по 1890 год.

ТЕМА НИЩЕТЫ В ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Ряд статей о литературе, опубликованных в приложениях к еженедельнику «Идишес фолксблат» за 1888 год.

В настоящем издании с сокращениями печатаются четыре статьи Шолом-Алейхема.

Абрамович

Стр. 602. *«Холерные женихи».* — У суеверных евреев во время какой-либо эпидемии было принято устраивать венчание на кладбище; для такого венчания подыскивали нищих калек, которые давали на это согласие.

Стр. 609. *В этот ночной час там молятся покойники...* — По народному поверью, после полуночи в синагоге молятся покойники.

Стр. 610. *Миква* — бассейн для ритуального омовения.

Линецкий

Стр. 612. *...когда ангел щелчком по носу...* — Согласно талмудической легенде, ребенок в утробе матери познает тору (библию), а в момент рождения ангел щелчком под нос заставляет его забыть познанное.

Стр. 613. *Сборщик* — представитель еврейской общины в царской России, ведавший раскладкой налога на еврейское население в виде «свечного сбора» (налог на свечи, зажигаемые в субботу) и др.

Стр. 614. *...плавает то, что было вылито на голову Амана...* — то есть нечистоты.

«Алеф», «бейс» — названия букв еврейского алфавита.

Стр. 616. *Бадхн* — см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 622.

Золотой бульон — так называли суп, подаваемый на свадебном ужине после венчания.

Спектор

Стр. 617. *Спектор* М. (1858—1925) — еврейский прогрессивный писатель, прозаик, журналист, редактор и издатель, ближайший друг Шолом-Алейхема.

Шацкес

Стр. 620. *Шацкес* М. А. (1825—1899) — писатель, так называемый «просвещенец». Печатал публицистические произведения на древнееврейском языке, а бытовые очерки — на языке идиш. Высмеивал еврейские обычаи и обряды того времени.

Стр. 622. *...как река Самбатьон.* — Согласно легенде, эта река шесть дней в неделю стремительно мчит свои воды, бросая камни, а в субботу отдыхает.

Такса — то же, что «Коробочный сбор»; см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 633.

Стр. 624. *Дайен* — помощник раввина.

...за продажу хомеца. — Хомец (любая квашеная пища) предписанием еврейской религии запрещен в течение пасхальной недели. Вся пища такого рода должна была быть уничтожена накануне пасхи.

Чтобы избежать уничтожения хомеца, за несколько дней до пасхи производилась фиктивная сделка: весь хомец всего населения местечка продавался раввину, тот, в свою очередь, продавал его нееврею, а после пасхи выкупал. Труды раввина или (как в данном случае) его помощника по продаже и выкупу хомеца оплачивались общиной.

ИЗ КНИГИ «ЕВРЕЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ»

Так книга названа в посмертном издании писателя его наследниками.

ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ!

Впервые напечатано в еженедельнике «Юдише фолкс-цайтунг», Варшава, 1902.

ДЕДУШКИН ОТЕЛЬ

Рассказы «Дедушкин отель», «Как меня звать?», «История с тремя городами», «Происхождение «Клячи» и «На волосок от смерти» взяты из цикла Шолом-Алейхема «Четверо нас сидело», впервые напечатанного в газете «Унзер лебн», Варшава, 1908.

В вводной главе «Четверо нас сидело» Шолом-Алейхем рассказывает, как четыре еврейских писателя (или словами автора: «три писателя и один поэт») совершили восхождение на Альпы и во время отдыха на привалах по очереди рассказывали эпизоды из своей жизни.

Эта встреча имела место в действительности в конце лета 1907 года в Женеве. Четыре писателя были: Менделе Мойхер-Сфорим, или Дедушка, Шолом-Алейхем, Бен-Амин — псевдоним беллетриста и публициста М. Я. Рабиновича (у Шолом-Алейхема фигурирует как «обладатель горячего темперамента»), и поэт Бялик Х.-Н. (1873—1936), который в основном писал на древнееврейском языке, а также и на языке идиш, был связан с буржуазным сионистским движением, что наложило на его творчество печать национализма. В рассказе Шолом-Алейхема фигурирует как «поэт».

ИСТОРИЯ С ТРЕМЯ ГОРОДАМИ

Стр. 648. *...года за два до «конституции».* — Речь идет о куцей «конституции» 17 октября 1905 года.

«Чистые сионисты» — приверженцы сионизма; см. прим. к т. 1 наст. изд., стр. 630.

«Поалей-сионисты» («поалей-цион») — еврейская мелкобуржуазная националистическая партия.

«Бундисты». — «Бунд» — еврейская мелкобуржуазная националистическая партия, стоявшая по всем вопросам революционного движения на меньшевистских позициях.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ «КЛЯЧИ»

Стр. 657. *«Кляча»* — название аллегорической повести Менделе Мойхер-Сфорима.

Стр. 659. *Слонимский* Х.-З. (1810—1904) — математик, писал на древнееврейском языке научные и научно-популярные труды по математике и астрономии. С целью популяризации естественных и математических наук основал в 1862 году в Варшаве еженедельник на древнееврейском языке «Гацефира» («Рассвет»).

Цедербаум А. О. — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 610.

КАК КРАСИВО ДЕРЕВО!

Впервые напечатано в еврейской ежедневной газете «Дер момент» («Момент»), Варшава, 1910.

Стр. 676. *Толмачев* — см. прим. к т. 5 наст. изд., стр. 764.

Равницкий И.-Х. (1859 — год смерти неизвестен) — еврейский журналист и литературный критик; некоторые статьи писал вместе с Шолом-Алейхемом за подписью «Элдад Умейдад».

Стр. 677. *...еврейский дозор.* — Дозор — синагогальный староста.

АУТОДАФЕ

Впервые напечатано в еврейском еженедельнике «Дос юдише фолк» («Еврейский народ»), Вильна, 1911.

ПИСЬМА

(1882—1914)

В настоящем томе публикуются избранные письма писателя, представляющие наибольший историко-литературный и биографический интерес.

№ 3. И. И. Линецкому

Стр. 694. *До выхода журнала.* — Шолом-Алейхем ходатайствовал о разрешении на издание художественно-публицистического журнала, но оно не было получено.

Стр. 695. *Бернштейн* А. (1812—1884) — немецкий публицист и автор научно-популярных изданий по естествознанию.

Брем А.-Э. (1829—1884) — немецкий зоолог и путешественник, автор известного труда «Жизнь животных».

Бокль Г.-Т. (1821—1862) — английский прогрессивный буржуазный социолог.

Миль — см. прим. к т. 3 наст. изд., стр. 616.

Черни и Соколовский — врачи, друзья Шолом-Алейхема и И. И. Линецкого.

№ 4. Я. Динезону

Стр. 696. *Динезон* Я. (1856—1919) — еврейский прогрессивный писатель, пользовался популярностью среди широких читательских кругов.

Вайсберг И. Я. (1841—1904) — еврейский прогрессивный писатель.

Леви — в то время редактор еженедельника «Идишес фолксблат», Петербург.

Стр. 697. *Мейзах* И. (1848—1917) — писатель, публицист и переводчик.

Калмус Ульрих — малоизвестный еврейский писатель второй половины XIX века.

Стр. 698. *...по стезе первосвященника Аарона...* — то есть по пути миролюбия.

Стр. 699. *...для «Векера»* («Дер юдишер векер» — «Еврейский будильник») — литературный сборник, вышедший в Одессе в 1888 году.

...для второго номера «Хойзфрайнда» («Дер хойзфрайнд» — «Друг дома») — литературные сборники, издававшиеся М. Спектором в Варшаве; первая книга вышла в 1888 году.

№ 5. Менделе Мойхер-Сфориму

Стр. 700. *«Библиотека»* («Ди юдише фолксбиблиотек» — «Еврейская народная библиотека») — книга по литературе, критике и науке, издание Шолом-Алейхема. Книга первая, Киев, 1888 год.

«Призыв» (1884) — пьеса Менделе Мойхер-Сфорима.

«Заветное кольцо» (1889) — роман Менделе Мойхер-Сфорима.

Рейзеле — действующее лицо в пьесе «Призыв».

...пишу для «Библиотеки» роман... — Речь идет о романе «Стемпеню».

№ 8. Б. Иерухимзону

Стр. 702. *Иерухимзон* Б. — еврейский писатель, проживавший в Белой Церкви.

Стр. 703. *«Маленькие рассказы».* — По всей вероятности, имеется в виду цикл небольших рассказов, объединенных автором под названием «Цветы», с подзаголовком «Десять маленьких сказок».

...мой Менахем-Мендл — герой одноименной повести Шолом-Алейхема.

Стр. 704. *Гордон* И. Л. (1830—1892) — поэт, писавший в основном на древнееврейском языке. В начале своей деятельности стоял на позициях «прогресса» в духе русских шести- и семидесятников, но позднее перешел на путь национализма.

Долицкий М. М. (1856 — год смерти неизвестен) — поэт и прозаик, писал на древнееврейском языке и на языке идиш.

Розенфельд Морис (1862—1923) — еврейский прогрессивный поэт. По профессии портной. Родился в России, эмигрировал и с 1886 года жил в Нью-Йорке.

Фруг С. Г. (1860—1916) — мелкобуржуазный поэт, писавший в основном на русском языке.

№ 10. М. Спектору

Стр. 705. *Моей дражайшей супруге, госпоже Спектор...* — М. Спектор был первый из еврейских писателей, с которым Шолом-Алейхем подружился в самом начале своей писательской деятельности. В шутку он называл Спектора «своей супругой».

«Волынь» — название газеты, издававшейся в Житомире, центре Волынской губернии.

№ 11. М. Спектору

Стр. 706. *Гинзбург* С. М. (1866 — год смерти неизвестен) — буржуазный публицист, фольклорист, историк, основатель (вместе с Ш. Раппопортом и С. Розенфельдом) и редактор первой еже-

дневной еврейской (на языке идиш) газеты в России «Дер фрайнд»; начала выходить в Петербурге с 1 января 1903 года.

Письмо это написано в связи с заключением Шолом-Алейхемом кабального контракта с издателем еженедельника «Юдише фолкс-цайтунг», где было оговорено, что Шолом-Алейхем не имеет права печатать свои сочинения в других органах печати, помимо указанного еженедельника. До этого Шолом-Алейхем печатался в журнале «Дер юд», выходившем два раза в месяц. Как видно, Шолом-Алейхем согласился подписать этот контракт по настоянию своего ближайшего друга М. Спектора, который был редактором отдела беллетристики в «Юдише фолкс-цайтунг».

№ 13. М. Спектору

Стр. 710. *«Тог»* («Дер тог») — еврейская ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге с 1 января 1904 года.

Не будь подписи «Эмес». — Эмес — по-еврейски: правда; псевдоним, которым часто подписывался М. Спектор.

...по фамилии Амитин. — Слово «амитин» происходит от того же корня, что и «эмес».

№ 15. Дочери Эрнестине

Стр. 712. *Нумчик* — младший сын Шолом-Алейхема Наум.

№ 17. И. Д. Берковичу

Стр. 713. *«Хазман»* («Время») — газета на древнееврейском языке, выходившая в Вильне.

Бен-Авигдор — псевдоним А. Л. Шалковича. Редактор и издатель, писал на древнееврейском языке, поборник национализма. В то время — редактор газеты «Хазман».

...он достигнет своей цели. — Речь идет об издании в Вильне газеты на еврейском языке.

Шнеер (Шнеер Залман; 1886—1959) — еврейский буржуазный поэт и прозаик, писал на древнееврейском языке и на языке идиш.

№ 19. Детям

Стр. 714. *Ляля* — дочь Шолом-Алейхема.

Миша — старший сын Шолом-Алейхема.

Кауфман Михаил — будущий зять Шолом-Алейхема, муж Ляли; был ярым противником сионизма.

Территориализм — см. прим. к т. 2 наст. изд., стр. 601: «Территориалисты».

№ 20. В редакцию газеты «Унзер лебн»

Стр. 716. *«Унзер лебн»* — еврейская ежедневная газета, выходившая в Варшаве с февраля 1907 года. Редактором газеты был М. Спектор, издателями — Гохберг и Вайнтройб.

№ 22. Друзьям

Стр. 719. *Саул Моисеевич и С. Розенфельд.* — См. прим. к стр. 706: Гинзбург.

Данное письмо — одно из писем Шолом-Алейхема в редакцию газеты «Дер фрайнд», опубликованных в сборнике (на еврейском языке) «Научные ежегодники», 1, 1929 (Центральное издательство народов СССР, Москва). В предпосланной к этой публикации статье И. М. Нусинова говорится, что указанные письма Шолом-Алейхема попали в Советский Союз благодаря счастливой случайности. Матрос Черноморского флота при заходе в палестинский порт Яффа случайно обнаружил у одного яффского еврея пачку писем Шолом-Алейхема на русском языке, выкупил их, привез в Одессу и сдал в редакцию одесских «Известий».

...участвовать в «Венике». — «Веник» («Дер безем») — бесплатное сатирико-юмористическое приложение к газете «Дер фрайнд».

Стр. 720. *Крынский* М. — издатель, беспощадно эксплуатировавший Шолом-Алейхема; издавая его рассказы отдельными книжечками большими тиражами, платил Шолом-Алейхему очень мало: по двадцать рублей за печатный лист.

№ 23. И. Д. Берковичу

Стр. 720. *«Клад»* — см. прим. к пьесе «Кладоискатели», стр. 781.

№ 24. Н. Е. Мазор

Стр. 721. *Мазор* Н. Е. (Мазор Наталья Евсеевна) — племянница Шолом-Алейхема.

...незабываемые Барановичи. — В конце июля 1908 года Шолом-Алейхем приехал в Барановичи для выступления на вечере, посвященном двадцатипятилетию его литературной деятельности. Внезапное сильное кровохаркание приковало его к постели. Врачи констатировали туберкулез легких. Около двух месяцев Шолом-Алейхем пролежал в Барановичах, после чего, по настоянию врачей, уехал в Нерви (Италия).

Стр. 722. *...в самый день моего праздника, моих литературных «именин»...* (25 октября 1908 г.) — двадцатипятилетие литературной деятельности Шолом-Алейхема.

Моисей Савельевич — муж Н. Е. Мазор.

Н. С. Сыркин — буржуазный публицист; инженер-технолог по образованию, писал на русском, древнееврейском языке и на языке идиш.

Евгений Львович — доктор Шкловский, знакомый Шолом-Алейхема.

№ 25. Я. Динезону

Стр. 724. *...постепенно выкупил их из рабства.* — Речь идет о выкупе сочинений Шолом-Алейхема, запроданных им разным издателям на многие годы за бесценок.

Крушеван П. А. — один из главарей черносотенного «Союза русского народа». Стал нарицательным именем черносотенца, погромщика.

№ 26. И. Розету

Стр. 725. *Розет* И. — житель Киева, старый друг Шолом-Алейхема; к его юбилею издал почтовую открытку с портретом писателя.

№ 27. М. Н. Сыркину

Стр. 726. *Сыркин* М. Н. — еврейский журналист, организовавший в Киеве празднование двадцатипятилетнего юбилея Шолом-Алейхема.

№ 28. Одесским друзьям

Стр. 727. *Левинский Э. Л.* (1858—1910) — писатель и журналист, писал на древнееврейском языке и на языке идиш, проживал в Одессе. Часто подписывался Реб Корев (Родич).

Стр. 728. *...еврейская община преподнесет тебе имение...* — Редактор варшавской еврейской газеты «Хайнт» в статье, напечатанной в этой газете, предложил, чтобы евреи подарили Шолом-Алейхему к его юбилею имение, как это сделали поляки к юбилею Г. Сенкевича.

Стр. 729. *...небольшую книжонку...* — Речь идет о книге «Шмуел Шмелькис и его юбилей».

...не успели освятить луну... — См. прим. к стр. 722; в данном случае означает: пропустили срок празднования юбилея Шолом-Алейхема.

Давид Пинский (1872—1959) — еврейский мелкобуржуазный писатель, прозаик и драматург. Родился в Могилеве, в 1896 году эмигрировал в Америку. В Нью-Йорке был во главе комитета по празднованию юбилея Шолом-Алейхема.

Авром-Эля Любарский — друг Шолом-Алейхема; был знаком с ним еще по Одессе. Когда Шолом-Алейхем писал данное письмо, Любарский уже жил в Нью-Йорке.

№ 35. Динезону

Стр. 738. *...«выкупа пленных»...* — Речь идет о сочинениях Шолом-Алейхема.

№ 36. Приятелю

Стр. 738. *Приятелю* — адресат неизвестен.

№ 37. Менделе Мойхер-Сфориму

Стр. 740. *...спекторскую «Найе велт»* («Новый мир») — еврейская ежедневная газета, выходившая с 1 июля 1909 года в Варшаве под редакцией М. Спектора.

№ 38. В редакцию газеты «Ди найе велт»

Стр. 740. *Спектор, Загородский, Милштейн* — издатели газеты «Ди найе велт».

Стр. 741. *...мой новый роман...* — Речь идет о романе «Блуждающие звезды», первая часть которого, «Актеры», печаталась впервые в газете «Ди найе велт» в 1909—1910 годах.

№ 39. Н. Заблудовскому

Стр. 742. *Заблудовский* Н. — старый друг Шолом-Алейхема, проживавший в Белостоке; с ним Шолом-Алейхем поддерживал многолетнюю переписку. В это время Шолом-Алейхем печатал в газете «Ди найе велт» свои «Железнодорожные рассказы». Узнав, что Заблудовский совершает поездку по целому ряду городов, в которых преобладает еврейское население (настоящее письмо было адресовано в г. Гомель), Шолом-Алейхем обратился к нему с изложенной в письме просьбой. Просьба Шолом-Алейхема адресатом не была выполнена.

№ 40. Менделе Мойхер-Сфориму

Стр. 743. *...назвать не иначе, как «Шолом алейхем».* — С 1 октября 1911 года в Одессе начала выходить ежедневная еврейская буржуазно-националистическая газетка, которая называлась «Шолом алейхем». С 18 января 1912 года газета эта стала называться «Дер юд» («Еврей»). Редакция объясняла это тем, что «Шолом-Алейхем не хочет, чтобы наша газета носила его имя».

№ 41. И. Котику

Стр. 744. *Котик* И. (Котик Иезекииль; 1847—1921) — еврейский мемуарист, написавший книгу «Мои воспоминания» (пер-

вая часть вышла в 1912 г.). Книга дает широкую картину еврейской жизни в России первой половины XIX века.

№ 45. Шриро

Стр. 748. *Шриро* Ш. — крупный капиталист-нефтепромышленник, почитатель Шолом-Алейхема. Обещал авансировать Шолом-Алейхема в течение года, чтобы дать ему возможность написать свою автобиографию. Шолом-Алейхем не был авансирован Шриро.

Стр. 749. *«И ты будешь жить мечом твоим».* — Библейский патриарх Исаак благословил этими словами старшего сына — охотника Исава. Здесь под «мечом» Шолом-Алейхем подразумевает «перо».

«Ди идише велт» («Еврейский мир») — литературно-общественный буржуазно-демократический ежемесячный журнал, выходивший в Вильне с января 1913 года.

...в «Хайнте». — «Хайнт» — еврейская ежедневная газета, выходившая в Варшаве с января 1908 года.

№ 46. Шриро

Стр. 750. *Миснагды* — противники хасидизма.

Ховвей-цион («Друзья Сиона») — палестинофильское буржуазно-националистическое течение, возникшее в восьмидесятых годах прошлого века в России, еще до так называемого «политического сионизма», оформившегося в 1897 году на первом сионистском конгрессе в Базеле.

Стр. 752. *Яцкан* С. Я. — редактор газеты «Хайнт».

№ 47. Якову П. Адлеру

Стр. 753. *Адлер* Я. П. — еврейский артист в Америке, уроженец Одессы.

Посылаю вам... пьесу... — Речь идет о пьесе «Тевье-молочник».

Никель — мелкая американская разменная монета.

Кводер — четверть доллара.

№ 49. Ш. Шреберку

Стр. 756. *Шреберк* Ш. — издатель сочинений Шолом-Алейхема.

ПИСЬМА К РУССКИМ ПИСАТЕЛЯМ

№ 1. М. Горькому

Стр. 758. *...чтобы ознакомить вас с программою вашего сборника.* — Речь идет о предпринятом Горьким издании сборника еврейской литературы на русском языке. Предприятие это не было осуществлено в связи с арестом Горького.

№ 2. Л. Н. Толстому

Стр. 759. *Ждем вашего скорого ответа...* — Ответ Л. Н. Толстого на письмо Шолом-Алейхема см. в т. 4 наст. изд., стр. 660, в примечаниях к рассказу Шолом-Алейхема «Сто один».

№ 3. А. П. Чехову

Стр. 759. *«Hilf»* («Хилф» — «Помощь») — сборник, выпущенный издательством «Фолксбилдунг» («Народное просвещение»), Варшава, 1903. Весь доход от этого сборника, в котором приняли участие и русские писатели во главе с Л. Н. Толстым, пошел в помощь пострадавшим от еврейского погрома в г. Кишеневе, организованного царским правительством 6 и 7 апреля 1903 года.

Стр. 760. *«Русская мысль»* — ежемесячный литературный и политический журнал, основанный в Москве в 1880 году. В девяностых годах и до революции 1905 года журнал стоял на либерально-буржуазных позициях. После поражения революции 1905 года, в период столыпинской реакции, журнал стал органом правого крыла кадетской партии. В. И. Ленин об этом журнале сказал, что он «на самом деле должен бы называться «Черносотенная мысль».

№ 4. М. Горькому

Стр. 760. *Братски выраженное вами мнение...* — Настоящее письмо является ответом на письмо М. Горького от 21. IV. 1910 г., которое начинается обращением: «Искренне уважаемый собрат!» В этом письме М. Горький высказывает свое мнение о книге Шолом-Алейхема «Дети черты» («Мальчик Мотл»). Письмо помещено в примечаниях к повести «Мальчик Мотл», см. т. 3 наст. изд., стр. 603.

№ 5. М. Горькому

Стр. 761. *Амфитеатров* А. В. (1862—1923) — русский беллетрист и фельетонист. Печатался в буржуазной либеральной и реакционной прессе. В 1920 году эмигрировал за границу.

№ 6. М. Горькому

Стр. 762. *Герман Александрович* Лопатин (1845—1918) — русский революционер, народник, член Генерального совета I Интернационала; друг К. Маркса и Ф. Энгельса.

ЗАВЕЩАНИЕ

Стр. 764. *...кроме еврейской надписи, здесь приложенной...* — Речь идет об эпитафии. Текст эпитафии напечатан в наст. томе, стр. 713.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

1859—1873	Родился 2 марта в г. Переяславле (ныне Переяславль-Хмельницкий) Полтавской губернии в патриархальной еврейской семье, учился в хедере. Детские годы провел в местечке Воронково, которое впоследствии в своих литературных произведениях вывел под названием Касриловки. В тринадцатилетнем возрасте лишился матери. Переехал на время с младшими братьями и сестрами к родителям матери в местечко Богуслав.
1873	Поступил в Переяславское уездное училище, где был одним из лучших учеников.
1876	Успешно окончив Переяславское уездное училище, давал частные уроки в Переяславле, а затем в Ржищеве и других местечках.
1877	Поступил домашним учителем к Элимелеху Лоеву (деревня Софиевка Киевской губернии), занимался с его дочерью Ольгой три года.
1879	Опубликовал первую корреспонденцию в газете «Гацефира» на древнееврейском языке.
1880—1883	Опубликовал ряд статей в газете «Гамейлиц» на древнееврейском языке.
1883	Женился на бывшей своей ученице — Ольге Лоевой. Опубликовал повесть «Два камня», рассказы «Выборы» и «Перехваченные письма» на языке идиш. Переехал в Софиевку, а затем в Белую Церковь Киевской губернии. Напечатал ряд рассказов, фельетонов, стихов, статей в газете «Идишес фолксблат». Опубликовал рассказ на русском языке в «Еврейском обозрении».

1886 Умер тесть писателя, оставивший большое наследство. Были опубликованы «Зарисовки Бердичевской улицы» («Идишес фолксблат»).

1887 Поселился в Киеве. Напечатал в «Идишес фолксблат» рассказ «Ножик».

1888 Умер отец, памяти которого писатель посвятил книжку «Букет цветов».

Опубликовал в «Идишес фолксблат» роман «Сендер Бланк и его семейка». Издал книжку, направленную против Шомера («Суд над Шомером»), и первый том «Еврейской народной библиотеки», в котором печатал роман «Стемпеню».

Состоялось знакомство с основоположником еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфоримом.

1890 Вышел второй том «Еврейской народной библиотеки», в котором был напечатан роман «Иоселе-соловей».

1891 Был за границей, посетил Париж, Вену, Черновицы; по возвращении в Одессу напечатал ряд очерков и новелл на русском языке в «Одесском листке» и других изданиях.

1892 В «Кол-мевасере» были опубликованы первые письма из цикла «Менахем-Мендл».

1894 Выпустил первую повесть из цикла «Тевье-молочник».

1899 В журнале «Дер юд» были напечатаны новые повести из цикла «Тевье-молочник» и продолжение цикла «Менахем-Мендл».

1900 В журнале «Дер юд» напечатаны рассказы «Флажок», «Часы», «Пурим» и другие. Начал свои публичные выступления совместно с М. М. Варшавским, создателем песен по народным мотивам в Киеве, Белой Церкви, Бердичеве.

1901 Издал сборник песен М. М. Варшавского со своим предисловием.

В «Дер юд» появились его монологи и рассказы «Горшок», «У царя Артаксеркса», «Рябчик» и другие, а также первые повести цикла «В маленьком мире маленьких людей».

1902 Сотрудничал в журнале «Дер юд», в еженедельниках «Юдише фолкс-цайтунг», «Идише фройе велт»; издал рассказы «Будь я Ротшильд...», «На скрипке», «Дрейфус в Касриловке», «Мафусал», «Немец» и другие.

1903 Наряду с работой в вышеуказанных изданиях, начал сотрудничать в ежедневных газетах «Дер фрайнд», «Дер тог», опубликовал новеллы «Конкуренты», «По этапу», «Веселая компания» и другие. Обратился к писателям Л. Н. Толстому, А. П. Чехову, М. Горькому, В. Г. Короленко с

предложением принять участие в сборнике, доход от которого пойдет в помощь евреям, пострадавшим от погромов. Вышло первое издание собрания его сочинений в четырех томах.

1904 Состоялось знакомство с М. Горьким, Л. А. Андреевым, А. И. Куприным, И.-Л. Перецем и И. Бал-Махшовесом. Продолжал работать над циклами «Тевье-молочник» и «Менахем-Мендл».

1905 Сотрудничал в варшавской ежедневной газете «Дер вег», издал в варшавском издательстве «Общедоступная книга» два сборника рассказов и монологов. Выступал с чтением своих произведений в Вильне, Ковно, Риге, Либаве, Лодзи и других городах. После погрома в Киеве (в октябре) на короткое время выехал со своей семьей во Львов. Написал рассказы: «Иосиф», «Два антисемита» и другие.

1906 Жил во Львове, посетил Женеву, Лондон, в конце октября — Нью-Йорк. Выступал с чтением своих произведений во многих городах Галиции и Румынии.

1907 Жил в Нью-Йорке, затем в Женеве. Сотрудничал в различных газетах Нью-Йорка, Варшавы, Петербурга, Вильны. В Нью-Йорке опубликовал первые главы повести «Мальчик Мотл».

1908 Жил в Женеве, затем в Нерви (Италия), посетил Берлин. Написал комедию «Кладоискатели», продолжал работу над повестью «Мальчик Мотл». В мае вернулся в Россию, посетил Варшаву, Вильну, Одессу и ряд других городов. Всюду встречал горячий прием. В конце июля в Барановичах внезапно заболел туберкулезом в острой форме. По совету врачей уехал в Нерви; 25 октября состоялось празднование 25-летия его литературной деятельности.

1909 Несмотря на плохое состояние здоровья, много писал. Опубликовал рассказы «Шмуел Шмелькис и его юбилей», «Песнь песней», «Железнодорожные рассказы» и новые повести из цикла «Тевье-молочник». Начал писать роман «Блуждающие звезды». Юбилейный комитет в Варшаве выкупил права на издание его произведений у частных издателей и вернул их автору.

1910 Лечился в санаториях Нерви и других. Издал рассказы «Шестьдесят шесть», «Эсфирь», «Пасха в деревне», продолжал работать над романом «Блуждающие звезды». Избранные произведения автора начали издаваться на русском языке. Русская критика тепло встретила их. Общеизвестно письмо М. Горького к Шолом-Алейхему, в котором дана высокая оценка творчества писателя.

1911 Жил в Нерви, сотрудничал во многих газетах, в которых были напечатаны: «Мариенбад», «Гитл Пуришкевич», «Аутодафе» и другие произведения.

1912 Работал над романом «Кровавая шутка».

1913 Посетил Вену, Берлин и другие города. Продолжал работать над циклом «Менахем-Мендл».

1914 Весной вновь побывал во многих городах и местечках России. Выступал с публичным чтением своих произведений. Еврейская беднота всюду с восторгом встречала любимого писателя. Когда началась империалистическая война, Шолом-Алейхем находился на одном из немецких курортов (в Альбеке) и был интернирован как русский подданный со всей семьей в Берлине. Писателю удалось перебраться в нейтральную Данию — в Копенгаген. К концу года переехал в Нью-Йорк. Опубликовал много произведений в периодической печати. Среди них последние повести цикла «Тевье-молочник» и другие.

1915 Жил в Нью-Йорке. Из-за частых обострений болезни проводил время в горах или у моря. Сотрудничал в газете «Дер тог». Написал комедию «Крупный выигрыш», начал художественную автобиографию «С ярмарки». Собирался по окончании войны «с первым же кораблем» вернуться в Россию.

1916 Несмотря на тяжелую болезнь, много работал. В мае болезнь резко обострилась. 13 мая, в субботу, рано утром, скончался в Нью-Йорке. В понедельник, 15 мая, там же состоялись похороны. Тысячи трудящихся провожали писателя в последний путь.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В ШЕСТИТОМНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

УКАЗАТЕЛЬ АДРЕСАТОВ ПИСЕМ,

ВОШЕДШИХ В т. 6

СОДЕРЖАНИЕ

О ЛИТЕРАТУРЕ

ИЗ КНИГИ «ЕВРЕЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ»

ПИСЬМА (1882—1914)

Перевод И. Гуревича и Р. Рубиной[1]

---

[1] Письма 8, 13, 20, 21, 25, 28, 36, 38 и 44 переведены Р. Рубиной.

ПИСЬМА К РУССКИМ ПИСАТЕЛЯМ

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Собр. соч., т. 6

Редакторы *А. Марусич* и *Г. Фальк*
Худож. редактор *Г. Кудрявцев.* Техн. редактор *Г. Каунина*
Корректоры *А. Шлейфер* и *Г. Сурис*

Сдано в набор 1/XII 1960 г. Подписано к печати 25/II 1961 г.
Бумага 84 × 108$^{1}/_{32}$. 25,25 печ. л. = 41,41 усл. печ. л. 36,144 уч.-изд. л.
Тираж 225 000 экз. Заказ № 1535. Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат, Москва, Н.-Басманная, 19

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26

1 р. 10 к.


6
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ